6
1968

Иностранная литература

05+8
И681

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖОВАННИ ПИРЕЛЛИ — По поводу одной машины 7
ПИТЕР АБРАХАМС — Во власти ночи . . . 47

ПОВЕСТИ

ИМРЕ ДОБОЗИ — Вторник, среда, четверг . 92

ПЬЕСЫ

АРТУР МИЛЛЕР — Цена (Драма в двух действиях. Вступление Конст. Симонова) . . 154

СТИХИ

ИЗ УРУГВАЙСКОЙ ПОЭЗИИ

АЛЬБЕРТО МЕДИСА, РУБЕН ЯКОВСКИ, УГО ХИОРДАНО, ИДА ВИТАЛЕ, МАТИЛЬДЕ БИАНЧИ, НЕЛЬСОН МАРРА, САУЛ ИБАРГОЭН ИСЛАС 3
ЭЛЬЖБЕТА ЗЕХЕНТЕР — Из первой книги . 90

КРИТИКА

Д. ЗАТОНСКИЙ — Современность «Жизни Клима Самгина» 199
Е. ГАЛЬПЕРИНА — Цена свободы (По поводу романов Питера Абрахамса) 211

6

ИЮНЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

КАРЛОС РУИС ДОДЭ – Читатель и книга (Письмо из Аргентины) 221

ПУБЛИЦИСТИКА

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС — Греция: фашизм и судьбы прогрессивной культуры 225

ИЗ НАСЛЕДИЯ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

Лондон воюет с роботами. Битва за Париж. Как мы пришли в Париж. Война на линии Зигфрида. (Вступление Б. Грибанова) . . 232

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Л. СИМОНЯН — Вопрос жизни 249

ВЛ. ВАВИЛОВ — По страницам «Черного Орфея» 251

НАШИ ГОСТИ

Л. АЛЕКСАНДРОВА – Чтобы человек рос (Юрий Брезан в «Иностранной литературе») 255

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Александр Борщаговский — Давид Кюн и его сводные братья. ◇ Л. Степанов · Беспокойные ритмы Судана . . . 258

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Л. Некрасова — Гимн, написанный кровью. ◇ А. Зверев — Тропинка из топи. ◇ О. Тимофеева — Нищета и величие старой Мариотты 262

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Е. ЗАВАДСКАЯ — Дни разрушения . . 268

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . 272

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА . . . 287

На обложке. «Танцовщица в саду», работа японского художника ЦУТИДЫ БАКУСЭНА.

Из уругвайской поэзии

Перевод с испанского Ю. ИСАЕВА

АЛЬБЕРТО МЕДИСА

ВЬЕТНАМ

По этой широте сквозь дым пожарищ,
где зверь огромный пожирает
хлеб, небо, пашни,
мы шагаем,
тревогу дней впитав глазами...
Звучат призывные сигналы.

* * *

Скрывали дети слезы
за плитами укрытий.
Они из памяти хотели б вырвать эти дни.
Над крышами домов кружило лето.
Улыбчивый и теплый вечер.
Когда ж часы показывали девять,
прорезал город визг сирены.
Багряной пылью на дорогах
повисла в воздухе тревога.

РУБЕН ЯКОВСКИ

НА ДАЛЕКОМ ЮГЕ

Там, на Юге, горит земля.
Шаги в ночи, шаги в тени.
Подозревают каждый камень.
Висят условные сигналы.
— Стой, кто идет!
...Захватчик из-за океана.
Свой дом и родину оставил,
пришел, хотя его не звали,
и стала красною луна, кровавым солнце.
как убитых лица, как раны
партизан.

Оторван брат от брата,
любимый от любимой. Возможно, навсегда.

Горит, горит земля на Юге, чей язык
для иностранца странен. Придя усталыми
с заданий,
друг друга спрашивают янки:
— Как потери?
И мчатся бланки извещений
за океан. Навеки мать запомнит этот бланк
и гроб, обернутый американским флагом.
Лежат погибшие бесславно...

КИНОХРОНИКА

Напалма пламя на экране —
то кинохроника Вьетнама.
Вой самолета. Дети в кадре.
Меня трясет и лихорадит,
своих мальчишек вспоминаю.
Предсмертных криков дробится эхо.
Лежат убитые в полях и по кюветам.
Не будет среди них воскресших.
Рук немота, окаменелость
слов на губах.
Огромный город тлеет сигаретой.
Над ним дышало миром небо,
совсем недавно. Осталась ненависть.

УГО ХИОРДАНО

ОДНАЖДЫ ЧЕЛОВЕК...

Представьте, человек приходит в жизнь.
На круг огромный жизни человека ставят
и держат за руку, чтоб не упал.
Затем тот круг вращают с ускореньем.
А человек стоит
покорный,
он — ребенок.
Когда же в голове неразбериха,
его вдруг останавливают
резко,
потом толкают в спину
и говорят: — Иди!
И он идет, не думая,
куда его послали,
чтоб сделать все,
как было сказано.
Но вот однажды человек...
захочет выскочить
из путаницы дней
и, разметав обломки ночи,
выходит на свою дорогу.
Не зря же он зовется
человеком.

ИДА ВИТАЛЕ

ПРОЦЕССИЯ

Процессия шла изнутри.
Слова становились стихами.
Были робки ее шаги,
было слабым ее дыханье.

Сегодня мчится, как ветер.
Настежь окна и двери!
Ее не удержат стены,
ей нужно лететь над вселенной,
трясти уснувшее небо
полными сил руками.

Процессия, что начиналась
внутри, почти без дыхания.

МАТИЛЬДЕ БИАНЧИ

КОГДА Я ТЕБЯ ЗОВУ

Когда я тебя зову,
когда разговариваю с тобой,
когда я иду к тебе
по темным дорогам ночи,
или утром
розой
стучусь в окно,
или скольжу по улице,
сдавленная толпой,—
я опрокидываю на тебя
глубину неба с летящими птицами,
шорох сосен и моря прибой.
Легкий вскрик.
Колокольчики хохота.
Мы с тобой
такие похожие.
Я думаю о далеком голосе
или о гибком теле.
Этим вечером
мы не вместе.
Меня встречает
остывший ужин,
я слушаю,
как движется время,
оставляя между влюбленными
глубокий след.

НЕЛЬСОН МАРРА

СТЕНА ДРУЗЕЙ

Сегодня
бой даю перу,
которое проводником служило в руинах строк
(моих стихотворений),
тому перу, что уводило
за смысл слов
и не могло проникнуть
в звуки
дальних городов,
звенящих станций, сутолоку улиц.

Сегодня поздно,
но я иду на бой.
Меня пугает емкость слова,
серьезность
детских лиц.
Хотя и поздно,
но сражаюсь,
чтоб одиночество пропало.
Хочу я крикнуть:
— Мне так нужна
стена вокруг меня,
пусть будет из моих друзей,
из всех, кому я дорог.

САУЛ ИБАРГОЭН ИСЛАС

СОЛЬ

Как ты смогла на стол подняться,
проникнуть в хлеб,
попасть
в плач человека
и что за формула таится
в твоих молекулах?
А может быть, тебя приносят
прозрачные большие рыбы?
Когда покинула ты твердость камня,
когда впервые
была извлечена из синей глуби,
чтоб раствориться после
в прахе
героев позабытых?
И почему ты выбрала
дорогу бедности и крови?
Ты родилась среди рабов,
ладони их разъедены тобою,
ты выступаешь
из потных тел,
что платят за тебя
сполна.
Вот я беру рассыпчатость щепотки,
прозрачность
белой тишины,
частичку океана —
и подношу ко рту.
Блестят кристаллы
глубинным светом,
томительным,
как слезы.

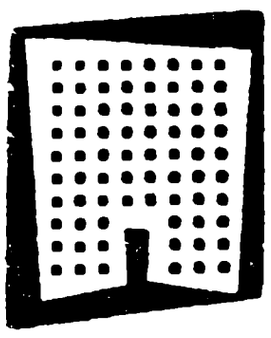
■

ДЖОВАННИ ПИРЕЛЛИ

По поводу одной машины

РОМАН

Перевод с итальянского
Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ



I

Помощник начальника цеха Рибакки — гадюка. Раньше, бывало, Гавацци говорила (правда, теперь перестала), что, если разобраться, он не так уж плох. Возможно. Но очень уж долго пришлось бы разбираться.

Старики — например Тревильо — считают, что он свое дело знает. По всему видно, что знает, говорят они, если о нем вдруг заходит разговор. Сильвия, жена Маркантонио, уверяет, что у него довольно представительная внешность.

— Представительная, представительная,— вторит жене Маркантонио.

— Это совсем не плохо,— прерывает его Сильвия, которая разбирается в людях гораздо лучше, чем можно было бы предположить.

— Конечно! — соглашается Маркантонио. При коммунизме его физиономия выглядела бы не такой противной, потому что человек был бы совсем другим. Девчонки с намоточных машин говорят так: хоть адамово яблоко у него и выдается, сам он далеко не Адам.

Об Эдисоне Альдо Рибакки известно, что он родился в Кремоне в 1924 или 1925 году. Отец его служил в министерстве связи, был республиканцем и антиклерикалом. Фашизм так его озлобил, что Рибакки-старший превратился в конце концов в законченного брюзгу и скрягу. Первый и единственный сын его появился на свет, когда синьору Рибакки было уже под пятьдесят, не меньше. Синьора Рибакки даже не заметила, что забеременела,— думала, начался климакс. В пятнадцать-шестнадцать лет Эдисон Альдо был красив собой, до педантичности прилежен, отлично учился — был первым учеником в классе. Друзей у него не было, девушек — тоже.

Этим сведения, которыми располагает Чезира Белламио, уборщица цеха «Г-3», исчерпываются. Рибакки не знает, что перед тем, как Чезира овдовела и переехала в Милан, где поступила на завод, она жила в Кремоне, в том же дворе, что и он.

Что было дальше? Окончил институт, получил диплом техника. От военной службы был освобожден из-за слабых легких. Первое (и, наверное, пожизненное) место работы — завод «Ломбардэ». С 1942 по 1945-й был чертежником-конструктором в ОПУМО (Отделе проектирования установок и машинного оборудования), после чего его направили в цех «Г-3», который тогда именовался «Б-4», исполняющим обязанности заместителя начальника (прежнего сняли во время чистки), да так там и остался. Начиная с 1955 года Рибакки находился в непосредственном подчинении у инженера д'Оливо. Теперь 1957-й. Звания, соответствующего его должности, Рибакки еще не получил и пока не добивался.

В трубку:

— Да, синьор. Есть. Будет сделано. Понятно. Понятно. Будет сделано. Да, синьор. Да, господин инженер. Сегодня же. Да, господин инженер...

Руки у него как у зубного врача, думает девушка. Она стоит перед ним в стеклянном кубе, возвышающемся над цехом «Г-3», и ждет, когда он кончит, наконец, нанизывать свои «да, есть, будет сделано». «Противная у него физиономия; вот не везет! Впрочем, кто его знает,— может, он ничего...» Она переминается с ноги на ногу, заложив руки за спину; сумочка болтается сзади. Может, он и правда ничего... А физиономия препротивная. Руки красивые, это точно.

— Да, господин инженер. Разумеется. Понимаю. Да, синьор. Полагаю, что нет. Нет, не думаю. Да, синьор...

Прижимая трубку плечом к уху, вынул из ящика стола лист миллиметровки, взял черную шариковую ручку и принялся рисовать человечков без головы. Нарисовал целый ряд, от края до края. Потом принялся за второй ряд: здесь человечки расположились реже, на равном расстоянии друг от друга, у каждого по ноге, по руке и по полголовы.

А сам между тем:

— Да, господин инженер. Как же, как же! Уже сделано, господин инженер. Да, синьор, Берти. Нет, только одна.

В третьем ряду интервалы между человечками еще шире, неравномернее. Человечки безногие, однорукие, с шарообразными головами. Четвертый ряд — человечки...

— Затрудняюсь сказать. Она здесь. Нет, синьор. Да, синьор.

...безногие и безрукие. Головы вроде продолговатых бидончиков. Не больше дюжины.

— Раз ее послали, значит... Насколько мне известно, других нет. Нет, синьор. Да, синьор, я ей скажу. Берти. Я ему тоже скажу. Судя по первому впечатлению, нет. С-с...

На этом свистящем «с-с» разговор оборвался: на другом конце провода что-то сухо щелкнуло. Рибакки кладет трубку, предварительно потерев ее о рукав. Вершину пирамиды из человечков теперь венчают три шляпы-цилиндра в ряд. Он трудится до тех пор, пока цилиндры не становятся совершенно одинаковыми, сплошь заштриховывает их черным. Затем рвет миллиметровку на мелкие клочки, швыряет их на стол. Не поднимая глаз:

— Ваше имя?

— Марианна Колли. Колли, Марианна.

Принесенный Марианной листок по учету кадров он подсовывает под корзинку для текущей корреспонденции. Руки у него удивительно проворные. Левая и правая орудуют самостоятельно: собирают и комкают в кулаке обрывки миллиметровки.

— На каких машинах вы работали?

— Только на зингеровской...

— На чем?

— На маминой швейной машине...

Он протягивает правую руку к корзине для бумаг, медленно разжимает кулак и ссыпает в нее обрывки миллиметровки. Затем, зажав корзину ногами, переставляет ее влево и выбрасывает бумажки из другой руки. Повторяет операцию дважды. Оставшиеся бумажки он расшвыривает по пластмассовой поверхности стола.

— Если я попрошу вас собрать этот мусор, вы это сделаете?

— Если вы попросите меня?..

— Повторяю: если я попрошу вас собрать эти бумажки, вы это сделаете?

— Да.

— Не «да», а «да, синьор».

— Да, синьор.

Бумажки он собирает сам. И как только он умудряется содержать в чистоте такие длинные ногти!

— На зингеровской машине! А почему не на взбивалке для белков, не на терке?

— Понимаете, мама у меня работала. Двадцать лет, на молокозаводе. А меня держала дома. Теперь она уже старая: понимаете, ей уже за сорок...

— Запомните раз и навсегда: я терпеть не могу излияний. Не позволяю ни себе, ни другим. Вы пришли в цех, а не к кумушкам посудачить.

— Я не судачу... Я только объяснила, что мама, моя мать...

— Хватит.

Он снимает трубку селектора и нажимает на кнопку Б. Любой человек сразу сообразит, что тут что-то не так — ведь сначала надо нажать кнопку, а уж потом снимать трубку. Значит, не подошла. Даже не посмотрел в мою сторону. Не подошла. Из-за мамы. Из-за мамы или из-за швейной машины?

И спешит добавить:

— Она мне не настоящая мать. Она меня только вырастила. Моя мама давным-давно умерла. Отец тоже умер. Если вы рассердились из-за машины, так ведь я...

— Прежде всего, научитесь молчать, когда вас не спрашивают. А сейчас послушайте, что я вам скажу.

Он кладет трубку на место, обхватывает голову руками, уперев локти в стол.

— В моем цеху свободных мест нет. Нет ни десяти, ни девяти, ни восьми, ни семи, ни шести, ни пяти, ни четырех, ни трех, ни двух. Есть всего одно место. Одно. У так

называемого «Авангарда». Не рассчитывайте меня перехитрить — сказать «да», а про себя думать «нет». Дескать, соглашусь, а там попрошу перевести на другое место. Другое место есть только за воротами. Где десятки, сотни таких, как вы, отпихивают друг друга локтями, надеясь, что место, от которого вы откажетесь, достанется им. Потом смотрите не хныкайте: «Ах, если бы: я знала»... И запомните как следует мою фамилию: господин Рибакки. Господин Рибакки меня предупреждал. Повторите. Ну, повторите же!

— Господин Рибаки...

— Рибакки, с двумя «к».

— Рыбакки.

— Господин Рибакки.

— Господин Рибакки.

— Что сделал господин Рибакки?

— Предупредил меня.

На этот раз он пользуется селектором как положено. Прижимая ухом трубку, вытаскивает из-под плетенки листок по учету кадров.

— Берти, она явилась. Зайдите за ней. Впрочем, лучше я вам ее пришлю. Нет, совсем зеленая.

Впервые за все время он взглянул ей в лицо.

— Ничего другого не присылали. Хочешь бери, хочешь нет. Я, со своей стороны, сказал ей все, что нужно. А вы себя особенно не утруждайте. Покажите, объясните что полагается. Учтите, я ее предупредил.

Отняв трубку от уха и перекувырнув ее так, что микрофон оказался у кончика носа, а верхняя часть трубки — на уровне галстучного узла:

— Не вздумайте нагородить чего-нибудь еще! А то отправлю вас туда, откуда пришли. Мне эта волынка надоела.

И швырнул трубку на место. У него тонкий нос, близко посаженные глаза. Не косые, а просто близко посаженные.

— Как меня зовут?

— Господин Рибаки.

— Не Рибаки, а Рибакки. Знаете ли вы, кто вы для завода? Счетчик. Что это значит? А вот что: с той самой минуты, как вам вручили этот листок, вы стали счетчиком. Что бы вы ни делали: глазеете ли вы на меня или трудитесь, зеваете или даете продукцию — счетчик работает, отсчитывает лиру за лирой вашу двухнедельную получку. Как меня зовут?

— Господин Рибакки.

— Начальника участка Берти вы найдете в будке при входе в цех.

II

Странно: такой гул, стук, треск, грохот, и все стоит на месте. Закреплено намертво, плотно привинчено болтами и гайками к цементному полу. Хотя, нет, вон что-то задвигалось — тележка. Спереди у нее торчит пара клыков, на них стоит какой-то ящик. Она снует зигзагами между громадами машин и грудами катушек и чем дальше, тем все больше и больше задирает кверху свой хобот. Потом ныряет куда-то вниз и исчезает. Звякнул звонок, но за этим ничего не последовало. Свет наверху, мутный, тусклый; в боковых пролетах рядами горят лампочки. Освещенные этим двойным светом — сероватым светом плафонов и желто-охряным светом лампочек,— стоят люди, по одному в ряд, группами. Кто они, мужчины или женщины? Все в спецовках — не разберешь. Промасленные рабочие комбинезоны напоминают маскировочные костюмы. А вон зажегся фиолетовый огонек. Погас, снова зажегся, погас. Что там происходит, не видно: огонек далеко, в глубине центрального пролета. Здесь, наверно, никогда ничего не происходит. Все идет по однажды заведенному порядку. Так ли она себе это представляла? Трудно сказать. По правде говоря, никогда не задумывалась. Какое первое впечатление? Никакого. Единственное желание — поскорее приткнуться куда-нибудь, добраться до отведенного ей квадратного метра цемента. Хорошо, если бы, миновав этот бесконечный лабиринт из машин, моторов, станин, маховиков, конвейеров и катушек, Берти добыл ей спецовку. Наверно, он даст ей ту, в которой ходила работница, работавшая раньше на... как, бишь, называют эту машину? Сам Берти ходит в таком замызганном комбинезоне, будто он не начальник участка, а ученик слесаря. Интересно, когда он был помоложе, спецовка была ему впору? Сейчас она висит на нем мешком. Под мышками топорщится, зад отвис, брюки бесформенные, волочатся по земле. Может, так специально задумано, чтобы прикрыть каблук, отстающий при каждом шаге от подметки.

Тыкая пальцем направо, в сторону «Бронделя», Берти объясняет:

— Видишь этот? Дурак дураком. А эта — чемпионка,— показывает он налево.— Вернее, экс-чемпионка. Можешь себе представить, поставили еще при бедняге Комби, который был лет на двадцать старше меня... А видишь вон эту? Игрушка! Покладистая на редкость — ребенку можно доверить. Не то что твоя...

Он оборачивается к девушке. Перед ней — лицо со впалыми щеками, скулы обтянуты прозрачной кожей, нос — одни ноздри. И на этом лице скелета лучатся — вернее, лучились, потому что сейчас они подернуты какой-то водянистой пленкой и тенью усталости, отрешенности — глаза необычайной голубизны.

— Ты на заводе работала?

— А?

— Я спрашиваю, ты когда-нибудь работала в цеху?

— Я? Нет.

— Нравится тебе здесь?

— Ага. Впрочем, сама не знаю.

— А я без завода ни дня бы не прожил, ей-богу. Послушай, а что он тебе сказал насчет Андреони?

— Кто «он»?

— Начальник. Наш начальник.

— Какой начальник?

— О, господи. Ты что, немного того?

Она в самом деле ничего не понимает. У нее всегда так. С тем, другим, она готова была воевать сколько угодно, хотя он даже в ее сторону не смотрел; этот же такой симпатяга, а ей хочется все бросить и удрать.

— Ах да, он меня предупреждал. Говорил, что... Постойте, что же он мне говорил...

— Смотри, вон она.

— Андреони?

— Да нет же, дочка, «Авангард», твоя машина!

Покачав головой, он идет дальше. Кивнул какому-то рабочему — вроде поздоровался,— но тот не ответил. Ткнул пальцем в сторону длинной, скрежещущей машины, у которой сидят, на шевелясь, две работницы. Ему приходится кричать:

— Это тоже крутильная машина. Медлительная! Но с нее и спроса нет. Ты давно без работы?

— Что?

Он качает головой, сворачивает в сторону, семенит вдоль длинного ряда одинаковых машин. За каждой — по работнице.

— Это намоточные машины. На первый взгляд, ничего особенного, а на самом деле...

До нее доносится звук его голоса, но она не слушает. Почему бы не выдавать спецовки новым работницам прямо у входа? Хотя бы полногрудым, как она. Говорила маме: лучше надеть коричневую двойку, лучше надеть коричневую двойку. Нет, настояла на своем: надень белый свитер! Белый свитер с зеленой юбкой тебе идет. Произведешь выгодное впечатление. На кого? Никто в мою сторону даже не взглянул ни разу. А этот все морочит мне голову, толкует про свои машины, будто они — девки на выданье. Все остальные — и мужчины, и женщины, и те, что поближе, и те, что подальше,— ноль внимания. Если же кто и поднимет голову, взглянет, ну, в общем, заметит, что пришел новый человек, то такими глазами, словно...

— Ой, извините. Извините, пожалуйста!

Она чуть не наткнулась на высокую, тучную женщину, которая вдруг очутилась между нею и Берти. Марианна хотела было уступить ей дорогу, но отойти оказалось некуда — разве что прижаться к машине. Марианна замешкалась, но тут же сообразила: если отстану от Берти — прости прощай! — потянет к выходу. А выход — вон он, зияет проемом в стене, через него видна аллея, ведущая прямиком к воротам. Все-таки пришлось из-за толстухи сделать шаг назад. Куда она лезет? Что ей надо? Тычет Марианне пальцем в грудь — заставила ее отступить еще на шаг.

— Ты, дочка, не соглашайся!

— Я?

— Никому на ней не надо работать, на этой зверюге.

— Но...

А Берти идет себе дальше, рассуждает сам с собой, жестикулирует. Спохватившись, что у него за спиной происходит что-то неладное, он круто поворачивает обратно.

— Оставь ее в покое, Гавацци! Ты лучше меня знаешь, что не нам решать.

А Гавацци все уговаривает:

— Будь умницей, иди откуда пришла и не отнимай у нас время.

Берти:

— Она все знает. Начальник ей все объяснил.

— Кишка-то? Как же, он объяснит. Чин-чином, все как есть, по-честному.

— Короче говоря...

— Дочка, я против тебя лично ничего не имею. Я к тебе — с полным уважением. Ясно, тебе нужна работа. Поверь, душа болит, что приходится тебе такое говорить, но все равно скажу: уходи! Беги отсюда!

Помрачнев:

— А сама не уйдешь, вышвырнем!

Пальцем, которым она до этого упиралась в грудь девушки, Гавацци делает круговое движение.

Многие машины остановились. Весь ряд намоточных, одна крутильная и еще несколько в глубине цеха. Стали подходить рабочие. Те, кто остался на месте, тоже — каждый по-своему — дают понять, что новенькая должна поскорее отсюда выметаться. Двое пожилых и один молодой рабочий выстроились друг другу в затылок — будто боевой патруль — и многозначительно скрестили руки на груди. То здесь, то там разгораются споры, слышатся бранные слова, проклятья. В глубине цеха остановилось еще несколько машин. Общий гул смолк, слышно лишь, как гудит вон та, вот эта и эта машины: штрейкбрехеры.

Гавацци:— Я такой упрямой девчонки в жизни не видела!

Берти:— Ты лучше меня знаешь, что лезешь на рожон. И нас всех в неприятности втравишь. А зачем? Когда она увидит «Авангард», то сама...

Гавацци (ко всем присутствующим): — Нет, вы только подумайте! Неужели мы допустим, чтобы успех нашей борьбы зависел от того, испугается девчонка или нет?!

Ропот. Выкрики, проклятия в сторону стеклянного куба Рибакки. Но Рибакки там нет.

Пожилая женщина:— По-моему, все-таки не надо над ней так измываться. Одно дело — растолковать как следует...

Другая, черненькая:— Чего там объяснять! Сказали — катись отсюда...

Подъехал автокар. Тот, что сновал раньше в отдалении. А может, другой такой же. Остановился.

Водитель (не сходя со своего возвышения): — Что такое? Взяли со стороны? На «Авангард»?

Берти:— Не хотите меня слушать, дело ваше. Но я повторяю: никто ее не неволит. Пусть посмотрит сама и решит — оставаться или уходить. Добровольно.

Гавацци: — Добровольно! Как же!

Толпа вокруг Марианны стала еще гуще — женщин намного больше, чем мужчин. Зажали новенькую со всех сторон. Мужчины сдержаннее, нерешительнее. Женщины же размахивают руками, горланят.

Гавацци (жестом предупреждая):— Ей адвокаты не нужны. (Ко всем.) У нас же свобода! Барышне «Авангард» не по вкусу? Цвет не понравился? А кто ее неволит? Зайдет еще разок. Не станете же вы, Берти, нас уверять, что она не может повременить несколько месяцев, а то и годик. Снимет с текущего счета... На худой конец, девица она в соку, на таких спрос большой...

Та, что вступилась за Марианну раньше:— Зачем же так!

Какой-то парень:— А и впрямь, в этом белом свитерке...

Женщины цыкнули на него, а заодно и еще на одного умника, который залез на скамью и завел: — Товарищи! От имени...

Гавацци (пытается договорить, но слова ее тонут в шиканье и выкриках):— Все знают, какое создалось положение. Стало быть, нечего канителиться. Одно из двух: либо...

Кто-то выкрикивает: — Ты сама канитель развела!

Гавацци сбилась и никак не может настроиться на прежний лад. Напряжение спало, галдеж усилился. Подключается Берти. Изменив своей обычной флегматичности, он жалобно канючит: — Успокойтесь, прошу вас...— Словно речь идет о личном одолжении.

Теперь все обрушились на Берти.

— Кролик несчастный!

— Не мешайся под ногами!

— Отправляйся к Кишке, продажная тварь, встань перед ним на задние лапки!

Автокарщик: — Если не возражаете, могу погрузить ее на «Форклифт».

Зажатая орущими людьми Марианна чувствует, что она сама для них не существует — она для них все равно что неодушевленный предмет, повод пошуметь. Это настолько унизительно, что ее так и подмывает сделать что-нибудь эдакое, чтобы хоть как-нибудь, хоть на миг утвердить свое «я». «Ах так!» — восклицает она и бросается вперед. Она даже не пытается проскользнуть сквозь толпу, а изо всей силы толкает толстуху в бок, та теряет равновесие и чуть не падает на стоящую рядом женщину. Выбравшись из толкучки, Марианна бежит по проходу, а та вслед ей:

— Ты еще пожалеешь, паршивка!

Проклятия и крики остались позади, постепенно утонули в грохоте заскрежетавших машин.

III

— Неплохая штучка. А?

Берти вскидывает подбородок, с наигранной развязностью подмигивает Марианне.

— Что ж ты молчишь? Если не нравится, так и скажи: не нравится! Ведь если бы речь шла обо мне, ты бы так прямо и сказала: ты старый, я тебя не хочу!

Ему самому не под силу продолжать разговор в этом тоне:

— Ты не думай, я тебя понимаю. Очень даже понимаю.

Вот она, эта машина, которую называют по-американски «Vanguard»—«Авангард». Она установлена в отдельном зале, облицованном светлой плиткой и отгороженном от цеха «Г-3» несколькими столбами. Места для нее не пожалели. Сколько таких машин уместилось бы в этом зале? Три? Четыре? Козырек из небьющегося стекла отбрасывает на машину снопы белого света. Блестит покрытая эмалью поверхность; сквозь прорезь в кожухе видны заполненные до отказа катушки; на приемном барабане всего несколько витков, два-три, не больше; по всему видно, что машину только что наладили, подготовили к пуску. Внушает ли она страх? Скорее не страх, а робость.

Марианна ходит, ходит вокруг нее. Смотрит то на нее, то на свои руки, прижимающие к животу сумочку. Берти следует по пятам.

— А ведь проще этой машины нет, во всяком случае у нас, в «Г-3». Работать на ней — пара пустяков. Зеленая кнопка — пуск. Красная кнопка — стоп. Рычажок — вон тот, что рядом с тобой,— для резкой остановки. Его отводят в случае обрыва проволоки. Если б не эти обрывы, знаешь что я бы тебе посоветовал? Запусти свой «Авангард» и иди себе, гуляй по набережной, пока не подоспеет время менять катушки. Видишь прорезь? Она как раз для того и служит, чтобы определять, нет ли обрыва: когда проволока обрывается, слышно, как конец бьет по щитку: тик-тик-тик-тик... Надо смотреть в оба, иначе кабель, которому полагается быть, предположим, шестижильным, получится пятижильным. Ты на оба уха хорошо слышишь?

— Думаю, что да. Слышу.

— Я знал одного парня из Марке (его уже нет в живых), так у него одно ухо, правое, было наподобие радара, а на другое он был глух, как тетерев. В конце концов попал под трамвай: налетел на него слева. Ну-ка, слышишь?

Он снял с руки часы и поднес к правому уху Марианны.

— Только, пожалуйста, без вранья! Слышишь?

— Да.

— А этим ухом?

— Тоже.

— Итак, обнаружив обрыв, берешь оборванный конец проволоки и, хорошенько натянув его, вгоняешь вот сюда, в повив. Предварительно выключив мотор, разумеется. То есть, дождавшись, когда машина полностью остановится, чтобы можно было залезть в прорезь...— После небольшой паузы, заспешив: — После чего вызываешь сварщика. Тебе повезло — он у нас красивый парень. По крайней мере так считают твои товарки. Они говорят, что взгляд у него пронзительный. Так на чем, бишь, мы остановились?

— Вызываю сварщика.

— Прекрасно. Предположим, что он приварил концы проволоки и ушел. Нажимаешь на зеленую кнопку и — пошло! Каждые сорок-пятьдесят минут надо менять катушки. Приподнимаешь защелку, снимаешь пустую катушку, вставляешь полную, опускаешь защелку. Но сначала хорошенько удостоверься, что машина окончательно остановилась... что ничто не двигается...

После еще одной паузы, еще более торопливо:

— Для тяжелых катушек пользуешься домкратом. Вот это называется домкрат. Материалы доставляет Маркантонио. Его фамилия Инверницци. Тот самый, который разъезжает на мотокаре «Форклифт», ты его видела. Он меняет катушки, когда они заполняются или когда меняется режим работы. Вот я и познакомил тебя с твоими помощниками.

— А что еще?

— Больше ничего. Ей-богу, ничего!

Марианна продолжает расхаживать вокруг машины. Обошла два раза. Остановилась. Встала перед пультом управления.

— Значит, надавить...

— Нажать...

— На эту пуговицу...

— Кнопку...

— Нажать на кнопку...

— И — поехала! Со скоростью сто километров в час. Кроме шуток, легкого кабеля за час получается один и шесть десятых, а то и семь десятых километра. Когда испытывали, так и было, ей-богу! Да и потом тоже, пока не... пока она работала. Тебя как звать?

— Колли, Марианна.

Он встает рядом с ней, подносит указательный палец к пульту управления.

— Ну так как, Марианна? Хочешь, я нажму на эту кнопку? Или не надо? Решай, чего молчишь?

— А та девушка, которая здесь работала...

— Не девушка, а замужняя женщина. Уже в летах.

— ...почему она ушла?..

И, вскинув голову, не крикнула со злостью, как хотелось бы, а всхлипнула сухим горлом:

— Да что вы надо мной издеваетесь? Все обманываете и обманываете!

Рука Берти падает вниз, снова поднимается и снова бессильно падает, и так несколько раз. Голубые глаза его еще больше затуманились.

— Какой же я дурак, ей-богу! Этот гадюка Рибакки ничего тебе не сказал... Не сказал даже, что... Боже мой! — спохватывается Берти.— Вдруг он узнает, что я обозвал его гадюкой...

Марианна встает к «Авангарду» спиной и, секунду поколебавшись, делает шаг вперед. Берти хватает ее за локоть. Схватил и тотчас отпустил.

— Э-э, нет! Хочешь уйти — воля твоя. Но оскорбить меня, назвать обманщиком и уйти, оставив в дураках, не позволю! — горячится он.

— Я хочу домой.

— Ладно, ладно! Но зачем же убегать, не зная, от чего бежишь?

Он умолкает. Чувствует, что сопротивление ее не сломлено, но она все же его выслушает. А потом пусть уходит.

— Наш инженер — человек с головой. Как специалист он, без сомнения, самый знающий из всех, с кем мне приходилось работать. Что он говорит? Он говорит, что нет в цехе «Г-3» более простой и надежной машины, чем эта... Как ему возразишь? Не могу, ей-богу, не могу. А слышала, что говорят Гавацци и компания? Что они врут? Этого я тоже не могу сказать. Ей-богу, не могу. Как я могу сказать, что все это чепуха и что виновата сама Андреони? Не могу. Будь она такая, как эти вертихвостки,— другое дело. Между прочим, диву даешься, зачем только отдел кадров таких берет. Я лично их насквозь вижу, как только появляются на пороге... А Андреони — женщина пожилая, степенная, внимательная. Муж у нее — типограф, наборщик первоклассный; сын служит в банке, дочка учится в монастырской школе.. Не думай, что это не имеет отношения к делу. Для рабочего человека все это очень важно. Очень, очень важно. Ведь если у женщины переживания, заботы или ветер в голове... Потому я ее и выбрал. Да, да, это я ее выбрал. И даже не потому, что надо было работать на «Авангарде». Просто речь шла о новой машине, а на новых машинах должны работать старые рабочие. Все шло гладко, месяца два. Или около того. Эх, дорогуша! Уж, кто-кто, а я, казалось бы, всего на своем веку насмотрелся, сам всю жизнь маюсь и вижу, как люди маются, но в такие минуты... когда эта несчастная...

— Она... умерла?

— Как это — умерла? Что ты выдумываешь? — Он поднимает правую руку.— Нет не эта. Другая.— И правой ладонью резко ударяет по бессильно повисшей левой руке чуть пониже локтя.— Вот здесь. Еще слава богу, что удалось вытащить, иначе... Вот что она сделала...

Он показал, как она сунула руку в прорезь. С опаской, стоя на почтительном расстоянии, хотя машина не работала.

— Я в этот момент находился вон там, между теми столбами. В то утро со мной творилось что-то неладное. Только пришел в цех, подписал учетные листки и — сюда. Вижу, работает спокойно, абсолютно спокойно. Мне бы надо сходить к начальнику за новыми расценками, а я — ни с места, стою как вкопанный, слежу за каждым ее движением. Так что я все видел — видел, как она сунула руку в прорезь, не оттянув тормозного рычага. Я даже вскрикнуть не успел. А уж когда закричал, то...

Марианна отвернулась. Мужчины и женщины в промасленных, похожих на маскировочные комбинезонах застыли на местах; никто не интересовался, что происходит между ней и этим Берти. Между ней и этой машиной-убийцей. Она снова смотрит на Берти, переводит взгляд на «Авангард», потом снова на Берти, снова на «Авангард»... Явно ждет предлога — движения или слова,— чтобы уйти. Пока длилось это бесконечное ожидание, что-то зашевелилось — задвигались катушки. Сквозь прорезь видно, как они легонько покачиваются вместе с люльками. Клеть завертелась, натянула проволоку, поволокла ее к захвату. Все быстрее и быстрее. Из глубины взметнулся ветер, и с ним — разноголосица звуков. Вот они набирают высоту, становятся все громче и громче, пока не сливаются в один протяжный голос. Ни клети, ни проволоки уже не различить. Видны лишь катушки, чуть покачивающиеся в своих люльках в вихре ветра. А за захватами, будто из ничего, возникает ровный, плотный, блестящий кабель. Он тут же вытягивается, охватывает вытяжной барабан, наворачивается на приемный барабан, сжимает его плотными компактными витками.

— Теперь ты все знаешь. Знаешь, что такое твой «Авангард». Подойди поближе. Не бойся, ничего нет страшного. Пока я тут... Встань ко мне поближе, лицом к машине. Первейшее правило — не своди с нее глаз, будто пришла в кино и смотришь на экран. Второе правило: держи руку на тормозном рычаге. Тогда будешь себя чувствовать уверенно. Второй рукой нажимай на красную кнопку. Не бойся, она тебя не укусит. Нет, лучше левой. Нажимай левой. Вот так. Правой отводи рычаг. Нет, не так! Плавно, а не рывком. Еще более плавно. Так. Видишь, почти остановилась. Теперь совсем остановилась. Для первого раза неплохо. Только давай условимся: ты ответа не дала, и я тебя не принуждал. Но посмотреть все же надо было. Увидеть своими глазами и потрогать руками. Иначе как разобраться что к чему? А теперь, если хочешь, иди. Или, может, попробуешь еще разок? Сама? Вернее, только так говорится, что сама: я буду стоять у тебя за спиной. Ты же знаешь, что надо делать. Левой рукой... Хорошо. А теперь останови. Не наваливайся, плавно, как я показывал. Недурно. Ей-богу, ты уж не такая растяпа, как можно было...

— А что теперь?

— Теперь останови и снова пусти. Останови — пусти. И так раз десять, двадцать, сто. Не повредит ли это машине? Да что ты! Она послушная, как теленок...

IV

«Кофе сварен из вчерашних остатков позавчерашнего кофе. Она не заметит. Бедная головушка. Молода еще, горя не видела. А я тоже двадцать лет протрубила на молокозаводе, хотя бы десятипроцентную скидку на молоко сделали! Какое там... Кишит небось микробами. А тысячу лир на него каждые две недели выкладывай. Если бы эти деньги шли корове, она бы озолотилась. Жулики. Все они — жулики. Хоть бы нашлись в правительстве порядочные люди, обеспечили бы домашних хозяек. Голько и знают: рабочие да рабочие. А кто этих ваших рабочих на свет произвел? Кто их вырастил? Даст бог, хоть дочке повезет. По мне — и так хорошо, перебились бы как-нибудь. Это все Карлина ее с панталыку сбивает, ручаюсь, что она.

Ну и свинячит же эта неаполитанская кофеварка, плюется во все стороны. Специальная прислуга нужна — ходить, подтирать за ней. Нет, никто меня не переубедит. Как это может быть? Три дня назад — письмо: «К сожалению, вынуждены сообщить»; позавчера — уведомление с просьбой явиться, а вчера приходит домой и заявляет: оформилась. Вот так, сразу, с бухты-барахты... Поди, разбери, что они замышляют... Больно умные стали... А уж моя — не подступись». В десять минут восьмого:

— Марианна!

Аделе Трабальо Колли, возраст — сорок шесть. Говоря о покойных родителях, подчеркивает: уж, конечно, такой нищеты, как сейчас, не было. Они выгнали ее из дома, когда она забеременела от Джона Колли. Джон Колли — такой же ублюдок, как и его несуразное имя. На кой он ей сдался? Впрочем, даже один раз в субботу или от двух до трех дня по воскресеньям — и то лучше, чем совсем одной. Нет, в церковь она не ходит, потому что он ходил. Только туда и водил ее, подлец. Невероятно, но факт: каждый месяц в первую пятницу причащался. Каков гусь! Пусть говорят о фашистах что хотят, они все же были умнее попов: дали ему пинка в зад. На свадебной фотографии Аделе Колли красивее, чем Марианна, тоньше. У отца нос был пуговкой. Когда Марианна выходит из себя — выкидывает очередной номер,— ноздри у нее раздуваются, точь-в-точь как у отца. Привычка насмешничать и фанфаронство какое-то — тоже у нее от него. Даст бог, этим сходство ограничится. Есть люди, которых лишают права голоса на выборах; жаль, что нет закона, запрещающего преступникам иметь детей. Из-за чего разразился скандал, после которого он исчез? Из-за того, что синьора Колли встала в семь утра, оделась (белый свитер с коричневой юбкой) — собралась пойти туда, где ей обещали работу. «Хочешь голодай, хочешь — нет, но я тебя предупреждаю: если уйдешь, я возьму чемодан и тоже уйду». С того дня прошло двадцать лет. Кто его знает, может, еще вернется...

— Марианна, что ты копаешься?

Марианна прислушивается к возне на кухне. Потирает руки. Мать гремит посудой, чистит обувь. Принесла ей туфли, поставила рядышком возле кровати. Вернулась на кухню. Марианна спросонья слышала, как мать возмущалась насчет молока, ругала неаполитанскую кофеварку, правительство. «Плюйся, плюйся, неаполитанка». Так ей и надо.

Марианна уже давно готова — одета, причесана. Присела на край постели.

М а т ь (зовет): — Кофе уже полчаса тебя дожидается. Остыл небось.

Ерунда. Марианна подходит к зеркалу на комоде. Сморщила нос, скосила глаза, вытянула трубочкой язык. Ух, ух.

И з к у х н и: — Хватит тебе прихорашиваться. Не на свадьбу.

— Уф-ф!

— А?

— А вот и на свадьбу! Марианна Колли выходит замуж за американца.

— Еще чего выдумала!

Марианна берет полотенце, повязывает его тюрбаном. Красив ли он? Таинственный и обаятельный незнакомец, а вернее прощелыга? Она сбрасывает полотенце, прижимает волосы к вискам. Будь ее воля, пожалуй, постриглась бы под мальчишку. Делает смешные попытки ужать грудь. Черт возьми, куда столько? Надо будет попросить, пусть ей дадут такую спецовку, чтобы в ней можно было утонуть. Вроде как у того Берти.

И з к у х н и: — Уж не вздумала ли ты малевать себе физиономию?

— Конечно. Как Тильде из первой квартиры.

— Тильде? А знаешь ли ты, кто она такая, эта Тильде?

Марианна появляется на кухне.

— Как? Ты совсем готова?

Когда домашним хозяйством занималась Марианна, она нежилась в теплой постели до тех пор, пока мать не выпихивала ее ногами (они спали вместе на двуспальной кровати). После ухода матери она бродила по дому в шлепанцах и халате и лишь

потом умывалась (слегка) и одевалась — на всякий случай: вдруг кто-нибудь нагрянет. А кто мог нагрянуть? Разве что эта пеликанша Соццани. То у нее соли не хватает, то спичек, а вернее всего — деликатности, черт бы ее побрал.

Аделе Колли: — Я пойду с тобой.

— Со мной? На «Ломбардэ»?

Аделе Колли ходит в черном. Всегда. А сядет — хуже не придумаешь: ноги врозь, все видно, руки положила на коленях, грудь обвисла. Одинокий и скучный ей предстоит день.

Она смотрит на дочку снизу вверх: та стоя завтракает, макает хлеб в кофе с молоком и с шумом втягивает в себя кофе. Вот ведь вымахала! Как гренадер. В прежнее время еще куда ни шло... а теперь, когда идеал молодых людей девица в бикини... Ну и что из того? Идеал идеалом — вешай его над кроватью! — а мужики таких, как Марианна, любят... Все они свиньи, свиньи. И тот свинья был, что затолкал в сестренкину комнату и натворил ей дел. Поганец с вывернутыми ноздрями. У Марианны такие же, нс она совсем другая. Главный ее недостаток — слишком толстые губы; лицо плоское, а губы толстые... Уж лучше бы большие уши... Первое, что замечаешь на ее лице, это губы. Да, красивой никак не назовешь. Впрочем, разве мужчины бегают только за богинями? На что они смотрят, когда оборачиваются? Одно слово: свиньи. Ноги у нее — это уж точно! — слишком толстые. А собственно говоря, какое мужчинам дело до ног? Знаю я, что им надо: чтобы было за что подержаться...

— Мама, можно я тебе скажу одну вещь? Не рассердишься? — спрашивает с полным ртом Марианна.— Ты всю жизнь была прислугой...

— Как ты разговариваешь с матерью?!

— Так вот, с сегодняшнего дня у тебя начнется новая жизнь. Научись вставать поздно, одеваться не спеша, в холод и дождь на улицу не выходи, спи после обеда, не обращай внимания, если... Короче говоря, поживи барыней.

— Еще что скажешь!

— Вот видишь, с тобой каши не сваришь. Давай подсчитаем: сколько прошло лет, как отец от нас ушел?

— В этом доме никакого отца никогда не было. Меня одной тебе мало? Ничего не поделаешь.

— Вот и я говорю. Ты одна меня растила, поила, кормила, даже перестаралась...— Марианна выпятила грудь. Изобразила тяжеловеса.

— Шестьдесят семь кило. Неужели такого капитала, как шестьдесят семь кило, мало, чтобы ты могла жить на проценты?

— Прислуга... Жить на проценты... Что это за разговоры? И заруби себе на носу: человек, которого ты упорно называешь своим отцом, не сам ушел, а я его выставила, если хочешь знать. Почему? Да потому. что за те гроши, которые он раз в кои веки приносил в дом, он хотел распоряжаться как хозяин. Чтобы я ему подчинялась?! И ты тоже, смотри у меня! Думаешь, начнешь зарабатывать, так...

— Уф. Все та же песня. Не замечает, что говорит одно и то же в тысячный раз. Какая паршивая штука — старость. Не в состоянии понять простую вещь: отныне она будет сидеть дома, а я буду каждое утро уходить на работу.

— Я решила. Поговорю с твоим директором. От тебя толку не добьешься. Мне не впервой: когда ты училась в школе, было то же самое. Бывало, один убыток: полдня угробишь, чтобы с учительницей поговорить.

— А что я от тебя утаила? Все рассказала: и что машина несложная, и что я буду работать одна, вдали от всех, в закутке, похожем на ванную комнату, так там все блестит, и что начальник мой — золотой человек, прямо как отец родной...

— С ума сойти! И откуда у такой женщины, как я,— не скажу недоверчивой, но во всяком случае осторожной,— такая дочь! Ведь все это — уловки, чтобы добиться знаешь чего? Впрочем, тебе не обязательно это знать. Достаточно, что знаю я.

— Мама, он же старичок.

— Что значит старичок, по-твоему?

— Лет пятидесяти, пятидесяти пяти. Щуплый такой, небольшого росточка — мне до плеча, не больше.

— С ума сойти! Слушай меня. В этом возрасте, под пятьдесят, мужики все свиньи, включая тех немногих, которые раньше не грешили. Эти даже еще хуже. Ты говоришь, он небольшого росточка?

— Я ж тебе сказала: мне до плеча.

— Худой?

— Кожа да кости.

— Видишь, я попала в самую точку. Небольшого роста, худощавый. Это хуже всего. Пятьдесят лет, небольшого роста, худощавый... Надо сходить посмотреть. Мне достаточно взглянуть один раз, я сразу пойму, что он за птица. Извини, пожалуйста, а почему тебя не определили вместе со всеми?

— Уф... А я почем знаю!

— Надо было расспросить.

— Спрошу.

— Спросишь, да поздно будет. Нет уж, я сама хочу разобраться, что к чему... Или тебя переведут на другое место, или...

Тут Марианна взорвалась:

— Ну, конечно, чтобы меня вышвырнули вон! Пусть будет по-твоему, пусть меня прогонят. Только я тебе заявляю: клянчить работу я больше не буду. Кончено. Возьму расчет, запрусь в этой дыре и буду весь остаток жизни препираться с тобой. Давай, надевай свое шикарное манто и пошли к директору! Пошли к кому хочешь! Чего мы ждем? Чтобы вошел шофер и сказал: «Мадам, машина подана»? Не все ли равно. Отказаться — и дело с концом. Носа из дома не высовывать. А на «Авангарде» пусть работает своими холеными зубоврачебными руками Рибакки. Или тот, худенький. Сброшу костюм, напялю передник и как ни в чем не бывало опять примусь за мадам Зингер. Опять залезем по уши в долги — ведь ясно, что краевой строчки и обметки петель едва хватает на квартплату. Или надо пуститься во все тяжкие, как говорила эта Гавацци. Все, что угодно, только не...

Обе мслчат. Не смотрят друг на друга. Каждая засела в своем окопе, готовая к отпору в случае возобновления атаки. Сохранить патрон для последнего выстрела. Хотя бы из этой стычки выйти победительницей. На лестнице слышны шаги, голоса: это папаша Соццани, оба Маркиори и бухгалтер Галли. У них-то работа есть. А матери, слава богу, уже на кладбище. Доброе утро, синьор Галли. Доброе утро, синьор Соццани. Извините, у вас часы точные? Да, двадцать пять восьмого. Спасибо. Не за что. Как поживает супруга? Спасибо, ничего, а как ваша? Жены их терпеть друг друга не могут, а эти двое ладят лишь по той причине, что не хотят доставить удовольствие женам. Из дома в контору, из конторы домой. Из дома на завод, с завода домой. Осточертело. Братьям Маркиори живется вольготнее только потому, что они еще не пристроены и у них есть Тильде из первой квартиры. Возвращаясь от нее, они взбегают по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки...

В окна проникает шум города, начинающего новый день. Весь город — с часами в руках. Удастся ли ей тоже включиться? Начало рабочего дня, конец рабочего дня. Начало рабочего дня, конец рабочего дня. Начало... И так далее и так далее. И нудные воскресенья. На комоде тикают часы: тик-так, тик-так, тик-так. Годы бегут, а дни тянутся бесконечно.

— Ну ладно, раз уж тебе так хочется. Но только знай...

— Послушай, мое пальто с котиковым воротником...

— ...на этой машине раньше...

— ..возьми себе. Оно твое. Зачем оно мне теперь...

— Так вот, я хотела сказать...

— Да что ты мне рот затыкаешь?!

— Да, но...

— Я — никто, я это знаю. Старая калоша. Что ж мне теперь, в мусоропровод, что ли, кинуться?!

V

— Вот здесь, все время гудит, гудит — нашептывает. Говорит: кан-кан-кан-кан-кан-кан-кан-кан-кан,— Порро показывает на ухо, всегда на одно и то же.

Этот Порро, падуанец, раньше работал в волочильном, а недавно его перевели в цех «Г-3» и поставили на «Гумбольдт». Когда «Гумбольдт» останавливается, Порро сам громко бормочет: кан-кан-кан-кан-кан-кан...

Тревильо: — Совсем рехнулся. Взгляните, сами убедитесь!

Маньялос посмеивается. Он из тех, что смеются потому, что лишены чувства юмора. Лучше бы задумался, почему этот Порро свихнулся, ведь раньше был парень хоть куда, один из самых отважных гапистов *, спортсмен, сердцеед.

От Брамбиллоне по цеху «Г-3» пошел анекдот насчет того, какое животное самое глупое. Оказывается гиена, потому что питается она трупами, совокупляется раз в год и все время беспричинно смеется. Стали спорить, кому живется лучше, гиене или рабочему с завода «Ломбардэ». Спор решился в пользу гиены: рабочему «Ломбардэ» лучше бы быть кастратом, он ест поедом самого себя и не смеется даже по воскресеньям, даже когда пьян. Напивается он лишь для того, чтобы стукнуть кулаком по столу. А в другое время только хнычет: «Он меня оскорбил, меня оскорбляют, нас оскорбили. Нас унижают. Они хотят меня унизить. Это несправедливо. Мои права. Наши права. Права трудящихся. Чего ему стоит? Почему бы этим господам самим не попробовать?!» И так далее и тому подобное. А тем временем все идет вкривь и вкось. Вот, например, как прошла в цеху «Г-3» последняя неделя. Понедельник, 7 числа, делегация-недоносок отправилась наверх по мелкому, но, так сказать, принципиально важному вопросу — относительно права пользоваться душем до конца смены для тех, кто занят на грязной работе. Вторник, 8-е: на двух членов этой делегации наложен штраф за то, что они отправились в дирекцию, нарушив субординацию, то есть

---

* Боец ГАП (Группи д'Ационе Патриоттика, то есть Группы патриотического действия). ГАП были организованы осенью 1943 г. по инициативе компартии на оккупированной гитлеровцами территории Италии. Гаписты предпринимали акты саботажа на предприятиях, работавших на немецкую армию, осуществляли налеты на важные объекты врага, уничтожали нацистских палачей и предателей.

минуя Рибакки. (Но другие два члена делегации почему-то штрафу не подверглись и выговора не получили.) Среда, 9-е: появление новой девушки, хотя так называемых «сверхштатных» продолжают отчислять с завода; провал кампании против «Авангарда». Четверг, 10-е: отголоски этого провала; разделение на два лагеря — за и против Гавацци; обмен оскорблениями: «Что за идиотство — начинать кампанию без соответствующей подготовки».— «Что за идиотство не уметь настоять на своем».— «Виноваты те, кто все это дело затеял».— «Виноваты те, кто не поддержал...» И так далее. Наконец перемирие, основанное на заведомо неосуществимом намерении вернуться к этому вопросу на следующий день, в пятницу. Надо сначала подготовиться. «Нет, дело совсем не в этом!» — говорит Сильвия. «А в чем же?» — «Да ладно, хватит вам!»— «Что значит «ладно»!? Если она нас в чем-то обвиняет, пусть скажет прямо, без обиняков — в чем!»

С и л ь в и я:— Хорошо, скажу. По-моему, надо написать на всех заборах: «Рабочий, ты — растяпа».

К этому, примерно, и свелась заваруха в четверг. В пятницу, 11-го, началась история с Гуджей, то бишь Де Анджелис, самой старой работницей цеха, если не считать Тамбурини. Она плела черт знает что — про какого-то племянника, сестриного сыночка, у которого «есть подъемный кран, а колеса — от «конструктора», и бечевка не годится, соскальзывает». Послушать Де Анджелис, так сторожа, которые ее задержали в проходной, должны были сказать ей: «Дорогая синьора, этой проволоки вам не хватит, почему бы вам не сходить в цех и не взять еще? И берите не алюминиевую, а медную, медь лучше блестит».

По субботам намоточные машины не работают: график намотки катушек и работы крутильных машин не согласован, стало быть работницам можно посидеть дома. Сегодня, в понедельник, 14-го, Гуджа не обнаружила в проходной своего номерка. Поэтому «Авангард» отошел на второй план — в цеху только и разговоров что о Гудже. «Будь они прокляты! Как можно вот так, ни с того, ни с сего («за кражу материала») уволить пятидесятилетнюю женщину!» Полдюжины ее товарок страшно переполошились и сговорились встретиться в уборной. Каждая заняла по кабине. Поскольку кабин всего пять, то в одну пришлось забраться вдвоем. Разговор идет через перегородки.

— Так договорились? Пойдем к инженеру?

— Учитывая, какой успех имела делегация, хлопотавшая насчет душа...

— С Кишкой я ни за что разговаривать не буду. На колени перед ним становиться не собираюсь.

— Очень надо...

— Амелия права. Я тоже...

— И я, и я, и я.

—...Очень надо выслушивать его нравоучения: «Хотел бы я посмотреть, как поступают в таких случаях в России. У нас просто выгоняют с завода, а у них ссылают в Сибирь. Правила внутреннего распорядка...

— ...для всех одинаковы. Здесь завод, а не богоугодное заведение».

— А что, если составить петицию? Подпишут старейшие рабочие цеха... Что Гуджа украла проволоку, отрицать нельзя. И все-таки...

— «Украла» это пусть они говорят. А мы скажем...

— ...должны же они учесть, что Гуджа это сделала не подумавши и за двадцать восемь лет безупречной работы на заводе...

— Не кажется ли вам, что пора кончать со всеми этими глупостями...

— Если ты такая умная, придумай что-нибудь другое!

— Эх, звездочка моя, не ума нам не хватает, а смелости.

— Чего мы добились намедни, когда пришла в цех эта новенькая?

— А при чем здесь новенькая? Не о ней речь!

Понедельник вообще день тяжелый. А уж этот, 14 ноября, по словам Маньялоса, хуже не придумаешь. С него началась еще одна скверная неделя, еще одна зима — сырая, промозглая, с холодными ветрами. А Кишка с того дня просто осатанел. Когда Гавацци поднялась с места и отошла от машины, злополучный день близился к концу, начинался сумрачный вечер. Берти вышел из своего закутка: было время контроля выработки.

Гавацци кинулась ему наперерез:

— Мне надо с тобой поговорить.

— Я слушаю.

— Не здесь.

Берти оборачивается, смотрит на стеклянный куб Рибакки. Только что шеф был там, но сейчас его нет. Берти следует за Гавацци на некотором расстоянии. И только когда она сворачивает к мужской раздевалке, догоняет ее — тщедушный, весь как на шарнирах.

— Нет, туда не ходи!

— Хочешь, чтобы я завела тебя в женскую?

В раздевалке пусто. Уже нет смысла курить тайком: скоро конец работы и можно будет покурить на свободе. Уборными же все попользовались больше, чем надо. Сейчас рабочие на своих местах: кто старается побольше выработать, пока мастер не

сделал отметку в листке, кто наводит порядок на рабочем месте, кто клянет за медлительность стрелки электрических часов, кто перебрасывается старыми как мир шуточками. Но как только зазвенит звонок, в ту же секунду...

Берти нервничает, будто они с Гавацци пришли грабить квартиру.

— Я не могу. Мне надо делать обход.

Гавацци озирается:

— Черт бы вас побрал! Сразу видно, что женщин здесь не бывает. Ну и помойку развели! А вонь какая... Неужели мамаши не научили вас хотя бы воду за собой спускать?

Внезапно она делает крутой поворот и идет в атаку:

— Как же насчет девчонки с «Авангарда»?

— Я думал, ты про Гуджу...

Но так уж Гавацци устроена: она может сосредоточиться только на чем-то одном. На том, что в данный момент тревожит ее ум и сердце. Когда ей сказали о совещании в уборной, она сразила своих товарок отповедью:

— Гуджа? Сделала глупость, пусть сама расхлебывает...

К Берти у нее другой разговор:

— Я видела, что она работает.

— Для «Авангарда» это как раз то, что нужно, ей-богу.

— Ты, наверно, хотел сказать: совершенно не то, что нужно.

— Не понимаю...

— Берти, раскинь мозгами. Если девчонка справится, то через полгода-год со старыми работницами придется распрощаться. На место каждого «Гумбольдта» поставят по «Авангарду», а к каждому «Авангарду» посадят по девчонке, готовой расстаться с одной рукой. Если какая и заупрямится, то опыт показал: за воротами всегда найдется горемыка, которая согласится.

— А при чем тут я? Мое дело — научить ее работать. Вот и все. Я пошел.

От голубизны в глазах Берти ничего не осталось. Взгляд стал тускл:м. Это еще больше выводит Гавацци из себя:

— Дура я, дура! Нашла с кем разговаривать! Думала, ума палата... Скажи, с какого дня она зачислена?

Берти точен:

— Смотря по тому, как считать: если с момента, когда отдел кадров...

— Я подсчитала: с сегодняшним — четыре дня. Включая завтрашний день, пять. Завтра чеши к Кишке...

— Пожалуйста, не называй его Кишкой. Хотя бы при мне...

— ...наговори ему чего-нибудь. Скажи, что она еще несмышленая, что она — растяпа, что ничего не соображает. Пусть решает сам. Будь покоен, он на себя ответственность брать не захочет. Видал, как увиливает? За версту «Авангард» обходит, будто минное поле.

— Он всегда так.

— Вот-вот, лишь бы выйти сухим из воды.

— Как я ему скажу, что девчонка не подходит, если это неправда.

— Черт бы тебя побрал! Удивляюсь, почему ты не запрешься на кухне и не откроешь газ сегодня же ночью.

Берти весь съежился в ожидании дальнейших ударов судьбы.

— Единственное, что мне осталось, это честность.

Гавацци топнула ногой:

— Ах, честность? Порядочность? Чувство долга? — Она хватает его за плечи, поворачивает к себе лицом, держит под обстрелом своих серых глаз, утонувших в мясистых складках щек.— Добродетели, которые они нам прививают в своих школах, да? Которые пропечатаны в их книгах, в их катехизисе? Хочешь заручиться местечком на небесах, ублажай власть имущих на земле?!

— Не кричи. Услышат.

— Ну и что, если услышат? Как по-твоему, что они подумают?

— Что я поступаю нехорошо. Начальнику не пристало...

— А мне пристало?! Обо мне ты не подумал? Торчу здесь с тобой на этой помойке и рассуждаю... о честности!

— Сейчас звонок...

Берти из тех, кто на часы смотрит только для самопроверки — время у него в голове. Одно плечо он высвободил, а другое никак: вцепилась — не выпускает.

— Короче говоря...

Звонок. Но разве она отпустит? Ни за что. Проходят доли секунды, и в раздевалку врываются Брамбиллинчик, Сакки с «Гумбольдта», неразлучные Маньялос и Тревильо, Брамбиллоне, Сальваторе Куомо, Джеппа и Порро; за ними хлынули остальные. Едва войдя, они начинают расстегивать и срывать с себя спецовки с такой неистовой поспешностью, будто они огнем горят. Заметив Гавацци, застывают на месте. Но всем некогда: один опаздывает на поезд, у другого свидание с девушкой, у третьего собрание партийной ячейки. Одни, встав боком, чтобы не демонстрировать ни зад, ни перед, продолжают раздеваться. Другие стоят в замешательстве, с нетерпе-

нием ожидая, когда же она уйдет. Чего ей здесь надо в такое время? Любопытные подходят поближе.

Гавацци вцепилась в Берти мертвой хваткой. Она не смущается, ждет, чтобы вокруг собралось побольше народа.

— Короче говоря, сегодня ночью ты, вместо того чтобы спать, поразмысли, что значит для трудящегося человека быть честным, что такое нравственно и безнравственно.

Джеппа: — Если ты про Гуджу...

Гавацци (выпустив Берти и пробираясь сквозь толпу):— Да уж, конечно, не про такую любопытную сороку, как ты!

Тревильо: — Бедная Гуджа. Проработать двадцать восемь лет на одного хозяина, и вот тебе...

Брамбиллоне: — Видать, плохи дела у Гавацци, если она теряет время с этим кроликом...— Брамбиллоне нарочно повысил голос, чтобы «кролик» настиг Берти у порога раздевалки, хлестнул по спине.

VI

— Зеленая кнопка.

Марианна произносит это вслух. Рука повисает в воздухе. Она вглядывается в глубину цеха. Сегодня седьмой день испытательного срока. «Испытательный срок. Что они, собственно, проверяют? Можешь ли нажать кнопку? Как отводишь рычаг? Да нет, просто хотят знать, прихожу ли я вовремя на работу. У рабочего — одна забота: изловчиться надеть спецовку и отметиться до того, как стрелка часов с без одной минуты восемь прыгнет на восьмерку. Остальное идет само собой. Время летит, просто диву даешься. Миновал первый день, потом прошло еще несколько, а теперь и вся первая неделя пролетела...»

— Зеленая кнопка.

Она нащупывает ее пальцем. Но пока не нажимает. Что случилось с Берти? Будильник, что ли, подвел? Каждое утро, когда она направляется к «Авангарду», он выскакивает из своего закутка у входа. Ей незачем оборачиваться, она и так знает, что он идет следом своей смешной покачивающейся походкой, похожий на жокея.

Пока она готовится к работе — чистит станок, смазывает его,— пока «Авангард» совершает свой «утренний гуалет», Берти стоит за ее спиной. «Начинай!» — велит он. Спасибо, будто она сама не понимает, что пора начинать. Чего ему надо? Что он лезет со своими советами? Ничего такого, чего она еще не знает, он все равно ей не сообщит. Да что поделаешь, он начальник. Ему тоже надо свой хлеб отрабатывать.

Немного погодя Берти отходит, потом возвращается и снова долбит одно и то же или молча наблюдает. Помолчит, помолчит и пойдет себе. Но самое интересное, стоит ей остановить «Авангард» в отсутствие Берти — мало ли что бывает: проволока оборвется или катушку надо сменить,— он тут как тут! И чем он больше торопится, тем пружинистей его походка, тем больше он раскачивается. Как он умудряется различить сквозь этот грохот, что одна из машин больше не работает, уму непостижимо...

— Знаешь что я сделаю? Включу на полную мощность, потом приторможу и остановлю. Увидишь, как он примчится! Зеленая кнопка.

Она спохватывается, что разговаривает вслух. Ждет, чтобы «Авангард» набрал скорость. Но не слишком: ровно столько, сколько надо, чтобы ощутить разницу, когда он будет замедлять ход.

Красная кнопка. Тормоз.

А сама поглядывает на пустой закуток Берти.

«Нет, смотри все время на машину, как смотришь в кино на экран. Не надо так резко тормозить, плавнее, как я тебя учил»,— повторяет она про себя.

Мимо проходит сварщик:

— Что-нибудь не ладится?

— Нет, нет, все в порядке.

— Мне можно идти?

— Да, да. Спасибо.

Она снова запускает мотор — дает побольше оборотов, потом еще больше. Отводит рычаг, тормозит. И — еще раз, сокращая время торможения. Вдруг ей приходит в голову, что Берти не появляется нарочно, хочет проверить, справится ли она сама. Рука нащупывает зеленую кнопку...

Спокойно, Марианна, спокойно.

— Зеленая кнопка.

Голос дрогнул. Дрожала, нажимая на кнопку, и рука. Проходит секунда, две, три. Катушки закачались, люльки тоже. Проволока натянулась, побежала к захватам, из глубины вырвался вихрь, знакомые звуки становятся все выше, выше, пока не сливаются в один равномерный, громкий, четкий голос. От захватов ползет кабель, он обвивается вокруг вытяжного барабана, на приемный барабан плотно ложатся ровные,

блестящие витки. Так уже было десятки, сотни раз, не правда ли? Значит, нечего волноваться, не так ли? Нечего волноваться.

Остановить?

А зачем останавливать? Незачем. Нет никакой причины. Просто потому, что так решила.

«Красная кнопка. Тормоз. Остановилась? Да. Зеленая кнопка...»

Как хочется поглядеть, что делается вокруг! Идет ли Берти? Наблюдает ли за ней кто-нибудь издалека? Рибакки, например. Или толстуха. Или бесцветная блондинка по имени Амелия (она — единственная из всех, кто решается чуть-чуть улыбнуться Марианне в раздевалке). Замечают ли они, как она хорошо справляется с работой? Нет, барышня, глазеть по сторонам воспрещается — надо смотреть на машину... Как в кино — на экран...

Хорошо, что мать не видит, как она тут управляется одна с этой зверюгой. Вот бы подняла крик! Разнесла бы всех в пух и прах. А может, осталась бы довольна. Никогда не знаешь, чего этим мамам хоч... Тик-так? Ты сделала «тик-так»? Ладно!

«Красная кнопка. Тормоз. Потихоньку, без нажима. Остановилась? Да. Беру конец оборвавшейся проволоки...»

Спокойно. Главное — спокойствие. Но спокойствие спокойствием, а дело делать надо... А то поднесла руку к прорези и застыла... Только потому, что до этого, за несколько секунд до этого... Мура! Если так рассуждать, никто бы через трамвайную линию перейти не решался — под тем предлогом, что трамвай только что прошел или вот-вот появится...

«...и вгоняю его в повив. Дошел до места? Дошел. Теперь зову сварщика».

Этот сварщик — из молчальников. Не поймешь, то ли он ушел с головой в работу, то ли просто чокнутый. Он вытаскивает свои инструменты, раскладывает их на цементном полу, проверяет, хорошо ли оборванная проволока вошла в повив, зачищает оба конца, сваривает их, снова зачищает стык, потом, закрыв глаза, кончиками пальцев ощупывает проволоку и, если на месте сварки обнаруживает утолщение, снова берется за напильник. Иной раз переделывает заново. До чего дотошный! Уложив свои инструменты, он всегда бросает на Марианну серьезный взгляд, будто спрашивает: ведь правда, я сделал все быстро и хорошо? Он явно не здешний — из Неаполя или еще откуда-нибудь в этом роде. Может, потому он и не открывает рта? Чтобы не поняли, что он — деревенщина? Все равно видно: выдают глаза, южные, черные, и смуглая кожа.

Подъезжает цеховой «автомобилист» Маркантонио, а точнее — Луиджи Инверницци.

— Привет, красотка! Как ты себя чувствуешь без дядюшкиной опеки?

Я чувствую нечто,
Я чувствую нечто...

Он напевает, задает вопросы, сам на них отвечает. И одновременно сгружает с «Форклифта» катушки с проволокой, подкатывает их к «Авангарду».

— Шутки в сторону, я и впрямь боюсь, как бы Берти, наш старый Берти...

— Послушайте, кончайте свое дело и уезжайте!

— Ну, ну, ну! Не забудь, что я гожусь тебе в отцы... Я, конечно, понимаю: встретили мы тебя не очень-то гостеприимно, но и ты должна соображать, в какое положение ты нас поставила.

Лишь много позже (сначала ушел сварщик, толкая перед собой, будто тачку, свой верстачок с паяльной лампой, потом, по-прежнему напевая, отъехал Маркантонио) в гудящем голосе «Авангарда» Марианна различила слова: «Я и впрямь боюсь, как бы Берти»...

Какое ей дело до Берти? Чем меньше он мозолит ей глаза, тем лучше.

VII

Инженер д'Оливо: — Сколько вам лет?

Он уже задавал этот вопрос дважды. Инженер д'Оливо сидит за столом и подписывает письма — сначала подписывает, потом читает. Найдя ошибку, перечеркивает свою подпись крест-накрест, — точно бритвой полоснет. Когда звонит телефон, инженер по селектору просит сказать, что его нет.

Марианна: — Двадцать два.

В кабинете светло, как ночью в аэропорту. В одной половине комнаты стоят письменный стол из дорогого дерева, стулья, обитые черной кожей, шкаф с зелеными прямоугольниками; еще один стол — стеклянный, а вокруг него — небольшие венецианские кресла; стены от пола до потолка обиты японскими циновками, увешаны картинами, рисунками. Во второй половине комнаты простые еловые чертежные доски, на них масса чертежей, кальки, синьки; там стоят железные табуреты, множество бра, ламп, на стенах — диаграммы выпуска и потребления продукции, графики затраты рабочего времени; машины в разрезе, схемы установок; все они прикреплены кноп-

ками и кое-где за недостатком места — в несколько слоев. Сами стены испещрены пометками, математическими формулами, набросками.

Карлези — предшественник инженера Рибакки, завзятый каламбурист — называл кабинет инженера д'Оливо «двукабинетом двудиректора», а сам д'Оливо, сидя в той половине кабинета, которая походит на конструкторское бюро, чуть что не по нему — грозит:

— Осточертело мне жить среди идиотов. Перейду-ка я туда...

Сейчас инженер д'Оливо — рано полысевший мужчина лет тридцати пяти — выражается немного иначе:

— Поскольку мне приходится доживать свой век среди идиотов...

В селектор:

— Заберите почту.

Затем вошедшей секретарше:

— Я подписал в среднем из трех писем одно. Вот и подсчитайте, сколько надо было бы удержать из вашей зарплаты.

И начинает расхаживать из одной половины кабинета в другую. Лицо у него асимметричное, фигура угловатая, движения — резкие, словно под ссохшейся кожей заключено какое-то устройство из мелких косточек — без мускулов и связок.

— Стало быть, вы говорите, что не боитесь.

Марианна: — Я? Я вам ничего не говорила.

Д'Оливо: — Плохо. Очень плохо. Испытательный срок еще не прошли? Занимались когда-нибудь альпинизмом?

— Альпинизмом?

— Нет, педагог бы из меня не вышел. И знаете почему? Потому что мне страшно действует на нервы ученическая манера повторять каждый вопрос. Сколько, вы сказали, вам лет?

— Двадцать два.

— Вы в этом уверены? Я свой год рождения заучил только потому, что это требуется для личного дела; иначе я всякий раз называл бы другой возраст — от двадцати одного до сорока девяти, в зависимости от настроения, обстановки, климата, причем в полной уверенности, что не грешу против истины.

— Двадцать третий пошел...

— Любопытно выражаетесь! Впрочем, многие так говорят. Я бы еще понял, если бы вы сказали: «Вступаю в двадцать третий». Но «двадцать третий пошел»?! Хотя, понимаю: в глаголе «пошел» выражена уверенность в том, что происходит движение в определенном направлении, а во всем этом обороте содержится намерение, предположение, имманентно присущее всякому оглашению цели, задачи, по достижении которой речь пойдет уже о двадцать четвертом, двадцать пятом годе и так далее. Очень симптоматично. Когда мне было шестнадцать лет, я раздумывал: то ли мне заняться психиатрией и стать филологом, то ли, наоборот, филологией и стать психиатром. Я тогда готовился сдавать на аттестат зрелости, за классическую гимназию. А вы к чему готовились в шестнадцать лет?

— Не помню. Я была совсем девчонкой...

— И тем не менее каждое воскресенье, каждый праздник передо мной возникала новая стена. Вы про гору Гринье слыхали?

— Слыхала...

— Терпеть не могу гор. Особенно ненавижу эти огромные массивы, изменение которых совершенно не вяжется с человеческими масштабами времени... Уже не говоря о том, что мир, в котором живет человек, должен быть, по-моему, плоским и гладким, как бильярдный шар. Но зато какую это дает закалку! Почему? — спросите вы. Потому что в горах я приучил себя отличать риск от опасности. Откуда проистекает риск при отвесном спуске? Из неумения соразмерить при каждом шаге сумму сопротивления тела с силой земного притяжения. Из неумения рассчитать, насколько надежна опора. А опасность? Опасность рассчитать нельзя, предусмотреть — тоже, она таится в срывающемся с высоты камне, во внезапно разразившейся грозе. Овладевая техникой восхождения, я постепенно научился выявлять опасность, объективизировать ее. Но почему вы стоите? Садитесь!

— Я предпочитаю...

— Ну, конечно. Если ощущение опасности охватывает человека, когда он находится в лежачем положении, он тотчас приподнимается и садится. Сидячее положение в данном случае начальная мера, предваряющая последующие действия. Я уверен, что вы бы ни за что не смогли лежать здесь на полу. Уж во всяком случае, сели бы. А поскольку вы стоите, вам не хочется садиться. Почему? Потому что вы подсознательно следуете одному из атавистических инстинктов — инстинкту бегства. Это плохо. Очень плохо. Только у людей творческих — а к этой категории я причисляю и ученых,— рациональное начало и инстинкт могут и должны сосуществовать. А у заурядных индивидуумов логическая мысль должна подавлять инстинкт. Стало быть, возвращаясь к нашему случаю, если система рационального мышления заражена инстинктами, псевдоинстинктами, неуловимыми подсознательными страхами, то как же вы можете воспитать в себе страх, логичный, объективно оправданный?

— Не знаю...

— Ваша фамилия Босси?

— Колли. Колли, Марианна.

— Вы любите кино?

— Не очень.

— Я хожу в кино три раза в неделю. Не пропускаю ни одного ковбойского фильма, ни одного детектива. Из каждого фильма, каким бы идиотским он ни был, можно что-нибудь извлечь. Сегодня вечером вы заняты?

Лицо девушки заливается краской.

— Да, кажется... занята.

— Освободитесь. Сегодня идет «Наперекор смерти». Вы, конечно, уже видели. Это старый боевик Форда. Сегодня вечером — в «Эдеме». Не пропустите. Посмотрите еще раз — с профессиональной точки зрения. Сосредоточьте внимание на одной детали: на том, с какой быстротой Генри Фонда и Виктор Мэтьюр выхватывают из кобуры пистолеты. Откуда у них это проворство, эта молниеносная реакция, знаете? Нет? Я вам скажу: их всю жизнь неотступно терзает страх. Да, моя милая. Потому-то у них такая бравая выправка, уверенность в себе. Они смелы, они рискуют, но ощущение опасности не покидает их ни на секунду. Однако их ощущение не имеет ничего общего с тем расплывчатым страхом, который испытываете вы и который мешает вам сесть в моем присутствии, несмотря на все мои настояния. Их страх обусловлен совершенно определенным предположением, связанным с известными обстоятельствами. Ну, как? Может, вы теперь присядете?

— Спасибо, но...

— Развитие нашей культуры в техническом плане влечет за собой два обстоятельства: накопление благ и сокращение зол, в том числе и такого, как конкретный риск. Вы, наверно, заметили, что я употребил слово «риск», а не «опасность». Человек эпохи неолита, орудовавший топором, тоже подвергался риску: например, рисковал угодить себе топором по ноге. Но разве мужчина или женщина, работающие, предположим, на моей крутильной машине, рискуют чем-либо в этом роде? Нет, конечно! Хотя они имеют дело с механизмом — с механизмом, мощность которого в сотни тысяч раз превосходит силу человека, а потому таит в себе опасность, которую можно считать ничтожно малой и одновременно огромной; следовательно, ее нельзя недооценивать. После этого вы все еще будете меня уверять, что нисколько не боитесь?

Он подошел к Марианне — иссиня-бледный, негодующий:

— Мы, инженеры, ученые, слава богу, свою задачу выполняем! Еще как! Мы создаем вместо старых все более эффективные, совершенные и безопасные машины. Но мы не можем заменить людям мозги. А человеческий мозг постоянно отстает, не дотягивает до нужного уровня. Разве в глинобитных хижинах Экваториальной Африки безопаснее жить, чем в пятидесятиэтажных небоскребах? В небоскребах в тысячу раз безопаснее. Конечно, если какой-нибудь господин Х, дурак набитый, слишком высунется из окна пятидесятого этажа, то он упадет и разобьется, чего не произойдет с африканцем, высунувшимся из окна (если таковое имеется) своего дома, слепленного из глины и навоза. Но будьте уверены, что из ста человек, которые прочтут в газетах сообщение об этом случае, девяносто девять не будут ругать глупого господина Х, а возненавидят самую идею небоскреба, символ прогресса человечества. Ну, а сейчас — не злоупотребляйте моим терпением! Перестаньте смотреть на меня так, словно я — Франкенштейн *. Вы знаете, кто такой Франкенштейн?

Указывая на одно из венецианских креслиц:

— Двести лет тому назад какая-нибудь дама в парике проводила в нем большую часть своего времени за приятным занятием — перемывала косточки своим ближним.

Не успела Марианна опереться о ручки кресла, чтобы сесть, как он воскликнул:

— Что вы делаете? Разве вы не видите, что сломана ножка?

— Вы же сами мне велели сесть!

На одной из задних ножек креслица — трещина. Из нее просочился клей, похожий на смолу. Древесина в этом месте, по-видимому, была сильно изъедена жучком.

— Не надо было плюхаться с размаху! Потолок бы на вас обрушился, что ли? Или провалился бы пол под ногами? Или я бы вас растерзал?

Он повернулся к девушке спиной и, уставившись в простенок, белевший между портьерой и какой-то картиной, вежливым, вкрадчивым голосом продолжал:

— Или вам грозило еще что-нибудь в этом роде? Признайтесь, что никакой опасности не было. Тем не менее вы испугались, хотя только что самоуверенно заявляли, будто ничего не боитесь. Еще как боитесь! Вас обуял такой отчаянный, непреодолимый страх, что вы забыли соблюсти единственную логически оправданную осторожность: убедиться в том, что креслице, имеющее, как я вам сказал, солидный возраст в два века, прочно стоит на всех четырех ножках. Я поступил неправильно, по-дилетантски, помешав вам плюхнуться на пол. Урок возымел бы большее действие, запомнился бы надольше.

Он снова усаживается за стол.

---

* Чудовище в образе человека, герой романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818), впоследствии неоднократно экранизировавшегося.

— Все, что от меня требовалось, я вам сказал, и не один раз, а по крайней мере трижды, и даже подкрепил свои слова наглядным примером. Чего же вы еще ждете?

VIII

Стычка между Берти и Гавацци в мужской раздевалке произошла в понедельник, 14 ноября. А во вторник к концу рабочего дня Берти отправился к Рибакки. Цеховые конторщики — их будка находится на том же возвышении, что и кабинет Рибакки,— потом рассказывали, будто там разыгралась настоящая баталия. Голос Рибакки, доносившийся до них из-за перегородки, звучал все резче, все пронзительней (по выражению конторщиков, «можно было подумать, что курицу режут»); под конец шеф разразился бранью и угрозами. Как выяснилось позднее, самих ругательств и угроз они не расслышали, но у них создалось полное впечатление, что «все там было». Берти, по их словам, в течение всего разговора стоял лицом к Рибакки и, стало быть, спиной к конторе. То, казалось, он хныкал, то повышал голос, правда, жалобно, заикаясь; Рибакки же рвал и метал. Иначе рассказывала другая свидетельница — Чезира Белламио. В семь часов, когда она кончила уборку, она застала такую сцену: Рибакки, скрючившись, стучал кулаком по столу, а Берти стоял к нему спиной. Да полно: Берти? Спиной к Кишке? Вероятно, боком — лицом к двери, выходящей на галерею, которая тянется вдоль задней части стеклянного куба.

Да... Лобовая стычка, произошедшая между Рибакки и Берти, ввергла цех «Г-3» в состояние радостного возбуждения. Все ждали — что будет? Гавацци отмалчивалась. Наконец она не выдержала и дала нахлобучку неугомонному Маркантонио, который начал уже высказывать кое-какие подозрения, подбрасывал ехидные вопросики, подначивал.

— Учись у своей жены Сильвии! — ворчала Гавацци.— Когда надо высказаться, она высказывается. Когда надо кричать — покричит, а когда лучше помолчать — держит язык за зубами.

Берти не появился и на следующий день, в среду. В этот день в цех спустили приказ об увольнении Гуджи. «Настоящим уведомляем, что с сегодняшнего дня... Вам предлагается явиться за получением причитающейся суммы».

Не было Берти и назавтра, в четверг. В пятницу, 18-го, Гавацци набралась духа и отправилась к Рибакки.

— Берти.— Так она начинает все свои выступления — с заголовка.

Рибакки тут же выдал, по-видимому, давно заготовленный ответ:

— Не думаю, чтобы он заблудился в лесу или угодил в пасть волку.

— А я чую, что дело было именно так.

— В таком случае, кто же — волк? Уж не я ли?

— Вы или кто-нибудь покрупнее. Если из стада пропадает овца, пастуху безразлично, какой волк ее задрал. Хоть тот, хоть этот — один конец.

Близко поставленные глаза Рибакки сблизились еще больше: их разделяло теперь только лезвие носа.

— Зато волк, которому удастся съесть вас, еще не родился на свет.

— Волк волка не заест. Если, конечно, один из них не угодит лапой в капкан.

— А в таком случае, тот, что на воле, сожрет попавшего в беду?

— Вот именно.

Рибакки довольно долго рассматривает ногти — сначала на одной, потом на другой руке. Демонстрирует свою власть, право сидеть за столом и рассматривать ногти, в то время как собеседник стоит перед ним, переминаясь с ноги на ногу. У Гавацци к тому же щиколотки изуродованы артритом.

Она говорит:

— Слава богу, что мать-природа дала нам только десять ногтей.

— Гавацци, я — человек осторожный, обхожу капкан за версту. А вы, как мне кажется, лезете на рожон. По-моему, в данный момент вы на волосок от опасности.

— Только для того, чтобы не прозевать интересное зрелище, когда сработает пружина. Короче: когда вернется Берти?

— Я не врач и не хиромант. Знаете, что можно сделать? Давайте послушаем, что скажет отдел кадров. Я нисколько не удивлюсь, если окажется, что и у них тоже есть кое-какие вопросы. Не ко мне, конечно, а к вам. Например, насчет одной недавней беседы с вышеупомянутым Берти, состоявшейся в довольно необычном месте.

Он протянул красивую холеную руку, поднял трубку, посидел так, опершись локтем о стол, придерживая другой рукой покачивающийся шнур («по ком звонит колокол», да и только!), и положил трубку на место.

— Я знаю, что к советам вы не прислушиваетесь. И я остерегусь вам их давать. Ограничусь лишь одним замечанием. Когда находишься в радиусе действия тяжелой артиллерии, подставлять грудь, по-моему, нелепо, так же нелепо, как и размахивать штыком. Пехоте, каковой мы являемся, остается лишь спрятаться в укрытии.

— Спрятаться в укрытии или заживо себя похоронить?

Гавацци ушла разъяренная. Она злилась не на Рибакки, а на себя. Что толку от таких словесных раундов? Ну, высказала ему в глаза правду-матку... Тощее утешение. Незачем было к нему ходить. Послушалась голоса совести. Вечная песня! Чего они стоят, эти «голоса»? Голос сердца, голос страсти, глас судьбы. Не хватает только вспомнить про ангела-хранителя, который стоит за твоей спиной и подсказывает, что надо делать, а чего не надо. Ангела-хранителя в образе профсоюзного уполномоченного. Чтобы наверняка уйти от ответственности. Нет, каждый должен считать себя лично ответственным за все, что происходит. Получила новенькая подтверждение о зачислении в штат? Да. Годится Берти на что-нибудь? Нет. Борьбу против «Авангарда» надо вести совсем иначе, сообразуясь с первостепенными задачами, как часть общей программы. И т. д. и т. п. Вместо «голосов» — «планы», «масштабы» и «уровни»... Короче говоря: вместо формул, предлагаемых католиками,— всем знакомые формулы коммунистов. Каков же выход? Что противопоставить бездействию? А бездействовать — значит развязать им руки... А может быть, именно сейчас Берти может сослужить службу? Кролик в руках палача перестает быть просто глупым, пугливым зверьком, а начинает играть общественно значимую роль жертвы.

Как бы там ни было, с момента исчезновения Берти прошло еще три дня — всего, с воскресеньем, семь. И ничего нового. Во вторник, 22 ноября, войдя в цех, рабочие «Г-3», к своему великому удивлению, обнаружили в закутке, ранее принадлежавшем Берти, незнакомого молодого человека. Он был в новой с иголочки спецовке, туго обтягивавшей его полноватую, но крепко сбитую фигуру. Портрет довершали рыжие курчавые волосы, курносый нос на веснушчатом лице, острые зубы и ямочка на подбородке. Полдня он провел в кабинете Рибакки — видно, брал у него интервью — и в соседней комнатушке-конторе, а вторую половину дня просидел в закутке Берти, что-то записывая в черную тетрадь; в конце рабочего дня запер ее в стол, а ключ сунул себе в карман. За весь день он ни разу ни с кем не заговорил. Кто больше, кто меньше, но все за ним наблюдали. Значит, Берти выперли? А этот шурупчик явился на его место? Это казалось невероятным даже самым закоренелым пессимистам.

Гавацци разглядывала вновь прибывшего профессиональным глазом. И решилась сказать себе лишь: «Кто его знает...» То он ей казался усердным новичком, изо всех сил старавшимся показать, как он свободно себя чувствует, чтобы замаскировать глубоко укоренившуюся робость, и потому довольно симпатичным. То она хмыкала про себя: «Гм-гм...» В течение дня она несколько раз меняла свое мнение. И в конце концов решила, что он — Котенок. Кошек Гавацци терпеть не могла, но к котятам относилась снисходительно.

Наступил следующий день. Новый парень взял под прицел «Авангард». Остановился у края площадки, прислонился к столбу и застыл. Время от времени он расстегивал молнию, доставал черную тетрадь и что-то записывал. Авторучка издали похожа на золотую. Как только «Авангард» останавливается, парень вытягивает из рукава крепкое веснушчатое запястье: засекает время. Хронометр у него тоже золотой — по крайней мере, так выглядит со стороны. Вот остановил, вот снова пустил (Джеппа, торжествующе: «Я же вам говорил, что это — новый учетчик!»). Сделал запись в черной тетради, убрал ее в карман спецовки, снова принялся внимательно наблюдать за работой машины.

Так продолжалось часа полтора, после чего Марианна не выдержала.

— Красная кнопка,— произносит она громко. И еще громче:— Тормоз.— Остановив «Авангард», она просит:— Будьте любезны, уйдите отсюда.

Парень подводит черту под последней записью, сует тетрадь в карман спецовки, подтягивает молнию до самой шеи. Он стоит, где стоял, и устремляет на Марианну свои круглые глаза неопределенного, переменчивого цвета.

— А почему?

— Потому что вы действуете мне на нервы.

Молодой человек слегка краснеет:

— К сожалению, не могу. Меня для того и наняли, чтобы я простаивал здесь не менее восьми часов в день. Не только возле этого...— Он отходит от столба и потягивается, как бы желая размяться. И улыбается.— ...столба. А вообще здесь.

Своей небольшой веснушчатой сильной рукой он показывает вокруг на намоточные и крутильные машины.

— Меня зовут Бонци.

При этом он весело улыбается.

У Марианны екает сердце:

— Значит, вы... А Берти...

— Берти? Кто это такой?

И, тут же переходя на «ты», по-свойски:

— Машина у тебя — блеск. И знаешь почему? Несложная. Работать на такой — проще пареной репы. Кто знает, родит ли когда-нибудь моя круглая голова что-нибудь похожее на эту гениальную штуку? Или ты, как и все, считаешь ее зверюгой?

— Я делаю свое дело. И делаю его хорошо, если мне не мешают своей болтовней посторонние.

— Да, ты работаешь неплохо. Особенно если учесть, что поступила всего десять дней назад. Через полгода-год станешь неплохой работницей. Тогда будешь знать, что спокойствие зависит не от того, одна ты или нет, а от умения вести себя так, будто ты одна, даже если вокруг толпа.

Он снова прислоняется к столбу, но повернувшись на девяносто градусов, так что теперь он стоит к Марианне боком — не поймешь, то ли он здесь, то ли нет его. Марианна пускает станок, а парень вытаскивает черную тетрадь. Наверно, спешит записать эту ерунду насчет того, как надо чувствовать себя в толпе будто ты одна.

Гавацци наблюдала за этой сценой. Только этого не хватало, чтобы новенькая снюхалась с новеньким! Тогда уж от нее ни за что не избавишься!

Сзади подъехал Маркантонио; резко затормозил свой «Форклифт» и, не сходя с места, нагнувшись, прошептал Гавацци на ухо:

— Я видел Берти.

— Да что ты шепчешь-то? Чай не в исповедальне!

— Его загнали на «Руэру».

Гавацци вздрогнула и, чтобы он не заметил, пожала плечами.

— Ну да?! Расскажи кому-нибудь другому!

«Руэра» — это свалка. Ее официальное название ЦВР — цех вспомогательных работ. Пристанище нежелательных элементов, от которых избавляются по политическим соображениям или ввиду пошатнувшегося здоровья. Пользуясь терминологией начальства, «по мотивам нравственного порядка и по клиническим показаниям». Кто докатился до ЦВР, тот конченый или почти конченый человек: да и сам пострадавший в конце концов ставит на себе крест. Каждые пять-шесть месяцев ЦВР опорожняют — без шума, без инцидентов.

— Говорю тебе, что я видел его своими глазами.

Гавацци закусила нижнюю губу. Верхняя задергалась.

— Что он намерен делать? Есть у него какой-нибудь план действий?

— Я с ним не разговаривал.

— Как не разговаривал?! Говоришь, видел и ничего ему не сказал? Да что он — прокаженный, что ли?

— Ты бы тоже, увидев его, обошла стороной.

— Это ты так думаешь!

— У него такой похоронный вид, будто вся семья отравилась газом.

Гавацци задумалась.

— Столько лет проработали вместе, а я даже не знаю, была ли у него семья.

И вдруг спохватилась, что говорит о Берти, как о покойнике.

IX

У Марианны такое чувство, будто ей отвели участок, отделенный глубокой межой от главного поля, где люди работают бригадами, рядами, группами. В трамвайной давке, в сутолоке проходной, в людском потоке, который устремляется вдоль центральной аллеи, потом разветвляется и растекается по корпусам, складским помещениям, мастерским, она чувствует себя частицей этой огромной человеческой массы, именуемой «Ломбардэ». Ежедневно они идут, спешат в одном направлении, подталкиваемые общей необходимостью, стимулом,— иным и гораздо более сильным стимулом, чем те, которые движут отдельными людьми. В раздевалке происходит первое размежевание: ведь Марианна Колли не такая, как все. У работниц одной бригады — шкафчики в ряд, а она ни в какую бригаду не входит. Стягивая с себя платьишко или юбку, надевая спецовку, упрятывая волосы под сетку или колпачок, работницы обмениваются первыми отрывочными репликами, жаргонными словцами, намекающими на всем известные обстоятельства; в них — отголосок жалоб, требований, воинственных и несбыточных планов. Но до сих пор контакт еще возможен — можно встретиться взглядом, случайно задеть локтем и пробормотать «извините». У всех одновременно щелкают навесные замочки, и все, обгоняя друг друга или уступая дорогу, устремляются в узкий коридорчик, отделяющий раздевалку от цеха...

Но тут, миновав коридорчик, Марианна остается одна. Работницы пробегают мимо, топчутся под часами (до восьми — всего пять минут, четыре, три...), хватают табель, отмечаются, догоняют рабочих, отметившихся под мужскими часами, подходят к машинам. А Колли Марианна застряла неподалеку от дверей раздевалки. Каждое утро что-нибудь ее задерживает: позавчера развязался шнурок, вчера она что-то забыла (стоит, роется в карманах, носовой платок. что ли, ищет); сегодня она уронила зажимку для волос, а завтра... завтра будет что-нибудь еще. Не ходи туда, девушка, никому туда ходить не надо... Вот уже несколько машин заработали, загудело несколько моторов. Секундная стрелка обегает по циферблату последний круг. Не ходи, выйди в ту дверь, вернись домой... Она делает несколько шагов, но не к часам, а куда-то вбок. Нет, нет, не ходи. Она видит свое отражение в стекле часов: лицо — негатив, а над ним — большая секундная стрелка. Осталось девятнадцать секунд, восемнадцать, семнадцать. Какое нехорошее лицо видит она в зеркале-часах... Есть о чем

подумать... О чем же? Притворяется, будто размышляет, а в действительности не думает ни о чем, голова — словно налита водой. Осталось десять, девять, восемь, семь. Наподалеку показался нос «Форклифта». Нет, не завтра, а сегодня, сейчас, сию минуту. Пока не поздно. Не ходи, не надо! Осталось три, две. Рывком хватает табель. Зазвонил звонок. Пробила — готово! Звонок прекращается. Она шагает по цеху. «Не ходи», «пока не поздно» вцепились сзади в плечи. Она бросает взгляд на закуток Берти, где теперь расположился этот новый — Бонци. Идет дальше. «Не ходи», вроде, отвязалось. Она шагает, чуть вздернув подбородок, твердо глядя вперед, немного напряженно, по-мужски. «Не ходи» где-то по дороге исчезло. Если даже она продолжает его чувствовать на расстоянии, она знает, что его нет, что она сама его выдумала. Последние несколько метров пути — почти бегом. Пересечь линию столбов — все равно что переступить через порог, затворить за собой дверь, задвинуть засов. Она подбегает к «Авангарду», протягивает руку.

— Привет!

Притронувшись к нему, она вновь обретает ощущение реальности своего нового существования, снова становится Марианной с «Авангарда». Даже мороз по коже подирает — до того ей приятно взять тряпку, встряхнуть ее, протереть бок и гладкое брюхо кожуха. Сначала снаружи, потом — внутри. Потом проволоку и люльку... Качнулась. Проволока, люлька, катушка (если осталась с вечера).

А сама приговаривает: «Ну, как сегодня настроение, хотела бы я знать? Тебе хорошо: стоишь себе здесь, спишь. Или, вернее, дремлешь. Постепенно приучаешь себя к мысли, что завтра еще один рабочий день. Вы только посмотрите, что за барин! Массируют его, гладят, нежат, точно ребеночка. Устроился со всеми удобствами: будильник ему над ухом не трещит, соскакивать с кровати чуть свет в такую холодину не надо (шутка сказать: вот уже два дня, как вода в кране замерзает), не надо опрометью выбегать на улицу и что есть мочи мчаться на завод — не дай бог опоздаешь. Ты обо всем этом даже понятия не имеешь. Смотри, бесстыдник, уже десять минут девятого, а ты... Я не прочь, конечно, за тобой поухаживать. Совсем наоборот! Для меня это самые лучшие минуты».

Она переходит к мотору, протирает вытяжной барабан и приемное устройство. Но взгляд ее устремлен на корпус машины и обращается она только к нему, потому что в ее представлении это и есть «Авангард», а все остальное между прочим.

Все-таки мама, не в обиду ей будь сказано,— горемыка. Точно я, конечно, не знаю, но я спрашивала Карлину Соццани, а та — зачем ей мне врать? — говорит, что у моей мамы дети уже вряд ли будут. Как будто она до сих пор могла иметь детей! Я думаю, дело обстоит так: после того, как отец ее оставил, она опять стала девственницей. Конечно, это разные вещи — остаться девственницей как монахини и стать девственницей после того, как родила ребенка. Но и то и другое, должно быть, противоестественно. Я ведь помню, какая она была в молодости. Нет. Жизнь у нее совсем не легкая. Но она была гордая. Энергичная. Полная жизни, вроде меня. Только к тому же красивая. «Ты учти, я ведь некрасивая! На этот счет у меня не осталось иллюзий. С тех пор как я поступила на завод, я поняла, какая я: не красивая и не урод. Раньше я не понимала, потому что из дома выходила редко, а если выходила, то только с этой каракатицей Карлиной Соццани. Она, конечно, славная: мужчины — дураки набитые, что на ней не женятся...»

Марианна застыла на месте с тряпкой в руке, уставившись на «Авангард», словно в ожидании ответа, отклика.

«Просто беда! Так, со стороны на нее посмотреть — скажешь: мировая девка! Ухватки у нее, как у повивальной бабки. Это будто бы Соццани, отец Карлины, так говорит. Если только она, по своему обыкновению, не выдумывает. У нее фантазии хоть отбавляй! Последняя ее выдумка такая: есть, говорит, один человек — женатый, с тремя детьми, занимает прекрасное положение, очень представительный и так далее,— так вот, он будто бы до того по ней с ума сходит, что грозится руки на себя наложить. Однако отец у Карлины еще похлеще, чем она. Дочка хоть только на словах бойкая, а тот и рукам волю дает. Даже к моей маме подкатывался. Правда, правда! Если б я об этом от Карлины услышала, я бы просто посмеялась, и все, а то... Да, так о чем, бишь, я хотела тебе сказать? Ладно, потом вспомню — расскажу. Понимаешь, когда ты стоишь, мне легко с тобой разговаривать, а как завертишься...»

Уборка закончена, остается только смазать подшипники. Это все равно что поливать цветы на подоконнике, когда земля в горшках и в ящиках от зноя высохла, потрескалась. Чувствуешь себя благодетельницей.

Разговор между тем продолжается:

«Что ты хочешь, мама в молодости обожглась, жизнь у нее с самого начала сложилась паршиво, по-собачьи, вот она и опасается, что я тоже... Но ведь ничего бы этого не было, если бы она сама не захотела... А у меня и в мыслях ничего такого нет. Раньше, до того как пришла на «Ломбардэ», было. Ничего удивительного: сидела одна с утра до вечера. Радио у нас нет; даже кошки, чтобы было на ком зло сорвать, и то не завели. Я выдумала, что у меня есть муж — несчастный человек, с детства страдающий неизлечимой болезнью, что он не может работать, и поэтому я прикована к швейной машине: зарабатываю на двоих. Он хороший человек, но страшный эгоист — знаешь, какие они, эти хроники. Но что поделаешь, надо его пожалеть. Мне

даже приятно было, что я могу кого-то жалеть. Я рассказывала ему содержание кинокартин, в том числе тех, которые видела лет пять-шесть назад; описывала любовные сцены: что он сказал, что она сказала, как они поцеловались и стали женихом и невестой; пересказывала ему судебные процессы и другие страшные истории, вычитанные из газет, в которые были завернуты продукты — мама газет не покупает, говорит, что мне такое чтение ни к чему. Он сидел и слушал, смирный такой. Я была к нему очень привязана. Думала: пусть я хоть кому-нибудь да нужна.

Хуже было по ночам, особенно когда проснешься и лежишь, а сон не идет. Свет зажечь нельзя: мы с матерью вместе спим, на двухспальной кровати. Мама, хоть и не признается, но, ручаюсь, пока я бегаю в уборную, заглядывает под кровать — нет ли там кого в трусиках.

Теперь, слава богу, все это позади. Вечером прихожу домой разбитая, не чаю, как добраться до постели, мигом засыпаю. А днем я — с тобой. Ты теперь у меня вместо того мужа. Как муж ты, черт возьми, ничем не лучше... Ничего не говоришь, о чем думаешь — неизвестно, стоишь как вкопанный, а я знай верчусь вокруг тебя. Ты дневной муж. Муж наоборот. Даже скорее жена, чем муж. Но мне и так хорошо. С меня хватает. Мне спокойно. А ты? Тебе со мной хорошо? Лучше, чем... с... Ну, ладно, туалет окончен. Можно бы, конечно, и почище... Пожалуй, завтра приду на несколько минут раньше — скажем, без десяти восемь. Без пятнадцати восемь начну переодеваться, пяти минут мне хватит, потом... потом, не задерживаясь... в общем, сразу сюда».

После масленки в морщинках ладоней и между пальцами осталось масло. Она вытирает руки о спецовку. Приобретает ли ее комбинезон нужный цвет? Как у настоящей работницы? Марианна разглядывает, где уже замаслен, а где еще нет. Проверяет, все ли на месте, снова заглядывает в учетный листок. Все в порядке? Да. Она приперта к стенке: никаких поводов оттягивать пуск больше нет. Ее даже мучают угрызения совести... Ведь работа-то сдельная: потеряешь время — дашь меньше продукции, а чем меньше продукции, тем меньше заработок. Но вот «Авангард» пришел в движение. Голос его становится отчетливее, ровнее; кабель плотными витками обвивается вокруг барабана,— вот тогда ей хорошо, ах, как хорошо ей тогда, как спокойно! Что еще может дать ей жизнь? Ничего. Да она ничего другого и не требует, больше ей ничего не надо. Правда, правда — ничего! Если что-то неприятное и осталось — вроде едва заметного ощущения пустоты или легкого подташнивания,— то где-то глубоко-глубоко, внутри. И замечает она это лишь вечером, когда в последний раз нажимает красную кнопку, не отводя предварительно тормоза, так что грохочущая махина некоторое время продолжает вращаться по инерции, потом, израсходовав энергию, постепенно выдыхается. Покачивание становится все более вялым, со всхлипами, пока, наконец, махина не замирает на месте, будто уснув. Только тогда Марианна понимает, что могла сплоховать, хоть ей и казалось, что она вне опасности. В действительности же сказать «я — вне опасности» она может только сейчас.

X

Эх, молодежь, молодежь... Да что же это такое? Во время войны, когда человек почитал себя счастливым, если у него оставались глаза, чтобы плакать,— они играли в войну. Только-только перестали держаться за мамкин подол, как ринулись — герои! — подбирать за освободителями окурки «Made in USA». К их приходу мир уже зашпаклевали, подштукатурили, подмалевали — стал как новенький. Море света, воздух хороший. Куда ни глянь — распевают про любовь. Витрины ломятся от предметов не первой необходимости. только покупай — уступят. И в довершение всего — полная свобода. Свобода издеваться над теми, кто в борьбе за нее, за эту свободу, пролил кровь. Может, вслух они этого и не говорят, но у них же на лице написано: «А кто тебя просил?» Зайдите на собрание партийной ячейки... Выручить может только выезд за город или танцулька. Вот тогда у всех вдруг просыпается тяга к социализму. Черт знает что! Мы, дураки, отдаем последние силенки ради того, чтобы солнце грядущего, которого нам самим увидеть не дано, все-таки взошло, а эти восемнадцатилетние и двадцатилетние заявляют: зачем стараться? Разве ты не видишь, что так или иначе мир все равно идет к социализму? Зачем нам вступать в партию, если мы и без того — социалисты?

Эту песню-жалобу Гавацци завела уже лет десять назад, еще после злополучных выборов 18 апреля. И вот — на тебе! Сама не заметила, как все ее интересы сосредоточились на этом юнце. Причем, как всегда в таких случаях, когда кто-нибудь или что-нибудь мобилизует ее сердце и разум, она вкладывает в дело весь свой пыл, внутренне воюет сама с собой и уже ни о чем другом ни думать, ни говорить не может.

— Ну, как, раскусила ты его? — спросила ее как-то раз Сильвия, пока они стягивали с себя спецовки в суматохе раздевалки.

— Кого?

— Да Котенка. Ты так пристально его рассматриваешь, словно собираешься портрет с него рисовать.

— Молокосос! — отпарировала Гавацци, но закусила губу, потому что, по правде говоря, Котенок оказался совсем не так прост: он все больше представлялся ей мальчишкой и взрослым одновременно, хотя ни с молодежью, ни со взрослыми у него не было ничего общего. Он был нечто совершенно особое.

Так называемый Котенок, а точнее Бонци, на завод попал, по-видимому, случайно. Но уж раз он оказался тут, то решил разузнать все, что его интересовало. Ну, совершенно как двенадцатилетний мальчишка, привязавшийся к расклейщику афиш с расспросами: «А что ты делаешь? А почему ты мажешь клеем афишу, а не стену? А почему наклеиваешь три одинаковые подряд? Людям же надоедает читать три раза одно и то же! А прежняя афиша больше не нужна? Ты уверен, что ее уже все прочитали?» И ходит, и ходит по пятам, выматывает душу, а у бедняги расклейщика одно на уме: как бы заработать на кусок хлеба. Так и наш Бонци. Остановится возле машины и расспрашивает: как да что, да почему? А откуда рабочему знать? Так его учили. Так всегда делали. Попробуй, сделай по-другому — уши надерут для начала. А Бонци тем временем знай строчит в своей черной тетради. Иногда дело этим и кончается. А иной раз цап-царап — за ушко да на солнышко!

Вот пример: Бульгерони Сантина приставлена взвешивать проволоку, которая переходит с намоточных на крутильные. Она грузит на весы полные катушки, отмечает вес брутто, вычитает предполагаемый вес пустых бобин и выписывает на карточки вес нетто. Бонци, с хронометром в руке, понаблюдав за ее работой, что-то записывает в черную тетрадь и, наконец, как бы невзначай бросает:

— Поскольку вес пустой бобины известен, или, во всяком случае, предполагается, что известен, логичнее было бы калибровать весы таким образом, чтобы ноль соответствовал весу пустой бобины. Таким образом, вес нетто был бы известен сразу и не надо было бы его выводить путем вычитания из веса брутто.

Это настолько очевидно, что возникает предположение: по-видимому, человечество, за исключением одного его представителя, состоит из дураков. Но Бонци не навязывает своего мнения. Он не дает советов. Он только наблюдает и констатирует. Если при наших отцах был введен именно такой порядок, значит у них были на то свои соображения. Возможно, что и были.

Так он вел себя до сих пор. Приводил рабочего в замешательство, требуя, чтобы он делал то, чего от него никто никогда не требовал: чтобы шевелил мозгами.

Амелия, после того как он битый час простоял за ее спиной, сказала:

— Я чувствовала себя последней идиоткой. Будто под проливным дождем со свернутым зонтиком в руках.

А Сантина, еще не остыв после истории с весом брутто и весом нетто, посетовала:

— Будь у меня тогда зонтик...

К станку Гавацци Бонци причалил дней через десять после своего появления в цеху. Последнее время он взял за правило таскать за собой скамеечку. Бесшумно подойдя к рабочему месту («Подкатился сыр швейцарский»,— комментирует Сантина, намекая на его пористые нейлоновые подошвы), он устанавливает скамеечку, тщательно центрирует на ней свой зад, кладет ногу на ногу, потягивается. Любопытная деталь: он сегодня без черной тетради.

— У меня есть братишка шести лет (забавно, да?). Он уже сейчас твердо знает (счастливец!), что будет охотником на крокодилов, точнее — на аллигаторов. Он встает передо мной — например, когда я бреюсь,— и, наблюдая, как я гримасничаю перед зеркалом, спрашивает: «Ты кем работаешь?» Я объясняю. А он: «Ладно. Ну, а когда вырастешь, кем ты будешь?» Я смеюсь. А сам внутренне холодею... Как тот коротышка, который все думал: вот вырасту, вырасту, вырасту, но в одно прекрасное утро спохватился, что в его возрасте уже больше не растут и что он так и останется на всю жизнь коротконогим.

Бонци разговорился так, словно они с Гавацци сто лет знакомы, пуд соли вместе съели, словно перед ним мамина сестра — добродушная толстуха, одинокая женщина, с которой можно отвести душу, хотя она ровно ничего не смыслит. Вот ведь какой умница! Не забывает тетю. На, съешь айвового вареньица! Но Гавацци тебе не тетя и не добродушная толстуха. Она начеку, с головы до ног закована в броню. Ее программа-максимум — молчать. На худой конец отбрехиваться, но на провокации не поддаваться. Короче: дать ему понять, с кем он имеет дело. И ни одного лишнего слова.

Бонци: — Техник получает свое первое назначение в производственный цех крупного промышленного предприятия. Вырасту, думает он, вырасту. Подобно тому малому с короткими ногами, которому мерещатся ноги Грегори Пека или Джеймса Стюарта (ведь росту, пока человек растет, никто помешать не может). Он твердит себе: вырасту, вырасту. А может, он перестал расти именно из-за того, что угодил сюда?

Бонци умолк и пристально посмотрел на Гавацци. Гавацци даже и бровью не повела.

— Я имею в виду себя. Каким я буду, когда вырасту, говоря словами моего братишки. А другие? Все эти ребята и девушки, которые работают в цеху? Они, так же, как и я, имеют право спросить себя: вырасту ли я? Вырасту ли на этой работе? Буду ли совершенствоваться вместе с работой? Или же раз и навсегда узаконено, что мы — нечто вроде дрессированных тюленей в необъятном цирке серийного производства?

Гавацци (про себя): «Надо отдать ему должное: для Котенка он вырос неплохо. Как ловко раскидал кусочки сыра, чтобы мышка, то есть я, попалась на приманку!»

Бонци проводит тыльной стороной руки по лбу, по глазам. Как это понимать? Устал расставлять ловушки?

— Жаль, что к моменту Освобождения я был еще несмышленышем. Чем больше я об этом думаю, тем больше прихожу к убеждению, что эти так называемые революционные годы были чем-то вроде цирка шапито, который располагается на бастионах, мешает нормальному движению пешеходов и транспорта и, сделав свое дело, исчезает. Кое-что они все же принесли с собой: рабочие, заводской люд, приобрели вкус к труду. Я сужу по своему отцу. Бывало, придет с работы: и кроет всех почем зря за брак, за бесхозяйственность. И с каким жаром! Мы слушали его разинув рты. Но его хватило всего на несколько месяцев. Что же тут удивительного: ведь вначале рабочие так и считали, что они спасли свой завод, поэтому и относились к нему как к своему.

Гавацци стреляный воробей. Она давно усвоила что людей узнаешь не столько по тому, что они говорят, сколько по словам, какие они выбирают. Котенок выбирает слова пинцетом, со всей тщательностью — смотрит как бы не уколоться.

— Не знаю, много ли здесь, на «Ломбардэ», было тогда, двадцать пятого апреля, в день Освобождения, крикунов. Я их так и называю: апрельские крикуны. Или, как говорил мой отец: новоиспеченные партизаны.

Гавацци кусает губы, глотает слюну.

— Впрочем, не знаю, были ли идеи и у настоящих партизан. Я говорю не о революции, а о перспективе, об умной программе.

Гавацци (про себя): «Нет, вы только послушайте, какой наглец, какой провокатор!»

— Я еще у отца подметил: как только он перестал говорить о Сопротивлении, он вообще умолк. Подполье, ссылка, саботаж, «ГАП», «САП», фашизм — весь этот набор был так же быстро забыт, как и усвоен.

Гавацци: «А что, если залепить ему пощечину и от имени отца и в память о нем?»

— И еще я не знаю, многих ли у вас (мне бы надо уже говорить: у нас) уволили во время чистки?

«Хватит! Лопнуло мое терпенье».

— По самым скромным подсчетам, только сотую часть тех, кто заслуживал пинка в зад! — взорвалась Гавацци.

— Мне кажется...

Бонци сдержался. Улыбается. Будто просит его извинить за то, что он, такой молодой, позволяет себе столь смелые суждения.

— Мне кажется, в ваших словах много демагогии. Что бы вы выгодали? Одних людей заменили другими, но сами люди ведь не изменились.

Чтобы доказать ту же истину, Гавацци пришлось бы потратить битый час, она это понимала и потому рассердилась втройне:

— А почему это у вас такой интерес к проблеме чистки, позвольте узнать?

— Не такой уж большой. Теперь же, после того, как мы ее обсудили, он у меня и вовсе отпал.

— Ну и что?

— Ничего. Просто ответил себе еще на один вопрос, один из наименее сложных вопросов, которые занимают меня с той минуты, как я переступил этот порог. Знаете, какой был первый вопрос? Взгляните, я стоял вон там. Явился до смешного рано. Еще не было ни души. Вокруг все неподвижно, тихо. И мне захотелось что-нибудь сказать. Я крикнул: «Эй, люди, как вы тут? Можно задавать вопросы? Да или нет?» Сегодня я уже знаю, что нет — нельзя. Приказывают — подчиняйся. Другого не дано. Когда у меня возникает вопрос, я задаю его самому себе или в пространство. Хотите, приведу пример? Если, конечно, я вам не надоел.

— Вы — начальник. Ваше право.

— В цеху «Г-3» есть одна машина, которую все называют подлым зверем.

— Зверюгой.

— Вот именно. А почему?

— Потому что она действительно зверюга, и правильнее всего было бы отправить ее на слом.

— Почему на слом? Можно, я отвечу сам? Потому, что хорошая работница,— если не ошибаюсь, ее имя Андреони,— работая на ней, потеряла руку. А почему это случилось?

— Советую вам этой темы не касаться. Женщина потеряла руку. Это не шутка.

Потрясающая самоуверенность у этого юнца!

— Ваша ошибка, Гавацци, состоит в том, что вы обращаетесь со мной как с Берти. Еще одно доказательство того, что здесь ни у кого нет желания думать!

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что я сказал. Требуется доказательство? Так вот: мне, по-видимому, удалось уяснить себе, почему зверюга — действительно зверюга. А вы даже не поинтересовались, что я хотел этим сказать.

XI

Разгружая возле «Авангарда» полные катушки и нагружая на тележку пустые, Маркантонио рассказывает:

— Сколько я баб на своем веку перевидал, не счесть! И наших, и из Пьемонта, и из Болоньи, и из Сардинии, и из Венеции, и из Бергамо; знал одну сицилийку из Реджо Калабрии и даже, вообрази, триполитанку — прямо в Триполи, под пальмами и родилась. Каких только не было: и грудастые, и задастые, и тощие, как жерди... А были и настоящие бутончики — кровь с молоком! Одна — хохотушка, другая — хоть ты ее щекочи, не засмеется. Иная еще в девках на старуху похожа, другая же до старости молода. Одной от мужиков отбоя нет, от другой — бегут как от чумы. Прямо как в кино! Стоит только появиться в цеху новенькой, я уж сразу знаю, в какую графу ее занести. Никогда не ошибусь. Только с тобой не знаю, как быть. Правда, была у нас тут еще одна, вроде тебя... Это целая история. Произошла она где-то между двумя войнами — абиссинской и испанской. (Никогда не слыхала?) Я тогда работал фрезеровщиком. На эту колымагу меня посадили позднее, после того, как фреза решила тяпнуть меня вот за это место. Во, смотри! Так вот, работала там на складе одна девица. Такая же толстушка, как ты. Годков ей было что-нибудь двадцать—двадцать один, как и тебе, да? Бывало, сидит безвылазно за своей черной решеткой, как монахиня из Мондзы. И все бурчит себе под нос: приняла — столько-то; выдала — столько-то; остаток — столько-то; приняла — столько-то, выдала — столько-то; остаток — столько-то. Ну точь-в-точь как ты! Бывало, расставляет детали по полкам, а сама приговаривает: эту — сюда, эту — туда, эту — наверх, а эту — вниз, «Не бурчи!» — говорю я ей. Я, как известно, лишних слов тратить не люблю. Сказал «не бурчи», и все. На следующий день пошел за пробойником и, к слову, опять говорю: «Хватит бурчать». Как сейчас помню...

Раз сказал «не бурчи», другой, третий... А я, надо признаться, не всегда был такой, как сейчас. Знаешь, что мне люди говорили? Ты, говорят, напрасно на заводе время теряешь: иди на киностудию — вот увидишь, гладиатором в «Камо грядеши» или рыцарем в «Этторе Фьерамоска» снимут. Бурчи не бурчи, а дело кончилось тем, что у нас с ней теперь пятеро детей. Пятеро! Целая команда. Еще бы ты ее не знала! Сильвия. Рядом с твоей приятельницей Амелией работает.

Не будь мы с ней коммунистами, мы бы, конечно, не решились заводить детей в самый разгар всех этих войн — мировых, колониальных, горячих, кипящих, полухолодных! Ребятам я всегда говорю: субботний вечер — мой, вернее, наш с матерью, а в воскресенье можете идти на все четыре стороны. Ты бы посмотрела, как мы отправляемся всемером в кино: я, жена и пятеро детей... Чуть ни целый ряд занимаем! Хоть тут нам большинство обеспечено. Кстати, сколько времени ты у нас работаешь? Месяц? Два? Я уже к тебе привык, даже перестал замечать, какая ты неприветливая. А ведь ты собой недурна. И с лица, и фигурой тоже. У меня, как у человека, влюбленного в собственную жену, есть свое преимущество — то, что я могу сказать девушке в глаза: «Пригожая ты девушка!» Как другие говорят: «Пригожий выдался денек!»

Да, вот еще что я хочу посоветовать. Не надейся найти выход из положения в том, чтобы завести себе подругу. У мужчин — другое дело. Когда двое мужчин дружат, они лучше, чем порознь. А девчонки сразу становятся квочками. Когда я вижу, как две подружки шепчутся, ходят под ручку, хихикают, охают да ахают, у меня появляется желание наскочить на одну из них,— пусть на менее красивую, неважно,— лишь бы избавить их друг от друга.

Почему бы тебе не остановить свой выбор на Сальваторе? Сальваторе-сварщике, а? Человек он свободный. Я точно знаю, что холостой. Парень что надо. И хорош собой и здоров: достаточно взглянуть на его зубы. И мотороллер у него есть. Разреши полюбопытствовать: сколько лет ты еще собираешься ездить на трамвае, в компании с двадцатью дюжими мужиками разного вида и возраста? А у мотороллера то преимущество, что водитель вынужден держать руки на руле.

В мое время, когда у нас с Сильвией только все начиналось, мотороллеров еще не было, были только мотоциклы, но в те годы о мотоцикле нашему брату можно было только мечтать. У меня даже велосипеда своего не было, приходилось брать в долг у знакомого мясника с улицы Вооруженных сил, некоего Гизланцони, Луиджино (его уже нет в живых). Бывало, посажу Сильвию впереди себя, еду и приговариваю: пусть велосипед не мой, а Луиджино, зато девушка моя. Так, каждый вечер — понемногу исколесили мы с ней пол-Ломбардии. Чувствую, больше не могу, и кричу ей: «Я с первого километра понял!» А она: «Что ты понял?» — «Что ты создана для меня!» «Что ты сказал?» — спрашивает. А я: «То, что ты слышала!» И знаешь, что она тогда сделала? Обернулась... Дело было в мае, теплынь... Перед тем как сесть на велосипед, я пиджак снял и, чтобы ей было мягче сидеть, под нее подложил; рубашку тоже расстегнул, а под рубашкой — ничего, в чем мать родила. Парень — загляденье! Так вот, оборачивается моя святоша и, недолго думая, ка-ак чмокнет меня вот сюда, не знаю, как эта косточка называется, аж след остался, неделю не проходил. Я совсем обалдел, сердце забилось, на глазах слезы. Я же, понимаешь ли, совершенно этого не

ожидал! Ну и врезался в тумбу, около самого полицейского! А нам с Сильвией хоть бы хны: так и стоим, обнявшись. Велосипед между ног, пиджак в педали застрял, вокруг — толпа... Чего стыдиться-то? Что мы любим друг друга? Что всё на виду? Бог ты мой, какая же мы были красивая пара! Как вы с Сальваторе. По крайней мере, с виду. А что будет на деле — жизнь покажет.

Парень с мотороллером всегда в невыгодном положении. Стоит тебе решить, что он тебе не подходит (я имею в виду парня, а не мотороллер), как ты у первого же красного светофора прыг! — и на тротуар. Он же на мотороллере за тобой не погонится! И еще одна важная деталь: хорошенько разгляди, какой у него рот. Если ты убедишься, что тебе приятно будет его целовать можешь быть спокойна: все остальное тебе тоже понравится. Ручаюсь, что Сальваторе ни разу с тобой не заговорил, а уже о том, чтобы пригласить погулять... Я сразу понял, что он из той породы мужчин, которые ждут, чтобы женщина сама на него внимание обратила. А требуется для этого немного. Например, чтобы он чихнул. Он чихнет, ты скажешь: «Будьте здоровы!» Он ответит: «Спасибо». Больше ничего не надо: «Будьте здоровы!» — «Спасибо!» — «Пожалуйста!» — и дело в шляпе. Да, но... жди, когда он простудится! Ведь здоров как бык, черт бы его побрал!

Впрочем, что я за дурак! Уговариваю тебя, уговариваю, а, может, ты уже давно себе какого-нибудь соседа приглядела, а? Хотя, не думаю. По виду не скажешь. А если даже и есть у тебя кто, то, значит, не тот, кто тебе нужен. Послушай, если у тебя есть кто, касатка,— скажи прямо, чтобы я зря не старался.

XII

1945, 1946, 1947. Внутренняя комиссия * завода «Ломбардэ» заседала чуть не круглосуточно. Помещение ей отвели рядом с пожарной охраной. Одна комната — для бюро, вторая (без нее можно бы и обойтись) — для узких заседаний, и еще одна для расширенных, с участием представителей всех цехов. Все три комнаты светлые, с центральным отоплением, оборудованные так же, как прочие конторские помещения на заводе. Один из бухгалтеров всегда посылал спросить, хватает ли стульев, не надо ли канцелярских принадлежностей — только чтобы отчетность была в порядке.

Бывший узник Освенцима, убиравший помещение, оказывал мелкие услуги: покупал марки, сигареты, приносил кофе, а летом кока-колу. Раз в месяц аккуратнейшим образом являлась бригада для генеральной уборки: два мойщика окон и четыре полотера. Рабочий с «Оливетти» приходил менять ленту на пишущих машинках задолго до того, как она приходила в негодность, а потом охранники (Специальная служба надзора) проверяли по ночам, хорошо ли заперты двери. Потом комиссию стали прижимать, и дело дошло до того, что собрания, в том числе и заседания бюро, стали проводиться только после работы, в помещении, выстроенном за пределами завода, за раздевалкой спортклуба, вернее — за уборной. Освещение здесь никудышное, стены голые, отопление жалкое — электроплитка. Летом наоборот — жарища, дышать нечем.

Раньше чем в шесть — в четверть седьмого начать никогда не удается; ждешь-ждешь, пока все соберутся; как правило, всегда находятся такие, которые распишутся под уведомлением, и след простыл. На другой день спросишь, почему не пришел, всегда найдет какую-нибудь отговорку.

Собрание еще не началось, а настроение уже испорчено — все недовольны, раздражены, того гляди, начнут ссориться. Похоже, что дело совсем перестало ладиться. Не только никакой дисциплины нет, но и друг с другом считаться перестали.

Так было и в тот раз, когда на повестке дня заседания Внутренней комиссии стоял вопрос об «Авангарде». Замысел, которому Гавацци, единственная женщина в комиссии, придавала большое значение и считала легко осуществимым, сразу же провалился.

Как только проверили, кто присутствует, она попросила слова, чтобы внести поправку в повестку дня:

— Я предлагаю пункт повестки дня, который сейчас стоит четвертым...

Дзанотти: — Прошу вас, товарищ, прошу вас! Все последнее заседание у нас ушло на обсуждение повестки дня. И мы постановили считать ее действительной на сегодня. Давайте не будем снова возвращаться к этому вопросу.

Ригуттини из цеха «Д-2», Рулли — представитель ИСТ **, Волани (бедолага, отец пятерых девчонок, вечно простужен, поэтому одно из двух: он или сморкается, или смотрит на часы).

— Совершенно справедливо. Надо соблюдать дисциплину.

Гавацци: — А ты помолчи! Никто тебе слова не давал.

Дзанотти: — И тебе тоже! (Вежливее): — Пойми, товарищ, нельзя же злоупотреблять предложениями о порядке дня...

Ригуттини: — Лучше скажи, «о беспорядке»...

---

* Внутренняя комиссия — орган, представляющий персонал предприятия; в ее обязанности входит контроль за исполнением трудовых соглашений.

** Итальянский союз трудящихся.

Дзанотти: — Беспорядок вносишь ты, Ригуттини! Продолжаешь высказываться, хотя я тебе слова не давал.

Кроме нее самой никто предложение Гавацци не поддерживает; двое — Дзанотти и Гуцци — воздержались. Вопрос о «новых крутильных машинах в цеху «Г-3» остается на прежнем месте, в конце, перед «разным».

Когда до него доходит очередь, уже поздно — около восьми. Из одиннадцати человек, присутствовавших вначале, осталось всего шесть. Вскоре уходят Ригуттини и Мариани. Направляясь на цыпочках к двери, они жестами показывают, что все должно иметь предел, что семья тоже требует внимания. Остаются Дзанотти, социалист Гуцци и беспартийный Пассони.

Гавацци почему-то встает.

Пассони: — Ты что, боишься, что массы тебя не услышат?

Гавацци садится. Она готовила свое выступление, фразу за фразой, всю неделю: на работе, в трамвае, дома. Она решила не быть на сей раз Гавацци — от язвительных замечаний, выпадов, инсинуаций и проклятий воздержаться. Молчи, сердце, молчи! Иначе поднимут тебя на смех, Пассионария! Если они и согласятся с тобой или сделают вид, что согласны, то лишь потому, что побаиваются тебя, а не потому, что поймут. Возможно, услышав твой вопль о помощи, они даже смогут разобраться, какие тобой движут чувства, но в сущность — а дело в ней! — они вникнуть не в состоянии. Молчи, сердце, молчи! Пусть говорят факты. Факты же таковы. И Гавацци излагает самую суть их, в хронологическом порядке. Сначала несколько слов о том, что им предшествовало, то есть об установке новой машины, сконструированной инженером д'Оливо. Затем несчастный случай с Андреони. Невозможность установить его причину. Единодушный отказ рабочих цеха «Г-3» работать на «Авангарде». Приход Марианны Колли, которую взяли на завод в самый разгар увольнений. Провал попытки объявить ей бойкот. Удаление из цеха Берти. Таковы факты. Что было потом? Потом появился Бонци. Впрочем, может быть, его появление уже было предусмотрено планом замены старых мастеров-практиков молодыми специалистами с высшим образованием. Странное поведение этого Бонци, как раз принадлежащего к категории молодых специалистов с высшим образованием, Бонци, который занял место Берти после того, как тот... Нет, кажется, об этом она уже говорила. Им только попадись — сразу перебьют, скажут, повторяешься. О чем, бишь, надо было еще сказать? Черт возьми, какая странная штука! Эта история, изложенная в виде голых фактов, совсем не похожа на тот роман с продолжением, как это ей казалось до того. Может, она переборщила — была слишком сдержанна? Или, пытаясь быть как можно более объективной, что-то недоговорила, недостаточно подчеркнула взаимосвязь событий? К счастью, у нее есть про запас одна «бомба». Она решила ее придержать — пусть взорвется в конце и ужаснет всех. Держись, Гавацци, не будь такой, как всегда! Никаких комментариев. Самым спокойным, даже смиренным тоном выдай свою «бомбу», и все.

— Итак, против нас замышляется очень опасный маневр: дирекция задумала убрать все крутильные машины до единой и заменить их «Авангардами». Вот что нас ожидает, товарищи.

Ну как, кончила? Мертвая тишина. Видно, знаменитая «бомба» оказалась всего лишь бумажной хлопушкой... Или она недостаточно ясно выразилась?

Гавацци (нервничая): — Поняли вы или нет?! Постепенно исчезнут все старые крутильные машины! Не знаю, дошло ли до вас...

Она хочет говорить громче и не может — пропал голос. Теперь она бы не прочь снова стать прежней Гавацци, да не получается. И это тоже не получается! В отчаянии она снова впадает в полемический тон, предпринимает неуклюжие наскоки, повторяет обрывки уже сказанных фраз, добавляет подробности, которые либо не нужны, либо уже содержались в ее первом выступлении. Она сама это понимает, волнуется еще больше, выкрикивает какие-то избитые лозунги, некстати цитирует Маркса. И, окончательно потеряв самообладание, возмущается недомыслием, равнодушием, бюрократизмом так называемых рабочих партий...

Гуцци (видя, что Дзанотти невозмутим — продолжает делать пометки на исписанном листке блокнота): — Ладно, Гавацци, закругляйся!

Гавацци умолкает, с трудом наклоняется за сумкой, прислоненной к ножке стула, выпрямляется с таким видом, словно хочет сказать: «Ну, что ж, раз Гуцци торопится, давайте его уважим. Зачем же неволить человека...»

Дзанотти снимает очки и делает Гавацци знак сесть. Та безропотно подчиняется.

— Я благодарю товарища Гавацци за прекрасное выступление.

(Формула — всегда одна и та же. Меняется лишь эпитет: выступление может быть содержательным, результативным, пространным, мотивированным, убедительным).

— Приступим к обсуждению. Ввиду позднего времени прошу, товарищи, выступления не затягивать.

Молчание. Будь это в начале заседания, когда собравшимся здесь людям, простоявшим по восемь часов у станка, помимо всего прочего, хотелось выговориться, одного выпада Гавацци насчет «так называемых рабочих партий» было бы достаточно, чтобы вызвать целый трамтарарам. Все бы наперебой просили слова для возражения, для справки, для ответа. А сейчас молчат. Поздно, поздно, поздно! Уже двадцать минут девятого, а по часам Дзанотти, самым точным из всех, даже двадцать две. Хо-

лодно. Гуцци и Пассони, которые, войдя, сняли было пальто, снова оделись, Пассони даже поднял воротник. Если Дзанотти не сделал того же, то лишь потому, что все-таки Внутренняя комиссия — не зал ожидания третьего класса. Закурили. Дзанотти и Гуцци курят сигарету за сигаретой. А Пассони опять взялся за свою тосканскую сигару, которая гаснет, как только он вынимает ее изо рта. Как уселись вначале за большой стол, так и сидят, каждый на своем месте, а пепельница одна, и кажется, что присутствующих сейчас больше всего беспокоит, чтобы было куда стряхнуть пепел. Нет, не та стала Внутренняя комиссия, не та... А что ж Гавацци? Она, бедняга, не курит. Просить слова — невправе, так как только что выступала; и уйти не может, потому что обсуждается ее сообщение. Она потерпела полный провал. Почему?! Ведь так тщательно готовилась, так старалась избежать обычных промахов, так была уверена, что всех поведет за собой!

Дзанотти: — Слово товарищу Пассони.

Пассони: — Я хотел сказать, что Гавацци изложила вопрос не совсем членораздельно. Может, это моя вина, но я, признаться, ничего не понял.

Гуцци: — Ну вот! Теперь устроим суд над Гавацци... Ты сомневаешься в ее искренности, что ли?

Пассони: — Ну, например, по какой причине все-таки выставили из цеха старого мастера, если он выполнил приказ дирекции и уговорил девушку остаться? А этот новый, с дипломом... Как надо понимать его действия? Как зондаж по поручению дирекции? Под видом сочувствия рабочим?

Гуцци: — Все это не имеет ровно никакого значения.

— Дай сказать, что ты вмешиваешься?! Есть еще другая сторона дела, отнюдь не маловажная и в сообщении Гавацци никак не отраженная. Как можно объявить войну машине, вызвавшей один несчастный случай, пусть тяжелый, очень тяжелый, но все же один...— Пассони плюет через левое плечо... секундная пауза:— Когда на «Ломбардэ» есть немало станков, на счету которых по два, по три, по четыре и более увечий? И, насколько мне известно, никто даже не заикался о том, чтобы объявлять им войну! В общем, смотрите сами: мне лично с этим «Авангардом» никогда не приходилось иметь дело, я его в глаза не видел. Я просто задаю вопрос, высказываю сомнение.

Гуцци: — Старая песня. Мы только и знаем, что высказываем сомнения...

Пассони:— Песня действительно старая, и доказательством тому служит то, что ты ополчился против меня, хотя я поддержал твой же тезис.

Гуцци: — Ну, это уж ты загнул! Какой такой тезис? Никакого тезиса я не выдвигал!

Дзанотти: — Товарищи, не вынуждайте меня все время призывать вас к порядку. Договорились? Товарищ Гавацци, я считаю, что пока суд да дело тебе следует рассеять сомнения, возникшие у выступавших. Гавацци! Я к тебе обращаюсь...

Как горох об стенку. С того момента, как Гавацци, закончив свое сообщение, села на место, она словно оцепенела, застыла. Полузакрытые глаза смотрят тупо, безжизненно. Она полностью выключилась. Как будто «Г-3» где-то в Австралии, а замена старых машин «Авангардами»... Впрочем, если они старые, то почему бы их действительно не заменить?

К счастью, Дзанотти умеет вести собрание. Правда, некоторые считают, что строгость его граничит с бюрократизмом. Возможно. Но это единственный способ удержать баржу Внутренней комиссии в фарватере, иначе ее, того гляди, занесет.

— Товарищ Пассони, ты кончил?

— Да, да. Хочу только добавить, что Гуцци прав (хоть ему и досадно, что я с ним согласен); ну, в самом деле, какие у нас основания для борьбы?

— Я ничего подобного не говорил.

— Товарищ Гуцци, если хочешь возразить, попроси слова и, когда подойдет твоя очередь, выскажешься.

— Выступить с протестом можно было и надо было, когда в цеху появилась новая работница...

Дзанотти (заглянув в свои записи): — Марианна Колли.

— Почему это не было сделано, Гавацци пока нам не объяснила. Она сказала только, что все рабочие цеха «Г-3» были возмущены действиями дирекции. Может, попытаться выступить сейчас? Когда все уже остыли? Не знаю. Разве что возникнет какое-нибудь новое обстоятельство...

Гуцци: — Разве что... удастся, например, уговорить эту девицу...

Дзанотти: — Колли.

— ...отказаться работать на «Авангарде». Дирекция будет вынуждена взять нового человека и тогда...

Гуцци: — Гениальная мысль! Гавацци уговорит новую работницу Колли объявить забастовку. Иными словами: дать себя уволить. (Стукнув кулаком по столу.) Для чего, спрашивается, мы с вами здесь торчим?! Чтобы отстаивать право рабочего на труд или изыскивать способ, как бы ему уволиться?

Неожиданно поднимает руку Гавацци. Опять она просит слова. Ведь уже очень поздно. Рука бессильно падает на колени. Гавацци некрасива, как всегда, но вдобавок к ее обычной некрасивости сейчас лицо ее к тому же искажено гримасой, толщу мясистых щек сводит судорога, и от этого оно становится ужасным. Веки опущены, зрач-

ков не видно; мешки под глазами вздулись так, что щелочки глаз заплыли вовсе. Гавацци издает протяжный, тяжелый вздох, и откуда-то из ее утробы глухо, натужно раздается:

— Давайте посмотрим на себя. Посмотрим на себя со стороны. Неужели это и есть Внутренняя комиссия завода «Ломбардэ»?! Сколько нас было и сколько осталось... Сидим в какой-то дыре, похожей на воровской притон. Замерзшие. Голодные. Усталые. Все надоело. Ни во что не верим. Ничего не можем. Сидим до победного конца только потому, что есть повестка дня, которую сегодня хочешь не хочешь надо исчерпать. Непременно. Так ведь, Дзанотти? Потому что надо соблюсти достоинство — неизвестно перед кем. Сидим потому, что никто не хочет раньше других покинуть поле боя — тоже неизвестно какого. В какую игру мы с вами играем? В Совет министров, что ли?

На этом месте из глаз-щелок метнулась злая искра. На всех, но, в первую очередь, конечно, на Дзанотти.

— Неправда, будто я сделала хорошее сообщение. Это ложь. Дипломатию разводите. Зачем ополчаться против «Авангарда», если на других машинах произошло гораздо больше несчастных случаев? Не знаю. Я знаю одно: мы должны воевать до победного конца! Это я знаю твердо. А как это сделать, какими средствами и с чего надо начинать, этого я не знаю, не знаю, не знаю!

Казалось, что с каждой фразой тело ее словно раздувалось, и чем больше Гавацци расстраивалась, тем становилась грузнее. Потом вдруг снова сникла, обмякла.

— А сейчас Дзанотти, который так и не выступил (и понятно почему: не знает, как быть), скажет, что обсуждение было весьма плодотворным и даже поучительным, но что конкретное решение принять нельзя ввиду отсутствия кворума; что вопрос не следует упускать из вида и надо будет вернуться к нему при первом же удобном случае. Сознайся, ведь ты это хотел сказать? Так вот, можешь оставить свою заключительную речь при себе. Ты, в отличие от меня, искренне веришь в то, что такой удобный случай действительно представится. А я тебе заявляю: такого случая не будет. Удобных случаев никогда не бывает. Как раз наоборот, если мы не довели дело до конца, значит, потерпели поражение. Навалятся тысячи новых дел. Разве что... разве что «Авангард» откусит руку и у Колли! Кажись, кто-то уже подобное предположение высказывал. Оно явно у всех на языке.

Гавацци с трудом подымается, закутывается в шаль. Сейчас она совсем не похожа на заводскую работницу, профсоюзную активистку, просто пожилая женщина, уставшая от собачьей жизни.

— А теперь,— изрекает, как всегда с оттенком удовлетворения, свою заключительную фразу Дзанотти,— можно и по домам! Повестка дня исчерпана.

Все выходят. Гавацци держится особняком. Запахнула шаль и заковыляла прочь.

— Ты говорила совершенно справедливые вещи. Призывала нас к ответу. Так почему же ты не довела свою мысль до конца? Вместо того чтобы сказать: «Никто отсюда не уйдет, пока мы общими усилиями не внесем в этот вопрос полной ясности и не выработаем правильного решения»,— ты в самый разгар дискуссии...

Гавацци плотнее закутывается в шаль. Маячит почти круглая луна — ненужная побрякушка на потолке большого города. До рождества осталось десять дней, и магазинчики, полукругом обрамляющие конечную остановку трамвая, торгуют фонариками, свечками, зелеными и серебряными фестонами, ватным «снегом». Неоновые огни и негритянская музыка, доносящаяся из бара-распивочной «Эльдорадо», образуют островок, как бы приплывший сюда из Америки. Над этой празднично яркой полосой нахохлились серые, закопченные дома с расшатанными ставнями; свет за голыми стеклами окон тусклый. По водостокам вечно сочится влага.

Рядом с будкой конечной остановки стоит восьмой номер. Ни водителя, ни кондуктора нет, двери — настежь. В трамвае один-единственный пассажир. Сидит, закутавшись в промокшую черную накидку, только клок свалявшихся волос торчит. Может, молодой парнишка, а может — старик. Уснул, бедняга.

Дзанотти: — Они нас постепенно всех разгонят. Измором возьмут. Когда я утром, перед тем как идти на завод, открываю «Унита», душа радуется. Есть у нас победы, есть и поражения. Но не это главное: главное, что есть пролетариат. Да и в цеху то же самое: оглянешься вокруг — какие люди! Постарше — с опытом за плечами, молодые — огонь! Как нас много, какая мы сила, думаешь. А как заберешься вечером в эту трущобу, именуемую Внутренней комиссией, чувствуешь: ничего не получается! Одни и те же посеревшие лица, изо дня в день одно и то же, те же недоразумения и перепалки... Ничего не получается, ничегошеньки... Никакого движения вперед. А если мы не будем идти вперед, застрянем на месте, нам не сдобровать. В лучшем случае стукнут по башке. Стоит только замешкаться, как...

Гавацци (беспощадно): — Ладно, ладно, иди домой.

XIII

Инженер д'Оливо бывает в цеху лишь от случая к случаю. «Вот он у меня где»,— выразительно рубит д'Оливо ребром ладони по затылку. Процентов на семьдесят-восемьдесят это правда. С него хватает базара в той половине его кабинета, которая

похожа на конструкторское бюро. Не дай бог, если чертежи, рисунки, наброски, диаграммы и графики поступают из соответствующих отделов (отдела машин и оборудования, статистического бюро, отдела темпов и премий) не в срок! Однако когда они поступают вовремя, д'Оливо тоже не удостаивает их взгляда. Ему важно иметь их под рукой, чтобы в нужный момент можно было развернуть чертеж, перелистать нужную подшивку. Скажете, необходим контакт с цехом? Да полноте! Вся эта шатия, что торчит там безвылазно, знает меньше, чем он. Во всяком случае, когда д'Оливо назначает заседание, он в курсе всех дел, а «шатия» узнает что к чему только во время обсуждения. Но уж если какое-нибудь чрезвычайное происшествие заставляет шефа покинуть свою башню из слоновой кости и катапультироваться в гущу машин, он подолгу — пока самому не надоест — вертится под ногами. Словно ненароком обнаружил, что под ним работает завод, и теперь не может от него оторваться. Действительно, чем дольше он не вылезает из своего закутка, тем острее его беспокойный глаз подмечает недостатки и возможные пути их устранения, тем яснее ему становится, какие задачи надо ставить. И тогда он начинает сновать сверху вниз, снизу вверх... Рабочие в таких случаях говорят: как взбесившийся лифт.

Сегодня утром д'Оливо сопровождал по цеху «Г-3» целую ватагу визитеров, судя по тому, что они волокли за собой жен,— американцев. Они слонялись между машинами, как среди развалин римского Форума. Один отряд следовал за д'Оливо и делал вид, что крайне интересуется объяснениями, которые нехотя давал инженер. Остальные растянулись вдоль всего цеха и без стеснения болтали между собой. В передовом отряде выделялся один верзила. У него был нос, который можно было бы считать нормальным разве что для тапира, но ни в коем случае не для мужчины: он свисал на несколько сантиметров ниже хряща и сам двигался. Казалось, этот нос был создан исключительно для того, чтобы определить, не отдает ли тут, в цеху «Г-3», плесенью... Кроме того, верзила в самых неподходящих случаях восклицал:

— Латинский гениус!

«Чтоб тебя черт побрал, с твоим латинским гением! — бесился про себя д'Оливо.— Сунуть бы тебя, верзилу, головой под полуавтоматический пресс. Куда ни шло, я бы отсидел за такое удовольствие лет десять. А может, если подставить один нос, то не больше пяти...»

— О! — верзила явно учуял «Авангард», хотя процессия огибала машину на порядочном расстоянии.— Гениус, латинский гениус! — кудахтал он.

Д'Оливо: — Experiment. Not good. *

— Good, good. ** Латинский гениус!

Будь ты трижды проклят. Д'Оливо готов был отсидеть десять лет за один нос!

После ухода гостей инженер в ярости помчался наверх, потом снова сбежал в цех, потом вернулся к себе, а во второй половине дня явился снова и ринулся к «Авангарду». Рибакки, разумеется, хвостом за ним. Бонци кружил поблизости.

Марианна тут же нажала на красную кнопку и повернула тормоз.

— Продолжайте! — бросил ей д'Оливо. Он пристроился возле столба, вытащил из кармана красный карандаш-фломастер и принялся что-то черкать. Это был даже не эскиз, а какая-то сетка значков, поверх которой тотчас появилась другая, третья... И так несколько слоев молниеносно рождавшихся и тут же отбрасываемых идей... При этом он досадливо прищелкивал языком.

...«Для кого и зачем он разыгрывает этот спектакль?» — соображал Бонци. Рибакки — о, Рибакки себя не утруждал, никакими вопросами не задавался. Рибакки был поглощен своими великолепными ногтями. Колли Марианна стояла возле «Авангарда» в позе жертвы, сцепив руки за спиной, на копчике.

Внезапно инженер свернул газету и сунул ее в карман.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два.

— Стало быть, в пятьдесят седьмом году в так называемой «психологической» столице Италии еще есть итальянцы, которые, дожив до двадцати двух лет, не знают итальянского языка. Вот вы, например, вы не знаете, что значит глагол «продолжайте».

— Я не могу.

— Что вы не можете?

— Я не могу работать при посторонних.

— При посторонних? Значит, завидев меня, вы говорите: здесь посторонние. Так?

Включается Рибакки. Когда он, вдобавок к служебному рвению, пускает в ход иронию, его уже не остановить.

— Знай мы об этом раньше,— ехидничает он,— можно было бы заказать русским железный занавес.

— Прекрасная мысль, господин Бонци, достойная быть занесенной в вашу черную тетрадь.

Черт бы побрал эту Гавацци! Откуда она взялась? То ли из-под земли, то ли с потолка...

---

* Эксперимент. Не слишком удачный *(англ.)*.
** Здесь: удачный, удачный *(англ.)*.

— Что и говорить, прекрасная мысль...— Массивная фигура Гавацци вклинилась между Марианной и тремя начальниками.—...поистине достойная «латинского гениуса».

— Вас не спрашивают! — Рибакки позеленел от злости.— Никто вас сюда не звал.

Во взгляде д'Оливо — досада, раздражение. Куда он годится, этот Рибакки, если не в состоянии даже заставить себя слушаться?

Торопливо: — Нет, нет. Зачем же... Все, что мне было нужно, я уже посмотрел.

Гавацци: — Минуточку! — Совсем другим тоном: — Выслушайте же меня.— С инженером д'Оливо она разговаривает почтительно. У него хорошие мозги. За это нельзя не уважать.

Д'Оливо (заколебавшись):— Ну давайте, только скорее. Из-за этих визитеров у меня сегодня полдня пропало.

Слово «визитеры» оказалось очень кстати — Гавацци использовала его как заголовок для выступления:

— Визитеры. Я полагаю, это была не туристская группа, а специалисты...

Д'Оливо (вспомнив верзилу):— Всюду суют свой нос!..

Гавацци: — Стало быть, эти специалисты интересуются «Авангардом». Наш старый цех вы бы показали с удовольствием, но «Авангард»...

Снова встревает Рибакки. Допустив оплошность, он теперь лезет из кожи вон:

— А если они — специалисты, то зачем было демонстрировать им машину, созданную инженером д'Оливо и имеющуюся только у нас?

— Нет-с! После несчастного случая с Андреони, еще до прихода этой новенькой, Колли, группа инженеров — тоже иностранцев, кажется, из Америки — уже обследовала «Авангард» вдоль и поперек. Еще Берти демонстрировал тогда, как на нем надо работать, помните, господин инженер?

— У господина инженера были на то свои соображения.

— Да что вы не даете ему слова сказать? В няньки, что ли, к нему нанялись?

На подбородке у Бонци дрожит ямочка. Губы его то и дело приоткрываются, обнажая ровный ряд мелких острых зубов. Марианна, напротив, замкнулась в себе, стоит с отсутствующим видом.

Д'Оливо: — Гавацци, я вам уже сказал, что у меня сегодня полдня пропало. Говорите скорее, что вам надо, я не пойму, куда вы гнете...

Гавацци (заносчиво):— Что ж, хотите скажу то, что каждому из вас хотелось бы сказать? «Авангарда» все боятся. Боитесь вы, боятся господа Рибакки и Бонци, боюсь я, боится эта несчастная девчонка, которая мечется около него с утра до вечера. Взгляните: будто ее кто околдовал. Ведь стоит ей чуть-чуть зазеваться и... Мы от нее всего в нескольких шагах, а ведь даже вскрикнуть не успеем. Как не успел Берти тогда, при Андреони...

Рибакки:— Вы, Гавацци, без скандалов и протестов — хоть умри — не можете! Как вы смеете разговаривать с господином инженером в таком тоне, зная, что не кто иной, как он, столько, даже слишк... столько сделал для безопасности рабочего!

— Да кто протестует-то? Кто? — Гавацци принимает менее воинственную позу: раньше она стояла, уперев руки в бока, теперь убирает руки за спину и, понурившись, продолжает: — Мы не такие, какими нас считает господин Рибакки. Мы не скотина. Не ослы и не кролики. И не шакалы. Мы — рабочие, черт подери! Мы понимаем, что значит труд. Мы знаем, что машина — это машина, а не побрякушка. Что производство — дело серьезное, очень серьезное. Производство — это жизнь. По крайней мере, для нас. Мы тоже знаем, что «Авангард» нужен, и не один, а много — столько, сколько...— Не договорив, вздыхает.— Если бы вы знали, господин инженер, как много мы понимаем и стараемся понять. Но дело в том, что завод одной машиной пожертвовать может, а рабочий одной рукой — никак.

Рибакки:— Сначала набрасывается чуть не с кулаками, а потом разыгрывает мелодраму.

Замечание явно неудачное, Рибакки сам спохватился, но поздно. Д'Оливо отмахивается от него, как от надоедливой мухи. Что ж, думает д'Оливо, если Гавацци способна здраво рассуждать, пусть рассуждает. Все равно далеко не уйдет — окажется в тупике. Но это удобный случай покончить, наконец, с надоевшими разговорами об «Авангарде». И, обращаясь к Гавацци:

— Продолжайте.

— Я все сказала. Осталось разве сделать вывод. А вывод горький, особенно для вас, господин инженер, отдавшего столько лет этой работе.

— Моя работа тут ни при чем. Продолжайте.

— Как ни при чем? Ваша работа влетела предприятию в копеечку. Изобрести «Авангард», сконструировать его, сделать чертежи, изготовить — разве это мало стоило? А разве на то, чтобы его испытать, обучить работницу, потом несколько месяцев держать в простое, обучить еще одну работницу, не нужны были средства? Что говорить, сдать «Авангард» на слом — значит потерпеть немалый убыток.

Д'Оливо:— Огромный.

— Что значит «огромный»? Десять миллионов? Двадцать? Но даже если бы это обошлось в сто или в двести миллионов лир, разве можно поступить иначе? Была совершена ошибка. От ошибок никто не застрахован. Наверно, в бухгалтерии есть специальная графа, куда списываются убытки от ошибок. А если такой графы нет, то это

очередная ошибка. Пусть такую графу заведут и первым номером впишут в нее «Авангард».

Д'О л и в о:— До сих пор вы рассуждали логично. Однако теперь вы обязаны объяснить, в чем же заключается эта ошибка. Ошибка, из-за которой, как вы считаете, подвергаются опасности ваши руки.

Гавацци куда легче спорить с таким, как Рибакки, желчным и вспыльчивым. Ему надерзишь, он отчитает, и квиты. Гораздо хуже, когда требуется четко сформулировать свою мысль. Гавацци мчится на всех парах, как поезд-экспресс по надежным рельсам, потом, глядишь, рельсы давно кончились, а она разогналась — не остановишь.

— А что бы вы хотели? Еще доказательств? Чтобы после Андреони пострадала Колли, а вслед за Колли — еще одна, вторая, третья? Чтобы получился целый всеитальянский союз инвалидов — жертв «Авангарда»?

Д' О л и в о (сухо): — Вопрос стоит так: почему «Авангард» опаснее какого-нибудь «Бронделя», «Гумбольдта» или любой другой машины со вращающейся массой? Если вы в состоянии привести разумный довод, я обязуюсь «Авангард» убрать. В противном случае, мне остается лишь повторить, что у меня нет времени, я и так потерял сегодня полдня.

— Черт подери! — взрывается Гавацци.— Мы же с вами не в бирюльки играем! Здесь не...— Она запнулась: увидела руки Бонци. Они шевелятся, как бы сигнализируя ей: «Спокойно, Гавацци, спокойно». Потом: «А теперь давай! Только по порядку, обдуманно. Я тут, рядом, я тебя поддержу».— Инженер д'Оливо! Такой счастливый день, когда рабочий будет в состоянии всегда и во всех случаях привести вам разумный довод, наступит. Но не скоро. Пока же человечество состоит из невежд, вроде меня, и таких образованных людей, как вы. Но, черт подери! Это вовсе не значит, что вы правы, а мы — нет! Я уверена, что дело обстоит как раз наоборот. Вам надо, чтобы я подкрепляла свои слова разумными доводами? Посмотрите, как мы живем. Понаблюдайте, и вы убедитесь, что образованные загнали нас, извините за выражение, по горло в дерьмо, а мы, рабочие, в лучшем случае с четырехклассным образованием, выкарабкались! Да еще вас, образованных, на буксире вытащили...

Руки Бонци снова зашевелились и как бы увещевают: «Спокойно, спокойно...»

— Куда я гну? А вот куда. Ответ насчет «Авангарда», почему на нем опасно работать и почему его надо убрать, должен исходить не от нас. Его должен дать образованный человек. Например, вы. Или другой специалист с головой.— Взгляд в сторону Бонци.— Скажем, господин Бонци.

Какая наглость, Рибакки даже не упомянула. Тот рассвирепел:

— Все знают, что никакой проблемы нет и что вы ее выдумали, чтобы сеять смуту.

Но инженер д'Оливо повернулся к Бонци. Смерил его взглядом с головы до ног:

— Говоря «все знают», Рибакки имел в виду также и вас?

— Нет, господин инженер.

— Ах, вот как?

— Я такого мнения, господин инженер, что проблема не выдумана, а существует на самом деле.

Р и б а к к и: — Мне вы этого никогда не говорили.

— А вы меня не спрашивали. С тех пор, как я здесь, вы меня ни разу ни о чем не спросили. Молодого специалиста такое отношение не слишком-то обнадеживает.

Гавацци не верит своим ушам: это прозвучало совсем как в прежние времена, лет двенадцать назад, когда завод переживал пору демократии, когда инженер становился на сторону рабочего, если рабочий был прав. Даже если инженер и рабочий принадлежали к разным лагерям.

А д'Оливо, казалось, все бился над вопросом, что собой представляет этот Бонци.

Б о н ц и: — Разрешите продолжать? — И, с видом человека, извиняющегося за то, что он вынужден говорить неприятные вещи: — Совершенно очевидно...

Г а в а ц ц и (Марианне, которая по-прежнему стоит, нахохлившись, и смотрит в сторону, будто все это ее не касается): — А ты, тетёха, стоя спишь, что ли? Послушай, что говорит господин Бонци, хотя он меньше всех заинтересован...

Б о н ц и (повторяет):—...совершенно очевидно...

Г а в а ц ц и: — Ему никакой выгоды, а он все-таки объясняет, что «Авангард»...

М а р и а н н а (не поворачивая головы): — Просто смех на вас смотреть. Вас трое мужчин. Три начальника. И не можете ее прогнать отсюда?

Г а в а ц ц и (впервые произнося это имя):— Марианна...

— Втроем не можете с ней справиться? Что же мне, кричать «караул»? Звать полицию?

XIV

Постояли-постояли под навесом у края неонового четырехугольника и ринулись в туман, через площадь. Есть среди них шустрые, есть нелюдимые: уткнутся носом в шарф или в воротник и ни гу-гу. А есть развязные, смешливые, горластые, глупые.

В последний момент, выходя из-под навеса, Марианна заметила: прибило парня к тротуару, как ветром буек к берегу... Стоит, расставив ноги,— придерживает мотороллер; руки в карманах куртки, воротник поднят, непокрытая голова побелела от инея. То ли насвистывает, то ли просто так губы сложил трубочкой. И не оборачивается. Какое там! Стоит боком и ждет. А может, он другую дожидается?

Марианна зашагала мимо него, в обход по кругу, но так, чтобы не выпасть из поля его зрения. Взгляд ее устремлен вперед, но невидимые антенны — сначала сбоку, потом позади — действуют. «Пусть дожидается кого угодно. Мне от этого ни холодно, ни жарко!» Кстати, сегодня действительно холодно! Холоднее обычного. Ага, заводит. Застрекотал, затарахтел мотор. Сальваторе подкатил сбоку, отталкиваясь ногами, не включив сцепления.

— Погода неважная,— словно извиняясь проговорил он.

Пауза.

— А мне нравится. Я люблю миланский туман.

Пауза.

— На заднем сиденье не холодно. Летом, конечно, лучше: можно ездить подальше, за город.

Марианна идет своей дорогой, расправив плечи, с высоко поднятой головой, не обращая внимания на холод и на парня, который едва за ней поспевает. Куда проще пробираться сквозь толпу пешком, чем сидя на мотороллере, который приходится катить ногами. Вскоре она обнаруживает рядом с собой не Сальваторе, а его «ламбретту». Мотор выключен. Сальваторе идет с другой стороны и подталкивает помеху, держась одной рукой за седло, другой — за рычаг переключения скоростей.

— Я-то езжу и зимой. Не за город, конечно, а в центр. Каждый вечер. Сегодня тоже поеду. Холодно. Даже уши щиплет. Я люблю. А на заднем сиденье ехать хорошо. При желании можно надеть теплые наушники, тогда еще лучше.

Пауза.

— Я видел: продаются на проспекте Верчелли. Не очень красиво, зато удобно, уши закрывают полностью. И стоят недорого.

Пауза.

— Если бы подвернулась подержанная «фиат-600» или «тополино»... *

— Привет, «Авангард!»

Это Амелия. Она единственная из всех не прочь подружиться с Марианной, поболтать. Но пока не решается. Тоже придумала, острячка: «Привет, «Авангард»!» Или это она для храбрости? Коричневая фетровая шапочка ей идет и с васильковым плащом смотрится неплохо.

— Ты на восьмом или на двадцать втором?

— Приве-ет! — откликнулась Марианна, растягивая «е».

Тут Амелия замечает Сальваторе. С преувеличенным смущением извиняется:

— Ах, простите, простите. Простите, пожалуйста!

И бочком-бочком, помахав на американский манер рукой, влилась в людской поток.

Сальваторе: — Нет. Автомобили не по мне. Гробы. Разве что с откидным верхом... И чтобы верх всегда был опущен. При быстрой езде не намокнешь.

Долгая пауза.

— В прошлом году у меня была девчонка, ну, прямо шальная какая-то. Каждый божий день — в кино. Духотища, я не мог дождаться, когда сяду, наконец, за руль.

Пауза.

— Расстались мы с ней. Не из-за кино, конечно. Я ее водил все время, покупал два билета на балкон, без разговоров. Ты, говорит, не умеешь шутить. Я ей объяснил, что мы, южане,— народ особый, и шутим мы на свой лад. Да какие вы южане, говорит. Не южане вы, а деревенщина.

Очень долгая пауза.

— Оскорбляла она меня. Я ее всегда ждал. Очень была красивая. Я прямо умирал по ней. По правде, это она меня оставила.

Голос у него не такой, как у всех. Нельзя сказать, чтобы неприятный, но странный какой-то, немного смешной для мужчины. И эта манера выдавливать слова в час по чайной ложке. Хорошо уже то, что он не настырный. Столько вопросов назадавал, столько предложений делал: хочешь — отвечай, хочешь — нет. Будь у Марианны сестра, она бы не прочь иметь такого шурина. Пусть бы приходил по вечерам или на праздники, когда скучно.

Подошли к конечной остановке. (Восьмой номер отходит, двадцать второй — переполнен: на задней площадке висят, кондуктор ругается. Ругайся не ругайся, а что делать? Завтра повторится то же самое.) Сальваторе ставит мотороллер на упор, запирает на дополнительный замок и встает рядом с Марианной. Стоит молча, терпеливо, с мрачным лицом, словно не по своей воле В толкучке его прижимают к Марианне, он дает ей понять, что не виноват: упирается ногами, растопыривает локти, откидывается всем туловищем назад; тогда — ненадолго — ему удается от нее отстраниться.

---

* Название малолитражных автомобилей.

Марианна это видит, видит, что он ее уважает, что он — скромный, выдержанный. Такие качества надо ценить, хотя у парня как-то чудно их видеть. Она держится неприступно: грудь вперед, голова откинута, как у памятника победы. Взгляд устремлен на трамвайные провода.

— Тебе я тоже не гожусь. Понял.

Марианна оборачивается, вернее, скосив глаза, слегка повертывает голову. Освещенные голубоватым светом трамвая, черты лица его совсем еще мальчишечьи, расплывчатые и мягкие. Сквозь облачка пара проступают влажные, темные, полуоткрытые губы. Они ей, пожалуй, нравятся. Да, да, нравятся. Хочется ли ей их поцеловать? К счастью, появляется еще один двадцать второй. Толпа на остановке заколыхалась. Многолетний опыт научил инстинктом точно угадывать, где надо встать, чтобы оказаться как раз напротив открывающейся трамвайной двери. Марианна протянула: «Приве-ет!» Но Сальваторе уже оттеснили, зажали в толпе — там, где на подходе восьмой.

Если она его обидела, то не нарочно. Впрочем, пусть обижается, тем лучше для него. В трамвайной давке, среди незнакомых людей ей стало легче, свободнее: они не обращают внимания на нее, а она — на них. Ему нравится мотороллер? Ну и катайся себе на здоровье! А ей нравится трамвай. И чем переполненнее, тем лучше.

— Ах это ты, «Авангард»? Бросила своего-то?

Опять эта Амелия! Пристала как банный лист. Личико у нее бесцветное. Нельзя сказать, что неприятное. Сразу видно: ей острить нелегко, надо бы ее поддержать.

А м е л и я: — Я тебе советую быть поосмотрительней. Свяжешься с таким — хлопот не оберешься. Что ни говори, а эти парни с юга совсем не похожи на наших. Во-первых, они не понимают шуток. Стоит познакомиться — просто так, без серьезных намерений, чтобы в кино вместе ходить,— как он уже...

Марианна поворачивается к Амелии спиной. Раз она плохо обошлась с Сальваторе, то теперь так же обойдется с Амелией — чтобы никому не было обидно. Правильно? Кроме того, когда девчонки ходят вдвоем, они превращаются в куриц. Вернее, в квочек. Марианна протиснулась в свободный уголок между кондуктором и первым сиденьем. Прислонилась лбом к стеклу.

А Амелия все не отстает:

— Если хочешь знать, он совершенно не в моем вкусе. Я люблю светлых блондинов. Ты «Викинги» смотрела?

Как приятно холодит лоб. Одни мысли от этого вовсе исчезают, другие проясняются. Трамвай останавливается у светофора. Сквозь прозрачный экран окна в серо-желтом дыму тумана мерцают фары машин, светятся красные, оранжевые, белые огни, сигнальные лампочки. Сколько их! И столько же с той стороны, готовых ринуться дальше. Рядом с трамваем, возле центральной двери, впритирку к ней, тарахтит мотороллер. Неужели это он? Ну конечно! Без шапки — значит, он. Когда дали зеленый свет, он не вырвался вперед, а, притормаживая ногами, поехал сначала медленно-медленно, потом чуть быстрее, стараясь не перегнать трамвая. И так все время: вместе с трамваем убыстряет и замедляет ход, делает остановку, снова трогается. Все это спокойно, точно, будто припаивает оборвавшуюся проволоку на «Авангарде». Издали он похож на старушку, потому что волосы у него совсем заиндевели, от висков до затылка. В седле он держится прямо, как карабинер на коне. Мотороллер, зажатый коленями, тоже напоминает скакуна. Останавливаясь (когда останавливается трамвай), он секунды три-четыре, а может и все пять удерживает равновесие, потом — раз! — выбрасывает ноги в стороны, упирается в землю и застывает на месте. Трогаясь в путь, проделывает то же самое в обратном порядке: раз! — убирает ноги, по-лягушечьи сгибает их в коленях, плотно охватывает мотороллер, минуты три-четыре удерживает равновесие, затем выжимает сцепление и — пошел!

А м е л и я: — Ну, мне пора. Я на следующей выхожу.

Действительно, на следующей остановке Амелия, сухонькая, как стрекоза, помахала рукой, выскочила и — вот неожиданность,— очутилась перед самым носом мотороллера. Сделав удивленную гримаску и махнув на американский манер, она пошла потихоньку прочь, покачивая несуществующими бедрами. Какая нашлась скромница! Светлые блондины ей нравятся, видите ли! А он чего смотрит? Ехал бы за ней. Конечно, Амелия — девчонка неказистая, но ему наплевать. Было бы кого посадить на заднее сиденье. Ведь он только об этом и мечтает.

На следующей остановке Марианне сходить.

Господи, неужели не успею... Если не выберусь, завезут до конечной. Он обязательно решит, что я нарочно. Чтобы отвез меня обратно. Ну, конечно, влипла: поперек дороги — толстуха, а там этот приставала... Черт бы его побрал вместе с его мотороллером! Надо же сказать про такого, будто он первый никогда не полезет, ждет, чтобы женщина сама обратила на него внимание! Как же! Будет он дожидаться. Впрочем, надо серьезно подумать... Нет, ничего такого не было — ни сегодня, ни вчера, ни на прошлой неделе, ни в цеху, ни в столовой.

Пробраться к выходу так и не удалось. Трамвай проскрежетал, притормозил, дрогнул, остановился. Марианна бросает на кондуктора взгляд, который мог бы тронуть истукана.

— Извините, я...плохо себя чувствую. Позвольте, я сойду с задней площадки. Прошу вас...

Кондуктор — толстощекий, пышущий здоровьем, жизнерадостный человек — сдвигает фуражку на затылок, из-под нее вылезает растрепанный иссиня-черный чуб; почесывая его, он показывает пальцем назад:

— Этот? На мотороллере?

Марианна готова провалиться сквозь землю. Входят пассажиры, задняя площадка запружена.

К о н д у к т о р: — Вот доедем до конечной, я ему выдам как следует. Сказать, чтобы отчаливал?

Спрыгнув на мостовую, Марианна, все еще красная, смущенная, остановилась между трамвайной линией и тротуаром. Мотороллер вырвался метров на пять вперед, Сальваторе смотрит вдаль и что-то насвистывает. Во всяком случае, сложил губы трубочкой, как будто свистит. Вот дурак! Взял бы себе Амелию, у нее бедра как раз для такого седла, как у «ламбретты». Двери трамвая закрываются: сначала передняя, потом средняя, потом задняя. Неплохая сцена разыграется на конечной остановке: подъедет весь белый, как в парике; брови заиндевели, лицо обветрело, посинело. А из окна трамвая высунется этот толстощекий кондуктор... Только она приготовилась крикнуть «Сальваторе!», как трамвай тронулся... Сальваторе убрал ноги — раз! — полягушечьи согнул их, приник к рулю и пошел вровень с трамваем.

Марианна пожала плечами. Ну и пусть! Он же любит гонять по городу. И миланский туман ему нравится.

XV

К последним могиканам, еще придающим значение такой мизерной сумме, как сто лир, принадлежит и единственная тетка Марианны, тетя Карла, или Карла Трабальо, по мужу — Йори, вдова. Кладбище в Музокко она посещает не в день поминовения усопших, как все, а накануне. «Мы, матери,— говорит она, имея в виду мадонну,— всегда поймем друг друга. Я ей говорю: пусть уж ублажит и этих субчиков, от которых мы столько натерпелись». (Она имеет в виду проделки покойного мужа, чьи останки, как сказано в эпитафии, покоятся здесь согласно его предсмертной воле). «Пусть и ему найдет местечко среди праведников, хотя бы где-нибудь на задворках». (Очень уж ей не хочется вдовствовать и на том свете.)

Торговцам цветами — и тем, что расставили свой товар на лотках, и тем, что приехали на грузовичках и фургонах прямо из питомника,— Карла Трабальо уже примелькалась.

— Глянь-ка, кум, вон опять та дамочка, что всегда является накануне!

— Эй, Лояконо, она на тебя нацелилась!

К а р л а Т р а б а л ь о: — Он еще не родился (она имеет в виду младенца Христа), а обиралы уж тут как тут! ...По мне, он все не так сделал. Лучше бы не погибал на кресте (он же не то, что мы, смертные,— мог выбирать!), а остался бы стоять в дверях храма in secula seculorum * с метлой в руках.

Е е с е с т р а А д е л е: — Вечно ты всех критикуешь! Христос и тот, по-твоему...

— Главное, честных людей гонят (она имеет в виду подпольных, беспатентных, охотно сбавляющих цену — лишь бы распродать поскорее), а эти жулики шуруют в открытую, на глазах у полиции, и хоть бы что!

М а р и а н н а: — Всего-то надо с десяток гвоздик... Лучше сэкономь на чем-нибудь другом.

— Как ты можешь так говорить?! Экономить на цветах для мужниной могилы? Эх, доченька, сразу видно, что ты еще ничего в жизни не видела.

Аделе жмут туфли — сил нет терпеть.

— Тогда заплати ему, сколько просит. Может, они и в самом деле с побережья приезжают, тогда одна дорога, знаешь, во сколько обходится...

— Молодой человек, отдавай вот эти шесть белых и те шесть бело-розовых за триста пятьдесят. Триста пятьдесят — ни нашим, ни вашим.

— Мне, дорогая синьора, вашего не надо.

— Нет, вы только послушайте! Что ж ты мне свои цветы бесплатно, что ли, отдаешь?

— А что? Забирайте. Мне вашего не надо. Берите!

— Час от часу не легче! Зачем же так... Что я, нищенка?!

Тетя Карла не унимается и все ворчит, ворчит. Входя в кладбищенские ворота с одиннадцатью гвоздиками, выторгованными за триста двадцать лир, и целым пучком декоративной травы в придачу (букет упакован по всем правилам, в вощеную бумагу; видны только концы стеблей, засунутых в воронку из фольги).

— Видела, какая обдираловка? Каждый день понемногу, а в результате все они — на колесах. Когда я трясусь на трамвае и вижу нескончаемые вереницы машин, единственное мое утешение — сознавать, что есть в них и моя доля. Сижу и прикидываю: вот это крыло, например, или фары, или запасное колесо наверняка куплены за счет разницы в цене зерна и хлеба, который я покупаю.

---

* На веки вечные *(лат.)*.

А д е л е: — Так уж устроен мир. Один толкает тачку, другой разъезжает на автомобиле.

День выдался как по заказу — для покойников. Красновато-голубоватый свет, пронизывающий поднимающиеся от земли испарения, напоминает о том, что где-то есть солнце, светит себе для африканцев или для избранных. Когда минуешь массивный мавзолей — могилу могил, высящуюся у входа, и перед глазами возникает безотрадная картина кладбища, невольно думаешь, что пришел сюда только потому, что вход бесплатный. Гулко отдаются шаги по безмолвным аллеям, обсаженным скользкими от плесени деревьями; повсюду изгороди из окаменевших бессмертников; увядшие цветы, жухлые декоративные растения, а впереди — море однообразных предметов: надгробия, кресты, статуэтки, колонны и колонки, ангелочки, плиты, обелиски, много-много подряд, все голые, обледеневшие. Женщины и мужчины в черном, целыми семьями, хмурые, подавленные, влачат по геометрически точно расчерченным аллеям и аллейкам свою бренную плоть. Последние могикане распавшегося в прах мира, могильщики рода человеческого. А кто же погребет их?

Сестры идут рядом, Марианна — чуть поодаль. Сколько она себя помнит, всегда было так: наступали ей на пятки или ворчали: «Куда спешишь?!». Теперь, когда она выросла, ей стало повольготнее: можно идти сбоку или позади. Но к участию в разговорах ее пока не допускают. Подумаешь, секреты...

— Как мои дела, спрашиваешь? Что может быть хорошего, если батраки корчат из себя законников: являются с письменными требованиями. Не ты, понимаешь, ставишь им условия, а они тебе. Да еще эта чертовщина с погодой! Где это видано, чтобы на Corpusdomini * шел снег?

Сестры Трабальо скроены на один лад: короткая шея, широкие квадратные плечи, крутые бедра; обе еще довольно бодрые.

К а р л а: — Говоришь, на машине? Ты уверена?

Марианна невольно прислушивается. Мать отвечает вполголоса, похоже — оправдывается, слова повисают в воздухе. Тетя Карла, наоборот, разговаривает как человек, привыкший к простору — к гумну, к полю. На ее громкий голос многие из этих людей в черном оборачиваются. В детстве Марианна этого стеснялась, а теперь... Не то чтобы ей это нравилось, просто безразлично стало.

— Я ничего не говорю. Но ведь надо позаботиться о приданом... А жених-то что за человек? Работает вместе с ней на заводе?

В ответ опять что-то невразумительное.

— А зачем тянуть? Такая вымахала здоровая девка! Конфеткой ее уж не позабавишь. Вот что я посоветую: постарайся познакомиться с матерью ухажера. Какая мать, такие и дети. Я говорю о сыновьях, конечно. А далеко они зашли или нет...

Пришлось посторониться и идти гуськом вдоль могильной ограды, так как сзади приближался кладбищенский автобус.

К а р л а (многозначительно): — Все равно рано или поздно все там будем.— Она показала на автобус и на сидевших в нем людей. Потом: — Зло берет. Послушать тебя, только ты одна такая разнесчастная.

— Да уж, счастливой меня не назовешь. Один этот тип чего мне стоил...

— Будто мой не куролесил! В сто раз больше твоего! Только я никогда нос не вешала. Но и не задирала выше, чем надо. Главное мое несчастье (а у меня их тоже было немало), что он оставил меня в том возрасте, когда человеку осточертевает жить на болоте, воевать с комарами и с мошкарой и спать на колючей соломе,— хочется пожить с удобствами.

— Неужели ты не можешь говорить потише?

— А дети... Что ты сравниваешь? У меня парни, у тебя девка. Чем она скорее выскочит замуж, тем лучше. С парнями же наоборот. Я им говорю, пока нет особой нужды в помощницах, повремените... Вот, говорю, когда будет вашей маме за пятьдесят...

— Как? Разве тебе еще не исполнилось?

— Ну, за пятьдесят пять... Потому как... Коль на то пошло, о наследниках теперь думать нечего. Известно: молодые крестьянствовать не желают.

— Я, дорогая сестрица, ничего тебе не скажу. Каждый в своем доме хозяин. Но, смотри... Будешь упрямиться, привередничать...

Прошли перекресток. Там, с правой стороны, начинается участок, где похоронен дядя Джакомо.

— ...ведь того принца можно всю жизнь искать и не найти...

Тетя Карла вдруг остановилась как вкопанная, только шею вперед вытягивает... В глазах недоумение и испуг:

— Пресвятая дева...

Весь участок острижен наголо, перекопан, прополот и выровнен. Чернеет несколько свежих могил, и все...

— Господи Иисусе...

Бедная тетя Карла не верит своим глазам.

---

* Католический праздник «тела господня».

И как-то странно, мелкими шажками, не по-крестьянски, одной рукой — той, что сжимает гвоздики,— придерживая под животом пальто, другой приподнимая подол юбки, засеменила туда, где еще в прошлом году накануне дня поминовения усопших красовалась доска из каррарского мрамора с бронзовыми лавровыми листьями и надписью, а под овальной фотографией покойного горела лампадка. Аделе ринулась, задыхаясь, за сестрой, словно та без нее непременно должна была натворить что-нибудь непотребное. Но в этих туфлях, которые она совсем разучилась носить, она с трудом ковыляет и все больше отстает. Марианна — та поспевает. Но, собственно, куда идти-то? Ничего же не осталось! А ведь могила у дяди была совсем неплохая. Она ей даже нравилась. Бывало, выдернешь сорняки, поставишь возле лампадки дюжину гвоздичек, и вид у могилы становится вполне благопристойный. К тому же, в понимании Марианны похороны все ставили на свое место: человек умирает, стало быть, кончаются его мучения, но что-то от него все-таки остается, и раз в год им кто-нибудь занимается. И еще: есть такие уголки, которые много значат в детстве, а в дальнейшей жизни служат вехами, поэтому надо, чтобы они оставались как были, даже если никакой ценности не представляют. Если же все начисто меняется, бесследно исчезает, даже могилы...

Само место можно найти, потому что могила дяди Джакомо была в первом ряду, в промежутке между скамейкой и железной урной для бумаги и высохших цветов. Но именно здесь, прямо как нарочно, чернеет одна из новых могил, вырытая, судя по свежей земле, всего несколько часов назад. На совсем небольшой, даже не мраморной тумбе — фотография юноши в рубашке с отложным воротничком. На тумбе провернуты четыре дырочки, чтобы укрепить доску с надписью, но, видно, доска еще не готова, или шурупов не захватили, так что могила пока без имени.

К а р л а (уставившись на чужую, безымянную могилу, уже с раздражением и досадой): — Сам виноват: «Раз я родился в Милане, то и на том свете останусь миланцем...» Будто миланец — это профессия или звание какое!

А д е л е: — Как подумаю, что и после смерти придется квартплату платить...

К а р л а (вдруг разволновавшись):— Да разве дело в плате? (Закрыв лицо руками, плачет. Но не хочет, чтобы видели ее слезы: смахивает их, прижимает руку к носу.)

С е с т р а (утешая): — Карла, милая, не расстраивайся. Они же его не выбросили, а просто перенесли в другое место. Можно справиться куда. Я знаю, такой случай был с двоюродной сестрой, то бишь с золовкой...

— Я положилась на ребят. Говорю: письмо пришло с кладбища, вскройте, посмотрите, в чем дело. А потом — из головы вон...— Совсем сникнув: — Десять лет жизни... Легко сказать! Десять лет...

Она больше не сдерживает слез. Плачет беззвучно, только иногда хлюпает носом. Волосы растрепались. Теперь лицо ее, обрамленное распущенными волосами, похоже на те прекрасные лики скорбящей, которые рисуют художники. И только рука с лиловыми прожилками и распухшими суставами, изборожденная глубокими морщинами, говорит, какую долгую и трудную жизнь она прожила!

Марианна подошла поближе, скорее растерянная, нежели взволнованная. Она глядит на плачущую тетку, на фотографию юноши, смотрит и не видит. Так бывает, когда, войдя в дом покойника, приблизившись к смертному одру, чувствуешь: надо что-то сказать, а что?.. Он, если бы мог пошевелить губами, знал бы, что тебе сказать, а ты — нет. Марианна смотрит и не видит ни сотрясающейся от рыданий тетиной груди, ни гордой шеи юноши и, по существу, ни о чем не думает. Единственное, что приходит ей в голову: «Нечего здесь больше торчать».

Она даже не заметила, как тетя Карла взяла ее под руку. Почувствовала только, когда та повисла на ней всей тяжестью, а заскорузлую ладонь положила на Марианнину руку, плотно ее сжала, сплетя свои пальцы с ее пальцами.

— Как же быть с цветами? — спрашивает Аделе.— Торговались, торговались...

— Не все ли равно... Возьми положи этому пареньку...— В голосе Карлы — безразличие: пусть будет как будет. Она еще больше наваливается на Марианну — устала, и шепчет ей:— Послушай меня, дочка. Женщина — всегда раба, была, есть и будет. Так уж лучше быть рабой человека, которого любишь.

XVI

На заводе Гавацци чувствует себя как дома. Огромный цех, машины, товарищи по работе для нее — все равно что для домашней хозяйки четырехкомнатная квартира, обстановка, дети. За воротами она уже не та. Тут ее можно сравнить с тяжело нагруженным возом, который тянет астматик ишак. В цеху, например, никто не обращает внимания, если она нечаянно толкнет кого-нибудь или в тесноте толкнут ее. Но как только она оказывается за воротами, на тротуаре, в магазине, где угодно,— все и вся ей мешают. Не было случая, чтобы она оступилась в цеху. На улице же не пропустит ни одной ямки — обязательно в нее угодит, ни одной арбузной корки — непременно поскользнется. За сегодняшний вечер она спотыкалась трижды. В последний раз, не удержись она за столбик с табличкой «остановка», обязательно стукнулась бы

о фургон, стоявший между трамвайной линией и тротуаром. Она задыхается. Холод для ее бедных щиколоток — зарез. В эти первые дни января, который обещает быть очень суровым, ей особенно скверно. В довершение всего она засомневалась, действительно ли есть такая улица: «Имени генерала Фары» или ей это только приснилось, а какой номер дома: 32, 23 или 123? Она чуть было не повернула обратно.

С некоторых пор Гавацци заметила, что у нее появилась привычка, как что не так, чертыхаться.

В поисках квартиры Инверницци она обошла с полдюжины темных, как склепы, подъездов, поднялась не на тот этаж, спустилась, позвонила не в ту дверь и, наконец, предстала пред удивительными и жаркими очами всего семейства. От батарей центрального отопления идет приятное тепло, тут же, под боком — диван. Она плюхается на него без сил и испускает тяжкий вздох.

— Я старый-престарый пес. Вернее, дряхлая сука, которой место — под забором.

— Будет тебе, будет! — увещевает Маркантонио. Он рад ее приходу.

— Только одряхлевших собак приканчивают разом, выстрелом из двустволки, а меня — каждый день понемногу.

Сильвия, более догадливая, поспешила накапать в рюмку кардиамина.

— Пей потихоньку, а то сведет ноги. Может, поешь?

— Я уже ела.

— А то приготовлю тебе суп из концентрата. Займет не больше пяти минут.

— Пять минут, пять минут. Через пять минут я уже выкачусь отсюда. Забрались к черту на кулички...

По мнению Гавацци, жить в районе Центрального вокзала — значит «у черта на куличках».

Этот квартал, выросший за церковью Сан-Джоакино, не старше человека средних лет, а уже весь перекопан бульдозерами, расковырян кирками... С одной стороны — развороченные подходы к новой железнодорожной платформе Варезине, с другой — целая чаща строительных лесов: возводятся умопомрачительные призмы, они реют в воздухе как знамена капитализма, вновь окрепшего и тем гордящегося. Что же до жилища Инверницци, то это типичный анахронизм. Квартира большая, с высоченными потолками, но нескладная, обветшалая; трубы торчат снаружи, электропроводка прибита к стене — держится на белых изоляторах. Но, в общем, довольно уютно.

Столовая без окон. Зато много дверей. Некоторые застекленные, другие — сплошные, покрашенные масляной краской. Одна дверь входная, остальные ведут в кухню, в ванную, в комнату родителей, в комнату трех старших сыновей и в комнату двух малышей; есть еще стенной шкаф, который тоже можно принять за дверь.

— Это моя Соборная площадь,— поясняет Маркантонио.— Выдайся у меня свободная неделя, я бы тут знаешь как все разрисовал! Намалевал бы повороты, возле каждой двери — стоп-линию, по диагонали — пешеходную дорожку, вон над тэй дверью (это в ванную) — «стоянка разрешается только от и до», над этой (над кухней то есть) — знак, запрещающий проезд на велосипедах (то есть детям моложе двадцати лет)... А восклицательный знак (сигнал, предупреждающий об опасности) знаешь куда мои ребятишки — продувные бестии хотят повесить? Не догадываешься? Над нашей кроватью! Как будто жена у меня — старуха и уродина...— Помрачнев: — А все-таки, как подумаю, что двое старших скоро женятся... Можешь ты себе представить наш дом без них? Тогда он действительно будет похож на Соборную площадь, но только в августе, когда все разъезжаются.

Гавацци смотрит на Маркантонио — то снизу, то сбоку. Как только она уселась на этот проклятый диван (теперь ее подъемным краном с места не сдвинешь), на нее пахнуло настоящим семейным уютом. Отец и мать — хоть и не первой молодости, но и не старые, еще красивые зрелой августовской красой. Девчушка, самая младшая («Мой подарок супруге на серебряную свадьбу»,— объясняет Маркантонио), копошится на полу, в обнимку с кошкой (которая покорно дает себя мучить). Мальчик, предпоследний по счету («Будущий семинарист»,— шутит Маркантонио), примостившись на краешке обеденного стола, делает уроки и ни на кого не обращает внимания. Через стекло в соседней комнате видна фигура третьего номера — так называемого Инженера, а за неплотно притворенной дверью — большая кровать, на которой спят двое старших. Их сейчас нет, ушли, то ли в ячейку, то ли на свидание с подружками, а может, отправились с подружками в ячейку, объясняет Маркантонио. Ему явно трудно скрыть, что он горд этим как коммунист и отец.

«Какой ты коммунист и передовой человек, если не контролируешь рождаемость? — хочется пожурить его Гавацци.— Повсюду сироты, подкидыши, брошенные дети, тоскующие по материнской ласке, по отцовской заботе, мечтающие о крыше над головой. А эти блаженные и в ус не дуют! Народили еще пятерых... В Италии и так два миллиона безработных, будет на пять больше. Но что теперь говорить: дело сделано. Только напрасно ты передо мной выпендриваешься. Расхвастался, как петух! Хочешь уколоть за то, что осталась в старых девах, что ли? Мужики на работе еще ничего, а как только вышли за ворота — все один на одного похожи: только о себе и думают, хвастуны, воображалы».

— Извините, что прерываю! Добрый вечер, товарищ! Мама...— Это так называемый Инженер, длинный, худой парень; глаза из-под роговых очков смотрят горячо,

внимательно, точь-в-точь как материны, только удвоенные толстыми стеклами...— Дай мне что-нибудь пожевать. Меня этот Д'Аннунцио совсем доконал...

Сильвия мигом вскочила. На пороге кухни она обернулась и посмотрела на Гавацци, как бы говоря: сама понимаешь, когда дети хотят есть... И скрылась за дверью.

— Папа, одолжи мне пару сигарет!

Гавацци: — А может, хочешь «йогу»? Или кока-колу? Перед тем как съесть бутерброды,— аперитив, после — кружку пива и черный кофе?

— Ты меня извини, товарищ! Понимаешь...

— Я тебе не товарищ. Меня зовут Гавацци, и я реакционерка.

Маркантонио: — Вот что, Инженер, успокойся и помолчи. Гавацци не в гости сюда пришла.

Очкастый: — А зачем же?

Гавацци:— Чтобы убедиться в том, что дети Маркантонио любят совать нос не в свои дела.

Маркантонио (с пафосом): — К твоему сведению, семейство Инверницци — самая настоящая партийная ячейка. У нас друг от друга тайн нет. С каким бы вопросом...

Появляется Сильвия, в каждой руке у нее — по бутерброду.

— На и иди к себе! Нам тут надо поговорить спокойно, по-стариковски. Больше не дам. Иначе хлеба на утро не хватит.

Гавацци: — Спокойно, говоришь?

Очкастый: — Спокойной ночи, товарищ. Извини, если я...

— Завел одну песню: «товарищ», товарищ»...

Сильвия: — Ну вот, теперь все разошлись.

— А двое старших? — интересуется Гавацци.

— Маркантонио: — Да что ты! Они раньше двенадцати... Признаться, я в их возрасте тоже считал, что спать — только время терять.

Сильвия (мужу смущенно): — Ты неисправим.

— Ты права. Единственный твой недостаток, дражайшая моя половина, заключается в том, что твоя половина всегда права.

Гавацци: — Ну как, обмен любезностями окончен? Могу я рассчитывать на ваше внимание хотя бы на протяжении пяти минут?

Супруги умолкли. На сей раз окончательно (надо же уважить товарища, друга). В доме тихо, так тихо, что слышно, как в детской посапывают малыши, в другой комнате работает челюстями, утоляя голод, Инженер, а в кухне капает из крана. Даже диван проявил чуткость: перестал скрипеть.

Гавацци набирает в легкие воздуха и начинает:

— Поскольку ночевать на вашем диване я не намерена... Учитывая, какой оборот приняло дело в пресловутой профсоюзной организации, я надумала... В общем, у меня есть идея, но так как она немного того, необычная... Одним словом, если мы...

В прихожей возня и топот, как в кино после окончания последнего сеанса. Сильвия опускает голову, губы ее неудержимо растягиваются в улыбке... Маркантонио сначала хочет сдержаться, делает над собой усилие, чтобы не засмеяться, и не выдерживает. От этого хохот его еще раскатистей. Врываются два старших сына, те самые, которые считают, что вернуться домой раньше двенадцати (а сейчас десять) — значит опозорить всю мужскую половину семейства Инверницци. Оба разрумянились, через плечо — синий плащ авиационного покроя, в руке — кожаная фуражка. Оба рослые, похожи друг на друга и очень похожи на отца, такие же напористые, жизнерадостные, только моложе.

Один из них: — Голову даю на отсечение, что ты — Гавацци!

Другой:— Можно подумать, что у нас вот тут радар. Кроме шуток, словно сверчок нам в ухо напел: скорее домой, в берлогу! Увидите такое...

Гавацци, преодолев сопротивление дивана, с трудом переносит на свои многострадальные ноги вес огромного туловища.

— Это какой-то зверинец... Зоологический сад!

Сильвия (выйдя из себя, резко): — Ошибаешься, это — семья!

XVII

Инженер д'Оливо примостился на вращающемся табурете, похожем на стул пианиста, только повыше, в углу той половины своего кабинета, которая похожа на конструкторское бюро, у чертежной доски. Он прикрепил миллиметровку, взял тонкое перо, напоминающее соломку для прохладительных напитков, и, макая его в маленькую бутылочку с красной тушью, изобразил какую-то машину в разрезе. По мнению Бонци, стоящего за спиной у инженера, это намоточная машина нового типа. Несмотря на позу писаря, уткнувшегося носом в бумагу, на то, что шея инженера вся ушла в острые плечи, спина выгнута дугой и весь он как-то скособочился, такая в нем целеустремленность, что даже скептик Бонци проникается к нему своеобразным пиететом. Но все пропадает, когда инженер д'Оливо выпрямляется и начинает работать на публику: откидывает назад и чуть склоняет набок голову, руку с пером поднимает до

уровня уха, будто копье, которое он вот-вот метнет в мишень. Инженер д'Оливо роняет вопрос, как некогда дамы роняли веер или кружевной платочек: с расчетом на то, что его подхватят. И, не дожидаясь ответа, снова склоняется над чертежом.

— А куда вы пошли потом?

Б о н ц и: — В фирму «Дезио», изготовляющую электрооборудование.

Тем же тоном: — На какую должность?

— В отдел упаковки. Я там обнаружил дико непроизводительные расходы на рабочую силу и материал. Под тем предлогом, что так было всю жизнь, ежемесячно швыряли на ветер сотни тысяч лир.

Тем же тоном: — И сколько вы проработали на упаковке?

— Пять месяцев и шесть дней. Ровно столько, сколько понадобилось для того, чтобы подготовить проект реорганизации всей работы отдела.

Тем же тоном:— Проект был осуществлен?

— Нет.

Тем же тоном:— А потом?

— А потом я пришел сюда.

И н ж е н е р (наконец, снисходя до замечания, правда, не совсем относящегося к делу): — Для руководства фирмы взять нового человека — все равно что проглотить жабу. Я имею в виду не какое-нибудь конкретное предприятие, а в принципе. Раз проглотил, то уже не выплюнешь. Даже если ты зачислил в штат человека, совершенно не отвечающего требованиям.

— Меня никто никогда не увольнял.

Поскольку инженер молчит,— по-видимому, уточнять это обстоятельство не входило в его намерения,— Бонци продолжает:

— Вы для этого меня вызвали? Признаться, мне до сих пор не приходилось... Но, наверно, рано или поздно, здесь или в другом месте, всякий должен испытать, что значит быть уволенным.

Д'Оливо не выказывает желания ответить на эту реплику, как и не обращает внимания на провокационный тон Бонци. В чертеже есть узел, который его не устраивает. Нет, не годится. Промакнув, он убирает чертеж в папку. (По-видимому, д'Оливо хранит всю продукцию своей умственной деятельности, даже если попытка не удалась.) Берет чистый лист, прикрепляет его к доске и воспроизводит неудавшуюся часть чертежа: блок и трансмиссионный вал.

Снова выпрямившись:— Ваши отношения с Рибакки?

Б о н ц и (с готовностью): — Предельно ясные. Мы на пути к тому, чтобы научиться друг друга презирать — неистово и в то же время незаметно для других.

Д'О л и в о (невозмутимо, с подчеркнутым хладнокровием): — Сколько вам лет?

— А почему вы об этом спрашиваете?

С тонкого чертежного перышка упала на миллиметровку большая красная капля. Инженер перевернул перо другим концом, окунул этот конец в кляксу, затем, макая его уже в бутылочку, стал набрасывать поверх эскиза блока контуры всей машины.

Б о н ц и: — Работнице у такой машины придется все время стоять.

— Знаю. Но я знаю также и то, что на площадке, где сейчас с трудом помещается восемь машин, я смогу разместить от двенадцати до четырнадцати.

— Это верно.

— Но, по-вашему, если выбирать между более рациональным решением и удобствами рабочего, следует предпочесть последнее.

— Нет. По-моему, надо найти такое решение, которое отвечало бы обоим требованиям.

— А если такое решение невозможно?

— Оно должно быть найдено.

— Послушайте, мистер Дэви Крокетт! — Инженер повернул свой табурет на сто восемьдесят градусов и оказался лицом к лицу с Бонци. — Ответьте мне на следующие два вопроса: во-первых, вы что, намерены всю жизнь бродить с одного ранчо миланского промышленного пояса на другое? Во-вторых, если вы решили начать оседлую жизнь — слезть с коня и соорудить себе хижину...

Инженер помрачнел, впился своими карими глазами в кошачьи глаза Бонци и упер конец пера в подбородок. Сообразив, что на подбородке остался красный след, он раздраженно фыркнул, будто виноват был его собеседник. После некоторого колебания вынул из кармана шелковый платок с меткой и вытер, вернее, попытался стереть пятно. Затем, повернув табурет в обратном направлении, закончил фразу:

— ...Тогда скажите, что вы предпочитаете: популярность среди туземных племен или...— эти слова он произносит, уже уткнувшись в чертеж,— прогресс цивилизации?

Б о н ц и: — Я не понял вопроса. Будьте любезны, повторите.

— Я не люблю попусту терять время. Вас никто об этом не предупреждал?

Любопытное признание! Может быть, он только делает вид, будто с головой ушел в чертеж и разговор ведет попутно, между прочим...

Но Бонци хитер, он молчит.

Д'О л и в о (не меняя тона): — И это дает вам основание вбивать в голову недавно поступившей на завод работнице, что машина, на которой она работает, опасна.

Б о н ц и (обнажив два ряда острых зубов): — Вы сами пожелали узнать мое мне-

ние в ее присутствии... И я его сформулировал, не сказав ничего лишнего. Если вас интересует причина, которая, по-моему...

— По-вашему?

— ...привела к тому, что они прозвали «Авангард» зверюгой, хотя и не могут объяснить почему...

— Ну, ну?

— То это просто, как колумбово яйцо. Вы, конечно, тоже...

— Меня оставьте в покое! Договорите насчет «колумбова яйца».

— Так вот, по мере увеличения скорости вращения клеть, то есть вращающаяся масса, становится все менее различимой. Вы сами сказали: при нормальном режиме работы клеть различить нельзя.

— Совершенно верно.

— Но следует иметь в виду еще другое: невидимая клеть вращается с бешеной скоростью не вместе с катушками, а вокруг них, кажется, будто катушки чуть колышутся в своих люльках, словно машина уже остановилась. Отсюда полное впечатление, что в случае необходимости к ним можно прикоснуться рукой.

Инженер д'Оливо снимает лист, рассматривает незаконченный набросок, кладет его в ту же папку, что и предыдущий, и снова вместе с табуретом поворачивается к Бонци.

— Скольким людям вы уже изложили свою теорию?

— Это не теория. Если, конечно, вы не подразумеваете под теорией...

— Скольким и кому именно?

— Пока никому.

Д'О л и в о (после небольшой паузы): — Сколько, вы сказали, вам лет? — Ему удалось сохранить прежний тон. После второй, более продолжительной паузы, так и не дождавшись ответа, точно таким же тоном:— В отношении «Авангарда», пока мы не создадим другую крутильную машину, еще более революционную, можно было бы кое-что предпринять. Скажем, заключить клеть в закрытый цилиндр. Без всякой прорези. Снабдить его устройством, не позволяющим открывать клеть на ходу. Казалось бы, куда проще. Но это неосуществимо. Ясно почему?

— Конечно. Без прорези работница не сможет заметить обрыв проволоки.

— Стало быть, это повлекло бы за собой значительный расход материала, чего мы допустить не можем. Вот если бы поставить электронное устройство...

Б о н ц и (весь просветлев):— Электронное тормозное устройство!

— Опять колумбово яйцо, да? Но даже если не учитывать, во что это обойдется,— а обойдется это недешево,— и не задаваться вопросом, стоит ли игра свеч, по моим подсчетам для того, чтобы разработать такое устройство, испытать его и внедрить, понадобится не менее двух лет. Да, года два.

— А до тех пор?

— Если девчонка — дура, замените ее.

— Девчонка-то в порядке.

— Значит, не о чем говорить. Могу ли я рассчитывать и на ваше молчание? Никто, ни один человек не должен знать, что я вам сказал. Смотрите не проговоритесь. Вы молоды и не знаете, какой у них нюх. Чем человек невежественнее, тем больше, по закону самосохранения, в нем развиваются догадливость и нюх. Они сразу раскусят, в чем дело, и уцепятся за этот вариант, чтобы заставить нас остановить «Авангард», держать его на приколе до тех пор, пока не будет готово новое устройство. Этого допускать нельзя, ни в коем случае.

— Из соображений престижа?

— А если б даже так! Разве логика производства, говоря вашими же словами, не требует того, чтобы мы заботились об авторитете инженерно-технического персонала и руководства?

Ответа д'Оливо не ждет. Вернее, даже не хочет слышать. Он соскальзывает с табурета, быстрыми шажками перебегает в другую часть кабинета и садится за письменный стол. Это его всегдашний способ давать понять, что аудиенция окончена. Если разговор начался за столом, он перебегает к чертежным доскам и наоборот. Бонци уже шагнул за порог, когда д'Оливо сухо окликает его:

— Так сколько же вам лет?

Бонци колеблется, потом все-таки отвечает:

— Двадцать три.

— Затворите дверь.

— Да, господин инженер.

— Я, со своей стороны, могу создать вам условия, при которых вы не захотите кочевать с одного ранчо на другое ни через шесть месяцев, ни через шесть лет. Как вы насчет батареи из двенадцати «Авангардов» с электронно-счетным устройством? А весь этот хлам — старые крутильные машины — на слом?

— Было бы замечательно!

— В сложившихся обстоятельствах многое будет зависеть от вас, от вашей серьезности.

— Я полагаю, вы хотели сказать: от лояльности.

— Да.

(Окончание следует)

ПИТЕР АБРАХАМС

Во власти ночи

РОМАН

Перевод с английского
А. ИБРАГИМОВА и Т. РЕДЬКО

Моим друзьям Уолтеру Сисулу и Нельсону Манделе, а также всем другим, тем, кто схвачен и кто еще на свободе, всем, кто борется против власти ночи.

Действующие лица

Ричард Нкози — имя, которое носили многие деятели подполья.
Ричард Дьюб — художник, он же Ричард Нкози.
Вестхьюзен — человек, считавшийся белым до того, как власти объявили его цветным. Теперь он зовется Ханс Кэтце.
Сэмми Найду — руководитель индийского сопротивления в Натале.
Давуд Нанкху — доктор индиец.
Ди Нанкху — его сестра.
Дики Наяккар и Кисси — домочадцы Нанкху.
Карл Ван Ас — заместитель начальника управления внутренней безопасности в Натале.
Анна де Вет — его секретарша.
Милдред Скотт — директриса женской школы для цветных, любовница Ван Аса.
Д-р Людвиг Снель — начальник управления внутренней безопасности в Натале.
Чиновник из отдела картотек.
Джепи дю Плесси — главный инспектор Натальского управления уголовного розыска.
Ханс Янсен — инспектор уголовного розыска.
Старик Нанда — богатый коммерсант, индиец.
Молодой Нанда, или Джо — его сын.
Исаакс — коммивояжер и связной подполья.
Капитан Стиккелунд — моряк, утративший способность верить.
Жители Южно-Африканской Республики.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Когда подует ветер

I

Подводная лодка, взломав черную морскую гладь, всплыла на поверхность, и на мгновение тишину в этом районе мира нарушил какой-то странный, непривычный гул. Из воды выступила верхняя часть судна. Через несколько секунд ночное безмолвие опять было нарушено: открылся люк, и на палубе появился человек, который, словно спасаясь от погони, торопливо направился к воде. Он бросил в воду надувную лодку. Затем швырнул в лодку какой-то

предмет и сам прыгнул в нее. С лихорадочной поспешностью он принялся грести прочь от судна. Люк захлопнулся. Негромко застучали, загудели мощные двигатели.

На подводной лодке включили свет. Сурового вида командир взглянул на первого помощника, пожал плечами и с озабоченным видом проговорил:

— Вряд ли этот тип хоть на что-нибудь способен... Подождем еще секунд двадцать и будем погружаться... Ведь у него с собой деньги!

— Сколько?

У командира заблестели глаза.

— Десять, а может, и двадцать тысяч рэндов *, точно не знаю.

Командир резко повернулся на каблуках и бросил:

— Начинайте погружение — и как можно скорее прочь из этого проклятого места.— Но прежде чем уйти, остановился в дверях и испытующе посмотрел на помощника.— Вы — представитель службы безопасности на корабле. Надеюсь, вы позаботились о том, чтобы наш пассажир не узнал названия судна. Этот джентльмен, если на него как следует нажмут, все выболтает, а я боюсь, что он как раз из тех, кто непременно попадает в руки полиции.

«Проклятье!» — выругался про себя первый помощник. Руководя погружением, он лихорадочно перебирал в памяти все детали, начиная с того самого момента, когда три дня назад у берегов Восточной Африки на борт подводной лодки был принят пассажир с завязанными глазами. Эти воспоминания несколько успокоили его. И все же никогда нельзя быть уверенным до конца. Любая мелочь может оказаться ключом к раскрытию тайны: клочок бумаги с адресом, пустая коробка из-под сигарет, этикетка на бутылке. А такие острые, наблюдательные глаза, как у этого тихого и сдержанного человечка, первому помощнику не часто доводилось встречать. Как только закончится погружение, надо будет внимательно осмотреть его каюту. Этот сморчок не похож ни на революционера, ни на шпиона. И к тому же при нем были деньги.

От погружающегося судна пошли такие волны, что маленькая надувная лодка едва не опрокинулась. Человек отчаянно бранился, изо всех сил стараясь удержать ее в равновесии. И все же где-то в глубине души он испытывал облегчение от того, что вырвался из этой тюрьмы. Он с ненавистью вспоминал каждую минуту, проведенную на подводной лодке. Сознавать, что за тобой постоянно следят, и не видеть никого, кроме командира и его первого помощника! У себя в каюте он нарочно оставил два наброска, пусть знают, что его не обманули их мнимое простодушие.

Волны улеглись. Он физически ощутил тишину, и черные просторы вод, и темноту, ощутил собственное одиночество в этом огромном мире.

Надо выбраться отсюда, надо выбраться на берег прежде, чем взойдет луна. Но где, черт возьми, берег? Ошибешься курсом, и рассвет застанет тебя в море: какая будет великолепная добыча для береговых патрулей! Если об этом все время думать, то и рехнуться недолго! Да, что же они говорили? Суша там, где темнота кажется особенно плотной. А как они это определяют? Темнота как будто везде одинаковая. Чертовски соблазнительно дождаться здесь восхода луны, и тогда все будет видно. Но ведь тогда и тебя могут увидеть, а это не годится. Его снова охватил панический страх, тело пронзила дрожь. Но он тут же твердо решил не поддаваться панике. Надо плыть в ту сторону, где темнота гуще. Плыть в ту сторону, где темнота гуще. Он твердил себе это до тех пор, пока страх не сменился спокойствием. Ему даже показалось, будто он может определить, где темнота особенно плотная. Взявшись за маленькое, словно игрушечное, весло, он нагнул голову и начал грести, теперь уже уверенный в правильности выбранного курса. Движения его стали ритмичными и плавными. Удары весла да тихий плеск воды, лижущей резиновые борта лодки, были сейчас единственными звуками в мире. Человек и лодка будто слились в вечном движении вечного моря. Прошло полчаса, прошел час, еще час.

И лишь когда к привычным звукам примешался шум ударяющихся о берег волн, человек перестал грести, распрямился и поднял голову. Он облизнул губы и почувствовал, что они покрыты налетом соли. Полоса света над горизонтом возвещала близкий восход луны. Он твердо и решительно подавил в себе желание размышлять, подался всем корпусом вперед, снова наклонил голову и взялся за весло. От усталости он постепенно перестал замечать окружающее и впал в полузабытье. Веки налились свинцом. Но он продолжал размеренно грести.

Когда из-за горизонта показались первые яркие лучи луны, лодка коснулась дна. Толчок вывел его из оцепенения. Минуту или две он бессмысленно смотрел на все еще темную землю, затем вывалился в воду и потащил за собой лодку к берегу. Брызги морской воды окончательно привели его в чувство. Совершенно измученный, он все же определил, что ему хорошо знакома эта часть берега. Здесь, после купанья, частенько спал мальчуган. Даже не закрывая глаз, он мог представить себе лицо мальчугана, оно неотступно стояло у него перед глазами: это было его собственное лицо. И ему захотелось, как это бывало в детстве, вздремнуть, погрузиться в сладостный покой. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, но усилием воли поборол в себе слабость.

---

* Один южноафриканский рэнд равен десяти шиллингам.

Да, какие же были указания? Обрызгать лодку жидкостью и быстро отойти в сторону, предварительно бросив в лодку сосуд из-под жидкости. Он взял мешок с деньгами, вытащил из кармана баллончик, похожий на распылитель аэрозоля, осторожно отвинтил крышку и бросил ее в лодку. Затем наклонился, нажал рычажок, и из сосуда с шипением вырвалось влажное облако. В воздухе распространился специфический запах. А его предупредили, что, как только появится запах, надо немедленно избавиться от сосуда. Он швырнул распылитель в лодку и побежал, таща за собой мешок с деньгами. Через несколько сот шагов он оглянулся. При слабом свечении дымного пламени и разлившемся по небу лунном сиянии видно было, как лодка съежилась, а потом превратилась в нечто, подобное обрывкам морских водорослей.

Он подумал: эти люди все рассчитали и все предусмотрели. Невольно вспомнились те двое, его хозяева на подводной лодке. И он не нашел утешения в их предусмотрительной расчетливости. Однако прочь размышления!

Он взвалил мешок с деньгами на плечо и направился к выступу высокой скалы примерно в ста ярдах от берега. За ней, немного правее, на возвышенности, светились окна. Ближайшее жилье, насколько он помнит,— по крайней мере в двух милях отсюда. А до этих огоньков меньше мили. Это было непредвиденное, осложняющее положение обстоятельство, которое могло помешать ему выбраться отсюда незамеченным, если вообще он отсюда выберется. Но делать нечего, надо идти. Однако, пройдя несколько шагов, он остановился как вкопанный. До скалы оставалось меньше двадцати ярдов, и он совершенно точно знал, что в ее тени кто-то притаился.

Во рту у него пересохло. Горло сжали спазмы. Потом страх сменила слепая злоба. Он опустил мешок с деньгами на землю. Сунул руку в карман и нащупал револьвер.

— Не вздумай вытащить револьвер, приятель,— тихо сказал кто-то.

«Попался»,— мелькнуло в голове Нкози.

— Вынь руку из кармана,— снова послышался голос,— и иди сюда, живо: скоро землю зальет свет... Черт возьми, что с тобой, кафр? Хочешь все испортить?..

— Кто вы такой?

Сейчас он был спокоен и хладнокровен. И все благодаря случайно брошенному слову «кафр»; оно побудило его без малейшего волнения и тревоги тщательно взвесить обстановку.

— Кто вы? — полностью овладев собой, повторил он еще спокойнее и направился к скале.

— А мешок бросил?

— Не ваше дело! — Рука нащупала рукоятку револьвера, указательный палец легонько коснулся спускового крючка. Эх, жаль, не научился пользоваться этой штукой. А должен бы предвидеть, что стрясется нечто подобное. Надо было подумать об этом в свое время.

Он подошел совсем близко к скале, так близко, что, казалось, мог уловить невидимые токи, которые излучал спрятавшийся в ее тени человек.

— Успокойся, товарищ! — на этот раз взволнованно произнес голос.— Мне поручено тебя встретить. Mayibuye!* Да очнись же ты!

Человек, высадившийся с подводной лодки, застыл на месте. Его снова охватила сильная дрожь; холодное оцепенение, сковавшее тело и мозг, ослабло. Он почему-то был уверен, что это не ловушка. Отошел на несколько ярдов, вскинул мешок на плечо и вернулся.

Диск луны уже поднялся над горизонтом, и по ночному небу стремительно разбегались бледные лучи. Скоро они коснутся земли и окутают эту часть Африки мягким иллюзорным светом, разливающим вокруг кажущееся спокойствие.

От скалы отделилась длинная тощая фигура, во мгле казавшаяся призрачной.

— Добро пожаловать! Ты не представляешь, как вовремя подоспело то, что ты привез! Как это кстати! Теперь, по крайней мере, подполье не погибнет из-за недостатка средств. А ведь они уже торжествовали победу.

— Постойте, дружище. Вы говорите «они», а между тем я готов поклясться, что вы один из них. И выговор у вас такой, и внешность...

Внезапно длинная худая тень обрушилась на него. Он попытался вырваться, но оказался прижатым к земле, а рука с револьвером беспомощно застыла в кармане.

— Ну что ж, это верно, говорю я в точности, как они. И лицом на них похож, жаль, ты не можешь разглядеть меня в темноте...— В голосе его появились жесткие нотки.— Да! Я был одним из них. Но потом мне сказали, что это ошибка, что в моих жилах течет кафрская кровь.— Он вдруг разжал руки и вскочил. Пришедший со стороны моря сел и принялся рассматривать длинного незнакомца. Он прекрасно понимал, что отсюда надо немедленно уходить, но был не в силах оторвать взгляд от человека, считавшегося белым до того, как ему сказали, что это ошибка.

— Меня зовут Вестхьюзен,— пробормотал длинный.— Помнишь, наверно, эту историю. Она разыгралась в начале прошлого года. Это была настоящая сенсация.

---

* «Mayibuye i Afrika!» («Вернем Африку ее народу!») — приветствие Африканского национального конгресса.

Даже лондонские газеты отвели ей первые полосы. Ладно, пошли, надо поскорее убраться отсюда. Теперь слушай: ты мой слуга, а я подвыпил. Встретим кого-нибудь— помалкивай и во всем положись на меня. В случае чего — беги. Обо мне не беспокойся. Насколько я помню, тебя следует называть Нкози?

— Да. Ричард Нкози.

— Давно ты не был здесь?

— Десять лет.

Они пошли прочь от скалы. Впереди длинный и тощий Вестхьюзен, за ним невысокий стройный Нкози с мешком на плече. Вестхьюзен шагал быстро, и Нкози едва за ним поспевал.

— Пока они не выставили береговую охрану,— сказал Вестхьюзен,— но рано или поздно выставят, хотя протяженность берега чертовски велика. Тогда будет еще труднее встречать и провожать своих людей. Сейчас их патрули курсируют лишь кое-где между городами и деревнями. В прошлом месяце здесь были неприятности, так что надо держать ухо востро, чтобы не нарваться на патруль прежде, чем выберемся на шоссе,— иначе дело может обернуться скверно.

— Послушайте,— заговорил Нкози,— я знаю эти места. Я был...

— Держи свои знания при себе! — резко оборвал его Вестхьюзен.

— Я просто хотел помочь,— возразил Нкози.

— Когда потребуется твоя помощь, я скажу.

— Как вам угодно!

Они быстро взбирались вверх по отлогому склону. Справа, и теперь уже совсем близко, ярко светились окна одинокого дома. Во время длительного заточения на подводной лодке Нкози отвык шагать по неровной земле и сейчас без конца спотыкался и терял равновесие.

Наконец они свернули на узенькую тропку, где идти было легче.

Луна уже стояла высоко в небе. Вся земля была залита бледным светом, достаточно, впрочем, ярким, чтобы различить, например, тень, отброшенную деревом, мимо которого они проходили. Они обошли дом со светящимися окошками, держась от него на расстоянии около ста ярдов. За домом лениво залаяла собака. Ей ответила другая. Вестхьюзен все ускорял шаг. Прошли еще милю с лишним и оказались под сенью нескольких деревьев. От усталости у Нкози звенело в ушах. Он задыхался, однако виду не подавал. Пусть это неразумно, но лучше умереть, чем признаться Вестхьюзену в своей слабости, потому что он наверняка не терпит слабости.

Вдруг Вестхьюзен замедлил шаг и сказал:

— Я не хотел тогда тебя обидеть, но чем меньше человек знает, тем меньше может выболтать. Вы все, как назло, недооцениваете противника. До машины уже недалеко.

— Почему «вы»? — спросил Нкози.

— Потому что «вы».

— Значит, вы не считаете себя одним из нас?

— Еще чего захотел!

От удивления Нкози даже остановился, но Вестхьюзен скомандовал:

— Пошли!

И Нкози зашагал дальше.

— Тогда...

— Тогда почему я приехал тебя встречать? Ради денег! А ты думал из любви к тебе?

Они перевалили через небольшой холм, спустились в лощину, и дом с освещенными окошками скрылся из виду. Впереди и чуть левее в ясном свете луны отчетливо выделялась широкая, уходящая вдаль темная полоса земли. Нкози вспомнил огромные, в десятки акров, золотисто-зеленые плантации тростника, ночью казавшиеся черными. И впереди и слева тянулись тростниковые поля. Насколько он помнил, десять лет назад плантации не подступали так близко к берегу. Хорошо, что они выслали навстречу человека. Следить за переменами издалека — это не то, что видеть все собственными глазами. А о таких незначительных вещах, как, например, вновь посаженное дерево, уборная, построенная в дальнем углу сада, ранее заброшенный, а теперь возделанный участок земли, вообще не узнаешь. Он подумал о своем проводнике и крепче стиснул в руке револьвер. Если этот человек — платный агент, то деньги отнюдь не в безопасности.

Будто угадав его мысли, Вестхьюзен сказал:

— О деньгах не беспокойся. Я не собираюсь их у тебя отнимать.— В его голосе послышались знакомые суровые нотки.— Хотя, как ты понимаешь, мог бы сделать это без особого труда. Просто они мне ни к чему. И потом, ваши люди умеют жестоко расправляться со своими врагами.

Некоторое время он шел молча.

Чего же от него требовать, размышлял Нкози. Считаться белым, а потом ни с того ни с сего попасть в разряд цветных, да к тому же в стране, где так важно быть белым! От этого кто угодно ожесточится и придет в отчаяние! Ему вспомнились обрывки газетных сообщений.

— У вас, кажется, были жена и двое детей?

Вестхьюзен вдруг споткнулся, потом упавшим голосом проговорил:

— Да.

— А что с ними теперь?

— Не твое собачье дело, кафр! — взорвался Вестхьюзен.

На сей раз слово «кафр» не показалось Нкози обидным.

— Я спросил, не подумав, простите.

Вестхьюзен остановился и пристально посмотрел на Нкози, потом резко повернулся и зашагал дальше. Минут десять они молчали. Луна стояла уже высоко в небе, и перед ее сиянием померк даже Южный Крест. Дорога то уходила вниз, то поднималась, и одна мысль о том, что ему предстоит одолеть все эти подъемы и спуски, повергала Нкози в отчаяние; он дьявольски устал, и, казалось, вот-вот сдастся, как это бывает с людьми на поле боя, когда их вдруг покидает самообладание. Но в это мгновение прямо перед ним, возле кустарника, вырос силуэт автомобиля.

Словно во сне послышался голос Вестхьюзена:

— Садись сзади. Деньги положи под ноги. Если остановят, помни, где ты находишься. Это тебе не Европа, и как бы высоко ты себя ни ставил, здесь ты всего-навсего кафр. Помни это. Ну, залезай!

Нкози сел на заднее сиденье, бросил мешок под ноги, откинулся на спинку и закрыл глаза. По телу разлилась приятная истома. Так хотелось закрыть глаза и погрузиться в забытье. Но он превозмог себя и, едва ворочая языком, спросил:

— Значит, в душе вы по-прежнему считаете себя одним из них? — А про себя устало добавил: как побитая собака, которая продолжает лизать сапог, которым ее так безжалостно колотили.

— Что тебе сказать? — ответил Вестхьюзен уже более дружелюбным тоном.— Ты же сам сказал, что я разговариваю точь-в-точь, как они. Это потому, что я действительно один из них, и внешне ничем от них не отличаюсь; я говорю, как они, думаю, как они, чувствую, как они. И этого не может изменить никто и ничто!

— И даже то, что они изгнали вас из своего общества?

Вестхьюзен сел за руль, завел мотор, но тут же его выключил. Потом обернулся и посмотрел на Нкози.

— Они еще заплатят за свою глупость. И дорого заплатят! Я лишь один из многих. И если все мы начнем мстить, как я сейчас, им придется худо! Скажите пожалуйста, взялись решать, кто белый, а кто нет! Ведь это нечто зримое, укоренившееся в сознании, осязаемое! Они еще пожалеют о случившемся.

Он снова завел мотор. Машина рванулась с места и запрыгала по ухабам. Нкози швыряло из стороны в сторону, пока наконец они не выехали на ровную дорогу. Нкози изо всех сил боролся со сном, однако усталость взяла верх. Но даже и в полузабытьи Нкози продолжал спрашивать Вестхьюзена:

— А чем они поплатятся? Как ты им отомстишь?

Вестхьюзен же ничего не отвечал, а все отодвигался и отодвигался, пока его лицо не превратилось в крохотную темную точку над горизонтом. Нкози хотелось остановить его, и он крикнул:

— Как ты им отомстишь?

И проснулся. Сердце в груди отчаянно стучало, он весь дрожал. Машина стояла на месте. Рядом кто-то разговаривал. В лицо ему ударил яркий свет.

— Стало быть, ты жив. Пропуск! — рявкнул сержант Лоув.

От неожиданности и страха Нкози не мог вымолвить ни слова.

— Ну-ка, вылезай!

Затем он услышал голос Вестхьюзена:

— Это новенький. Я подобрал его сегодня утром на границе с Протекторатом. Пропуск он получит завтра. Ладно?

Нкози вылез из машины, оступился и упал. Чьи-то грубые руки подняли его и прислонили к машине.

— Нежный какой,— в хриплом голосе Лоува звучала издевка. Чуть подальше, в тени, Нкози заметил еще одного человека и с ним рядом патрульную машину. Его обуял страх и неодолимое желание бежать, бежать прочь от этих людей.

— Ну, ладно, можно и завтра,— согласился Лоув.

— Это будет некоторым нарушением,— ехидно заметил тот, что стоял поодаль.— Вы же знаете закон, мистер... мистер,— он сделал многозначительную паузу.

— Кэтце, Ханс Кэтце,— подсказал Вестхьюзен.— Чтобы попасть ко мне, надо проехать еще пять миль по главной дороге, а потом повернуть в сторону.

— Я слыхал о вас, мистер Кэтце,— снова заговорил Лоув.— Вы принимаете активное участие в партийной работе. Уверен, что вам не составит труда зарегистрировать его утром.

Вестхьюзен обратился к патрульному, тому, что стоял поодаль:

— Весьма сожалею, что так получилось, но я не предполагал, что буду возвращаться с кафром; иначе заранее оформил бы документы.

— Понятно,— ответил патрульный и все тем же многозначительным тоном добавил:— Вы здесь недавно, мистер Кэтце, и все вам рады! Даже я слышал, как вы преданы делу партии. Поэтому, пожалуйста, поймите меня правильно. В этом районе у нас недавно были неприятности, и нам приказано строго следить за кафрами.

Ну, Вестхьюзен, ты влип, подумал Нкози, этот тип взял тебя на заметку.

Патрульный, стоявший все время поодаль, быстро подошел к ним. Нкози скорее почувствовал, нежели увидел это. И тотчас же яркий свет ударил ему в лицо.

Успокойся, сделай вид, что испугался, прищурь глаза. Ты всего-навсего запуганный кафр.

Прошло несколько секунд, которые показались ему вечностью, потом луч фонаря медленно пополз вниз, ощупал грудь и снова остановился на лице. Нкози был готов к этому, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Совершенно неожиданно яркий свет фонаря выхватил из темноты лицо Вестхьюзена и тотчас же погас.

— Простите, мистер Кэтце,— пробормотал патрульный.— Это получилось нечаянно.

— Ну, ладно, увидимся завтра,— сказал Лоув.— Или, вернее, сегодня утром. Сейчас уже около трех.

— Садись, кафр! — скомандовал Вестхьюзен.— Живо!

Машина тронулась. Патрульные попрощались с Вестхьюзеном, но он не ответил.

Направляясь к патрульному автомобилю, Лоув заметил:

— Напрасно ты это сделал. Кэтце был взбешен. Не забудь, он пользуется большим влиянием в партии. Он может устроить нам какую-нибудь пакость.

— Взбешен или напуган? — вкрадчиво спросил его напарник.

Лоув насторожился.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Мне показалось, будто наш мистер Кэтце растерялся, при вспышке света я заметил у него в глазах испуг.

— Ты сошел с ума. Кэтце...

— Знаю. Кэтце широко известен, как один из активных деятелей партии. Но что мы о нем знаем? Скажи, что мы знаем о нем?

— У тебя разыгралась фантазия.

— Возможно. А ну-ка вспомни несколько фактов. За последние полгода исчезло семь человек, которые сидели под домашним арестом, вместе с семьями они точно сквозь землю провалились. Это раз. И еще: два месяца назад отряды внутренней безопасности разыскивали террориста Махланги и уже напали на его след в этом районе, но он исчез, словно испарился.

— Улизнул в Протекторат,— сказал Лоув.

— Да? Так почему даже англичане не знают, когда он уехал из Протектората? Если бы он летел самолетом, то непременно прошел бы регистрацию в порту и наши агенты легко установили бы этот факт. Но его имя нигде не значилось. Как же могло случиться, что спустя неделю он очутился в одной из коммунистических стран?

— Это ты мне скажи,— парировал Лоув.

— Берег находится в часе езды отсюда, берег пустынный, охраны нет.

— Ты просто спятил,— настороженность Лоува сменилась весельем.

— Спятил? Это насчет Махланги, что ли?

— Нет... насчет Махланги ты, может, и прав... Я говорю о Кэтце.

— А что особенного я сказал — что он испугался и что нам о нем ничего не известно?

— Ты связываешь это с Махланги и всеми, кто исчез?

— Да. Ведь мы ничего не знаем об этом человеке.

— К тому же мы встретили его с кафром на дороге в три часа утра.

— Не знаю, как насчет кафра. Он не вызвал у меня подозрений. А вот о Кэтце, я думаю, следует навести кое-какие справки. Он давно здесь живет?

Лоув чиркнул спичкой, прикрыл пламя ладонью правой руки, а левой вынул изо рта сигарету и сказал:

— Ровно год...— Он стоял, уставившись в одну точку до тех пор, пока спичка не обожгла ему пальцы. Тогда он тихо выругался, бросил обгоревшую спичку на землю и покачал головой:

— Что-то не верится. Он свой человек.

— Может быть, это и верно. Но ровно год чазад, с тех пор как он здесь появился, и начались эти загадочные исчезновения. Кто он такой и откуда приехал?

— Это как раз нам и нужно выяснить прежде всего,— задумчиво проговорил Лоув, снова закуривая.

— Вот именно.

— Подадим рапорт?

— Рановато. Пока не о чем докладывать. Сначала кое-что уточним. Будем следить за ним, только осторожно, чтобы не заметил. Есть у меня один знакомый парень в управлении внутренней безопасности. Вечером, когда сменимся, зайду к нему.

— Хорошо,— Лоув сладко зевнул и проворчал:— Черт бы побрал эти ночные наряды.

Воображение рисовало ему пышное тело жены. Через час он вернется домой, подойдет к постели, она что-то пробормочет во сне. Он коснется ее теплого, почти горячего тела, и его обожжет желание. Спустя почти два года после женитьбы он был по-прежнему опьянен страстью.

Его спутник добродушно усмехнулся:

— Перестань себя распалять. Потерпи немножко. Скоро увидитесь.
Чтобы скрыть неловкость, Лоув спросил:
— Почему вдруг ты стал подозревать Кэтце?
— Я всегда мечтал служить в управлении внутренней безопасности.
— Ясно,— сказал Лоув, а что ясно, он и сам не знал.

■

— Хватит! — сказал Нкози, прервав поток бранных слов Вестхьюзена.
И Вестхьюзен, вопреки ожиданиям, умолк. Следующие три мили он гнал автомобиль с головокружительной скоростью.
— Нас преследуют?
Нкози посмотрел в заднее стекло.
— Нет.
Проехав милю, Вестхьюзен снова велел ему оглянуться. Но патрульной машины не было. В предрассветной мгле они въехали в какой-то населенный пункт. Нкози сразу узнал поселок на краю тростниковых плантаций. За ним, несколько правее, на отлогом склоне Нкози увидел гроздья огней. С детских лет помнил он этот городок — одно из немногих бурских поселений в этой части Наталя.
Не доезжая до городка, Вестхьюзен повернул налево, и машина стала взбираться вверх по склону. Одолев подъем и проехав еще две мили, он свернул с дороги, выключил фары и повел машину по неровной проселочной дороге, сквозь море зеленого тростника.
Машина остановилась. И возле нее словно из-под земли вырос человек.
— Мистер Нкози,— окликнул незнакомец.
— Я вас слушаю.
— Хорошо.
— Вам придется уплатить вдвое больше,— заявил Вестхьюзен.— Двадцать рэндов, а не десять. За этого и за всех других.
— Не знаю каким образом, но он узнал, что́ я везу с собой,— вступил в разговор Нкози.— Нас остановил патруль, его, кажется, взяли на заметку.
— Не ври, проклятый кафр! — прошептал Вестхьюзен.— Никто не брал меня на заметку. Что же касается денег, то я просто догадался. Он сам себя выдал, сам.
Наступило молчание, потом человек, стоявший возле машины, спросил:
— Как вы думаете, будет погоня?
— Наверно, да,— сказал Нкози. Этот человек индиец, мелькнула у него догадка.
— О чем вы говорите, черт побери! — вспылил Вестхьюзен.
— Пойдемте,— прошептал человек.
Нкози вылез из машины, вытащил мешок с деньгами. Крошечный карманный фонарик в руках стоявшего рядом человека высветил маленький кружок, и Нкози увидел угольно-черные руки, достающие из бумажника деньги; руки были большие, ловкие.
— Вы просили двадцать рэндов,— сказал индиец.— Пожалуйста, получите. Спасибо.
Он взял Нкози за руку:
— Пойдемте...— И с чувством облегчения, которое сделало его слабым, Нкози последовал за огромной, быстро движущейся темной фигурой. Наконец-то он среди своих. Благополучно добрался.
— На́йду! — тихо, но вместе с тем властно крикнул Вестхьюзен.— Подождите минутку!
Но индиец, державший за руку Нкози, лишь ускорил шаг. После пяти минут быстрой ходьбы они достигли дома, возле которого стояла машина. Сидевший за рулем человек осведомился:
— Все в порядке?
— Да, наш гость здесь,— ответил проводник Нкози.
— А его вещи?
— И вещи тоже.
Мягкие длинные пальцы до боли стиснули руку Нкози. Послышался приветливый, тихий голос:
— Добро пожаловать! Вы не представляете, как необходимо нам то, что вы привезли... Присядьте на минуту. Я знаю, вы смертельно устали, но придется подождать, пока Вестхьюзен уедет. О боже! Я так сочувствую вам, дорогой товарищ. Я — доктор Нанкху. Официально я выступаю против совместных действий наших народов, потому что принадлежу к правому крылу Конгресса; по существу, я руководитель этого правого крыла. Неофициально я — ваш хозяин.— Он тихо рассмеялся без какой бы то ни было иронии.— Мы дорого заплатили за наши прежние, благородные, методы борьбы. Когда противники почувствовали себя достаточно сильными, они внезапно обрушились на нас и задушили движение; мы открыто выступали с трибун многочисленных собраний, и им были хорошо известны все наши руководители. Теперь мы поняли, что это жестокая война, а не состязание в красноречии. Вашим проводником

здесь будет Сэмми Найду, профсоюзный деятель. Официально мы с ним противники. Это помогает вводить в заблуждение настоящих врагов.

— Их останавливал патруль,— сказал Сэмми Найду.

— Всего раз? Я полагал, что их остановят по меньшей мере дважды.

— Не в этом дело, док. Мистер Нкози говорит, что Вестхьюзену известно о деньгах, а у патрульных возникло достаточно подозрений, чтобы заняться этим делом.

— И они займутся, я уверен,— сказал Нкози.— Когда свет фонаря ударил Вестхьюзену в лицо, он испугался, и патрульный это заметил. Утром Вестхьюзен обещал зарегистрировать меня.

Нкози видел, как оба — и Сэмми Найду, и доктор Нанкху — вдруг насторожились.

— А разве он не передал вам пропуск?

— Нет.

— Но я же отдал его Вестхьюзену, док.

— Успокойся, Сэмми, я в этом не сомневаюсь. Скажите, друг, почему вы думаете, что он знает о деньгах?

Нкози рассказал, как встретился с Вестхьюзеном, как тот сказал, что подполье крайне нуждается в том, что́ он привез, а потом прямо заявил, что денег не возьмет, потому что друзья Нкози жестоко расправляются со своими противниками.

— Ясно,— сказал Нанкху.— И вы, конечно, не отрицали, что везете деньги...

— Когда он сказал «Mayibuye», я решил, что он свой.

— Естественно. Мы знали, что это самое уязвимое звено во всей операции. Только белый — или похожий на белого — мог избежать обыска.

— Придется отказаться от этого маршрута,— сказал Найду.

Будто не слыша слов Найду, доктор тихо продолжал:

— Как вы думаете, мой друг, скажет что-нибудь Вестхьюзен, если на него окажут давление?

— Если как следует насядут, пожалуй, скажет!

— Вон он поехал,— сказал Найду.

Сверху им было видно, как передние фары автомобиля Вестхьюзена метнулись на шоссе.

— Ну, теперь можно ехать. Весьма сожалею, мой друг, но вас ждет еще одно маленькое неудобство. Вам нельзя сидеть рядом с нами в машине. Я и Найду — кули, а кули, как известно, плодятся, словно мухи; если нас остановят, мы скажем, что доктор-кули ездил принимать очередного появившегося на свет малыша. Всякий раз, когда мы отправляемся в подобную поездку, то наперед знаем, что в эту ночь родится человек, который со временем внесет свой вклад в борьбу. Вами же они могут заинтересоваться и тогда начнут проверять, что́ мы везем в машине. Поэтому вам придется свернуться калачиком в багажнике. Мы позаботились о том, чтобы вам было там как можно удобнее. Взгляните.

Доктор протянул руку, чтобы помочь Нкози вылезти из машины, и обнаружил, что тот едва держится на ногах. Нащупав у него пульс, доктор сказал:

— Надо срочно ехать, Сэмми, наш друг того гляди свалится.

— Я чувствую себя нормально,— сказал Нкози.

— Прекрасно, мой друг. Пойдемте.

Поддерживая Нкози с обеих сторон, Нанкху и Найду подвели его к багажнику огромной американской машины и помогли там устроиться; в багажнике были подушки и одеяла, чтобы амортизировать толчки. Туда же сунули мешок с деньгами и захлопнули крышку. И тотчас же у Нкози к горлу подступила тошнота, ему показалось, будто он может задохнуться. Он испугался, закричал и принялся барабанить по крышке. Нанкху тотчас же открыл багажник и заговорил тихим, ласковым голосом:

— Успокойтесь, друг, успокойтесь... успокойтесь. Вы перенапряглись, а теперь успокойтесь. Еще немного терпения, и ваша великая миссия будет завершена. Успокойтесь.

От тихого, ласкового голоса, монотонно повторявшего одну и ту же фразу, Нкози окончательно успокоился.

— Простите,— пробормотал он,— все в порядке.

А доктор все говорил и говорил тягучим, монотонным голосом, пока Нкози не перестал сознавать смысл слов. Потом доктор положил ладонь ему на лоб и подождал минуту или две.

— Сейчас, друг мой, я закрою багажник. Если вам будет неудобно, постучите тихонечко по крышке. Мы услышим, сразу же остановим машину и откроем вас. Громко стучать не следует, чтобы не привлекать внимания. Договорились?

Крышка багажника снова опустилась, но на сей раз медленно и тихо. Опять началось удушье, но он знал, что достаточно постучать, чтобы крышка багажника открылась, и это его успокаивало. Так ли это на самом деле? Ему было лень даже думать. Сначала машина двигалась тихо, осторожно, чтобы не очень трясло, потом пошла быстро и плавно.

Нкози почувствовал, что сердце у него отчаянно колотится. В голове засела тупая, непроходящая боль. Она распространилась на плечи и растеклась по всему телу. Стало трудно дышать; заговори он сейчас, его голос был бы глухим, слабым и невыразительным. Ему все еще чудился тихий, ласковый голос доктора, заглушавший

боль, вселявший чувство спокойной уверенности. Но какой-то частичкой сознания он противился соблазну расслабить волю. Потом зубы начали выбивать дробь, и он снова очутился в лодке, кружившейся на одном месте посреди темных вод бескрайнего моря, и никак не мог найти сушу. Он захныкал, вздрагивая всем телом, словно до смерти перепуганный ребенок, которого закрыли в темной пустой комнате, а зубы по-прежнему выбивали дробь...

В таком состоянии и нашли его доктор Нанкху и Сэмми Найду, когда уже без всякой предосторожности открыли багажник в гараже. Взяв Нкози на руки, они внесли его в дом, поднялись вверх по лестнице и, протиснувшись сквозь проем, замаскированный под стенной шкаф, вышли к лесенке, ведущей к мансарде. Здесь, в маленькой комнате, доктор быстро и ловко сделал Нкози укол, потом с помощью Найду раздел его и уложил в постель. Пока доктор отсчитывал пульс, дрожь постепенно стихала, и Нкози перестал стонать.

Найду перевел взгляд с Нкози на доктора.

— Вы думаете, у него был, как говорят врачи, коллапс?

— Вряд ли, Сэмми. Скорее, обычный обморок: результат нервного перенапряжения, чрезмерного волнения и усталости, кроме того, ему пришлось слишком долго быть наедине с собой.

— А если бы нам пришлось ехать дальше, док, он мог бы и умереть?

— Нет, Сэмми. Если бы понадобилось, он мог бы продержаться еще два, четыре, шесть и даже двенадцать часов.

— Каким же образом?

— Он расслабил волю, потому что попал к своим, подсознательно почувствовал, что можно ослабить напряжение, а он так нуждался в этом!

— Раз вы говорите, док, должно быть, так оно и есть.— Однако объяснение доктора не удовлетворило Сэмми Найду.— Он слишком слаб для такого дела. Вы обратили внимание на его ноги и руки?

Нанкху от души рассмеялся. Он был высок, светлокож, элегантен. Густая копна волнистых, черных, как смоль, волос венчала красивое, насмешливое лицо. Легкая седина придавала ему еще больше очарования. Словом, у него был вид, подобающий красивому индусу, выходцу из богатой аристократической семьи, получившему самое лучшее образование, какое только может дать Европа.

Полная противоположность ему — темнокожий, крупный, плотный, неуклюжий Сэмми Найду, судя по всему, был потомком индийских крестьян из низших каст, которых в середине прошлого века вывезли сюда в качестве дешевой рабочей силы.

— Ошибаешься, Сэмми. Тщедушный на вид Нкози, пожалуй, посильнее нас с тобой, вместе взятых.

— Вы шутите, док.

— Я говорю не о физической силе.

— Не все ли равно, сила есть сила, правда ведь?

— Нет.— Доктор помолчал, задумчиво глядя в одну точку, потом медленно покачал головой.— Поговорим об этом в другой раз. Дело не ждет! Он проспит целые сутки; Ди будет здесь и сделает все, что надо. Я позабочусь об отправке денег в Иоганнесбург, а ты займись Вестхьюзеном.

— Пожалуй, придется избавиться от него,— спокойно проговорил Сэмми Найду.

Нанкху вздохнул и кивнул в знак согласия. Затем брезгливо поморщился.

— Еще один субъект, от которого предстоит избавиться, а, Сэмми? От этого несчастного и они отказались, и мы. А теперь от него хотят избавиться.

Сэмми Найду принял суровый вид.

— Он знает меня и Нкози, ему известно о деньгах, да и вас он подозревает, я уже говорил вам. Вы же слышали, что сказал Нкози. Вполне вероятно, что они им займутся.

— Ну ладно, ладно!

— Вы же понимаете, что другого выхода нет,— убежденно заключил Сэмми Найду.

— Но я же согласен, правда!

— Мне неприятно видеть, как вы терзаетесь, доктор. Вы, как и я, прекрасно знаете, что думают о нас эти люди и как могут с нами обойтись. Разве вы забыли, как они подстрекали зулусов перерезать всех нас? Помните, как хладнокровно они наблюдали за происходящим? Помните, док?

— Хватит, Найду. Этого человека они не считают своим, они его отвергли.

— Но и мы не считаем его своим. Он может нас предать. Вы слышали, что сказал Нкози. А мы должны делать все, чтобы между нами и африканцами существовало полное доверие. Если мы потерпим неудачу в этом деле — по нашей вине или нет, неважно,— африканские националисты воспользуются случаем и поднимут крик, вот, мол, что получается, когда вы сотрудничаете с кули. Что тогда станет с нашим народом, кто за него заступится? Деньги в Иоганнесбург надо переправить так, чтобы не осталось никаких следов, ведущих к подполью.

Нанкху покорно отступил, как это частенько бывало в спорах с Найду, перед беспощадной логикой «ситуации», по выражению Сэмми.

— Попытаемся обставить все так, будто это дело рук поко,— сказал Найду, имея в виду черных террористов.

Нанкху стряхнул с себя уныние, еще раз взглянул на Нкози, который после укола спал глубоким сном, и потянулся к выключателю.

— Пошли, Сэмми, работа не ждет.

— Наконец-то я узнаю вас, док! — откликнулся Найду.

2

Ричард Нкози открыл глаза. Он проснулся с чувством безотчетного страха, сразу насторожился и весь напрягся. Потом, наконец, вспомнил, как доктор уложил его в постель. Доктор, по имени Нанкху, и Найду, профсоюзный деятель,— они хлопотали над ним до того, как подействовало лекарство. Особенно запомнилось ему лицо Найду: крупное, бесстрастное, круглое и до того черное, что такого не сыщешь и среди самих черных. И еще глаза — маленькие, острые, сверлящие, полные холодной расчетливости, которую ему довелось однажды увидеть в глазах гадюки и которую он запомнил на всю жизнь.

В комнате было темно. Когда его укладывали в постель, едва занималось утро, а сейчас совсем темно. Он почувствовал себя одиноким, загнанным в ловушку. Должно быть, он проспал весь день. Интересно, где дверь? Он ощупал руками кровать. Простыни были из тончайшего полотна, а одеяло легкое, как перышко, шелковистое и мягкое.

Он лежал спокойно, пытаясь определить, откуда льется поток свежего воздуха. Так он узнал, где находится окно. А дверь? Он обследовал левой рукой пространство возле кровати, но ничего не обнаружил; справа у кровати он нащупал маленький ночной столик, на котором не было ничего, даже настольной лампы. Вероятно, зажигать лампу было опасно.

Он сел в постели, отбросил одеяло и осторожно спустил на пол ноги. Одна нога зацепилась за что-то, и тотчас же раздался какой-то необычный шум. Несколько секунд Нкози ощупывал свои ноги, потом откинулся назад и улыбнулся. Ловко придумано, теперь им известно, что я проснулся. Он вспомнил о маленьких внимательных глазах Найду и сел, ожидая, когда кто-нибудь войдет в комнату.

Наконец среди тишины он скорее почувствовал, нежели услышал, как отворилась дверь. Теперь он увидел — она была напротив, справа.

— Простите, если мы вас напугали. Я хотела знать, когда вы проснетесь. Страшно, наверно, проснуться в незнакомом месте, особенно когда вокруг темно.— Голос был такой же ласковый и мягкий, как у Нанкху, только принадлежал он женщине.— Подождите минутку, я закрою окно, и тогда можно будет включить свет. Это у нас потайное убежище.

И опять он скорее почувствовал, нежели услышал, как невидимая женщина прошла мимо кровати, пересекла комнату по диагонали, закрыла и задернула шторой окно. Потом наступила тишина, и ее голос донесся уже от двери:

— Сейчас я зажгу свет. А потом выйду и подожду за дверью, пока вы оденетесь.

Комнату залил яркий свет, и дверь тотчас же захлопнулась. Нкози был один в маленькой комнатке с низким потолком из голых стропил и обрешетки; кровать, ночной столик сбоку и деревянный стул, на котором лежали его брюки, составляли всю ее немудреную обстановку. Рядом на полу стояли башмаки. Однако рубашки и фуфайки он не нашел. Здесь не было ни зеркала, ни умывальника. Зато на полу лежал роскошный бледно-голубой ковер с длинным густым ворсом. Плотно закрытое окно оказалось частью низкого покатистого потолка.

Он натянул брюки, обулся и подошел к двери:

— Я готов.

Дверь бесшумно отворилась, и в ярком свете, вырвавшемся из комнаты, он увидел перед собой женщину. Она была выше его ростом, пожалуй, сантиметра на два, сложение у нее было более крепкое, нежели у большинства индийских женщин, которых ему доводилось видеть, а кожа светлая, хотя и потемнее, чем у доктора. Каштановые волосы были гладко зачесаны назад и стянуты узлом на затылке. Две глубокие складки, пролегавшие почти от самой переносицы к уголкам рта, портили ее лицо с правильными чертами и удивительно открытым взглядом серо-карих глаз. На ней были брюки и блуза свободного покроя. Она протянула руку:

— Я — Ди Нанкху. Пожалуйста, вниз. Пока вы примете ванну, поспеет ужин.

Она повернулась и пошла, и тут Нкози заметил, что женщина хромает. Когда она ступала левой ногой, левое плечо и левое бедро резко опускались вниз. Ее левая нога, на несколько сантиметров короче правой, была обута в специальный кожаный башмак. Какое-то мгновение Нкози пребывал в замешательстве и почему-то чувствовал себя виноватым в том, что женщина — калека. Он шел за ней по узкой лестнице, и каждый раз, когда женщина ступала на больную ногу, у него сжималось сердце.

Спустившись с лестницы, они через маленькую дверцу вошли в гостиную второго этажа. Женщина загородила проем куском панельной обшивки, и лестница, ведущая в мансарду, оказалась скрытой, а образовавшаяся ниша превратилась в шкаф.

— Всего-навсего шкаф,— улыбнулась она.— Точь-в-точь такой, как два других, рядом. Важно лишь помнить, что этот — последний. Если что-нибудь случится, и вы станете открывать другой...

— Я запомню,— кивнул Нкози.

— В ванной все для вас приготовлено. Когда приведете себя в порядок, спускайтесь вниз.

— Прямо так, не таясь?

— Да,— она улыбнулась странной, слегка насмешливой улыбкой.— Здесь вы в полной безопасности. Мы, кули, были вынуждены возвести несколько поясов оборонительных сооружений. Теперь мы почти как муравьи.

— Очень сожалею,— пробормотал Нкози.

Она гордо вскинула голову и глубоко вздохнула. Затем в упор посмотрела на него. Лицо ее было исполнено горечи и суровости.

— Я не искала вашей жалости.

— А я и не выказывал ее. Я родился в этих краях, и мне хорошо известно, что в вашем, как вы выразились, муравьином существовании в какой-то степени повинны и мои сородичи. Я очень сожалею об этом. Только и всего.

Он повернулся и направился к двери, откуда доносился шум льющейся в ванну воды. Он был зол и в то же время подавлен: зол на себя и свой народ, на женщину и ее народ; его раздражало это сравнение с муравьями. Охватившее его уныние было глубоким и безграничным. Он резко захлопнул за собой дверь ванной комнаты, разделся и погрузился в теплую воду. Постепенно он успокоился, раздражение прошло, но уныние осталось. Он мылся быстро, потому что очень хотелось есть. По-видимому, сейчас он увидится с доктором и договорится о том, чтобы его скорее отправили из этого дома и этой чертовски унылой страны. Чем быстрее, тем лучше. Он взял со спинки стула полотенце и под ним обнаружил свежевыстиранную рубашку и фуфайку. Он мысленно воздал должное женщине. Мрачное настроение не мешало ей быть внимательной и предупредительной. Он быстро побрился, оделся и сошел вниз.

Дом ничем не отличался от домов других преуспевающих врачей в любой стране. Нкози не успел спуститься с лестницы, как из крайней справа двери появилась уже знакомая ему женщина.

— Пожалуйте сюда.— Она ждала его у входа. От вида и запаха пищи у него потекли слюнки. Он повеселел. Женщина смотрела на него дружелюбно. И когда улыбнулась ему, две портившие лицо морщины, как по волшебству, разгладились, и она сразу стала моложе и привлекательнее.— Теперь мой черед извиняться,— сказала она.— Я не хотела быть злой. Но, вы знаете, мы и в самом деле живем, как муравьи. И у нас такая же, как у муравьев, система предупреждения об опасности. Нам сообщают о приближении врагов обычно за час до их появления. И так же, как в муравьином мире, всегда находятся люди, готовые принести себя в жертву во имя масс.

Нкози успокоился и больше не чувствовал никакой неловкости в обществе этой женщины.

— Спасибо за рубашку и фуфайку. Как приятно надеть после ванны чистое белье.

Они вошли в комнату, и тут его ждало разочарование. В комнате никого не оказалось, и стол был накрыт на двоих.

— А доктор? — спросил он.

— Все еще в Иоганнесбурге,— ответила она.— Должен был вернуться, но позвонил, что задерживается и будет только завтра. У него все в порядке. То, что вы привезли, благополучно доставили на место.

— Ну и прекрасно, значит, я могу уехать.

— Они хотят, чтобы вы дождались возвращения моего брата.

— Дело сделано, чего же ждать? Кстати, кто это «они»?

Женщина хотела что-то сказать, но передумала, подошла, прихрамывая, к столу и села.

— Давайте есть,— предложила она.— Попозже придет Найду и все вам объяснит.— Она жестом указала ему на стул.

Стол был уставлен индийскими яствами, которых Нкози не пробовал с давних пор; здесь было обилие вкусных блюд, в которых удивительным образом сочетаются мясо и овощи, сдобренные, помимо порошка кари, разнообразными специями. Лепешки — роти — были совершенно воздушные, и слоеная хрустящая корочка приятно щекотала рот.

Ее глаза и лицо засветились радостью, когда она увидела, что еда явно пришлась ему по вкусу.

— Вам в самом деле понравилась еда? Или, может быть, вы просто голодны?

— И то и другое. Но я никогда не ел такого вкусного кари. Даже перед отъездом, в Дурбане. А кари я на своем веку поел немало.

— После двухдневного голодания все кажется вкусным.

— Да, я не ел день, ночь и еще день.

Он вспомнил кошмарную поездку с белым человеком, который решением суда был превращен в цветного, но чувствовал себя по-прежнему белым.

— Что вам известно обо всей этой истории?

— О какой? — Непринужденность тотчас исчезла; она сразу же насторожилась.

— Я имею в виду мое появление здесь.— Он был уверен, что ей известно абсолютно все.

— Я знаю лишь, что вы привезли деньги для подполья.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Вам даже не известно, откуда и как я прибыл?

— Нет.

Он не мог понять, зачем ей понадобилось говорить заведомую ложь и откуда в этой женщине столько затаенной горечи. Очевидно, все оттого, что она калека. Однако надолго ли ее хватит?

Женщина, казалось, угадала его мысли; по ее лицу скользнула горькая, насмешливая, чуть презрительная улыбка.

— Вы давно не были в этих краях? — спросила она.

— Давно,— ответил он сдержанно, стараясь не выдать своих чувств.— Очень давно.

— Насколько я понимаю, лет десять?

— Да, что-то около этого.

Куда она клонит, подумал он.

— Когда человек долго живет вдали, он утрачивает связь со страной,— сказала она с некоторой бесцеремонностью.

— Пожалуй, вы правы. Ну, и что же из этого следует?

— Я думаю, вы утратили связь со своей страной,— ответила она.

Бог мой! Не иначе, как она собирается читать ему мораль: с чего бы это?

— Как вы изволили заметить,— сказал он,— десять лет — большой срок.

— И, сам того не замечая, человек воспринимает вкусы, взгляды, образ мыслей той среды, в которой живет.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что сейчас вам было бы преждевременно выносить о нас суждение, потому что у вас нарушились контакты со своей собственной страной и вы можете подойти к ее оценке с зыбких моралистических позиций европейца среднего класса.

Он чувствовал, как закипает в нем злость, злость человека, которого дразнят без всякого к тому повода. Однако он подавил в себе злость, ведь он пользовался гостеприимством этой женщины, ел ее угощения и находился в положении ее должника. Еда перестала казаться ему вкусной. Он отодвинул тарелку и откинулся назад, его слегка поташнивало.

И вдруг совершенно неожиданно, впервые за все время, она увидела в нем человека, мужчину. До этого момента он был для нее как все другие африканцы, как все белые, как все цветные,— представителем: лицом, представляющим или символизирующим ту или иную расовую группу.

Это потому, что я обидела его, решила она: он сидит напротив, и я вижу боль в его глазах, я почти физически ощущаю ее. Стала бы я себя так вести, будь он белым или даже цветным? Неужели опять эта проблема расы? Но ведь ни белые, ни цветные не обходились с нами, как африканцы. В какой степени отвечает он за свой народ? В какой мере я ответственна за дела моих сородичей?

Она взглянула на него ясным, понимающим взглядом. Высокий лоб, большие глаза, широкие скулы, лицо, резко сужающееся к подбородку... Но, боже, сколько затаенной боли в этих глазах, как сурово сжаты губы... Надеюсь, он все же понимает, думала она, хотя и не знала хорошенько, что́ же именно он должен понять. В отношениях между их народами было слишком много плохого, несправедливого, болезненного.

Опустив голову, она сказала:

— Простите меня, мистер Нкози. Не по моей воле вы оказались в этом доме, не по моей воле здесь находитесь. От меня нисколько не зависит...

— И от меня тоже,— подхватил он.— И чем скорее я покину этот дом, тем лучше для меня. Я выполнил свой долг, и ничто больше не держит меня здесь.

Женщина вздрогнула, будто он ударил ее по лицу. Потом, после длительного молчания, заговорила осторожно, как бы нащупывая точки соприкосновения:

— Знаете ли, у вас чисто европейский выговор.

Может быть, теперь, наконец, мы найдем общий язык, подумал он, во всяком случае, стоит попытаться.

— Выговор или манеры?

Словно не слыша его вопроса, она продолжала:

— Когда я вернулась из Европы, то чем-то походила на вас.

— Чем же именно?

— Беспристрастием, объективизмом, отчужденностью — любое из этих слов подходит. Вы знаете, что я имею в виду.

Дело пошло на лад, подумал он.

— Вы считаете, что все эти качества присущи европейцам?

— Вы преднамеренно искажаете смысл моих слов. А он сводится к тому, что в ваших поступках и ваших речах проявляется самоуверенность, которая не свойственна нам, всем нам, небелым, проживающим в этой стране.

— Когда вы вернулись из Европы? — поинтересовался он.

— В конце сороковых годов,— задумчиво проговорила она.— Сперва я поехала в Индию, надеясь обрести там дом, но она оказалась еще более чужой, чем Европа.

— Таким образом, вы обрели дом здесь? — спросил он.

— Да. Если не считать того, что и африканцы и белые дружно заявили, что это не мой дом.

Она отвернулась, и, когда снова взглянула на него, он увидел тоску в ее глазах.

— Я приехала как раз во время мятежа, когда в течение недели ваши сородичи гонялись за моими, словно за крысами, а силы, призванные стоять на страже закона и порядка, спокойно взирали на то, как льется кровь десятков индийцев...

Ну вот, теперь все ясно, подумал Нкози. В его сердце больше не было злобы.

— Мисс Нанкху...

— Разрешите мне, пожалуйста, договорить. Я собственными глазами видела, что происходило. Вот вам один случай. Я ехала в такси из порта и на эспланаде в Дурбане увидела двух здоровенных зулусов, гнавшихся с дубинками за тощим маленьким индийцем. Водитель такси, тоже индиец, отказался остановить машину, сказал, что они и нас убьют. Тем временем один из зулусов настиг индийца и ударил его короткой толстой палкой с набалдашником по голове. Бедняга умер у меня на глазах. Клянусь, я точно помню ту минуту, когда он умер. Дубинка раскроила ему череп. По инерции он пробежал еще несколько ярдов, а потом, словно тюк, рухнул на асфальт, его голова превратилась в студень... Была я очевидицей и двух других убийств... А когда добралась до дома, то узнала, что мой младший брат был убит накануне ночью... Это произошло в тот день, когда я приехала сюда, уже твердо зная, что и Европа и Индия чужды мне, что там я никогда не буду чувствовать себя как дома. Мой дом здесь, но может случиться, что однажды днем или ночью, по наущению белых, ваш народ снова начнет истреблять нас, предавать огню наши жилища. Поймите же, каково мне было узнать, что этот дом будет служить вам убежищем. В этом районе индийцы все до единого знают, что вы здесь. Это одна из особенностей нашего муравьиного быта. А у каждого из них есть основания помнить погромы. Этот район был почти весь сожжен дотла, а количество погибших индийцев — неисчислимо.

— Ну, мы снова вернулись к муравьиным инстинктам. Когда-нибудь вы забудете о них?

— А вы когда-нибудь забываете о том, что у вас черная кожа?

Выходя вслед за нею из комнаты, он услышал, как открылась другая дверь, и кто-то, тихо шаркая по полу босыми ногами, пошел убирать со стола. Женщина провела его в большую гостиную, и через широкие стеклянные двери они вышли в садик, со всех сторон обнесенный высокой стеной. Небо было усыпано звездами, сверкавшими в темноте словно драгоценные каменья. Ему не приходилось видеть их так низко над головой с тех давних пор, когда он еще мальчишкой пас здесь скотину. В углу садика под деревьями, скрытые от света, падавшего из окон, стояли стол и несколько стульев. Под ногами расстилался ковер из густой и упругой травы. Они подошли к столу и сели.

— За вашей спиной черный ход,— сказала она.

Всегда наготове, подумал он, но тут же подавил досаду, вызванную этой мыслью. Глаза еще не привыкли к темноте, и женщина казалась ему расплывчатой тенью.

— Ну так как же,— сказала она,— забываете вы когда-нибудь или нет?

Глядя, как она закуривает сигарету, он пытался вспомнить, на чем прервался их разговор; и наконец вспомнил. При свете спички ее лицо показалось добрым и нежным, без малейшей тени обычной суровости.

— Забываю, и довольно часто,— ответил он.

— Простите, но я вам не верю,— заявила она после продолжительного молчания.

— Было бы удивительно, если б вы поверили. Но в мире сейчас много мест, где к черному цвету кожи относятся совсем иначе, нежели здесь. Эта тенденция, видимо, до вас еще не дошла. Если бы вы покинули Европу пятью годами позже, то увидели бы, как все изменилось. В этом вопросе вы движетесь не вперед, а назад, вот почему вы и мерите весь мир своими устаревшими мерками.

В ответ он услышал резкий, неприятный гортанный звук — смех, выражавший недоверие к его словам.

Он ждал, пока она что-нибудь скажет, но она молчала, и он продолжал:

— Это действительно так. Не очень далеко отсюда, в некоторых районах Африки, положение изменилось настолько существенно, что черный цвет кожи не является больше тяжким бременем. И если, например, в Ньясаленде, Танганьике, Кении или Северной Родезии какой-нибудь цвет и считается бременем, так это белый.

— В такой же степени это касается и индийцев,— спокойно добавила она.

— Да, и индийцев,— согласился он.— На западном побережье критерии совершенно иные. В западной Африке и Египте цвет кожи не имеет никакого значения, на него просто не обращают внимания. Там существуют качественно иные проблемы. Я прожил достаточно долго в этих странах и знаю — даже индийцы не испытывают там никаких неудобств.

— Но ведь я — жительница Южной Африки. Допустим, что все сказанное вами — правда; вряд ли это поможет мне в моем положении.

Она будто впервые заметила его доброту. Однако поборола в себе желание смягчиться и быть дружелюбной, более того, желание быть нежной.

— Я думаю,— сказал он,— что вы неверно расставляете акценты. Ведь не то важно, что человек рождается или умирает, а то, что он живет. Жить, быть человеком — гораздо важнее, чем быть просто индийцем, черным, белым или вообще южноафриканцем.

— Но вы не станете отрицать,— поспешила вставить она,— что бытие, жизнь немыслимы вне времени и пространства. Вы здесь со мной потому, что вас здесь нет. Ваше пребывание в стране не зарегистрировано властями, и все же вы пленник. Знаете, вот сейчас, сидя с вами, я испытываю такое спокойствие, такую умиротворенность, каких не испытывала с самого детства. И, мне кажется, это благодаря вашему присутствию, вашим идеалам. Это идеалы, которые возвышают сердце. Но вы, как и я, прекрасно знаете, что стоит только выйти из этого сада, как ваши прекрасные идеалы потеряют всякий смысл. Мы еще не перестали быть варварами... Вы рисковали жизнью, чтобы доставить в эту страну деньги для подполья. Разве вы забыли о сотнях политзаключенных, о том, что во многих семьях отец и мать в тюрьме и некому присмотреть за детьми, накормить и одеть их, заплатить за жилье? Забыли, как людей приговаривают к домашнему аресту, дабы государству не нужно было обременять себя заботами, связанными с их содержанием в тюрьме? А какова участь бедных детей, когда оба кормильца оказываются под домашним арестом?

— Ну, говорите, говорите! Я вижу, дело скоро дойдет до политических лозунгов. Я же хотел сказать только одно: все ваши декларации, мое пребывание здесь преследуют единственную цель — создать такую Южную Африку, где мы могли бы спокойно жить, расти и чувствовать себя людьми. Мы все. Во имя этого мы и идем на такой риск.

— Да,— грустно заметила она.— Именно так должно быть. Но в действительности все обстоит иначе. Когда сидишь в этом саду, все кажется возможным. Однако я знаю, что это — иллюзия, навеянная вами. Мы находимся в состоянии войны, мой друг. И когда тобою, хотя бы на мгновение, овладевает иллюзия мира — это уже прекрасно. Но находиться долго во власти иллюзий рискованно. После нынешнего вечера я, конечно, стану более уязвимой, а это плохо и для меня, и для моих близких.

— Вы имеете в виду свое отношение к черным?

— Да... Знаете, мы ведь тоже не очень верим в цивилизованность черных. Это даже не предрассудок, скорее... нет, наверное, все же предрассудок. Мне лично теперь будет легче, и я этого боюсь. Когда я жила в Индии, меня ужасало откровенное предубеждение против обучающихся там африканских студентов... А сейчас помолчим немного, прошу вас.

Ты, оказывается, бываешь милой, когда даешь волю своим слабостям, подумал он, а вслух сказал:

— При любой неуверенности и опасениях, даже при угрозе поражения, главное— продолжать борьбу. А чтобы оставаться при всех обстоятельствах человеком, необходимо научиться критическому отношению к себе самому.

— Быть человеком. Это вы считаете самым важным?

— Быть или вновь стать человеком и культивировать в себе это свойство. Для меня это единственное оправдание.

— С вами я чувствую себя старой, циничной, жестокой.— Иронии не получилось, и он уловил в ее словах какую-то странную умиротворенную горечь.— Вы рассуждаете, словно ребенок, живущий в мире фантазий, которому и невдомек, что его подстерегают опасность и зло. Мы же должны помнить о реальной действительности. Достаточно очутиться за этими стенами, и вы сразу же столкнетесь со злом.

— Если реально существует только зло, какой же смысл бороться?

— Мы, кажется, повторяемся,— проговорила она устало.

Наступило молчание. Спокойное, мирное молчание, когда все ясно и когда теряется всякое представление о времени и пространстве.

■

И вот, когда они сидели, погруженные в молчание, пришел Сэмми Найду. Он пришел с улицы, и его глазам не надо было привыкать к темноте. Слуга провел его в темную гостиную и показал на стеклянную дверь, выходящую в сад. Перед этой дверью Сэмми остановился. Он решил было, что они уснули, но тут же усомнился в этом. Спящие люди редко излучают токи, а сейчас атмосфера была густо насыщена ими, и Сэмми Найду это почувствовал.

Что за черт, мысленно выругался он и на цыпочках прошел в заднюю часть дома. В кухне он застал двух худощавых женщин и высокого молодого человека с обильно напомаженными волосами. Не обращая внимания на женщин, Сэмми Найду подошел к мужчине:

— Что там происходит, Дики?

— Ничего.

— Что значит «ничего»?

— Они спустились вниз, поели, потом пошли в сад. Вот и все.

— Я же велел тебе наблюдать и слушать, о чем они будут говорить.

— А я так и делал.

— Ну, и что же?

— Да так, какую-то околесицу несли, я толком и не понял. Даже о политике как-то смешно говорили. Не так, как мы. Они, кажется, вовсю веселятся.

— Любовные штучки? — небрежно бросил Найду.

Вопрос поставил Дики в тупик.

— Нет, они не брали друг друга за руку, не обнимались и не целовались, ничего такого не было, и про любовь не говорили, а что-то между ними все же есть. Это я не сразу заметил, потом.

— А сначала что было?

— Я же сказал, они спустились вниз, и она накормила его ужином. Держалась она с ним так, как и все мы. Потом они стали спорить.— Дики заметил, как Найду изменился в лице.— Не так, как мы спорим, а как белые. Когда я работал в гостинице в Дурбане, мне приходилось видеть: без оскорблений, без крика, тихо, но сразу ясно, что ссорятся. Ну, вы знаете, как это обычно бывает...

— О чем они спорили?

— Она рассказывала, как убивали индийцев. Знаете...

— Да. А он стал возражать?

— Нет, он хотел сказать, что сожалеет, а она не дала и слова вымолвить. Потом рассказала, как мы к ним относимся.

— Дальше.

— Они пошли в сад и там продолжали вот так же странно ссориться. Сначала говорили об Африке и о цветном барьере, и об индийцах, а потом началась эта чудная тарабарщина: «я да мой народ», «ты да твой народ», потом о смерти, о рождении, и почему люди борются. Они так и сыпали английскими словами. Я горжусь мисс Ди, она не давала ему спуску! Но этот маленький кафр, скажу вам, хороший перец!

Укоризненный взгляд Найду заставил Дики спохватиться. С униженным видом он принялся оправдываться:

— Простите, Сэмми, простите меня. Нечаянно вырвалось.— Потом изобразил заискивающую улыбку: — Держу пари, между собой они все равно называют нас обгорелыми головешками и кули.

Но его просительный вид и просительный тон не возымели действия.

— Слушай, Дики,— холодно сказал Найду,— если я еще раз услышу это слово, ты снова отправишься на сахарные плантации, понял?

— Понял, Сэмми, понял!

— Так. Что же было дальше?

— Ничего. Эта забавная перепалка не прекращалась, и я понял лишь одно — они разговаривали ласково и нежно, как влюбленные. Потом они замолчали и с тех пор сидят вот так.

— И долго они молчат?

— По-моему, долго. Может, десять, а может, двадцать минут.

Некоторое время Сэмми Найду стоял в раздумье; его круглое черное лицо было спокойно и бесстрастно, большие руки засунуты глубоко в карманы темно-синего пиджака. Огромный, уверенный в себе, он был подобен утесу. Старшая из женщин внимательно посмотрела на него и заметила, что его лиловые губы словно припудрены пеплом, а глаза воспалены. Она вспомнила, что уже не раз бывало, когда он вот в таком же виде появлялся здесь поздно ночью, и доктор всегда требовал, чтобы прежде всего он поел.

— Вы хотите есть, мистер Найду?

Найду, казалось, угадал ее мысли и улыбнулся:

— Ты заменила доктора, Кисси.

— Доктор говорит, что вы очень ценный для нас человек, мистер Найду, поэтому мы должны о вас хорошенько заботиться.

— Все люди ценные, Кисси.

Кисси, казалось, хотела возразить, но передумала.

— Садитесь, мистер Найду, я что-нибудь разогрею для вас.

— Попозже,— сказал Найду. Затем его лицо расплылось в доброй, благодарной улыбке.— Я скоро вернусь, а ты пока подогрей, хорошо?

Кисси так и засветилась:

— Вас будет ждать горячая и вкусная еда, мистер Найду.

Так вот какие чувства пробудил он в Ди, думал Найду, уходя из кухни; но Ди не из простых доверчивых индийских женщин, чтобы смотреть на него так, как смот-

рит на меня Кисси. Что же случилось? Может быть, Дики Наяккар просто дал волю фантазии? Но Дики — серьезный и надежный человек.

На этот раз Сэмми Найду сделал так, чтобы они заметили его приближение. Он хлопнул стеклянной дверью и кашлянул. Оба они тотчас поднялись со своих мест. Царившая здесь ранее атмосфера рассеялась. Но Ди казалась несколько смущенной, будто ее застали за каким-то неподобающим занятием.

— Извините, что я так поздно,— сказал Найду, обращаясь к Ди. Затем подошел к Нкози и протянул ему руку: — Как чувствуете себя?

— Отлично,— ответил Нкози.

Да, подумал Найду, это видно по тебе.

— Есть какие-нибудь вести от доктора?

— Он звонил сегодня вечером,— сказала Ди.

— Все в порядке?

— Да, но нам не удалось поговорить, послышался щелчок.

— Они подслушивают наши разговоры,— пояснил Найду.— Это теперь в порядке вещей. Только они еще не знают, что, когда подключаются, раздается слабый щелчок.— И он снова обратился к Ди: — Когда доктор возвращается?

— Завтра вечером.

— А как насчет меня? — поинтересовался Нкози.— Когда я смогу уехать?

— Вы что-нибудь ему говорили? — осведомился Найду.

— Нет,— ответила Ди.

Она взглянула в лицо Нкози, и Найду стало ясно, что они понимают друг друга без слов.

— Пойдемте-ка лучше в дом,— предложил Найду.

Ди молча пошла вперед.

Глядя, как она идет, припадая на больную ногу, Найду усомнился было в своих предположениях. Африканцы, все без исключения, даже такие рафинированные и образованные, как этот парень, питают инстинктивное, глубоко укоренившееся, традиционное отвращение ко всякого рода физическим недостаткам. В былые времена они убивали калек, а сейчас, не имея на то права, просто презирают их...

Ди поднялась по лестнице, повернула направо и открыла дверь. Она включила свет, и мужчины вслед за ней вошли в просторную комнату. Все стены, за исключением оконного проема, от пола до потолка были заставлены полками. Небольшая часть книг находилась под стеклом, остальные были размещены на простых деревянных стеллажах. У окна стоял большой письменный стол красного дерева. Здесь был еще огромный диван, обитый коричневой кожей, и три массивных кресла — с такой же обивкой. В этой теплой, уютной комнате, где преобладали коричневые тона, чувствовался легкий запах пыли, который исходит от книг в жарких странах. Подставка с множеством различных трубок, едва уловимый запах трубочного табака, столь отличный от аромата сигарет,— все свидетельствовало о том, что здесь мужское царство.

Найду прикрыл за собой дверь и запер ее на ключ.

— Это любимая комната доктора,— сказал он.— Здесь всегда тихо, так что можно спокойно почитать и подумать.

— Подальше от женщин,— сухо добавила Ди.

Нкози заметил, как в глазах Найду вспыхнул огонек. Он с нетерпением, хотя и без тревоги ждал, что ему скажет Найду. Найду обошел вокруг стола и сел в кресло доктора. Ди Нанкху примостилась на диване, и Нкози заметил, что она инстинктивно поджала больную ногу. Он выбрал себе кресло поближе к письменному столу, устроился поудобнее и приготовился слушать.

Найду положил на стол свои огромные руки и уставился на них.

— Я очень сожалею, но заключительная часть нашего плана сорвалась.

— Из-за Вестхьюзена? — спросил Нкози.

Найду кивнул.

— Он все рассказал?

— Нет. Он ничего не рассказывал, но им в руки попал пропуск, который Вестхьюзен должен был передать вам. И они моментально установили, кто он такой.

— Патрульные знали, что его фамилия Кэтце.

— Сейчас не только патрульные, вся страна знает, что Кэтце и Вестхьюзен — одно и то же лицо. Об этом сообщали по радио, писали в газетах, все знают, как год назад его объявили цветным.

— Бедняга,— сказал Нкози.— Но я боюсь, что он обо всем расскажет!

Найду вскинул голову и в упор посмотрел на Нкози.

— Он ничего не расскажет. Он мертв.

Нкози взглянул на Ди и понял, что это ей давным-давно известно. Она ответила ему пристальным холодным взглядом, словно говорившим: я ведь предупреждала, что за стенами этого дома царит зло.

— Кто это сделал? Полиция или...

А ты догадлив! — подумал Найду. Чертовски догадлив!

— Он мог навести их на ваш след и на след Сэмми,— суровым спокойным тоном сказала Ди.

— Таким образом, его пришлось...

— А что было делать? — ответила она вопросом.

Так вот что имел в виду Дики Наяккар, когда говорил про тарабарщину, подумал Найду.

— По какому праву мы...

Найду не дал ему договорить:

— По праву, которое диктуется необходимостью, историей, желанием выжить. Мы стояли перед дилеммой: либо пойти на это, либо принести в жертву себя и наше общее дело.

Нкози решительно тряхнул головой.

— Я говорю не о восстании, диверсии или революции,— сказал он очень спокойно.— Речь идет об убийстве одного человека, который, к тому же, оказал нам услугу.

— Нравится вам или не нравится, но мы сделали то, что необходимо,— Найду закрыл глаза и вытянул губы. Он едва удержался от резких слов, которые так и напрашивались на язык. Найду не сумел скрыть своего раздражения, и именно потому, что он сдерживал себя, Нкози почувствовал его раздражение особенно остро.— Я в ответе за то, что произошло. Всю ответственность я беру на себя.

Волна гнева поднялась в сердце Нкози.

— Так оно и есть.

— Но что было делать? — настойчиво, с тревогой повторила Ди.

Оказывается, для нее важно его мнение, подумал Найду, и испугался этой мысли. Он перевел взгляд с Нкози на Ди, потом снова на Нкози.

— Простите, но я не собираюсь сейчас дискутировать по поводу моральной и этической стороны этого дела. Может быть, в другом месте и при иных обстоятельствах, но не здесь и не сейчас. Думайте что угодно, в настоящий момент для нас это не имеет никакого значения. И мы не можем позволить себе раздумывать над такими вещами.

Нет, нет! — вопреки всякой логике мысленно запротестовала Ди, хотя не могла бы объяснить почему.

— Непосредственно вас касается лишь то,— продолжал Найду,— что предназначавшийся для вас пропуск попал к ним. По причинам, известным им одним, они не обнародовали этот факт. Сообщили только, что Вестхьюзен убит **поко.** Но фотографию с пропуска размножили и сотни экземпляров разослали по всем полицейским участкам страны.

— Они думают, что убил его я...

— В неопубликованном докладе полиции говорится, что последний раз Вестхьюзена видели на рассвете в понедельник с «туземцем», которого, как он заявил полицейскому патрулю, он подобрал на границе Протектората. Приказ гласит: любой ценой изловить «туземца» и доставить его живым. Однако в газетных сообщениях о смерти Вестхьюзена ничего подобного не говорится.

Найду остановился, ему показалось, будто Нкози хочет что-то сказать. У него был усталый вид. Потом он заговорил снова:

— Кто убил Вестхьюзена — для них вопрос второстепенный. Прежде всего, их интересует, чем занимался Вестхьюзен, и они полагают, что «туземец», находившийся с ним, поможет это выяснить.

— Откуда вы все это знаете?

Найду казалось, что Нкози абсолютно спокоен, и только Ди понимала, в каком он напряжении. Лицо Найду странно изменилось.

— Мой брат, мой старший брат — следователь политического отделения в чине сержанта.

— Ясно,— сказал Нкози.

Найду внезапно взорвался:

— Ясно, ясно! Ни черта вам не ясно, мистер.

— Сэмми, прошу вас,— взмолилась Ди.

— Ничего,— успокоил ее Нкози.

— Ничего,— передразнил Найду, все больше распаляясь.— Человек говорит «ничего», значит ничего; человек говорит «ясно», значит, ему и в самом деле ясно. Он мудрый, он цивилизованный, ему не по нраву убийства, и он все понимает. Так позвольте мне все же сказать вам кое-что, мистер. Вы черный и родились здесь, но вы ни черта не видите!.. Честное слово, мне надоело смотреть, как вы разыгрываете этакого сердобольного боженьку.

— Сэмми! — на сей раз Ди действительно рассердилась.— Мистер Нкози — наш гость.

— **Ваш,** а не наш! — отрубил Сэмми. Затем сделал над собой усилие и виновато покачал головой: — Простите меня, Ди. Я не то сказал. Просто обидно, что он никак не хочет понять...

— А вы устали и проголодались. Поговорить можно и потом.

— Кисси там что-то разогревает...— Он обернулся к Нкози: — Простите. У меня был очень тяжелый день. Убийство — не такое простое и веселое дело, каким вы, кажется, его себе представляете. Пожалуйста, не надо больше ничего говорить. Нет смысла затевать новый спор. Послушайте минутку. Перед нами, индийцами, стоит весьма своеобразная проблема.— Вы рассказывали ему о подполье? — обратился он к Ди.— Об особенностях нашего положения?

— Нет.

Найду опустил голову и закрыл глаза. Несколько мгновений он сидел, погрузившись в глубокое раздумье. Затем вскинул голову и взглянул на Нкози.

— Надеюсь, вам известно, что костяк подполья — это африканцы. Какое-то время руководство подпольем полностью осуществлялось лидерами Конгресса. Разумеется, я говорю о лицах, возглавлявших Конгресс до того, как его запретили. Если вы помните, это были умеренные — люди, которые смотрели на вещи, как вы, с точки зрения их ценности, люди, которые ратовали за сдержанность и были огорчены тем, что расизму белых противопоставляется расизм черных. Лутули был и остается ярым сторонником такого взгляда. Когда противник стал прибегать к более жестоким методам, руководители из числа умеренных, естественно, потерпели поражение. Силы сопротивления были загнаны еще глубже в подполье. **Поко** бросили вызов старому конгрессистскому руководству и стали отвечать террором на террор. И неизбежно начали обнаруживаться разногласия. Либералы и другие белые, которые прежде действовали заодно с Конгрессом, выступили против террора. **Поко** и африканские националисты ответили отречением и отказом от всякого сотрудничества между черными и белыми. Они пошли даже дальше. Стали утверждать, что никто не поможет африканцам добиться свободы, поэтому они не нуждаются в чьей-либо помощи. Это возмутило всех, в том числе и умеренных африканцев. Либерально и прогрессивно настроенные лица среди меньшинств — цветных, белых, индийцев — пришли к выводу, что им ничего не остается, как заявить о своей солидарности с черными, они полагали, что в этом случае несчастные африканцы широко раскроют объятия и попросят руководить ими. Поэтому они были ужасно растеряны, когда черные заявили, что не нуждаются в них. Но еще более неприятной для них была явная симпатия, с которой широкие массы африканцев приветствовали позицию нового руководства.

Характерно, что коммунисты, независимо от их расовой принадлежности, первыми освоились с новой ситуацией. Вторыми после коммунистов были индийцы: мы заявили о безоговорочном признании руководства и власти большинства. Но несмотря на это в подполье нашлись люди, не пожелавшие иметь ничего общего с индийцами и коммунистами. Такие люди существуют и теперь. Среди руководителей подполья возникли глубокие разногласия по этому вопросу. Вот почему доктор, я и наши единомышленники вынуждены умолять, чтобы индийцам дали возможность доказать свою преданность общему делу, чтобы позволили им внести свою лепту в борьбу за свободу. И только потому, что секретарь Центрального Совета оказывает нам поддержку, время от времени нам предоставляется такая возможность. Однако наши противники в Совете только того и ждут, чтобы мы совершили какой-нибудь промах. Один-единственный. Тогда они на нас отыграются.— Найду замолчал и глубоко, всей грудью вдохнул.— Хотим мы того или не хотим, мы обязаны найти свое место в борьбе и в том будущем, которое придет. Иначе мы лишим себя этого будущего. Каковы бы ни были наши взгляды и чувства, нам не уйти от суровой реальности. Ди, наверное, рассказывала вам, как используют враги антииндийские настроения, живущие в африканцах. Вы знаете о погромах и убийствах. Если подполье обернется против нас, станет еще хуже. Вот теперь мы подошли к вопросу о вас. Деньги сейчас уже в полной безопасности, но за вас по-прежнему отвечаем мы. Мы не должны допустить, чтобы вы попали в руки полиции или вообще что-нибудь случилось с вами. Полиция вас разыскивает. Граница с Протекторатом тщательно охраняется на всем ее протяжении. Допустим, вы благополучно пересечете границу, но, если вас обвинят или заподозрят в убийстве, власти Протектората все равно обязаны будут выдать вас здешним властям.

— Итак, меня подозревают в убийстве,— сказал наконец Нкози, глядя на Ди.

Но ему ответил Найду:

— Нет, не подозревают. Вас хотят допросить. Но если они увидят, что им ничего не остается, кроме как объявить вас убийцей, они пойдут и на это.

— А если они схватят меня?

— Тогда наши противники в подполье обрушатся на нас, и нам придется решать, сколько наших людей и кто именно должны будут спасать вас от петли, чтобы сохранить доброе отношение части африканцев, которое, мы надеемся, пока еще существует. В любом случае мы несем ущерб. Видите, мистер Нкози, как важно для нас обеспечить вашу безопасность. Если потребуется, то и доктор, и я, и Ди — все мы пожертвуем жизнью ради вашего спасения, и не потому, что любим вас или придаем большое значение вашей личности и вашему мнению...

— Это мне уже известно,— сказал Нкози.— Вы это уже отлично продемонстрировали.

— Сэмми не это имеет в виду,— вмешалась Ди.

— Но, дорогая, мистер Нкози и я знаем, что я имею в виду именно это.

— Его ожесточение вполне понятно,— проговорил Нкози.

— И снова вы ошибаетесь. Мы не можем позволить себе такую роскошь.

— Пойдите-ка лучше поешьте,— сказала Ди.

Сэмми встал, слегка покачиваясь,— только тогда Ди и Нкози заметили, как он устал.

— Да. Простите, Ди, я огорчил вас.

— Нет, Сэмми, если уж кто-то меня и огорчил, то во всяком случае не вы.

— Тогда дела обстоят еще хуже, чем я предполагал.— Он вышел из-за стола и на минуту задержался, опустив свою большую руку на плечо Нкози. Потом, уже в дверях, обернулся и взглянул на него.

— Весьма сожалею, но теперь вы понимаете, что мы вынуждены отказаться от нашего первоначального плана.

— Да, понимаю.

— Вам придется побыть здесь по крайней мере до возвращения доктора. Надеюсь, это не будет для вас таким уж тяжелым испытанием. Тогда мы решим, что делать дальше. Не беспокойтесь, если меня не будет несколько дней. Ди позаботится о вас... Будьте здоровы, Ди.— И прежде чем Ди успела ответить, дверь за Найду захлопнулась.

Нкози откинулся на кожаную спинку кресла, закрыл глаза и стал обдумывать создавшееся положение. Когда ему предложили взять на себя эту миссию, он и его единомышленники продумали и взвесили всевозможные ситуации, в которых он может очутиться. Был предусмотрен даже вариант, при котором он не сумел бы прибегнуть к помощи и защите подполья и мог рассчитывать только на собственные силы. А вот подобной ситуации никто не предвидел: влиятельные и богатые либеральные круги, которые пришли бы на помощь при первой же необходимости, тотчас же отвернутся при малейшем намеке на убийство. И опять же индийцы. Он имел представление, хотя и весьма смутное, об их положении здесь. Но никогда не думал, что оно так ужасно. Он был подавлен, никак не мог избавиться от чувства вины. Но как все-таки ему выбраться отсюда, как выкарабкаться из этой проклятой истории с убийством? Надо же было, черт побери, допустить, чтобы его пропуск очутился в руках полиции. И Вестхьюзен...

Прикосновение женской руки к плечу прервало эти сумбурные мысли. Но он по-прежнему сидел с закрытыми глазами. Ну, конечно, она знала об этом уже давно!

— Простите,— сказала Ди.

— Значит, вы знали! — воскликнул он.

— Да.

— Теперь становится ясным все, что вы говорили. Ужасный мир. Но вы были неправы, упрекая меня за то зло, которое причинили африканцы вашему народу. Это джунгли, не забывайте!

Он поднял голову и посмотрел на нее. Сейчас она снова была такой, какой он увидел ее впервые. Опущенные уголки губ вместе с глубокими морщинами вдоль щек подчеркивали суровость, которую он считал неотъемлемым свойством ее характера до беседы в саду, когда она вдруг показалась ему доброй. Сейчас от этой доброты не осталось и следа. Серо-карие глаза смотрели на него безучастно и холодно.

— Простите,— сказала она, и чуть насмешливая улыбка тронула ее губы.— Я порядком вам надоела. Больше не буду. Мы находимся в джунглях, а сейчас уже довольно поздно.

Она распахнула дверь, спокойно дожидаясь, когда он поднимется с кресла. Минуту они пристально смотрели друг на друга, потом он слегка пожал плечами и вышел. Она погасила свет и вместе с ним пошла по коридору.

— Сегодня не надо подниматься в мансарду,— сказала она.— Спальня напротив лестницы свободна. Там все для вас приготовлено. В случае чего быстро поднимайтесь наверх. После укола вы крепко спали, поэтому нужно было положить вас где-нибудь в укромном месте. Все ваши вещи там. Пока вы спали, Найду снял с вас мерку, и новый костюм уже готов. Не забудьте захватить его с собой, если что-либо случится. Но вас предупредят заранее. Уж если это утверждаю я, значит мы, кули, действительно чего-нибудь стоим.

— Да,— с горечью заметил Нкози,— расторопные, как муравьи.

— Как муравьи, вы правы,— подтвердила она.

У дверей своей спальни она остановилась и сказала:

— Ну, спокойной ночи! Не сомневайтесь, мы сделаем все, чтобы отправить вас как можно быстрее.

Не глядя на нее, он ответил:

— Спокойной ночи,— и закрыл за собой дверь. Было так грустно снова очутиться в джунглях.

■

Внизу Дики Наяккар и две женщины ждали, пока Найду поест. Та из женщин, что помоложе, то и дело клевала носом, но, казалось, была полна решимости не пропустить ни слова.

— Маленьким пора спать,— сказал Найду.

Кисси поняла намек и стала энергично выпроваживать девушку из кухни, несмотря на ее заверения, будто она вовсе не устала.

Из-за двери донесся приглушенный протестующий шепот. Это рассмешило Дики Наяккара.

— Сам видишь, Сэмми, Кисси очень сурова с этим ребенком.

— А в чем это проявляется? — спросил Найду.

— Ни в чем особенном,— поспешно продолжал Дики, заметив беспокойство на лице Найду.— Просто шлепает ее по мягкому месту да бранит. А так ничего серьезного. Беспокоиться не о чем. Кисси не злая.

Вернулась Кисси.

— Ну, как она работает? — поинтересовался Найду.

— Ничего, мистер Найду. Но, знаете, молодежь сейчас чересчур нежная. Только и умеют причесываться да размалевывать лицо. У меня в ее годы было двое детей, да к тому же еще я работала в поле — уходила до зари, а возвращалась затемно; а чтобы краситься да на усталость жаловаться, такие глупости и в голову не приходили. Сейчас все по-другому.

— Раз она ленится,— сказал Найду,— лучше отправить ее обратно. А тебе подыщем другую помощницу.

— Нет, нет, мистер Найду, не надо,— запротестовала Кисси.— Разве я говорю, что она ленивая. Она мне нравится. Такая милая и работящая.

— Но мне показалось, будто ты сказала...

— Нет, я просто говорю, что время сейчас совсем другое, и девушкам легче живется. Вот и все. Клянусь богом, мистер Найду, она хорошая.

— Тогда не о чем говорить,— заключил Найду.

— Она хорошая,— повторила Кисси.

Наяккар стал посмеиваться, и Кисси смекнула, что ее нарочно подзадорили, чтобы она похвалила свою помощницу. И она не знала — то ли прикинуться обиженной, то ли рассмеяться. Но глаза Найду светились таким лукавым огоньком, что она не выдержала и рассмеялась. Потом Найду серьезно сказал:

— Мы не хотим, Кисси, чтобы молодым жилось так же тяжело, как нам в свое время. Пусть их жизнь будет легче. Для этого все мы и участвуем в движении: доктор, мисс Ди, я и все остальные руководители придерживаются такого же мнения. Сама посуди. Когда ты была такой же молодой, как эта девушка, разве не хотелось тебе причесаться, смазать волосы маслом, приколоть цветок, надеть красивое сари и пойти с другом погулять к реке? Разве тебе не хотелось, Кисси? А ведь тебе пришлось растить детей, когда ты сама была еще ребенком, и, кроме того, от зари до зари работать в поле. Ведь ты не желаешь такой участи своим детям или этой девушке, правда?

— Конечно, мистер Найду.

— Ну и отлично! Когда она замешкается, помни, что она еще слишком молода. И не мешай ей заводить друзей, мечтать и прихорашиваться, чтобы нравиться парням, ладно? Впереди у нее достаточно трудностей, мы это знаем.

— Да,— задумчиво отозвалась Кисси,— мы это знаем.

— Вот и хорошо. А теперь поговорим о серьезных делах. Ты, Кисси, предупреди девушку, чтобы ни слова никому не говорила о человеке, который сейчас в этом доме. Пусть не упоминает о нем даже в разговорах с тобой. И сама помалкивай, даже со мной о нем не говори. Все должны забыть, что в доме есть посторонний. Ни слова о нем. Понятно?

— Но наши соседи... Вот сегодня...

— Их тоже предупредят. С этого момента никто не должен ни говорить, ни думать о нем. Надо забыть о его существовании. Считайте, что его нет, что он никогда здесь не появлялся и, следовательно, никто не мог его видеть. Передай это всем соседям, Дики. Объясни им, что руководители движения считают это вопросом жизни и смерти. Предупреди их, что и к ним могут подослать полицейских. Хорошо?

— Да, Сэмми,— мрачно ответил Дики Наяккар.

— Да, мистер Найду,— сказала Кисси.

— Ну, Кисси, ты устала. Иди отдыхай.

— Вы здесь будете ночевать, мистер Найду?

Даже она, угадал Найду, обеспокоена тем, что этот человек произвел на Ди впечатление.

— Нет, Кисси, сегодня я не могу остаться. Слишком много дел.

Кисси подняла глаза, словно сквозь стены и потолок можно было увидеть, что происходит наверху, и направилась к двери.

— Покойной ночи, мистер Найду.

— Покойной ночи, Кисси.

— Покойной ночи, мистер Дики.

— Покойной ночи, Кисси. Не волнуйся, я буду здесь.

Дики подождал, когда за Кисси закроется дверь, потом заговорил:

— Я могу взять одеяло и лечь наверху, у лестницы.

Найду устало улыбнулся и покачал головой:

— Ты можешь, но не сделаешь этого. Ты проводишь меня, проверишь, хорошо ли заперты окна и двери, потом выйдешь через черный ход и запрешь дверь снаружи. Скажи караульному, где будешь спать, и можешь ложиться.

— Но...

— Что «но»? Ты видел этого человека, разговаривал с ним. Неужели ты думаешь, что среди ночи он вдруг вздумает убить мисс Ди!

— Нет, Сэмми... Но...

— Боишься, он ее изнасилует?

Дики Наяккар взирал на Сэмми с мольбой. Сэмми догадывался, что он имеет в виду, но об этом не скажешь вслух. Он мысленно обращался к Сэмми: ты же знаешь, Сэмми, о чем я думаю. Он африканец, а она индианка. Она сестра доктора, и мы должны ее оберегать.

Найду подумал: вот мы и дошли до того, что стесняемся открыто высказывать свои мысли. Вслух же он сказал:

— Может произойти лишь то, чего пожелает мисс Ди.

Дики Наяккар отвернулся, и Сэмми Найду догадался, что он не решается довести свою мысль до логического конца. Найду был удивлен, что Дики Наяккар не спешит ухватиться за то утешительное обстоятельство, что право выбора принадлежит мисс Ди, как он, вероятно, ухватился бы год назад. Право выбора принадлежало ей, но это не означало, что опасения Дики были беспочвенными. Ты становишься взрослым, подумал Найду.

Дики Наяккар попытался изобразить улыбку, но чижняя губа предательски задрожала.

Сэмми Найду испытывал необычайную нежность к Дики Наяккару. Молодые люди вроде Дики, живущие в этой стране, слишком быстро становятся взрослыми. Торопливо минуя пору юношества, они взрослеют раньше времени; тут и речи не может быть о постепенном и естественном возмужании; грубая сила, проявляющаяся во всем, разрушает в человеке многие ценные качества. Скоро, с горечью подумал Найду, очень скоро этой стране и ее народу — черным. цветным, белым и всем другим станет неведомо само понятие «сострадание»; эта тенденция ясно и отчетливо проявляется уже сейчас. Если только не...

— Скажи, Дики,— спросил он,— была у тебя когда-нибудь черная девушка?

Робкая, стыдливая улыбка осветила лицо Дики.

— Была одна.

— Ну и как, отличается она от других девушек?

— О чем вы, Сэмми?

— Ну, если сравнить ее с другими девушками, с нашими, например?

— Не знаю,— неуверенно ответил Дики.

— Ясно, что все девушки разные. Я не это имею в виду. Я спрашиваю, та, черная девушка, показалась тебе не такой, как другие? Ну, говорят же, что китаянки совершенно особенные.

Наяккар улыбнулся.

— Сейчас я уже толком не помню. Но, по-моему, она была как и все другие.

— А ты сам изменился после этого?

— Нет... Почему вы меня об этом спрашиваете, Сэмми?

— Просто так... Для меня, например, все женщины одинаковы. По-своему они, конечно, разные, как и все люди, но это совсем не зависит от цвета кожи или расы; я, разумеется, говорю о тех, кого знаю.

Теперь настал черед Дики спрашивать. Он считал себя вправе сделать это.

— А у вас, Сэмми, была когда-нибудь черная женщина? — спросил он, набравшись духу.

— И не одна,— Сэмми сонно улыбнулся.— И белые тоже, и цветные. Но времена тогда были совсем другие, не то что теперь. Такие, как я, могли учиться в университетах Иоганнесбурга и Кейптауна и даже в университетском колледже в Дурбане. Тогда люди различных рас общались более тесно и могли даже дружить между собой.

— Дружить с белыми? — усомнился Дики.

— Да, Дики, дружить с белыми.

— Здесь? В этой стране? — Дики на минуту задумался.— Вы хотите сказать, что тогда вообще не было цветного барьера?

— Цветной барьер существовал всегда, но в те времена белые стыдились этого и чувствовали себя виноватыми: поэтому им приходилось как-то объяснять и оправдывать существующее положение. А поскольку само правительство тоже чувствовало себя виноватым, оно делало вид, что не замечает тех белых, которые нарушали закон и братались с нами. Более того, в те времена можно было выступить против цветного барьера, как это сделал, например, Ян Хофмейер, и все же остаться министром в правительстве. Беда, Дики, в том, что мы дали укорениться цветному барьеру и привыкли к нему. А стоит людям к чему-нибудь привыкнуть, как им уже трудно разобраться, правильно это или неправильно. Избавиться от укоренившейся привычки труднее всего на свете.

— Вы устали, Сэмми,— пробормотал Дики Наяккар, догадавшись, что Найду овладело уныние.

— Да,— отозвался Найду.— Идем, выпусти меня! И помни, что я тебе сказал.

Он тяжело поднялся со стула, потом вытянулся, почти по-военному, и решительно направился к выходу Прежде чем открыть наружную дверь, он окинул взором лестницу и верхнюю часть дома. Дом был погружен в темноту и молчание. Дики Наяккар подавил в себе соблазн еще раз попросить у Найду разрешения лечь возле комнаты Ди. Найду открыл калитку и так быстро захлопнул ее за собой, что Наяккар не успел даже пожелать ему спокойной ночи.

Выйдя на улицу, Найду подождал, пока Наяккар щелкнет ключом и задвинет два засова, и тогда торопливо зашагал по опустевшим улицам индийского квартала, примыкавшего к районам, где жили белые. Он заставил себя не думать о Ди и черном человеке по имени Нкози. И принялся размышлять о природе предрассудков и о том, как порой бывает трудно их преодолеть. Надрывный вой собаки на одном из перекрестков заставил его остановиться. Он постоял минуту, затем наклонил голову и двинулся дальше. От усталости он не мог больше ни о чем думать, только ни на минуту не забывал о полицейских патрулях.

3

Д-р Нанкху вернулся из Иоганнесбурга перед рассветом, в тот час, когда в воздухе еще ощущается прохлада. Он гнал машину всю ночь, и теперь только свежий ветерок да необходимость быть все время начеку не давали ему заснуть.

Подъезжая к районам, где жили белые, он сбавил скорость до установленного предела. Чистые, широкие, ярко освещенные улицы были пусты. Но Нанкху был внимателен и вел машину осторожно, будто ехал по слежному лабиринту улиц, забитых машинами. И только когда чистые просторные улицы с особняками в глубине огромных, хорошо ухоженных садов остались позади и он выехал на ничейную землю — убогую полоску земли, зажатую между двумя районами, которые официально именовались Европейским кварталом и Индийским кварталом, где обитала небольшая горстка цветных, он снова набрал скорость. Когда-то бóльшая часть этой земли, включая многие районы города, принадлежала индийцам. Затем в результате законов, принятых центральным и провинциальными правительствами, а также местными властями, индийцы лишились этих земель. Его собственная семья потеряла около тысячи акров, частично в этом, но преимущественно в прибрежном районе, там, где сейчас устроили модный курорт.

— Но это не главное, что нас волнует,— пробормотал он вслух, как бы беседуя с ветром.

Однообразные окраины индийского квартала выглядели невзрачно. Заасфальтирована была лишь главная улица; остальные в сухое время года превращались в пыльную пустыню, а во время дождей — в грязные болота. Такими же однообразными, невзрачными и запущенными были здесь дома. Даже у людей среднего достатка. Разумеется, только снаружи. Те, кто поумней, нарочно не ремонтировали фасадов своих домов, чтобы на них не позарились белые. Ведь тем ничего не стоило объявить этот район «европейским», и тогда бы началось изгнание индийцев. Таким образом, фальшивый фасад был лишь частным проявлением изощренного обмана, царившего в доме кривых зеркал и постепенно становившегося основой всего общества. Человек перестал быть просто человеком; ветер считался благоприятным или неблагоприятным в зависимости от того, с какой стороны и на кого он дул. Чистота воды не определялась больше степенью ее фильтрации, река могла считаться грязной только потому, что из нее брали воду кафры либо кули, жившие пятью, а то и десятью милями выше по течению. По той же причине она считалась бы грязной, если бы даже ушла под землю и вышла оттуда очищенной. Вот и здесь тоже, чтобы пользоваться благами жизни, надо было прибегать к обману.

Подобные размышления неизменно приводили к тому, что доктор готов был оправдать существовавшую веками человеческую глупость, как нечто закономерное. Однако он вовремя спохватывался и прерывал ход собственных мыслей. Но когда-нибудь в момент слабости он доведет свои размышления до конца. И это грозит ему гибелью. В тот самый момент, когда начинаешь понимать, что в аналогичных условиях индийцы или черные вели бы себя точно так же, как белое меньшинство...

Он прогнал прочь всякие мысли и сразу же ощутил на лице свежее дуновение ветерка и увидел первые лучи зари, занимавшейся на востоке. Только сейчас он заметил, что машина мечется из стороны в сторону по узкой дороге. Он утратил координацию движений и самоконтроль, но заодно прошло и напряжение. Сейчас он дома, в полной безопасности — более безопасного места не сыщешь в этой стране.

Дики Наяккар и сторож открыли гараж, и единственно, на что доктора еще хватило, это аккуратно поставить машину, не задев автомобиля Ди. Она встретила его на лестнице, заспанная, теплая. Стиснув ее в объятиях, он невольно вспомнил другую женщину, единственную, которую так же обнимал, хотя и испытывал при этом совсем

иные чувства. Жениться на ней ему помешали господствующий в этой стране расизм и то, что он считал своим долгом. Сейчас она замужем и живет в далекой Шотландии; за все эти годы ни одна женщина не заняла ее места в его сердце и в мыслях.

— Как наш гость?

— Потрясен случившимся. Но ничего. Держится.

— А ты? — спросил он с едва скрываемой нежностью.

— А я в некотором смятении,— сказала она равнодушным тоном, заглядывая ему в глаза.

— Хочешь поговорить?

— Нет... Это касается его... Ложись, я принесу тебе чаю.

Он смотрел, как, припадая на больную ногу, она спускалась по лестнице. Потом направился к себе в спальню, стараясь заглушить чувство вины: как больно, что она — калека. Мужчины обычно лучше переносят подобные несчастья.

Когда Ди Нанкху принесла чай, брат уже крепко спал. Она укутала его одеялом, задернула шторы и пошла к себе. В коридоре она увидела Нкози, стоявшего в дверях своей спальни.

— Брат вернулся,— сказала она.

— Я слышал.

— Но он так устал, что даже не в состоянии был выпить чай.

— Я не предполагал увидеться с ним сейчас... Можно мне выпить его чай? — На ней был полупрозрачный ночной халат, она была смущена и в то же время сердилась на себя за свое смущение.

— Вам что-нибудь нужно? — спросила она резко и почти физически ощутила боль, которую причинила ему своей резкостью: он замкнулся, весь ушел в себя.

— Не имеет значения,— сказал он тем сухим, официальным тоном, каким обычно говорят африканцы, когда они хотят быть холодно вежливыми.

Она подумала: если мы сейчас не поймем друг друга, как вечером в саду, мы уже никогда не поймем. Что-то кончится, так и не начавшись.

Она молча наблюдала за ним, взволнованная его присутствием. Зная все наперед, она ждала и страшилась. Наконец мысль выкристаллизовалась ясно и отчетливо и полностью завладела ее сознанием. Боже, помоги мне, я не могу обойтись без этого мужчины, а он черный. Она уверяла себя, что не допустит этого, что тут недостаточно просто сказать или подумать: я хочу этого мужчину или я хочу эту женщину. Однако эта мысль гвоздем засела в ее голове — недоступная логике, необъяснимая и в то же время ужасающе реальная, хотя она и не внушала ей ужаса. Желать человека, который отворачивается от нее, казалось сейчас Ди вполне нормальным и естественным.

И в тот момент, когда он собирался захлопнуть за собой дверь, она сказала:

— Нельзя же пить чай здесь. Пойдемте ко мне.

Сэмми догадался о моем желании прежде, чем я сама, подумала Ди и подивилась проницательности Найду.

Нкози стоял в нерешительности, не зная, что делать — то ли уйти, то ли остаться.

Она говорила себе, что он напуган и огорчен сообщением Сэмми Найду. Помни, именно сейчас он нуждается в утешении и участии. Помни, что **ты** ему не нужна. Его мог бы утешить кто угодно. И если ты желаешь его, не делай глупостей.

Нкози взглянул на нее. Войдя к себе в комнату, она оставила дверь открытой и поспешила к туалетному столику, чтобы прихорошиться. Потом подошла к окну и взглянула на восток, где заря уже разлила по небу яркое многоцветное сияние. Скоро, примерно через час, лучи уверенно коснутся всей земли и возвестят восход самого солнца.

Как бы я хотела быть здоровой, чистой и доброй — такой, как он! А откуда, собственно, ты знаешь, какой он? Что тебе о нем известно? И она ответила себе вслух: все знаю.

Она почувствовала, когда он вошел, хотя ступал он неслышно, словно кошка.

— Пожалуйста, закройте дверь,— попросила она.

— Я возьму чай к себе в комнату,— сказал он по-прежнему сухим, официальным тоном.

Помни, он обижен и огорчен, к тому же он горд.

— Как вам угодно. Но мне хотелось бы, чтобы вы остались.

Пытается наладить отношения. Нет, просто старается утешить. Но она солгала, скрыла то, что я узнал потом от Найду. И словно в ответ на его мысли она сказала:

— Я не могла поступить иначе. У нас в организации с этим очень строго. И потом — боже, помоги мне,— я не знала, что для вас это столь важно. После нашей беседы в саду я бы непременно...

Зачем ты так стараешься? — подумал он и сказал:

— Ладно.

Он почувствовал, как в нем загорелось физическое влечение к этой женщине и постарался погасить его в себе. Сейчас не время. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Он знает, что я хочу его ласки, подумала она в смущении и неловко указала ему на кресло у окна:

— Садитесь, пожалуйста. Простите мне мою нерешительность. Я не знаю, как полагается женщине вести себя в подобных случаях. Я впервые принимаю мужчину у себя в спальне в такой час. Ведь родной брат не идет в счет.

Забавно! — подумала она. У меня дрожит живот! Это в моем-то возрасте. Но это действительно так. Дрожит живот... Это выражение вошло в семейный обиход со времен далекого детства. Однажды оба ее брата — старший, что сейчас спит в соседней комнате, и младший, насмерть забитый черными погромщиками, подзадоривали ее раздеться и вместе с ними прыгнуть в водоем, и когда Давуд уже отчаялся уговорить ее, он запрокинул свою божественно красивую, точеную голову и заорал: «У нее дрожит живот!» — и, изнемогая от смеха, повалился на землю. С тех пор они частенько пользовались этим выражением, «дрожит живот».

— Ответ может быть один — относиться ко всем мужчинам как к братьям.

У него тоже дрожит живот, подумала она и успокоилась.

— Но ведь это невозможно...

— И однако к этому надо стремиться.

Она подождала, пока он возьмет банкетку, стоявшую у туалетного столика, и сядет возле окна,— и только после этого налила ему чай. Теперь они сидели друг против друга, пили чай и наблюдали, как меняются краски на небосклоне. Она чувствовала, что постепенно успокаивается, и на сердце у нее теплеет, как вечером в саду. На сей раз она охотно, хотя и с некоторой долей грусти, погружалась в состояние экстаза.

Ни он, ни она не могли бы сказать, как это случилось, с чего началось. Они пили чай, наблюдали за тем, как, играя красками, занимается на востоке заря, а потом очутились в постели. Что произошло непосредственно перед этим и сколько времени продолжалось — ни мужчина, ни женщина не знали.

Внезапно он коснулся ногой ее изуродованной ступни. Она быстро отстранилась, и он сразу почувствовал ее отчуждение. Она отодвинулась еще дальше и окончательно замкнулась в себе. Он не мог понять почему. Что-то за этим кроется, раз больная нога причиняет ей не только физическое страдание и она инстинктивно старается скрыть от людей свою хромоту.

Он хотел заглянуть ей в глаза, но она отвернулась, не желая встречаться с ним взглядом и дать ему возможность близко увидеть ее лицо.

Затем коснулся ее груди, на удивление твердой и округлой. У женщин ее возраста такой обычно не бывает. Он ласкал Ди, гладил ее спину, упругую шею, пока она не успокоилась и ее отчужденность не прошла. Она снова прижалась к нему всем телом и стала отвечать на его ласки.

Вот мы и преодолели первый барьер, думала она, в следующий раз страсть, вероятно, дойдет до неистовства. И еще она думала: боже, как бы я хотела иметь от него детей! Глаза ее наполнились непрошеными слезами; они катились по щекам, попадали в ухо, капали на подушку. Она старалась сдержать эти беспричинные слезы, но они все лились и лились. Она чувствовала себя виноватой, боялась, что останется в его памяти плаксивой, а потому и глупой женщиной.

— Вспомнила первую любовь? — спросил он осторожно.

— Нет,— коротко ответила она.

— Тогда, значит, вторую?

Она повернулась к нему. Было достаточно светло, и он увидел, что она больше не плачет.

— У меня была только одна любовь,— сказала она уже знакомым ему жестким тоном.— Это довольно мерзкая история.

Вот оно что, подумал он, и после долгой паузы сказал, будто обращаясь к себе самому:

— В Европе у меня осталась женщина.

— Белая и красивая...— досказала она за него. Он платит мне тем же, мелькнула у нее мысль.

— Да, и то и другое верно,— согласился он.

— И, конечно, добрая и образованная.

— Нет. Жадная, эгоистичная, не очень умная и к тому же безнравственная.

— Но вы ее любите,— не унималась она, решив, что должна выяснить все до конца.

— Бессовестная лгунья, для которой нет ничего святого. Чтобы поссорить меня с лучшим другом — ей, видите ли, не нравилась наша дружба,— она соблазнила его, а потом пожаловалась, будто он овладел ею силой. С тех пор мы перестали быть друзьями. Окажись я на его месте, тоже не устоял бы перед нею, но ему не мог простить его слабости.

— И все же вы продолжаете ее любить,— задумчиво повторила она.

— Нет, потому что любовь немыслима без уважения, восхищения, без истинно дружеских чувств.

— Тогда это чисто плотское влечение.

— Да, вначале оно было очень сильно. А потом прошло.

— Зачем вы рассказываете мне все это?
— Чтобы вы знали, что существует кто-то.
— Кого, как вы говорите, вы больше не любите.
— Да.
— И все же вы ее помните, думаете о ней. Почему?
— Потому что десять лет — большой срок. Она стала привычкой.
— И вы вернетесь к своей привычке?
— Да.
— В силу привычки?
— По-видимому, так.
Ди улыбнулась неожиданно весело.
— Я не возражаю,— мягко сказала она.— Нисколечко.
Вдруг она отодвинулась. Он обнял ее за шею и привлек к себе.
— Не надо расстраиваться,— сказал он.
— У вас есть дети? У вас и у вашей привычки?
Оказалось, что нет, и ей сразу стало легче.
— А что, она не хочет?
— Мы никогда с ней об этом не говорили.
— И даже не думали?
— И не думали.
— Расскажи мне о той истории,— попросил Нкози.
— Нет.
— Я прошу тебя!
— Ну, пожалуйста, не настаивай.
— Нет, ты сейчас же расскажешь! Или между нами всегда будет отчуждение. Разве ты не понимаешь?
— Ну, ладно.

Она отодвинулась от него. Сейчас он не противился этому. Молчание затянулось и стало неловким.

— Все было так гадко... Не надо...— умоляла она.

Он молчал, ожидая, когда она начнет свой рассказ.

И она заговорила наконец глухим, упавшим голосом:

— Мы встретились, когда я училась на втором курсе Лондонского университета. Он изучал политику и был секретарем Спартаковского клуба. Блестящий оратор, автор томика революционных стихов, он щеголял марксизмом и проповедовал его с какой-то веселой гордостью и высокомерием. Я впервые увидела и услышала его на диспуте по колониализму между Спартаковским и Социалистическим клубами. Я никогда не видела и не слышала ничего подобного — и конечно же тотчас влюбилась в него. Он был высокого роста и красив, словно бог, и только благодаря ему Спартаковский клуб одержал победу над своими оппонентами. Я была очень польщена вниманием, которое он проявил ко мне после диспута, и со всей его компанией отправилась на дружескую пирушку. Пришло время закрывать кабачок, и все стали расходиться по домам, а он предложил мне зайти к нему посидеть. Кстати, как только подходила его очередь выставить очередную бутылку, платила за нее я. Потому что в первый раз, когда ему нужно было платить, он пошарил в карманах и, глядя на меня, пожал плечами. Я, разумеется, заплатила. С тех пор так и повелось — всегда и за него и за себя платила только я. Итак, я пошла к нему. Он хотел переспать со мной, и я не противилась. Я стала его любовницей; я оплачивала его счета, убирала комнату, готовила обед, я даже не возражала, когда у него появлялась охота, разнообразия ради, переспать с другой. Видите ли, я была так благодарна, что этот богоподобный, красноречивый и блестящий революционер уделяет мне внимание, что, несмотря на мой физический недостаток, я могу быть приятна такому человеку. Я так гордилась этим. К тому же женщина всегда глубоко привязывается к своему первому мужчине, если этот мужчина сумеет ее всколыхнуть. А он сумел меня всколыхнуть.

Наступило длительное молчание. Его нарушил Нкози:

— Хватит. Ты достаточно рассказала. Воспоминания причиняют тебе боль.

Будто не слыша его слов, она через некоторое время продолжала:

— Придя к нему однажды, я увидела сложенный чемодан. Он сообщил мне, что завтра утром отправляется с небольшой группой писателей в поездку по России и Китаю. И для этого ему необходимо сто пятьдесят фунтов. Он думал, что я тотчас же выложу деньги. Давуд щедро снабжал меня деньгами, но за четыре месяца моего романа я потратила все свои сбережения, пятьсот с лишним фунтов. Я знала, что без разрешения Давуда банк не выдаст мне ни единого пенни, а телеграфировать брату просто не могла. Он ведь не знал, что я содержу любовника, а у меня еще сохранились остатки гордости. Короче говоря, я заявила, что денег у меня нет. Он решил, что я капризничаю, и попытался подействовать на меня лаской. Он так и не поверил, что я не могу достать деньги. Был уверен, что стоит мне только захотеть, и я непременно их достану. Он даже предложил мне связаться по телефону с братом, жившим в Южной Африке, и все объяснить.

Когда же я отвергла это предложение, мой очаровательный герой невероятно обозлился и стал говорить о том, как подавлял в себе отвращение всякий раз, когда ложился со мной в постель, но это было неизбежно, и он с лихвой заплатил за каждое полученное от меня пенни. Так прямо он, разумеется, не сказал, но дал мне понять, что я была противна ему не только потому, что я индианка, но и потому, что я калека. В гневе он дошел до жестокости и стал изображать, как я хожу... А потом велел мне убираться прочь.

— И ты никогда никому не рассказывала об этом? — подчеркнуто спокойно спросил Нкози.

— В университете все знали,— ответила она все так же уныло, упавшим голосом.

— Я не об этом спрашиваю.

— Ты имеешь в виду близких мне людей? Например, Давуда или Сэмми? Но разве я могла? Только их любовь и уважение да моя трусость удержали меня в те дни от какого-нибудь отчаянного поступка.

— Ты все еще помнишь об этом? — нежно спросил он.

— Воспоминания преследуют меня, как кошмар,— ответила она бесстрастно.

— Надо было обязательно с кем-нибудь поделиться!

— С кем же?

— Хотя бы с братом.

— До сих пор не могла. Сейчас смогу, если...

— Сейчас,— отозвался он,— в этом, пожалуй, нет необходимости. Не так ли?

После долгого раздумья она чуть заметно покачала головой:

— Гадкая история...

— Это давно позади,— сказал он,— и ты можешь спокойно все взвесить и оценить.

— Мне так стыдно...

— Давай лучше отдохнем немного,— предложил он. Немного погодя он ушел к себе.

Оставшись одна, Ди Нанкху снова и снова вспоминала омерзительные подробности своей первой любви.

4

Нкози приснилось, будто он спит и вдруг в комнату вбегает Ди и начинает изо всех сил тормошить его, звать по имени. Он открывает глаза и видит, что комната залита ярким светом, а над ним склонилась Ди. Но оказалось, что все это происходит наяву.

— Скорей поднимайся наверх!

Сон как рукой сняло. Нкози вскочил и сгреб в охапку свою одежду. В комнату тотчас же вошла высокая худая женщина и, словно не замечая его, стала застилать постель. Ди поспешила к двери и выглянула в коридор.

— Можете идти,— сказала она.

Он проскользнул в дверь, пересек коридор и нырнул в стенной шкаф.

— Как только смогу, я приду,— шепнула она.

После того как дверцы шкафа закрылись, он ощупью поднялся по темной, узкой лестнице, отыскал дверь и вошел в комнату. Через отверстия в потолке проникал свет, усеивая пол маленькими пятнышками. Но разглядеть что-либо было невозможно. Он закрыл глаза и попытался вспомнить, как выглядит эта комната, в которой он так недолго пробыл накануне. Выключатель должен быть на стене слева, рядом с дверью, чуть повыше головы. Где-то наверху справа должно быть маленькое окошко. Оно так и осталось закрытым. Нащупав на стене выключатель, он хотел зажечь свет, но передумал. С закрытыми глазами и вытянутой вперед рукой он стал осторожно двигаться туда, где по его расчетам должна была быть кровать. Добрался и сложил на нее одежду. Затем обошел кровать и продолжал обследовать комнату, пока не обнаружил маленькое окошко, вырезанное в покатом потолке. Прежде чем отодвинуть маскировочную штору, он тщательно исследовал, как она устроена. Важно было ничего не испортить, чтобы можно было снова надежно затемнить окно. Когда наконец он отодвинул штору, в комнату хлынул поток яркого света.

Нкози осмотрел окно. В него было вставлено цельное квадратное стекло толщиной в два с половиной сантиметра с вплавленной в него тонкой проволочной сеткой. Стекло было заключено в стальную рамку со специальными пазами, по которым оно могло свободно двигаться. Запиралось окно с помощью стального шпингалета. Нкози осторожно тронул шпингалет, и он бесшумно отодвинулся в сторону. Затем легонько толкнул стекло, оно свободно и бесшумно заскользило вправо. В случае необходимости через это окно можно будет выбраться чаружу. Он подставил стул, на котором прошлой ночью лежала его одежда, встал на него и высунул голову из окна Внизу виднелись подсобные постройки, за которыми начинались лабиринты темных переулков и жалкие лачуги Индийского квартала. В одном месте, там, где задняя часть крыши могла просматриваться с улицы, был поставлен цинковый заборчик.

Как тщательно все рассчитано, как все предусмотрено! Случайности здесь быть не может.

От этой мысли ему стало не по себе, однако он подробно продумал, как легче и быстрее спуститься вниз. Потом задвинул стекло и опустил шпингалет.

Ты оставил комнату незапертой, сказал он самому себе. Это непозволительная оплошность. По толстому ковру он быстро прошел к двери и повернул ключ в замке. Этого никогда не случилось бы, не внуши она тебе, что ты в полной безопасности; взвешивайте каждый свой шаг, мистер, взвешивайте каждый свой шаг.

Он быстро скинул пижаму, надел костюм, который ему принес Сэмми Найду, немного успокоился, но по-прежнему внимательный и сосредоточенный стал ждать, отгоняя прочь мысли, способные хоть на секунду отвлечь внимание.

Время тянулось бесконечно медленно, и ожидание казалось бессмысленным, если не считать, что оно было еще одним средством терзать человеческую душу. Нет, он не может даже допустить этой мысли. Время идет своим чередом, и человек ждет, когда кончится ожидание.

Наконец послышались тихие шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Двигаясь быстро и уверенно, Нкози подошел к окну и первым делом отодвинул шпингалет, потом подставил стул к самому окну и надел ботинки. Отойдя к двери, он осмотрел комнату и прикинул, с какого расстояния делать разбег и как надо прыгнуть, чтобы выскочить в окно. Затем стал снова ждать, прислушиваясь к осторожным шагам на лестнице.

Вскоре в дверь дважды тихонько постучали, и донесся голос Ди.

— Все в порядке. Ушли.

Он отпер дверь. Она быстро вошла в комнату, и он увидел, что она чем-то рассержена и с трудом сдерживает гнев. Взглянула на него, потом на открытое окно, и гнев сменился тревогой.

— Куда бы ты скрылся? — поинтересовалась она.

— Ну, об этом я не успел подумать. Что произошло?

Она опустилась на край кровати. Он задвинул окно, запер его и сел рядом.

— Господа из управления внутренней безопасности,— с горечью проговорила она.— Они, видите ли, проверяют доктора. Спрашивали, зачем он ездил в Иоганнесбург, с кем встречался там, и где останавливался, и когда вернулся. И доктору, разумеется, пришлось отвечать этим белым негодяям. Закон предписывает нам отвечать на любые вопросы, если даже они будут касаться сугубо интимных дел. За отказ отвечать они могут **заподозрить** нас в преступных намерениях и на основании этих подозрений посадить в тюрьму.

— Хватит об этом! — остановил ее Нкози.

Она кивнула и ласково коснулась его руки.

— Прости. Я считаю этот закон отвратительным. Из-за него мы и сами становимся отвратительными.

— Только в том случае, если позволяем себе это,— возразил он.— Так что же случилось?

— Внешне они все изобразили так, будто это обычная проверка, но мы сомневаемся. Уж слишком настойчиво они уверяли нас в этом. Они ни словом не обмолвились о Вестхьюзене и о том, что разыскивают человека, который был с ним; им ведь известно, что целая армия людей, неделю назад буквально погибавших от голода, в их числе и те, кто находился под домашним арестом, вдруг получила еду и даже деньги,— но и об этом они ничего не сказали.

— Разумеется, они не станут говорить об этом с твоим братом, чтобы не выболтать чего-нибудь лишнего.

— Так они и действуют. Являются всегда вдвоем. Один задает вопросы, а другой издали следит за выражением вашего лица. Это самый эффективный метод. Они дают вам понять, что им многое известно, рассчитывая при этом, что вы отреагируете на сказанное и выдадите себя. Вот и весь фокус. Однако сегодня они вели себя совсем иначе, и это неспроста.

— Не преувеличиваешь ли ты их способности?

— Мне приходилось иметь с ними дело гораздо чаще, чем тебе. Давуд обеспокоен не меньше меня, а он никогда попусту не беспокоится. Пойдем-ка вниз. Давуд скоро уезжает по вызовам и хотел бы до этого повидаться с тобой.

Она повела его по потайной лестнице вниз, потом через знакомые ему двери стенного шкафа. Из приемной доктора на первом этаже доносился шум голосов. Ди проводила его в свою спальню, где у окна был накрыт стол на троих.

Нкози выглянул в окно и вспомнил о том, что произошло между ним и Ди в этой комнате несколько часов назад. Словно угадав его мысли, она прижалась к нему, и они обнялись. Это было нежное, ласковое объятие, лишенное даже намека на страсть.

— В нынешнее время в нашей стране не должно быть места подобным чувствам,— спокойно сказала она.

Он тихо рассмеялся, и это ей было приятно.

— Настанет день,— сказал он,— когда появятся мужчины, которые будут чувствовать и реагировать в соответствии с требованиями места и времени. Слава богу, что меня тогда уже не будет в живых.— Он помолчал немного и уже совсем серьезно продолжал:— Да, я не шучу: если и вправду наступит день, когда человек внесет логику в свои чувства, мир, подчиненный власти науки, станет отвратительным и жестоким. Одним из спасительных качеств мужчины всегда было и остается стремление — сугубо иррациональное — создавать фантазии и волшебные сказки. Существование бога, любви, красоты и истины недоказуемо научным путем... Я рассуждаю, как закоренелый реакционер, да?

— Да. Но мне нравятся твои рассуждения. Беда лишь в том, что они намного осложняют дело... А вот и Давуд.

При свете дня Давуд показался Нкози меньше ростом и не таким блистательным, как в первую их встречу у сахарных плантаций ночью, после которой, кажется, прошла целая вечность. Тогда доктор показался ему великаном, очень красивым, слегка ироничным и совершенно невозмутимым. Но сейчас великан казался обыкновенным смертным, к тому же еще сильно встревоженным. Даже голос у него изменился, в нем не было прежней успокоительной ласковости. Только рукопожатие было таким же крепким, как и тогда.

— Рад вас видеть в добром здоровье,— сказал доктор.— Товарищи в Иоганнесбурге считают, что вы сделали важнейшее дело, и просили передать это вам.

— Но я доставил вам много хлопот.

— Ничего не поделаешь. Вестхьюзен был единственным слабым звеном. Мы это знали. Самым уязвимым звеном во всей цепи.

— Это слабое звено уничтожено.

Нанкху уловил горечь в словах Нкози. Он смотрел на него в упор и думал: хорошо тебе, что ты можешь выражать собственное неудовольствие.

— Разумеется, вам объяснили...

— Весьма доходчиво,— пробормотал Нкози.— Это, конечно, служит оправданием.

— Вы все это обговорили с Сэмми, не правда ли?

— Да... Простите. Я не хочу досаждать вам, уверен, что все это вам нелегко дается.

— Прошу вас, не забывайте, Сэмми — друг. Ему тоже не легко приходится. Пожалуй, ему даже труднее. Он — активист, а у активиста, да еще совестливого, судьба всегда трудная. Что же до оправданий, то в них нет никакой необходимости.

Кисси принесла еду. Ди разложила ее по тарелкам. Нанкху, не отрываясь, смотрел в окно, потом принялся за еду. Нкози последовал его примеру.

Ди Нанкху шла через всю комнату с чашкой чая, и только Давуд, потому что был ее братом, уловил едва заметную перемену в ее походке. Она ступала так, словно ей нечего было скрывать, будто хромота была столь же естественной, как и походка здорового человека. Он метнул взгляд в сторону Нкози: ну, у этого ничего не прочтешь на лице.

— Брат,— сказала Ди,— этот человек верит в фантазии и волшебные сказки, в бога и любовь, в красоту и истину.

Нанкху кивнул сестре и улыбнулся.

— Я подозревал это с первого момента нашей встречи. Но в нашем положении вера в подобные вещи, к несчастью, осложняет жизнь.

— То же самое и я говорю,— сказала она, повернувшись к Нкози, чтобы налить ему чай.

И ты, сестричка, охотно верила бы вместе с ним, подумал Нанкху и спросил:

— А что он ответил тебе, дорогая?

— Что, как только мы перестанем верить в это, мир станет отвратительным и жестоким. Что-то в этом духе.

— А она,— вмешался Нкози,— сказала, что мир уже стал таким и даже еще худшим, во всяком случае, здесь, в этой стране.

Ди почувствовала, что брат понимает Нкози так же, как и она, и как их обоих понимает в свою очередь Нкози.

— А вы что ей сказали? — тихо спросил Нанкху.

Нкози принял из ее рук чашку и заулыбался.

— Ничего не сказал,— ответил он так же тихо.— До того как я узнал о Вестхьюзене, мне, пожалуй, легко было бы ей ответить. Но теперь я уже сомневаюсь в правильности этого ответа.

Нанкху перестал есть.

— Именно в этом и состоит ваша ошибка, мой друг. Беззвездное небо еще не дает оснований утверждать, что темнота вечна.

— Но ведь не в том дело, что на смену мраку приходит свет. Главное, **каким** он будет, этот наступивший день.

— И все же прежде всего должна быть полная уверенность в том, что день наступит.

— При этом еще важно, какой смысл мы вкладываем в слово день! Если вы подразумеваете лишь жалкое существование...

— Об этом нет и речи,— перебил его Нанкху.— Если б это было так, не стоило бы бороться. Именно потому, что значение этого слова значительно шире, мы и боремся.

— И вы утверждаете это, несмотря на Вестхьюзена?

— Несмотря на тысячу Вестхьюзенов, при условии, что мы придерживаемся той самой веры, о которой вы говорили Ди.

Ди встрепенулась:

— Ты имеешь в виду мечты, и волшебные сказки, и бога, и все прочее?

— Да.

— Почему же ты никогда не говорил мне об этом?

— Потому, что это и в самом деле все усложняет.

— Зачем же ты сейчас говоришь?

— А я и не говорил. Это ты у него выпытала.— И Нанкху продолжал, обращаясь к Нкози:— Спор о целях и средствах удивительно завлекателен до тех пор, пока это всего-навсего спор; посылки могут быть и верными, и ошибочными, но выбирать между добром и злом надо всегда честно. Однако стоит перейти от слов к делу, как такой упрощенный подход оказывается негодным. В зависимости от ситуации одно и то же действие может быть и правильным и неправильным, может таить в себе и добро и зло. Главное, чтобы наши суждения были достаточно здравыми, а вера в мечты достаточно твердой, тогда добро на чаше весов перевесит зло. Ради этого мы и рискуем, с этим связываем наши надежды. Максимум того, что мы можем гарантировать,— это всего лишь надежда на то, что наши действия скорее породят добро, нежели зло. Но далеко не все способны довольствоваться надеждой, и многие поэтому предпочли активным действиям пассивность. Ибо, если человек ничего не делает, он застрахован от риска совершить ошибку или сотворить зло.

— Я не оспариваю ни одного из ваших высказываний,— сказал Нкози,— вы это знаете, и существо моих возражений, надеюсь, вам понятно.

— Вы хотите сказать, что в ходе борьбы против зла вы прибегаете...

— Или вынуждены прибегать...

— ...или вынуждены прибегать к методам, которые таят в себе такое же зло, как то, против которого вы боретесь. Вот что я вам скажу: если конечная цель преследует добро, то большего и нельзя требовать. Кроме того, каждый человек делает свой собственный выбор, а здесь, в Южной Африке, выбор стал болезненно простым делом.

— Вы сделали свой выбор,— возразил Нкози.— И я тоже. Иначе я не приехал бы сюда. Однако этого мало, чтобы решить или хотя бы облегчить решение всех проблем.

— Людям свойственны сомнения,— с некоторой досадой резюмировал Нанкху.

— А это возвращает нас к фантазиям и всему прочему,— добавила Ди.

— И к нашему первоочередному делу,— сказал Нанкху.— После того, что случилось, нам придется пересмотреть все наши планы. Намеченный первоначально маршрут теперь для нас закрыт.

— Об этом мне уже говорил Найду,— отозвался Нкози.

— Надо решать, что делать дальше. До появления господ из управления безопасности я полагал, что у нас есть еще немного времени, возможно, целая неделя, чтобы все продумать. Теперь я в этом не уверен. Вполне вероятно, они оцепят этот район и начнут систематические облавы. Выбирайте, где бы вы хотели находиться — в оцепленном районе или за его пределами? Скорее всего, здесь вы будете в безопасности. Однако возможно и другое: какая-то случайность, незначительная оплошность, кто-нибудь проболтается или заговорит, не выдержав пытки, и ваше местонахождение будет обнаружено.

— Я хотел бы уехать,— не раздумывая, сказал Нкози.

И Ди и доктор удивились быстроте его ответа.

— Но почему? — с изумлением спросила Ди.

Нанкху с любопытством взглянул на сестру, потом на Нкози и сказал:

— Пока вы здесь, с нами, у вас равные шансы быть схваченным и остаться на свободе. Если вы выйдете отсюда, вас скорее всего схватят, будет, пожалуй, всего лишь двадцать процентов вероятности, что вам удастся ускользнуть от них. Послушайтесь моего совета, друг, оставайтесь у нас.

— Разве у меня есть выбор? — спросил Нкози.

— В пределах разумного, да.

— Я имею в виду — оставаться здесь или выбираться из вашего квартала.

— Да... но опять-таки надо решить, что разумнее. Мы не можем позволить вам выйти из дома, заведомо зная, что вас схватят. Это поставило бы под удар и нас, и нашу организацию.

— Понимаю... А не могли бы вы переправить меня куда-нибудь?

— Трудно сказать. А куда именно?

После некоторых колебаний Нкози сказал:

— В африканскую деревню. Примерно в шестидесяти—ста милях отсюда, это скотоводческий район по пути в Свазиленд.

— Вы, кажется, хорошо знаете эти места,— заметил Нанкху.

— Вполне естественно. Половину детства я провел там, половину здесь, недалеко от места, где высадился. Мой дядя — старейшина той деревни.

— Знаю,— сказал Нанкху.

— Знаете? — удивился Нкози.

— Да, знаю; нам это известно. Скажите, поддерживали вы связь со своим дядей, пока находились на чужбине?

— Нет. Но какое это имеет значение?

Ди не выдержала:

— Бога ради, скажи ему, Давуд.

— Ваш дорогой дядюшка,— произнес Нанкху невыразительным, бесстрастным тоном,— враг нашего движения, я имею в виду не индийцев, а африканское националистическое движение в целом. Власти назначили его старейшиной деревни: он верный агент правительства. Не пройдет и часа, как вы окажетесь в руках полиции, стоит вам только появиться в деревне. Кстати, он значится одним из первых в списке лиц, с которыми нам предстоит разделаться, как только представится возможность.

Нкози сам удивился, как легко поверил этому. С самого детства Нкози любил этого дядю. Чуткий, отзывчивый и к тому же мечтатель, дядя был ему ближе и дороже отца, а когда после смерти отца дядя вернулся в деревню, Нкози открылся новый мир. Дядюшка научил Нкози видеть, мечтать, чувствовать. И вдруг ему говорят, что человек этот — предатель, а ему в голову не приходит возражать.

Ди Нанкху поставила чашку и подошла совсем близко к Нкози, следя, однако, за тем, чтобы не коснуться его. Давуд Нанкху отвернулся и стал смотреть в окно.

— Таким образом, деревня отпадает,— небрежно сказал Нкози.— Он был так добр ко мне, мой любимый дядя.

По-прежнему глядя в окно, Нанкху проговорил:

— Так нам сказали, но это еще ничего не значит,— никто из нас не мог проверить его доброту. Вас мы еще не знали.

— А сейчас знаете — и вы, и организация.— Он не мог сдержать раздражение.

— Я не вправе говорить от имени организации,— спокойно парировал Нанкху,— да и не возьму на себя смелость утверждать, что знаю вас; но я знаю Ди, а она, по-видимому, знает вас,— он помедлил, потом добавил более беспечным тоном,— тем странным и опасным образом, каким женщина может познать мужчину.

Женщина коснулась его робко, осторожно, как бы спрашивая, хорошо ли проявлять свои чувства при других. Прикосновение было едва уловимым, она только провела пальцами по его руке, но он остался безучастным, тогда она быстро отдернула руку и демонстративно отошла от него. Он равнодушно, словно издалека, наблюдал за тем, что происходит вокруг, будто это совсем не касалось его. Отношения между людьми немыслимы без таких вот мелких проявлений тирании, решил он, и не стал больше об этом думать.

Итак, сказал он себе, дорогой образ, который ты хранил в сердце чуть не полжизни, в течение нескольких минут оказался стертым. Для этого достаточно было двух-трех фраз. И ты мог только ответить, что он был добр к тебе, потому что знаешь, как горько оплакивать умершие образы.

Давуд отвернулся от окна и взглянул на часы, стоявшие на столике возле кровати Ди.

— Надо решать. Мне пора к больным.

— Что бы ни случилось, я не хочу быть схваченным в вашем доме.

— Здесь вы в большей безопасности, чем где бы то ни было.

— Знаю, но рисковать не хочу.

— Вы рискуете всюду, здесь — в меньшей степени.

— И это я знаю, и все же не хочу.

Нанкху испытующе посмотрел на сестру и сказал с едва уловимой горечью:

— Видно, вы с Сэмми хорошо просили, моя дорогая. Даже слишком хорошо.

— Почти как нищие,— тихо сказала Ди, опустив голову.

И мужчины почувствовали, как она съежилась и приуныла. Нанкху сказал:

— Есть вещи, которые мы делаем по убеждению. Стремление выжить — не единственная движущая сила, неважно — идет ли речь о многих или об одном человеке.

— Зачем вы говорите мне об этом? — возразил Нкози.

Нанкху задумался на минуту, потом покачал головой:

— Очевидно, к вам это не относится, зато относится ко мне и ко всем нам. Гонения порой бывают очень жестокими.

В самом деле, подумал Нкози, я, кажется, забыл о гонениях. И о меньшинствах тоже. Многие из нас забывают.

— Мы тоже действуем согласно своим убеждениям,— сказал он,— и именно поэтому я предпочитаю не подвергать вас и ваших близких опасности, которой можно избежать. Выбирать должен я, и как бы малы и ограничены ни были мои возможности, пока существует выбор, я чувствую себя человеком. И еще я хотел сказать, что готов принять на себя долю вины моего народа перед вами и попытаться ее искупить.

— Хорошо. Но куда вы пойдете?

— Это не важно. Важно как можно быстрее передать меня из рук индийцев в руки африканцев, и тогда, что бы ни случилось, на индийцев вина не падет. Полиция не должна обнаружить меня именно здесь, если ей вздумается произвести обыск.

— У нас сложные отношения с местными африканцами. Натальская группа находится под влиянием панафриканистов, сторонников несотрудничества. Мы не можем просить их о помощи; не можем сказать, что вы здесь.

— Вот как!

— Да. Но один наш белый друг может через надежных людей связаться по телефону с Иоганнесбургом, и, если поступит указание от самого Совета, они вынуждены будут его выполнить.

Постучали, и в дверь просунулась голова Дики Наяккара.

— Ваши опасения подтвердились, док. Есть сведения, что вокруг нас разбрасывают сети.

— Хорошо, Дики. Предупреди Сэмми и скажи ему, что я отправляюсь на вызовы, пусть встретит меня в условленном месте.

— Слушаюсь, док.

— Когда может поступить указание от подполья?

— Часов через двенадцать, я думаю, не раньше. Надо будет обзвонить множество людей в самых различных местах, прежде чем решение будет передано сюда в такой форме, чтобы никто не посмел ослушаться.

— А облавы уже начались?

— Да. По-видимому, вам придется остаться здесь.

Нкози покачал головой.

— Нет, друг, я не хочу, и вы не можете меня заставить.

Нанкху беспомощно пожал плечами.

— Поговори с ним ты, Ди... Они везде разыскивают вас! Неужели вы не понимаете? Объясни ему, Ди.

— Бесполезно, Давуд. Но, послушай, я могу отвезти его на ферму. У нас есть небольшая ферма в горах,— пояснила она Нкози,— отрезанная от всего мира. Ближайшее поселение — в двадцати милях от нее, это имение Нанды в долине. Никому и в голову не придет туда заглядывать.

Нанкху оживился:

— Мне кажется, Ди неплохо придумала. Вы можете прятаться там до той поры, пока не поступят указания от Совета подполья. Только как вас туда переправить?

— Я довезу его,— с готовностью вызвалась Ди.

— Нет, это не годится,— возразил Нанкху.— Если ты исчезнешь из поля зрения хотя бы на час, они сразу заподозрят неладное. Они только и ждут какой-нибудь зацепки, чтобы вовсю развернуться. Пусть лучше с ним поедет Дики,— сказал он, поразмыслив.— Для них Дики — презренный кули, каких тысячи, а на это время надо будет подыскать другого, похожего на Дики, паренька. Да, да, надо поступить именно так. Ди, загримируй мистера Нкози под индийца, ты это умеешь. Надо придать его коже другой оттенок. Простите, друг, но вас надо превратить в низкородного индуса. Не беспокойтесь, мы сделаем все, что надо. Ну, мне пора.— Он крепко, с большим теплом, пожал Нкози руку, затем похлопал по плечу сестру и стремительно вышел из комнаты.

— Так жаль,— сказала Ди,— что я не могу поехать с тобой. Однако он прав. Ужасно не хочется отпускать тебя одного, но они сумеют переправить тебя на ферму. Это замечательные люди... Наступит ли такое время, когда людям не нужно будет бояться, быть постоянно начеку, прятаться?

— Наступит, я уверен.

— И когда исчезнет разница между африканцем и индийцем?

— Такого, я думаю, не будет; во всяком случае, при нашей жизни всегда будут существовать и индийцы, и европейцы, и африканцы, каждый в рамках своей группы. И в этом нет ничего предосудительного, потому что, надеюсь, каждая группа будет уважать человеческое достоинство остальных.

— А что будет с такими, как мы с тобой? Я имею в виду наши чувства.

— Мы с тобой представляем меньшинство в наших национальных группах, а ты судишь о том, хорошо или нет общество, по тому, как оно относится к меньшинству, которое не подчиняется установленным правилам, общается с представителями других групп, вступает с ними в интимные или дружеские отношения.

— Так ты в самом деле думаешь, что настанет день, когда африканцы будут считать индийцев южноафриканцами без всяких оговорок?

— Что тебе сказать? Я ведь могу отвечать только за себя.

— Ты прав.

— Во имя будущего страны, во имя счастья африканцев я надеюсь, что такой день непременно настанет.

— А если нет?..— Она так и не сказала, каким печальным и ужасным окажется их будущее, если этого не случится, лишь взглядом, полным тревоги, молила рассеять ее сомнения.

— Если нет...— медленно начал он, но стук в дверь прервал его на полуслове.

— Извините, мисс Ди,— сказал Дики Наяккар.— Доктор велел переправить его на ферму,— он указал глазами на Нкози.— Так вот, вокруг дома шатаются шпики, и единственный способ выбраться отсюда, это смешаться с толпой этих глупых святош, которые отправляются к реке.

— Дики! — одернула его Ди.— Не годится верующих людей называть глупцами.

Дики тотчас же изобразил на своем лице раскаяние:

— Простите, мисс Ди, но ведь они даже в церковь не ходят. Так вот, единственный способ выбраться отсюда — это присоединиться к ним, а они уже начали собираться.

— Сколько у нас времени? — спросила Ди.

— Пять, ну десять минут.— ответил Дики.

— Хорошо. Пошли сюда Кисси, и пусть она захватит все необходимое для гримировки, а сам тем временем разыщи для мистера Нкози подходящую одежду.

Дики Наяккар исчез, и почти тотчас же появилась Кисси с небольшим подносом, уставленным пузырьками с различного цвета этикетками. Ди усадила Нкози перед туалетным столиком, и, не говоря ни слова, женщины принялись за дело. Нкози смотрел в зеркало и видел, как лицо его постепенно темнеет и из густо-бронзового с легким оттенком желтизны становится матово-черным. Лицо, шея и уши были окрашены в черный цвет. Потом, когда все было готово, Ди смочила руку водой и провела ладонью по щеке Нкози. Никаких следов краски на ладони не осталось.

— Вдруг пойдет дождь или вам придется залезть в реку,— пояснила она.

— А как же ее снять, эту краску? — поинтересовался он.

— Постепенно она сама сойдет. Краска держится не больше пяти дней, но у нас есть и специальная жидкость, на тот случай, если понадобится снять краску раньше. Сейчас Кисси изменит черты вашего лица, она большой специалист по этой части, а я тем временем займусь руками, сделаю их черными.

Пока Кисси трудилась над его лицом — меняла форму носа, то здесь, то там накладывая краской штрихи, делала лоб у́же, а лицо длиннее,— пока меняла форму пухлых губ и форму глаз, он внимательно изучал ее лицо. Трудно поверить, думал он, что обе эти женщины — индианки. Кисси — очень смуглая и тоненькая, с бесстрастным лицом гордых баролонгских женщин. Такие же, как у них, глаза мертвой змеи, широкие костлявые плечи, тонкая, длинная некрасивая шея, плоская грудь, угловатость и резкость в движениях. Впрочем, у всех баролонгских женщин, даже у самых тощих, есть какое-то подобие груди, даже если эта грудь дряблая и свисает до пояса. Кисси была совершенно плоской. Платок, повязанный на африканский манер, целиком скрывал волосы, и только очень темный цвет кожи свидетельствовал о том, что она не из баролонгов. Ни один из баролонгов — будь то мужчина или женщина, не был таким черным, как Дики Наяккар, как Сэмми Найду или как он сам теперь, в гриме. У Кисси были ловкие руки с длинными пальцами, однако Нкози они казались безжизненными, как и ее глаза. Вот Ди — совсем другое дело. Когда она покрывала краской его руки, каждое ее прикосновение вызывало в нем ответный импульс, биение жизни, ощущавшееся в ее пальцах, передавалось и ему. Ничего подобного он не испытывал от прикосновения Кисси. Любопытно, спросил он себя, это потому, что я не представляю для нее никакого интереса, или потому, что для меня она — всего-навсего неодушевленный предмет — так по крайней мере она считает? Не будь здесь Ди, он постарался бы это выяснить. Эта женщина и ей подобные смотрят на отношения с человеком другой расовой группы, пожалуй, гораздо проще, нежели такие, как Ди. А может, он ошибается? Поразмыслив, он пришел к прямо противоположному выводу. Предрассудки особенно живучи в людях малоразвитых: чем проще образ жизни, тем строже и тщательнее соблюдаются обычаи как той или иной расовой группой в целом, так и отдельными ее представителями. И тем не менее ярые защитники предрассудков, точно так же, как и их ярые противники, почти всегда были выходцами из более развитой, более привилегированной и более влиятельной части той или иной группы, того или иного общества.

— О чем ты думаешь? — спросила Ди.

— Об истоках предрассудков.

— Кисси навела тебя на эти мысли?

— Странно, не правда ли? Но, глядя на нее, начинаешь размышлять.

— Очень важно,— задумчиво проговорила Ди,— выбрать для общения время и условия. Мы не знаем друг друга, а потому не знаем и самих себя, и своих мыслей.

Кисси отошла чуть в сторону, оценивая результаты своей работы, а потом вопросительно посмотрела на Ди. Поглощенная мыслями об истоках предрассудков, Ди лишь устало пожала плечами.

— Отлично, Кисси. Он стал неузнаваем.

Однако Кисси по-своему истолковала ее жест:

— Но вы не довольны, мисс Ди.

— Просто я думала о другом.

— О предрассудках? — осторожно осведомилась Кисси.

— Да, Кисси, о предрассудках.

— Мы с ними рождаемся,— сухо заметила Кисси.— И так будет всегда.

Не дожидаясь, какая последует реакция и что скажет на это Ди, Кисси собрала пузырьки и вышла из комнаты.

Ди Нанкху сидела глубоко подавленная. Нкози почувствовал это и, чтобы не поддаться ее настроению, постарался отвлечься. Он стал думать о том, что его ждет, и чем больше думал, тем сильнее напрягались у него нервы и ум.

От сознания того, что у них нет сейчас какой-то эмоциональной близости, они испытывали скованность и неловкость и смотрели друг на друга совсем по-иному, как-то отрешенно и безразлично. Им даже не о чем было говорить. Ди отошла к маленькому оконцу и повернулась к Нкози спиной. Он рассматривал свое изображение в зеркале, стараясь представить себя в индийском тюрбане. Загримированного, его не узнала бы даже родная мать, окажись она рядом. Только Ди не ошиблась бы, мелькнуло где-то в тайниках сознания, Ди сразу бы узнала. Он страстно желал снова ощутить душевную близость с нею, но она стояла спиной к нему, чужая и равнодушная.

Короткое молчание показалось вечностью, а потом пришел Дики и принес одежду, которая должна была окончательно преобразить облик Нкози. Он напомнил, что в их распоряжении совсем мало времени, и пошел собираться. Нкози отправился к себе в комнату, переоделся и снова вернулся к Ди. Она подошла к нему и поправила тюрбан.

Снова появился Дики.

— Пора идти, сэр.

Только сейчас Ди очнулась. Она схватила Нкози за руки, и казалось, никогда его не отпустит. Она посмотрела на его изменившееся лицо и закусила губу. Дики Наяккар стоял как зачарованный, стараясь не смотреть в их сторону, и в то же время не желая упустить хоть малейшую деталь этой молчаливой сцены... О боже, ну точь-в-точь, как в кино!.. И тут он вспомнил огромного Сэмми Найду. Сэмми никогда не показывал виду, но Дики знал, что больше всего на свете он желал, чтобы мисс Ди взглянула на него так, как она смотрела сейчас на этого маленького черного парня.

— Нам надо идти,— повторил Дики Наяккар.

Ди наконец отпустила руки Нкози.

— Пожалуйста, береги его, Дики.

— Хорошо, мисс Ди.

— Как следует береги.

— Хорошо...

— Он очень дорог мне...

— Мисс Ди...

— Он для меня — все, Дики... Все на свете.

— Понимаю, мисс Ди.

Она резко повернулась, а они молча вышли из комнаты и стали спускаться по лестнице.

Дики Наяккар вел Нкози к черному ходу. В коридоре толпились больные, дожидавшиеся возвращения доктора. Нкози заметил цветную женщину с ребенком, который, по-видимому, был лишь наполовину индийцем. Все остальные были индийцы — маленькие, несчастные, какие-то высохшие. Когда они проходили через кухню, Кисси и рослая миловидная девушка в сари с длинными напомаженными волосами мельком взглянули на них и продолжали работать как ни в чем не бывало. В воздухе стоял тонкий неповторимый аромат порошка кари и топленого масла, трав и специй.

Однако стоило им очутиться на улице, как мир снова предстал в тусклом однообразии: здесь царила жалкая нищета, столь характерная для любого района тропических и субтропических стран, где живут бедняки, обездоленные и отверженные. В холодных странах кварталы бедняков тоже тусклы и однообразны, но солнце светит там не так ярко, не так резко, не так ясно и не так беспощадно, поэтому краски бедности как бы приглушены. В тропических же и субтропических странах всякая грязь, всякая пакость и мерзость, озаренные сиянием солнца, особенно резко бросаются в глаза. И даже земля, которую редко увидишь голой в холодных странах, здесь, из-за отсутствия растительности, приобретает особенно неприглядный вид. Но самое убогое зрелище являют собой внутренние дворы в тропических странах: там солнце безжалостно выжигает все до последней травинки, превращая землю в коричневую корку грязи, там везде валяются отбросы и вьются рои мух. Все эти внутренние дворы и проходы, по которым Дики Наяккар вел Нкози, составляли один общий огромный и убогий двор — задворки нации; район трущоб, один из многих, удивительно похожий на все другие, независимо от того, кто их населяет — индийцы, цветные или черные, и даже специфические запахи пищи и разные обычаи — свои у каждой группы — не могут затушевать того главного, что делает их похожими друг на друга.

Даже на людях, встречавшихся им по пути, лежала печать унылого однообразия и жалкого убожества. Будто их тоже иссушило солнце. Такие, как Дики Наяккар, рослые и крепкие, были счастливым исключением.

Постепенно дома и люди стали встречаться реже. Наконец, они увидели религиозную процессию, двигавшуюся к реке. Оттуда едва слышно доносились звуки

флейты и барабана. Противоположный берег круто поднимался вверх — там начинался город, населенный белыми. Ветер дул как раз в ту сторону, грозя побеспокоить его жителей шумом, производимым процессией, значит, снова последуют протесты против шествий чужестранцев, против вони и шума, в которых повинны индийцы. Местная газета, возможно, даже начнет ратовать в своих передовицах за то, чтобы «деревню, где живут кули», убрать подальше от «города, где живут белые».

— Надо бы поспешить, сэр,— сказал Дики Наяккар. Называть маленького африканца «сэром» было для него теперь вполне естественно.— Нам уже попалось несколько шпиков, а дальше их будет еще больше. Надо догнать вон ту группу,— он указал на людей, шедших впереди. Примерно в миле от них на обочине грязной дороги у машины стояло несколько человек.— Это шпики,— сказал Дики,— они непременно остановят нас, если мы будем идти вдвоем. Это они вас ищут. Нужно затеряться в толпе.— Тут Наяккар по-мальчишески озорно улыбнулся, дескать, все будет в порядке.

Они пошли быстрее. Люди впереди замедлили шаг, потоптались на месте и снова двинулись вперед.

— Черт бы их побрал! — обозлился Дики Наяккар.

— В чем дело?

— Проклятые идиоты! Останавливаются, чтобы мы могли их догнать. С головой выдают нас шпикам. Вот дождутся, что я скажу Сэмми. Мистер Найду им задаст... **если,** конечно, шпики не схватят нас из-за их глупости! Черт бы их побрал!

— Тогда нам лучше поспешить, чтобы не повторилось все сначала.

Нкози прибавил было шагу, но Дики Наяккар тронул его за руку.

— Осторожно, сэр! Видите, один из шпиков смотрит в подзорную трубу. Не надо торопиться.

Нкози принудил себя идти ровным шагом, как и Дики. Люди двигались медленно, однако догнать их было не так-то легко.

Растущее беспокойство Дики передалось Нкози. Тут кто-то из шедших впереди оглянулся и с таким видом, будто узнал знакомых, принялся махать им, он окликал своих спутников и показывал на Дики и Нкози.

— И вы им помашите, сэр,— сказал Дики Наяккар и помахал сам. Группа остановилась. Облаченные во все белое двое мужчин и женщина бросились обнимать Нкози, обрушивая на него потоки бессмысленных слов. И вдруг он отчетливо услышал: «Улыбайтесь и делайте вид, будто говорите с нами». Он оказался в самом центре небольшой группы.

Нкози так и не заметил, в какой миг они прошли мимо одетых в гражданское сыщиков, стоявших возле машины, зато хорошо почувствовал, в какой миг миновала опасность, потому что плотно окружавшее его кольцо неожиданно разомкнулось.

Короче говоря, общая опасность, общий противник и общая цель — перехитрить его — сплотили и сблизили их. Но миновала опасность, и их уже ничто не сближало. Женщина слева, которая изо всех сил прижималась к нему, проявляла явное стремление скрыться куда-нибудь. Мужчины, хотя и не так заметно, тоже стали удаляться, так что в конце концов он оказался в центре круга, рядом с этими людьми и в то же время далеко от них. Он понимал, что возникшее отчуждение было инстинктивным, что в тот момент, когда они окружили его и взяли под свою защиту, они действовали сознательно, руководствуясь разумом, и это позволяло надеяться на лучшее будущее. И все же их инстинктивное отчуждение огорчило Нкози, и ему захотелось очутиться далеко-далеко от этой страны.

Но появился Дики Наяккар, и ощущение одиночества прошло. Еще немного — и они поравняются с процессией, он отчетливо слышал сотни голосов, говоривших одновременно, и непривычную для его слуха индийскую музыку. Она казалась ему резкой, диссонирующей и немелодичной. Дики Наяккар что-то сказал, но из-за шума ничего нельзя было разобрать. Нкози жестом показал, что не слышит. Дики вроде бы понял. Он усмехнулся, и Нкози снова отметил про себя, какой Дики симпатичный парень. Женщина по-прежнему оставалась на самом крайнем фланге маленькой группы, но мужчины больше не сторонились Нкози, и он уже не был изолирован ни физически, ни духовно, хотя подозревал, что тут не обошлось без вмешательства юного Дики Наяккара.

Поравнявшись с процессией, они пробрались в самую гущу толпы. Теперь они были частью огромной массы темнокожих людей в белых одеяниях, массы, двигавшейся, как это повелось испокон веков, к реке, чтобы уже в который раз утвердить вечную и неизменную потребность поклоняться какой-нибудь облагораживающей дух силе.

Нкози услышал голос Дики Наяккара:

— Пока все идет нормально. Здесь мы пробудем целый день, а потом двинемся в другом направлении. Только вот что, сэр. Не беспокойтесь, если не будете меня видеть. Рядом свои люди, которые все время начеку и заботятся о вашей безопасности. Ничего плохого с вами не случится. Договорились?

— Договорились, Дики.

Молодой индиец так и засиял, когда Нкози назвал его по имени.

— Ну, тогда я пошел, сэр. Не волнуйтесь. Перекусим у реки. Жаль только, что выпить нечего. Но это опасно. Здесь не все свои, шпики могут подослать к нам агентов.

— Я и без выпивки обойдусь,— сказал Нкози.

— Мы с ребятами любим немного выпить, когда бываем здесь у реки, если, конечно, не предстоит работа, как вот сейчас.

— Ясно,— ответил Нкози.— А скажи, по какому случаю это шествие?

— Какой-то религиозный праздник,— небрежно бросил Дики.

— Понимаю, но какой именно?

— Их вождь, худощавый маленький старикан, видите, вон он идет во главе процессии, произнесет чертовски длинную речь, сэр.— Внезапно Дики указал вниз, в сторону реки, откуда навстречу им двигалась другая процессия, почти такая же многолюдная.— Так вот, сэр, как только процессии поравняются, мы присоединимся к той, другой. Мы проведем здесь весь день, а когда настанет время расходиться по домам, мы пойдем уже с теми.

Тень улыбки скользнула по лицу Нкози. Реакция Дики была мгновенной.

— Видите там справа верзилу рядом с девушками — только смотрите так, чтобы не было заметно. Видите, сэр?

— Вижу.

— Это капрал Сингх, сэр, из политического отделения Натальского уголовного розыска. Успокойтесь, сэр. Не надо волноваться. Я не хотел говорить, а сейчас сказал, потому что уж очень мы расхрабрились.

— Понимаю,— задумчиво произнес Нкози.— Я вижу, тебе трудно со мной. Извини.

— О, с вами совсем не трудно, сэр. Однажды мне пришлось вести белого профессора от Иоганнесбурга до границы. Чертовски был умный, сэр. Только посмотришь на него — сразу видно. Вот с ним было действительно трудно! Ничего не боялся и не имел понятия, что значит вести себя тихо. Ох и намучился же я! А потом взял, проклятый, да написал плохую книгу, говорит, будто мы, индийцы, никогда не поладим с черными!

— А ты читал эту книгу?

— Нет. Но Сэмми — мистер Найду — рассказывал мне... Так что с вами, сэр, не трудно, нет! А капрал Сингх из политического отделения Натальского уголовного розыска тоже член нашей организации. Но здесь много шпиков, вот он и следит, чтобы они нам не навредили. Поэтому не беспокойтесь, но помните, что я вам сказал. Хорошо, сэр?

— Да, Дики. Я все понял.

— Ну и прекрасно.

Дики отошел. Капрал Сингх из политического отделения Натальского уголовного розыска мельком взглянул на Нкози и тотчас же исчез из поля зрения. Одна из молодых женщин отделилась от своих подруг и, казалось, совершенно случайно очутилась рядом с Нкози. Она сложила ладони и склонилась перед ним в традиционном индийском поклоне. Затем сняла с себя гирлянду из белых цветов и надела ее ему на шею.

— Скажите Дики, что у переправы опасно,— быстро прошептала она и незаметно удалилась. И сразу же мир и спокойствие, владевшие процессией и им самим, были нарушены. И все же... И все же... Он взглянул на спокойное, как бы преображенное религиозным экстазом лицо какой-то женщины, которая шла в нескольких шагах от него... И все же...

5

Они добрались до фермы на рассвете. После дня, проведенного у реки, и длинного перехода они утомились и стали неразговорчивыми. Хорошо еще, что вторую половину пути они проделали на полуразвалившемся стареньком «лэндровере», которому, казалось, впору быть на свалке, а он еще довольно исправно бегал по дорогам. Не то они вконец измотались бы, да и на ферму попали бы гораздо позже.

«Лэндровер» поджидал их у последнего селения в поместье Нанды, и до тех пор, пока не миновала опасность, машину вел юноша, житель селения, худой, высокий и гибкий, с каким-то пепельным оттенком кожи. Его непрестанно мучили приступы сухого кашля, с которым он никак не мог справиться. Рядом с юношей на переднем сиденье ехал здоровенный парень, почти такой же высокий и крупный, как Сэмми Найду, только не плотный и мускулистый, а рыхлый и толстый, хотя и был моложе Сэмми. Толстяк сидел с таким видом, словно готов был в любую минуту сменить за рулем тщедушного водителя, если того доконает кашель. И в самом деле, как только у водителя начинался приступ, Нкози был уверен, что на сей раз он ни за что не выкарабкается, но тот, задыхаясь, брызгая слюной и отчаянно глотая воздух, как-то превозмогал себя! За все время пути никто не проронил ни слова.

Когда они достигли подножья гор, тщедушный остановил машину и вместе с толстяком спрыгнул на землю. Помахав рукой на прощанье, они зашагали

по залитой лунным светом дороге назад, к своему поселку. На спидометре было девять миль.

За руль сел Дики Наяккар, а Нкози перешел на переднее сиденье. Они смотрели вслед ушедшим парням до тех пор, пока те не скрылись в пронизанной лунными лучами дымке ночи. Только тогда Дики Наяккар включил мотор, и они стали подниматься в горы.

Я все больше и больше удаляюсь от границ протектората Басутоленд, размышлял Нкози, и это осложняет мое положение. Вначале все казалось очень простым — он высаживается на сушу, передает деньги, пробирается через границу в Басутоленд, а оттуда на самолете возвращается в Лондон — и у него отличное настроение, потому что он оказался смельчаком и внес ощутимый вклад в борьбу, которую ведет его страна. А что получилось на деле? Он выполнил свою миссию, но не властен над собой, не может выбраться отсюда; он даже стал сомневаться в важности и значении своего вклада.

Сквозь мерный шум мотора послышался голос Дики Наяккара:

— В этот предрассветный час такая берет тоска, что хоть плачь.

Нкози взглянул на сидевшего рядом молодого индийца не без удивления — он никак не ожидал услышать от него нечто подобное. Это могла бы сказать Ди или ее брат, может быть, Сэмми Найду, только не этот парень.

Целый час они ехали молча. Подъемы сменялись спусками, спуски — подъемами, но машина, не меняя скорости, осторожно взбиралась все выше и выше, пока, наконец, на рассвете они не добрались до фермы, затерявшейся в горах на высоте трех тысяч с лишним футов. Холмистые плантации Нанды остались далеко позади, да и до селения, где они сели в «лэндровер», было добрых двадцать миль.

Маленький домишко гнездился во впадине под нависшей скалой на склоне холма посреди большой долины, замкнутой кольцом высоких гор. С вершины холма, если смотреть на юг, видно было глубокое ущелье, прорезавшее горы. Отсюда же открывался широкий, с большим охватом вид на юг, юго-восток и юго-запад. А в ясный день можно было даже проследить весь путь от горы к побережью Зулуленда, где высадился Нкози. Если смотреть на север, куда обращен фасадом дом, то взору предстают лишь уходящие вдаль горы, причем каждая последующая гряда выше предыдущей. Итак, домишко был надежно укрыт с юга, юго-запада и юго-востока. Он просматривался только с севера, но там сплошной стеной высились горы. Была еще одна возможность обнаружить дом — с самолета, но лететь над самыми горами весьма опасно, не говоря уже о том, что пришлось бы облетать весь район вдоль и поперек.

Дики Наяккар подъехал к самому дому, словно козырьком, укрытому скалой. Они вылезли из машины, и Дики указал на тропинку, начинавшуюся за домом и уходившую на вершину горы.

— Там у нас наблюдательный пост. Оттуда видно все. Зато нас никто не может увидеть.

Маленький домик был удивительно чист, и все там было готово для жилья. Пока Дики зажигал керосиновые лампы, Нкози изучал правила поведения, висевшие на внутренней стороне двери. Разжигать огонь не разрешалось ни днем, ни ночью — могут заметить дым; запрещалось выезжать на машине засветло; перед уходом в горы надо было непременно захватить с собой ружье и рюкзак с неприкосновенным запасом.

Вскоре к нему подошел Дики Наяккар.

— А где ружья? — спросил Нкози.

Дики подвел его к буфету в углу, открыл его и поднял повыше лампу. Там стояло полдюжины сверкающих ружей. Над каждым из них висели патронташ и маленький рюкзак.

— Вы не боитесь, что кто-нибудь может набрести на этот дом? Ну хотя бы случайно?

— Дом постоянно охраняется, сэр.

— Да, но эти люди далеко отсюда. Если вы имеете в виду селение, где мы сели в «лэндровер».

— Нет. Есть другие.

— Поближе?

Наяккар минуту колебался, потом сказал:

— Совсем близко, сэр; поэтому не беспокойтесь.— Наяккар закрыл буфет, повесил на него огромный замок и снова поднял лампу, чтобы Нкози мог еще раз взглянуть.— Чертовски трудно взломать этот буфет, сэр.

Буфет был частью бетонной стены, и на массивных дверях висел невероятно большой замок.

— Но если паче чаяния сюда кто-нибудь забредет, это объявление у входа...

— Его повесили специально для вас.

— Понимаю,— пробормотал Нкози и вспомнил, с какой горечью говорила Ди о муравьином существовании, которое принуждены вести индийцы в этой стране.

И сейчас, находясь в тщательно охраняемом и хорошо укрепленном убежище, Нкози понял и в полной мере ощутил это горькое чувство, неизменно звучавшее в

речах Ди и Найду. Что бы они ни делали, какие бы огромные жертвы ни приносили, сколь бы много ни отдавали, власть африканцев может оказаться для индийцев не слаще власти белых. Возможно, они ничего не получат, более того, утратят то немногое, чем располагают сейчас. Африканцы знают, что принесет им уничтожение белого расизма. Индийцы же не могут быть уверены даже в том, что перестанут испытывать на себе расовую ненависть.

— Скажи,— обратился он к Дики,— что будет с индийцами, когда мы разгромим расистов?

— Не знаю... А что вы имеете в виду?

Дики Наяккар сразу насторожился. Будь осторожнее! — сказал себе Нкози.

— Я вот о чем спрашиваю, надеется ли ваша организация — индийская организация,— что индийцы выиграют от того, что мы свергнем власть белых?

— Пойдемте, сэр,— сказал Дики Наяккар и повел Нкози в кухню. Он показался Нкози сразу повзрослевшим.

Дики жестом пригласил Нкози к столу, поставил перед ним тарелку с сандвичами, согрел на примусе и подал чай.

Несколько сандвичей Наяккар положил себе, налил чаю и сел, прислонившись спиной к кухонному столу, на котором стояли три примуса. Нкози так устал, что совсем не хотел есть, зато горячему чаю обрадовался. Он уже раскаивался в том, что завел с Дики этот разговор,— надо было подождать немного, но уж слишком велик был соблазн.

— Я устал. Где я буду спать?

Наяккар поставил стакан и поднялся.

— Да ты просто скажи. Я сам найду.

— Дверь рядом с буфетом, сэр. Это внутренняя комната. Лампу возьмите в большой комнате,— Наяккар помялся и вдруг сказал:

— Мы знаем, что все хорошо не будет, может стать даже хуже.

— Это понимают все участники движения?

— Наш долг, сэр, быть организованными и дисциплинированными. Нас не так уж много. Я имею в виду только участников движения, они это понимают. Понимают это и остальные индийцы, которые здесь живут, вот почему они и стоят в стороне от движения. Стоит ли бороться, говорят они, если может стать еще хуже!

— И что же вы им отвечаете на это?

— Сэмми — мистер Найду — мисс Ди и доктор ответили бы на этот вопрос лучше, чем я.

— А ты разве не можешь?

— Ну, могу.

— Тогда ответь!

— А сами вы не знаете?

— Я могу лишь предполагать.

— Да все сводится к одному — цветной барьер давит на нас с обеих сторон, и иногда бывает так трудно! Если африканцы поверят, наконец, что мы на их стороне, тогда, быть может, хоть потом станет легче.

— А может, и не станет.

— Конечно. И все же мы верим в это. Иначе нам не на что было бы надеяться.

— А жить без надежды нельзя,— очень мягко заметил Нкози.

— И еще,— продолжал Дики Наяккар, слегка смущаясь,— все предрассудки плохи... Так говорит Сэмми.

— А Кисси говорит, что мы рождаемся с предрассудками и что избавиться от них невозможно.

Дики Наяккар поджал губы, ссутулился, наклонил голову чуть вправо и поднял обе руки ладонями кверху. Это один из самых характерных индийских жестов, отчасти просительный, отчасти оборонительный и, безусловно, выражающий покорность.

— Я не знаю, кто из них прав: Кисси или Сэмми; может, предрассудки и в самом деле никогда не исчезнут. Не знаю. Может, просто очень плохо быть «головешкой» в этой стране.

— «Головешка»? А что это значит? — не понял Нкози.

— «Головешка»... кули... индиец.

— Но мы должны продолжать борьбу,— сказал Нкози.

— Да, сэр. То же самое говорят доктор и Сэмми. Вы думаете, что когда-нибудь этому придет конец?

— Когда-нибудь, да,— ответил Нкози.

— Я хочу сказать: и для нас тоже. Вы поняли меня, сэр?

— Думаю, что и для вас.

— Знаете, сэр, я впервые вот так разговариваю с...

— С черным?

— Да. А там, в Англии, неужели можно вот так?

Надо переменить тему, решил Нкози.

— Да, там черные свободно общаются со всеми другими. Однако там есть свои предрассудки.

— Значит, Кисси права?

Мы никак не можем уйти в сторону, подумал Нкози. Но ведь сейчас и здесь этот разговор смешон.

— Кисси не права, Дики. Все на свете меняется. Решительно все. Жизнь — это вечная перемена.

— То же самое говорит Сэмми.

— Но перемены могут быть к лучшему и к худшему.

— Я знаю, что вы имеете в виду, сэр,— молодой индиец мыслил трезво.— Я ведь вам уже сказал, что мы говорили об этом между собой и все понимаем.

Да, думал Нкози, ты все понимаешь, хотя не всегда умеешь выразить свою мысль словами. Он поднялся и отправился спать. Было довольно свежо, и Нкози с наслаждением забрался под одеяло. Будто короткая вспышка на экране сознания, мелькнула мысль о том, как было бы хорошо, если бы вторую раскладушку в этой комнате занимала Ди, но тут же он уснул как убитый.

Дики Наяккар перемыл посуду, подлил керосину в примусы и тщательно их вытер. Потом достал чистую скатерть и накрыл стол на одну персону. Когда со всеми делами было покончено, он проверил, хорошо ли заперты окна и двери и только после этого отправился спать. Но он не сразу заснул, а еще долго лежал на спине, глядя в маленькое окошко. Он видел только часть склона горы и по тому, как постепенно исчезали окутывавшие ее тени, мог лишь догадываться, каким было небо. Целая вереница видений и мыслей проносилась в его сознании, громоздясь и обгоняя друг друга, словно не в меру расшалившиеся дети. Мисс Ди крепко сжимает руки маленького африканца. Сэмми Найду смотрит на нее, а она — на маленького африканца, а мозг у этого африканца работает точь-в-точь, как те часы, которые он однажды раскрыл, чтобы полюбоваться их механизмом. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так... Ровно и четко. Часы и маленький африканец слились в один образ... тик-так, тик-так... Мисс Ди и он... а все потому, что она... тик-так, тик-так... И лицо Сэмми, который смотрит на нее с такой же страстью, с какой она смотрит на Нкози... Тик-так... Жизнь — это вечная перемена.

Наконец, выкристаллизовалась одна очень ясная мысль: если бы этот человек руководил подпольем, а потом, после белых, стал у власти, положение непременно изменилось бы к лучшему... Утешившись этой мыслью, Дики решительно прогнал все видения, повернулся на бок, закрыл глаза и стал терпеливо ждать, когда придет сон.

■

Через два дня под вечер Дики Наяккар сообщил Нкози, что ночью к нему пожалует гость. Он не стал ничего объяснять, и Нкози не настаивал. Если его собираются официально передать африканцам, то вряд ли молодому Наяккару известны какие-нибудь подробности на этот счет, все же остальное не имеет существенного значения. Ожидание его не тяготило. Разыскав бумагу и карандаш, он коротал время за рисованием.

Около девяти Дики Наяккар отправился на машине встречать гостя. А Нкози лег спать. От селения до фермы езды не меньше двух часов, поэтому маловероятно, чтобы гость приехал раньше полуночи. А так как все эти дни Нкози много работал, сон не заставил себя ждать.

Когда он открыл глаза и увидел на краю своей раскладушки Ди Нанкху, то подумал, что видит сон. Перед тем как лечь, он погасил лампу, а сейчас она снова горела. Он неуверенно протянул руку, опасаясь, что Ди исчезнет, но его опасения были напрасны.

— Это не сон,— сказала она.

Теплая сонная улыбка озарила его лицо, наполнив ее сердце радостью. Но улыбку тотчас же сменила тревога.

— Что случилось?

Подумав, она сказала:

— С этим можно подождать до утра.

— Что-нибудь плохое?

— Я же сказала, можно подождать до утра.

— Я скучал по тебе,— сказал он.

— Я тоже.

Он стремительно сел и заключил ее в объятия. Они прильнули друг к другу, и в этот момент она поняла, что отныне все будет хорошо. Она высвободилась из его объятий и направилась к двери, вовсе не пытаясь скрыть свою хромоту. Распахнула дверь и крикнула Дики Наяккару:

— Мы ложимся спать! Покойной ночи!

Последовала короткая пауза, потом Дики Наяккар тоже пожелал им покойной ночи.

Слабая улыбка, не то насмешливая, не то нежная, играла на губах Ди, когда, закрыв на засов дверь, она повернулась к Нкози. Она задула лампу и стала разде-

ваться. Нкози прислушивался к шелесту ее одежды и чувствовал, как все его существо переполняет нежность к этой женщине. И очутившись рядом с ним в постели, Ди физически ощутила, как эта нежность ее обволакивает.

Их руки и ноги переплелись, и они уснули в объятиях друг друга. Потом проснулись в одну и ту же секунду, как будто их телами управлял единый мозг. И на сей раз он ласкал ее долго, с удивительной нежностью.

Наконец у мужчины вырвались слова:

— Я люблю тебя!

И потом уже более спокойно, даже чуть удивленно и вкрадчиво-нежно он повторил:

— Люблю тебя.

И он почувствовал, что по ее лицу катятся слезы. Теперь он знал, что никогда не вернется к той, другой, что бы ни случилось.

Больше они уже не спали. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, ибо только так можно было уместиться на узенькой раскладушке. Но не испытывали неудобства от того, что нельзя ни вытянуться, ни повернуться, напротив, им было это даже приятно.

— Повтори,— прошептала она.

— То же самое я говорил другим.

— Все равно.

— Ну, хорошо. Я люблю тебя.

Она счастливо вздохнула.

— И все? — спросил он.

— А что же еще? Я знаю, что именно это ты сейчас чувствуешь.

— И этого тебе достаточно?

— Более чем достаточно, милый. О такой близости, какая у нас с тобой, можно только мечтать. Наши сердца бьются в унисон, тела слились. Вот теперь я поняла, что такое любовь. Поняла, что значит быть не совсем одинокой. Я знаю тебя так, как никогда никого не знала. Чего же еще желать? Когда ты спрашиваешь, достаточно ли мне этого...

Он прикрыл ей рот ладонью, не дав договорить.

— Я люблю тебя. И хотя говорил эти слова другим, никогда не вкладывал в них того смысла, какой они приобрели для меня сейчас.

Она сняла его ладонь со своих губ:

— Еще раз, повтори.

— Я люблю тебя.

— Еще!

— Что с тобой? Ты, кажется, теряешь рассудок?

— Я приказываю!

— Слушаюсь. Я люблю тебя.

И тогда он впервые за все это время услышал ее смех. Она смеялась весело и радостно. Он почувствовал, что она опьянена любовью.

— Я тебе нравлюсь как женщина?

— Очень,— сухо ответил он.

— Я сама себя не знала. Никогда не думала, что я такая страстная. Знаю, что могу заставить тебя потерять голову в любую минуту, стоит мне только захотеть. Я как раз и собираюсь сделать это. Я хочу иметь от тебя по крайней мере шестеро детей.

— Уж не собираешься ли ты уподобить меня быку? — усмехнулся он.

— А что? Ты и есть мой бык!

Потом она стала серьезной:

— Ты хочешь от меня детей? А они не будут хромыми? Мне бы очень не хотелось этого.

— Нет, не будут, и я был бы счастлив иметь от тебя детей.

— А кем бы они считались — индийцами или африканцами?

— Не омрачай свои мечты,— нежно сказал он.— Давай помечтаем вместе, потому что мечта — духовная реальность жизни.

— Мечта и реальность где-то должны соединиться,— сказала она.

— Они соединятся в наших с тобой детях.

— Индийцах или африканцах? Обиженных на мать и стыдящихся ее или обиженных на отца и стыдящихся его? Отвергнутых его или ее родней? Либо и теми и другими?

Он положил ладонь на ее лоб.

— Куда же девалась твоя мудрость? Ведь только что ты говорила, что тебе достаточно того, что есть. Разве ребенок у тебя родится завтра? Или на следующей неделе? Или в будущем месяце? Ты уже знаешь, что у тебя будет ребенок?

— Я бы хотела от тебя ребенка, даже нескольких детей.

— И ты хочешь получить гарантию, что их примет общество, что они будут здоровые и счастливые, что им ничто не будет угрожать и не на что будет обижаться.

— Естественно.

— Естественно было бы только надеяться, но не требовать никаких гарантий. Гарантии, которые ты хотела бы получить для своих несуществующих детей, не обеспечены пока даже детям, у которых родители оба индийцы, или африканцы, или белые.

Ее настроение снова изменилось. Она водила рукой по его лицу и груди, ласкала, стараясь запомнить его тело.

— Ты в самом деле черный, а? В моем сознании это никак не укладывается.

— Потому что черный цвет внушает страх?

— Он таит в себе опасность и неизвестность. А тебя я знаю так близко!

— К тому же это еще и экзотично? — поддразнивал он ее.

— Нет, нет. Никакой экзотики. Ты слишком цивилизован, чтобы быть экзотичным, и чертовски образован, мой друг... Боже, как хочется пить! А не пойти ли нам погулять? Или ты предпочитаешь поспать?

— Давай-ка встанем,— сказал он.

Она приподнялась и пошарила на ночном столике, отыскивая спички. Потом зажгла лампу и отвернула фитиль. При свете лампы ее лицо показалось ему нежным, без тени суровости, как обычно. Резкие линии у губ разгладились. Круглые глаза казались необыкновенно большими, но прекраснее всего были волосы. Днем стянутые в пучок, сейчас они свободно падали двумя густыми прядями, достигая груди. Будь они на два дюйма подлиннее, они бы полностью скрыли грудь.

Она засмущалась под его пристальным взглядом и, чтобы скрыть неловкость, наклонилась и поцеловала его. Потом быстро оделась и вышла из комнаты.

Он нашел ее на кухне. Волосы уже были стянуты узлом на затылке. Он выдернул шпильки, а она тряхнула головой несколько раз, и волосы снова рассыпались.

— Мне очень нравится так,— сказал он.

— Я приехала за тем, чтобы показать тебе вот это,— она кивнула на лежавшую на столе газету.

Его взор приковал заголовок, напечатанный крупными буквами через всю полосу:

УСПЕШНЫЙ НАЛЕТ НА ШТАБ ПОДПОЛЬЯ.

ВО ВРЕМЯ ВНЕЗАПНОГО НАЛЕТА НА РОСКОШНЫЙ ОСОБНЯК В ИОГАННЕСБУРГЕ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА НЕСКОЛЬКИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ И НЕЕВРОПЕЙЦЕВ. ПО НЕПОДТВЕРЖДЕННЫМ СВЕДЕНИЯМ, В ЧИСЛЕ АРЕСТОВАННЫХ ШЕСТЬ БЕЛЫХ И ВОСЕМНАДЦАТЬ НЕБЕЛЫХ, ПРИЧЕМ ДВОЕ ИЗ НИХ — ИНДИЙЦЫ. ПОЛИЦИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОСОБНЯК СЛУЖИЛ ШТАБОМ ПОДПОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЧТО АРЕСТОВАННЫЕ ВХОДИЛИ В СОСТАВ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Нкози оторвался от газеты. Вода на примусе закипела. Ди заварила чай.

— Что это значит? — спросил он.

— Это скверно, но не в такой мере, как им кажется. Арестованные отнюдь не входили в состав Верховного командования подпольной организации, как они его именуют. Там действительно происходило заседание, но не Центрального Совета подпольной организации. Хотя по значению своему не менее, а может быть, и более важное. Арестованные африканцы — наши друзья из Центрального Совета, люди, которые хотят, чтобы борьба сохранила свой многонациональный характер. Это была встреча с представителями других групп, имевшая целью выработать линию поведения на очередном заседании Совета.

— Значит, эти аресты на руку противникам сотрудничества внутри подпольного Совета, на руку черным расистам?

— Видимо, так.

Она разлила чай и села напротив.

— И серьезный урон понесло подполье? Ваш друг, секретарь Совета, тоже арестован?

— В тот вечер, к счастью, он не мог присутствовать.— Вдруг по телу у нее пробежала дрожь.— Не будь Давуд занят твоими делами, он тоже оказался бы там. Дело в том, что теперь нарушилась связь. Мы не знаем, дошли ли по назначению инструкции, переданные из Дурбана, и пока не будет налажена связь через новых людей, мы ничего не можем предпринять. В этом отношении у нас очень строгий порядок.

— Что же теперь делать?

Она коснулась его руки.

— Завтра ночью я должна уезжать. А тебе, мой дорогой, придется ждать, просто ждать. Но пока у нас еще есть немного времени, чтобы помечтать и побыть вместе. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. А сейчас давай поднимемся на гору и встретим там рассвет.

6

Они вернулись домой с восходом солнца. Он открыл ей свое подлинное имя и все о себе рассказал. Они постоянно ощущали присутствие Дики Наяккара, хотя поблизости его не было. Раз или два Нкози умолкал на полуслове, протянутая к Ди рука повисала в воздухе, и он оглядывался, ожидая увидеть Дики. Во время завтрака Ди, казалось, совершенно не смущал Дики Наяккар и его незримое присутствие, и это слегка раздражало Нкози.

Угадав его настроение, Ди протянула через стол руку.

— Пусть сам во всем разберется, так будет лучше для него.

— И все же...— он не закончил свою мысль.— Он слишком молод, а молодежь легко ранима.

Зато раны у них быстрее заживают, добавила она про себя, но говорить этого не стала, потому что знала, видела по его лицу, что он все понимает.

— Он будет есть?

— Будет есть и делать все, что обычно делает человек. Не беспокойся о нем. Сегодня ночью, когда он будет меня отвозить, я дам ему возможность выговориться. Доверься ему и мне.

Днем они отыскали скрытое от солнца местечко под нависшей скалой, и пока Ди читала, Нкози сделал с нее множество набросков. Он рисовал ее во весь рост, делал зарисовки отдельных деталей, например, кисти руки или ступни, уха и даже линии губ. Несколько раз рисовал глаза, но чаще всего лицо целиком; он заходил то с одной стороны, то с другой, пока не изобразил его во всех возможных ракурсах. Он остался доволен своей работой и когда закончил ее, солнце ушло далеко на запад.

Отчужденный и замкнувшийся в себе, появился Дики — впервые с тех пор, как накануне вечером Ди крикнула ему «покойной ночи». Он принес чай и печенье, поставил поднос к ногам Ди и удалился, не сказав ни слова, даже не подняв глаз.

После чая, почти перед самым заходом солнца, они спустились в широкую долину, сели возле пересохшей речки, которая петляла в горах, отыскивая выход к морю, и стали любоваться горами, высившимися по другую сторону широкой долины.

— Сколько раз я смотрела на все это прежде,— сказала она,— но по-настоящему увидела только сейчас. Наверно, благодаря твоим зарисовкам. Я словно прозрела, для меня вдруг открылась красота этих мест, да и всей страны.

— Чему учишься в северных странах, так это умению видеть. Красоту зеленой травы и молодой листвы я ощутил лишь после того, как прожил зиму в Европе. Почти три месяца земля была покрыта снегом, и деревья стояли голые, без листьев. Потом однажды на них набухли почки, и весь мир, казалось, ожил. Под окном моей комнаты росло дерево, и, когда после суровой английской зимы на нем распустились зеленые листики, мне показалось, что они исполнены ни с чем не сравнимой жизненной силы.

— Это потому, что ты художник,— сказала она.— И северные страны тут ни при чем.

— Нет. Дело в том, что надо учиться видеть. А учиться видеть и слушать легче там, где происходит резкая смена времен года. Если деревья стоят зеленые круглый год, ты привыкаешь к этому и постепенно перестаешь их замечать. Но когда не видишь зелени несколько месяцев кряду, а потом вдруг появляются зеленые листочки, это производит потрясающее впечатление. А сравнивая зеленые деревья с голыми, ты, по существу, учишься видеть.

— Значит, любовь тоже остается привычкой до той поры, пока не перестаешь любить... Не верю.

— Однако бывает и так. Но ты мыслишь упрощенно. Ведь разговор шел о том, как научиться видеть.

— Или любить.— Она наклонилась и стала разгребать сухой рыхлый песок. Потом снова заговорила тихим ласковым голосом, тщательно подбирая слова:

— Со вчерашней ночи меня не покидает чувство, которое ты испытал, когда увидел первые зеленые листья после первой зимы, проведенной в Англии. И это чувство до конца дней моих не станет привычкой. И я не желаю верить, будто люблю тебя потому, что в нашем обществе господствуют насилие и жестокость.

— Не продолжай, не надо! — сказал он быстро и ласково привлек ее к себе. Сначала она противилась, но потом уступила и прильнула к нему, хотя по-прежнему не поднимала головы. Он терпеливо ждал. Наконец, она взглянула на него и попыталась улыбнуться.

— Между «видеть» и «любить» — глубокая разница,— сказал он.

Робкая детская улыбка затрепетала на ее лице.

— Я знаю. Сама не пойму, почему вдруг я испугалась и стала нервничать.

Они молча сидели, прижавшись друг к другу, пока не растаял золотой ореол вокруг горных вершин и долина не наполнилась тьмой и прохладой. Потом они взялись за руки и стали подниматься вверх по склону.

Свет в передней и доносившиеся из кухни запахи свидетельствовали о том, что Дики Наяккар дома. Они прошли прямо в спальню; Ди с тоской думала о предстоя-

щей разлуке, и близость их на этот раз была исполнена болезненно острой чувственности. Он без конца шептал ей нежные слова; наконец она успокоилась, и ими обоими овладела тихая умиротворенность; так они и уснули, не размыкая объятий.

Во сне его вдруг обуяла тревога — ему показалось, будто ее нет рядом, тревога все нарастала, и в конце концов он проснулся. Открыл глаза и с ужасом обнаружил, что она и в самом деле исчезла. Его охватило смятение, которое несколько раньше испытала она. Поспешно натянув брюки, он выбежал из спальни.

Ди была в кухне. Она хлопотала у трех маленьких примусов, а Дики Наяккар стоял рядом и нарезал ломтиками мясо. Оба подняли глаза, когда он вбежал в кухню. И в какую-то долю секунды, прежде чем он успел облегченно вздохнуть, Ди прочла на его лице отчаяние. Он действительно любит меня, подумала она; и спокойствие, с которым она восприняла эту мысль, вызвало у нее едва уловимую удивленную улыбку.

— Все в порядке, дорогой,— быстро сказала она, и его тревога тотчас же улеглась. Мы всегда будем вместе, хотела она сказать, но в этот момент скорее почувствовала, нежели увидела смущение Дики, который изо всех сил старался не смотреть на них. Нкози стоял босиком, обнаженный до пояса, и контраст между естественным цветом тела и загримированными руками и лицом был разителен. Он даже не застегнул как следует брюки. Не удивительно, что юноша пришел в замешательство.

— Пока поспеет еда, ты можешь умыться и одеться,— сказала она, улыбнувшись ему одними глазами.

Когда Нкози скрылся за дверью, она как бы между прочим сказала Дики:

— Я его очень люблю и надеюсь, когда-нибудь мы поженимся.— Потом как ни в чем не бывало снова принялась за дело, что-то напевая вполголоса. Дики Наяккар по-прежнему стоял потупившись и никак не мог собраться с мыслями.

Ему очень хотелось уйти из дому, и, едва покончив с делами, он отправился в горы. Дики отчаянно карабкался вверх по крутому склону, словно кто-то его подгонял. Раз или два оступившись, он скатывался вниз, и тогда ему приходилось ползти на четвереньках. Измучившись, он наконец добрался до вершины и перевел дух.

Не в силах найти выход своим чувствам, он схватил увесистый камень и швырнул его в скалу. Потом стал бросать крупные осколки горных пород, испытывая мучительную боль всякий раз, как камень ударялся о скалу. Он бросал до тех пор, пока руки не заныли. Дьявольская усталость умерила его ярость, и мысли, которые он глушил в себе, стали прорываться наружу; перед его мысленным взором заплясали видения... Любимая сестра доктора, женщина из высшего класса, пусть хромая, вешается на шею черному... Позор всем нам... Примчалась, чтобы переспать с ним... А почему не Сэмми? Почему не Сэмми?.. И вдруг ему в голову пришла дикая мысль... Почему не я?.. Я ведь не черный... Потом он плакал, как ребенок, долго и безутешно.

А наплакавшись, долго лежал на земле не в силах пошевелиться, так сильно было отчаяние, которого он не мог ни выразить, ни сдержать. Он хотел отвлечься, думать о чем-нибудь другом, но его разум, скованный тоской, противился этому. Тоска давила все сильнее, ему стало казаться, будто он опускается в воду и вот уже достиг дна. Он почувствовал под собой землю, почувствовал, как ударяется об нее сердце и стал бессознательно гладить ее руками. Он попытался заключить землю в объятия, но она была слишком велика. И эта попытка, как ни странно, принесла ему успокоение. Он поднялся с земли и стал спускаться вниз. Перед тем как войти в дом, умылся под краном на улице, вытащил из кармана засаленную расческу и причесался. Затем сделал над собой усилие, и, словно преодолев препятствие, вошел в кухню.

Их там не оказалось, судя по доносившимся голосам, они сидели в большой комнате. Дики достаточно было закрыть глаза, чтобы увидеть, как она на него смотрит... Так и целует его глазами, так и целует... И снова на него нахлынула волна беспорядочных мыслей и чувств. Он быстро прошел к кухонному столу. Один из примусов горел, и на нем, на кастрюле с кипящей водой, стояла еда.

— Дики! — позвала Ди.

Дики постоял в нерешительности, потом подошел к двери и заглянул в комнату. Они сидели за маленьким столиком у окна; вместо яркой лампы мерцала свеча, разливая мягкий свет по столу и стоявшим на нем блюдам. Смутно, словно эхо в дальней комнате, в голове Дики Наяккара возникла мысль: ну прямо как в кино.

— Где ты был? — спросила она.— Мы везде тебя искали...— Тут Нкози положил свою руку ей на руку, и она замолчала.

— Я был на сторожевом посту,— ответил Дики.

— Ну, хорошо. Еда на примусе. Через час мы отправляемся.

Он прикрыл за собой дверь. И пока ел, старался заглушить звеневший у него в ушах звук их голосов.

Тихий и поникший, стоял Дики Наяккар рядом с Ди и ждал, пока она попрощается со своим возлюбленным. Потом он вез ее по горным дорогам, затем по долине и через окутанные тьмой плантации.

Когда они подъехали к селению, где был укрыт ее автомобиль, она заговорила впервые за два часа пути. И Дики Наяккар узнал голос прежней мисс Нанкху, решительный, властный, с оттенком отчужденности, который так хорошо знали все члены организации и которого кое-кто побаивался.

— Если тебя что-то мучает, скажи мне откровенно. Все мы товарищи, поэтому говори. Или ты трус, который не смеет высказать свои мысли вслух?

— Вы сестра доктора, мисс Ди,— с трудом выдавил из себя Дики Наяккар.

— Ну и что?

— И Сэмми... и все мы... любим вас, мисс Ди...

— Ну?

— Ничего!

— Ясно... Ты кончил? Так я тоже кое-что тебе скажу. Я не трусиха. Так вот, ты один из самых способных молодых людей, завтрашний вождь, ты ближайший помощник Сэмми и ты места себе не находишь потому, что индийская женщина отдается... нет, скажем более понятно для твоего глупого умишка, потому что индийская женщина спит с черным мужчиной. Мне стыдно за тебя; мне стыдно, что мы с тобой в одной организации. Ты опозорил меня в глазах человека, которого я люблю и уважаю больше всех на свете, потому что он не поражен раковой опухолью расизма. Вместо того чтобы бороться с предрассудками, ты сам в них погряз. Мы все страдаем этой отвратительной болезнью. Она поразила не только белых, но и нас. Ею заражены и черные, и индийцы и ты, и я, и вся наша организация. Боже! Представляю, какие грязные были у тебя мысли, когда ты думал о том, что я лежу со своим возлюбленным.

Второй раз за этот вечер Дики Наяккар не выдержал и заплакал как ребенок, громко и безутешно.

Ди тронула молодого человека за плечо, и он поднял заплаканное лицо.

— Хватит, пора ехать,— устало сказала она.

Он смахнул рукой слезы и заглянул ей в лицо, но было темно. Луна взошла, но в эту ночь светила очень слабо.

— Мисс... Ди,— начал он просительным тоном.

— Да?

— Вы больше не сердитесь?

— Нет, не сержусь.

— Но вы расстроены, а это еще хуже.

— Я устала, и мне предстоит долгий путь.

— Мисс Ди.

— Да?

— Я очень сожалею...

— И я тоже.

— Вы правы. Вы сказали сущую правду. Я и в самом деле так думал. Но не хотел этого. Разве я за предрассудки, мисс Ди? Честное слово, нет. Это вы правильно сказали, мы все заражены ими. Но я правда хочу от них избавиться, мисс Ди. И о том я не хотел думать. Я хочу стать таким, как вы — и как он. Но это находит, как болезнь, вы правильно говорите. Как с ней справиться, а, мисс Ди? Я в самом деле хочу этого.

— Единственный путь покончить с предрассудками — это изменить мир.

— Ну, а пока, как сделать, чтобы избавиться от таких мыслей?

— Не знаю, Дики. Не знаю. Не думаю, чтобы этого можно было достичь, не изменив общество и не передав власть в другие руки.

— Он сказал, что и тогда, возможно, нам не станет лучше. И еще он сказал, не всякая перемена к лучшему.

— Я очень устала.

Дики включил мотор, и «лэндровер» рванулся вперед.

(Окончание следует)

ЭЛЬЖБЕТА ЗЕХЕНТЕР

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ

Перевод с польского
ЛЕОНАРДА КОНДРАШЕНКО

Шахматы

Пестрые клетки полей
пешки — копны
конь
башня костела над каштанами
Село
выглядит партией шахмат
неразыгранной
великанами

Фотография

Пруд
старым фотографом был
снял тополя
и облака
ходившие в небе
стадами
Но по рассеянности
все проявил
вверх
ногами

Фильм

По улице
шел старый человек
Навстречу
шла девчонка смешно
Он смотрел на нее
как кто-то
с предыдущего сеанса
на кого-то
кто только что входит
в кино

В музее

В музее искусства двадцатого века
святые новейшей истории
десять миллионов святых
из особенной глины
обожженной
в печах крематориев

Долги

Занимаю у жизни
радости каждый день я
отвешенные порции любви
счастья
Я в неоплатных долгах
и за них
когда-нибудь пойду в заключенье
которое называется
старостью

Слова

Слово даже самое острое
станет тупым
если пустишь в ход его снова
Хочешь не хочешь
придется изобрести
устройство
для оттачивания
слова

Поэт

Он сказал
а была в том наверно и поза
что вся жизнь прозаична
как ужасная проза
И в претензиях к богу
упрекнул он его сотвореньем
что не создал он мира
стихотвореньем

■

ИМРЕ ДОБОЗИ

ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского И. САЛИМОНА

I

В о вторник меня нежданно-негаданно навестил Кальман Дешё с каким-то незнакомым офицером.

— Галлаи,— громко представился коренастый лейтенант и грузно, без приглашения опустился на стул. Мне сразу бросилась в глаза его дурная привычка время от времени сплевывать на пол.

Я очень обрадовался Дешё. Мы не виделись с ним, пожалуй, полгода, если не больше. С октября 1942 года он безвылазно торчит на фронте. За все это время его лишь два-три раза отпускали домой, да и то на короткий срок.

— Стало быть, жив, старина?

Я не сразу заметил в нем какую-то отчужденность. Он молча расхаживал по комнате, то застегивая, то расстегивая пуговицы шинели. И поворачиваясь, каждый раз задерживал взгляд на фигурке, стоявшей в углу моего письменного стола. Наконец не удержался и взял в руки вырезанного из галька аляповатого, нелепого будду, но ничто при этом не отразилось на его лице. А может, он просто его и не видел.

— Раскопал у старьевщика в хламе. Так, безделушка. Не только Востока, но, пожалуй, даже и Шорокшара не довелось ему увидеть Наверно, какой-нибудь сапожник смастерил на досуге. Но ты ведь знаешь, я чудак — купил по дешевке эту штучку, так, для забавы, от нечего делать. Только всякий раз, когда смотрю на него, он меня раздражает.

Я думал, теперь он улыбнется, и, по правде говоря, ждал этой улыбки; именно ее недоставало сейчас — его скупой, суховатой, уверенной улыбки, которая помогла бы нам сразу заполнить брешь, образовавшуюся помимо нашей воли, и продолжить с того самого места, на котором все оборвалось. Возможно, что люди остаются в нашей памяти, в конечном счете, благодаря каким-то основным своим качествам. Но нельзя не заметить того, что позволяет нам в любой миг представить себе живой облик человека. Обычно это всего лишь штрих, взгляд, жест, озаряющая лицо улыбка или просто возглас, но возглас своеобразный и неповторимый, принадлежащий именно этому человеку. В гимназии никто из нас не был так уверен в своем призвании, как Дешё. В конце каждого года на заключительном семинаре кружка самообразования он представлял такие работы, как «Галд в период создания венгерского государства», «Галд после

татаро-монгольского нашествия», «Галд в годы турецкого владычества», «Вклад Галда в освободительную войну Ракоци». За восемь лет он докопался до мельчайших подробностей истории нашего городка и изложил ее в своих удивительно умных, не по возрасту зрелых, обстоятельных и логичных сочинениях. И хотя кое-кто из нас находил, что в них недостает того, без чего история становится труднодоступным для усвоения нагромождением сведений, а именно силы творческого воображения, восемь его работ сделали свое дело — весь город был заинтересован в том, чтобы он получил диплом преподавателя истории. Ему, рано потерявшему отца, назначили стипендию и до конца учебы снабжали всяческими пособиями; черт его знает, может, даже самый неумный из отцов города питал надежду с помощью Дешё приобщиться к немеркнущей славе города Галда. «Хочу заметить,— этими назидательными словами Дешё начинал чуть ли не каждую третью или четвертую фразу,— хочу заметить, мне приходилось слышать и о других версиях, однако утверждать с достоверностью можно лишь то, о чем я взял на себя смелость доложить вам». И улыбается, скупо, с чуть заметной умной усмешкой, почти вызывающе: ну, мол, кто отважится поспорить со мной? В этой только ему присущей, внешне самоуверенной, а внутренне, думается, всегда беспокойной, тревожно-оборонительной улыбке и был весь Дешё. Я подтрунивал, издевался над его улыбкой, но вместе с тем и любил ее. Он так и не стал преподавателем истории. Вернее, диплом получил, но не успел дать ни одного урока: его сразу угнали на фронт.

— Дай стакан воды,— попросил Дешё.

Галлаи заерзал на стуле, облизывая губы:

— А чего-нибудь другого не найдется?

Я угостил их коньяком. Дешё снял шинель — в комнате стало жарко. На нем был новый, с иголочки китель, увешанный наградами: золотая и серебряная медали за храбрость, орден «Сигнум Лаудис» с мечами, Железный крест первой степени, медаль за ранение и какие-то еще медали.

— Ты что вырядился, жениться собрался?

Все-таки не верно, что у него нет фантазии. Она всегда у него была. И тогда, когда он сочинял свои педантически стройные трактаты. Весной прошлого года он приезжал на пасху в свой первый отпуск. Когда мы гуляли в Айе — загородном лесочке, ставшем городским парком (лет восемьдесят назад здесь еще бесчинствовали разбойники, нагоняя страх на едущих в Буду на базар людей и останавливая их окриком «Ай!»*, откуда парк и получил свое название), он вдруг резко оборвал мои заумные рассуждения о ходе войны.

— Перестань. Можешь болтать об этом сколько влезет в городском казино. Тебе что, не ясно? Я тоже мог бы, вероятно, качаться, подобно маятнику, по законам, неподвластным моей воле. Ответственность лежит не на мне, а на тех, кто все это затеял. Дело надо довести до конца, по приказу, а потом пусть приходит прозрение, если уж оно неотвратимо, во всей своей неумолимой жестокости. Как у того наивного солдата, ставшего обязательным и примелькавшимся героем фронтовых романов, который только в самом конце осознает, в какое подлое дело его впутали. Лишь тогда он прозревает и клянется никогда больше не допускать ничего подобного. Этот парень, как правило, завоевывает симпатии почтенной публики. Наивная неискушенность избавляет его от подозрений в соучастии и необходимости отрицать свою вину. Даже его запоздалый бунт против уже поверженного зла и насилия столь подкупает, что тревожный вопрос о том, как он поступит, если вновь одержат верх зло и насилие, становится по меньшей мере неуместным. Но я не хочу быть таким, как этот солдат... В ногу с искушением шагает позор. Нет на свете ничего страшнее... Ты ведь знаешь, как погиб мой отец. Если уж я не верю в первородный грех, то тем более не могу поверить в наивную неискушенность. Но не пойми меня превратно, ведь в этом хаосе действительно трудно разобраться! Что ни говори, со времен Трои много воды утекло. Одно могу сказать: красивые руки Елены сменила неприглядная истина. По меньшей мере столько истин, сколько воюющих сторон. Привыкшему глубоко мыслить нелегко обнажить искусство маски. Но война не только хаос. Это огонь,

---

* Стой *(венгер.)*.

способный опалить самое яркое оперение птицы. Вот мы выгрузились из вагонов в Дерехове. Не успели как следует осмотреться, как наш готовившийся к маршу батальон обстреляли с окраины деревни. Огонь был реденький — из нескольких винтовок и автоматов. Кто-то испуганно крикнул: «Партизаны!» Действительно, это были партизаны, но они, возможно, хотели только напомнить о себе. Никого даже не ранило. Но командир батальона майор Вазулаи решил поднять дух оробевшей братии и приказал провести карательную операцию против деревни. Помнишь стамбульский анекдот господина профессора Форнаи? Ты должен помнить, он рассказывал его на каждом курсе. На улочке, ведущей к Бекташским воротам, обрушился балкон и убил случайного прохожего. Судья-кади вызывает к себе хозяина дома и грозится: мол, велю повесить тебя, негодяй, из-за твоей халатности погиб ни в чем не повинный горожанин. Хозяин клянется, что он не виноват, что он еще два дня назад велел кузнецу укрепить расшатавшиеся подпорки балкона. «Ах вот как? Тогда иди с миром и пусть приведут ко мне кузнеца». Стражники тут же приводят беднягу. Кузнец не отрицает — хозяин действительно велел закрепить балкон, но дело в том, что он как раз в тот день женился и, когда снял с юной жены покровы, забыл обо всем на свете. «Но скажи, кади, разве ты стал бы думать на моем месте о чем-нибудь другом и помнить о своем служебном долге?» Обезоруженный его доводами, кади отпустил кузнеца: «Иди, добрый человек, люби свою жену, пока аллах дает тебе силы». Но стражники ворчат: «Если не кузнец, то кто же виноват?» Кади махнул рукой: «Вот еще, нашли о чем гужить: приведиге любого кузнеца...» Убогое селение это Дерехово, если б ты видел! Тридцать-сорок хат, не больше, беспорядочно разбросанных и запущенных, с огородами вдоль берега неширокой речушки. «Перекрыть пути отхода в лес,— кричал Вазулаи.— У вас в руках прекрасное оружие, ребята, вперед!» В наступающих сумерках из деревни доносились короткие очереди одиночного автомата. Затем стало тихо, партизаны отошли. Не беда, можно привести «любого кузнеца». Взбудораженные, мы брели по свекольному полю, начинавшемуся сразу за железнодорожной станцией. Как нелепо звучит: «Прекрасное оружие». Мы порой совершенно извращаем прямой смысл слов. У оружия много качеств: оно может быть современным, точным, морозостойким, скорострельным и бог знает еще каким. Но прекрасным? В каком смысле? Чтобы убивать? Один из самых хитрых приемов нашей лжи состоит в том, что мы снабжаем вещи ярлыками, которые совершенно не соответствуют их содержанию и назначению. Возле крайней хаты паслась коза — белая с черными пятнами и разбухшим выменем. Она жадно щипала желтоватую траву, не поднимая головы даже при нашем приближении. Капитан Гатшо приказал открыть огонь, когда мы были в ста пятидесяти шагах от деревни. Как раз в это время из леса выходила развернутая в редкую цепь третья рота. Внезапно окрестность огласили залпы. Из крайней хаты вышла женщина и вдруг неестественно взмахнула рукой. Кто-то за моей спиной хрипло закричал: «Зачем же в нее, вверх надо!» Женщина повалилась на порог. По утоптанной тропинке — на ее затвердевшей поверхности отпечатались высохшие следы резиновых сапог — к нам бежал начальник штаба, размахивая пистолетом. Губы его шевелились, но что он кричал, нельзя было разобрать. А сзади меж яблонь бежал, пригнувшись, мужчина, потом он плюхнулся в траву, раскинув руки и ноги, как уставший пловец на поверхности воды. Солдаты пятой роты начали бросать ручные гранаты, на некоторых хатах загорелись соломенные крыши. Жители выскакивали во двор, таща за руки детей, словно пытаясь вырвать малышей из объятий смерти. Пули, ударяясь о сухие глиняные стены, поднимали облака пыли. Из-за нее почти ничего не было видно. В моем автомате было тридцать два патрона, но казалось, будто их миллион и они никогда не кончатся. Ко мне, запыхавшись, подбежал Вазулаи и закричал прямо в ухо: «Давай, давай, Дешё, не жалей патронов!» Я вставил в автомат новый магазин. «Приведите любого кузнеца». Я стрелял. Если озверение неподвластно закону, то как оно может иметь предел! Когда мы построились в колонну у пылающих хат, Вазулаи приказал запевать песню: «Есть колодец у нас, есть колодец у нас во дворе». У последней хаты, прислонившись к стене, беспомощно сидела девочка лет семи-восьми, устремив недоуменный, ничего не понимающий взгляд в одну точку. Проходя мимо, я невольно погладил ее по головке Она покачнулась и ничком повалилась на землю. Кто убил

се? Кто из нас? Впрочем, не все ли равно. Все мы. Поверь, старина; в середине XX века в каждом из нас все еще повизгивает дикарь. Мы больше опасаемся раны, чем душевного потрясения, больше боимся физической гибели, чем нравственной смерти. Мы пели, вздымая клубы пыли, от Дерехова до самого Шишкала. Невежество рано или поздно сменяется в каждом из нас компромиссом. В каждом! Если до той поры не влепишь себе пулю в лоб... Но у меня все началось не там. Дома. И не теперь. Давно. История Галда кишмя кишит «патриотами», занимавшимися политикой ради собственного обогащения, грабителями, наделенными административной властью, карьеристами и хапугами. Чего только мне не приходилось откапывать в архиве! Но я хотел снискать благосклонность бургомистра. Всего магистрата. Всех. Кто черту не брат, тот... да ты ведь знаешь... В Дерехове я всего за какой-нибудь час понял: трусы уничтожают больше людей, чем смелые. Грусов много, и они беспрекословно повинуются. В Шишкале после четырехчасового марша мы поужинали. Ели бобовый гуляш, жир с губ стирали хлебным мякишем...

Даже в сильном возбуждении он выражал свои мысли четко и законченно. Чисто выбритый, подтянутый шагал он тогда со мной по гравию Айя, придерживая согнутой рукой эфес сабли. Встречные прохожие, взглянув на нас, могли подумать, что мы болтаем о пустяках.

Дешё прикрыл дверь в соседний кабинет.

— У Галлаи очень громкий голос,— объяснил он.

— Мне это не мешает.

— Может помешать потом. Но его нельзя винить... Во время прорыва на Дону он чуть не околел от холода. Со ступней слезла кожа. Он сбросил сапоги, обмотал ноги тряпками и, скуля от боли, брел шестьсот километров до первого поезда, на который мы смогли взобраться. В вагоне он стал ковырять в ушах, жалуясь на мучительный зуд, от которого можно сойти с ума. Мы сами были все в ужасном состоянии и не очень-то обращали на него внимание. Очнувшись от полузабытья и стуча зубами от холода, я увидел лишь, что он оцепенело таращит глаза на свою ладонь, где лежало несколько крохотных комочков, порыжевших от гноя. Прежде чем я успел шевельнуться, Галлаи выскочил из вагона и, прихрамывая, бросился бежать. Мимо станции в тот момент с грохотом мчался встречный эшелон с боеприпасами, который мы пережидали. Командир второго взвода старшина Шорки оказался проворнее меня. Он буквально выхватил лейтенанта из-под самых колес поезда. Ну скажи, разве это не абсурд? Имеет при себе оружие, стоит только пальцем шевельнуть — и все, но он счел за лучшее броситься под колеса... Галлаи влепил старшине две пощечины, снова забрался в вагон и всю ночь напролет молча ковырял в ушах. Мне хотелось говорить о другом, но сейчас именно это не выходит из головы. Мы боялись уснуть. На следующее утро, когда поезд уже спускался вниз по южному склону Карпат, Галлаи сказал ошарашенному Шорки: «Будь она проклята, эта война! Вслед за трофейными иконами все свои пожитки выброшу к черту». Старшина даже глаз на него не поднял. Угрюмо и зло Шорки смотрел на проплывавшие мимо сосновые леса. Лишь у Мукачева он оторвал горящий взгляд от ландшафта и ответил с выражением испуга на вороватом лице: «Этого мы уже никогда не увидим». Но это было давно. Полтора года назад. С тех пор...

Дешё умолк, отчужденно посмотрел на меня.

— Не мог бы ты помочь мне? — быстро спросил он.— Вернее, не мне одному.

Галлаи вдруг впал в ярость и разразился матерной бранью.

— Я? Вам?

— Три дня назад, 5 ноября, мне вручили повестку, обязав явиться на призывной пункт. Но я плевал на все и чувствовал себя в полной безопасности — война для меня давно закончилась. Наша бронетанковая бригада, оснащенная танками «Ансальдо», не успела дойти до фронта, как под Коломыей русские прямым попаданием разворотили мою жалкую посудинку, и, поскольку я сидел в ней, мне раздробило левое колено. Семь месяцев провалялся я во втором гарнизонном госпитале, где меня кое-как подлатали. Там я получил извещение от командования бригады, что из прапорщика произведен в лейтенанты, а несколько недель спустя мне прислали еще более ценный документ, согласно которому из-за полной непригодности к службе по

состоянию здоровья меня навсегда увольняли из армии. Этот демобилизационный листок я сразу же предъявил офицеру призывного пункта. Пусть посмотрит и отпустит меня с миром. Но старший лейтенант с нилашистской повязкой на рукаве отодвинул бумагу в сторону. «Брат лейтенант,— коротко объяснил он,— все демобилизационные документы мы будем пересматривать, а пока приготовьтесь к тому, что мы в ближайшее время вас призовем». Пес рыжий ему брат! Нога моя, к сожалению, зажила, только к непогоде дает о себе знать, ноет. Если меня пошлют на переосвидетельствование, то, несомненно, признают годным. Три дня подряд я жму на все педали, чтобы под любым предлогом получить освобождение, но предприятие, где я служу,— не военный завод, а это в конечном счете означает, что без моей гражданской деятельности можно обойтись. Я попал в дурацкое положение, причем совсем неожиданно. Надо выбирать: либо стать участником последнего, а значит, самого безобразного акта войны и отдаться во власть дьявола, либо попробовать укрыться от ненастья, ступив на стезю дезертира.

— У меня и своих бед по горло,— ответил я Дешё.— Меня тоже призывают.

— И только-то?

— А разве этого мало?

Он сунул руку в карман и вынул оттуда сложенный лист бумаги.

— Что это?

— Докладная записка. Читай. Рассказывать дольше. Майор Зёргё, который составлял ее, и мне дал один экземпляр.

Докладная была сравнительно немногословной. «14 октября роты третьего батальона согласно приказу расположились в Шаломхеде между железнодорожной станцией и школой, заняв по фронту 300—400 метров. 15 октября, после объявления регентом перемирия, батальон получил приказ сосредоточиться на сборном пункте, однако спустя шесть часов он был отменен командиром батальона по указанию вышестоящего командования. Об отмене приказа второй роте якобы сообщить не успели, что единодушно подтверждают офицеры, младшие командиры и солдаты роты. Узнав, что старший лейтенант Дешё по-прежнему держит роту на исходных позициях, командир батальона уже к вечеру приказал через посыльного отвести роту. Старший лейтенант Дешё, учитывая напряженную обстановку, отказался выполнить устный приказ и потребовал письменное распоряжение. Он мотивировал это тем, что решение, принятое главой государства, может повлечь за собой вторжение немцев, и он в этом случае не может нести ответственность за небоеготовность подразделения. Письменного распоряжения командира батальона не последовало, ибо остальные роты не нуждались в нем. Не удалось также с полной достоверностью установить, кому вернувшийся в штаб посыльный передал просьбу Дешё. (К тому времени командир батальона со своим заместителем и двумя офицерами, приняв по собственной инициативе совершенно правильное решение, выехал на машине в населенный пункт Иртай и связался с командиром расквартированной там немецкой дивизии.) Так на рассвете следующего дня произошел инцидент. 174-е подразделение германских инженерных войск 16 октября в 3 часа 48 минут достигло района расположения второй роты. Его командир майор В. Туле приказал старшему лейтенанту Дешё немедленно освободить школу, в которой была расквартирована его рота. Дешё не подчинился приказу. Майор Туле, находясь в состоянии крайней усталости и раздражения, предупредил старшего лейтенанта Дешё, что он сначала разоружит, а затем палками выгонит роту из деревни. В пылу ссоры старший лейтенант Дешё, неправильно истолковав жест немецкого союзника, приказал открыть огонь прежде, чем со стороны немцев последовал хотя бы один предупреждающий выстрел. В прискорбной, происшедшей по недоразумению перестрелке, в ходе которой инженерная часть, отстреливаясь, отступила, были убиты сержант Х. Ланге, рядовые К. Визер и Л. Гернхорст, девять человек получили ранения».

И тут Галлаи членораздельно изложил то, что выражал прежде бранью.

— Я же говорил,— горячо начал он,— надо было врать Мол, получили по телефону приказ из штаба. Кто именно приказал, не поняли — плохая слышимость. Пусть бы искали. А теперь нам не отвертеться. Говорить правду — глупо. Был у нас на соседней улице лавочник, еврей, так он любил повторять, что правда — невыгодный товар,

слишком дорого обходится. Да и на кой лес она нужна. С тех пор как я топчу землю ногами, всякий, кто требовал от меня правды, хотел услышать иную, свою правду. Ну, а если ты червь, то скакать и не думай. Все мы жалкие черви, кишащие в грязи и дерьме, только порой забываем об этом. И ты в том числе, господин старший лейтенант. Разве все вокруг не грязный обман? Черви с головой человека — и жизнь червячья. А очутившись в дурацкой ловушке, пытаемся еще рассуждать.

Дешё не обращал на него внимания. Он пристально смотрел на меня.

— Поражаюсь,— произнес я.— И как тебя угораздило?

Я солгал, ничего похожего на изумление я не испытывал. Меня обуревало скорее раздражение, смешанное с завистью: все, что ни делал Дешё, все его «за» и «против» всегда имеют свою логику, и эта логика неизменно влечет за собой действие. А я? Кляну всех подряд, включая самого себя, но на большее не способен.

— В таких случаях человеку долго размышлять не приходится,— ответил Дешё.— Обстановка ставит перед ним вопрос ребром, и он должен ответить «да» или «нет»! Третьего пути я не признаю и презираю его.

Галлаи не унимался.

— Не обижайся,— продолжал он,— но ты совершил величайшую глупость, упомянув о своих убеждениях. Я заметил, как господин майор Зёргё пришел в бешенство от этого единственного слова. Если б его назвали ослом, он проявил бы больше самообладания. Да это и понятно: среди проституток нелепо хвастаться целомудрием. К тому же трудно придумать что-нибудь более несовместимое, чем официальный протокол и личное убеждение. Служебная субординация всего лишь деликатное определение той рабской зависимости, которая заставляет тебя предать даже родную мать. Если не сегодня, так завтра. Я вот только удивляюсь, почему нас отпустили из батальона с оружием. Надо бы отобрать даже перочинные ножи, чтобы мы, чего доброго, не вырезали все дивизионное начальство. Давайте покурим, господин старший лейтенант. Шорки наворовал в Гёдёллё сигарет, хоть завались ими. Да и что, черт возьми, может с нами случиться? Вместо давно заслуженной русской пули влепят немецкую. Вот и вся разница. Так что нечего и голову ломать.

Дешё потянулся за докладной запиской. Пальцы его вдруг сжались в кулак, словно он собирался скомкать или разорвать бумагу. Но, передумав, он аккуратно сложил ее.

— Зёргё упомянул о справедливости,— сказал он в раздумье.— Мол, постарался изложить все так, чтобы по возможности нас не долбанули по башке. Он употребил именно это выражение, я хорошо помню: «Не долбанули по башке» — и сочувственно покусывал пожелтевшие от никотина губы. Его идиотское сочувствие раздражало меня, и я даже не подумал о благодарности. Я знал его еще с Донского фронта, эту земноводную скотину. Бывало, как только установится затишье, он кричит, суетится, всех тормошит, а чуть обстановка обостряется — скисает, забьется куда-нибудь в угол, словом, пользы тогда от него ни на грош. Когда началось всеобщее отступление, бежал в одних подштанниках километров пятнадцать — перед тем как пуститься наутек, он сидел в уборной. Брюки нес за ним следом денщик. Майор семенил впереди в белоснежном белье и повторял скороговоркой: «Все образуется, ребята, не унывайте!» А позади громко взывал денщик: «Господин майор, вот ваши брюки!» Прежде чем идти в штаб с докладной, Зёргё не преминул дать мне совет: «Жаль, конечно, нашего регента, его высокопревосходительство,— сказал он, поднося палец к виску,— влип в эту войну, а ведь он прекрасно знал, что против ветра нельзя мочиться. Поэтому сваливай все на него, говори, что верил ему,— может быть, и спасешь свою шкуру. А если не удастся, мне будет жаль тебя — ты замечательный офицер, жаль отдавать на съедение червям такого человека».

— Извини, но я решительно отказываюсь понимать. Неужто ты и в самом деле допускал мысль, что одним-единственным приказом можно повернуть оружие в противоположную сторону? Абсурд... Те же самые генералы и офицеры, которые вели армию против русских, не способны повести ее против немцев.

— Все это не так просто. Ведь румыны...

— Это подтверждают факты. Со времен Франца-Иосифа ничего не изменилось. Все, у кого есть ранги,— чиновники, службисты. В том числе и наши офицеры... При-

сягнут любому режиму, только бы им оставили звания и платили жалованье. С какой непостижимой легкостью, тихо и мирно, не встретив никакого сопротивления, захватил власть Салаши.

— Неправда! А подполковник Мерени..

— Это единственное имя, которое ты можешь назвать!

— Я имею в виду человека, а не имя. Он не один! Но Мерени я знал. По-моему, это самый честный офицер, какого я когда-либо встречал. Высокообразованный, опытный, необыкновенно смелый пехотный офицер, его батальон всегда проводил операции с наименьшими потерями. Только это помогало ему избежать — и не раз! — ареста или по меньшей мере понижения в звании. Во время отступления с Дона на мосту в деревне Габрово какой-то штабной майор нагайкой поворачивал обратно бегущих солдат. Хлестал их прямо по лицу, не по спине. Подполковник Мерени, подъехав к мосту, вырвал из рук майора нагайку и, яростно избивая, погнал его под огонь русских минометов. Ну-ка, сам попробуй, мол, останови русских, черт бы тебя побрал! Он гнал майора все дальше по заснеженному, развороченному разрывами мин и снарядов полю. В конце концов обоих ранило осколками. У Мерени было шесть ранений. И каждый раз обходилось благополучно. Слегка поцарапает его осколок или пуля, и все. Но вскоре пришел конец его везению... И знаешь, при каких обстоятельствах? 20 августа в батальон Мерени прибыл отряд нилашистов, чтобы заставить присягнуть Салаши. Мерени не стал спорить. Выстроил батальон, надел все семнадцать орденов. Я, сказал он, венгр и не желаю служить холую Гитлера. Потом застрелил командира отряда и, прежде чем успели ему помешать, пустил себе пулю в лоб на глазах у всего батальона.

— Он тоже верил регенту?

— Не язви.

— Но сам-то ты верил?

— Верил не верил, что из того? Я никогда над этим не задумывался. Те сферы, где вершатся судьбы страны, я всегда принимал такими, как они есть, и не пытался в них проникнуть. Я не настолько плохой историк, чтобы не знать непреложную истину: число причастных к сильным мира сего определяется не количеством карьеристов, рвущихся к власти. А принадлежать к разношерстной толпе таких же, как и я, но выдающих себя за людей осведомленных и все знающих, чтобы хоть как-то прикрыть собственное ничтожество, у меня нет никакого желания. Для утешения я, собственно, мог бы позволить себе с яростью или сарказмом критиковать все и вся. Но зачем? Это тоже пижонство, если ты лишен права принимать решения или хотя бы влиять на них... Так о чем ты спрашивал? Нет, личность регента не имеет никакого отношения к стычке в Шаломхеде. Я считал логичным, что выход из войны, когда существует фронт и идут бои, не означает гражданского нейтралитета. Это может быть только вооруженный нейтралитет. А значит, лица, принявшие решение, заранее должны предусмотреть возможность вооруженного выступления против немцев для достижения перемирия.

— На стороне русских?

— Нет, об этом не было речи.

— Как же не было? Будь логичным до конца: если бы мы выступили против немцев, разве могли бы мы действовать обособленно от тех, кто уже давно противостоит им. Об этом я кое-что слышал от Лаци Сентмартони, служившего офицером лейб-гвардии. В ходе переговоров речь будто бы шла о необходимости выступления венгерских войск против немцев.

— Об этом я не знаю. И никто толком не знает. Да я и не верю... Все мои сослуживцы-офицеры, кто хоть немного шевелит мозгами, начинают свыкаться с мыслью о поражении, но не с мыслью оказаться вместе с русскими.

— А дальше что? Продолжать действовать на свой страх и риск?

— Нет. Я надеялся, что поступят распоряжения, ждал приказа о сосредоточении войск, незамедлительной организации обороны городов и ключевых позиций, о взятии под контроль венгерскими войсками важнейших коммуникаций... Ждал действий, которые надо было предпринять в данной ситуации, с учетом азбучных истин военной науки. Возможно, дело дошло бы до боевых действий. Немцы пока еще не были обес-

кровлены. Возможно также, что чересчур прогермански настроенных офицеров пришлось бы призвать к порядку силой оружия. Зато в этих боях с немцами — в чем я все больше убеждался по настроениям своих солдат — возродилась бы физически и морально разваливающаяся армия.

Галлаи, смакуя, глушил коньяк.

— Шорки стрелял из других побуждений! — со злостью процедил он.— Ты это прекрасно знаешь.

Дешё пожал плечами.

— Но все же стрелял. И в этом все дело. Причем первым. Я еще не отдал приказа открыть огонь, а он уже высадил весь магазин из своего автомата, затем выхватил пистолет и, когда там тоже кончились патроны, со всей силой швырнул его в окно соседнего дома. С ним творилось что-то невероятное... За два года я не раз видел, как он выполняет приказ. Но никогда еще не видел его в таком исступлении, таким разъяренным и неистовым...

— Все дело в том, что он уже дошел до ручки!

— Я очень хорошо помню,— продолжал Дешё, пропустив эту реплику мимо ушей,— когда рота бежала очертя голову, словно охваченное паникой стадо, отступая от Шепетовки, и пыталась взобраться на немецкие грузовики. Немцы коваными каблуками сапог сбивали руки цеплявшихся с бортов машин. Досталось и ему — с его окоченевших пальцев были сорваны ногти. Он рухнул в снег и сосал их от боли. Затем поднялся, сплюнул, мол, все равно всем в машине места не хватит. Но в ту пору рота находилась еще на русской территории. А перевалив через Карпаты, он будто переступил какой-то рубикон в своих душевных переживаниях. Шорки без всякой видимой причины вдруг начал проклинать немцев. Этот неотесанный мужик-тугодум по-своему воспринимает мир. Родина длительное время, особенно на чужбине, служила для него не чем иным, как олицетворением покорности и беспрекословного подчинения. Но когда отступление продолжалось и по родной земле, каждый шаг отзывался болью в его душе. Он физически страдал от того, что приходилось уступать землю, вот эту борозду, которую он ценил больше, чем десяток городов. Постепенно он выбросил из своего вещевого мешка все содержимое и горсть за горстью наполнял его землей. Собирал любую попадавшуюся по дороге землю: подзол, нирский песок, бихарскую глину, куншагский чернозем и невесть еще какую... В его вещевом мешке смешалась земля половины страны. Около Цегледа, где рота трое суток мокла под проливным дождем, вся его коллекция превратилась в грязь, а затем ссохлась в сплошной ком. Получился своеобразный макет земного шара, нечто вроде глобуса, в котором смешалась в сплошную массу без всяких разграничений истерзанная родная земля. У Шорки вряд ли могла возникнуть такая ассоциация, о символах он не имеет ни малейшего понятия — знай, прет на спине землю и...

Время стремительно бежало. Уже перевалило за десять.

— Извини, может, хватит о трогательной истории со старшиной. Пора подумать и о тебе.

— Он тоже здесь,— сказал Дешё.

— Здесь? Где?

— В вестибюле. Оставаться в роте ему нельзя, потому что...

Галлаи допил коньяк и со звоном поставил пустую бутылку на поднос.

— У кого рыльце в пушку, все здесь,— произнес он, осклабившись и брызжа слюной. По всей вероятности, этот красномордый был до армии мясником или грузчиком.— Говори прямо, господин старший лейтенант, сразу и говори: мол, со мной здесь вся банда.

— Но все-таки... сколько же вас?

— Четверо...— ответил Галлаи. Мне хотелось одернуть его, сделать замечание, чтобы он не плевал на ковер.— Четвертый — Тарба,— продолжал он,— командир пулеметного отделения. Он тоже коллекционер; раз уж все выкладываем начистоту — нечего стесняться! Нас четверых вызвали на допрос — значит, вместе подохнем или вместе смоемся, другого выхода нет. Тарба первоклассный пулеметчик, я видел, как он короткой очередью скосил бегущую лису. Готов поцеловать в зад любого, кто сможет сделать то же самое. А когда он изображает однорукого кларнетиста, господин стар-

ший лейтенант, со смеху умрешь. Особенно если в ударе. Спрячет левую руку, рукав кителя болтается пустой — ни дать ни взять инвалид; раскачиваясь, играет какую-нибудь песню, затем высунет палец из ширинки, держит им кларнет, а в правую руку возьмет шапку и начнет собирать подаяние по кругу. Бесподобно! Все хохочут до упаду. Но такое настроение у него бывает редко. Все остальное время угрюм и нелюдим. Спит всегда один, никто не осмеливается лечь рядом. Да и не удивительно. Ему бы лучше всего погибнуть, но таких и пуля не берет. Когда работал каменщиком, его избрали доверенным лицом в профсоюзе, потом попал под надзор полиции и был отправлен на фронт; там начал болтать сдуру: дескать, русские тоже люди, у большевиков, мол, все равны, нет ни господ, ни слуг и тому подобное. А какое там нет, черта с два: где есть начальник, там и подневольный, как же иначе — один приказывает, а другой исполняет да помалкивает. Но этот болван продолжал свое, пока не перевели в карательный отряд по борьбе с партизанами, где его заставляли вешать схваченных партизан и других арестованных, чтобы он мог доказать свою лояльность. Сначала Тарба ни в какую — не хотел да и все тут. Говорят, его штыками подгоняли к виселице, однажды так пырнули в зад, что кровь брызнула через штаны. Не выдержал издевательств, сам повесился на чердаке дома, в самый последний момент вынули из петли. Но потом сломался парень. Великое дело дисциплина, особенно на фронте — либо совесть свою сбереги, либо постылую жизнь. Вот тут-то и начал Тарба вешать, лютым зверем стал, когда его обратно к нам откомандировали, просто подойти страшно. Так вот этот Тарба носит в своем вещевом мешке небольшой узел, а зачем — черт его знает. Как вспомню, мурашки бегают по спине. В нем он прячет тряпки — лоскутки шинелей, рубашек, юбок, подштанников, словом, у кого что было на теле в последний раз, всего сорок три лоскутка. Говорят, будто именно столько русских повесил он по принуждению. Так вот он-то почему стрелял? Кому хотел отомстить? Разве только своей постылой, пропащей жизни. Шорки-то я знаю, сам слышал — тебе не довелось слышать, господин старший лейтенант,— как на рассвете того дня он выл, словно пес: «Зачем же жрали, свиньи, коли желудок не способен переварить, а теперь вместе с остальной блевотиной и нас изрыгнете из ненасытной утробы!» Это он немцам кричал. Ты не придал этому значения, да тебе и не до того тогда было, но я наблюдал за ним, это именно он кричал. В нем взбунтовался обманутый наемник, вот где собака зарыта! Не войну он ненавидит, а поражение. Ненавидит слабость немцев, выпустивших из рук то, что удалось заграбастать. Ибо это означало, что балаган закрывается, что ему, способному у ведьмы стащить помело, больше не удастся поживиться на чужой счет. Как-то раз чуть не всю роту одел в дамское белье, заменив износившиеся подштанники. Покупая в одном магазине у торговца шнурки для ботинок, запихнул под шинель пять дюжин шелковых трико.

Мне стало не по себе. Это действительно шайка, за исключением Дешё, да еще какая шайка! И мое место с ними? Или я тоже стал бы таким, если бы санитарный поезд не привез меня назад из-под Коломыи?

— Не стану выдавать звериную ярость Шорки за вполне осознанный бунт,— произнес Дешё.— Я помню, что мои солдаты потому взялись за оружие, чтобы наконец бросить его совсем и пойти по домам. Не отрицаю и того, что многих моих сослуживцев-офицеров в батальоне больше страшила неопределенность новой обстановки, чем продолжение привычного зла. Но было там и другое. Пойми, на рассвете того дня... пожалуй впервые за всю войну, мы были действительно венгерскими солдатами Ей-богу, если бы ты был с нами, то поступил бы так же. Хоть в течение пяти минут, но наконец-то дело касалось нас самих, нашей Венгрии... За какие-то считанные минуты мы накопили огромный моральный капитал. Правда, так же быстро и растранжирили его. Какой яркий огонь превратился в серый пепел! А если бы он заполыхал кругом... Молчи, я знаю, что ты хочешь сказать. И все-таки не раскаиваюсь. Ведь в финале мы остались одни, в ужасающем одиночестве. Но два или три дня... да, примерно до восемнадцатого числа, мы были тем живым примером, которому хотели, но не смели последовать многие. Только тогда — уже после восемнадцатого — атмосфера вокруг нас стала разряжаться, когда немцы получили полную гарантию, что все останется по-старому, что мы и впредь будем идти на смерть по чужому приказу, упустив благоприятную возможность, представившуюся нам.

Мне трудно было следить за ходом его мыслей. Да и не хотелось. Слово «авантюра» вертелось у меня на языке, но произнести его я не решался, хотя все это было действительно не чем иным, как внешне привлекательной, но прискорбно бессмысленной авантюрой: одна рота, одна-единственная взбунтовавшаяся рота, зажатая в кольце безучастных батальонов, полков, дивизий, открывает огонь по немцам. Что это? Смертельный гусарский аллюр или безумие? Меня уже начало раздражать все это. А еще больше то, что за этим вырисовывалось,— фантастические обобщения Дешё: решать венгерскую проблему с помощью венгерской армии, игнорируя ту все определяющую и все решающую реальность, которую представляла собой смертельная схватка двух противоборствующих гигантов, происходившая теперь уже здесь, на нашей земле.

— Как у тебя могла возникнуть такая мысль, даже на одну минуту? Два гигантских жернова перетрут нас в порошок... Или немцы, или русские, другого выбора нет.

— Мог бы быть.

— Нет! Разве что теоретически... впрочем, нет, это совершенно нереально! Я тоже ненавижу немцев...

— Пустая фраза. Пока ты не станешь стрелять в них, это просто сотрясение воздуха.

— Но я не уверен, что русские будут за нас...

— Послушай, на рассвете 16 ноября я напомнил своим солдатам о первом сражении роты. Через два дня после Дерехова мы попали под сильный обстрел. Получив приказ обеспечивать фланг, мы заняли удобную позицию, расположенную поначалу довольно далеко от направления главного удара дивизии, готовящейся к наступлению. Мои люди беспечно грелись на солнышке, я тихонько декламировал стих Януса Паннониуса и грыз какой-то стебелек. В моей памяти сохранилось все до мельчайших подробностей. Ведь только так говорят, что жизнь единое целое, а на самом деле она вся соткана из мелочей, непохожих и противоречивых... В результате внезапного контрудара линия фронта повернулась, и моя рота подверглась сильнейшему обстрелу. Все произошло так быстро, что я не успел даже испытать чувство страха. С поразительным спокойствием я командовал своей ротой, отвечая на огонь русских. Атаку нам удалось отбить. После нее мы насчитали одиннадцать убитых и семнадцать тяжелораненых. За каких-нибудь несколько минут четверти роты как не бывало. Нас отвели в тыл на отдых. Неподалеку от перевязочного пункта мы уселись на валявшихся бревнах, а в палатке хрипел и стонал молодой солдат моей роты. Словно ему наступили на горло. Всем хотелось уйти куда-нибудь подальше, но никто не осмеливался сделать это первым, и все остались на месте. Кто-то сказал, не помню уже кто: «Здесь всюду лишь стоны венгерские». Я промолчал. Смотрел на странные по форме стога, на березы, на непривычные крыши домов, на буро-серую землю, мысленно повторяя, как и остальные, гнетущую фразу: «Здесь всюду лишь стоны венгерские». Из палатки выбежал санитар, вытирая о передник забрызганные кровью руки. «Господин командир роты, он хочет с вами поговорить, что-то передать родным». Когда я вошел, в палатке уже было тихо. Вот, стало быть, и все. Стрельба, стоны, тишина. В Шаломхеде, когда подразделение майора Туле, изготовившись к бою, угрожающе приближалось к школе, я начал кричать: «Ребята, здесь всюду не только стоны венгерские... земля, дома, деревья — все...» Я тоже знаю, мне не нужно доказывать, что драма, если в ней нет настоящих героев, превращается в фарс. В конечном счете вместо серьезного выступления у нас получилась драка из-за ночлежки. Не себя защищали от немцев, а соломенные матрацы.

— Но а как же...

— Ты видишь только то, что было. А я вижу и то, что могло бы произойти.

— Но не произошло! Неужели ты до сих пор не хочешь этого понять?

Он улыбнулся, впервые в тот день.

— Recrudescunt diutina inclytae gentis Hungariae vulnera *,— тихо произнес он.— Старина, мы никогда не умели побеждать. Только дрались и умирали. В освободительной борьбе куруцев Брезанское воззвание Ракоци — это еще не вся правда. Поражение под Майтенем тоже нельзя сбрасывать со счетов. В революции сорок восьмого года был не только гимн «Вставай, мадьяр», но и капитуляция под Вилагошем. На это нас и сей-

---

* «Обнажились старые раны благородной венгерской нации» *(лат.)*.— начальные слова манифеста Ракоци.

час бы хватило. И если бы удалось, вместо позора осталась бы жить еще одна красивая легенда.

Спорить с ним было бессмысленно. Мне вспомнился самый первый день учебы в гимназии. После торжественной речи классного руководителя господина Мандоки каждый из нас должен был встать и рассказать, кто он такой, чем занимался до сих пор. Много было смеху тогда, ведь никто не готовился, а так, сразу нелегко собраться с мыслями. Наговорили мы всякой чепухи. Когда очередь дошла до Дешё, классный руководитель сказал ему: «Рассказывай все по порядку». Дешё — худой, в темно-синем костюме — на мгновение оторопел; волосы его лоснились, глаза были широко открыты. Он сразу понял, чего от него хотят. Улыбнулся леденящей улыбкой мертвеца и без единой запинки выпалил: «Я Кальман Дешё, сюда мы переехали из Варшаня, там мой отец преподавал в хуторской школе. Но его уже нет в живых. Он умер. Покончил с собой. Все, что мне известно об этом, я узнал от матери. Пока могла говорить, она много рассказывала мне. Мой отец был добрый человек, даже слишком добрый. Он всегда всем хотел добра и неизменно славословил добродетель. Поначалу это нравилось, образованный человек как бы очищал всех от повседневной грязи, его даже подбадривали: говори, мол, нам все, не щади. Но однажды мой отец, играя в кегли в корчме Резинга, возьми и скажи, что все люди по природе своей добры, в этом отношении, например, помещик Ашкалич ничем не отличается от свинопаса Чосра Киша. Может, людям и в самом деле было интересно, а может, просто хотели подтрунить, заставить его продолжать. Так или иначе, но это привело к несчастью. Продолжая, отец сказал, что когда-нибудь добродетель настолько овладеет всеми помыслами людей, что они поистине станут братьями. У кого нет ничего, того не будет обуревать желание силой отобрать что-то у другого; а у кого все есть, тот не станет удерживать свое силой. Возможно, отец слишком увлекся, стал фантазировать, не знаю. Но господин Ашкалич на следующий день пригласил его к себе. У него на обтянутом шелком стуле уже сидел Чосра Киш, грязный и вонючий, в таком виде, в каком он пасет хозяйских свиней. Помещик спросил: «Ну, брат мой, Чосра Киш, неужто мы с тобой и впрямь ровня?» У свинопаса от испуга пересохло в горле. Только руками всплеснул — дескать, где там, конечно, нет! Но мой отец опять за свое, мол, всех людей природа одинаково наделила добротой. Помещик обозлился: «Вы, господин учитель. дурачок». После того эта кличка так и осталась за моим отцом: учитель-дурачок. Меня тоже стали звать сыном учителя-дурачка. Как-то я пришел домой весь в слезах, но отец сказал, чтобы я не плакал, убедил меня в том, что мне плакать не надо. Я дал ему слово и с тех пор ни одной слезы не проронил. Но когда отца и на хуторе стали называть учителем-дурачком, когда он услышал, что и свинопас Чосра Киш, злорадствуя, обзывает его за спиной так же, он почему-то не смог больше терпеть. Взял у кого-то старый револьвер, ушел на пасеку и застрелился. Это ему удалось только с третьего раза, два патрона дали осечку, потом их нашли вместе с пулями возле деревянной кровати. Я обнаружил там отца, когда пошел звать его обедать. На лбу у него зияла красная дыра с обожженными краями. Через два месяца мы переехали жить сюда, на улицу Гестенеш. Мама получает пенсию — шестьдесят пенге и шьет. Она стала шить еще на хуторе, но с заказчиками всегда веду переговоры я, она не может говорить. Врач сказал, что у нее был инсульт, который дал осложнение, и она лишилась дара речи. До сих пор я имел отличные отметки по всем предметам, хочу быть отличником и впредь. Разрешите сесть, господин классный руководитель?» Леденящая улыбка, казалось, застыла на его лице, он продолжал улыбаться и тогда, когда сел. Мандоки не принадлежал к числу дурных людей, и вряд ли он сам додумался заставить Дешё рассказать все. Но ему стало стыдно больше, чем любому из нас, и он тотчас вышел из класса. Дешё можно было заставить рассказать все что угодно, он умеет быть до конца искренним, не пощадит и самого себя. Но разубедить его в том, что крепко засело ему в голову, невозможно.

Часы показывали одиннадцать. Может быть, дома меня уже ждет повестка. Не сегодня, так завтра она придет обязательно. Ровно в двенадцать совещание в кабинете генерального директора.

— Послушай, Кальман,— сказал я тихо, чтобы не услышал Галлаи,— лично тебя я знаю, ты мой друг, но пойми...

Он встал.

— Речь может идти только обо всех.

— Ну куда же ты, подожди! Я только...

— Я ничего не требовал от тебя. Просто спросил, сможешь ли ты помочь. Но только нам всем, конечно. Это дело... тянется третью неделю. Вначале казалось, все обойдется благополучно, сочтут за недоразумение. В неразберихе, начавшейся после 15 октября, случались происшествия и похлеще. Но потом немцы раздули кадило. Завтра в девять часов утра мы должны предстать перед военным трибуналом. Сначала я думал было подчиниться и рассказать все, вот как тебе. Но... зачем? Оправдываться в том, что осмелился быть венгром, перед теми, кто по указке немцев будет судить меня? Нет. Довольно. И забочусь я не только о себе, нас четверо... Предписано было доставить нас в столицу безоружными, под конвоем. Но командир полка, который любит меня, поскольку я единственный в полку офицер, удостоенный золотой медали за храбрость, вчера вечером отправил нас в путь одних. Сказал: «Кутните в последний раз». Понимаешь? Яснее ясного: «...в последний раз». Ну что ж... пускать себе пулю в лоб я не собираюсь. Служить больше не буду, да и кому? И ради чего? Лучше уйти. Если переживу войну, может, и мне найдется где-нибудь место учителя, ну, допустим, хотя бы в начальной школе. Мне безразлично. Если, конечно... в этой стране будут еще преподавать венгерскую историю.

Я не слушал его и краем глаза следил за Галлаи. Хотелось бы взглянуть и на двух других, но Дешё наверняка истолкует неправильно, если я выйду сейчас из кабинета. Глупо было и дальше играть в прятки. Шайка? Ну и пусть, тем лучше. От обстановки в такой же мере зависят применяемые средства, как от погоды — одежда, которую мы носим. Честным путем в такое время далеко не уйдешь. Именно к таким, как этот Галлаи, толстокожим, отпетым забулдыгам мне и нужно примкнуть, среди них куда безопаснее, чем среди рыцарей короля Артура.

Галлаи расплылся в самодовольной улыбке.

— Я последовал совету господина командира полка,— прогундосил он, потирая покрывшийся испариной нос.— А господин старший лейтенант отказался, но что поделаешь, такой уж он. За два года я ни разу не видел, чтобы он блевал — превосходный офицер, самый что ни на есть, но какой-то странный человек, не снизойдет, к примеру, даже к проституткам. Я, прошу прощения, бывал в «Мезон Фрид», знаешь, что на улице Мадьяр, даже две бутылки коньяку прихватил, обожаю, когда женщина опьянеет и первая впивается губами. Но мне не повезло, те очаровательные шлюхи пытались укрыть какую-то молоденькую еврейку — она была прямо-таки превосходна. Я только мельком успел взглянуть на нее, да и то слюнки потекли. Но тут нагрянули нилашисты и разогнали все дамское общество. Мне тоже досталось пряжкой по голове, вот шишка на макушке, черт их побери. Меня-то за что, разве я шлюха или еврейка?

— Почему ты остановил свой выбор именно на мне? — сам не зная зачем, спросил я у Дешё, давно уже мучительно думая о том, где бы нам всем понадежнее укрыться.

— Ты преуспел больше, чем любой из нас,— ответил Дешё.— А еще я вспомнил пятнадцатое марта, помнишь: ты так смело и честно говорил в казино обо всем, что творилось вокруг, как никто другой.

Он не знал, да и не мог знать, что нанес мне двойной удар — сразу по двум уязвимым местам. Летом прошлого года меня назначили управляющим предприятия, мне тогда и двадцати четырех не исполнилось. Весь Галд был взбудоражен, в казино устроили ужин в мою честь. «Блестящая карьера», «Самый молодой и столь высокопоставленный чиновник» и так далее, все в том же духе. Пили и ели там на мои шестьсот пенге. В какой-то момент меня так и подмывало, к тому же я еще изрядно выпил, выложить все начистоту: мол, эх вы, глупцы, это же просто случай помог мне — старого управляющего Конкоя только что выгнали согласно закону о евреях, когда я, поправившись после ранения, в военной форме, при сабле, с крестом на груди, явился к генеральному директору с просьбой предоставить мне работу. Но я не Дешё, у меня духу не хватит сказать нечто подобное. Конъюнктурная карьера, вот и все, и, пожалуй, теперь мне так и не придется узнать, смог ли бы я достичь столь высокого положения благодаря своим личным качествам. Пятнадцатое марта тоже не лучше. День был тревожный и невыносимо тягостный, регента чуть ли не в принудительном порядке обязали

явиться к Гитлеру. Нервы у всех были до предела напряжены. Вечером в казино бургомистр хриплым голосом, робко, глотая слезы, намекнул на сорок восьмой год. Тогда я не выпил ни капли, но мною овладел какой-то необузданный гнев, я вскочил и, перебивая бургомистра, закричал: «Позор! В этой вассальной стране даже память о свободе мы осмеливаемся воскрешать лишь вполголоса, да и то в четырех стенах, хотя бы уж высказать им все, что ли, черт возьми!» В зале воцарилась гробовая тишина, затем бургомистр молча обнял меня, чокнулся со мной и расчувствовался. Сразу все потянулись к моему бокалу, официанты торопливо закрыли двери. Дешё, бледный, стоял в конце стола; он щелкнул каблуками и громко крикнул: «Да здравствует Венгрия!» Ночью, возвращаясь домой, я нервно шептал начальнику полиции Коштяку, что я, дескать, выпил лишнее, а в таком состоянии человек не отвечает за свои слова. Я говорил неправду, ибо выпил всего одну рюмку и голова моя была на редкость ясной. Коштяк промолчал и потом ни разу не упоминал о случившемся, но я, возвращаясь после работы домой, несколько дней подряд задавал матери один и тот же тревожный вопрос: «Мне никакой повестки не приносили?» Виноват ли я, что таким уродился: то, что должно было заставить кричать от стыда, я молча, с отвращением к самому себе перевариваю в душе, не осмеливаясь сказать об этом громко — духу не хватает. Тут я вспомнил вдруг о винокурне Барталов. Как-то раз давным-давно, еще до путча Салаши, Геза предлагал укрыться там, если русские форсируют Дунай и нашему городу будет угрожать опасность. За минувшие с тех пор восемь месяцев русские перешли Дунай, заняли старые дома Турецкого рынка и оттуда начали обстреливать из минометов шоссе и железную дорогу, но мы, во всяком случае многие из нас, ходим в столицу на работу. До каких пор так будет продолжаться? Смешным становится упрямство, с которым мы стараемся продолжать то, что неизбежно придется прекратить.

— Вполне подойдет,— с облегчением вырвалось у меня.

Дешё оживился.

— Для всех?

— Да. Винокурня Барталов. Сколько бы мы ни ломали голову сейчас в поисках правильного решения, в нынешнем положении любой вариант будет гаданием на кофейной гуще. Кто знает, какой район подвергнется самому сильному обстрелу? К тому же винокурня очень удачно расположена — позади дворца, стало быть, защищена от смертоносных гостинцев со стороны Турецкого рынка. Постой, я же могу позвонить Гезе.

Прошло немало времени, прежде чем мы нашли его в клинике. Когда наконец в трубке послышался его голос, Дешё подал знак — не говори, мол, пока об остальных.

— Сервус, Геза! Как там твоя винокурня, еще цела?

— Зачем она тебе, что случилось?

— Мне бы хотелось перебраться туда. Кое с кем...

— Скажи наконец, что случилось?

— Не задавай глупых вопросов. В том-то и дело, что ничего. Все остается по-старому. И господин учитель здесь.

— Какой учитель?

— А кто из нас стал учителем?

— Правда? Скажи ему...

— Ты сам скажешь

— Понимаю.— Последовала длительная пауза, потом слышно было, как Геза чиркнул спичкой, я даже как бы ощутил запах табачного дыма.— Слушай, Эрне... тогда я тоже с вами.

— Ты хорошо обдумал?

— Смешно. Чего ж тут раздумывать, это сразу надо решать. Я еще несколько дней назад... впрочем, расскажу при встрече. Qui tacet, consentit *, все равно ничто не вечно под луной. И... сегодня же?

— Сегодня.

— Ладно. Тогда я с дневным поездом выеду домой.

Дешё обрадовался, узнав, что Геза тоже с нами.

— Да,— сказал он немного погодя,— другого выхода все-таки нет. Я не боюсь.

---

* Молчание — знак согласия *(лат.)*.

Да и какой смысл... В моем положении даже побег требует не меньше храбрости, чем явка по вызову военного трибунала.

— Встретимся около двух, у поезда. Или вам лучше здесь остаться?

— Зачем же, до завтрашнего утра наше командировочное предписание действительно.— И вдруг он заволновался: — Матери надо бы что-нибудь купить. А вот что именно — ума не приложу. Скажу ей по секрету, что останусь тут неподалеку, возле Галда: она единственный человек, кто не передаст дальше, даже если бы и захотела. Это тоже, старина, ужасно. Всегда говорю только я. Мать лишь бормочет бессвязно, шамкает, по ее синюшным, непослушным губам течет слюна. Глядя в ее горящие глаза, я кляну эту безысходность, еще больше терзая и мозг свой, и душу. Она все еще шьет. Сидит над шитьем, не разгибая спины, чтобы с меня ничего не тянуть. Я не раз порывался упасть перед ней на колени, обхватить парализованные ноги и стиснуть их... удерживая в ней покалеченную, но дорогую мне угасающую жизнь. Но так ни разу и не сделал этого. Такой уж непутевый и черствый я до крайности... Итак, в два часа?

Галлаи вяло потряс на прощание мою руку, дыхнул мне в лицо спиртным перегаром, и вся его раскрасневшаяся физиономия расплылась в блаженной улыбке.

II

По одному мы пробираемся в Череснеш, минуя станцию, и там поджидаем друг друга. Вещей с собой не взяли никаких, чтобы не вызвать подозрений. Отец Гезы привезет их на подводе, когда стемнеет.

Дома все уладилось значительно легче, чем я ожидал. Как раз пришла повестка, причем не на переосвидетельствование, а сразу на службу в недавно сформированную бронетанковую часть. Расторопный же ты, однако, брат, старший лейтенант с призывного пункта, черт бы тебя побрал, но меня можешь призывать, сколько влезет. Я попросил мать приготовить мою военную форму и сапоги.

— Боже праведный! Неужто и тебя взяли?

Я постарался успокоить домашних:

— Никуда я не уйду, во всяком случае не дальше винокурни Бартала, но не вздумайте наведываться ко мне, я сам время от времени буду приходить.

Отец уставился на меня:

— А не накличешь ли этим беды?

Ему следовало бы стать часовщиком, а не столяром. Я всегда жалел его; когда он тащил бревно или доску, его щуплое тело, казалось, вот-вот подломится под тяжестью.

— Какая там беда? А если возьмут в армию? Не все ли равно.

Дорогой мой старикашка... Со своими полными безотчетного страха голубыми глазами и обвислыми усами он живет, что называется, тише воды, ниже травы под крылышком моей энергичной, подвижной матери, и не знаю, как он осмелился произвести меня на свет. Правда, на такое дело он отважился один-единственный раз, ибо у меня нет ни братьев, ни сестер. Он ужасно боится войны, в армии не служил, накануне первой мировой войны был признан негодным и просеивался даже сквозь решето мобилизаций в военное время. Из года в год его теребили — мол, определись куда-нибудь, например, в городское стрелковое общество, пульни хоть раз из винтовки, нельзя же так прожить всю жизнь. А он все отпирался, ни за что на свете не соглашаясь, пока наконец не стал членом попечительского общества, платил взносы, лишь бы оставили в покое, но вблизи тира его так никогда и не видели. Не думаю, чтобы за всю свою жизнь он хоть раз кого-нибудь ударил. Как правило, вместо него с подмастерьями расправлялась моя мать. Голос у него тоже немощный, как и тело, прямо-таки комариный: «Будет сделано, сударь, как вы изволите желать». Но тут уж он был хозяином своего слова. Если городской барин или дяпайский цыган закажет у него что-нибудь и он скажет свое неизменное «Будет сделано, сударь, как вы изволите желать», то разобьется в лепешку, ночи напролет будет работать, а непременно сделает в срок, и всегда именно то, что ему заказали. Не помню случая, чтобы кто-нибудь

остался недоволен его работой. А сам он? Возразил ли хоть раз против чего-нибудь? Кто знает? Никто никогда этого не слышал. Желания? Были ли они у него? Дождь хлещет мне в лицо, стоит обернуться, и я еще увижу мастерскую на углу Церковной улицы. Наверняка он стоит за дверью с матовым стеклом. Хотя вряд ли осмелится. Однажды ему заказали гроб, какая-то старушка подорвалась на мине возле Турецкого рынка. С тех пор он и не осмеливается смотреть ночью в эту сторону. Что за черт, с чего я так расчувствовался, ведь не навек расстаемся, стоит захотеть, и снова увижусь с ним. Он очень набивался проводить меня. На самом же деле, как мне кажется, ему хотелось уйти со мной. Боится за меня. И за себя тоже, за свою тихую, размеренную, жалкую жизнь. Не раз мне приходилось видеть, как ночью, дрожа всем телом, в одной исподней рубашке он прислушивался к смертоносному вою снарядов, летящих со стороны плацдарма русских. Однажды я даже заговорил с ним — мол, шел бы лучше спать, все равно того снаряда, который угодит сюда, не услышишь и не увидишь. Но как грубо у меня это получилось! Надо бы вернуться, постараться загладить вину. Я вовсе не думал тогда его обидеть, просто очень хотелось спать.

Мать обнимает меня, да так крепко, что хрустнули косточки.

— Значит, остаешься здесь, в Галде, сынок?

И сразу же кинулась рыться в двух сундуках, все такая же добрая, но практичная и деятельная, как всегда.

Немцы устанавливали противотанковые пушки позади липовой рощи Айя. Непонятно, почему русские до сих пор не навели мост, снуют на катерах от берега к берегу. Если б они переправили на эту сторону танки, то давно бы уже прорвали наспех оборудованный оборонительный рубеж, проходящий через Старый Город. В магазинах на площади Кароя Роберта зажгли свет и тут же задернули окна черными бумажными шторами, обеспечив полное затемнение. Пустые глазницы окон — если почему-либо, кто знает, что может случиться, я не вернусь, это будет моим последним воспоминанием о площади. Впрочем, хватит валять дурака. Либо я буду думать о своей шкуре и ни о чем другом, либо обо всем, только не о самом себе. Город все равно не может спасти меня, как и я не могу спасти его для лучших времен. Встретимся вновь, когда пронесется ураган, если останемся живы. Грамоту о вольности Галда, дарованной Кароем Робертом, нам полагалось знать наизусть, а кто сбивался, мог садиться на место, получив кол. «Мы, милостью божьей король Венгрии...» Дешё сомневается, будут ли преподавать историю Венгрии. А почему бы нет? Мы пережили нашествие татаро-монголов, турок, австрийского шурина, бог ты мой, чего только нам не пришлось пережить! Пожалуй, именно потому нам и удалось просуществовать более тысячи лет, что мы постоянно мобилизовывали силы, чтобы восстановить то, что разрушили наши враги, и исправлять то, что сделали по собственной глупости. Гравий Айя громко похрустывает у меня под ногами. Кажется, будто земля скрежещет зубами. Да, все же паршивое это дело — покидать город тайком, занимая пост управляющего фирмой, имея звание лейтенанта и сознавая, что то и другое уже не имеет никакого значения. Ни пост управляющего, ни звание лейтенанта. Черт возьми, и все это произошло как-то сразу, одним махом. Красавица Гелетаине, жена участкового врача, с неподражаемой грацией зашла в ателье мод Шарукана. Право, какая деталь туалета могла ей так срочно понадобиться в двух километрах от русских? А эти немцы похожи на поденщиков, размеренно делающих свое дело. Работают не торопясь, точно, аккуратно — ни растерянности, ни суеты, ни раздраженных выкриков. Я видел их у Коломыи, даже ураганный обстрел не мог сбить их с привычного ритма. Квалифицированные мастера войны, с опытом и стажем. Я верю рассказам о газовых камерах, почему бы и не верить? Они способны и на кое-что похуже. Здесь просто замыкается круг. А началось все раньше — с тех мастерски отработанных, натренированных и уверенных движений. Это ужасно. Пушка в их руках — такой же инструмент, как лопата. Им все равно: посадить хлеб в печь или отвернуть кран на баллоне с газом «циклон». У меня одна обойма в пистолете и ничего больше. У Дешё, наверно, найдутся патроны, в конце концов он прибыл с фронта. Возле здания городской управы стоит нилашистский охранник. Я с ним знаком, это подмастерье у сапожника Каламо, некий господин Фери, а фамилию не помню. Когда-то он сшил мне хорошие желтые полуботинки на белой подкладке. Он и военным-то не был, что же его потянуло сюда?

Ему изменила жена? Или, может быть, еще раньше, склонившись над заготовкой, он подумывал о том, что автомат ему подходит больше, чем сапожный нож? После войны, как всегда, специалисты и дилетанты наверняка сфабрикуют уйму всяких причин, которые в это сумбурное время одних гнали в одну сторону, а других — в другую. Вот подойти бы и спросить: «Господин Фери, а как бы вы объяснили свой шаг?» Впрочем, это неинтересно. Если человек даже по собственной воле решается на ложный шаг, то стоит ему сделать его, как потом он сразу же начинает выполнять то, что ему приказывают. Фери вскидывает руку, словно отгоняет назойливого шмеля:

— Китарташ *, господин лейтенант, очень рад вас видеть.

Что ж, бодрись, пока не дадут коленкой под зад. В день, когда присягали Салаши, мы вошли в лифт вместе с моим генеральным директором. «Послушай,— гневно комментировал он захват власти нилашистами,— какого ты мнения об этих людях с грязными ногтями, с неизвестным или темным прошлым?» Этот полоумный джентри, подумал я, говоря о нилашистах, больше всего озабочен тем, что у них грязные ногти. А теперь и мне именно это пришло на ум при виде господина Фери — сапожного подмастерья.

Предстоит еще прощание с Клари. Трудно будет. «Боже мой, Эрне, я не пущу тебя!» Я вдруг будто ощутил на своем лице ее горячее дыхание. Это будет тяжелее всего. Красавица Клари Шуранди.. Как я увивался вокруг нее в университетские годы! На балах в казино я пожирал ее глазами, не в силах оторвать от нее взгляда, на катке мчался очертя голову, чтобы прикрепить ей коньки, и никакого успеха. Она словно не замечала меня. В марте мы большой компанией человек в тридцать отправились на Дяпу за подснежниками. Опираясь на палку, я поднимался в гору, боясь повредить покалеченную ногу. Вдруг Клари оглянулась и, сказав: «О боже, Эрне, о вас совсем некому позаботиться!» — взяла меня под руку и по-матерински стала опекать. Черт его знает, и сам не пойму, чем была вызвана такая перемена. Три дня спустя во время крестного хода она подошла ко мне, как бы давая понять: мол, опирайся не на палку — молодому человеку это негоже,— а на меня. Такой страстный порыв охватил нас обоих, что мы и дня не могли прожить друг без друга. Прежнее целомудренное обожание дополнилось неодолимым влечением к ней, страстным желанием обладать этой женщиной, подобной которой я еще не встречал. Одним взглядом она может распалить до предела. У нее чудесная фигура, красивые плечи, величественно-грациозная шея! Грудь ее так запечатлелась в моем сознании, что я даже во сне мог очертить ее. Но она никогда не пускала мою руку ниже дозволенного. «Эрне, пойми же, я все-таки девушка». Черт возьми, у меня не раз с кончика языка готов был сорваться вопрос: «А где именно начинается девушка?» — но я так и не осмелился спросить. Клари тут неумолима, она непременно хочет сохранить себя безукоризненно чистой, как свадебная фата. Свадьбу мы назначили на рождество. Сочельник, рождество... Как еще далеко до него, как оно медленно приближается... Помолвка состоялась у нас дома. Мать испекла торт огромный, как мельничный жернов, его внес подмастерье, чинно следуя за ней. Она сшила себе дорогой костюм, привела в порядок ногти: ведь ее невесткой будет дочь городского прокурора, из настоящей господской семьи, а не из каких-нибудь новоиспеченных господ. Их деды и прадеды тоже были господами, от них даже запах исходит барский. Но торт оставили на кухне, не стали даже резать, а подали пирожное, принесенное от Гербауда; мать мою гости называли тетушкой, а отца — господином мастером, за все время ни разу не назвав иначе. Только я был для всех Эрне, особенно для самого Шуранди, который, подчеркивая свое расположение, разговаривал со мной на «ты». Мой отец, забитый старичок, поглаживал ладонью стол. Что ни говорите, а орех это орех, он лучше всего полируется и фактура у него очень красивая А может, все-таки нужно было сказать, чтоб не называли их тетушкой и господином мастером? Черт его знает, тогда мне это и в голову не пришло. Почему-то отец и для меня был господином мастером, и началось это уже давно, пожалуй, с того давнишнего-предавнишнего храмового праздника в Битте. В мои детские годы мы часто ездили в Битту, где живут сербы.

---

* Приветствие нилашистов.

Накануне храмового праздника они по обыкновению с шумом и гиканьем проезжали по улицам Галда, оглашая своими выкриками дворы, стоя глушили вино, играли на дудках, как бы зазывая всех на храмовый праздник, суля всем радость и веселье. Там устраивались незабываемые праздничные вечера. Мы учились танцевать коло с разгоряченными сербиянками, вся деревня ходуном ходила от задорного веселья, все приветливо улыбались друг другу, одним словом, всюду царили любовь и согласие. Но к вечеру сербы напивались, набрасывались с палками на приезжих, и все гости как оглашенные разбегались под покровом темноты. Тут и начиналась настоящая потеха: паническое бегство из Битты. вопли, прерывистое дыхание. Потом мы надрывались от смеха, хотя тем, кто не успевал унести ноги, изрядно доставалось. Как-то раз отец купил на храмовом празднике кулер, отломил кусочек и уже собирался было сунуть его мне в рот, но я уже тогда был брезгливым и, увидев порыжевшие от морилки пальцы отца с черными ногтями, мотнул головой — дескать, не надо. Он промолчал, не такой он, чтобы кому-то, даже своему ребенку, выговор сделать, только долго дрожал его заострившийся подбородок. Затем выбросил весь кулер натужным жестом, как человек, который отталкивает от себя что-то непомерно тяжелое. На ужине по случаю нашей помолвки Клари сунула мне в рот кусок пирожного. И лишь потом, уже начав жевать, я вспомнил кулер. Отец взглянул на меня и не смог сдержать слез. До чего же глупо получается! Из всей быстро текущей жизни, которая дается нам один-единственный раз, память хранит такие мелочи, как кулер, пирожное...

Мастерская уже скрылась из виду. Со стороны Турецкого рынка взлетает ввысь под облака ракета, на мгновение все вокруг озаряется светом, а затем сумерки еще больше сгущаются. Половина четвертого. С мрачной лёссовой вершины Дяпа из крупнокалиберного пулемета обстреливают окраину города — трассирующие пули оставляют после себя светящиеся борозды. Русские не отвечают. Из дома Шуранди выходит служанка:

— Боже мой, господин управляющий, вот уж не ждала вас барышня!

Я собираюсь пройти в дом, но она разводит руками.

— Вы вчера изволили сказать, что придете часам к семи, их благородия вернутся из Будапешта поездом в половине шестого, но вы проходите, в холле тепло...

Я стою, не зная, что сказать. Неужто так и уйду, не простившись? Что за идиотизм, именно сегодня ей приспичило ехать в Будапешт; на какое-то мгновение я до боли отчетливо вижу большие влажные глаза Клари, словно она и в самом деле здесь, рядом со мной. В Старом Городе хлопает миномет, ищу взглядом, где разорвется мина, погружаюсь в свои мысли; служанка зябко поеживается у калитки. Может, оставить записку? Но что написать? На противоположной стороне улицы, переваливаясь с боку на бок и далеко вперед выбрасывая тонкие ноги, торопливо шагает Геза Бартал в направлении Череснеша. Он в теплом велюровом пальто, сбитой набекрень шляпе, с докторским саквояжем в руке.

— Ну зайдите же, право. Пожалуйста, не стойте здесь...

— Нет, благодарю, скажите барышне... да, я должен срочно явиться в часть, но на днях непременно дам о себе знать.

Вот незадача. Не могу сдержать волнения. Да и не мудрено, ведь фронт совсем рядом, может случиться все что угодно. Теперь меня удерживает стыд перед служанкой, а то бы в самом деле зашел, сел в теплом холле — будь что будет, плевать мне на весь этот бренный мир.

Я пришел последним. За Череснешем вырисовывается силуэт массивного дворца. Дешё курит, молча протягивает мне руку. Галлаи нервно смеется, потешаясь над Гезой Барталом: теперь, мол, гинеколог будет применять свои знания на мужских органах. Но шутки у него получаются очень плоскими, никому не смешно, все знают, что сейчас, собственно говоря, они поставили на карту свою жизнь. Шорки, увидев меня в военной форме, осклабился:

— Разрешите покорнейше доложить, господин лейтенант...

Когда я возвращался поездом домой в штатской одежде, он смерил меня оценивающим взглядом бандита. Ох и зловещие же у этого Шорки глубоко запавшие глаза: два ядовитых черных жука, притаившихся на дне ямы. Тарба молчит, я еще ни разу не слышал его голоса. Красивое лицо его словно окаменело, скованное каким-то

сверхъестественным холодом. Ну что ж, двинемся в путь. Геза позвякивает ключом от винокурни, что-то фальшиво насвистывает, сбивается с ритма, и получается черт знает что, сумбур какой-то. Возле дворца посреди дороги маячит неподвижная фигура всадника. Какой леший занес его сюда! Мы останавливаемся, сбиваясь в кучу, Дешё хватается за кобуру.

— Это ты, Эрне? — узнал меня барон.

Сигара едва искрится в темноте, он отъехал в сторону.

— Мое почтение, ваше превосходительство.

Два лета подряд по рекомендации моих преподавателей я репетировал его сына по математике и физике. Мать наказывала, чтобы я не смел брать вознаграждение — гораздо больше стоит честь бывать каждый день во дворце, но барон не остался в долгу: в первое лето подарил мне увесистый серебряный портсигар, а в другое — пару замечательных английских теннисных ракеток. Всем своим видом он символизировал старинную легенду: покровитель Галда верхом на лошади перед линией фронта.

— Что ты здесь делаешь, Эрне?

Раздумывать некогда, надо врать:

— Меня призывают, ваше превосходительство, посидим немного в винокурне Барталов в последний раз, развеем грусть-печаль. И доктор здесь, и старший лейтенант Дешё, его вы изволите знать, Кальман Дешё, а также...

Барон прерывает мою тираду:

— Развейте грусть у меня, ужин в половине восьмого, приходи с господами офицерами и доктором.

Не дожидаясь ответа, он тронул коня и скрылся за воротами. У Галлаи от волнения дух захватило: настоящий барон, вот это да! Ведь он еще никогда не ужинал во дворцах. Но затем в нем берет верх плебей.

— Его превосходительство, наверно, укладывает вещи, а заодно и в штаны наложил. Ну что ж, зато хоть кутнем на славу, по-барски, раз господ офицеров на ужин приглашают.

У меня нет настроения разговаривать, я с тревогой думаю о Клари. Ничего не поделаешь — больно. Я молчу. Настоящая боль безмолвна и скрыта в глубине души, как воздушный пузырек в янтаре. Дешё тоже стоит безмолвно, вслушиваясь в темноту и созерцая окутанный пеленой мрака город. А город, притаившись от страха, упрямо живет своей непонятной жизнью, хотя и не слышно ни шороха. Подальше, южнее, где Дунай лениво описывает изгиб, кроваво-багровые вспышки озаряют серое небо.

— Бьют тяжелые гаубицы,— бормочет Галлаи.

По яркости вспышек пытаюсь определить расстояние — грохот сюда не доносится. Гаубицы, пожалуй, не меньше чем в тридцати километрах отсюда. Они исторгают затяжные, вихреподобные красные сполохи. Мне вспоминаются багровые краски Помпеи, такие же сочные, густые краски, и я даже вслух произношу:

— Багровая Помпея, помнишь, Кальман?

В последнее мирное лето мы втроем — Кальман Дешё, один пештский студент юридического факультета и я — пешком добрались до Италии. Любопытные, нескладные паннонцы * под средиземноморским небом. Наши рюкзаки сплошь покрылись жирными пятнами от колбасы и сала, запасенных на три недели впрок. В середине августа на закате солнца мы вошли в погребенный под серой лавой мертвый город. Стены домов в лучах заходящего солнца, казалось, горели красным пламенем, багрово-огненные отблески произвели на нас потрясающее впечатление, мы стояли как зачарованные. И только на обратном пути спохватились, что забыли осмотреть Виллу Мистериозу, где хотели ознакомиться с фресками, вдохновленными неразделенной любовью.

Винокурня Барталов на горе почти напоминает виллу. Просторная веранда, кухня, три комнаты, ванная, а внизу огромный выложенный кирпичом винный подвал. Геза воротит нос от запаха виноградной мезги и айвы. Он бывал здесь не более пяти раз, сам не любит вино и не выносит, как он выражается, все мужицкое — запах конского

---

* Паннония — римская провинция, существовавшая на территории нынешней Венгрии до IV в. н. э.

пота, навоза. Отец, носатый Бартал, в одиночестве, потягивая от скуки вино, обычно сидит здесь и, наверно, сокрушается о том, что яблоко так далеко упало от яблони. Он дал сыну образование, а теперь, мне кажется, даже наедине с ним называет его господином доктором и угождает ему, как старый слуга. Ничего не поделаешь, наследника нет, все достанется зятю, зря только старался: господина доктора — издерганного, не в меру нервного, чувствительного, словно раз и навсегда решившего положить конец размеренной жизни своих предков-крестьян — не интересуют ни земля, ни хозяйство. На окнах и застекленных дверях — черная бумага, но мы из предосторожности зажигаем только небольшую настольную лампу. Шорки моется в ванной, брызгаясь холодной водой, Тарба трет свой автомат какой-то тряпкой. Я очень завидую тем, кто и в такое время способен найти для себя какое-нибудь занятие. Все-таки надо бы наведаться к Шуранди. Смотрю на свою повестку, которую принесли в девять часов утра, с тех пор в Будапешт ушло семь поездов. Оправдаться нечем, первый же патруль схватит меня.

Мы приходим во дворец, и старый слуга Йожеф ведет нас наверх в малый салон. Как всегда, черная ливрея висит на нем, словно на вешалке, редкие волосы гладко зачесаны на пробор. Галлаи вертит головой, пораженный великолепием холла, переоборудованного из усыпальни. «Вот это да!» — очевидно, думает он. И разве не свинство — едва соприкоснувшись с настоящей роскошью, человек в любую минуту может с ней распроститься. Я рассматриваю гравюры, развешанные на стене вдоль вытесанной из гранита широкой лестницы. Да, все точно так же, как и раньше, рядом с арадскими мучениками охота с собаками — ничем не объяснимое, случайное соседство. Не думаю, чтобы барон когда-нибудь осматривал все свои гравюры подряд. В малом салоне, отделанном фиолетовым шелком, вокруг уставленного бутылками и рюмками столика, дымя сигарами, беседуют трое: Галди, благочинный Грета и секретарь управы из Битты. Компания невелика. Секретарь управы, очевидно, потому здесь, что почти половина владений Галди приходится на окрестности Битты. Галлаи удивленно шепчет мне:

— Значит, его сиятельство не укладывает вещи?

— Весьма рад,— говорит барон, но руки никому не подает, только кивает большой лысой головой, обрамленной седыми волосами, и жестом дает понять: мол, кто не знаком, знакомьтесь.

Дешё тоже никогда еще не бывал во дворце. Он с интересом разглядывает роскошный малый салон, исполненный в стиле барокко, особенно долго задерживает взгляд на нарисованных между оконными проемами фавнах, гоняющихся за бабочками.

— Это не Маульпертш?

Барон, мельком взглянув на Дешё, вежливо кивает:

— Да, разумеется. Мой прадед пригласил его расписать алтарь святой церкви, тогда же он сделал и это. И еще фреску на потолке столовой. Неплохая работа. Я, правда, считаю, что Маульпертш несколько суховат, академичен, но это... дело вкуса. Прошу вас, шотландское виски.— Он указал на поднос с видом человека, который считает чем-то само собой разумеющимся, чтобы на четвертом году войны имелось шотландское виски.— Но если предпочитаете абрикосовую, пожалуйста. Эрне, дорогой, ты у себя дома, наливай господам.

Секретарь управы стоит у самого угла стола, сжимая в руках рюмку. Вот он пригубил, поморщился — видимо, не нравится, но поставить рюмку не осмеливается. Его кофейного цвета в полоску костюм пропах нафталином, сухая обветренная кожа испещрена морщинами. Он с готовностью вступает в разговор, хотя вряд ли кого это интересует.

— Да,— говорит он, вытирая лоб,— его сиятельство в пору своей дипломатической деятельности любил виски. Он был секретарем посольства в Лондоне. Да, да, он в совершенстве владеет английским, об этом знают все.

Секретарь управы заметно волнуется. Он не успевает убрать в карман платок, потому что то и дело вытирает им лицо. Может быть, терзается тем, что он сейчас не дома, ведь Битта всего в трех километрах от фронта, но в присутствии барона не смеет выражать тревогу или говорить о своих заботах. Галди угощает нас сига-

рами. Галлаи пьет виски вперемежку с абрикосовой водкой, первым тянется за сигарой, явно не упуская случая насладиться жизнью. Я пододвигаюсь к Дешё. На его тонком, красивом лице блуждает задумчивая улыбка.

— Взгляни на лейтенанта,— тихо говорит он мне,— любил, бывало, прихвастнуть, в каком обществе ему приходилось вращаться в бытность свою министерским делопроизводителем. Например, поужинать с высокопоставленным лицом и даже с самим статс-секретарем для него было таким же обычным делом, как для другого зайти перекусить к теще. Но попал в какую-то глупую историю, и его вышибли из министерства, где он, по-видимому, подвизался недолго, не успев даже усвоить элементарные правила поведения в обществе. Затем работал агентом по сбыту у какого-то текстильного фабриканта, зарабатывал большие деньги, простую мешковину ухитрялся сбывать за лидское сукно, и его манеры стали, разумеется, еще хуже.

— Откуда он родом?

— Из Комарома. Его настоящая фамилия — Герстенфельдер, но он вполне порядочный шваб, потому и ругается беспрестанно, что хочет казаться заправским венгром, какого и свет не видывал. Фамилия, конечно, никак не подходила к офицерскому мундиру, в армии он попросил разрешения сменить ее на венгерскую. Впрочем, не беда, что он пьет. Если налижется до чертиков, может, отмочит что-нибудь забористое этим манекенам, пусть их передернет.

— Не думаю, чтобы барон...

— Все притворяются. Правда, у барона это получается. А у остальных? Ты думаешь, у благочинного на уме сейчас виски? А посмотри на секретаря управы. Его не мешало бы предупредить, чтобы он не жевал свой платок, ведь ему предстоит еще ужинать.

Завидую Дешё. Ему случалось попадать в более серьезные переделки, чем мне, и не менее горько было расставаться с матерью, чем мне уйти, не попрощавшись с Клари, но он остается самим собой, держит себя в руках и изо всей компании, включая и Галди, безусловно, самый корректный и выдержанный.

— Летом я не пью виски,— говорит Галди, глядя куда-то поверх наших голов.— Англичане пьют и летом, но, правда, со льдом. Я не могу.

Секретарь управы достает свежий платок. Один уже промок от пота.

— Изволите употреблять от осени до весны, совершенно правильно,— поддакивает благочинный, отваживаясь принять участие в разговоре.— Когда у человека к непогоде начинается ломота в костях, эти крепкие напитки очень хорошо помогают.

— И особливо к дождю,— отзывается секретарь управы, с полупоклоном и не спуская глаз с барона.— Такой, бывало, зарядит в осеннюю пору, что конца ему не видно. У меня, правда, кости не ломит, но зато мучают головные боли. Весь день теребят меня насчет подвод; да, в нашей деревне мало солдат, но зато каждый норовит ездить на персональной подводе, а если дороги развезет, то крестьян и палкой не выгонишь на извоз.

— К тому же,— вставляет Галлаи, совсем осоловевший от выпитых вперемежку напитков,— если русские начнут стрелять им в зад, тогда совсем плохо. Крестьяне более чувствительны к пуле, чем к погоде.

Благочинный предупредительно покашливает. Секретарь управы начинает сетовать по поводу того, что свекла все еще в поле и вряд ли удастся ее убрать.

— Летом,— продолжает свою мысль Галди, словно строго придерживаясь соглашения говорить о чем угодно, только не о войне,— лучше всего сухие, слабые вина. С пива пучит. Нет, пиво не для венгров. Бесхарактерное пойло. Венгр ищет в еде и напитках характер.

Дешё подталкивает меня: слушай, мол. Галлаи чувствует себя в своей тарелке, с веселыми искорками в глазах он растроганно окидывает взглядом изящный, красивый салон. После множества примитивно обставленных дешевых мещанских комнат, в которых он по возвращении на родину квартировал, этот салон, в конце концов, был чем-то оригинальным и стоящим.

— Мое почтение, ваше сиятельство,— говорит он вдруг, поднимая рюмку.— Позвольте пожелать вам доброго здоровья и благополучия.

Галди отпивает глоток.

— Говорю от чистого сердца, а не от выпитого вина,— продолжает лейтенант с увлажненными глазами,— сердце щемит при мысли об этом прекраснейшем дворце. Ведь ему по крайней мере двести лет.

— Несколько больше,— перестав улыбаться, уточняет Галди.— Центральную часть здания, в которой мы сейчас находимся, начали строить в 1440 году.

Галлаи невозмутимо принял к сведению эту поправку.

— Это еще больше усугубляет боль моего сердца. Потому что этот великолепный дворец смешают с дерьмом, ваше сиятельство, ведь он стоит на очень опасном месте, в зоне обстрела вражеских орудий, а русские чертовски метко стреляют. В Маликине первым выстрелом они разнесли офицерскую столовую, а вторым — клозет командира полка, и, к сожалению, как раз в момент его пребывания там...

Благочинный Грета, не выдержав, запальчиво крикнул:

— Довольно!

Галлаи облизывает пересохшие губы, совершенно не понимая, почему тот кричит на него.

— В чем дело, господин пастор?

— Вы дважды позволили себе забыться. Во-первых, в таком обществе... неужели вы не понимаете, сударь? И потом, что значит «русские»?

— Это значит русские, советские, ваше преподобие. Боюсь, что вам тоже придется усвоить это.

— Что они представляют собой, эти русские? Сброд! Банда безбожников! Вы здесь прикидываетесь, будто не знаете... Но еще не все потеряно! Бог подверг нас испытанию за грехи наши, но он смилостивится и остановит их, я не сомневаюсь... да-с, сударь, я уповаю на это.

Это было каплей, переполнившей чашу. Мне жаль пожилого священника, но вместе с тем и возмущает беспомощность насмерть перепуганного старого хрыча, который кричит тоже от страха, стараясь заглушить его. Мне часто приходилось прислуживать ему, и, если хоть на минуту опоздаю, бывало, зазвонить к мессе, его даже в пот бросит от негодования, и тонкая шея сразу становится влажной, блестящей. В школе — в ту пору он был еще приходским священником — мы прозвали его между собой «присным»; однажды он услышал об этом, но вместо того чтобы вздуть как следует или надавать нам пощечин, опустился перед доской на колени и стал молиться за спасение наших душ. Лет десять назад, накануне праздника непорочной девы, он несколько недель подряд смахивал на лунатика; на его испитом лице глубоко запали щеки, наверно, он даже есть перестал, боясь какой-то пустячной проверки, хотя сам ни в чем не был виноват. Есть у нас еще одна церковь, куда древнее галдской. Ее основали Иллешхази в честь святой девы Марии. В день богородицы с самого раннего утра, еще до заутрени, к ней стекается большая толпа, собираясь позади статуи Марии, стоящей в церковном саду. Под сенью старых лип в двух исповедальнях отец Грета и его помощник капеллан Бонович обычно отпускали грехи своим прихожанам. Но в то утро старик или проспал, или отлучился по какому-то делу. Одним словом, прежде чем он пришел туда, цимбалист из Дяпа Миши Каналош, бредя домой усталый, да к тому же изрядно подвыпивший, не удержался от соблазна завалиться в удобное священное кресло в одной из исповедален. Он тут же уснул бы, но ему помешали. Какой-то верующий, обнаружив, что в одном кресле уже сидят, опустился перед решеткой исповедальни на колени и начал перечислять Мишл Каналошу свои грехи. Цыган, боясь разоблачения, назначил, как полагается, покаяние — прочитать три раза кряду «Отче наш» и «Возрадуйся, дева» — и уже собрался восвояси, но не тут-то было: верующие сменялись один за другим перед решеткой. Наконец Каналошу надоело, он высунул голову из-за решетки: «Я-то вам отпускаю, мне не жалко, а вот как бог, не знаю, вдруг не согласится». Беднягу, конечно, стащили с кресла и таких тумаков надавали, что у него и через пять исповедей не прошли синяки и шишки, которые насажали ему обозлившиеся верующие, а с опоздавшим Гретой случился нервный припадок; скандал завершился проверкой, исповедальню пришлось сжечь, ибо каналья Каналош, не выдержав побоев, осквернил ее, напустив в штаны.

Галлаи мрачнеет.

— Остановит? Вон вы на что уповаете! Что ж, господу богу, пожалуй, давно пора бы сделать это. Еще у Карпат, но никак не дальше Берегова. Не могли бы вы поторопить всевышнего, отец благочинный, а то пока он собирается остановить их, мы уже будем валить лес в Сибири.

— Боитесь? И вы дрожите в страхе? Но вы же воин. Здоровый, целый и невредимый... разве здесь ваше место?

— А где же, черт возьми? Ведь меня пригласили на ужин.

— Не богохульствуйте! Вы должны быть там, на границе. А вы, сударь, уже по эту сторону Дуная, хотя и здоровы, как бык; да еще отпускаете скабрезные шуточки, сударь, а если бы вы не бежали и не оказались здесь, то...

Дешё ставит свою рюмку. Пора прекратить этот разговор, хватит дразнить старика.

— Мы действительно бежали, ваше преподобие. Как бы не соврать, не меньше тысячи двухсот километров отмахали! Разумеется, не сразу, а за полтора года.

— Постыдились бы! И вы тоже! И я учил таких закону божьему, господи милосердный, каким людям доверили защищать страну пресвятой девы Марии...

— Успокойтесь, ваше преподобие. Нам действительно было бы еще более стыдно, если бы мы бежали не в арьергарде, прикрывая отступающие войска, в том числе и немецкие части.

— Помилуйте, но разве вы не понимаете...

— Понимаю, отец благочинный...

— Что? Давайте не будем играть в жмурки... На этот несчастный народ, на эту беззащитную паству обрушится фронт. Неужто мы должны отдаваться на милость? На милость тех? Пока еще не поздно... даже сейчас, если мы всеми силами...

— Наши с вами силы, ваше преподобие, надо было прикинуть тогда, когда начинали войну.

Грета явно устал, и ему ничего не остается, как ретироваться.

— Да, но что же нам делать, сын мой? В столь грозный час... употреблять низкие слова... Этот господин, простите, рассказывает о клозете, когда я даже не уверен, смогу ли завтра отслужить мессу?

Галлаи залпом осушает стопку водки. Ну и мастак же он пить!

— Но, позвольте, в Маликине не в клозете было дело. Если вас коробит это слово, назовите как угодно то место, куда человек ходит по большой нужде, допустим — туалет. Это ласкает ваш слух? Ладно, пусть будет так, но не в том суть. У меня сердце чуть не разорвалось от горя, когда в Маликине осколком убило наповал моего денщика. Помнишь, господин старший лейтенант, Дюлу Риндача? Бедняга был очень славным, порядочным человеком, хотя я частенько и ругал его; этот Риндач, будучи строгим моралистом, подыскивал мне ночлег только у дряхлых старух; а однажды и кровать оказалась такой же дряхлой и развалилась подо мной; утром я вышел из комнаты с исцарапанным лицом, словно всю ночь воевал с легионом воинственных амазонок.

Галди делает вид, будто его совсем не интересует разговор, и задумчиво попыхивает сигарой, провожая взглядом поднимающиеся вверх кольца дыма. Хороших гостей преподнес я ему, после этого у него и обо мне бог знает какое мнение сложится. Впрочем, не все ли равно, что подумает барон, мне это совершенно безразлично. Йожеф бесшумно открывает дверь и пропускает в салон баронессу. Она одна. А где же два ее сына? Их нет дома? Или их просто не позвали на ужин? Мне не хочется спрашивать, да и незачем. Баронесса на два года старше своего мужа, волосы ее уже серебрятся, но фигура как у молоденькой девушки, кожа матовая, глаза живые. Она молча кивает головой, и мы переходим в столовую. Она садится первая в своем лиловом бархатном платье и служит украшением покрытого ослепительно-белой скатертью стола. Вся ее фигура напоминает бутон созревшей пышной фиалки перед тем как ей раскрыться. Нам подают холодного карпа, потом немного крепкого бульона, за ним шпигованного фазана, телятину с грибами, зажаренные до хруста свиные отбивные. Когда вносят пуншевый торт, баронесса сама молча разрезает его. И вообще за весь ужин она не проронила ни слова, поэтому никто и не решается заговорить. Баронесса кушала, глядя все время поверх тарелки, куда-то вдаль, но тем не менее неподражаемо ловко орудовала

ножом и вилкой. Но вот глаза Галлаи засияли — наконец-то открывают шампанское. Он наклоняется поближе, но не может прочесть, какой оно марки. Галлаи наелся до отвала, несколько раз незаметно под салфеткой отпускал поясной ремень, но при виде разливаемого в бокалы шипящего бледно-желтого шампанского им овладевает такая неуемная жажда, что он едва может дождаться, когда хозяева начнут пить. Баронесса порывисто встает. Она лишь пригубила свой бокал и тут же поставила его на стол. Протягивает руку мужу, Галди целует ее, долго не отрывая губ, словно желая придать этому поцелую какой-то важный, необычный смысл. Баронесса направляется к выходу, но все успевают заметить, как в ее красивых глазах блеснули слезы. Вернувшись, она обошла всех гостей, давая каждому поцеловать свою руку, только благочинный опаздывает, хозяйка первая прикасается губами к его чисто вымытой загорелой руке. Затем медленно, склонив голову, выходит из столовой. Все молчат.

— Да, господа,— наконец нарушает воцарившуюся тишину барон,— это нечто вроде прощального ужина.

Благочинный встает, подергивая от волнения головой. Секретарь управы, тоже, наверно, весь вечер боявшийся услышать именно это, с позеленевшим лицом упрашивает:

— А вы все взвесили, ваше сиятельство? Народ может потерять голову, если узнает... Да и фронт вот уже две недели стоит на одном месте, может быть, их еще оттеснят, все может статься, ваше сиятельство, ведь ваша семья вот уже шестьсот лет владеет округой, нельзя же вот так, вдруг...

Галди медленно поднимается.

— Прошу пожаловать в салон. Жена вечером не пьет кофе, но нам не повредит, и коньячку выпьем.

Геза подходит к барону.

— Не сочтите за навязчивость, но у меня есть замечательное успокоительное средство. Если баронесса изъявит желание...

— Спасибо, доктор. Моя жена никогда не принимает их.

Горячий кофе уже разлит. На столе коньяк, сигары, сигареты. Когда мы входим в салон из столовой, старый слуга как раз бесшумно закрывает за собой двери напротив. Галди поудобнее усаживается в кресле на невысоких ножках, жестом приглашает и нас последовать его примеру.

— А ты, Эрне, не упрашиваешь меня остаться?

В его голосе звучат холодные нотки, но все же он произносит эти слова приветливо и без иронии.

— Не знаю, право, что и сказать.

— Шестьсот лет...— заискивающе говорит секретарь управы.

И вдруг после одного шикарного и безмолвного ужина наступает конец тому, где все выглядело прочным — от древних стен до ножек кресел. Весь этот извечный мир рухнул изнутри, хотя грохота его падения и не было слышно. Стало быть, Галди уходит. Прощальный ужин не может означать ничего иного. Но тщетно утешать себя тем, что он уедет, а я останусь. К сожалению, не в этом дело. Как ни стараюсь я дышать ровно, подобно пловцу, я тоже бегу. Только не прихватил с собой никаких ценностей и не знаю, куда бежать. Все спасаются. Одни бегут по шоссе, другие прячутся от собственных мыслей. Чтобы не сойти с ума, силясь понять, что уже ушло и что наступит. Липы в Айе, которые даже гранатой, пожалуй, не повергнуть наземь, останутся такими же. Но глаза, которые станут смотреть на них, будут уже иными. Наивно думать, что приближающийся ураган проветрит только дворцы. Головы тоже. Что он сметет и что принесет взамен?

— Нет, ваше сиятельство, я действительно не знаю, что вам сказать.

Галди вопросительно смотрит на Дешё.

— А вы, господин старший лейтенант?

— Куда вы решили ехать? — задает Дешё встречный вопрос.

— Пока в Залу. Там у меня есть небольшое имение, приданое жены. А оттуда либо обратно сюда, либо еще дальше.

— Неужели все это так и должно было случиться?

— Так уже случилось. Вас, конечно, интересуют, как мне думается, не столько факты, сколько причины. Потерпите немного. Когда все уляжется... сможете выбрать по душе. Будут анализировать, высказывать всевозможные предположения, и каждый искренне будет верить, что прав только он и никто иной.

— Это звучит очень жестоко. Факты содержат в себе доброе или злое начало, независимо от последующей, подчас произвольной их оценки. Вспомните, о чем твердят уже теперь: гибель страны началась не с того, что мы вышли на берег Дона, а с того, что вернулись оттуда. Прошу прощения, ваше преподобие, речь идет не о вас, все это имеет более давнюю историю и более широкое значение... Ведь ответственность начинается не с последнего, а с первого шага.

— Ответственность — завершающий этап катастрофы. Впрочем, о ней только болтают. Что бы ни было, а всегда виноват побежденный, вот и все. Выпейте еще, чудесный коньяк.

Геза порывисто вскакивает.

— У кого поувесистее дубина и кто больше преуспел? И это все? Разве ничего не произошло с тех пор, как люди слезли с дерева и стали ходить по земле? Вы жили в Англии, должны знать Бэкона: знания — вот что создало человека... Начало антигитлеровской коалиции положено не стремлением победить немцев, а сознанием необходимости сплотиться против них. Да, именно в этом все начала и все концы! В сознании! В понимании того, что силе бесчеловечности надо противопоставить силу гуманности...

Галди замахал рукой.

— Я читал Бэкона Правда, люблю только его эссе, но это ведь опять-таки дело вкуса.— Он не вступает в спор с Гезой, обращается к Дешё: — Видите ли, с тех пор как я себя помню, я постоянно слышу, будто мы не годимся в руководители. Ерунда. Любой класс способен на все, пока он крепко держится в седле. Если же свалится...— Он смотрит на свою сигару, пожимает плечами.— Нам уже предъявили обвинение и вынесли приговор. Мы торговали национальной независимостью, прислуживали фашизму. Я слушаю английское радио. К тому же, знаю их. Они, как правило, ругают только чужого лакея.

— И все-таки речь идет не об этом,— говорит Дешё.

— И об этом тоже. Не будьте наивным, господин старший лейтенант. Подлость — тоже понятие относительное, все зависит от того, кто ее совершил.

— Извините, но это цинизм.

— Согласен. И готов выслушать вашу точку зрения.

Галлаи пялит воспаленные глаза в одну точку и, мне кажется, совершенно не понимает, о чем идет разговор. Он не переставая пьет и дошел до такой степени опьянения, когда уже решительно ничем не способен интересоваться. Секретарь управы как-то странно затих, призрак нависшей опасности успел стать для него реальностью. Благочинный вынул свой молитвенник, но не открыл его, а положил на колени и устало смотрит перед собой.

— Нет у меня точки зрения,— говорит Дешё.— Есть только чувство стыда.

— У вас? Я считаю, вы сделали все, что могли. Не часто встретишь офицера, имеющего столько наград.

— Все, кто способен мыслить, не могут не испытывать чувство стыда. После первого сражения я сказал себе: «Баста!» Потом повторял снова и снова: «Нет, нет!» — и всегда про себя. Если бы можно было нанизать все эти молчаливые «нет» на одну нитку, получилась бы страшная цепочка... В Берегове арестовали хозяина дома, где я жил, тщедушного портного со скрюченными руками. Он проклинал войну, немцев за то, что они погнали венгерских парней унавоживать чужую землю своими трупами и зверствуют, потеряв человеческий облик. Громким голосом. Понимаете? Этот несчастный осмелился бросить им это в лицо. А многого ли стоит внутренний протест? Ровным счетом ничего. Жалкий, постыдный компромисс. Надо было кричать... По-настоящему захотеть чего-то иного и стоять за него горой. Но мы не умели сделать выбор. Не смели решать. И трусливо продолжая осознанное преступление, лишь усугубляли свою вину. Беда не только в том, что мы совершили его, но и в том, что упустили возможность искупить вину за него. А это не только можно, но и нужно было сделать.

— Интересно... И это все?

— Оставьте этот пренебрежительный тон. Я плохо разбираюсь в политике, и вы по сравнению со мной, наверно, профессор в этой области. Но профессор, потерпевший крах, и отрицать это невозможно.

— Верно. Во всяком случае сейчас так может казаться. К сожалению, вы склонны считать все это... венгерским делом. Выкиньте из головы.

— Могло бы стать им. Да! Мне известно от немецких офицеров о внушительных национальных восстаниях в соседних странах.

— Но чего это стоит?

— Все равно погибать. Зачем же бессмысленно? И что бы вы ни говорили, но если есть сербское дело, румынское, чехословацкое, польское и всякое иное, то почему его не может быть у венгров? Почему? Я преподаватель истории и знаю все, что было здесь совершено в минувшее тысячелетие. И простите, но чем вы можете опровергнуть наше право стать под собственное знамя? Ведь именно тогда, когда мы дрались за самих себя, нас уважали и другие. Один мой начальник говорил, что наш несчастный регент помешался на войне. Но разве нашелся другой? Сторонник его или противник? Меня еще в Затисском крае пытались склонить к тому, чтобы я дал десятка два винтовок и немного патронов к ним... И я готов биться об заклад, что у нас вместо национального движения хватит смелости лишь на жалкие потуги, на заранее обреченные авантюры!.. Я с целой ротой... но что я мог сделать... Однако в вашей среде, господин барон, не нашлось ни одного, кто не пощадил бы своей собственной жизни уж коли не за что-нибудь другое, то хоть ради того, чтобы во всем блеске показать свою доблесть, раз все летит ко всем чертям. Да, я тоже понимаю, что нужны знамя и вождь, который бы поднял его... Но все ваши рассуждения не стоят и одной-единственной фразы Ювенала: «Ille crucem sceleris praetium tulit, hic diadema» *. Только это не может служить оправданием. Ведь в таком случае совершенно безразлично, назовемся ли мы венграми или зулусами... разве не в содержании главное? На прошлой неделе я ужинал в ресторане «Хунгария» с одним моим знакомым по фронту, капитаном Гредке. «Вы, венгры,— сказал он мне,— по вполне понятным причинам, более пессимистичны, чем мы, немцы: вместе со всевозможными переменами вы меняетесь сами, а это не очень-то способствует появлению у вас чувства уверенности». Но ведь было время, господин барон,— и вам это должно быть известно лучше, чем мне,— когда мы умели не только подвергаться переменам, но и сами их совершать.

Галди встает, внимательно разглядывает нежную акварель. Затем приближается к пепельнице, но не доходит до нее и сбивает пепел сигары прямо на ковер чудесной работы. Этим жестом он, по-видимому, подтвердил, что действительно решил покинуть свой дворец.

— Дорогой господин учитель,— заговорил он наконец, снова усаживаясь в кресло,— вы, может быть, неплохо знаете историю. Но мы ее делали. И я далеко не уверен, что это одно и то же. Что же тут истинно? Господин секретарь управы упомянул о шестистах годах. Это не совсем точно: ровно шестьсот сорок... Семейный архив останется здесь, если появится желание, можете им воспользоваться. Там вы обнаружите, что один из Галди был на стороне Фердинанда, а другой — при дворе Запойя. Когда-то в Дяпе стоял замок, если вы ходили туда собирать подснежники, то могли видеть разрушенные стены. В том замке после двухнедельной осады турки зарубили Болдижара Галди с его семьюдесятью воинами. Сын Болдижара, Иштван, заручившись охранной грамотой и поддержкой будайского паши, начал восстанавливать этот замок. Мы сражались в рядах армии Ракоци и против Ракоци. Можете представить себе такую ситуацию: у Майтеня один из Галди сложил оружие перед другим. Два Галди пали на поле боя в сорок восьмом году, возле Надьшалло и в Ваце, третий у стен Вилагоша пустил себе пулю в лоб, а четвертый был адъютантом у австрийского генерала от артиллерии. Нелепая наша история. Можно сказать, глупейшая. Но у нее есть своя неумолимая логика. Героев мы чтили, а благодаря соглашателям жили. Они сохранили родословное имение... Это, по вашим словам, низкая, беспринципная сделка. Но властелины маленькой страны оказываются в затруднительном положении, независимо от того, аристократы они или нет. Они вступают в сговор с более могущественными властелинами

---

* За то же преступление одному достается крест, другому — венок *(лат.)*.

за пределами страны и сохраняют свою власть или заключают союз с другими слоями населения внутри страны и тем самым обрекают себя на гибель. Кто же пойдет на это? Да и зачем? Богом данный народ все равно заведет себе новых господ, так не лучше ли, по мере возможности, сохранить старых. Нет, погодите, не перебивайте меня... Я задержу ваше внимание еще на одном и закончу. Известно ли вам о заявлении Пальмерстона в английском парламенте в самый трудный период нашей борьбы за свободу? Да? Вот, значит, как выглядит венгерское дело... Вы, интеллигенты, десятилетиями мучительно, в ожесточенных спорах ищете ответ на вопрос: кто же мы такие, венгры, собственно говоря,— Восток или Запад? Какая болтология, бог ты мой! Верхоглядство туристов. Глубокомысленные рассуждения тех, кто побывал где-то, но не пожил там. Нет, господин учитель... мы ни то, ни другое. Мы и есть Центральная Европа. Ее нельзя ни стереть с карты, ни уничтожить. Если Запад, руководствуясь интересами гегемонии и военной стратегии, захочет отстоять, вернее... сможет удержать эту взбалмошную, но важную часть Европы, гогда я, несмотря на свои исторические прегрешения, вернусь в Галд и, если к тому времени от моего дворца останутся одни руины, отстрою его заново. Но если они не смогут опередить советское наступление, что, к сожалению, наиболее вероятно, и в результате этого должны будут проявить умеренность на мирных переговорах, тогда... хоть слугам моим пока и не известно это, здесь уже ничто не будет моим, я знаю это наверняка.

— Вы верите, что русская оккупация окажет воздействие и на весь образ жизни?

— Дорогой мой, я скептик. Ни во что не верю. Я только умозаключаю. У нас — я имею в виду руководство и управленческо-чиновничий аппарат — утвердились традиционные крайности. Середины нет. Или куруц или наемник... или Кошут или Франц-Иосиф... А с девятнадцатого года и того хуже. Или белый или красный. Создать такой общественный строй, как, например, английская демократия, у нас просто некому — ни в верхах, ни в низах.— Он тушит сигару, встает и наполняет рюмки.— Я весьма рад встрече с вами,— говорит он и пьет коньяк.

Ему не хочется продолжать спор, выслушивать возражения Дешё, а особенно мои. Тем лучше. Мне кажется, что железной логике категорических суждений барона мы могли бы противопоставить разве что свое неосознанное недовольство, бессвязные обрывки мыслей и предположений. И это злит меня, но злюсь я скорее на себя, чем на Галди. Этот человек, хотя бы с точки зрения генеалогии одной семьи, ясно представляет себе свое положение и со всей беспощадностью делает необходимые выводы. Он нашел в себе мужество сделать именно то, на что мы оказались неспособны. Несмотря на шестьсот сорок лет, а может, благодаря им, он чуть ли не до фанатизма себялюбив. Но любит себя он не пассивно, а деятельно.

Когда мы спускались по лестнице, барон спросил:

— Господин старший лейтенант, какого вы мнения о русских? Я знал в Лондоне одного их дипломата, он очень гордился тем, что они обучили всех грамоте. Не это, конечно... помогло им дойти до Дуная. Допускаю, что они научились и кое-чему другому.

— Я слишком мало знаю их. Правда, в университете занимался и славистикой, но...

— Это любопытно. Вы, как говорится, словно в воду глядели. Значит, владеете русским?

— Более или менее. Но это ничего не значит. Меня интересовал только их язык, литература, история... и все.

— Но на фронте, вероятно, вы познакомились и с русской действительностью, а?

— Никому не пожелаю такого знакомства.

Шел дождь. Йожеф провожает нас до самых ворог, освещая дорогу фонарем с синим стеклом. Его прохудившиеся галоши хлюпают по грязи. Я ищу мелочь, старый слуга откланивается, желает господам спокойной ночи. По дороге на виноградник в промозглой кромешной тьме Галлаи, с шумом выдохнув воздух, чуть ли не со стоном освобождается от чрезмерно выпитой жидкости.

— До чего же застенчивое животное человек,— сонно бормочет он,— а очутится в шикарном салоне и готов лопнуть, но не осмелится выйти по нужде. Между прочим барон тоже всего лишь червяк. Уползает отсюда, чтоб на него не наступили. Нечего

сказать, иерархия: нищий червяк, почтенный червяк, благородный червяк, сиятельный червяк, черт бы их побрал, не хватало еще, чтобы в штаны напустил.

— Нет,— внезапно произносит Геза, и в голосе его звучит еле сдерживаемое негодование,— не верю, что все это происходит для того, чтобы ничего не изменилось. Дубину надо выбить из рук человека. Раз и навсегда. И вместо нее дать миру идеал, да, идеал — сила уже всем осточертела.

У меня нет никакого желания спорить; если в этом не было смысла во дворце, то здесь тем более. Идеал и человек? Страстная любовь с ее капризами и прихотями. С минутными наслаждениями и бесконечными склоками, без брачного союза. Вряд ли человек чему-либо еще отдавал столько энергии, сколько он уделяет полнейшей и необратимой дискредитации всего доброго, что он сам же созидает. Философский репертуар Гезы мне хорошо знаком, я знаю, что сейчас последуют мудрость истины и истины мудрецов, восторженное восхваление Платона, давно назревшая потребность в создании государства философов. Знаю также, что я, по обыкновению, отвечу словами того же Платона: до чего же милые создания люди! Постоянно врачуют, умножая и усугубляя тем самым свои недуги, и воображают, что их может исцелить какое-то необыкновенное средство, которое они по чьему-то совету испробуют, а состояние их не улучшается, наоборот, все больше ухудшается. И разве это не так же комически забавно, когда они прибегают к законодательству и воображают, что с помощью реформ можно покончить с гадостями и подлостью рода человеческого, не подозревая, что по существу они рубят голову сказочного змея... Мы уже сотни раз играли в эту игру, и она порядком надоела, но что поделаешь, если ничего лучшего не умеем придумать. Мой отец, уверяя, будто слышал от кого-то, хотя вполне возможно, что он сам придумал, только не решался признаться, что это его собственная мысль,— любил повторять: истина похожа на виноград, надо дождаться, пока он созреет и станет сладким, но человек нетерпелив, срывает его зеленым. На сей раз Геза не развивает свою мысль дальше и, повинуясь законам естества, тоже останавливается на обочине.

На фронте затишье. Кажется, будто его совсем не существует. На меня нахлынули воспоминания о давным-давно минувших осенних вечерах. Брички, подводы скрипят, подымаясь по дороге к винограднику, из открытых дверей винокурен лампы отбрасывают свет в темноту, слышится заразительный смех, громкий, раскатистый, на кострах шипит, поджариваясь, сало. Все это еще не ушло совсем, а в моем воображении встает как нечто бесконечно дорогое, но навсегда канувшее в вечность. Неужто это тоска по безвозвратно ушедшему? Мне жаль расставаться со всем, что у меня хотят отнять. Да и к чему мне думать о другом? Хоть и благодаря уловкам и счастливой удаче, но именно здесь я вышел в люди: городская знать приняла меня в свою среду, пусть даже не навсегда, а лишь на то время, пока все это не кончится. Дешё смотрит куда-то в темноту.

— Пытаюсь представить себе,— тихо говорит он,— тот кромешный ад, который обрушится на город. Огненные трассы снарядов, рушащиеся крыши домов, языки пламени, мечущиеся в ужасе люди. Но не могу. Сколько раз сам видел такое, ходил в атаку, оборонял с треском рассыпающиеся стены или бежал из них, и все же не могу вообразить себе картину разрушения. Возможно потому, что мне очень хочется, чтобы Галд уцелел. А может, здесь и не дойдет до решительной схватки... Мать хотела мне что-то сказать, очень хотела, но ты ведь знаешь... Да, капитан Гредке сказал мне еще кое-что. Барону я не стал говорить, все равно бесполезно, он ведь уезжает отсюда. К тому же он видит все — и прошлое, и будущее — иначе, по-другому.

На пештской стороне вспыхивает голубоватый луч прожектора, он взбирается все выше и выше, на миг освещает темный корпус Королевского замка, напоминающего огромный гроб. Вспыхивает еще один прожектор, и еще. Они лихорадочно ищут что-то среди лениво плывущих облаков, пучками разлетающихся искр рвутся зенитные снаряды, но звук разрывов долетает до нас гораздо позже.

— Видишь? Замок,— говорит Дешё.

— Вижу.

— Да... Знаешь, с этим самым Гредке я познакомился на фронте под Шепетовкой. Он командовал гаубичной батареей, отличный артиллерист. В нашу последнюю встречу он похлопал меня по плечу и сказал: «Может быть, снова будем соседями,

вот бы замечательно! Меня перебрасывают на дунайский оборонительный рубеж, венгров тоже туда подтягивают, либер Кальман, как-никак, а лучше, если рядом старые знакомые, спокойнее». Смекаешь?

— Что тут понимать?

— Дунайский оборонительный рубеж... значит, они пойдут и на это? Немцы обрекли столицу на гибель. Если Дунай станет фронтом, так и будет. Я уверен, что в этом им помогает наше командование. Приговоренный выступает на сей раз в роли подручного у палача и сам, желая оказать еще одну, последнюю услугу, набрасывает себе петлю на шею. Студентом третьего курса я был в замке, кафедра организовала экскурсию. Благоговейно обойдя залы Королевского дворца, мы пили жидковатое пиво в «Балте», ели соленые рогульки и пустились в банальные рассуждения о прошлом великолепии. «Историческая фальшь,— сердито ворчал профессор Селдени, руководитель нашей кафедры,— склеп в стиле барокко над развалинами дворца короля Матяша. И если вам нравится, что столь шикарной надгробной плитой Габсбурги придавили венгерское прошлое, то не восторгайтесь хоть в моем присутствии». Каким далеким прошлым стали Габсбурги! И как близко дунайский оборонительный рубеж. Долго ждать не придется — не только прошлое, но и настоящее придавит надгробная плита. А под развалинами не все ли равно, какой дворец окажется наверху, а какой окажется внизу.

Возле винокурни стоит подвода Бартала, кони с хрустом грызут удила. Вот черт носастый, опередил нас, того и гляди, еще беду накличет на нашу голову.

— Слушай, Геза, сказал бы своему отцу...

— Сам не пойму, что ему здесь нужно, просто сумасшедший!

Старик, свесив голову, сидя уснул. На лицо его падает тень от абажура лампы, освещен только лиловый массивный нос, похожий на перезревший на солнце баклажан. В углу сидит еще кто-то — в рваной солдатской шинели, разбитых ботинках, обросший щетиной, со сморщенным, как морда козы, лицом. Черт возьми, да ведь это же Ференц Фешюш-Яро. Он, кряхтя, с трудом поднимается и молча, ни слова не говоря нам, подходит к старому Барталу и трясет его, пытаясь разбудить. Из соседней комнаты в длинных подштанниках высунулся заспанный Шорки, почесал зад, что-то проворчал и закрыл дверь. Мы с недоумением смотрим друг на друга. Вижу по глазам — Дешё тоже узнал Фешюш-Яро. Геза первым обрел дар речи и с гневом набрасывается на отца.

— Ты что это затеял? Мы как с тобой уговаривались?! Я же сказал, что, кроме нас... Черт возьми, ты бы еще весь город сюда привез!

Бартал протирает глаза.

— Ну-ну, наконец-то пришли! Ждал-ждал да и вздремнул малость. Мне пора бы обратно, мать и ведать не ведает, где я шатаюсь в такую скверную погоду...

— Ты ответь сначала на вопрос!

— Ну, известное дело. Чего уж там...— Бартал встает, потягивается всем своим похожим на туго набитый мешок телом, расправляет плечи и, беспомощно моргая, смотрит на нас.— Да сядьте же вы. Глядеть жалко — стоят и стоят.

— Я не сяду.

— Лучше бы тебе сесть, сынок. Стоя, ты всегда нервничаешь. Неприятностей и без того хватает, ты-то хоть успокойся. Шальной снаряд угодил прямо в отару и всех моих чудесных овечек — на куски. Теперь вот бесплатно бросаюсь мясом, весь хутор объедается моей бараниной...

— Ну и что?

Фешюш-Яро окидывает каждого из нас взглядом, плотнее кутается в свою рваную шинелишку.

— Не утруждайте себя, дядюшка Бартал. Уж если вам не удается упросить, то мне и подавно не удастся.

Он идет к выходу, но Бартал тянет его назад.

— Останешься здесь!

Силой сажает он Фешюш-Яро на стул, который трещит под его тяжестью. Лютым становится этот старик, если разозлится; батраки дрожат перед ним, как листья на осине. Вот и сейчас, судя по всему, не миновать бури. Он кричит во всю глотку, сотрясая стены винокурни своим зычным голосом.

— Ты что, ничего не понял, господин доктор? Тебе известно, кто стоит в Старом Городе?

— Не кричи!

— Буду кричать! Я не прячусь!

— Ах вот оно что, тогда я...

— Прикуси язык! Я на задних лапках хожу перед тобой, наряжаю, как рождественскую елку, а ты... ты образованная скотина! Черт бы тебя подрал, да знаешь ли ты, кому я хочу помочь? Себе, что ли? Я уже свое отжил, если подохну, не велика беда... но тут я лучше тебя разбираюсь, хоть ты и ученый, господин доктор. Думаешь, я просто так в девятнадцатом году прятал исправника на сеновале, а теперь скрываю этого несчастного? Разве от меня зависит, каким временам наступить? Черта с два! Но я должен позаботиться, чтобы не навредить ни себе, ни своей семье.

— Такой ценой я...

— Какой ценой?

— Ты не желаешь понять, что я поступаю так не только ради своей шкуры? У меня есть и свои принципы, вот именно! Плевать мне на всю эту нилашистскую банду! На большее я не способен, никогда в жизни не держал в руках оружия, но тем, что плюю на них, я протестую против их подлой, безумной авантюры... во имя разума, да, да, и человечности. Протестую тем, что скрываюсь! Но и с теми, кто придет сюда, я не могу быть заодно. Неужто, право, ты не можешь понять, что сейчас такие сделки унижают человеческое достоинство?

— Сынок, родной мой, я только... Ведь ради тебя стараюсь, мне все равно, я уже... Но ты, мой сын, должен жить во что бы то ни стало, жить! Я готов на все ради того, чтобы ты жил, Гезушка, сыночек мой, я готов целовать руку хоть самому черту... как-нибудь переживем, обойдется, самое страшное — смерть, если человек погибает, его уже не воскресишь... все кончено...

— Дедка за репку, бабка за дедку,— тихо произносит Дешё, не глядя на Фешюш-Яро.— Такова реальная действительность. Все, кто скрывается, должны держаться друг за друга...

Бартал тыльной стороной ладони проводит по влажному лицу. Он настолько благодарен Дешё за эти слова, что смотрит на него поистине с собачьей преданностью, хватает за руку и судорожно пожимает.

— Убеди его хоть ты, Кальман... Нельзя быть щепетильным! Ни в коем случае нельзя, это же ужасное недомыслие...

— Сейчас нельзя,— подтверждает Дешё, делая ударение на первом слове.— Но что касается более позднего времени, то никто никому ничем не будет обязан. Когда минует фронт, каждый пойдет своей дорогой. Но до тех пор и меня и Фешюш-Яро преследуют одни и те же. Думаю, что я выражусь точно, если скажу: нас свели вместе не наши убеждения, а необходимость. И пока она существует, я снимаю все возражения...

Бартал приободряется.

— В том-то и дело, дорогие мои детки! Пока надо... А почему надо, ей-богу, нечего тут докапываться, отбросим к лешему все сомнения. Вы здесь, все вместе, и может статься, Геза, дорогой мой господин доктор... этот горемыка когда-нибудь замолвит словечко за тебя, а в случае чего и отблагодарит...

— Хватит, отец! Я согласен с доводами Кальмана, но насчет всего остального...— Он не договаривает, машет рукой и обращается к Фешюш-Яро: — Оставайся.

— Вы еврей? — презрительно взглянув на Фешюш-Яро, спрашивает Шорки.

Он брезгливо смотрит на Фешюш-Яро, лицо у него помято и похоже на вывернутую наизнанку требуху. Но тут же спохватывается, сообразив, что заговорил в присутствии командира без его разрешения, и рывком головы отдает честь.

— А если бы и так?

— Меня не интересует, подонок, за кого вы хотите себя выдать. Я спрашиваю, что вы в действительности за птица.

— Нет, он не еврей,— говорю я старшине. И вообще нелепо все это, пора кончать и отправляться спать.— Мы знаем его.

— Понимаю, господин лейтенант. Я спросил только потому, осмелюсь доложить, что у него на рукаве шинели след от повязки. Извольте взглянуть: видите, в том месте она не такая грязная.

— Я был в штрафной роте,— говорит Фешюш-Яро.

— Охотно верю. Туда попадали и замечательные парни. Но вы, осмелюсь доложить, сами, господин лейтенант, взгляните на его морду — очень уж он смахивает на раввина.

«В связи с прескверной историей собрал я вас,— сказал господин директор Мадараш на экстренно созванном собрании, когда Фешюш-Яро вышибали из гимназии.— С такой прескверной, что и язык не поворачивается сказать. Не хочется распространять заразу. Скажу только, что этот мерзкий щенок Ференц Фешюш-Яро опозорил добрую славу нашей гимназии. Будучи ее учеником, он занимался антинациональной, подрывной, безбожной деятельностью, за что навсегда лишается права обучаться не только в нашей гимназии, но и в любой средней школе страны». Фешюш-Яро беспомощно ревел перед всеми классами, выстроенными во дворе, где цвела сирень, где, казалось, зеленые кусты были осыпаны ослепительно белым искристым снегом и всюду с веток свисали тяжелые, пышные гроздья, а мальчику, выслушавшему беспощадный приговор, надо было сразу же уходить прочь, тогда как мы оставались, гордые сознанием своей невиновности и преданности богу и родине. Фешюш-Яро, едва передвигая ноги, подавленный позором, сгорбившись и понуро брел к выходу, волоча по земле свой ранец. Мы учились в разных классах: я и Дешё в «а», а Фешюш-Яро в «б», да и то меньше двух лет. Вышибли — значит вышибли. И все же мы узнали, что это за скверная история, да и не мудрено: разве можно что-нибудь скрыть в таком маленьком городке. Отец Фешюш-Яро, который, между прочим, работал механиком на кирпичном заводе, занимался коммунистической агитацией. Видимо, догадавшись, что за ним следят, он поручил сыну переправить листовки в надежное место, но Фери не успел выполнить поручение: его схватили. Узнав о случившемся, мы сначала жалели Фешюш-Яро и даже немного завидовали ему. Настоящий заговорщик, черт возьми, делал что-то запрещенное, таинственное, хоть и косвенно, а все же принимал в чем-то участие, а мы — нет. Мы демонстративно здоровались с ним на улице за руку: пусть видят все, какие мы храбрые. Но и это со временем прошло. Он устроился учеником в ремонтно-механическую мастерскую Шоллера, ходил в грязной, засаленной одежде, с нами не очень охотно общался, да и мы сами охладели к нему — дружба с ним компрометировала нас в глазах других. Все перестали здороваться с ним, пожимать руку. Может, это непорядочно — равнодушно и даже вызывающе проходить мимо человека, с которым еще так недавно дружил, делая вид, будто впервые видишь его, но так уж устроен мир. Возможно, и он размышлял над этим. Ну и пусть. Жизнь шла своим чередом. Любые симпатии разрушает житейская мудрость, которая сильнее иного закона: с сильным не борись, с богатым не судись. Господствующий класс способен на все, пока держится в седле. Следовательно, он способен лучше, чем кто бы то ни было, более того,— практически только он и обладает способностью разбираться во всем, начиная с национальной истории вплоть до программы варьете «Орфей». Хорошо бы поговорить на эту тему с Дешё, но он чем-то недоволен или разозлен, рывком сбрасывает с себя шинель.

— Холодно,— зябко поеживаясь, говорит он.— Не мешало бы протопить.

Бартал с готовностью отзывается на эти слова, радуясь тому, что все-таки навязал нам бородатого «ангела-спасителя».

— Дрова вон там в закутке. Не жалейте. Если не хватит, есть еще три-четыре кубометра во дворе, хорошие сухие дубовые дрова, надолго хватит, бог даст, к тому времени, может, все кончится... Ну, я пошел, а то мать небось спать не ложится, все ждет, присев на край кровати. Она всегда так сидит, когда я поздно прихожу домой.

Шорки отправляется за дровами. Дешё говорит ему вслед:

— Это мой последний приказ. С утра я уже не буду вашим начальником.

Старшина резко оборачивается. В его глубоко запавших глазах вспыхивает огонек.

— Господин старший лейтенант, не надо...

— Мне хотелось бы сложить с себя обязанности командира перед всей ротой. Хорошая была рота, прямо-таки замечательная...

Фешюш-Яро достает иголку, нитки и принимается зашивать прорехи на своей шинели. Он то и дело проводит ладонью по заросшему лицу. Вижу по его глазам, что ему хотелось бы побриться, мол, самому стыдно, что так опустился, но бритвы он не просит, а мы не предлагаем. В печке потрескивают дрова, четверо военных сидят вокруг, образуя как бы свой обособленный мир, может, задумались о роте, без слез оплакивая ее. Сейчас они олицетворяют собой саму сплоченность, во всяком случае дисциплина вот так, в единое целое никогда не могла бы соединить их. Геза трясет головой, словно желая прогнать прочь свои думы, но его неподвижный взгляд говорит о том, что они неотступно преследуют его.

Утром просыпаемся от грохота канонады. На юге где-то в районе Мандорской переправы идет артиллерийская дуэль. Мы прислушиваемся к ней, стоя на козлах позади винокурни.

— Идут на прорыв,— ворчит Галлаи,— черт их побери, умнее стали, в лоб не бьют, а пытаются обойти с юга весь будайский фронт.

Фешюш-Яро тоже отваживается выйти во двор. Все-таки кто-то, Шорки или Тарба, сжалился над ним, дал ему бритву, и он соскреб щетину. Странно он выглядит бритый, словно разделся донага.

— Сейчас барон, наверно, собирается в путь,— произносит Геза.

Мы пробираемся вдоль виноградника к кучам хмыза; оттуда из-за деревьев парка хорошо виден двор баронского дворца. Дождь перестал, порывистый холодный ветер рябит скопившиеся лужи. У парадного подъезда стоит дорожная карета с кожаным верхом, поодаль от нее три подводы. Возле конюшни седлают длинноногого ладного жеребца серой масти — верхового коня самого барона. В ворсистой охотничьей куртке, в сапогах с мягкими голенищами Галди неторопливо расхаживает меж подстриженными в виде шаров туями. Зато управляющий Бадалик суетится, с криком бегает по двору, размахивает толстой палкой.

— Дорнич, туды твою мать, куда ты запропастился!

Видно, третий кучер заснул. Знаю я этого Дорнича, угрюмого, ворчливого серба из Битты. Однажды он отвозил меня из дворца, дождь лил как из ведра, и он всю дорогу ругался, что лошади измокнут ни за что ни про что.

— Дорнич, лодырь окаянный, всыплю же я тебе!

Нагружают как раз его подводу; два дюжих батрака, напрягая все силы, пытаются поднять огромный коричневый ящик.

Они хором ухают, стонут, клянут бога и черта, но взвалить поклажу на подводу им никак не удается. Заметно, что батраки стараются так бросить на землю неподатливый ящик, чтобы все его содержимое разлетелось вдребезги.

— Месть плебеев,— смеется Галлаи, вызывая общее оживление.

Шорки плюется, глядя на этот бесплатный цирк,— я бы, дескать, показал им, как надо работать. И я верю, что он действительно призвал бы к порядку всю эту шатию.

— Скромная месть,— негромко высказывает свое мнение Фешюш-Яро,— за все то, что они получили от барона.

Бадалик больше не клянет Дорнича — наверно, лопнуло терпение — и набрасывается на батраков:

— Ах вы, мать вашу так, живее ставьте ящик!

Он даже не замечает, что у него не застегнута ширинка. Симпатичная чернявая горничная несет к карете корзину с провизией и, прыснув со смеху, советует Бадалику получше присматривать за своим «хозяйством», а не то, чего доброго, и потерять можно. Бадалик, сердито насупившись, застегивает прореху и, размахивая палкой, снова командует:

— Снимите задок! Эй ты, Моги, паршивец, лезь наверх! Подхватывай! А ты, Шиткень, хрен моржовый, держи покрепче! А ну, берем... Раз, два, взяли! Еще взяли!

Ветер доносит до нас каждое слово, тяжелые вздохи. Ящик медленно подается вверх и вот-вот достигнет дна подводы, но тут вдруг Моги с диким воплем хватается за живот, ящик кренится и опрокидывается. Шиткень и управляющий едва успевают отскочить в сторону.

— Что там стряслось с твоим животом, дышло тебе в печенку!

— Сам не знаю, господин, как ножом полоснуло.

— Что еще за напасть! Беги скорей, жалкий выродок, найди кого-нибудь вместо себя.

— Ничего, господин, уже отпустило.

— Не разговаривай, слазь оттуда, а ты, Шиткень, полезай наверх.

Галлаи прямо диву дается:

— Ну и дурачат же они управляющего.

Батраки шире расставляют ноги, сбрасывают пиджаки и, громко понукая друг друга, снова берутся за ящик. Теперь уже Моги внизу, а Шиткень наверху. В самый критический момент Бадалик оглушительно орет:

— Не упустите, канальи, опять!

В ответ на это те так рванули, что ящик перевалился через борт подводы и грохнулся на усыпанную галькой дорожку. Фешюш-Яро смеется вместе со всеми. Эта комедия становится все забавнее. Похоже, они решили проволынить с этим ящиком до прихода русских, не иначе. Тем временем во двор выходят обитатели многочисленных батрацких хибарок и сбиваются в кучу возле колодца. Странно, но никто из них даже не улыбнется. Женщины украдкой всхлипывают, мужчины хмуро наблюдают за возней у подъезда дворца. Завыла какая-то дворняжка, повернув морду навстречу холодному ветру, ее пинком прогоняют прочь. Неожиданно наступает тишина. Коричневый ящик, словно его тянут на веревке, плавно поднимается на подводу. От крайних батрацких хибарок идут два жандарма, они ведут Дорнича.

— Ну и ну! — говорит Фешюш-Яро.— Даже удрать и то без жандармов не могут.

Бадалик сокрушенно качает головой: мол, достукался норовистый серб, нечего было упрямиться, все равно придется ехать.

— А у тебя почему нет торбы? — набрасывается он на Шиткеня.— Почему не запасся провизией на дорогу?

Тот хватает свой пиджак, хитрое, с лукавинкой лицо его вытягивается от страха, и он со словами «Сейчас принесу» убегает. Жандармы подводят Дорнича к карете, собираясь доложить барону, но Галди машет рукой: мол, некогда, ехать пора. Со стороны Дуная из рваных облаков выскакивает истребитель и с пронзительным воем резко снижается.

— Черт возьми,— вырвалось у Галлаи,— еще, чего доброго, обстреляет.

Истребитель пикирует, чуть не задев крышу водокачки, но огня не открывает. Описав круг, он взмывает ввысь и исчезает в южном направлении. Дешё смотрит на меня, и мы в один голос произносим:

— «Юнкерс».

Из крайней лачуги, причитая, выбегает плоскогрудая, русоволосая женщина, жена Дорнича, в нерешительности останавливается у колодца и, прижав руки к животу, умолкает. Жандармский сержант выпускает руку Дорнича и подталкивает его к телеге: мол, иди, делай свое дело, не сопротивляйся, иначе узнаешь, почем фунт лиха. Костлявый, с заячьей мордой и большими ушами жандарм говорит вежливо, с опаской озирается вокруг. Дорнич шагает к своей подводе, взмахивает рукой: уж очень лошадей своих любит, не пройдет, чтоб не погладить. Но тут он резко поворачивается и медленно бредет обратно, всем своим видом давая понять, что ему нечего делать во дворце. Бадалик бросается ему наперерез, замахивается палкой, Дорнич увертывается и идет дальше.

— Стой! — раздраженно кричит ему вслед сержант.

Второй жандарм, помоложе, срывает с плеча винтовку и бежит за кучером. Догоняет и штыком гонит обратно. Дорнич молчит и нехотя, упираясь, как скотина, которую ведут на веревке, идет к подводе. Во всяком случае, отсюда, сверху, все это производит именно такое впечатление: люди загоняют упрямое животное в предназначенное для него место. Но как только полицейский опустил штык, кучер снова поворачивается обратно.

— Кончайте! — строго приказывает барон. Сержант хватает Дорнича за шиворот и изо всех сил толкает к лошадям. Заячье лицо его багровеет.

— Ах ты, дерьмо собачье, долго мне еще с тобой возиться?! — задыхаясь от злости, шипит он.

Дорнич пронзительно гортанным голосом выкрикивает какое-то сербское ругательство и вдруг бросается на жандарма. Сержант замахивается было на него прикладом, но в этот момент кучер пригнулся, и удар пришелся ему не в грудь, а в челюсть. Мы слышим даже, как что-то хрястнуло. Сержант пятится назад, отмахиваясь винтовкой.

— Сволочь,— ругается он, прижимаясь спиной к подводе,— сам виноват, я этого не хотел...

Превозмогая боль, Дорнич поднимается на четвереньки, но не только встать, даже стонать не может — челюсть у него отвисла, изо рта течет кровавая слюна. Тарба расталкивает нас.

— А-а, мать их в душу, вот я им покажу сейчас.

— Стой! — Дешё окриком останавливает его. Глаза Тарбы налились кровью, он матерно ругается не в силах оставаться в бездействии.— Стой!

Фешюш-Яро негодует:

— Если бы у меня было оружие, я бы показал им.

— Еще бы,— с презрением говорит Дешё,— одной винтовочкой истребил бы жандармов, потом весь их участок, нилашистов, немцев, генеральный штаб. На, бери мой пистолет и беги, если уж тебя так распирает от храбрости.

— Они ведь тоже подневольные,— ворчит Шорки,— что прикажут, то и выполняют.

Фешюш-Яро выдергивает из земли кол, в бессильной ярости ломает его о колено и бросает на землю. Со стороны батрацких лачуг бежит Шиткень, размахивая набитой под самую завязку торбой. Увидев все еще стоящего на четвереньках Дорнича, он останавливается как вкопанный и, чтобы не упасть, цепляется за распахнутые ворота. К нему подбегает Бадалик, берет под руку, подсаживает на подводу:

— Поезжай, поезжай, этот дурень достукался.

— Но я забыл захватить пальто, да и денег в кармане ни гроша...

— Пошевеливайся, не затевай хоть ты, за лошадьми приглядывай как следует, а не то шкуру спущу!

Шиткень молчит, сидит как пришибленный на козлах, прижимая к себе полотняную торбу. Наверно, на чем свет стоит клянет свою покорность, ведь мог бы остаться дома, раз уж сумел уйти.

— Поехали! — приказывает барон и, никого не удостоив даже взглядом, подходит к карете. Серого жеребца привязывают к задку подводы, на которой сидит Шиткень. Из дворца выбегает старый слуга с черным чемоданом, перевязанным ремнем, его легкое черное пальто развевается на ветру, как мантия.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство!

Галди высовывает голову из кареты.

— Нет,— коротко бросает он,— в твоем возрасте человеку лучше сидеть дома.

— Но, ваше сиятельство, как же вы обойдетесь без меня... ведь даже одеться не сможете сами... сиятельнейшая госпожа, не бросайте...

Барон машет рукой, и кучер подхлестывает лошадей. Бадалик, согнувшись в поклоне, стоит возле парадного подъезда, зажав в руке шляпу. Из-за туч проглянуло солнце, железная крыша водокачки сияет ослепительным блеском. Подводы, скрипя, едут прямо по желтому гравию, по которому раньше ездить не разрешалось — каждое утро его разравнивали граблями. Серый ржет, рвется. Оба жандарма шагают следом, замыкая шествие. Йожеф все еще стоит, свой чемодан он держит в руках, затем ставит на дорожку и садится на него в раздумье, как человек, у которого нет пути ни вперед, ни назад. Мне жаль старика. Пожалуй, больше, чем Дорнича. Сломанная челюсть срастется, а чувство отверженности не пройдет никогда. Он пристально смотрит вслед удаляющейся веренице подвод, освещенный холодными искрящимися лучами солнца, сидит среди зеленых, несмотря на позднюю осень, кустов, как нахохлившаяся черная старая птица. Батраки помогают Дорничу подняться, ведут к колодцу. Кто-то кричит: «Сбегайте за врачом!» Дорничне, увидев близко лицо своего мужа, со стоном покачнулась и всем своим худым телом шлепается на землю. Неплохо было бы послать кого-нибудь из батраков и, кстати, известить Клари. О чем известить? О том, что я совсем рядом,— нельзя. Что жив и здоров? Ерунда, мне вовсе не этого хочется — никакое послание не заменит мне близости налитого Клариного тела. Мною овладевают злость

и досада; черт возьми, не переспав с ней, подохнуть здесь, на этом винограднике, и унести с собой в преисподнюю это чувство неудовлетворенности, давно терзающее меня. «Сочельник, рождество...» Почему мне опять приходит на ум эта старая песня? Клари сама кроила себе белую шубку и тяжелое белое муаровое подвенечное платье, много дней возилась с ним, долго не могла решить, каким сделать воротник: высоким на пуговицах или с небольшим вырезом спереди. Она сидела на тахте, поджав под себя стройные ноги, ее красиво очерченные тугие бедра, как магнитом, притягивали мой взгляд, а перед ней был стол, заваленный рисунками всевозможных фасонов платья. «Я хочу, чтоб на нашей свадьбе все было белым, ослепительно белым, чтоб весь мир был светлым-светлым. Мы поедем на санках через всю площадь, по Церковной улице, звеня бубенцами. Эрне, милый, если ты меня по-настоящему любишь, позаботься о белых лошадях, если нигде не разыщешь, попроси у барона, он тебе не откажет». Она ни разу не заикнулась о нашей совместной жизни, о том, что мы будем делать, о чем говорить, куда станем вместе ходить. Все ее внимание было поглощено вещами, мебелью, одеждой, занавесками, столовыми приборами. Не раз мне приходило в голову, что мы с ней весьма несущественное приложение ко всему нас окружающему. Неправильно, извращенно понятые обязанности хозяйки дома... Или это умышленное, сознательное сдерживание чего-то иного? Помню, мне безумно захотелось просунуть руку между ее коленками. Она засмеялась и шлепнула меня по руке: мол, не смейте, сударь. Даже в предназначенной для нас обоих комнате с окнами в сад стоило мне только посмотреть на широкую, массивную тахту, как она тотчас тащила меня на улицу, хотя глаза у самой расширялись и в коричневых зрачках вспыхивали огоньки. Что за блажь лезет в голову! И именно сейчас... Неужели все это было игрой взбалмошной барышни? Или она и в самом деле скромница и целомудренная девушка, какую так упорно разыгрывает из себя?

Йожеф, все так же нахохлившись, сидит на чемодане; у Мандорской переправы продолжается перестрелка, над городом курятся белесые испарения, словно человеческое дыхание на морозе. Галлаи прислушивается, потом, громко сплюнув, произносит:

— Вот увидите, они окружат нас. Мы ждем их с фронта, а они ударят с тыла. Дадут нам под зад коленкой. Не ахти какое удачное место эта винокурня.

Геза мрачнеет.

— Paullo maiora canamus *. Мне совершенно безразлично, с какой стороны придет гибель... Все-таки ужасно тяжело после шестисот сорока лет уезжать отсюда на подводах... Как квартирант, которого вышвырнули на улицу. По крайней мере он был хоть настоящим барином. Тут теперь останутся одни суррогаты, хамы в выглаженных брюках.

Дешё пожимает плечами.

— Так было всегда. Стоит черту забрать великого монарха, как на смену ему появляются короли помельче.

— Какая ерунда,— резко возражает Фешюш-Яро,— мелкие и великие... Этому пришел конец, все люди станут равными, никто не будет помыкать ими, разум — вот кто будет властелином... Да, над каждым в отдельности и над всеми вместе будет властвовать осознанная необходимость!

Галлаи осклабился.

— Ну что ж, проповедуй этим глухим червякам, чтобы жили своим умом. Умереть можно со смеху: они начнут запрягать лошадей не спереди, а сзади воза, навешают постромки по бокам, и каждый будет тянуть в свою сторону, глупец. Разум! В очко играть и то вернее, там не только проиграть, но и выиграть можно. Но апеллировать к тому, чем обладает разве один из ста, изволь...

Геза вдруг, спохватившись, хлопает себя по лбу: мол, черт возьми, чего ж я тут торчу, бежит в дом и возвращается с сумкой. Не успели мы глазом моргнуть, как он уже мчался по парку к батрацким лачугам. Дешё порывается было что-то крикнуть ему вслед, но передумывает. Он понимает, что не вправе запретить Гезе оказать помощь кучеру.

— Это... рискованно? — беспокойно заморгав глазами, спрашивает Фешюш-Яро.— Еще кто-нибудь увяжется за ним на нашу голову.

---

* Поговорим о более важных вещах *(лат.)*.

— Конечно, рискованно,— отвечает Дешё и уходит в дом.

К тому времени, когда пришел Геза, Галлаи приготовил лечо. Собрал вокруг винокурни паприку, помидоры — правда, их прихватило морозом, но не беда, все лучше, чем всухомятку. Надо бы помыть овощи, но лейтенант вспомнил об этом лишь тогда, когда уже накрошил их в кастрюлю. Ничего, махнул он рукой, и микробы изжарятся в расплавленном жире. Видимо, Галлаи доставляло удовольствие выполнять обязанности повара и одновременно отдавать распоряжения двум помощникам: подай то, принеси это. Он ловко нарезает кружочками колбасу, тонкими ломтиками сало, неторопливо бросает их в кастрюлю с лечо и, раздувая широкие, как у жеребца, ноздри, обещает приготовить пищу богов, от которой сам святой Петр облизал бы пальчики.

— Ужасный перелом,— говорит Геза.— Если даже срастется, я не уверен, что рот будет нормально закрываться.

Он моет руки, закуривает.

— Я сказал отцу, чтобы захватил штатскую одежду, если поедет вечером сюда. Лучше будет, если все вы расстанетесь со своей формой.

Галлаи отходит от печки.

— Что там слышно?

— Не успел я наложить кучеру повязку, как пришел участковый врач.

— Он знает, что мы здесь?

— Нет. От меня, по крайней мере, ничего не узнал. Говорит, что русские стреляют уже с этой стороны Мандорской переправы.

Дешё кивает.

— Я так и предполагал. Там усилилась перестрелка.

— Да, они переправились еще ночью. Между Мандором и Биттой немцы заставили население копать противотанковые рвы, но вряд ли им удастся перекопать всю линию фронта.

— Ну а еще? — нетерпеливо спрашивает Фешюш-Яро.— Что еще нового?

Все молчат. Дешё в раздумье расхаживает взад и вперед. Шорки снимает тряпку, которую повязал вместо фартука.

— Господин старший лейтенант, еще не поздно... Пока дорога свободна, надо попытаться...

Голос его дрожит, глаза тревожно мечутся. Как-то сразу навалился на него страх от мысли, что после стольких сражений и походов теперь надвигается плен. Этого, пожалуй, даже и его командир, старший лейтенант, не продумал до конца, в любой час может случиться такое: откроется дверь и появится первый русский солдат! Нет, ждать нельзя, нужно уходить отсюда, все равно куда, лишь бы уйти, пока круг не замкнулся. На его костлявом лице выступила испарина, еще миг, и он выскочит из винокурни.

Дешё поднимает на него глаза.

— Да, Шорки, этого не избежать, придется пережить. Если уйдешь отсюда, при первой же проверке документов тебя кокнут.

— Но ведь так тоже! Господин старший лейтенант, я всегда вам...

— Если хочешь, можешь уходить. Я не держу, во всяком случае не стану приказывать, чтобы ты остался. Поступай, как знаешь, но под свою личную ответственность.

Тарба стал зеленым, как жаба.

— Я не могу оставаться...

Мне невольно вспомнилась его коллекция. Но ведь ее нет при нем, она осталась в роте. Правда, он оставил там только лоскуты, а все те ужасы, которые связаны с ними, носит в себе.

Галлаи чертыхается.

— Вы что, мать вашу так, рассудка лишились от страха? Переоденемся в штатское, никогда-де в армии не служили, кто бы ни спрашивал, мол, моя хата с краю, ничего не знаю! Но если даже дознаются, скажем, что мы дезертиры, скрываемся от своего военного трибунала, согласно Женевской конвенции это совсем другой коленкор... господин старший лейтенант, прикажи этим баранам. Ну, конечно, русские придут сюда, и вы думаете, они рыбку будут ловить в Дунае, ждать, пока каждый здесь грязь с себя смоет?

— Знать бы хоть,— думает вслух Геза,— как сказать по-русски «доктор».

— «Врач»,— отвечает Дешё.

— Ну конечно, ты ведь знаешь! Я и забыл совсем. Так это же чудесно! Если мы сможем договориться с ними, все будет в порядке. Меня пугало то, что придется объясняться жестами. Это ужасно, размахивать руками и не знать, правильно тебя поняли или нет... Однажды мне пришлось врачевать глухонемую женщину, она меня до того довела, что чуть было не вышвырнул ее из операционной, хотя всегда отношусь к больным с ангельским терпением.

— Накрывайте на стол,— говорит Галлаи,— лечо сейчас поспеет.

Тарба расставляет тарелки, Шорки раскладывает вилки и ножи. Делают они все ловко и старательно, словно надеясь найти забвение в этом пустяковом занятии, отвлечься, оттянуть время, не думать о том страшном, что надвигается на них. Когда Тарба ставит передо мной тарелку, мне кажется, что меня кто-то хватает за горло. Черт возьми, этими руками он вешал людей, и теперь я весь обед буду думать о том, как он набрасывал веревку на шею обреченных.

— А о чем же,— спрашивает Фешюш-Яро,— если не секрет, вы стали бы говорить с ними?

Он пока еще не на коне, его в любую минуту могут проучить нилашисты или кто-либо другой, но в голосе его уже чувствуется металл, да и не мудрено, ведь Мандорская переправа всего в каких-нибудь двадцати километрах отсюда. Галлаи не сдерживается и орет на него: ты, мол, не поднимай хвост, бездомный пес, не ты нас прячешь, а мы тебя, да, впрочем, мы вовсе и не хотим понравиться твоим сермяжным собратьям. А Дешё молчит, отворачивается от Фешюш-Яро и выглядывает в окно. Какие ржавые листья на орехе, такие темно-ржавые, словно на них запеклась кровь.

— Ну, хорошо,— соглашается Фешюш-Яро, не обращая внимания на Галлаи,— отрекайтесь от всего, что вы делали, мне до этого нет никакого дела, хотя уверен, что вы там не семечки лузгали. Вполне естественно, что вы расскажете по порядку обо всем, чего вы не делали: не подчинялись приказу, не являлись на призывной пункт, а под самый занавес, когда уже близилась развязка и расплата, не убивали всех подряд. Но что же вы делали? После многих «нет» каким же будет ваше «да»? Сможете ли вы сказать о том, что вы кое-что сделали и против войны, против нацистов, против всей той кровавой банды, которая ведет страну к гибели?

Все это надо было бы говорить не таким тоном, без ненужной претенциозности и придирок, с большей озабоченностью, симпатией и сердечностью. Тогда бы нас сильнее проняло. Но нельзя отрицать, что в словах его было рациональное зерно. Этот Фешюш-Яро исходит из реальной обстановки — в конце концов мы ждем прихода русских, а не англосаксов. Геза играет ножом, старательно обводит рисунок на тарелке, изображающий синюю гроздь винограда с синим стеблем, с синими листьями.

— Я не думаю,— говорит он,— что мы обязаны отчитываться перед русскими в своих поступках.

— А перед кем же?

— Прежде всего перед своей совестью. А затем перед теми венгерскими органами, которые после войны будут заниматься проверкой и по возможности объективно определят, чего мы могли избежать, чего нет.

— Хорошо, но ведь вы напали на русских! Вы чинили зверства у них или нет?

— Ну как же,— в тон ему с издевкой поддакивает Геза,— каждый раз, беря в руки шприц или скребок, я только и думал о том, что вот сейчас расправлюсь с ними.

— Я не тебя имею в виду. Ты врач — хотя, положим, не только врач, но и гражданин, стало быть, не так-то тут все просто... Но повторяю, не о тебе речь.

Галлаи облизывает края большой ложки.

— Ясно,— произносит он,— этот шут гороховый взялся поучать нас. Так послушай меня, дурья твоя башка, моя подпись стоит под приказом об объявлении войны, ты разве не видел? Потом я дал команду: шагом марш на Москву, вперед за родину и тому подобное — лейтенант запаса и агент по сбыту текстильных изделий Фридьеш Галлаи. Господин регент как раз сидел в клозете в тот момент и даже, поднатужившись, кричал оттуда: я не хочу, ребята, не буду рисковать ни одной каплей венгерской

крови! Но я настоял на своем: мол, брось валять дурака, дядюшка Миклош, давай затеем тотальную войну, чтобы наконец-то установить венгеро-японскую границу.

— Тут не до шуток!

— Совсем не до шуток! — Галлаи бросает ложку на стол, шея его багровеет, слюна, когда он кричит, брызжет по сторонам, и у меня окончательно пропадает аппетит.

— А ты чем занимался в штрафной роте?

— Устанавливал мины.

— Против кого? А?

— Ну... чего ж тут спрашивать? Против кого же еще?

— Договаривай, а не то размозжу башку, сучье отродье!

Дешё протестующе машет рукой: мол, ни к чему все это,— но Галлаи не унимается.

— Говори!

— Против русских...

— Вот то-то же! А зачем? Проглотил бы одну-две мины! Или бросил бы в господ офицеров!

— Как же я мог. Ты сам знаешь, что...

— Я-то знаю! Потому и держу язык за зубами, не болтаю зря! Мне приказывали, я делал. А ты? Что ты делал до того, как попал в штрафную роту? Ну-ка, отвечай!

— Сидел в тюрьме.

— А до того?

— Работал на Чепеле.

— У кого?

— У Вайс Манфреда.

— Что же там делал?

— Все, что и другие. В последнее время гильзы для снарядов.

— Ага! Зачем же ты их делал?

— Так ведь это военный завод. Там не поволынишь, все делается строго по приказу.

— Но почему ты не отказался? Не знал, по ком стреляет наша артиллерия?

— Знал. И все время говорил об этом, потому меня и выгнали.

— Меня меньше всего интересует, что ты молол! Точно так же как и тебе не интересно знать, о чем мы болтали между собой на фронте, о чем думали... Твои дела — вот что главное! Ну что ж, я скажу, почему ты повиновался: дрожал за свою ничтожную шкуру, не хотел подыхать... Отвечай! Ты хотел сдохнуть?

— Нет, конечно, но я...

— Этого вполне достаточно. Оправдания можешь оставить при себе...

— Мне не в чем оправдываться! Меня в любую минуту могли казнить, у нас в роте на глазах у всех расстреливали... А я по своей воле пошел на то, за что меня бросили в тюрьму. Мне никто не приказывал бороться за свои принципы, как приказывали вам на фронте! Я всегда действовал по собственным убеждениям, а это другое дело...

— А мы? Что же, по-твоему, черт возьми, нам просто надоело, и все? Мы же спасаемся от военного трибунала, уже давно отдали бы богу души, ведь мы стреляли в немцев, и притом из боевых винтовок, а не языком...

— Хватит! — резко обрывает Дешё.— Давайте обедать.

Фешюш-Яро оторопело смотрит на военных.

— Вы? Но я же не знал... Если бы знал, то...

— Нечего об этом болтать,— говорит Дешё.— Так уж заведено — о неудачах лучше всего скорее забыть.

— Вот оно что... Значит, вы стреляли? Как же это произошло?

— Господин старший лейтенант приказал открыть огонь,— поясняет Галлаи,— а мы и рады стараться. Такая баталия началась, всем чертям было жарко. Видел бы ты, как поджали хвост немцы, но вся эта перестрелка, наделавшая шуму на всю округу, продолжалась минут десять, а потом начались допросы и следствие, одно за другим. У тебя тоже имелась возможность душу отвести и пострелять, черт бы тебя побрал, выводишь тут людей из терпения... Ведь господин старший лейтенант предлагал тебе

свой пистолет. Он правильно говорит: раз ты такой горячий, пошел бы и продырявил жандармские черепа.

— Я оробел.

— Зачем же тогда болтаешь?

— Ну как ты не понимаешь? Хоть и боязно, но надо же все-таки что-нибудь делать... Я не только вас мучаю, но и сам терзаюсь, как только подумаю о всей этой постылой жизни. . И поделом! А как же иначе? Любая собака может кусать нас, ведь кем только мы не были: и предателями, и преступниками — кем хочешь, только не настоящими людьми. Нас истребляли все, кому не лень. А сколько уже перебили, вывели из строя! И нам не верили; мы выворачивали душу наизнанку, но верят кому угодно только не нам... И вот теперь приходится презирать самих себя за свою беспомощность.

Он сидит ссутулившись. Таким же сгорбленным он был и тогда, когда его исключали из гимназии.

— О чем говорилось в той листовке? — спрашиваю я у него. В эту минуту память воскресила все так отчетливо, словно мы стоим во дворе гимназии; я совершенно потерял ощущение времени и забыл, что речь идет совсем о другом.

— В какой?

— Помнишь директора Мадараша, он тебя бандитом обозвал за нее. Во дворе гимназии! Как раз цвела сирень, сплошное море белой сирени.

— Не знаю.

— Чего не знаешь?

— О чем говорилось в той листовке.

— Но ведь тебя схватили, когда ты их нес куда-то!

— Да, но я не читал. В ту пору я еще ничего подобного не читал.

— Стало быть, ты пострадал за своего отца?

— Да. Но это было так давно... Вот уже три года как нет отца, умирал он с горечью на душе, ибо тогда казалось, что германская военная машина подомнет под себя весь мир.

— Слушайте, остынет лечо,— говорит Галлаи,— на кой черт я тогда готовил, если вы тратите драгоценное время на болтовню.

Дешё садится.

— Думается мне,— тихо произносит он,— на многое придется взглянуть совершенно иначе. На войну и на все, что произошло до нее... пожалуй, на всю венгерскую историю, от начала до конца. Без легенд и оправданий Конечно, это касается не только меня, но и тебя, Фешюш-Яро, и, если хотите, всех вас.

— Ты хочешь сказать, что все мы одинаково...

— Нет. Но ты такой же обреченный, как и я... а почему? И не нужно упрощать ответ на это «почему». Нельзя. Если не будет полной объективности, появится слишком много героев и слишком мало негодяев, или наоборот. Но еще важнее установить степень ответственности тех, кому суждено остаться в живых... Тут нужен строгий индивидуальный подход — и честный, иначе опять начнется хаос и все перепутается.

— Да, конечно, но и до того, как это наступит... почему бы нам не попытаться? У нас есть кое-какое оружие, если мы истребим хотя бы одного врага, одного-единственного...

— Нет, это будет не более чем красивый жест, который не повлияет на исход войны...

— И это уже кое-что! Наш конкретный вклад!

— Который поможет нам, извини за откровенность, выслужиться перед победителем.

— Что ты хочешь этим сказать? Неужели ты считаешь — нет, это просто уму непостижимо! — что русские — всего-навсего великая держава, которая разгромит другую великую державу?

Этот Фешюш-Яро, на свой манер, разумеется, такой же фантазер, как и Дешё. Мне кажется, он слишком большие надежды возлагает на русских и в своем романтическом воображении рисует их с каким-то красным ореолом вокруг головы. Впрочем, это его дело, меня оно не интересует. Но он прав в том, что раз мы ориентируемся на победителя, нам нечего делать в стане проигравшего войну. Однако Дешё не в состоя-

нии вырваться из запутанного лабиринта бесплодных исторических аналогий, отрешиться от представления, будто Венгрия находится в центре мироздания и вокруг нее вращается весь мир. Глупости, нас не восемьдесят миллионов и тем более не двести. Но меня вынуждает возражать ему и желание не остаться безучастным: насколько я люблю Дешё, настолько же и завидую ему, в его присутствии мною всегда овладевает какое-то ревнивое чувство соперничества, боязнь выглядеть бледнее, чем он.

— Не понимаю,— сердито говорю я ему,— ты умеешь быть дьявольски умным, но у тебя нет самого примитивного чувства ориентировки, каким обладает любой червяк. Что дурного в том, что мы заслужим какую-то симпатию к себе? Если хочешь знать, наша судьба уже сейчас во многом зависит от русских, а в ближайшем будущем станет зависеть еще больше...

— Конечно,—с издевкой отвечает Дешё,— в лице нас семерых эту симпатию обретет вся нация. Да? Вернее, только шестерых, потому что Геза сразу же упадет в обморок, если понадобится взяться за оружие.

Геза качает головой.

— Буря в стакане воды. Не фиглярничайте и оставьте меня в покое... Разве мы собрались сюда для того, чтобы, не успев выбраться из одной ямы, свалиться в другую? Благодарю покорно. Вот достану вам штатскую одежду, на это я еще способен, но на большее. .

— Нет, нет! — взволнованно воскликнул Фешюш-Яро.— Не о том речь. Победитель и побежденный — вот и все ваши аргументы... Послушайте меня! Национальная независимость, право на самоопределение... не качай головой, Кальман, вы уже больше чем достаточно пребывали в роли скептиков; после войны все изменится, решительно все! Придем мы, рабочие, и вы тоже, чтобы занять место этих удирающих за границу высокопоставленных банкротов в ментиках, при саблях на боку. Вот почему и вам не мешало бы...

— Пожалуйста,— перебивает его Дешё.— Вот съедите лечо и можете идти занимать место.

Водворяется тишина. Все уткнулись в тарелки. Без Дешё здесь никто и шагу не сделает. Я тоже, чего уж греха таить, но сейчас бессмысленно продолжать настаивать — раз уж он заупрямился, знаю, что не уступит. Первым нарушает тишину Шорки.

— Идите вы к черту! — ворчит он.— У меня двое детей, если я погибну, кто их будет кормить?

Фешюш-Яро подпирает подбородок кулаком.

— У меня тоже двое. Даже домой не мог зайти взглянуть, как они там.

— А я? — глубоко запавшие глаза Шорки затуманиваются.— За два года всего один раз отпустили с фронта домой на побывку. Какие бы потери ни несла рота, она должна оставаться боеспособной, брехали мне каждый раз. Младший еще и говорить не начал, всего тринадцать месяцев и было-то ему.

Мы едим лечо. Неизвестно почему, я начинаю перебирать в памяти все, что читал из русских авторов. «Война и мир», «Воскресение», «Анна Каренина», погоди-ка, кое-что читал и Гоголя, да, да, «Тараса Бульбу» и «Шинель»... Что же он написал еще? Гоголь, Гоголь... ну, конечно, «Мертвые души»! «Записки охотника» — это уже Тургенев, он мне очень нравится, прекрасно пишет, непревзойденный стилист. Но это не все, что-то еще вертится в голове... Читал какой-то роман его, но никак не вспомню название. Ну ладно, пойдем дальше: Пушкин — «Медный всадник», «Евгений Онегин»; погиб на дуэли, не помню, в каком возрасте. Достоевский — обличитель удушливого, падшего мира. И Мережковский — очень нравился его «Юлиан Отступник»; и еще я любил Бунина, особенно запомнилась его новелла, где рассказывается о воре, да, да, о воре-неудачнике... Неужели это все? Нет, знаю также Горького, читал его «Мать», видел «Мещан». Обязательно надо было бы прочитать «Тихий Дон», говорят, это уже окно в сегодняшний русский мир, я даже заходил к издателю Черепфалви, но книга разошлась, а потом уже так и не довелось. Но чего это стоит? Просто реестр, второпях составленный моими простертыми вперед, подхлестываемыми испугом рефлексами. Напрасны все старания, нам придется иметь дело с солдатами, а не со знатоками литературы, чего доброго, еще только хуже разозлю их упоминанием о прочитанном мною. Тарба кладет на стол вилку и бледнеет. Он издает визгливый стон — ну, конечно,

объелся, дважды накладывал себе в тарелку жирное лечо. Хотя нет, он испуганно показывает глазами на окно: мол, взгляните туда.

— Что там? — спрашивает Дешё.

Он сидит спиной к окну и куском хлеба, насаженным на вилку, выбирает из тарелки жидкое лечо, но мы уже видим, как со стороны дворца в гору поднимается патруль. Начальник патруля одет в черную форму, это нилашист, на груди у него висит автомат, два его спутника — полевые жандармы.

Галлаи вскакивает.

— Другой выход из винокурни есть?

— Нет,— отвечает Геза, проводя языком по пересохшим губам.— Только окно... но отец заделал его железной решеткой.

— Каким угодно путем, но отсюда надо выбираться!

Дешё встает. Тщательно вытирает носовым платком губы, словно это самое главное, без чего нельзя обойтись сейчас.

— Самое худшее,— говорит он тихо,— бежать в панике. К дороге нам не пройти, возьмут голыми руками. Но они, может быть, не сюда идут.

Нет сюда. Начальник патруля сворачивает с дороги и направляется к винограднику Барталов. У крайнего ореха останавливается, прислушивается, затем подает знак, оба жандарма следуют за ним, взяв винтовки наперевес. Бог мой, неужто все закончится тем, что нас схватят в этой злосчастной винокурне, как в западне? Кто же мог выдать нас? Ведь сами они не могли прийти прямо сюда... это невозможно! Так или иначе, но они здесь, и нет никакого выхода, а я, дурак, ломаю голову, чтобы вспомнить о каком-то Тарасе Бульбе, Анне Карениной. Лучше бы глядел в оба, но я сглупил, надо же было забиться в эту дыру, какое безумие! И из пяти военных ни один не догадался установить наблюдение. У всех полные безысходности и отчаяния взгляды, побелевшие от страха губы чуть дрожат. Фешюш-Яро хватает топор, прислоненный к двери. Вот неразумный, ему изрешетят брюхо прежде, чем он успеет его поднять. Галлаи выскакивает в соседнюю комнату, приносит оттуда автомат, отводит назад затвор. Как бы стрелять не вздумал, черт его возьми, Чересней кишмя кишит немцами, все сбегутся сюда.

— Положи на место,— приказывает Дешё.

Галлаи, глянув на него, подчинился. Он кладет автомат, сразу как-то обмякнув, его мясистое лицо становится бледным, с резко выступившими лиловатыми прожилками. В свои двадцать пять лет он так разъелся, что, если бы не война, его, пожалуй, мог бы хватить удар.

— Есть кто-нибудь в доме?

В окно сквозь тюлевую занавеску виден нилашист. Он стоит, широко расставив ноги, шагах в десяти от двери.

— Не откликайтесь,— шепчет Геза,— может, они уйдут.

Мы знаем, что не уйдут. По всему видно: шли сюда в полной уверенности, что обнаружат нас. Ничего нет абсурднее и более раздражающего, чем ослепленность попавшего в беду человека, его беспредельно глупое ожидание сверхъестественного чуда. Дешё подходит к двери и распахивает ее.

— Пожалуйста, прошу вас,— приглашает он, словно это пришел почтальон.

— Выходи по одному! Руки вверх! И не вздумайте дурить, церемониться не станем.

Ну, конечно. Они все знали заранее. Дешё стоит на прежнем месте и, даже не повысив голоса, спрашивает:

— Почему не отдаете честь старшему по званию?

— Послушайте, бросьте валять дурака, мне некогда.

— Не разглядели мое воинское звание?

Нилашист махнул было рукой, но поскольку оба жандарма, щелкнув каблуками, отдают честь, он тоже нехотя поднимает руку и сразу ее опускает.

— Вот теперь совсем другое дело.

Еще немного, и я не выдержу. Сейчас закричу. Или побегу, пусть стреляют вдогонку, мне безразлично, лишь бы не стоять здесь, это невыносимо — разыгрывать фарс

перед трагическим концом. «Дезертиров приказываю расстреливать на месте...» Идя сюда, я видел этот приказ, подписанный генерал-полковником Берегффи, с трехцветной каймой наверху и бледно-зелеными скрещенными стрелами посередине. Он висел на стене дома Вибалди, возле статуи святого Яноша. Пытаюсь взять себя в руки, напрягая последние силы, нельзя давать волю вконец развинтившимся нервам, нет, нет, ни в коем случае...

— Выходите, господин старший лейтенант! В штабе вам уже никто не отдаст честь, будьте уверены!

— Сию минуту, друг. Захвачу шинель и документы.

— Не вздумайте бежать! Открою огонь без предупреждения.

Дешё возвращается. Галлаи срывающимся голосом упрашивает его:

— Давайте прорываться. Если не удастся... все равно терять нечего...

Дешё молчит. Не спеша идет обратно, я даже не заметил, как он взял автомат, только услышал резкую, короткую очередь. Трое пришельцев валятся на землю, как подкошенные.

Дешё стоит некоторое время в дверях, затем входит в комнату, кладет на стол автомат, отодвинув в сторону тарелки. Левой рукой он делает жест, давая понять, что иного выхода не было.

— Что же теперь? — заикаясь, спрашивает Галлаи, но в голосе его уже звучат заискивающие нотки. Геза хватает свою сумку.

— Пойду посмотрю, может, только ранены?

— Бесполезно,— отвечает Дешё.— Все мертвы.

Мы выходим за дверь, осматриваемся. Грохочут орудия, в Старом Городе рвутся мины, среди редких зарослей Чересшеша в сторону Битты ползут три немецких танка. Неуемный страх сменяется во мне чувством стыда и досады на самого себя: как это я позволил себе разволноваться, дрожать, словно пугливое животное. Вот бы узнать, кто нас выдал, и проучить предателя. Как легко убить сразу трех человек! До ужаса просто. Главное — действовать быстрее, безошибочнее и решительнее противной стороны, но для этого, прежде чем выстрелить, необходимо мобилизовать все умственные и нервные силы, вслед за чем из мозгового центра незамедлительно последует приказ глазам и рукам. Не так-то, стало быть, все просто! Почему стрелял именно Дешё, а не кто-нибудь другой? Еще вчера вечером он сказал, что с сегодняшнего утра никому не будет приказывать, и все же доказал — тем, что не потерял голову,— что он старший над нами. Он закуривает. Я смотрю на его руки, надеясь заметить дрожь в них, хотя бы как следствие потрясения, вызванного его двухминутной игрой с жизнью и смертью, а затем и самим убийством, хотя и вполне правомерным, но все-таки убийством людей. Но руки у него такие же, как всегда,— тонкие, загорелые, спокойные.

— Оттащите их за кучи хмыза,— приказывает он.— Оружие и патроны подобрать, могут еще пригодиться. Геза, дай мне грабли, нельзя оставлять следы крови. Тарба! Видишь ветвистый вяз у дороги? Станешь там в дозор, потом тебя сменят. Приготовьте провиант и все необходимое в дорогу на случай, если придется быстро уходить.

Фешюш-Яро только теперь выпустил из рук топор. С выражением признательности и трогательной преданности он приближается к Дешё.

— Кальман, я от всего сердца хотел бы тебе сказать...

— Ничего не говори. Я был в безвыходном положении.

Пули прошили жандармов ниже грудной клетки. На их шинелях кровавые обрывки внутренностей. На каждого нилашиста пришлось семь или восемь пуль. Меткая была очередь. Никто ничего не заметил? Из батрацких халуп все можно рассмотреть. Но вокруг ни души, окрестности дворца пустынны, на склоне виноградного холма тоже безлюдно, и лишь за белеющей вдали вершиной Гудимовой горы видны вспышки орудийных выстрелов. Кажется, будто зловеще-багровые сполохи состязаются в яркости с самим солнцем. Куда они бьют? Если Мандор уже взят, до Битты остается только один хутор, Элизапуста, названный так по имени бабки Галди, там всего пять или шесть домов. Неподалеку от них озерцо с холодной водой. Летом там любят купаться буйволы. Рыбы в нем нет, тем не менее озеро очень милое, наверно, и сейчас сонная водная гладь его тускло поблескивает под наклонившимися к ней ивами. Над станцией клубится дым — только что прибыл двенадцатичасовой будапештский поезд. Движение

еще не прервано, но все это кажется бессмысленным, ненужным. А разве есть смысл в том, что делаем мы? Меня разбирает любопытство: интересно, кто они, эти трое, надо бы обыскать карманы, но трупы залиты кровью. Тяжело дыша, оттаскиваем их за ноги, головы покачиваются из стороны в сторону, словно что-то отрицают, мол, мы ни в чем не виноваты, нас послали, вот мы и пришли. Шорки все-таки выворачивает их карманы. Документы его не интересуют. Оттопырив губы, он подсчитывает скудные трофеи: несколько перочинных ножиков, зажигалок и ключей, которыми уже никогда ничего не откроют.

— У нас есть еще не меньше сорока-пятидесяти минут,— говорит Дешё,— пока из комендатуры пришлют второй патруль.

Он выбирает себе автомат, мне дает второй. Галлаи берет третий. Фешюш-Яро тоже хотелось бы взять, но оружия больше нет, да и обращаться с ним он не умеет, никогда не стрелял из автомата. Зато ему достались два пистолета, которые он сунул в карманы. Геза все еще, низко склонившись, хлопочет над трупами. В студенческие годы, изучая анатомию, он в поезде строгал щербатым скальпелем человеческие кости. Девушки визжали в тамбуре студенческого вагона, а нас он отучил завтракать в дороге. Брось, говорили Гезе, если у тебя нутро не выворачивает, то другие этого не переносят! Его плохо знали: все это стоило ему гораздо бо́льших усилий, чем нам, наблюдавшим за его занятием со стороны. Но такой уж он человек: всю свою жизнь упрямо, мучительно пытается что-то преодолеть в себе. И в этом весь он, без чего даже трудно его представить. Возможно, он и сейчас преодолевает такое же внутреннее отвращение, как тогда, когда скреб кости. Гротескные потуги, отцу всегда твердит: naturam expellas furca, tamen usque recurret. И это действительно так: от самого себя никуда не уйдешь. свою вторую натуру и вилами не прогонишь; но он только других поучает, а сам ничему не научился в этом смысле. До слуха моего долетает резкий вой. Это «катюши». Вот дьявольское оружие: издают такой отвратительный, вселяющий ужас вой, будто несметное множество собак скулят на разные голоса. Но вот вой умолкает, и сразу же после него со страшным грохотом содрогается земля.

— Эй, ребята, Битту утюжат «катюши»! Впрочем, нет, это уже не Битту, а ближе, подножие Дяпа, в районе шоссейной дороги. Что там творится?

— Я же говорил,— произносит Галлаи,— они окружат нас. Неплохо бы спуститься в подвал, там и вино под рукой, напиться можно до чертиков, и пусть себе грохочет наверху, чихал я на них.

Но никто не трогается с места. Новый залп. Огненные снопы проносятся над холмами. С постоялого двора корчмаря Буденца выползают на дорогу танки. Вся южная часть города сразу оживляется, грохочут орудия, лают крупнокалиберные пулеметы, пришел в движение фронт у Старого Города. Русские перешли в наступление и со стороны Дуная.

— Да,— соглашается Дешё,— ты оказался прав, они действительно готовят настоящие клещи, чтобы никого не выпустить отсюда.

По ту сторону дворца по горной дороге спускаются немецкие вездеходы, за ними — грузовики с венгерскими пограничниками, примерно полбатальона, очевидно, предстоят жаркие бои.

— Подпоясаться ремнями, взять оружие! — всполошился Галлаи, щупая глухое ухо.— Господин старший лейтенант, если нарвутся на нас, выдадим себя за наблюдательный пункт, это самое разумное. Ах, черт возьми, хоть бы какой-нибудь паршивенький бинокль иметь под руками.

— У меня есть,— говорит Шорки, доставая из-за пазухи немецкий полевой бинокль.

— Отдай господину старшему лейтенанту, живо! Что это за обеспечение: ни футляра, ни ремешка. Шорки, ты низко пал в моих глазах.

— Осмелюсь доложить,— в тон ему рапортует тот,— с футляром трудно было бы стащить, пришлось так...

— Отставить разговоры, давай сюда бинокль.

— Слушаюсь, господин старший лейтенант.

Фешюш-Яро снимает с трупа одного из полевых жандармов поясной ремень, но от этого его воинская выправка не очень-то выигрывает: лохмотья шинели свисают из-под ремня сплошной бахромой. Он подбегает к Дешё:

— Кальман, дай на минутку, всего на минуточку посмотреть,— и торопливо подносит бинокль к глазам.

Какой огромный смысл заложен в этом скупом, коротком, но выразительном жесте! Ох, как долго Фешюш-Яро ждал этой минуты, и теперь он не в силах сдержать волнение. О, как невыразимо жаль, что они еще далеко, так далеко! Ничего не увидев, он, огорченный, возвращает бинокль. «Катюши» умолкли, но орудийная канонада продолжается, доносятся винтовочные выстрелы. Холодок в животе у меня не проходит, он разливается то вверх, то вниз, вот уже мерзнет большой палец на ноге, и мне почему-то захотелось, чтобы наши остановили их. Почему? Зачем? Какой смысл? Знаю ведь, что это все равно придется пережить, и чем быстрее, тем лучше... Но все-таки не сейчас, как-нибудь потом... Чтобы можно было еще гадать, что ждет нас в будущем, каким оно будет, найти в нем хоть чуточку хорошего для себя в это сумбурное время. Я все никак не могу подготовиться к столь коренным, необратимым переменам. Или, может быть, к ним и нельзя подготовиться? Нужно примириться с ними, приспособиться, и больше ничего, это все, что можно требовать от человека! В Элизапусте что-то горит, возможно, овин — такой плотный, бело-желтый, тяжелый дым дает пшеница. Однажды я видел его в Битте, когда там загорелся амбар. Но русские уже просочились западнее хутора, «катюши» начинают играть свою музыку со стороны Шаргакута. До чего же ловко орудуют эти мобильные пусковые установки! Прежде чем наша артиллерия успеет засечь их, они уже давно в другом месте. Никто не разговаривает, все погружены в раздумье. Нас давит тревога, как мокрая, тяжелая шинель. Стоя под вязами, Тарба тоже смотрит не назад, а вперед, удрученно следит за линией фронта. Она напоминает колышущийся на ветру камыш — то наклоняется вперед, то откатывается назад. Вот из машин выскакивают пограничники; какими крохотными, испуганно мечущимися жучками кажутся они издалека, но это хорошо: так труднее попасть в них. Они разворачиваются почти полукругом. С правого фланга, сохраняя равнение, продвигаются немцы. Непостижимо, даже сейчас они в состоянии соблюдать порядок.

— Вот теперь,— говорит Дешё, протягивая бинокль Фешюш-Яро,— теперь ты сможешь их увидеть.

Бинокль переходит из рук в руки. На опушке биттайского леса показываются русские танки, они ползут, как черепахи,— один, два, десять, пятнадцать, вот это силища: целый танковый полк! Они резко прибавляют скорость, веерообразно рассредоточиваются, а позади них крохотные фигурки — густая цепь пехотинцев. Даже в бинокль я не вижу ничего, кроме долгополых шинелей и блеска металла. Лиц совершенно нельзя разглядеть. С Гудимовой горы «бофорсы» ведут прицельный огонь, снаряды разрываются совсем близко, попадают в цель. Сразу два танка, окутавшись дымом, остановились на опушке леса. Должно быть, отличные наводчики стоят за орудиями на Гудимовой горе. Какая величественная панорама боя! Нам все кажется прекрасным, русские «катюши» поднимают пыль как раз посредине между двумя оборонительными линиями. Со стороны Дяпа минометы начинают нащупывать наших, но пока не причиняют им большого вреда, мины вспахивают землю в трехстах-четырехстах метрах перед пограничниками. Что это? Я не верю глазам своим! Какой-то безрассудный крестьянин трясется на груженной кукурузой подводе со стороны Битты к Галду. В лучах солнца кукуруза отливает золотом. Что за идиллия! Можно подумать, что в воздухе летают не снаряды, а воробьи. Крестьянин, правда, втянул голову в плечи, поля его шляпы почти касаются груди, но он упрямо продолжает ехать вперед. Если бы в повозке была не кукуруза, а золото, я бы все равно не согласился ехать туда. С завыванием следует залп за залпом. Отсюда, сверху, зрелище выглядит каким-то величественно-парадным Да, все же какое огромное количество металла и других разрушительных средств нужно израсходовать, пока наконец попадешь в какого-то человечка. Говорят, в первую мировую войну на каждого убитого пришлось по десять тысяч снарядов. Ой-ой-ой! Это же накрыло наших, прямое попадание. На какое-то мгновение все поле охватило пламенем.

— Скорее бинокль, что вы рот разинули!

Сколько недвижимых, раздавленных жучков на земле! Вставайте, ну же, ну, живее, не может быть... Разве наши не выслали разведку? Какой же безмозглый болван погнал прямо под огонь «катюш» пограничников? Галлаи выхватывает из моих рук бинокль, матерится.

— Скверные дела,— мрачно произносит он,— немногие уцелели, да и те улепетывают.

Дешё садится на каменную тумбу, лицо у него осунулось, он закуривает, но не делает ни одной затяжки, сигарета дымится в руке.

— Так будет теперь везде,— задумчиво произносит он,— перепашут всю землю, от границы до границы...

Он не успевает закончить. В дом вбегает Геза, плечи его содрогаются. Из Шаргакута ползут семь или восемь немецких танков, обходя русских с фланга. Сейчас и там начнется смертельная схватка. Головной немецкий танк выводит из строя три русских танка, прежде чем те успели заметить атакующих. Но вот русские разворачиваются на девяносто градусов, фронтом к немцам, и методически уничтожают все подразделение. Подбитые танки скрыты от глаз густыми клубами дыма. Наверно, точно так же дымил и мой «Ансальдо» под Коломыей, но я не мог этого увидеть, так как очнулся только в госпитале. Русские опять делают разворот, и как точно! Ну и самообладание же у них, черт возьми! Полным ходом они движутся со стороны Битты прямо на город.

— Не понимаю,— злится Галлаи,— куда эти олухи девали противотанковые орудия, должны же быть у нас противотанковые пушки, но куда, к лешему, они запропастились?

Уцелевшие немцы прыгают в окопы, воронки, бьют по танкам фауст-патронами. Два из них им удается подбить, но следом за танками на них обрушивается русская пехота. Тех, кто остался в живых, вытаскивают из окопов и гонят в тыл. Значит, все кончено? Продолжения не последует.

— Геза,— кричу я, вспомнив, что у нас нет другой одежды, кроме военной формы. Не хватает только, черт возьми, чтобы мы попали в самый настоящий плен, как сражавшиеся в этом бою.— Геза, где ты там, как же со штатской одеждой?

Он не слышит. Кругом сплошной грохот, все содрогается. Мною овладевает такая бешеная ярость, что я готов ломать и сокрушать все подряд. Вбегаю в дом, стаскиваю со стула Гезу, его заплаканное лицо еще больше выводит меня из терпения.

— Что ты ревешь, жалкий идиот, где штатская одежда?

— Да,— мямлит он,— ведь отец...

— Не тяни! По твоей вине мы угодим в Сибирь, но прежде я укокошу тебя!

— Дело в том, что отец только сегодня вечером...

— Поздно! А если совсем не придет, что тогда? Никто из нас и носа не высунет в город, мы все в военной форме!

— Да, ты прав. Но если хочешь, давай я... ну, конечно, как я раньше не сообразил, ведь иного выхода нет.

Он протирает очки, надевает помятую шляпу.

— Останешься здесь,— говорит Дешё.

Он стоит позади меня, я даже не заметил, как он вошел.

— Чужой жизни тебе не жаль! — сурово бросает он мне.— Лишь бы свою шкуру спасти!

— И твою тоже, если хочешь знать! И вообще давай без нотаций, я сыт ими по горло. Если собираешься сдаваться в плен, пожалуйста... но меня не заставишь!

— Обменяйся с Гезой одеждой и ступай.

— Меняйся сам! Осуждать других и я умею, но пойти на риск...

Он вышвыривает меня за дверь энергичным, но легким, без особых усилий движением, от которого я отлетаю до самого ореха. Какая у него сила в руках! Отталкиваюсь от дерева. Нет, нельзя все так оставить, иначе я стану всеобщим посмешищем, а это недопустимо. В глазах моих расплываются, как в тумане, какие-то красные круги, они заволакивают винокурню, и я ору что есть мочи:

— Укокошил жандармов, и теперь боишься показываться, но в свои грязные дела других не впутывай! — И я с остервенением бросаюсь на него, но Галлаи и Шорки оттаскивают меня.

— Вы что, белены объелись? — рявкает Галлаи...— Кто же мог знать, что все закончится сегодня утром.. Но их еще нет здесь, и вряд ли они скоро придут, не так быстро это делается, до тех пор, возможно, все прояснится, и не из-за чего затевать драку.

— Обойдусь без твоих советов, лучше поучи своего старшего лейтенанта. Я тоже могу толкнуть кого угодно, для этого не требуется особого ума.

— Он прав, господин старший лейтенант, нам нельзя между собой... ты не обижайся, нам нужно держаться друг за друга, не надо ссориться, очень прошу тебя.

Дешё молчит. Возвращается к каменной тумбе, садится на нее и снова наблюдает за полем боя. Какая же бестолковщина, уму непостижимо! Ловчим, изощряемся, рискуем, чтобы под конец из-за какого-то жалкого тряпья все пошло насмарку. Геза виновато, бочком выходит из дома.

— Ты прав,— шепчет он мне на ухо,— все-таки я должен был сходить, ведь у меня и повязка Красного Креста есть.

— Да иди ты к черту! Какой в том толк, что я прав.

К тому же я вовсе не прав, как не прав и Дешё, все мы не правы. Я хочу остаться дома, чего бы мне это ни стоило, и кого может интересовать моральная сторона этого дела, если меня уведут отсюда.

— Все это зря,— укоризненно говорит Фешюш-Яро,— раз уж мы здесь, то обязаны быть готовыми к самому худшему. Я на собственном опыте убедился и крепко зарубил себе на носу... с теми, кто с тобой заодно, не устраивай свары, не набрасывайся на них, если даже это иногда и кажется нужным. Повторяю: неправота в конечном счете может привести к непоправимой беде.

Идиот. Этот только теоретизирует, будто мы от нечего делать играем в покер и заботимся лишь о том, чтобы набрать больше очков. Мне совсем не стыдно, ни капельки.

— Что ты тут морализируешь? Это вовсе не относится к делу. Валить лес где-то за Уралом, это, по-твоему, справедливо?

— Что ж, если смотреть в корень и вспомнить, что творили оккупанты, то и в этом есть своя историческая справедливость.

— Заткнись! Ты разве не видишь, что война губит все? Глаза выпучил, а не видишь, что русские тоже стреляют не в воздух? Кто будет восстанавливать разрушенное? Они, что ли, пришлют сюда своих строителей?

— Нельзя же подходить так примитивно, главное в том...

— Знаю, что ты скажешь! Дешё тоже твердит: мол, не они начали, они только дают сдачи. Но ведь я тоже не начинал, почему же я должен расплачиваться, пусть угоняют «адмирала от кавалерии»* возводить стены, а Гитлер будет белить их, благо он маляр по специальности... Но голову даю на отсечение, что генералов не заставят работать, они и в плену будут жить припеваючи, так подавись же своей липовой справедливостью.

— Всем воздадут по заслугам, не беспокойся, не взирая на лица и ранги, на сей раз никто не отвертится.

— А в чем моя вина? Что я сделал?

— Ладно, давай не будем спорить, сейчас не время и не место... Со своей стороны я сделаю все возможное. Расскажу о вас все как есть и, надеюсь...

Губы его шевелятся, но я уже не слышу. Вокруг оглушительный грохот. «Бофорсы» обстреливают теперь Чересnеш и железнодорожное депо. Минометы, полевая артиллерия, станковые пулеметы, противотанковые пушки — все немецкое и венгерское оружие изрыгает огонь в ту сторону, откуда наши только что отступили. Бьют по русским, которые преследуют отступающих, но не столько по ним, сколько по домикам. В обеих частях города много небольших домишек с садами. Рушатся крыши, полуобезумевшие женщины мечутся среди развалин, загорается сразу вся, словно она из папье-маше, церковь в Новом Городе. Без шапок из здания станции выскакивают железнодорожники и неуклюже скатываются с насыпи. На углу улицы Безереди разбегается немноголюдное похоронное шествие, лошади мечутся из стороны в сторону по мостовой, гроб на

---

* Имеется в виду Хорти.

катафалке подпрыгивает, будто в нем лежит живой человек. Вижу венгерских солдат, попавших под обстрел. Им никак не выбраться из города, пули встречают их там, где они надеялись найти спасение. Сраженные падают на землю, уцелевшие сломя голову перебегают от одного дома к другому. Проклятые артиллеристы! Неужели они не видят, что город пал, какой же смысл продолжать разрушения и сеять смерть?! Из-за вершины Гудимовой горы со свистом проносятся снаряды. Так продолжается еще минут тридцать. Затем наступает тишина. Всю западную часть Нового Города заволокло пылью и дымом. После внезапно прекратившегося оглушительного грохота до нашего слуха доносится глухой гул отдаленной перестрелки, то едва различимые, то более громкие сливающиеся в одно целое вопли. Где теперь русские? Деревья Айи скрывают от моего взора дом Шуранди. Ну, теперь понадобятся эшелоны гробов. Господи, и это по воле твоей. Вдруг перед моими глазами — наш двор, там лежит платяной шкаф, а рядом — все его содержимое. На проволочной решетке беседки висит новый костюм моей матери. Гелетаине заходит в магазин, полы ее элегантного пальто развеваются, но магазина нет, вместо него — черная выгоревшая пустота за дверью, исчезает и Гелетаине, она растворилась в дыму. Там, где только что стояла она, откуда-то сверху возникла фигура бургомистра. Из его выпученных глаз текут слезы. «Старина, я не мог так сказать, сам понимаешь, положение обязывает, но от лица всех благодарю, от имени родины». Геза берет меня за плечо и уводит.

— Еще нельзя,— тараторит взволнованно он,— думаешь, мне не хочется, я тоже с ума схожу от неведения, что творится там, внизу, все бы стремглав побежали, но пока нельзя, старина, Дешё тоже говорит, что надо переждать...

Я непонимающе смотрю ему в лицо. Куда бежать, зачем? Я вовсе не собираюсь бежать. У меня и мысли такой не было. Но что, собственно, со мной произошло? Погодите-ка, когда наступила тишина... Нет, еще раньше — катафалк, сраженные солдаты... Но почему? Я хорошо помню, как внимательно следил за всем, все вбирал в себя, пожирая глазами, мог даже наблюдать за разрывами, так отчего же оборвалась эта тревожная, бесконечная нить наблюдений, словно кто-то резко рванул ее.

— Да, основательно обработали,— безучастным тоном резюмирует Шорки. Его запавшие глаза как бы оценивающе, методически ощупывают Новый Город.— Словно чудовищным градом побило.

Если бы его деревню исколошматили, вряд ли бы этот бандит остался таким равнодушным, он завыл бы белугой, рвал на себе волосы, ногтями откапывал трупы своих детей из-под руин. Но вместо того чтоб одернуть его, я заплакал. Меня будто жестоко избили, все болит, и как ни силюсь, я не могу сдержать слез.

— Ничего-ничего,— успокаивает Фешюш-Яро,— ты не стыдись.

Он видит, что я делаю над собой нечеловеческие усилия, его угловатое лицо становится мягким, располагающим к себе, глаза полны живого участия. Но он не в силах скрыть, что поражен, увидев меня плачущим,— видимо, считал просто не способным на такое. Тем не менее мне приятно слышать его слова. Не такой уж бездушный человек этот Фешюш-Яро, как я думал. Его даже на фоне вселенской беды способны растрогать слезы того, кто стонет и мучается рядом с ним. Нет, нет, он не перешагнет через него равнодушно. Но надо перестать плакать. Сейчас же, немедленно. Негоже давать волю своим чувствам, так легко и непроизвольно терять контроль над собой. Впредь надо крепче держать себя в руках, что бы ни стряслось со мной и вокруг меня, нужно сохранять самообладание и здравый рассудок. Очень важно всегда думать, заставлять свой мозг логично и последовательно мыслить, даже в самом безвыходном положении. Вот и сейчас. Быстрее. Но о чем думать? О том, чтобы черви не грызли друг друга. Черви, черви — какие глупости. Черви все равно будут ползать. Этой выходки никогда не прощу Дешё. Нельзя простить. Знаю, до конца дней моих буду терзаться сознанием того, что он нанес мне оскорбление, и я не отплатил ему. Как-то в дождливую погоду, когда я учился еще во втором классе начальной школы, несмотря на все старания обойти лужи на тротуаре, я все-таки угодил ногой в одну из них и забрызгал Фери Багара, сына мясника. Его белые чулки сплошь покрылись рыжими пятнами. Рассвирепев, он влепил мне пощечину, причем так неожиданно, что я только рот раскрыл от удивления. Мальчишки вокруг захохотали. С тех пор прошло восемнадцать лет, но каждый раз, завидев Багара, я испытываю мучительный стыд и ярость,

чувствую, как краснеет моя левая щека, и уже не могу разговаривать с ним так, как с другими людьми. Он, наверно, давно уже забыл про это. Кто дает пощечину, тот быстро забывает. Если бы я напомнил ему, он с жаром стал бы уверять, тряся головой: да что ты, господин управляющий, я — тебе, да как у тебя только язык повернулся сказать такое. Но с какой стати я стал бы ему напоминать об этом? Да и зачем? Спустя восемнадцать лет это не имеет никакого смысла. Надо было сразу отплатить, в тот же день. Все-таки я подсижу Дешё когда-нибудь, не может быть, чтобы в это сумасшедшее время он ни на чем не споткнулся. Вот уж тогда отыграюсь за все, отведу душу, а иначе до конца жизни... А может, он уже и не так далеко... конец жизни, а я тут беснуюсь, вынашивая какие-то низменные, мелочные планы мести. Но что поделаешь, приходится цепляться хоть за ничтожно малое, если уж большие дела и даже собственная жизнь от тебя не зависят. Опять все смешалось в голове, какие-то призраки перед глазами. Ах да! Одежда! Все-таки она нужна, это единственное, что безотлагательно надо бы сделать. И нечего спрашивать ни у кого. Дешё, разумеется, считает все это подлостью и эгоизмом. Там, внизу, в предсмертной агонии половина города, а мне хочется переодеться. Ерунда, ну их ко всем чертям, эти возвышенные чувства. Там, в кромешном аду, среди дымящихся руин, любой с перебитыми ногами и выпущенными наружу кишками тоже из последних сил старается переползти обратно в жизнь, в эту жалкую, постылую, висящую на волоске, не стоящую того, чтобы дорожить ею, но единственную жизнь. К тому же, от моего сочувствия тем, поверженным внизу, не станет легче, а себе я еще мог бы помочь. Если невозможно иначе, сам пойду, постараюсь пробраться фруктовыми садами по ту сторону Айи. Дешё продолжает сидеть, пристально глядя вдаль. Ветер гонит над городом черные клубы дыма. В такие минуты даже он перестает философствовать. Пропади ты пропадом вместе со своими эфемерными, педантичными, скрупулезными, заумными размышлениями, очень уж ты любишь анализировать, раскладывать все по полочкам в строгом логическом порядке: тут тебе и исторические перспективы, и все что угодно, но когда нужно что-нибудь быстро сообразить, принять единственно верное решение, ты беспомощно таращишь глаза, как больная кошка, вот и все. Иди к черту, мы все могли спастись, время и здравый смысл вступили в неразрешимый идиотский конфликт, кругом хаос, и нельзя навести порядок. В такое время преуспевают ловкачи и те, кто умеет быстро и безошибочно ориентироваться в любой обстановке. Ты меня вышвырнул за дверь... Можешь говорить потом, что это была всего лишь вспышка, реакция, но в том-то и дело, что тебе просто нечего было противопоставить моей неотразимой правде. Не понимаю, что руководило им, когда он стрелял в жандармов и сразил их в мгновение ока. Наверно, заранее принял такое решение. Да, не иначе. Если бы оно еще не созрело, он дал бы схватить себя, и его повели бы, как теленка. Но, видимо, еще с момента получения повестки в военный трибунал он перебрал в уме все варианты, и в конце концов из многих выбрал этот, единственный.

— Господин старший лейтенант,— обращается к нему Шорки,— у нас же под боком огромный дворец, мы совсем забыли о нем.

Галлаи машет рукой.

— Глупый червяк. Думаешь, там тебя не найдут?

— Но я не об этом, осмелюсь доложить. У таких господ столько барахла — они ведь с утра до вечера только и делают, что переодеваются. Этот барин тоже не мог увезти все свое добро, вот о чем я подумал...

— Дворец наверняка заперли на замок после отъезда владельцев.

— Шутить изволите, осмелюсь доложить, еще не изобретен такой замок...

Я вскрикиваю от радости. Только этот мрачный мужик не лишился здравого рассудка, мне прямо-таки хочется расцеловать его разбойничью морду.

— Шорки, ты настоящий клад! Уверен, вернешься не с пустыми руками, там есть чем поживиться.

— Не сомневайтесь, господин лейтенант. В миг обернусь, приволоку вещи, не такое уж это мудреное дело, можете положиться на меня.

Он совсем преобразился, откуда только прыть взялась. Воображение рисует ему несметные сокровища дворца, поскорее бы проникнуть туда, не дать никому опередить

себя. Галлан кричит ему вслед, чтобы оставил оружие, но старшина не слышит — он уже возле парка.

— Моя мать,— задумчиво произносит Дешё,— даже ходить не может.

Не в силах смотреть на поверженный город, он отворачивается, на лице его лежит печать пережитых страданий. Мне не жаль его, у других тоже есть матери. К нему подходит Фешюш-Яро.

— Не унывай, ты не один здесь, мы все обязаны жить, Кальман, жить и для других.

Что это он всех утешает, как старая плаксивая сестра милосердия. Бросить бы их всех и уйти ко всем чертям, подальше от этих сентиментальных субъектов!

— Без посторонней помощи она даже во двор не сможет выйти,— продолжает Дешё.— Весной я выкопал яму возле дома, там можно укрыться, но ей не дойти туда, а у соседей и своих забот хватает.

— Смотрите! — кричит Тарба.

Со стороны Шаргакутского шоссе на гору поднимаются три пограничника. Средний волочит раненую ногу, двое остальных то и дело оборачиваются назад, изредка стреляют неизвестно куда, позади них я никого не вижу. Дешё встает, идет им навстречу.

— Куда вы, ребята?

Коренастый невысокого роста ефрейтор с черной шевелюрой поднимает на старшего лейтенанта налитые кровью глаза, чести не отдает и, ни слова не говоря, берет винтовку наперевес.

— Пропустите.

Дешё пожимает плечами.

— Я не собираюсь задерживать вас или отправлять обратно.

— А куда же?

— Никуда...

— Тогда пропустите. Нам за железную дорогу...

— Поздно.

Ефрейтор озирается вокруг, воспаленными глазами обшаривает местность. Ему трудно поверить, что все кончено и нет никакого выхода, но, убедившись в этом, он в сердцах отбрасывает в сторону свою винтовку. Мы следуем его примеру. Со стороны дворца походным шагом приближается около взвода русских солдат. Впереди них идет Шорки с поднятыми над головой руками. Тарба вскрикивает, как безумный, бежит, но тотчас останавливается и приставляет дуло к груди. Галлан вырывает у него автомат.

— Отдайте, Христом богом молю! Мне нельзя попасть к ним в руки...

Дешё обрывает его:

— Веди себя смирно. Они ничего не узнают.

Тарба дрожит всем телом. Наше оружие сложено в кучу под орехом. Раненный в ногу пограничник садится, у него начинается рвота, но он не в силах даже отвернуть в сторону голову.

— Крепись,— подбадривает его ефрейтор.

Но, чувствуя, что ничем не может облегчить его страдания, он подходит к нему, одной рукой поддерживает голову, другой очищает налипшую к шинели грязь. Затем вытягивается, почти как по команде «смирно», приосанивается. Просто диву даешься, с каким достоинством этот изнуренный человек умеет встретить конец своей военной карьеры. Русские от нас в двухстах шагах. Говорят, будто они ненавидят пленных офицеров, а кое-кого даже расстреливают на месте. Около полусотни автоматов направлены на нас, покачиваясь то вверх, то вниз в такт шагам. Галлаи поднимает грязный носовой платок, размахивает им, белая тряпка беспокойно полощется в воздухе. Они должны видеть, что мы безоружны. Убитые жандармы! Почему же Дешё не кричит, что застрелил их, ведь это зачтется, это... По лицу Фешюш-Яро текут слезы, он готов рвануться им навстречу, но силы отказывают ему, и он только плачет, время от времени взмахивая своими обессиленными руками. Вот дурень! Его поведение могут принять за что угодно, только не за радостное приветствие. Они уже в двадцати шагах. Ноги мои наливаются свинцом, меня одолевает страшная усталость. Нечто подобное испытываешь обычно после кошмарного сна. Я весь в поту, мне хочется куда-то бежать, спа-

саться от неведомого чудовища или дьявольской машины, но ноги не повинуются. В бессильной ярости я готов все сокрушить на своем пути, хотя и знаю, что все мои потуги тщетны. Дешё выходит вперед, подносит руку к фуражке, докладывает по-русски. Молодой офицер, видимо командир взвода, останавливается, окидывает нас взглядом и с любопытством смотрит на Дешё. «Толстой, Бунин, Горький, Тургенев»,— твержу про себя. В каком пиковом положении оказался я — ни слова не понимаю по-русски, даже объясниться с ними не могу, а то бы сказал: мол, посмотрите на меня, разве я похож на преступника, я никому не причинил зла. Фешюш-Яро подходит к офицеру, со слезами на глазах что-то лопочет, бьет себя в грудь, протягивает руку. Офицер смущенно пожимает ее, солдаты удивленно смотрят на него. Они не сделали ни одного выстрела. И теперь уже наверняка не будут стрелять, минута опасности миновала. Какая бурная, невыразимая радость разливается по телу, все ликует во мне, за направленными на нас автоматами вижу шапки, лица, шинели, сапоги, на шинелях полевые погоны, солдаты примерно одного возраста со мной и даже помоложе.

— Толстой, Бунин, Горький, Тургенев,— произношу я вслух. Офицер таращит на меня глаза, солдаты окружают винокурню, в доме звучат их громкие голоса, затем они оживленной ватагой выходят оттуда и наперебой упрашивают лейтенанта разрешить им отведать вина.

— Так точно,— подтверждает Дешё,— немцев нет, зато есть вино.

Лейтенант не знает, как быть, посматривает назад, откуда они пришли, наконец что-то говорит Дешё.

— Просит дать по стакану вина каждому,— переводит Дешё.

— Дайте,— говорит Геза.— А я пока перевяжу пограничника.

Мы все бежим в подвал, Шорки первый делает изрядный глоток из ливера:

— Осмелюсь доложить, господа русские, вино отменное, ничем не отравленное, не бойтесь, пейте на здоровье.

Первым стакан осушает лейтенант, затем он подходит к краю стола и следит, чтобы кому-нибудь не вздумалось повторить. Мы разливаем вино, как заправские виночерпии, но нам они не предлагают выпить с ними или чокнуться. Все это продолжается не больше десяти минут, лейтенант подает знак, и взвод устремляется в гору, рассыпавшись веером в винограднике.

— А что будет с нами? — разочарованно спрашивает Фешюш-Яро.

— Что за черт,— разводит руками Галлаи,— даже оружие оставили здесь, если бы мы захотели, всех могли бы перебить.

Шорки подходит к двери, в руках его полный ливер, он запрокидывает голову и залпом выпивает его содержимое.

— И это все? — осклабясь, обводит он всех взглядом.— Напрасно мы трусили, господин старший лейтенант. Если так будет и впредь, я готов хоть по три раза в день сдаваться в плен.

— Этот взвод,— объясняет Дешё,— подразделение какого-то крупного гвардейского соединения. Его задача — прочесать местность и обезвредить оторвавшиеся во время отступления разрозненные группы немецких и венгерских солдат, остальное их не интересует.

— А что они сказали относительно нас?

— Велели ждать здесь и без оружия. Чтобы не было ни единого патрона. Придут тыловые части, нас соберут. Или, если не терпится, сказал лейтенант, можно идти в город и явиться в комендатуру.

— Уже и комендатура есть?

— Откуда мне знать.

— Черта лысого, не терпится,— говорит Галлаи.— Впрочем, если мы отсюда смоемся, я не настолько глуп, чтобы являться в комендатуру.

— Но эта проклятая ферма!

— Шорки, что во дворце? Пошарил там?

— Меня накрыли, как только сунулся туда.

— Идемте,— предлагает Фешюш-Яро.— Видите, они вас не съели. Даже лучше, что мы встретились с ними так. Только об одном прошу, Кальман, сразу же скажи им, что я коммунист, я отвечу за вас.

— Ну как? — спрашиваю я снова задумавшегося Дешё.— У тебя вновь возникают сомнения морального порядка? Оставь записку, укажи в ней наши адреса, чтоб им не пришлось долго искать нас.

Он молчит и еще ниже опускает голову. Геза перевязывает пограничника.

— Не больно наступать? — спрашивает он солдата.

Тот устремляет на него благодарный взгляд. Мы не оставим их здесь.

— Сюда дотащился кое-как. Вырежу себе палку, и полный порядок.

— Где-то здесь отцовская палка,— говорит Геза,— сейчас поищу.— Он выпрямляется, трет поясницу.— Повреждены мягкие ткани,— объясняет он.— Пуля прошла навылет, и это его счастье. Я наложил ультрасептиловую повязку, но если состояние ухудшится, придется сделать ему инъекцию.

Дешё поднимает из кучи автомат.

— Давайте отнесем в дом. Запрем дверь и, если понадобится, сможем отчитаться.

— А как с трупами?

— Где-нибудь доложим, чтобы их похоронили.

— А куда сейчас?

Галлаи чертыхается.

— Во дворец, куда же еще... Вы что, забыли?

Как же, забыли! Я готов бежать туда, сбросить с себя опостылевшую форму, переодеться в штатское и — немедленно в город, теперь мне все нипочем, с чем бы ни пришлось там встретиться. Я жив, могу идти куда угодно, это же замечательно, все во мне ликует — необузданно, безгранично — от одной мысли, что я остался жив.

— Пошевеливайтесь,— тороплю я остальных, растянувшихся длинной цепочкой.

За мной идет Дешё, потом Геза, Галлаи, Шорки, Тарба, Фешюш-Яро, ефрейтор, поддерживающий раненого; замыкает шествие третий пограничник, то и дело озирающийся по сторонам. Да не бойся ты, ослиная голова, теперь мы и за тебя сумеем постоять. Среди стогов на гумне валяется труп лошади, куда ее ранило — не видно, а может, загнали до смерти; в добротном, на швейцарский манер построенном хлеву ревут коровы, нигде ни души, двери батрацких домишек закрыты, только кое-где из труб поднимается чуть заметная струйка дыма. Но тут мы услышали шум и, застыв в оцепенении, увидели, как из дворца один за другим выскакивают солдаты — те, что идут вслед за передовыми частями... Черт возьми, быстрее назад, за стога, но уже поздно, над головами у нас свистят пули. В один миг нас окружают, дулами автоматов заставляют поднять руки. Дешё тщетно пытается что-то объяснить, они и слушать не хотят, требуют, чтобы мы подняли руки, нечего, мол, тут рассуждать. Вот так влипли! Что же теперь с нами будет? Они снуют вокруг нас, спорят между собой, мы тоже пытаемся что-то объяснять; в нос мне ударил запах пороха, чем же все это кончится?.. Фешюш-Яро недоумевающе таращит глаза, не в силах что-либо понять. Наконец из дворца выходит чуть подвыпивший сержант, среднего роста, из-под шапки выбивается прядь кудрявых волос, на груди гимнастерки жирные пятна, автомат за плечом, с пояса свисает похожий на саблю клинок с медной рукояткой. Один его ус топорщится, другой свисает вниз, и он нещадно дергает его, словно это не его, а чей-то чужой щетинистый пучок. Он не спеша обходит нас, с таким довольным видом, будто захватил целую отару овец. Прямо-таки наслаждается нашим беспомощным положением. Презрительно произносит «офицеры», это слово и я понимаю; стало быть, прежде всего хочет дать нам понять, насколько ему ненавистны вражеские офицеры. Но вот он наконец бросает что-то злобное в лицо Дешё.

— Мы проклятые фашисты,— переводит Дешё,— таково его мнение.

— Какой идиотизм! С чего он взял?

— Спроси у него.

— Ты ведь знаешь язык, убеди...

Фешюш-Яро нервно суетится между Дешё и сержантом, будто не в состоянии решить, какой стороны ему держаться.

— Да, да, важно, чтобы ты сказал, о чем я просил. Почему ты не объяснишь ему?

— Протестую! — кричит Геза. Вернее, не кричит, а визжит. Мне почему-то хочется захохотать: с поднятыми вверх над тщедушной фигурой руками он похож на чучело

вороны, которое повесили сушить.— Протестую, это клевета! Я никогда не состоял ни в какой партии или союзе!

Дешё опускает руки и сжимает кулаки. Он неподвижен, как мертвец. Сержант с бранью устремляется на него, выхватывает клинок. Дешё резко и гневно говорит ему какие-то слова, сейчас произойдет что-то ужасное, они стоят лицом к лицу, как два разъяренных пса, готовых вцепиться друг в друга, затем сержант вкладывает клинок обратно в ножны и отворачивается.

— Я предупредил его,— говорит дрожащим голосом Дешё,— что Женевская конвенция берет под защиту всех военнопленных, в том числе и офицеров. К тому же нас взяли не в бою и безоружными...

Галлаи причитает:

— Вот не повезло! Лучше бы нас взяли гвардейцы, а эти тыловики, чего доброго, пустят в расход ни за что ни про что. Поглядите на них, плевать им на Женевскую конвенцию.

— Он упирает на то,— взволнованно продолжает Дешё,— что мы тоже не щадили их офицеров. Надо же сначала убедиться, что я принадлежу к числу этих «мы» и тоже допускал беззаконие.

— Возможно, ты так не поступал,— говорит Фешюш-Яро,— я даже уверен в этом. Но злодеяния, которые творили у них, они приписывают всем нам, и тут нечего пенять.

— Так пусть не приписывают! Очень плохо, если они будут огульно обвинять всех. К людям нужно подходить дифференцированно!

— Что ты злишься на меня, я не был там. Меня держали здесь, на сборке мин.

Сержант кричит. Дешё снова поднимает руки.

— Придется вернуться в винокурню. Они требуют сдать им оружие.

— Что ж, пошли,— соглашается Фешюш-Яро,— больше ничего не остается.

Нас конвоирует человек двадцать. Немеют руки, но опускать не разрешают, то и дело покрикивают: «Руки вверх!». Берут у Гезы ключ, сами открывают дверь, выпускают очередь в дом, просто так, на всякий случай, смахивают со стола рюмки. Оружие сложено на топчане, они расхватывают его. Но этим дело не кончается — во дворе обнаруживают три трупа, их втаскивают в дом. Особое внимание привлекает труп нилашиста; сержант опять накидывается на нас, мол, эти тоже из вашей компании, ну, конечно же, вы подлые фашисты и не отпирайтесь! Дешё надоело возражать, он наконец выходит из себя, указывает на Фешюш-Яро, дескать, среди нас есть и коммунист, хотя бы своего товарища не оскорбляйте. Сержант подозрительно смотрит на Фешюш-Яро, долго не сводит с него взгляда, теребит себя за подбородок и, поразмыслив, качает головой.

— Ну, конечно,— переводит Дешё не без издевки,— на нашей земле мы имели дело с одними фашистами, а когда пришли сюда, все до одного оказались коммунистами. Ничего, в комендатуре разберутся, и если соврали — пеняйте на себя.

В комендатуре? Значит, нас поведут туда? Ну, это еще куда ни шло... Из подвала громко кричат, требуют чего-то, но, не дождавшись, стреляют в бочку и подбегают кто с чем, подставляя под сильную струю вина всевозможную посуду.

— Отцу моему тоже не очень-то придется по душе такая перемена,— с горечью произносит Геза.

Они пьют. Видимо, спешить им некуда. Кто-то внизу затягивает песню. Раскатистый, похожий на орган бас доносится из подвала. Красивый голос, но у меня нет никакого желания наслаждаться им, руки совсем одеревенели и вот-вот опустятся сами.

— Руки вверх!

— Издеваются над людьми, находят в этом удовольствие,— цедит сквозь зубы Галлаи.— Доведись еще хоть раз встретиться с глазу на глаз с ними с оружием в руках, ни на что не посмотрел бы, пусть даже пришлось бы подохнуть.

У Шорки, стоявшего с поднятыми руками и сильно вспотевшего от напряжения, однако, иное мнение.

— Теперь нам подыхать ни к чему, осмелюсь доложить, господин лейтенант, если уж удалось уцелеть.

Приносят кружку вина сержанту. Он нюхает его, пробует на язык. Пьет, затем с напускной строгостью учиняет разнос солдатам, мол, это же свинство — забыть о гостях.

Сам садится на стол, свешивает ноги, вино из кружки льется на пол, назидательным тоном, все больше распаляясь, говорит нам:

— Недостойны вы, гады, дышать одним воздухом с людьми,— неохотно, безразличным тоном переводит Дешё, словно на каких-то скучных официальных переговорах.— Разорили Россию. Никому не давали пощады. Ничего не пожалели. В моей деревне, например, человеку жить противно: все вокруг насквозь пропахло гарью. Даже трава на берегу реки. Я бы не поверил, но был недавно дома и сам убедился. Всех вас перебить не жалко. И будь моя воля, так и сделал бы, ей-богу, да нельзя. Приказано обращаться гуманно. Велю подать вам вина, лопайте! Я здесь хозяин! Впрочем, вряд ли стал бы причинять вам зло. На ваше счастье русский человек отходчив по натуре, ни дна вам всем, ни покрышки. Русская душа... Эх, да разве вам понять это, гады...

Он колотит себя в грудь, на глазах его навертываются слезы. Приходится пить. Приносят в кастрюле вино, несут осторожно, обеими руками, но оно все равно расплескивается; все мокрые, словно попали под дождь. Сержант отшвыривает свою кружку и, раскачиваясь из стороны в сторону, смеется.

— Пейте! Кто выпьет, пусть опять поднимет руки!

Вечереет. Пошатываясь, мы выходим из винокурни. В животах пусто, только булькает вино. Солдаты поют три-четыре песни сразу, кто во что горазд. Сержант покрикивает на них, но они и в ус не дуют. Дверь оставляют распахнутой. Геза пытается запереть ее, но его прогоняют: прочь, мол, проклятый буржуй, вишь, как печется о своем добре.

У опушки Чересneша останавливаемся, солдаты обыскивают нас — не осталось ли у кого пистолета или гранаты. Ничего, конечно, не находят, только у Шорки обнаружили ножик с длинным узким лезвием, которым он резал сало. Сержант с торжествующим видом прячет его себе в карман: мол, не удастся вам пырнуть русского солдата в спину. Впрочем, хвалит, что мы не припрятали другого оружия.

— Ну, выпейте,— снова угощает он,— немного поработаете у нас, все-таки лучше плен, чем смерть, по крайней мере убедитесь, что в России нет таких холеных буржуев, которые утопают в роскоши за чужой счет, там все граждане равны. Плен послужит вам неплохим уроком: вернетесь домой порядочными людьми.

Мы отказываемся пить, в голове сплошной сумбур, ноги подкашиваются, разъезжаются во все стороны, как у клоунов. Какую же глупость мы совершили, ведь в винокурне много колбасы, сала, могли бы забрать с собой, и им хватило бы, но ведь они не дали и шагу сделать.

— Пейте, говорю! — Сержант тычет нам в лицо бутылью, начинает злиться. Пьем, черт бы его взял, но нас не то еще ждет впереди: подвыпившему сержанту вдруг приходит в голову заставить нас петь.— Нечего вам слушать только наши песни. Послушаем, как вы поете. Ну-ка, запевай!

Галлаи ругается; мол, это тоже не по Женевской конвенции, горланить песни с поднятыми руками, шествуя среди развалин города. Но напрасны все возражения, сержант стоит на своем. Наконец Шорки затягивает «Две звездочки, две звездочки на темном небосклоне» и, стараясь угодить, выводит замысловатые рулады. Песня тянется, как тесто, под нее нельзя подладиться, чтобы идти в ногу. Начинаем другую. «Высока, высока у тополя макушка». Сержант в восторге, он размахивает бутылью, как хормейстер дирижерской палочкой, и в конце каждого куплета что-то выкрикивает по-русски. За станцией железнодорожники растаскивают тлеющие доски от сгоревшего дома. Путевой мастер Болени изумленно смотрит на нас, не верит своим глазам, а тем более ушам. «Высока, высока у тополя...» Неуместен этот задорный ритм, когда, можно сказать, на волоске висит вся жизнь, может, ни с кем не успеем даже проститься, но, несмотря ни на что, охмелевшие, мы бредем посреди улицы, поднимая пыль и громко распевая. Возле поселковой школы столпилось много испуганных людей, в основном женщины и дети, с узлами, со всевозможными вещами, наверно, в результате бомбежки оставшиеся без крова. Покрикиваю на Шорки, который, явно переусердствовав, все еще поет.

— Да перестань ты, горлодер несчастный!

Темнота сгущается. И это к лучшему, по крайней мере не увижу развалин города. Да и увижу ли вообще его когда-нибудь еще? Возможно, этой же ночью нас отправят

дальше. Внезапно кровь отливает от головы, словно я окунул ее в ледяную воду, хмель вылетает из нее, уступив место чувству беспомощности и страха. Сложный переплет, трудное положение, в которые мне приходилось попадать, всегда побуждали меня к активному мышлению, к быстрым и решительным действиям. На сей раз ничего не приходит мне на ум, я чувствую себя просто неспособным думать. Но это же не безвыходное положение. Не может быть. Ведь меня угнетает не присутствие полувзвода солдат, а сознание того, что они здесь, хлынули, как волна, сметают все на своем пути, устанавливают свои порядки, взяли в свои руки управление огромным конвейером, о наличии которого мы и не подозревали, медленно, но неотвратимо приближая конец войны. Над нами делает круги «Юнкерс». Гул самолета напоминает завывание старых серых такси, магомобилей; он то воет вовсю с нарастающей силой, то, выдыхаясь, едва пыхтит. Я пробираюсь к Дешё.

— Давай удирать,— шепчу ему,— как только где-нибудь запрут, вылезем в окно, или выломаем пол, или разберем стену, как угодно, но во что бы то ни стало бежать.

Нас гонят с одного конца города в другой, вплоть до самого Айи, потом обратно к дровяному складу Селини, русские о чем-то совещаются, наконец сворачиваем на Утиный луг, и нас загоняют в бункер, оборудованный недавно для немецкого командования. Отсюда не выберешься. Окон нет, вместо них тщательно заделанное вентиляционное отверстие, пол бетонирован, стены тоже из железобетона, на волю можно выйти лишь в том случае, если выпустят. Тут кромешная тьма, вонища, кто-то копошится на полу. Бункер битком набит. Кто здесь? Сам черт не разберет. С большим трудом устраиваемся на сыром бетоне. Уснуть не могу. Время тянется мучительно медленно. Парализующий испуг уже прошел, я ловлю себя на том, что придумываю защитительную речь в надежде, что, если предстану перед каким-нибудь ответственным лицом, сумею убедить его, что несправедливо увозить меня отсюда, я, собственно говоря, выступал против и не заслуживаю такого отношения, я... Наивно и глупо... В этом придавленном бетонным колпаком муравейнике все думают о собственном спасении, но тщетно.

Утром Фешюш-Яро стряхивает с шинели налипшую грязь, очень сосредоточенно и торопливо, как человек, у которого нет ни минуты свободного времени, будто оно расписано точно по часам на весь день.

— Ну,— говорит он Дешё,— пошли со мной, подойдем к двери, поговорим с ними.

Эта попытка начинается с того, что Фешюш-Яро трижды стучит кулаком в железную дверь, затем, наклонив голову, ждет ответа, который, судя по его уверенному виду — да, у него нет ни тени сомнения на этот счет,— будет состоять не только в словесном отклике, но и в том, что откроется дверь и нас выпустят на свободу. Дверь звенит гулко, как чугунный котел, весь бункер наполнен гулом. Но за дверью не слышат или не обращают внимания на стук. Фешюш-Яро по-прежнему настроен оптимистически. Он старательно колотит в железную дверь, пока на его уже успевшем зарасти щетиной лице не выступает пот. Лишь после этого, поскольку за дверью не слышно никаких признаков жизни, его активность, а вместе с ней и уверенность постепенно угасают.

— Не понимаю,— сердито ворчит он.— Глухой и то бы мог услышать.

И он снова колотит в дверь, но теперь уже ногой. Пожилой солдат, наверно ополченец, советует ему:

— Ты браток, левой ногой попробуй стукни, может, больше повезет!

Из дальнего темного угла торопливо выходит бургомистр, расстегивая на ходу брюки.

— Не могу больше терпеть,— смущенно объясняет он столпившимся у стены.

— Вы что,— набрасывается на него ополченец — сдурели, что ли, прямо мне в карман шинели мочитесь, черт возьми! Сразу видно, что штатский, не приведи господь оказаться где-нибудь вместе с таким, даже из собственного ствола не может попасть в цель.

Казалось, то, что случилось с бургомистром, послужило сигналом для всех остальных, тоже давно переминавшихся с ноги на ногу. Вскоре перед железной дверью выстраивается длинная очередь. Раз уж нельзя выйти наружу, хоть дверь обмочить. Кто сидел близко от двери, чертыхаясь, отодвигается в глубь бункера, проклиная всех

бесстыдников, разводящих вонь. Но через час все мирятся с этим, и, наверно, сочли бы за благо, если бы в бункере пахло только мочой.

— Мое почтение, господин бургомистр!

Он пытается разжечь окурок сигары, с любопытством глядя на меня.

— И ты здесь, Эрне? Ба! Посмотрите-ка — Кальман Дешё! Не хотите пройти во второй отсек? Там вся городская управа. Нас загнали сюда прямо из-за письменного стола, даже запереть не дали. Чудно все начинается, право! С того, чем кончилось в девятнадцатом году... Те, кто пользовался хоть каким-то почетом, их не устраивают. Не понимаю, что общего с ними нашли американцы? Хотя американцы куда ни шло — у них есть дикий Запад со всяческим сбродом, они привыкли к стрельбе. Но англичане как могли с ними объединиться? Древнее правовое государство! «My house is my castle!»* И как они могут быть заодно с этими азиатами, неграмотными мужиками, которые способны без суда и следствия....

Я пожалел, что окликнул его. Он невыносим. Барон хоть признавал, что русские научились грамоте и даже кое-чему еще, а этот дряхлеющий идиот даже и этого не знает.

— Извини, господин бургомистр, но за время хозяйничанья немцев пора бы тебе усвоить, что людей без следствия и арестовывают, и даже казнят.

— Что касается меня, то они относились ко мне с глубочайшим почтением, в их глазах я всегда был самым уважаемым чиновником города! Я это беззаконие так не оставлю, я заявлю протест...

Галлаи со вчерашнего вечера не произнес ни слова. С полнейшим безразличием ко всему ковыряется в своем ухе да плюет между ног. Когда же зловоние начало резать глаза, он вдруг принимается пристально разглядывать Шорки, будто ему поручили досконально изучить его.

— Из-за тебя, скотина,— угрюмо изрекает он наконец.

Старшина вопросительно поднимает на него еще глубже запавшие глаза.

— Если бы ты,— продолжает Галлаи,— не потащил нас в этот проклятый дворец, где собирался обшарить все ящики своими загребущими лапами, мы не сидели бы сейчас здесь. Наверняка нашли бы более приятное место.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант...

— Молчи!

— Слушаюсь!

— Ну о чем ты можешь доложить?

— Через этот плен мы так или иначе должны были пройти, осмелюсь доложить. Я предложил насчет дворца только потому, чтобы достать штатскую одежду, впрочем...

— Но ты понимаешь, к чему это привело?

— Осмелюсь доложить, вполне понимаю. Мы и в самом деле могли бы действительно оказаться в другом месте. Но что бы от этого изменилось? Плен — везде плен.

— Сколько у тебя братьев?

— Трое, господин лейтенант.

— Если вернешься домой, скажи отцу, что нормальных у него только два сына.

— Слушаюсь, но...

— Можно задохнуться от этой вони! Или тебе безразлично, каким воздухом дышать?

— Конечно, безразлично,— вмешивается в разговор нилашист из угла.— Ему лишь бы не воевать. Всю страну могут посадить за решетку, а все потому, что господа военные не хотят, видите ли, воевать...

Шорки собирался было позабористее выругаться, но не успел. Коренастый ефрейтор-пограничник внезапно вскакивает и наотмашь бьет нилашиста по щеке, да так звонко, словно кто-то выстрелил из пистолета.

— Мы не воевали? Я тебе покажу, сука! Еще хочешь?

Нилашист вскакивает, за ним поднимаются два-три его дружка, но солдаты окружают ефрейтора, и они, не решаясь затевать драку, переругиваются, грозят устроить

---

* Мой дом — моя крепость *(англ.)*.

ефрейтору темную, а тот посылает их подальше и злой возвращается к своему раненому товарищу.

— Болваны,— в сердцах произносит он,— так ничему и не научились.

Дешё нравится этот коренастый пограничник.

— А чему они должны были научиться? — спрашивает он у ефрейтора.

Тот смотрит на него и машет рукой.

— Да эти и не удивительно. Но те, кто наверху,— тем-то непростительно не видеть. Пора бы уже понять.

— А как бы ты поступил на их месте?

— На чьем месте?

— Ну тех, кому, как ты говоришь, пора бы понять.

— Я не был на их месте.

— Ну а если бы оказался там?

Ефрейтор умолкает.

— Мы столкнулись с русскими под Раховом,— говорит он немного погодя.— Сразу же поняли, что нам не устоять. Не прогремел еще ни один выстрел, они только появились на склоне противоположной горы, но уже было ясно, что нас сомнут.

— А дальше?

— Что дальше? Этого не мог предвидеть лишь тот, кому наплевать, сколько венгров зря сложат голову, или совсем безмозглый. Я вырос в небольшой деревушке, Покахедьеш называется, всего домов семьдесят. Помню, даже мы, подростки, не совали нос на такие престольные праздники, где наперед знали, что нас непременно побьют.

Шорки закуривает. Он, наверно, изрядно запасся сигаретами, то и дело вытаскивает их из-за голенища и, не переставая, дымит.

— Вишь, какой ты умный, браток,— высокомерно бросает он ефрейтору.— Но мы тоже раз-другой дали им прикурить, хотя их и было много. Такой концерт устроили, что им тошно стало.

Галлаи гневно обрывает его.

— Уместно ли хвастаться сейчас? Подумал бы!

Дешё подбадривает пограничника:

— Рассказывай, интересно послушать.

— В общем, сразу было видно,— говорит пограничник,— что они нас раздавят.

— Ну и что же, по-твоему, надо было делать?

— Как что? Не лезть на рожон, конечно...

— Но все дело в том, что у нас на шее сидели немцы. Как бы ты поступил с ними?

— Верно. Немцы. Оно, конечно... Наш батальон тоже воевал между двух немецких. Они никогда не оставляли нас одних.

Фешюш-Яро надоело стучать в дверь. Все равно без толку. Поэтому лучше послушать спокойный диалог между Дешё и ефрейтором. Он выскребает из кармана шинели остатки табачной пыли, скручивает цигарку, закуривает и, решив, что пора придать разговору более определенное направление, начинает обстоятельный доклад с перечисления причин, вызвавших вторую мировую войну, определяет, кто за что воюет, кто защищает правое дело, кто захватчик, применяющий насилие, и так далее. Его утверждения не лишены логики и свидетельствуют о некоторой осведомленности. В бункере постепенно водворяется напряженная тишина. Но не всем пришлись по вкусу логика и осведомленность Фешюш-Яро. Когда он переходит к анализу причин и целей вступления Венгрии в войну, кое-кто начинает злобно гудеть. Какой-то капитан с перевязанной рукой обзывает Фешюш-Яро дураком, способным превозносить красных и лобызаться с ними по всякому поводу. Фешюш-Яро не сдается.

— Удивляюсь, господин капитан, ведь ругань — весьма неубедительный аргумент. Если вам нечего больше сказать, вы лучше помолчите.

Капитан крякает.

— Ладно. Не буду ругаться. Но вы... какие неподобающие для истинного венгра слова у вас хватает наглости произносить здесь!

— Помилуйте, господин капитан...

— Меня могут арестовать, четвертовать, но я всегда останусь настоящим венгром и скажу вам одно: если бы мы победили, такие типы, как вы, и рта бы открыть не посмели.

— Но вы не победили.

— К сожалению.

— И не могли победить.

— Все равно это не дает вам права называть Трансильванию и Фелвидек приманкой!

— А почему бы и нет? Приманка Гитлера, на которую мы клюнули.

— Но послушайте, суд истории...

— Неправая десница не может творить праведный суд...

— Это фикция! Откуда бы оно ни исходило, если исторически... Человек не может отречься от своего рода-племени, этому учит история... Назовите мне хоть какую-нибудь нацию в мире, которая примирилась бы с тем, чтобы от ее тела отторгли четыре миллиона душ. А как они ждали нас, бог мой, если бы ты только видел!

— Как бы не так,— вступает в разговор младший сержант сапер,— я был там, когда наши войска входили. Уже через неделю нас крыли на чем свет стоит.

— Ложь!

— Почему ложь! Им жилось лучше при чехах, они мне в глаза говорили...

— Достаток и деньги — это еще не все!

— Согласен, господин капитан! Но перед чешским чиновником крестьянину не нужно было вытягиваться в струнку, даже если он был венгр, в любом учреждении его пригласят сесть: мол, присаживайтесь, сударь... А что у нас дома творилось до сих пор!

Фешюш-Яро усердно кивает головой.

— Ну вот вам, пожалуйста! А что касается самого главного, то в руках Гитлера все служило приманкой. Что побудило его бросить подачку — вот в чем суть... поймите же наконец!

— Не надо было ввязываться в войну, я тоже так считаю. Брать, что давали, и сидеть, не рыпаться.

— Смешно! Вы плохо знаете немцев: они даром ничего не дают. Предъявляют вексель и заставляют платить по нему.

Молодой дородный сержант пробирается вперед.

— Тебя тоже заставят платить, подонок! — кричит он на Фешюш-Яро.— Не думай, что это уже конец!

Сержанта оттирают назад. Все, кто окружил его, не против того, что он сказал, но они согласны с тем, что война была на руку подлым служакам, дома они и в свинопасы не годились, а на войне их произвели в сержанты, чтобы они воевали до последнего человека, пока всех, кому они могут приказывать, не перебьют. Шорки приходит в ярость, вопит:

— Если я не гожусь в свинопасы, то вы и свиней хуже!

Мне неохота слушать. Надоело все. В спертом воздухе висят брань, проклятия, вопросы, за которыми скрыта тревога. Какое же плачевное, поистине жалкое, невыносимое зрелище являет собой побитое стадо! Я думаю о том, что, как бы ни складывалась жизнь после войны, какая бы форма правления ни установилась, какие бы цели и методы ни рождались, в таком неопределенном и плачевном состоянии венгерская нация еще никогда не приступала к коренным переменам.

Есть ли выход из создавшегося положения? Кому поверят эти люди? Кто поведет им?

В половине первого неожиданно открылись двери бункера.

— Наверх, поживее!

Выясняется, что с самого утра мы сидели без всякой охраны, подразделения второго эшелона ушли дальше, оставив записку следующим за ними тыловым службам, что в большом бункере человек пятьсот ждет своей дальнейшей участи. К счастью, записка попала по назначению, иначе нам пришлось бы сидеть в зловонии еще бог знает сколько. Небо серое, промозглый туман пробирает до костей, содрогаясь от холода, мы выходим на воздух... Рота солдат сомкнутой цепью окружает Утиный луг. Штатских, особенно тех, кто постарше, вскоре отпускают по домам. Бургомистр, словно его «под-

ковали», как-то бочком, припадая на одну ногу, трусит домой, даже не поинтересовавшись, хотим ли мы что-нибудь передать домашним. Геза тоже собирался было идти, но в последнюю минуту его не пустили, как он ни доказывал, что является врачом: наверно, приняли за военного врача и решили проверить.

— Но ведь я гинеколог,— уверяет он,— а в армии такие не нужны!

Хоть его доводы и вызывают у всех улыбку, но домой Гезу не пускают.

— Военные, налево!

Нас, военных, набирается добрых три сотни. Многие ранены. Какой-то артиллерист, прихрамывая, подходит к командиру русской роты и на смешанном русско-словацком языке умоляет оказать ему помощь: начинается гангрена на ноге.

— Потерпите,— говорит офицер,— сейчас разберемся и раненых отправим в госпиталь.

Артиллерист вынужден вернуться в строй. Фешюш-Яро до того надоел своими приставаниями, что один сержант, чтобы он отвязался, отводит его в комендатуру. Примерно через полчаса он возвращается восторженный и еще издали кричит нам, что все в порядке, но что́ именно — мы понятия не имеем. Он вручает командиру роты какую-то записку, и тот зачитывает наши фамилии.

— Всем перечисленным выйти из строя!

Но сержант Тарба куда-то запропастился. Шорки во всю глотку выкрикивает его имя — безрезультатно. Наконец он догадался спуститься обратно в бункер. И из бункера выходит уже молча, волоча Тарбу за ворот по земле. Сержант был мертв, он покончил с собой. Веревка, завязанная на два узла, глубоко впилась в шею. Какая же нужна была решимость и сила воли, чтобы так затянуть веревку двойным узлом и, ни разу не вскрикнув, даже не захрипев, молча умереть. Дешё, потрясенный, наклоняется к Тарбе, трогает рукой распухшее, посиневшее лицо сержанта. Оно холодное.

— Надо было как следует приглядывать за ним,— сокрушается он,— хотя, впрочем, может быть, ему даже легче было умереть вот так, чем терзаться потом, когда бы его судили те, кого он любил.

Когда это могло случиться? Возможно, еще ночью. Советский офицер, взволнованный, подбегает к нам, спрашивает, что здесь происходит, и нескольких солдат посылает в бункер проверить, нет ли еще самоубийц. Никого не оказалось. Дешё не хочет выдавать тайны даже мертвого Тарбы. На вопрос командира роты он только разводит руками: дескать, и сам не понимает, что могло побудить сержанта покончить с собой. Да и как он мог бы в нескольких словах, в коротком рапорте поведать о нелепейшей трагедии бывшего профсоюзного уполномоченного, который на протяжении очень многих лет ждал встречи с русскими и который в конечном итоге дошел до такой жизни, что не мог смотреть им в глаза.

— Ужасно,— произносит Фешюш-Яро, нос его пожелтел, словно отмороженный.— Это ужасно.

Но между тем принимается торопить нас, просит не медлить, дорожить временем коменданта, поскольку тот сам хочет решить вопрос о нашей дальнейшей судьбе. Да, надо идти, и как можно быстрее. Меня это тоже волнует. Конечно, потрясение, вызванное гибелью Тарбы, должно было затмить все остальное, но, признаюсь, все отодвинуто на задний план этой неожиданно представившейся возможностью, ибо если нас выделили из толпы и комендант хочет с нами лично побеседовать, то это не что иное, как известный шанс. А может, и более того — нас отпустят на волю? Ловлю себя на том, что не могу оторвать взгляда от того места, где так недавно пролегала главная улица поселка. Теперь она являет собой жалкую, потрясающую картину: груды щебня и осколков стекла.

Галлаи ворчливо допытывается у Фешюш-Яро:

— Не заставляй упрашивать себя, черт возьми, как целомудренную девицу. Расскажи толком, как все было!

— Я и сам как следует не знаю,— машет головой Фешюш-Яро.— Да и не моего ума это дело. Комендант все скажет.

Он улыбается от сознания того, что ему доверен столь важный секрет и он может держать нас в таком напряженном неведении. Шорки тоже повеселел; он извлек откуда-то чуть ли не пригоршню сигарет и угощает всех подряд, включая и русского

сержанта, который, сопровождая нас, небрежно повесил автомат дулом вниз. По мере того как мы удаляемся от трупа Тарбы, жизнь берет свое со всеми ее сокровенными и радужными надеждами. Шорки широко улыбается.

— Когда нет беды, всегда нужно следовать вместе со всеми,— изрекает он, довольный собой.— Но стоит нагрянуть беде, ни в коем случае нельзя идти туда, куда идут все.

В казино Нового Города, где вчера еще размещались два взвода полевой жандармерии, на первый взгляд вроде бы ничего не изменилось. У ворот русские часовые, в коридоре много военных, вот и все. Мебель стоит на прежних местах, плакаты, служившие целям пропаганды и запугивания граждан,— тоже. Портрет Гитлера сорван. Но Салаши все еще красуется на стене, больше того, чуть подальше висит нетронутым портрет Франко. Толкаю Фешюш-Яро: дескать, надо бы снять, времена не те. Фешюш-Яро недоумевает, как эти мерзавцы уцелели, и уже готов сорвать их, но русский сержант останавливает: нечего, мол, размахивать руками, стой, как положено стоять пленному. В комнату входит молодой, невысокий офицер со следами оспы на лице, вслед за ним еще трое.

— Комендант,— шепчет мне Фешюш-Яро.

Шинель у офицера расстегнута, поясной ремень в руке; он останавливается позади стола, окидывает нас взглядом. У него массивный подбородок, резко выделяющийся продолговатый кадык, плоский, как у боксера, нос, большие глаза, которые как-то по-детски наивно и с любопытством смотрят на нас. Он подзывает к себе мужчину без всяких знаков различия на погонах — переводчика.

— Я майор Головкин,— представляется он.— Приветствую вас. Слышал, что вы целым подразделением вступили в бой с немцами. Это нас очень заинтересовало. Прошу рассказать поточнее: где, когда и при каких обстоятельствах это произошло.

Один из офицеров садится, достает записную книжку. Фешюш-Яро взволнованно торопит Дешё:

— Ну говори же, ведь ты все знаешь, о твоей роте идет речь!

Дешё отдает честь, представляется, затем вынимает из кармана докладную записку и говорит по-русски:

— Пожалуйста, это официальный документ, в нем все сказано.

Бумага переходит от одного офицера к другому, но они, разумеется, ничего не понимают; в конце концов она попадает в руки переводчику, и тот негромко, но довольно быстро переводит. Головкин несколько раз одобрительно кивает, затем выходит из-за стола, чтобы получше разглядеть Дешё.

— Вот и прекрасно,— похвалил он.— Стало быть, вы уже начали борьбу против фашизма, теперь нужно продолжить ее.

В комнату ввалились связисты, они тянут за собой провод, шумят, устанавливая полевой телефон.

— Я,— говорит Геза,— врач, извините, гинеколог, и не имею никакого отношения к военным.

— Признаться,— говорю я,— мне тоже следует сказать, что я в той перестрелке не участвовал. Я только вчера присоединился к старшему лейтенанту Дешё.

Головкин кивает в знак согласия.

— Хорошо, потом разберемся, это мелочи. Главное — где ваша рота?

— Не знаю,— отвечает Дешё.

— Ну что ж, у нас и без нее хватает солдат. Кроме, конечно, нилашистов и жандармов, они в счет не идут, и, разумеется, раненых тоже. Вы согласны поговорить с ними?

Дешё смотрит на него широко открытыми глазами.

— О чем?

— Сейчас создается новая, демократическая венгерская армия, которая вместе с нами будет громить немцев. Мне бы хотелось, чтобы в эту армию вступило как можно больше военных. Само собой понятно, мы никого не принуждаем. Но в конечном счете речь идет сейчас о быстрейшем освобождении вашей многострадальной родины от нацистской оккупации. Кроме того, я обязан сказать вам об этом,— тех, кто не вступит в нее, мы будем считать военнопленными.

— Я,— говорит Дешё,— не имею никакого представления о новой венгерской армии.

Фешюш-Яро укоризненно смотрит на него.

— Как же никакого? Разве не ясно, что она демократическая? И что сражаться будет против фашизма?

Кожа на лице Шорки натягивается и лоснится. Он уже распрощался со всем, подготовился к неизбежному плену, к самому худшему, что может постигнуть солдата, и вот вдруг перед ним распахнулись врата рая, можно снова идти в строю, сжимая в руках оружие, командовать, получать продовольствие, а это не пустяки, и чего тут долго раздумывать, надо скорее соглашаться, а не то, чего доброго, русский офицер возьмет свои слова обратно.

— Осмелюсь доложить, господин старший лейтенант,— говорит он, кусая от волнения губы,— какая ни на есть армия, а все армия... неужели вы, господин старший лейтенант, хотите отправить нас валить лес?

Головкин смотрит на часы.

— Ну, как? — спрашивает он, подходя к Дешё.— Мне кажется, что из здешних солдат вполне можно сформировать стрелковую роту. И я хотел бы видеть вас ее командиром.

Он стоит и ждет, ему хотелось бы услышать утвердительный ответ, он очень занят, и по прищуренным глазам заметно — его немного злит, что мы, только что освободившись из бункера, не ухватились за его предложение обеими руками. Но Дешё, оставаясь верным себе, мудрит и на сей раз, то есть не считаясь со сложившейся обстановкой, начинает торговаться там, где это совершенно недопустимо.

— А нельзя ли,— просит он с выражением беспокойства на лице,— поподробнее узнать об этой новой армии? Например... кому она подчинена в военном и политическом отношении?

— В военном отношении, разумеется, будете подчинены нам. Думаю, что и вы считаете это само собой разумеющимся: создаваемая сейчас небольшая армия не сможет решать самостоятельно оперативные задачи на нашем фронте.

— Понимаю, но по распоряжению каких венгерских властей она организуется?

— Понял вас! Насколько мне известно, в Дебрецене формируется временное венгерское правительство. Возможно, оно уже сформировано. К сожалению, более подробной информацией не располагаю, до вчерашнего утра я тоже был боевым офицером, командовал батальоном и не имел возможности детально вникать в то, что не относилось к моим прямым обязанностям.

— Раз есть и венгерское правительство,— высказывается Галлаи,— тогда все сразу становится на свое место.

Ему всячески хочется ускорить ответ. Но Дешё раздраженно спрашивает:

— Что здесь стало на свое место?

Переводчик, конечно, все переводит. Майор Головкин отсылает посыльного, который что-то прошептал ему на ухо.

— Не понимаю,— говорит он Дешё,— какие у вас сомнения?

Дешё тщательно подбирает слова, стараясь как можно точнее передать свою мысль.

— Мне бы хотелось, господин майор, чтобы вы правильно меня поняли. Я не желаю обидеть вас, а тем более проявить неуважение к тому знамени, под которым вы служите, наоборот... Но меня беспокоит мысль, что придется механически перейти из одной подчиненной венгерской армии в другую подчиненную венгерскую армию. Никакой параллели я не провожу между немецким военным командованием и вашим, о весьма кардинальной разнице между ними мне и самому кое-что известно. Но наше положение...: поймите, нация хочет обрести свою совесть и честь, и именно сама должна сделать это, за нее никто, даже сам господь бог не побеспокоится... Не сердитесь, что отнимаю у вас так много драгоценного времени, но согласитесь со мной, какая жизнь ожидает нас, если мы снова начнем ходить на помочах, если сами не способны сделать ни одного самостоятельного шага?

Связисты крутят ручку телефона, затем дают трубку Головкину, чтобы он убедился: связь есть. Майор звонит в штаб, что-то говорит и кладет трубку.

— Да, понимаю,— с расстановкой произносит он.— Это вполне естественно, что вам хотелось бы самим... Но скажите откровенно, неужели вы считаете, что в нынешней обстановке можно создать боеспособную, самостоятельную венгерскую армию и повернуть ее без нашей помощи против нацистов? Где вы возьмете снаряжение, главным образом тяжелое вооружение? Авиацию? И даже если бы все это нашлось...: есть ли у всех ваших людей общее стремление изгнать оккупантов?

Дешё молчит, потом качает головой.

— Конечно нет, тут вы правы.

Головкин улыбается.

— Вот видите, в конце концов все это не так уж трудно понять. Вести огонь можно или оттуда сюда или наоборот — отсюда туда, третьей возможности нет.

— Нет,— как бы нехотя соглашается Дешё, на лбу у него выступают капельки пота.— Дело, видите ли, в том, что мы, начав борьбу с фашизмом, будем стрелять не только в нацистских вояк и в нилашистских министров и генералов. Нет, господин майор... К сожалению, нам придется убивать несчастных венгерских солдат, потому что их загнали в окопы напротив, и поэтому, поймите, все это не так-то просто...

— Это весьма прискорбно,— поддакивает Фешюш-Яро,— потому что солдаты не по своей воле там, где они находятся сейчас, и к тому же они ни в чем не виноваты. Посоветуйте, как быть? Солдаты повинуются приказу и стреляют. Волей-неволей приходится отвечать на их огонь, как это ни горько. Об этом, между прочим, известно и им, товарищу майору и его коллегам, ведь они прошли через очень длительную и кровавую гражданскую войну...

Головкин перебивает, у него нет больше времени.

— Итак, решили?

Мы все одновременно киваем, кроме Дешё.

— Как солдат,— медленно говорит он,— я согласен воевать. Думаю, что это самое честное и правильное решение. Я... не хочу идти в плен. Но в создавшихся условиях я, как мне кажется, не гожусь на роль командира.

Опять он единственный из нас, кто вслух высказал свои мысли. Меня раздражает эта, при любых обстоятельствах безотказно действующая безукоризненность; она выглядит анахронизмом, тем, что было уместным в рыцарские времена, но, возможно, так могло показаться еще и потому, что наше собственное время давно отучило нас от щепетильности.

— Лучший командир, какого я когда-либо знал! — восклицает Галлаи.— Кто был его подчиненным, тот чувствовал, что его судьба в надежных руках!

Однако Головкин не собирается уговаривать Дешё.

— Очень жаль,— говорит он, остановив на нем взгляд, и по всему видно, что ему действительно жаль.— Ну, тогда, может, кто-нибудь другой согласен?

Я быстро выхожу вперед — чего тут тянуть, к тому же хоть раз представилась возможность опередить Дешё (если уж он не согласен); а сам я между тем подумал, конечно только подумал, что всегда наиболее выгодное впечатление производит тот, кто проворнее всех.

— Вы лейтенант?

— Да.

— Возлагаю на вас обязанности командира создаваемой венгерской роты. Обратитесь к капитану Балуку, он даст вам подробные распоряжения и инструкции. Относительно своего заместителя, командиров взводов и начальников служб представите ему свои личные соображения, то есть предложите конкретные кандидатуры. Вместе с тем прошу принять к сведению, что роте придается вот этот товарищ...

— Фешюш-Яро!

— Да, этот товарищ назначен политруком.

Галлаи от удивления даже присвистнул, хотя подобные вещи отнюдь не принято делать при отдаче приказа.

— Ну, как? — спрашивает Дешё, когда мы вышли из кабинета коменданта.— Ты тоже пошел на повышение? А я-то думал, что ты только языком болтать умеешь.

Все облегченно вздохнули. Решение принято. Шорки вдруг засмеялся:

— Этому,— показывает он на Фешюш-Яро,— каждый километр за два надо считать: своей кривой лапой он не только шагает, но и загребает.

Фешюш-Яро тоже смеется, он не обижается. Но Дешё приструнивает Шорки.

— Если ты забыл, я напомню: с сегодняшнего дня Фешюш-Яро твой военный начальник, ты обязан беспрекословно подчиняться ему и относиться к нему с уважением.

Шорки сплевывает, он переводит взгляд с Дешё на новоиспеченного политрука. За его выпуклым лбом с немалым скрипом приходит в движение мыслительный механизм и медленно, методически усваивает тот факт, вместе с вытекающими последствиями, что принятый им за еврея Фешюш-Яро (хотя на самом деле тот в свое время подвергся общепринятому обряду крещения), скрывавшийся солдат штрафной роты, в одно мгновение превратился в офицера. Проходя по коридору, он молодцевато подскочил к нему и более певучим голосом, чем обычно, с заметным заискиванием представился:

— Господин политрук, покорнейше докладывает старшина Шорки!

Галлаи добродушно ухмыляется. Этот злодей Шорки, избежав плена, больше всего озабочен тем, оставят ли ему звание старшины или придется начинать военную карьеру с самого начала. Но Фешюш-Яро занят более высокими материями, его интересует тон — главное внимание он уделяет демократизации создаваемого подразделения.

— Так дело не пойдет, отставить,— отвечает он.— Во-первых, я товарищ, а не господин. А во-вторых, «покорнейше» больше не существует, оно умерло, осталось только «докладываю», и все.

Шорки пытается повторить, но слово «товарищ» скрипит у него на зубах, как зеленый крыжовник. Даже кислую мину скорчил.

Через два часа с нарукавными повязками и удостоверениями, в шапках со звездой выходим мы из ворот комендатуры. Половина четвертого. Смеркается. До утра получили увольнительные, под честное слово, можно сходить домой, а с утра приступим к работе — организации первого здесь венгерского подразделения. Фронт стремительно продвинулся далеко вперед, отдаленный гул едва доносится сюда. В районе Череснеша тоже можно услышать шум, но совсем иного рода: скрип подводы, громкие крики. Кучер Бинеток спускается на телеге на главную площадь, сопровождаемый русскими солдатами и изумленными жителями.

— Я сам! Без посторонней помощи! Прикончил, и все! — размахивая кулаком, кричит кучер.

Наконец-то мы поняли, в чем дело.

Ну и пусть себе кричит, нам надо идти, дорога каждая минута. Но Галлаи останавливается, просит задержаться. Он ожесточенно ругается.

— Вот разбойник проклятый, вы только поглядите: украл наши трупы.

Когда кучер Бинеток взмахивает руками, его заплатанное кожаное пальто развевается во все стороны. Седой чуб выбился из-под шапки, голос у него до того хриплый, словно он всю ночь горланил на свадьбе. Позади него на телеге вдоль и поперек уложены трупы нилашиста и двух жандармов, их кажется больше, чем на самом деле. Этот Бинеток мог бы стать неплохим оформителем витрин: умеет показать товар лицом. С трупов кто-то успел уже снять сапоги, под головы подложены пучки хмыза.

— Я один! — гремит Бинеток.— Никто не помогал! Прикончил всех враз!

Шорки злится, его запавшие глаза светятся зеленым блеском. Он, видимо, до глубины души возмущен, в нем, наверно, кипит такая же ярость и негодование, какие бывают у профессионального жулика, которого сумели объегорить: трупы он еще никогда не крал.

— Сейчас влеплю ему такую затрещину, что белого света не взвидит! И как только земля его носит! Такого свинства мир еще не видывал.

— Останешься здесь,— приказал ему Дешё.

Внешне Дешё не проявляет никаких признаков волнения. Скорее в его глазах, устремленных куда-то вдаль, светится какое-то мудрое озорство.

— Готов биться об заклад,— произносит он в раздумье,— что никто не спросил у него, чем он их прикончил. Поэтому, если все обойдется благополучно, через четверть часа Деметер Бинеток станет национальным героем. Если ему поверят... а почему бы и нет?

— Я один! — хрипит кучер.— Никто не помогал...

Телега, окруженная толпой, сворачивает в ту сторону, откуда мы только что вышли, в комендатуру. Фешюш-Яро, хмурясь, смотрит ей вслед.

— Ну, ничего,— обещает он,— завтра я задам этому пройдохе, сейчас мне возвращаться не хочется.— И вдруг рассмеялся: — Как только ему на ум пришло такое — воровать трупы?

Под деревьями Айи расстаемся.

— В семь часов утра встретимся, но только без опозданий, точно в семь нольноль,— говорит Дешё. Затем, тряхнув головой, обращается ко мне: — Извини, никак не отвыкну, теперь это твоя обязанность.

Но по глазам его вижу: это не столько забывчивость, сколько ожидание, чтобы я объяснил, наконец, почему в кабинете Головкина я с такой поспешностью и ни с кем не посоветовавшись взял на себя обязанности командира роты. Догадывается ли он об истинной причине? О том, что когда-нибудь и мне нужно наконец стать над ним. Галлаи тоже выжидающе смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Зря пялишь глаза, здесь бессильны слова, поживем — увидим: или время оправдает меня, или мне бесполезно оправдываться.

— Я опасался,— пролепетал наконец я, чувствуя, как краснею от стыда,— что майор неправильно поймет твой отказ. Впрочем, надеюсь, я могу рассчитывать на твою помощь и советы.

Фешюш-Яро кивает, пожимает нам руки и сворачивает на дорогу в Старый Город.

— Главное,— с удовлетворением произносит он,— что все как-то уладилось.

Дешё отворачивается. Площадь медленно погружается в темноту.

— Нет,— тихо говорит он,— ничего еще не уладилось. Но майор прав в том, что существуют только две возможности: либо отсюда стрелять туда, либо оттуда сюда. Вот все, что я знаю наверняка... Почему все случившееся произошло именно с нами и что ждет нас после войны? Хорошо бы дожить до того, когда человек перестанет наконец вязнуть в собственном дерьме, но стоит мне только высказать вслух это желание, как я чувствую себя скорее миссионером, чем военным.

Мы торопливо прощаемся.

— Спокойной ночи, утром встретимся. И что бы там ни было — мы живем, надеемся, а это, в конце концов, что-нибудь да значит.

Гравий на дорожках Айя поскрипывает у меня под ногами. Живем. Надеемся. Да, это действительно кое-что значит, и не мало.

АРТУР МИЛЛЕР

Цена

ДРАМА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

В журнале «Сэтердей ивнинг пост» опубликована новая пьеса Артура Миллера «Цена», премьера которой состоялась в Нью-Йорке.

Я давно люблю драматургию Миллера, которая обычно с каждой его новой работой открывает перед читателями и зрителями все новые грани его дарования, все новые глубины человеческой психологии.

Однако для меня лично самой значительной и оставившей наиболее глубокий след в моей душе встречей с Миллером-драматургом была до сих пор его «Смерть коммивояжера». И сейчас, когда я познакомился с его последней пьесой «Цена», это чувство высокого волнения от встречи с большим явлением искусства вновь овладело мною.

«Цена» — психологическая драма в двух актах и всего с четырьмя действующими лицами. Два сына бизнесмена, разорившегося в годы так называемого «великого кризиса», избрали в жизни разные дороги. Мы застаем их в драме Миллера в тот момент, когда их сводит вместе необходимость ликвидировать оставшуюся после смерти отца старую мебель, стоявшую на чердаке предназначенного на снос дома.

Разговоры вертятся вокруг продажи и оценки этой мебели, но в драме речь, разумеется, идет не об этом. Речь идет об оценке той жизни, которую прожили оба брата в условиях современного американского общества, о подлинных и мнимых нравственных ценностях и о том, как дорого обходится человеку стремление оставаться самим собою.

Эта драма, на мой взгляд, содержит глубокий критический анализ многих устоев того общества, на материале жизни которого она написана. А вместе с тем она полна веры в нравственные силы и нравственные возможности человеческой личности, не желающей капитулировать перед жизнью, как бы ни была она тяжела и сложна.

Конст. Симонов

А. Миллер на репетиции своей пьесы в театре «Мороско» на Бродвее.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Виктор Франц.
Эстер, его жена.
Уолтер Франц.
Грегори Соломон.

Действие первое.

Сегодня.

Мансарда старого, четырех- или пятиэтажного доходного дома в Манхэттене. Дневной свет еле пробивается через заросшее грязью чердачное окно. Еще немножко света проникает из глубины сцены через окно в задней стене; на его закопченном стекле свежей известкой намазан косой крест: дом подлежит сносу. Верхний свет падает прямо на обшарпанное большое кресло, стоящее как раз посреди сцены. Жилым кажется лишь небольшое пространство вокруг этого кресла; здесь стоят еще несколько стульев и диван. А дальше во все стороны, впритык к стенам, до самого потолка громоздятся вещи. Собрав с огромной квартиры, весь этот хаос вещей когда-то впихнули в одну комнату.

На авансцене стоит одинокая, голая, без чехла, арфа с облупившейся золоченой рамой.

В глубине справа — дверь в спальню.

На авансцене слева — дверь, очевидно ведущая в коридор и на лестничную клетку.

Из двери слева входит Виктор Франц в форме сержанта полиции. Он останавливается, делает несколько неуверенных шагов, снова останавливается и смотрит на часы.

Делает еще несколько бесцельных шагов и вдруг, заметив оказавшуюся рядом арфу, сам не зная зачем, дергает за струну. Арфа издает чуть слышный звук. Он подходит к старому патефону, заводит и ставит пластинку. Услышав пение Галахера и Шина, он улыбается чему-то и, пока звучит музыка, подходит к двери спальни. Заглянув туда, возвращается и садится на подлокотник стоящего посреди сцены кресла. На подставке рядом с креслом лежит груда старых газет. Он пытается вытащить одну, но листы ее, шурша, вываливаются у него из рук. Он встает и идет, огибая нагромождения мебели, изредка дотрагиваясь рукой то до одного, то до другого. Словно вспомнив что-то, разгребает рухлядь и извлекает оттуда маску для фехтования. Потом — рапиру. Несколько раз рубанув рапирой воздух, встает в первую позицию: левая рука вверх, ноги под прямым углом; делает серию выпадов.

Почувствовав боль в спине и опустив рапиру, несколько раз сгибается и разгибается. Снова становится в позицию и проводит длинную атаку. Положив рапиру, сжимает и разжимает затекшие с непривычки кисти. сгибает и разгибает колени, массирует бедра.

Присев на край стола, ждет, когда кончится пластинка, снова заводит патефон и ставит другую пластинку. Это «смеющаяся пластинка»: мужчина и женщина поочередно тщетно пытаются что-то выговорить сквозь приступы смеха.

Он улыбается. Хмыкает. Начинает смеяться. Его разбирает все больше и больше и, наконец, так складывает пополам от смеха, что он даже делает шаг, чтобы удержать равновесие.

Входит его жена Эстер. Появившись из левой двери у него за спиной, она ищет глазами, кто же это так неудержимо хохочет вместе с ее мужем. На лице ее блуждает улыбка. Она идет к мужу. Услышав ее шаги,

Виктор оборачивается.

Эстер. Что тут происходит?

Виктор. Эге! *(Снимает мембрану и улыбается, пожалуй, немножко смущенно.)*

Эстер. С лестницы можно было подумать, что тут целая компания.

Он целует ее в щеку.

Что за пластинка?

Виктор *(не сумев скрыть неудовольствия)*. Где это ты пила?

Эстер *(смеясь)*. Я же тебе говорила. Я была на осмотре.

Виктор. И это называется — доктор! Сам же не велел тебе пить.

Эстер *(смеясь)*. Одна рюмка! От одной рюмки со мной ничего не сделается. У меня все в порядке. А он просил передать тебе привет.

Виктор. Очень приятно... Если тебе нужно что-нибудь из всего этого... А то через несколько минут придет покупатель.

Эстер *(озираясь, со вздохом)*. Боже ты мой, смешно, правда? Здесь все стало как-то не так, а?

Виктор. Да нет, в общем-то все как было. Только вон там стоял мой стол и койка. А так все то же...

Эстер. Раньше мне тут многое казалось претенциозным. А в то же время во всем этом чувствуется какая-то индивидуальность. Кое-что теперь, кажется, снова в моде. Но куда это воткнешь? А этот шкаф симпатичный!

Виктор. Это мой. А вон там — шкаф Уолтера. Парный.

Эстер. Так и не пробился к нему?

Виктор. Сегодня звонил ему, утром, еще раз. Он был на консилиуме.

Эстер. Где? Там же, у него в больнице?

Виктор. Там же. Дежурная сестра ходила докладывать ему, а я ждал у телефона. Ладно. Пусть так. Я его предупредил, и теперь руки у меня развязаны.

Эстер. Может, лучше мы договоримся с тобой и где-нибудь встретимся? Мне что-то не по себе здесь.

Виктор. Я думаю, мы долго не провозимся. Сядь, отдохни; покупатель будет с минуты на минуту.

Эстер *(садится на кушетку)*. Во всем этом есть что-то до такой степени отвратительное, просто не могу сказать! Меня так бесит вся эта история!

Виктор. А ты не накачивай себя. Продадим вещи — и конец. Кстати, билеты в кино уже у меня в кармане. Забежал по дороге.

Эстер. Хорошо. Особенно если картина будет стоящая.

Виктор. Еще бы не стоящая! Пять долларов за два билета!

Эстер. Ну и наплевать, лишь бы куда-нибудь пойти. *(Оглядывается по сторонам.)* Господи... Поднималась сюда по лестнице — и на всех площадках двери настежь... Все! Даже не верится.

Виктор. Со старыми домами это происходит каждый день. Сегодня с одним, завтра с другим.

Эстер. Я знаю. Но когда идешь по такому дому, кажется, что тебе самой сто лет. Ненавижу пустые комнаты. *(Встает, подходит к арфе.)* Который час?

Виктор *(взглянув на часы)*. Без двадцати шесть, он вот-вот будет.

Она дергает струны арфы.

За это должны дать приличные деньги.

Эстер. Тут за многое должны дать приличные деньги. Только поторгуйся как следует. А не бери сразу сколько дадут.

Виктор. Не волнуйся. Во всяком случае, задаром не отдам.

Эстер *(подходит к патефону)*. Что за пластинка?

Виктор. Это «смеющаяся пластинка». В двадцатые годы они были нарасхват.

Эстер. Неужели ты помнишь?

Виктор. Смутно. Мне было пять или шесть. Их крутили, когда собирались компанией. Уж не помню: не то спорили — кто дольше не засмеется, не то просто садились вокруг и смеялись.

Эстер. Здорово придумано!

Виктор. А ты сегодня хороша!

Она поворачивается к нему с виноватой улыбкой.

Ничего! Я же сказал: буду торговаться — и буду!

Эстер. Я верю... Это тот самый костюм!

Виктор. Тот самый? Ах, тот самый! Сколько? Повернись!

Эстер *(поворачиваясь)*. Сорок пять. Ты представляешь: продавец сказал, что его никто не берет — слишком простенький.

Виктор. А по-моему, прелесть! Женщины просто слепы! Нет, когда за твои деньги тебе дают что-то настоящее, я не против. Но чаще всего они пытаются всучить такую ерунду!

Эстер. Я рада, что тебе нравится. Но и ты, надеюсь, пойдешь не в форме.

Виктор. Я его чуть не убил, этого типа! Только что переоделся, в это время Макгоуэн стал брать отпечатки пальцев у одного бездельника, а тот, видите ли, не желает. И давай размахивать руками! Я иду мимо, а он мне — хлоп по подносу с кофе.

Эстер. О, господи!

Виктор. Я отдал костюм в срочную чистку. К шести обещали сделать.

Эстер. Кофе с молоком и сахаром?

Виктор. Да.

Эстер. К шести не сделают.

Виктор. Обещали.

Эстер. Даже и не думай.

Виктор. Ну, в конце концов, в кино можно и так...

Эстер. Но мы же так редко выходим. Неужели при этом каждому обязательно знать, кто ты и сколько ты получаешь?

Виктор. Пожалуйста, не надо опять про то же самое...

Эстер. Я хочу, чтобы у нас был настоящий вечер! Я хочу посидеть с тобой в ресторане, и чтобы никакой экс-полицейский не лез к тебе через стол с пьяными разговорами: «А помнишь, как мы...».

Виктор. Это было всего два раза... И после стольких лет службы было бы странно не...

Эстер. Да, это неважно, ты прав. А все-таки вспомни того человека в музее: он принял тебя за скульптора. Ведь принял?

Виктор. Хорошо, считай, что я скульптор.

Эстер. Но это было приятно, понимаешь: приятно. Вик, честное слово, когда ты надеваешь костюм, ты совсем другой, ты такой внуши-

тельный. Что тут плохого? *(Откидывается на спинку дивана.)* Жаль, я не записала марку этого виски.

Виктор. Марки разные, а химия одна!

Эстер. А все-таки одно лучше, другое хуже.

Виктор *(глядя на часы)*. Нет, как тебе это нравится? Он мне сказал: в пять тридцать, как из пушки. Такие пошли мастера болтать... *(Он непрерывно меряет шагами комнату, стараясь побороть раздражение, вызванное настроением жены.)* Эстер, ты не волнуйся, я сказал, и я буду торговаться. Ясно? А пить ты не умеешь. У тебя от этого портится настроение — и только.

Эстер. А если я от этого плохого настроения как раз и получаю удовольствие? Слушай, у меня есть идея!

Виктор. Какая?

Эстер. Что, если тебе меня бросить? Будешь посылать мне самую малость — на кофе и сигареты.

Виктор. И ты будешь жить, не вылезая из постели?

Эстер. Нет, я буду вылезать. Но не очень часто.

Виктор. Эстер, ты же умная, ты способная женщина. Ты не должна целыми днями пролеживать бока. Найди работу хотя бы на полдня, и тебе будет куда ходить!

Эстер. Будет куда ходить! Очень мне это надо! *(Помолчав.)* До сих пор не привыкну, что Ричард не со мной, вот и все.

Виктор. Что поделаешь — мальчик уехал. Он теперь мужчина. И ты должна что-то придумать себе.

Эстер. Не могу я ходить изо дня в день в одно и то же место. Никогда не могла, а сейчас тем более. Ты хотя бы попросил, чтоб Уолтера позвали к телефону!

Виктор. Я просил дежурную сестру. Но, по ее словам, он никак не мог оторваться.

Эстер. Ну и сукин сын. Даже думать о нем тошно!

Виктор. А что с ним поделаешь? Он всегда был такой. Бесчувственный.

Эстер. При чем тут чувства? Раз в шестнадцать лет подойти к телефону — для этого нужны не чувства, а обыкновенная порядочность. Представляю, как тебе противно все это...

Виктор. Сейчас уже нет. Но целую неделю ждать, что он позвонит! За это время я мог пригласить не одного оценщика, а десять. Впрочем, все к лучшему. Нам не о чем с ним говорить.

Эстер. Ты очень злишься на него?

Виктор. На себя. Звонил ему, как дурак...

Эстер. Теперь ты хоть согласен, что надо было браться за это месяц назад, сразу, как узнал, что дом будут сносить?

Виктор. Не брался, потому что не мог заставить себя позвонить ему. Ну его к черту! Как-нибудь справлюсь сам. В конце концов, какая разница?

Эстер. А его доля? Вик, я не хочу долбить тебе одно и то же, но ведь речь идет о деньгах и, судя по всему, не таких уж маленьких. Как ты собираешься договориться с ним?

Виктор. Я уже думал об этом. Раз он имеет право на половину, почему он должен от нее отказываться?

Эстер. Но, по-моему, ты хотел оставить это на его усмотрение.

Виктор. Я передумал. Честно говоря, у меня нет такого чувства, что он мне что-то должен. И я не стану закатывать ему сцен.

Эстер. Интересно, на скольких «кадиллаках» может ездить один человек?

Виктор. Именно поэтому он и дальше будет ездить на «кадиллаках». Люди, которые любят деньги, не любят выпускать их из рук.

Эстер. Не понимаю тебя! По-твоему, если он не возьмет этих денег — он подаст нам милостыню. А по-моему, он просто выполнит свой моральный долг!

Виктор. Эстер, ты иногда вдруг начинаешь изрекать прописные истины! Моральный долг! Он даже не поймет, о чем я с ним говорю.

Эстер. Так заставь его понять! Плохо, что ты сам мало веришь в это. Или притворяешься, что не веришь.

Виктор. Ты что, хочешь, чтобы я ему изрек: «Сие твой долг предо мной!»?

Эстер. Вик, он сделал карьеру только благодаря тебе! По какому такому закону он имел тогда право учиться, а ты не имел?

Виктор. Прошу тебя. Не будем начинать все с начала.

Эстер. А откуда же? Ты и учился лучше, чем он. И если бы ты не взвалил на себя заботу об отце, он бы ни за что не кончил свой медицинский институт. Это и есть его долг перед тобой. И пора ему напомнить об этом, как делают в таких случаях нормальные люди! Все это стоит, наверное, приличных денег.

Виктор. Сомневаюсь. Антикварных вещей здесь нет и...

Эстер. Ну, конечно, раз это наше, значит, оно ничего не стоит!

Виктор. Зачем ты так?

Эстер. Затем, что как раз так мы с тобой и рассуждаем, всю жизнь! А здесь мебели, и довольно интересной, целый дом! И люди платят за такую мебель деньги! И ее тут, наверно, на тысячи долларов!

Виктор. Эстер, не надо. Мы с тобой обязательно поспорим, и я...

Эстер. Прекрасно, давай поспорим! Когда ты хочешь, ты отлично умеешь спорить. Все дело в том, что тебя кто-то убедил, что ты можешь играть только вторую скрипку. Господи, до чего мы с тобой похожи, просто ужас!

Виктор. Этот человек даже не подошел к телефону. Как и с чего я начну...

Эстер. Пиши ему письма, стучи кулаками в дверь! Пусть знает: все, что здесь,— твое!

Виктор. А что ты так волнуешься?

Эстер. Во-первых, я надеюсь, что это поможет тебе наконец решиться и уйти в отставку.

Пауза.

Виктор *(тихо и как бы нехотя, словно сообщая ей это по секрету)*. Пожалуй, меня останавливают даже не деньги...

Эстер. Тогда что же? Я думала, что, получив маленькую передышку, ты месяц-другой отдохнешь и соберешься с мыслями: чем заняться дальше.

Виктор. Я и сейчас ни о чем другом не думаю. Но думать можно и не увольняясь.

Эстер. А что проку?

Виктор. А по-твоему, это так легко решить? Мне скоро пятьдесят. А в пятьдесят просто так, за здорово живешь, новую карьеру не начинают.

Эстер. С таким настроением, как у тебя, лучше вообще не начинать. Тебе, наверное, кажется, что у тебя впереди непочатый край времени...

Виктор. Мне это не кажется.

Эстер. Если бы ты еще три года назад вернулся в институт, ты бы уже заканчивал курс. И у тебя уже сейчас могло бы оказаться на примете место по душе. Так или нет?

Виктор. Ладно. В четверг подаю заявление. Надеюсь, дальше мы можем говорить сидя?

Эстер. Каждый раз так: завтра, в четверг, на той неделе. А проходят месяцы. Ты становишься еще хуже меня. Вик, ты должен мне обещать... ты уйдешь в отставку и тогда...

Виктор. Не пойму, почему тебе вдруг так загорелось...

Эстер. Вдруг! Я говорю об этом, не переставая, уже три года. Говорю с той минуты, как ты отслужил свое.

Виктор. Но это еще не три года...

Эстер. В марте будет три. Три года!

Виктор *(так, словно это только что окончательно до него дошло)*. Ну, хорошо. Давай поговорим. Может быть, прямо в четверг.

Эстер. А у меня предчувствие, что все эти разговоры будут тянуться, пока тебе не стукнет шестьдесят пять. Надо не говорить, а сделать!

Виктор. Скажу тебе честно, я не совсем уверен, что все это реально. К тому времени, когда я смогу взяться за что-то новое, мне будет уже пятьдесят три — пятьдесят четыре.

Эстер. Ты не знал этого раньше?

Виктор. Знал, но когда доходит до дела, все выглядит иначе. И я уже не уверен, что в этом есть хоть какой-то смысл.

Эстер *(отодвигаясь от него, с отчаянием)*. Я тысячу раз тебя предупреждала, что так оно и будет! Но если в этом был смысл раньше, значит, он есть и сейчас! У тебя впереди еще двадцать лет, и за эти двадцать лет ты успеешь сделать тысячи интересных вещей. Ты же такой молодой, Вик!

Виктор. Я?

Эстер. Конечно. Я уже нет, а ты — да. На тебя заглядываются все девочки!

Виктор. Мне трудно говорить о будущем, Эс. Я его себе плохо представляю.

Эстер. Вот и давай поговорим о том, чего ты не представляешь! Почему тебе непременно надо все себе представлять?

Виктор. Послушай, детка, но кто-то из нас двоих все-таки должен служить?

Эстер. Хочешь, чтобы я делала вид, что все прекрасно? А я в тупике. Я не хочу делать вид, что все прекрасно! Я десятки раз просила тебя написать Уолтеру!

Виктор. Опять Уолтер! При чем тут он? Вечно ты сводишь разговор к этому...

Эстер. Он известный ученый. Его больница — целый исследовательский институт, я читала в газете. И это его больница!

Виктор. Этот человек не позвонил мне ни разу за шестнадцать лет.

Эстер. Но и ты ему не звонил.

Виктор. Почему я должен был ему звонить?

Эстер. Потому что он твой брат, потому что он влиятельный человек, потому что он может тебе помочь. Нормальные люди так и делают, Вик.

Виктор. Очень жаль, но Уолтер мне не нужен.

Эстер. Я же не прошу, чтобы ты восторгался им. Да, он эгоист и сукин сын. Но, по-моему, он мог бы что-нибудь придумать для тебя. И я не вижу в этом ничего унизительного.

Виктор. Допустим. Но почему ты с этим как с ножом к горлу?

Эстер. Очень просто: я, наконец, хочу знать, на каком я свете? *(К собственному удивлению, она закончила почти на крике. Муж молчит. И она идет на попятный.)* Я готова на все, но я хочу знать: во имя чего? Все эти годы мы оба твердили: как только будет пенсия, мы начинаем жить. И после того, как мы пять лет стучались в одну и

ту же дверь, она вдруг открылась, и мы стоим на пороге. Чего? Иногда мне приходит в голову, что я тебя не понимала и тебе нравится твоя служба.

Виктор. Я ее терпеть не мог с первого дня.

Эстер. Тогда во всем виновата я! Я мало помогала тебе, потому что слишком малого требовала от тебя.

Виктор. Ну, положим, ты умела бывать и фурией!

Эстер. Нет, я просто старалась, чтобы у тебя был надежный тыл, ты хотел этого — и я старалась. А что толку? Господи, перед самым уходом я осмотрела нашу квартиру — нельзя ли забрать что-нибудь отсюда... Мы живем среди такого уродства! Все старое, безвкусное, обшарпанное. А у меня был хороший вкус! А все потому, что мы всегда жили какой-то временной жизнью. Мы никогда не были кем-то, мы всегда только собирались кем-то стать. В конце войны, когда любой идиот мог нажить кучу денег,— вот когда надо было увольняться! И я знала это, знала!

Виктор. А я и хотел тогда уволиться. Это ты испугалась.

Эстер. Потому что ты сказал, что после войны наступит депрессия.

Виктор. Пойди в библиотеку, полистай газеты за сорок пятый год и посмотри, что в них написано.

Эстер. Плевать мне на газеты!

Виктор. Клянусь тебе, Эстер, порой, слушая тебя, можно подумать, что мы никогда и не жили как люди.

Эстер. Боже, до чего права была моя мама! Почему я никогда не верю себе? Я же знала, что если ты не уйдешь из полиции во время войны, ты уже никогда не уйдешь. Понимала и молчала. Знаешь, в чем наше проклятье? Мы не умеем думать о деньгах! Беспокоимся о них, говорим о них, но они нам никогда по-настоящему не нужны. Мне нужны, а тебе — нет. Они в самом деле нужны мне, Вик. Я хочу, чтобы они у меня были!

Виктор. Поздравляю!

Эстер. Иди ты к черту!

Виктор. Перестань все время сравнивать себя с другими. Ты последнее время только этим и занимаешься.

Эстер. Значит, я не могу иначе!

Виктор. Лучший способ почувствовать себя неудачницей! Потому что все равно, всякий раз кто-нибудь тебя да обскачет! Послушай, ну что случилось? У меня есть свой характер. Так же как и у тебя. Я не изменился...

Эстер. Нет, ты изменился. Как только встал вопрос об отставке, ты ходишь как потерянный.

Виктор. Да, отставка — это проблема. И я пока не знаю, как мне ее решить.

Эстер *(за ее нетерпением скрывается сочувствие)*. Что тебе мешает решиться? Разве ты с самого начала не знал, что рано или поздно уйдешь в отставку?

Виктор. Это верно, но... Я уже несколько раз принимался заполнять разные анкеты. Но посмотришь на эти чертовы анкеты и ничего не можешь с собой поделать... Двадцать восемь лет жизни! Подводишь под ними черту и спрашиваешь себя: все? Неужели пора? И отвечаешь: да, пора. Но беда в том, что когда я думаю, как начинать жить заново, у меня маячат перед глазами две цифры: пятерка и ноль — и не хватает духу забыть о них. С этим надо что-то сделать. И я сделаю! Только не знаю что. Каждый раз начинаю думать и каждый раз боюсь. Например, когда я вошел сюда, я вдруг подумал: это же нужно было спятить с ума — стаскивать сюда все подряд, словно этому цены нет! Как это я еще не приво-

лок сюда проводку и дверные замки! Я хочу сказать, что когда оглядываешься назад, многое из того, что казалось необыкновенно важным, выглядит нелепым. Взять хотя бы все, что я делал для отца,— сейчас мне это кажется просто невероятным.

Эстер. Но ты любил его.

Виктор. Да, конечно. Но одним этим словом всего не скажешь... Кем он был? Обанкротившимся дельцом, таким же, как тысячи других, а я вел себя так, словно гора рухнула. Иногда мне приходит в голову: может быть, я не хочу увольняться потому, что сожалею о сделанном куда больше, чем мне самому кажется,— и я просто боюсь посмотреть правде в глаза. И какая разница, чем ты занимаешься, раз все равно не занят любимым делом? Заниматься любимым делом — такая роскошь, о которой большинство и не помышляет. И быть полицейским тоже не самое последнее дело, хотя ты с этим и не согласна. Но я не раскаиваюсь. Благодаря этому мы с тобой, по крайней мере, не тонули и не пускали пузырей. Не знаю, как объяснить, иногда мне начинает казаться, что это не я, что мне кто-то рассказал всю эту историю про меня. С тобой не бывает так?

Эстер. Чуть не каждый день! Я вспоминаю, как в первый раз поднялась по этой лестнице — мне было девятнадцать. Я вспоминаю, как ты открыл коробку со своим новым полицейским мундиром. Мы шутили, что, если в доме не будет порядка, ты вызовешь полицейского.

Оба рассмеялись.

Тогда для нас все это было как маскарад. И мы были правы. Именно тогда мы и были правы!

Виктор. Знаешь, Эстер, время от времени ты делаешь попытки впасть в детство, и это...

Эстер. Да, делаю! Потому что мне надоело... Ладно, бросим это. Пойду пройдусь. Хочу выпить. *(Идет за своей сумочкой.)*

Виктор. Эстер, я бы не хотел заводить всю эту карусель сначала, предупреждаю тебя!

Эстер. Что я — алкоголик?!

Виктор. Вот что. Прекрати заниматься ерундой! По сравнению с огромным большинством людей ты жила прекрасно! И брось делать вид, что ты несовершеннолетняя, и подражать этим нынешним молокососам!

Эстер. Ах, вот как! Действительно, здесь, в этой комнате надо говорить серьезно. На твоем месте я бы помолчала! Вся эта мебель без толку пылилась и гнила здесь только потому, что ты, видишь ли, годами не мог заставить себя поговорить по телефону с собственным братом! Да с тобой всю жизнь будешь чувствовать себя несовершеннолетней! Именно это со мной и произошло!

Виктор *(задетый)*. Ну что ж! Делай, как знаешь.

Эстер *(не может сразу уйти)*. Где у тебя квитанция? Я заберу по дороге твой костюм.

Виктор *(достает квитанцию, отдает ей. Холодно)*. Это сразу за углом на Седьмой авеню. Адрес на квитанции. *(Отходит в сторону)*.

Эстер. Я скоро вернусь.

Виктор. Делай, как хочешь, малыш. Я не против. *(Отодвигает стул, становится на колени и выволакивает из груды вещей остов огромного старого радиоприемника.)*

Эстер. Что это?

Виктор. Один из первых собранных мною приемников! Mamma mia *, ты только посмотри на эти лампы!

---

* Мамочка *(итал.)*.

Эстер *(пробуя смягчить возникшее между ними напряжение)*. Это по нему ты поймал Токио?

Виктор. Ага, то самое чудище!

Эстер. Может, возьмешь его себе?

Виктор. А какой от него прок?

Эстер. По-моему, ты говорил, что у вас тут была лаборатория. Или я что-то перепутала?

Виктор. Была. Я ее ликвидировал, когда мы перебрались сюда с отцом. У Уолтера — по той стене, у меня — по этой. Мы тут такие штуки собирали! Малыш, скажу тебе как на духу: со мной происходит что-то непонятное. Я знаю все «почему» и знаю все «зачем», но это ни к чему не приводит в итоге. Странно, правда? А про то, что я когда-то делал здесь, я совсем забыл! А мы, бывало, работали здесь ночи напролет и часто под музыку. Мать часами играла внизу, в библиотеке. Как мы могли слышать эту музыку, непонятно, потому что звук у арфы тихий. Он проникал сквозь потолок, не знаю как, но проникал.

Эстер. Ты очень хороший. Правда, Вик. *(Хочет подойти к нему, но он переводит взгляд на часы, и это ее останавливает.)*

Виктор. Надо позвонить другому скупщику. Пошли отсюда. Получим мой костюм и попробуем быть миллионерами!

Эстер. Вик, ты меня не так понял, я не хотела...

Виктор. Ладно, все в порядке. Погоди. *(Берет рапиру и маску.)* Припрячу их, пока кто-нибудь не унес.

Эстер. А ты сейчас мог бы с кем-нибудь сразиться?

Виктор. Нет, для этого надо быть в форме.

Эстер. Покажи! Я никогда не видела, как ты фехтуешь!

Виктор. Хорошо, подожди минутку. *(Он вынимает револьвер, кладет его на столик рядом с большим креслом и становится в позицию.)*

Эстер. Может, снова займешься этим?

Виктор *(поигрывая кончиком рапиры)*. Это отличная рапира. Смотри — как живая! Я с нею выиграл у всего Принстона. *(Устало смеется и, тяжело стуча сапогами, делает несколько выпадов. Останавливается, уперев наконечник в живот жене.)*

Эстер *(отпрянув, когда наконечник уперся ей в живот)*. Боже! Вик!

Виктор. Что?

Эстер. Как у тебя красиво получается!

Он смеется, удивленный и немного смущенный, потом оба разом поворачиваются к двери: оттуда слышен долгий громкий кашель. Кашель усиливается, и...

Входит Грегори Соломон. Ему около девяноста, но спина у него прямая. Он еще сумел сохранить былую солидность и к старости так научился опираться на палку, что он выглядит скорее атрибутом уверенности, чем слабости.

Одет в бесформенное пальто, на голове — потертая черная шляпа, слегка заломленная набок а-ля Джонни Уокер. Поношенный, завязанный большим узлом галстук съехал на сторону. Уголки воротничка загнулись от времени. Жилет в морщинах, брюки давно не глажены. На левом указательном пальце — большое кольцо с бриллиантом; под мышкой — очень старый, на последнем издыхании кожаный портфель.

Сегодня Грегори Соломон еще не брился.

Все еще кашляя, он кивает Виктору и Эстер и поднимает руку, как бы обещая им заговорить в самом ближайшем будущем.

Виктор. Стакан воды?

Соломон решительным жестом отвергает это предложение и пытается сдержать кашель.

Эстер. Может быть, вы сядете?

Соломон жестом выражает благодарность, садится в большое кресло, его кашель идет на убыль.

Актер Пэт Хингл в роли Виктора.

Вы уверены, что вам не надо воды?

Соломон. Воды не надо, а долить в меня немножко крови было бы не лишнее. Благодарю вас. *(Он тяжело дышит, глядя на Виктора и его рапиру.)* Ой, дети мои! За вашу лестницу надо платить полетные. Еще несколько ступенек — и вы уже в раю. Простите меня, начальник, но я ищу некое семейство по фамилии... *(Ковыряется в жилетном кармане.)*

Виктор. Франц. Это я. Виктор Франц.

Соломон. Так, значит, это вы! Надо же! Нет, в этом убыточном деле есть свои прибыли — кого только не встретишь! Но с полицейскими я еще не имел дела. *(Протягивает руку.)* Счастлив познакомиться. Моя фамилия Соломон. Грегори Соломон.

Виктор *(обмениваясь рукопожатием)*. Это моя жена.

Соломон. Мадам прекрасно выглядит. *(Протягивает руку Эстер.)* Как поживаете, дорогая? Прелестный костюм.

Эстер *(смеясь)*. Я его только что купила.

Соломон. У вас хороший вкус. Поздравляю, носите себе на здоровье. *(Отпускает ее руку.)*

Эстер *(Виктору)*. Милый, я пошла в чистку. *(Направляясь к двери, говорит Соломону.)* Вы думаете, это надолго?

Соломон. С этой мебелью никогда не знаешь наверняка. Может быть, надолго, может быть, ненадолго, может быть, и то и се.

Эстер. Но вы должны дать ему настоящую цену, слышите?

Соломон. А вы думаете что: можно шестьдесят два года продержаться в деле на обмане? Идите, и пусть вам будет удача в этой чистке, куда вы идете.

Эстер. Надеюсь, у меня будут основания хорошо к вам относиться.

Соломон. Сердце мое, все девочки ко мне хорошо относятся.

Эстер *(смеясь, Виктору)*. Будь осторожен, слышишь? *(Уходит.)*

Соломон. Она мне нравится. Очень недоверчива.

Виктор. Что-то не доходит до меня.

Соломон. Когда женщина всему верит, разве можно ей доверять? Вот у меня, например, была жена... *(Жестом прерывает себя.)* А, какая разница! Слушайте, скажите, если это нетрудно, как вы меня нашли?

Виктор. По телефонной книге.

Соломон. Как вам нравится! По телефонной книге!

Виктор. А что?

Соломон *(загадочно)*. Нет, нет. Все прекрасно. Все прекрасно.

Виктор. Вы зарегистрированы там как оценщик.

Соломон. О, да. Я зарегистрирован, я запатентован, и у меня даже привита оспа. И не смейтесь! Все, что вы теперь можете сделать без патента,— это подняться на лифте как можно выше и вышагнуть в окно. Впрочем, что я вам рассказываю. Вы же полицейский. Вы же сами знаете эту жизнь. *(Стараясь втянуть Виктора в разговор.)* Разве я не прав?

Виктор *(сдержанно)*. Возможно.

Соломон. Вот видите, я прав. Но сколько здесь мебели! Я никогда не ожидал увидеть такую тьму мебели в таком районе.

Виктор. Но я предупредил вас, что тут мебель со всего дома. Все это принадлежало моим родителям.

Соломон. Что вы говорите! Похоже, что она стоит здесь уже много лет, да?

Виктор. Да, отец перетащил все это сюда в двадцать девятом, после кризиса. Дом отошел к кредиторам, а ему они оставили эту квартиру.

Соломон. Понимаю. *(Идет к арфе.)*

Виктор. Вы можете назвать вашу цену, или вы сначала...

Соломон *(поглаживая раму арфы)*. Сейчас я все подсчитаю. Лишней минуты я у вас не отниму, я сам очень занят. *(Трогает струну, прислушивается к звуку, нагибается и проводит рукой по резонатору.)* А ваш отец, он скончался?

Виктор. Уже давно — шестнадцать лет назад.

Соломон. И все это стоит здесь шестнадцать лет?

Виктор. Мы не собирались ничего трогать, но дом назначили на снос, и вот... По тем временам это были очень хорошие вещи: отец располагал деньгами, и немалыми.

Соломон. Очень хорошие, да... я вижу. *(Отходит от арфы, в последний раз бросив на нее оценивающий взгляд.)* Я тоже был очень хорош, теперь я уже не так хорош. Время — скверная штука. Резонатор с трещиной. Но вы не беспокойтесь, это еще вполне приличная вещь.

Виктор. Назовите приемлемую цену, и мы сразу покончим с этим.

Соломон. Вы правы. Видите ли, я вам не солгу. Например, вот этот шифоньер. Он у меня не простоит и недели.

Виктор. Там в спальне еще кое-что есть, может, посмотрите?

Соломон *(заглядывая в спальню)*. Резная кровать — это хорошая вещь. Это я могу продать. Это кровать ваших родителей?

Виктор. Да. По-моему, они купили ее в Европе. В свое время они много ездили.

Соломон. Красивая вещь. Хорошая вещь. Мне она нравится. *(Он направляется к большому креслу в центре комнаты, взгляд его блуждает по скоплению мебели. Он останавливается и поднимает рапиру.)* А это что? Когда я входил, мне показалось, что вы хотели проткнуть вашу жену.

Виктор *(смеясь)*. Когда-то, очень давно увлекался фехтованием. И сегодня вдруг нашел ее.

Соломон. Вы учились в колледже?

Виктор. Да, несколько лет.

Соломон. Это очень интересно.

Виктор. Не думаю.

Соломон. Нет, вы послушайте. Что случилось у людей — это для меня всегда очень важно. Потому что — когда они меня вызывают? Или когда они разводятся, или когда у них кто-нибудь умер. Так что каждый раз это новая история. Та же самая, но совсем другая. *(Садится в кресло.)*

Виктор. Подбираете обломки крушений?

Соломон. Вы очень правы, да. Я подбираю обломки крушений. И, как я думаю, немножко похож этим на вас. Ведь, если не ошибаюсь, вам тоже порассказали за вашу жизнь немало всяких историй.

Виктор. Мне их рассказывают не так уж часто.

Соломон. Почему? Вы что, служите в транспортной полиции и никогда не вылезаете из машины?

Виктор. Нет, но мой участок в Рокауэй, в сущности, за городом. И там не так уж людно.

Соломон. Прямо как в Сибири!

Виктор *(смеется)*. Не совсем. Но мне там нравится.

Соломон. Одним словом, не любите совать нос в чужие дела!..

Виктор. Вот именно. *(Указывая на мебель.)* Ну, сколько за все?

Соломон. Я смотрю, вы такой деловой человек...

Виктор. Угадали.

Соломон. И прекрасно. Так скажите мне, у вас при себе есть какая-нибудь бумага? На право владения?

Виктор. Нет! Я владелец, вот и все.

Соломон. Иначе говоря, вы не имеете ни братьев, ни сестер.

Виктор. Брат у меня есть.

Соломон. Ага. И вы с ним в самых хороших отношениях? Нет, я ни во что не вмешиваюсь, но не мне вам рассказывать, как у них бывает в этих семьях: все они любят друг друга, как сумасшедшие, но в ту минуту, когда умирают родители, вдруг возникает вопрос: кто хочет иметь что! И вокруг этого начинается тарарам.

Виктор. Здесь не будет ничего подобного.

Соломон. Если бы речь шла о том, чтобы купить несколько вещей... Но купить такую обстановку без того, чтобы иметь бумагу...

Виктор. Хорошо, я принесу вам такую бумагу. Не беспокойтесь.

Соломон. Вы уверены в этом? Самые большие люди, вы мне не поверите, на что они способны: юристы, профессора колледжей, даже телевизионные дикторы — пятьсот долларов они готовы заплатить адвокату, чтоб отсудить какой-нибудь шкаф, который стоит пятьдесят центов, и только потому, что, видите ли, все хотят настоять на своем, все хотят быть — номер один.

Виктор. Я сказал, что принесу вам бумагу. Может быть, начнете?

Соломон. Хорошо, я начну. Например, обеденный стол. Это у нас называется: в стиле испанского короля Якова. Он стоил тысячу двести — тысячу триста долларов в тысяча девятьсот двадцать первом

году. Вы полицейский, я торгую мебелью, мы с вами знаем жизнь: в нашей жизни легче продать свой туберкулез, чем такого «испанского Якова».

Виктор. Почему? Стол в прекрасном состоянии!

Соломон. Вы говорите фактически, а об антикварной мебели нельзя говорить фактически. Такой стиль у них теперь не в моде. И мало того, что он у них не в моде, они его терпеть не могут. И такая же история с тем шкафом, и с тем, и с тем. *(Показывает пальцем.)*

Виктор. Если я вас верно понял, вы хотите взять несколько вещей, и все?

Соломон. Вот зачем-то мы уже начинаем торопиться...

Виктор. Если вы пришли, чтобы выловить из супа все мясо,— дело не пойдет. Или все, или ничего, и давайте забудем об этом. Я предупредил вас по телефону, что речь идет об обстановке целого дома.

Соломон. А что вы так спешите? Поговорим спокойно, и вы увидите, что будет! Они же не построили Рим в один день! Я вам объясню, что я имел в виду: за эти несколько вещей я вам дам такую замечательную цену, что вы...

Виктор. Это исключено. У меня здесь не универсальный магазин. Дом на днях снесут.

Соломон. Ну, и очень хорошо! Мы с вами понимаем друг друга — так зачем нам так нервничать? *(Подходит к столу с пластинками.)* Пластинки вы тоже продаете? *(Берет одну из них.)*

Виктор. Несколько штук, наверное, оставлю себе.

Соломон *(читает наклейку)*. Нет, подумать только! Галахер и Шин!

Виктор. Надеюсь, вы не собираетесь устраивать здесь прослушивание?!

Соломон. Прослушивание? Я? Я выступал с этим Галахером и с этим Шином в одной программе, может быть, в пятидесяти разных театрах.

Виктор. Вы были актером?

Соломон. Актером? Акробатом! Вся моя семья были акробатами. Вы никогда не слышали? «Пять Соломонов» — мир их праху! Я был самый нижний.

Виктор. Неужели? Никогда не слышал: евреи — акробаты.

Соломон. А как же Иаков? Разве он не был борец? Разве не он боролся с архангелом? От самого сотворения мира евреи были акробатами. Я был здоров, как лошадь; вино, женщины, все на свете, давай, давай! Без остановки! Только жизнь меня остановила. Так-то, мой мальчик! *(Почти любовно опускает пластинку на стол.)* Что вы про них знаете? Галахер и Шин!

Виктор. А если ближе к делу?

Соломон *(осматривается по сторонам, словно ему не по себе)*. Слушайте, как у нас дела с преступностью? Опять растет, а?

Виктор. Мистер Соломон, чтобы у нас не было недоразумений, должен вас предупредить: я человек необщительный.

Соломон. Необщительный?

Виктор. Необщительный. Я плохой бизнесмен и плохой собеседник. Давайте вернемся к цене и покончим с этим. О'кей?

Соломон. Вы не хотите, чтоб мы с вами стали приятели?

Виктор. Вот именно.

Соломон. Хорошо, так мы не будем приятели! Но чтобы вы немножко лучше знали меня, я вам кое-что покажу. *(Вытаскивает из кармана кожаную книжечку, открывает ее и, не выпуская из рук, показывает Виктору.)* Это меня демобилизовали из Британского флота. Видите? «Служба его величества».

Виктор *(разглядывая документ)*. Что вы делали в Королевском флоте?

Соломон. Оставьте в покое Королевский флот. Посмотрите дату рождения — что там написано?

Виктор *(изумленный, смотрит на Соломона)*. Вам почти девяносто?

Соломон. Да, мой мальчик, я уехал из России шестьдесят пять лет назад, и мне было двадцать четыре года. И я всю жизнь курил, и пил, и спал с каждой женщиной, которая была не против. И после этого вы думаете, что мне нужно что-то украсть у вас?

Виктор. А разве крадут только потому, что кому-то что-то нужно?

Соломон. В жизни не видел такого упрямого человека!

Виктор. Видели и не раз! Так вы мне назовете вашу цену или?..

Соломон *(он даже несколько напуган тем, что Виктор никак не идет на крючок)*. Как я могу назвать вам мою цену, если вы не верите ни одному моему слову!

Виктор. Я вас впервые вижу. Почему вы считаете, что я вам должен верить?

Соломон. Так как же вы хотите, чтоб я с вами разговаривал? Вы меня извините, но в этом деле между вами и мной — вы не полицейский. Если вы хотите делать дело — или вы должны мне немножко верить, или из этого дела ничего не выйдет! *(Встает и идет за своим портфелем.)* И давайте забудем про это.

Виктор. Куда вы собрались?

Соломон. Я не могу так работать. Я уже слишком стар, чтобы каждый раз, когда я открываю рот, вы меня буквально называли вором.

Виктор. Кто вас называл вором?

Соломон *(по пути к двери)*. Мне это не нужно. И в моем магазине я этого не хочу. *(Указательным пальцем почти тычет Виктору в лицо.)* И заметьте себе: я вам даже не назвал свою цену, а что вы со мной сделали! Я даже еще не назвал цену!

Виктор. Можно подумать, что, придя сюда, вы сделали мне одолжение.

Соломон. Мне вас жаль! Люди, что с вами случилось! Вы еще хуже, чем моя дочь! Ничему в мире не верите, ничего не уважаете — как вы живете? Я вам дам маленький совет: не в том беда, что вы разучились во что-то верить — это еще полбеды,— а в том беда, что вам все равно нужно во что-то верить. Вот что самое трудное. И если вы не умеете этого, вы конченый человек.

Виктор. Соломон! Слушайте, давайте вернемся к делу.

Соломон. Ни за что! Вы хотите продать мне мебель, но вы не хотите меня слушать — о чем же нам говорить?

Виктор. Я вас слушаю, слушаю! На колени, что ли, встать перед вами?

Соломон *(вытаскивает из кармана пиджака потертый матерчатый сантиметр)*. Хорошо, идите сюда. Вы любите факты, сейчас вам будут факты архитектуры. *(Измеряет сантиметром глубину шифоньера.)* Сколько это, по-вашему?

Виктор. Сорок дюймов. Ну и что?

Соломон. Ширина двери в спальню в домах, которые они теперь строят, тридцать или тридцать два дюйма, не больше. И эта вещь туда не пройдет. Погодите, не волнуйтесь! У вас там стоит кабинетный стол. Прекрасная, надежная вещь! Но пойдите найдите мне современную квартиру с настоящим кабинетом. Если бы они еще строили прежние гостиницы, я бы все это, наверное, продал, но они теперь строят новые гостиницы! Люди уже не живут, как жили. Нет и нет! Для них это товар с того света. И я хочу, чтобы вы взгля-

нули на это с современной точки зрения. Потому что цена подержанной мебели — это и есть точка зрения. А если вы не понимаете эту точку зрения, как я вам объясню, сколько она стоит?

Виктор. Ну и какая же будет у нас точка зрения? Что все это не стоит ни гроша?

Соломон. Это сказали вы. Я этого не говорил. Стулья стоят кое-что и шифоньеры тоже, потом кровать, арфа...

Виктор. Ладно, достаточно! Я не дам вам снимать сливки...

Соломон. Куда вы так торопитесь, а?

Виктор. В конце концов, вы назовете вашу цену или нет?

Соломон *(отступает к двери, держась рукой за висок)*. Ай-яй-яй, молодой человек, молодой человек, вы уже, наверное, арестовали целый миллион людей!

Виктор. За двадцать восемь лет — девятнадцать человек.

Соломон. Тогда почему вы так бросаетесь на меня?

Виктор. Потому что вы говорите о чем угодно, кроме денег, и я не пойму, какого черта вам надо!

Соломон. Хорошо, поговорим про деньги. *(Возвращается и садится в кресло.)*

Виктор. Отлично. И не злитесь на меня. Я не могу избавиться от мысли, что с каждым вашим словом цена ползет все вниз и вниз.

Соломон *(усаживаясь)*. Мой мальчик, с той минуты, как я сюда вошел, цена не изменилась ни на йоту.

Виктор *(со смехом)*. Тем лучше. Какова же она?

Соломон оглядывается по сторонам, остроумие его иссякло, и на лице появилось выражение удрученности.

Что с вами?

Соломон. Простите меня. Мне не следовало приходить. Я думал, это будет несколько предметов... *(Прикрывает пальцами глаза.)* Всего этого слишком много для меня!

Виктор. Я же вам сказал, что здесь целый дом. Зачем вы пришли?

Соломон. Меня позвали, и я пришел! А что я должен делать — ложиться и умирать?

Виктор. Ничего себе, в хорошенькую историю вы меня...

Соломон. Это был такой соблазн, что вы не можете себе представить! Вы посмотрели в очень старую телефонную книгу. Не то чтобы я совсем бросил дело, нет, но несколько лет назад я решил, что мне уже пора — вы меня понимаете? Я распродал почти весь свой магазин. И отказался от своей квартиры. И стал жить в своем магазине, поставил в углу электроплитку и стал ждать. Но ничего не случилось. Я до сих пор в порядке на все сто процентов. Прекрасно себя чувствую. И я подумал: а может, у вас окажется несколько хороших, приятных вещей! Не то чтобы нельзя было продать и все остальное, но на это уйдет целый год! А год — слишком много для меня! *(Борясь с собой, смотрит по сторонам.)* Вся беда в том, что я люблю свою работу. Я люблю ее, но... *(Сдаваясь.)* Не знаю, что и сказать вам.

Виктор *(встает)*. Ладно, бросим это дело.

Соломон *(вставая)*. Куда вы так торопитесь?

Виктор. Так вы беретесь или вы не беретесь?

Соломон. А откуда я знаю, да или нет? Это совершенно особенная мебель. Обыкновенный человек, как только посмотрит на нее, сразу начнет нервничать.

Виктор. Отчего это он станет нервничать?

Соломон. Оттого что он сразу поймет, что она никогда не сломается.

Виктор. Шутки шутками, но хоть чуть-чуть пожалейте меня!

Соломон. Мой мальчик, вы не знаете психологии человека! Если его мебель никогда не сломается, значит, ему уже никогда не придется покупать ее снова. А какое у нас теперь самое главное слово? «Заменяемость». Чем проще вам что-то выбросить, тем приятнее для вас эта вещь. Машина, мебель, жена, дети — все должно быть заменяемо! Потому что, видите ли, самое главное сегодня — это покупать. Когда-то раньше, если человеку не было счастья и он не знал, куда себя девать, он шел в церковь, устраивал революцию — что-то делал! Сегодня у вас нет счастья? И вы не знаете, что вам делать? Где ваше спасение? Идите за покупками! А какие могут быть покупки, имея такую мебель? Она уже есть у вас — раз и навсегда. И что дальше? Вы имеете такую проблему...

Виктор. Соломон, вы мастер своего дела! Но я тоже не вчера родился. Этот номер не пройдет.

Соломон. Что значит не пройдет? Я же не знаю, сколько времени мне еще отпущено на этом свете. А вы пока такой молодой человек, что вам этого не понять.

Виктор. И все же я кое-что понимаю и даже догадываюсь, что у вас на уме. Как-никак скоро и мне стукнет пятьдесят.

Соломон. Боже мой, где мои пятьдесят... Я женился в семьдесят пять.

Виктор. Ну-ка, ну-ка.

Соломон. В семьдесят пять, в пятьдесят три и в двадцать два. И последняя живет на Восьмой авеню. И я вам скажу, я бы не хотел, чтобы она наложила свою лапу на все это. Она любит птичек. У нее сто птичек, и когда она дает вам тарелку супа, там тоже перья. Выходит, я всю жизнь работал на этих птиц — ну, нет!

Виктор. Мистер Соломон, сочувствую вашим неурядицам, но почему я должен за них расплачиваться? У меня больше нет времени.

Соломон *(протестующе поднимает руку)*. Покупаю! *(Он сам ошеломлен своей решимостью.)* То есть я хотел сказать... Мне придется из-за этого еще немножко пожить, только и всего. Решительно и бесповоротно! Покупаю.

Виктор. Разговор идет обо всем, что здесь есть.

Соломон. Обо всем, обо всем! *(Сердито встает, идет за портфелем.)* Сейчас я все прикину и дам такую цену, что вы сразу будете счастливый человек.

Виктор. Ну, это положим.

Соломон вытаскивает из портфеля огромный блокнот и крутое яйцо.

Виктор. Теперь вы будете завтракать?

Соломон. Вы так долго со мной спорили, что я проголодался. А мне нехорошо для здоровья долго быть голодным.

Виктор. О, господи!

Соломон *(разбивает скорлупу о костяшки пальцев)*. Что вы возмущаетесь? Вы хотите, чтобы я умер с голоду?

Виктор. Нет. Я просто вне себя от счастья!

Соломон. Соли у вас, наверное, нет?

Виктор. Сейчас я возьму и побегу вам за солью!

Соломон. Только, пожалуйста, не синейте от злости! Сейчас я назову вам цену, и вы упадете от радости. *(Доедает яйцо и снова начинает осматривать обстановку, держа блокнот и карандаш наготове.)* Сейчас я вам все сразу сосчитаю, как будто я электронная машина.

Виктор. Можете не торопиться, если, наконец, все это всерьез.

Соломон. Представьте себе, когда так давно не берешь за один раз столько товара, уже забываешь, как это на тебя действует. Просто вынуть карандаш — это уже как будто тебе вспрыснули витамин!

Я вам очень благодарен. *(Смолкает, оглядывая комнату.)* И имея все это, ваш отец так прогорел?

Виктор. Дотла. За пять недель. Даже меньше.

Соломон. И не смог вернуть свое? Что же он делал?

Виктор. Ничего. Сидел вот здесь. Слушал радио. Или торчал в кафе — разменивал доллары на мелочь для автоматов. И до конца жизни разносил телеграммы.

Соломон. Не может быть. Сколько же он имел?

Виктор. Думаю, пару миллионов.

Соломон. Что же его так подкосило?

Виктор. Не знаю, примерно тогда же умерла моя мать, это тоже не добавило ему сил. Некоторые люди, когда их швырнут об пол, просто не умеют подскочить вверх, как мяч, вот и все.

Соломон. Слушайте, я вам могу рассказать про «подскочить вверх». У меня же была не жизнь, а настоящий баскетбол! Я обанкротился в девятьсот тридцать втором. В девятьсот двадцать третьем они опять срезали меня под корень. Паника в девятьсот четвертом, не говоря уже о восемьсот девяносто восьмом. Но сдаться так...

Виктор. Что же вы хотите, вы другой человек. А он в это верил.

Соломон. Во что он верил?

Виктор. В эту систему, вообще во все это! И, наверное, считал, что сам виноват. А вы являетесь сюда со своими баснями, вам сто пятьдесят лет, у вас миллион всяких историй, все от вас без ума, и вы уходите, унося мебель под мышкой.

Соломон. Не очень любезно!

Виктор. Обойдемся без упреков! Ну, так сколько вы даете? И довольно смотреть на мебель — вы уже знаете ее наизусть.

Заметно, что у Соломона почти иссяк весь запас проволочек. Он тревожно озирается по сторонам: мебель нависла над ним со всех сторон.

Ну, чего вы еще боитесь? Купите ее, и у вас снова будет занятие.

Соломон *(доверительно)*. Я хотел бы вам кое-что рассказать. Последние несколько месяцев, не знаю, что случилось,— она является мне! У меня была дочь — мир ее праху! — она сделала над собой самоубийство.

Виктор. Когда это случилось?

Соломон. Это было... в девятьсот двенадцатом, во второй половине. Она была такая красивая, просто чудо какое лицо, большие глаза. И чистая, как утро. Последнее время — не знаю, что такое,— я вижу ее так ясно, как вижу вас. Почти каждую ночь я ложусь спать, и она сидит рядом. И не знаешь, что делать, и спрашиваешь себя: что случилось? Кто знает, может, я действительно что-нибудь не то сказал ей тогда... все это так... *(Смотрит на мебель.)* Вы не должны за это волноваться... что я умру раньше, чем... Но вот представьте себе: еще минуту назад я говорил вам, что у меня было три жены. А минуту спустя вспомнил, что их было четыре. Разве это не ужас? Первый раз мне было девятнадцать, в Литве. Вы понимаете, что я хочу сказать? Кто может знать, что важно и что нет? Вот я здесь сижу с вами и... *(Смотрит на мебель.)* А зачем? Не то чтобы я ее не хочу взять, я ее хочу, но... Всю свою жизнь я был борец, что-нибудь взять у меня — это было невозможно. Я толкался, я пихался, я бился в шести разных странах! А теперь я сижу здесь и говорю вам, что все это сон, сон! Вы себе не можете этого представить, потому что...

Виктор. Отчего же, я отлично вас понимаю. Для этого не надо быть таким уж старым. Вы только что сказали: откуда нам знать, что важно, а что нет? Я думаю, как раз в этом дело. Если бы я попы-

тался рассказать вам все, что случилось в этой комнате тридцать лет назад, вы бы меня не поняли. Я уже и сам не понимаю этого. И все же... я часто думаю: многое, что я делал в жизни, уходит корнями именно в этот день. Но это не сон. Тут дело в другом: вдруг совершаешь что-то, даже не успев подумать о последствиях. А потом, как ни крути, уже никуда не денешься.

Соломон. А что такое? У вас есть здоровье, у вас такая милая... У вашей жены все в порядке?

Виктор. Да, она отличная женщина — самое большое счастье, которое привалило мне в жизни. Когда мы с ней начинали, для нас важно было только одно — жить так, как мы хотим, а не по законам этой блошиной лавочки. Но, вероятно, других законов не существует. И в конце концов все, кроме денег, теряет значение. Пытаешься не поддаваться, но все упирается в одно: ей нужно! Да, ей нужно. И я не могу ее за это винить. Наши соседи по дому темные, неотесанные чурбаны, они даже имени своего толком написать не умеют. Но в прошлом месяце заходят к нам и предлагают купить их старый холодильник — они, видите ли, каждые два-три года покупают себе новый. Они, видите ли, знают, сколько я получаю, и это вроде как бы дружеская подначка: показать нам, кто сверху, кто снизу. А она от таких шуточек на стену лезет!

Соломон. А что она хочет от полицейского? Честный полицейский — это...

Виктор. Пустое место. Я четырнадцать лет не мог заработать нашивок, потому что не хотел давать никому в лапу. И мы оба всегда считали, что именно так и нужно. Но в конце концов все равно приходишь к тому, что... Я, наверное, скоро уйду в отставку.

Соломон. И что же вы будете делать?

Виктор. Это как раз не проблема — что-нибудь придумаю. Беда в том, что я иногда вообще перестаю видеть смысл в этой моей отставке. Бывают дни, когда я безуспешно пытаюсь вспомнить, что же я собирался сделать в жизни. Все та же старая песня: делай что угодно, только побеждай! Как мой брат! Много лет назад, когда я остался жить здесь с отцом, он помогал нам — давал по пять долларов в месяц, в месяц! У него была неплохая практика. А я бросил институт, чтобы старик не умер здесь с голоду. Но я хочу сказать о другом: в те считанные разы, когда брат заходил сюда, вы бы видели, какое выражение лица было у старика! Можно было подумать, что ему явился сам господь бог! Старик смотрел на брата, открыв рот. С почтением! А, впрочем, почему бы и нет? Почему бы и нет?

Соломон. Что же вы хотите, ваш брат был — сила.

Виктор. Вот теперь вы попали в самую точку: если есть у вас сила, у вас есть все, вас даже любят за это. *(Смеется.)* Ладно, так сколько все это стоит?

Соломон *(после минутного колебания)*. Это стоит тысячу сто долларов.

Виктор. За все?

Соломон. За все. Я хочу купить, и я даю вам хорошую цену. *(Вынимает из кармана конверт и достает пачку денег.)* И сейчас же с вами рассчитаюсь.

Виктор. Да, но мне надо будет разделить их пополам...

Соломон. Так за чем дело стало? Я дам вам приемную квитанцию и и помечу в ней, что заплатил вам шестьсот долларов. Почему бы нет? Он же не жалел вас, так что вы жалеете его!

Виктор. Нет, я так не хочу. Я позвоню вам завтра.

Соломон. Хорошо. Если я с божьей помощью еще буду там завтра,

я подойду. А если меня там не будет... так меня не будет.

Виктор. Только не надо опять все с самого начала, я вас прошу.

Соломон. Вы меня убедили, и я решился это купить. Так как вы хотите, чтобы я теперь поступил?

Виктор. Я убедил вас?

Соломон. Вы же сами видели: в ту минуту, как я все это увидел, я сразу хотел уйти!

Виктор. Ладно, черт с ним! *(Протягивает руку.)* Давайте их сюда.

Соломон. Из-за чего вы так расстраиваетесь?

Виктор. Все это дурно пахнет.

Соломон. Ничем это не пахнет. Вы должны быть довольны. Вы ей купите симпатичное пальто, и вы ее повезете во Флориду. И, может, вы после этого...

Виктор. Да, вы угадали. После этого мы все будем счастливы. Еще бы! Давайте их сюда.

Соломон, покачав головой, начинает отсчитывать банкноты в протянутую руку Виктора. Виктор отворачивается и смотрит на груды мебели.

Соломон. У вас там четыре, даю вам пять, шесть, семь...

В дверях появляется мужчина лет пятидесяти пяти, крепкого телосложения. Он без шляпы, тщательно подстрижен, одет в пальто из верблюжьей шерсти. У него лицо завидно здорового человека.

Виктор, который смотрит мимо Соломона, слегка вздрагивает от неожиданности и отдергивает руку, не успев принять очередную стодолларовую бумажку, которую уже протянул ему Соломон.

Виктор *(внезапно вспыхнув, неожиданно высоким и каким-то мальчишеским голосом)*. Уолтер!

Уолтер *(входит в комнату и идет к Виктору с протянутой для рукопожатия рукой, с затаенным теплом в глазах, но с привычно надетой на лицо улыбкой)*. Как дела?!

Виктор *(перекладывает деньги в левую руку и протягивает правую)*. Никак не ожидал, что ты приедешь.

Уолтер. Прости, задержался. Что это ты делаешь?

Виктор. Я? Я только что все это продал.

Уолтер. Отлично! За сколько?

Виктор *(словно он вдруг прозрел и теперь абсолютно уверен в том, что его надули)*. За тысячу сто.

Уолтер *(в тоне его нет ни одобрения, ни упрека)*. Ну и хорошо. За все?

Соломон. Счастлив познакомиться с вами, доктор. Позвольте представиться: Грегори Соломон.

Уолтер *(выражение его лица говорит: «Что ж, пожалуй, это забавно», однако в его сдержанности есть оттенок негодования)*. Здравствуйте!

Он пожимает руку Соломону. Виктор поднимает руку, чтобы пригладить волосы, и на лице его появляется такое выражение, словно он сам себя боится.

Занавес

Действие второе

Действие не прерывалось. Когда поднимается занавес, Уолтер отпускает руку Соломона и поворачивается к Виктору. Во взгляде — теплота, но улыбка сдержанная и, пожалуй, жестковатая.

Уолтер. Как Эстер?

Виктор. Все в порядке. Она вот-вот должна прийти.

Уолтер *(снимает пальто)*. Сюда? Отлично! А что делает Ричард?

Актер Артур Кеннеди в роли Уолтера Франца.

Актер Дэвид Бернс в роли Соломона.

Виктор. Он в Массачусетсском технологическом. Ему дали полную стипендию.

Уолтер. Смотри-ка. Ты можешь им гордиться.

Виктор. Да, пожалуй.

Уолтер. Здорово! Ничего, что я пришел?

Виктор. Я сам несколько раз звонил тебе.

Уолтер. Мне передавали. А чем Ричард интересуется?

Виктор. Наукой. Пока, во всяком случае. Как твои?

Уолтер. Лучше всего дела идут у Джин. Но ты, по-моему, ее ни разу не видел.

Виктор. Ни разу.

Уолтер. Прошлой осенью «Тайм» посвятил ей целый разворот. Она отличный дизайнер.

Виктор. Да-а? Это замечательно. А мальчики в школе?

Уолтер. Иногда бывают. Из всех неисследованных проблем нашего загадочного мира их интересует проблема гитары. И бог с ними! Я давно махнул на них рукой. *(Проходит мимо Соломона и идет, оглядывая мебель.)* Я и забыл, сколько тут всякого добра осталось от отца! А вон твое радио!

Виктор. Да, я его уже видел.

Уолтер *(взглянув на Виктора с нескрываемой теплотой)*. Много воды с тех пор утекло.

Виктор *(не давая прорваться ответному чувству)*. Как Дороти?

У о л т е р. Вероятно, неплохо. *(Идет дальше вдоль нагромождения мебели, внезапно оборачивается.)* Говоришь, Эстер скоро придет? Давно не видел ее. Как ее стихи, все еще пишет?

В и к т о р. Бросила. Уже не помню когда.

У о л т е р *(снова оглядев мебель)*. Все та же старая рухлядь, верно?

В и к т о р. Зачем ты так? Здесь далеко не все рухлядь.

С о л о м о н. Две-три вещи тут очень приличные, доктор. И мы уже заключили очень приличную сделку.

В и к т о р. Никак не думал, что ты все-таки появишься. Пожалуй, нам лучше будет начать все сначала.

У о л т е р. Зачем? Это твои дела, и мне в них лезть ни к чему.

С о л о м о н. Вы меня простите, доктор, но не лучше ли вам взять то, что вы хотите, сейчас, чем спорить потом. Что бы вы хотели?

У о л т е р. Ничего. Я зашел повидаться, вот и все.

В и к т о р. Я решил избавиться от всего разом. Никак не ожидал, что ты появишься.

У о л т е р О чем ты говоришь? Все правильно. А себе ты что-нибудь оставишь?

В и к т о р. Вряд ли. Может, Эстер захочет взять какую-то лампу или что-нибудь в этом духе.

С о л о м о н. Вы понимаете, его это не интересует! Он современный человек. И тут ему уже ничем не поможешь!

У о л т е р. Арфу тоже продаешь?

В и к т о р *(чуть виновато)*. А кто на ней будет играть? Возьми ее себе, если хочешь.

С о л о м о н. Извините меня, доктор, но арфа, видите ли, это совсем другое дело!

У о л т е р *(с привычной железной улыбкой)*. Если позволите, у меня есть одно предложение. Не волнуйтесь — пока что мы только разговариваем.

С о л о м о н. Замечательно! Прошу прощения. *(Садится, нервно теребит щеку.)*

У о л т е р *(трогая арфу)*. Даже как-то жаль... Они говорили, что дед подарил им ее на свадьбу.

В и к т о р. Да, верно...

У о л т е р *(Соломону)*. Сколько вы ему за нее даете?

С о л о м о н. Я не считал каждую вещь. Я дал цену оптом. Ну... триста долларов. Если вы заметили — у нее треснул резонатор.

В и к т о р *(Уолтеру)*. Может, возьмешь ее себе?

С о л о м о н *(Виктору)*. Я вас очень прошу не брать у меня эту вещь. *(Уолтеру.)* Послушайте, доктор, я никого не хочу одурачить: эта арфа — изюминка всей покупки. Понимаю, она принадлежала вашей маме *(кивнув на Виктора),* но я уже говорил ему. когда вы имеете дело с подержанной мебелью, ваши чувства тут ни при чем.

У о л т е р *(Виктору)*. Собственно говоря, меня интересовало только одно: не сохранилось ли тут у отца каких-нибудь маминых вечерних платьев.

В и к т о р. Не знаю, я не лазил по шкафам.

С о л о м о н. Погодите! *(Идет к шифоньеру, в который уже заглядывал раньше, и вытягивает оттуда подол шитого золотом вечернего платья.)* Вы это хотели?

У о л т е р. Да, оно самое, какая красота! *(Достает платье, разглядывает.)* Слушай, по-моему, оно было на ней в день моей свадьбы!

В и к т о р. Что ты будешь с ним делать?

У о л т е р *(снимая с вешалки еще одно платье)*. А это — ты только посмотри! Из этого материала Джинни сошьет себе что-нибудь современное. Пусть на ней будет что-то мамино.

Виктор. Хорошо придумано! Пусть будет!
Уолтер *(оглядываясь по сторонам)*. А где же пианино?
Виктор. Пианино продали, еще когда я учился. Мы довольно долго жили на эти деньги.
Уолтер. Не знал.
Виктор. И на столовое серебро.
Уолтер. Понятно. Ты стал ужасно похож на отца. Просто поразительно. Даже голос похож. Ты, наверное, и сам это знаешь.
Виктор. Да, пожалуй. Мне самому иногда так кажется. *(Кивнув на Соломона.)* Может, кончим с этим делом? Цена тебя устраивает?
Уолтер. Мне не хотелось бы вмешиваться, но когда в прошлом году мы с Дороти делили имущество и мне пришлось иметь дело с этими ребятами, я понял...
Виктор. Подожди, ты что — развелся?
Уолтер. Да.

Входит Эстер. В руках у нее костюм Виктора в целлофановом чехле.

Эстер. Боже мой! Уолтер!
Уолтер *(вскакивает, бросается к ней, пожимает руку)*. Как поживаешь, Эстер?
Эстер *(еще нельзя понять, какие чувства вызвало в ней его появление)*. Как, ты — и вдруг здесь? *(Вешает костюм на ручку шкафа.)*
Уолтер. А ты почти не изменилась. Чудесно выглядишь! Ах, черт! Если б знал с утра, что я тебя здесь встречу, захватил бы из дома дивный индийский браслет. Мне прислали их целую коробку из Бомбея.
Эстер. Из Бомбея? А какое ты имеешь отношение...
Уолтер. Оперировал одного из их главных текстильных боссов. И с тех пор он обрушивает на меня подарок за подарком — никак не может остановиться. Кстати, это пальто тоже оттуда.
Эстер. На пальто я обратила внимание. Прекрасный материал.
Уолтер. И всего-то навсего — два камня в желчном пузыре.
Эстер. Как Дороти? Я не ослышалась, когда входила, вы...
Уолтер. Да. Мы развелись. Прошлой зимой.
Эстер. Грустно слышать.
Уолтер. Все так давно шло к этому, что нам обоим сразу стало много легче. Мы почти подружились. *(Смеется.)*
Эстер. Я всегда — за женщин, так что на мое сочувствие не рассчитывай. *(Заметив в руках у Виктора деньги, обращается к нему.)* Вы что — обо всем договорились?
Виктор. Почти.
Уолтер. Я как раз начал говорить Виктору: когда мы с Дороти делили имущество... *(Соломону.)* Вы когда-нибудь слышали о Шпитцере и Фоксе?
Соломон. Я тридцать лет знаю Шпитцера и Фокса. Берт Фокс работал у меня десять лет, если не двенадцать.
Уолтер. Вот они и были у меня оценщиками.
Соломон. Они хорошие ребята. Шпитцер похуже Фокса, но, между нами говоря, вы попали в приличные руки.
Уолтер. Мне тоже так показалось. Поэтому-то я и...
Соломон. Шпитцер теперь вице-президент Ассоциации оценщиков.
Уолтер. Понятно. Но я хотел сказать, что...
Соломон. А я был ее президентом.
Уолтер. Неужели!
Соломон. Вот именно! И профессиональная этика в нашем деле началась с меня!
Уолтер. С вас?

Виктор внезапно разражается смехом, ему вторят Уолтер и Эстер: этот общий смех над другим человеком словно сближает их.

Соломон. По-вашему, это смешно? Вы бы видели эти джунгли, которые были там до меня, вы бы не смеялись. Это я установил все тарифы, которыми сейчас пользуются, представьте себе. До меня это была не профессия, после меня — да! Как доктор или адвокат! Это было самое настоящее змеиное логово, а теперь вам не за что волноваться! У любого члена Ассоциации — этика на все сто, кого ни возьми!

Уолтер. Все это достойно всяческого уважения, мистер Соломон, но мне думается, на этой мебели можно заработать и немножко меньше, чем вы собираетесь.

Эстер. А сколько он дает?

Виктор *(смущенно)*. Тысячу сто.

Эстер. По-моему, это... разве это не слишком мало? *(Поворачивается в поисках поддержки к Уолтеру.)*

Уолтер. Вы слышите, Соломон: слишком мало! А ведь он каждый день рискует ради вас жизнью. Я ждал большего великодушия!

Соломон. Вы можете позвать сюда, кого вы хотите: Шпитцера, Фокса, Джо Броуди, Поля Ковальо, Мориса Уайта — я знаю их всех, и я знаю, что они вам скажут.

Виктор. Не уверен, что он прав, но он говорит, что большинство этих вещей не влезает в новые квартиры.

Эстер. И ты этому поверил?

Уолтер. Во всяком случае, Шпитцер и Фокс говорили мне то же самое.

Эстер. Уолтер, в городе полно старых квартир любой величины!

Соломон. Будьте умницей, предоставьте это дело своим мальчикам!

Эстер. А вы, пожалуйста, не командуйте мной, мистер Соломон! Только эти два бюро стоят несколько сот долларов!

Соломон. Девочка моя, вы говорите без знания нашего дела...

Эстер. Может быть! Но мне не нравится, как вы делаете это ваше дело, мистер Соломон! Совсем не нравится! *(Она готова расплакаться. Пауза. Она поворачивается к Уолтеру.)* Эти деньги имеют для нас очень большое значение, Уолтер!

Уолтер. Что поделаешь, Эстер! *(Осматривается.)* Если б я был здесь хозяином...

Эстер. Ты здесь такой же хозяин, как и Виктор.

Уолтер. Нет, дорогая! Моего здесь ничего нет.

Виктор. Уолтер, половина всего, что здесь,— твоя.

Уолтер. И не думай об этом, Вик! Я просто зашел повидать вас.

Эстер *(помолчав. Она очень тронута)*. Это так великодушно, Уолтер! Честное слово, я...

Виктор. Ладно, мы еще поговорим об этом.

Уолтер. Вик, все это по праву твое.

Виктор. Почему мое? Ты возьмешь свою долю...

Уолтер. Отложим этот разговор. *(Соломону.)* По-моему, речь должна идти минимум о трех тысячах долларов.

Эстер. Я так и думала. *(Соломону.)* У меня вертелось на языке сказать три пятьсот.

Виктор *(Соломону)*. Что вы скажете?

Соломон *(беспомощно заламывая руки, оскорбленный)*. А что я могу сказать? Это же просто смех! Почему он говорит вам: три тысячи? Почему он не говорит пять тысяч, десять тысяч?

Уолтер. Тебе надо было позвать других оценщиков, кроме него. Так всегда и делают.

Виктор. Как раз по этому поводу я и звонил тебе целую неделю, но ты ни разу не подошел к телефону.
Уолтер. Прости, но какая тут связь?
Виктор. Мне казалось, что я не имею права делать это в одиночку. Тебе ведь передавали, что я звонил?
Уолтер. Я был занят по горло. Кроме того, я ничего не собирался брать себе и поэтому решил...
Виктор. Откуда я мог знать, что ты решил?
Уолтер. Ты прав. Прости.
Соломон. Вы извините меня, доктор, но я вас не понимаю. Сначала говорится, что это рухлядь...
Эстер. Кто мог назвать это рухлядью?!
Соломон. Эстер, как только он вошел, он назвал это рухлядью!

Эстер оборачивается к Уолтеру, лицо ее вдруг становится озабоченным и сердитым.

Эстер. Уолтер, ты выбираешь какие-то странные слова!
Уолтер. Я сказал это совсем в другом смысле.
Соломон. Доктор, вы сказали то, что вы сказали,— рухлядь!
Уолтер. Я сказал это совсем в другом смысле, мистер Соломон! Когда вы слишком долго живете среди каких-то вещей, они вам рано или поздно надоедают. Вот и все, что я имел в виду.
Соломон. А я имею в виду, что если бы это был «Людовик Шестнадцатый, или «бидермайер», или еще что-нибудь такое, они бы вам не надоели!
Уолтер. Кстати, вон та вещица в углу сделана под «бидермайера».
Соломон. «Под «бидермайера» — как вам это нравится! У меня шляпа под «борсолино», но это еще не «борсолино»! *(Виктору.)* Если он хочет торговаться со мной только затем, чтобы показать себя,— лучше не надо!
Уолтер. Это еще что за тон?
Виктор. Из чего ты исходил, Уолтер?
Уолтер. Просто прикинул.
Эстер. А из чего исходил ты, мой дорогой, когда соглашался на тысячу сто?
Виктор. Мне показалось. что, наверное, так оно и есть.
Эстер. Старая песня! Так лучше вообще возьми и выкинь все это на свалку.
Соломон. Эстер, не надо так говорить! Как это он выкинет мебель на свалку? Он, слава богу, не дурак! *(Уолтеру.)* Вы меня извините, но зачем вы ставите его в такое положение — это неправильно!
Уолтер. Вы еще будете учить меня, что правильно и что неправильно!
Виктор. Мистер Соломон, может быть, вам лучше немножко посидеть в спальной, а мы пока поговорим сами?
Соломон. Как хотите. Пожалуйста. *(Встает.)* Но имейте в виду: вы заключили очень приличную сделку и вам нечего стыдиться. *(К Эстер.)* Извините меня, я никого не хотел обидеть.
Эстер *(со злым смехом)*. Он бесподобен!
Виктор. Так вы идете?
Соломон. Я иду. Но я хочу вам сказать, что если бы это были не вы, а какой-нибудь другой человек *(поворачивается к Эстер)*, я бы сказал так: он получил свои деньги, и делу конец — расчет!
Уолтер. Без меня, Соломон, не может быть и речи ни о каком расчете! Как-никак за мной право на половину.
Соломон. Ну? Что у вас спросил Соломон, как только вошел? Он спросил: кто владелец? Теперь видите?

Уолтер. Зачем вы передергиваете? Я ни на что не претендую, я просто...

Соломон. Так зачем же вмешиваться? Он получил свои деньги? Закон есть закон!

Уолтер. Вот что, прекратите болтать глупости! У меня лучшие адвокаты в Нью-Йорке. Пойдите в спальню и посидите там.

Виктор *(поворачиваясь, чтобы проводить Соломона до двери)*. Что ты так разволновался, Уолтер? *(Соломону.)* А вы бросьте этот разговор, пойдемте!

Эстер. Уолтер совершенно прав!

Виктор *(бросив на нее сердитый взгляд, идет с Соломоном в глубину сцены)*. Кстати, заберите свои деньги.

Соломон. Нет, это ваши деньги, вы их и... *(Пошатнулся.)*

Виктор подхватывает его под руку. Уолтер встает.

Уолтер. Вам нехорошо?

Соломон *(у него кружится голова, он схватился за нее обеими руками)*. Ничего, ничего. Я...

Уолтер *(подходя к нему)*. Дайте-ка мне взглянуть на вас. *(Щупает Соломону пульс, заглядывает ему в лицо.)*

Соломон. Я только чуть-чуть устал. Я не успел вздремнуть сегодня днем.

Уолтер. Идите и полежите немножко. *(Поддерживая Соломона, направляется с ним к дверям спальни.)*

Соломон. Зачем вы так беспокоитесь... *(Останавливается и указывает на свой лежащий на столе портфель.)* Доктор, пожалуйста, если вам не будет трудно — там плитка шоколада. Это мне помогает.

Уолтер подходит к столу и лезет в портфель.

Я очень здоровый человек, но мне каждый день нужно немножко подремать.

Уолтер вытаскивает из портфеля апельсин.

Апельсин не нужно — там на дне шоколад.

Уолтер вытаскивает плитку шоколада.

Вот умница!

Уолтер *(возвращается к Соломону и помогает ему дойти до спальни)*. Пустяки, идите спокойно, не торопитесь...

Соломон. Со мной уже все в порядке, пожалуйста, не беспокойтесь — вы замечательно приличные люди!

Они скрываются в дверях. Виктор, взглянув на зажатые в руке деньги, кладет их на стол и поверх них кладет рапиру.

Эстер. Почему у тебя такой извиняющийся тон?

Виктор. Когда? С кем?

Эстер. С этим стариком. Он что, сразу же начал с тысячи ста?

Виктор. А почему ты уверена, что прав Уолтер? Он просто сказал первое, что ему пришло в голову.

Эстер. Это пришло в голову не только ему, но и мне. Ты хоть пытался выторговать у старика лишнюю сотню?

Виктор. Я никогда не умел торговаться и не собираюсь учиться этому сейчас.

Эстер. Это ниже твоего достоинства. Знаешь, Виктор, хватит! Нам уже не двадцать лет! Нам нужны эти деньги!

Виктор. Продал и продал, и довольно об этом. Ты иногда начинаешь говорить со мной таким тоном, словно я вообще ничего не знаю и не понимаю.

Эстер. Ну, что ж, все-таки ты получишь целиком хотя бы эти деньги. А Уолтер очень изменился. Даже удивительно.

Виктор. Да, пожалуй.

Эстер. Просто ангел! Даже смеяться стал!

Виктор. Как он смеется, мне случалось слышать и раньше...

Эстер. По-моему, у тебя что-то на уме... Или мне это показалось?

Виктор. Мне надо еще подумать.

Эстер. Ты что, хочешь отказаться от его доли?

Виктор. Я же сказал: хочу подумать...

Эстер. Скажи мне прямо: ты берешь его долю или нет?

Виктор. Эстер, я звонил ему всю неделю без передышки. Он даже не соизволил подойти к телефону. А теперь является сюда, улыбается и, очевидно, ждет, что я упаду в его объятия. А я не могу вести себя так, словно ничего не случилось. И ты не будешь, слышишь? И нечего расстраиваться. Мы пока еще не умираем с голоду.

Эстер. Чего ради ты так упираешься, никак не могу понять!

Виктор. А ты думаешь, все уже списано и забыто? Слишком быстро, малыш! У меня на плечах лежат двадцать восемь лет всякой всячины, и я еще не скинул их за те десять минут, что он здесь.

Эстер. Вик, по-моему, все это — напрасное сотрясение воздуха.

Виктор. Половина от тысячи ста — как-никак тоже пятьсот пятьдесят долларов, дорогая!

Эстер. Я не о деньгах.

Из спальни слышны голоса.

Ему до того хочется сделать этот жест! Так хоть чуточку пойди ему в этом навстречу!

Виктор. Чему навстречу? Что он мне — Дед Мороз?!

Эстер. Люди меняются! Понимаешь, меняются! Он может очень помочь нам! И, пожалуйста, не считай это ниже своего достоинства. Я, например, не вижу ничего унизительного в том, что мне нужна его помощь.

Скрип стула в спальне. Появляется Уолтер.

Виктор. Ну, как он?

Уолтер. Думаю, что с ним ничего не случится! *(С симпатией.)* Нет, каков пират! *(Садится.)*. Ему восемьдесят девять лет!

Эстер. Не может быть!

Виктор. Но это так. Он мне показывал свою...

Уолтер *(смеется)*. Он и тебе показывал этот пергамент?

Виктор. Со штампом Британского королевского флота!

Эстер. Он? В Британском флоте?

Виктор. Да. И у него в кармане удостоверение о демобилизации. Так, что, видимо, не все в этом старике липа.

Уолтер. За это я бы не поручился. И все же, когда человеку чуть не тысяча лет и он, несмотря ни на что, лезет в драку... В этом есть что-то прекрасное.

Эстер. Уолтер, как же нам быть? Что ты думаешь?

Уолтер. Есть способ получить за все это куда больше. Например, не продавать мебель, а подарить. Старик оценит нам эту мебель тысяч в двадцать пять...

Эстер. Ты что, серьезно?

Уолтер. Вполне. Это делается сплошь и рядом. На первый взгляд, неправдоподобно, но вполне законно. Он оценивает каждую вещь по самой высокой розничной таксе, и в сумме это дает примерно столько, сколько я сказал. Затем я жертвую всю эту мебель Армии спасения. Надо, чтобы пожертвовал именно я, потому что мой налог много выше вашего, и если такой благотворительный жест

сделаю я, это покажется вполне естественным. С меня берут налог около пятидесяти процентов. Значит, включив в свой годовой баланс необлагаемое пожертвование на сумму в двадцать пять тысяч, я сэкономлю при уплате годового налога около двенадцати тысяч, которые мы поделим по вашему усмотрению. Если пополам, то я выплачу вам шесть тысяч долларов. Реально глядя на вещи, это — единственный разумный путь.

Эстер. А тебе это ничего не будет стоить?

Уолтер. Наоборот. Для меня это тоже лишние шесть тысяч. *(Виктору.)* Я только что сказал ему об этом.

Виктор. А он?

Уолтер. Все зависит от тебя. Дадим ему полсотни за составление описи, только и всего.

Виктор. И он готов на это пойти?

Уолтер. Конечно, он предпочел бы все это купить, но мало ли что!

Эстер. Не пойму, кто здесь решает — он или мы?

Виктор. Но ты можешь понять, что мне неловко перед ним. Мы ведь уже вроде бы договорились...

Уолтер. На твоем месте я не стал бы так горевать: он получит свои пятьдесят — шестьдесят монет.

Эстер. Попробуй заработать это за день!

Виктор. И все же я хотел бы подумать.

Эстер. Думай, но не слишком долго. *(Кивает на дверь спальни.)* А то как бы нам не пришлось искать другого оценщика.

Виктор. Несколько минут — мне больше не нужно.

Уолтер. Если тебя волнуют законы, то имей в виду, в этом нет ничего противозаконного.

Виктор. Хорошо, а как я внесу полученные от тебя деньги в свою налоговую декларацию?

Уолтер. Внеси их как подарок. Я не говорю, что это подарок, но так удобнее записать. И никто тебе не может запретить.

Виктор. Понимаю. Мне было просто любопытно, как же я...

Уолтер. Напишешь просто: подарок! И никаких проблем. *(Впервые почувствовав рождающийся в брате еще неосознанный протест, Уолтер отводит глаза. Берет со стола рапиру.)* Все еще фехтуешь?

Виктор. Когда мне? Для этого надо вступать в клуб и тому подобное. А я даже в субботу и воскресенье то и дело на службе. Просто увидел ее здесь.

Уолтер *(словно желая смягчить атмосферу)*. Мама очень любила смотреть, как он фехтует.

Эстер *(хотя и удивлена, но ей это приятно)*. Правда?

Уолтер. Еще бы! Она не пропускала ни одного его боя!

Эстер *(Виктору)*. Ты ни разу не рассказывал мне об этом.

Уолтер. Мама и заставила его этим заниматься. Она считала, что это благородный спорт!

Виктор. А что, разве нет?

Уолтер. И он это здорово умел! У меня до сих пор синяки от его уколов! *(Виктору, который рассмеялся.)* Ты был особенно хорош в тех французских фехтовальных перчатках, которые она тебе...

Виктор *(вспоминая)*. Слушай! *(Осматриваясь.)* Погоди, где же они, черт побери... *(Идет к бюро.)* Если у меня не отшибло память, они всегда были здесь...

Эстер *(Уолтеру)*. Французские перчатки?

Уолтер. Она привезла их из Парижа. Со сногсшибательной вышивкой. Он был похож в них на одного из трех мушкетеров.

Виктор. Вот они. *(Достает из ящика пару украшенных гербами фехтовальных перчаток.)* Подумать только!

Эстер. Ой, какая прелесть!
Виктор. А я совсем забыл про них. *(Надевает одну перчатку.)*
Уолтер. Рождество, тысяча девятьсот двадцать девятый.
Виктор *(двигая пальцами в натянутой на них перчатке)*. Смотрите — до сих пор не ссохлась! *(Уолтеру — задавая этот вопрос с некоторым чувством неловкости.)* Как ты все это помнишь?
Уолтер. Я? А ты? Разве ты не помнишь?
Эстер. Он не очень хорошо помнит вашу маму.
Виктор. Ее-то я помню. *(Задумчиво разглядывает перчатку.)* Но ее лицо... Пытаюсь представить себе и почему-то никак не могу.
Уолтер *(тепло)*. Это даже странно, Вик! *(К Эстер.)* Она его обожала.
Эстер *(ей приятно)*. В самом деле?
Уолтер. Кого? Виктора? Если, не дай бог, начинался дождь, она летела за ним в школу с галошами. Ее Виктор! Он еще спичку о коробок не умел чиркнуть, а был уже Луи Пастер!
Виктор. Как нелепо... Смотрю на эту арфу и почти слышу, как она играет. А ее лица никак не могу себе представить.

На мгновение в комнате воцаряется тишина, Виктор смотрит на арфу. Из спальни появляется Соломон. У него глубоко несчастный вид.

Соломон. Пожалуйста, доктор, если только вы не возражаете, я бы вас попросил... *(Умолк, жестом призывая Уолтера пройти к нему в спальню.)*
Уолтер. Что такое?
Соломон. Пожалуйста, сюда на минуту.

Уолтер встает. Соломон, скользнув взглядом по лицам Виктора и Эстер, скрывается в спальне. Уолтер поворачивается к Виктору.

Уолтер. Я сейчас.

Уходит в спальню.

Эстер. Почему ты не способен принять его таким, какой он есть? Понимаю, что это трудно, но ведь он изо всех сил старается проявить широту. По-моему, так.
Виктор. Похоже на то. Странный он парень.
Эстер. Почему?
Виктор. Потому что вошел сюда так, будто ничего и не было.
Эстер. Ну и что из этого?
Виктор. По-твоему, я могу промолчать?
Эстер. А что ты можешь сказать ему?
Виктор. Значит, по-твоему, я просто должен взять у него деньги и заткнуться?
Эстер. А какой смысл копаться в прошлом?
Виктор. Ты говоришь так, словно начисто все забыла. Еще немножко, и может показаться, что я все выдумал. Ты иногда совершенно выбиваешь меня из колеи — да, вполне серьезно! — когда, например, начинаешь твердить о пенсии. Так, словно у нас всю жизнь только и было света в окошке, что эта пенсия!
Эстер. Хорошо, но при чем все это сейчас?
Виктор. Я не возьму этих денег, не поговорив с ним.
Эстер. Тебе неприятно, что он оказался порядочным человеком?
Виктор. Да, мне неприятно думать, что он порядочный.
Эстер. Если ты откажешься от этих денег, тебе придется хотя бы объяснить мне почему! Легче всего валить наши беды на него, на систему, еще бог знает на что. Даже когда ты можешь поступить, как тебе вздумается,— ты ни на что не способен решиться, вот что меня бесит! *(Молчание. Она тихо добавляет.)* Ты возьмешь эти деньги.

Он молча смотрит на нее.

Слышишь?! Ты возьмешь эти деньги! А иначе — хватит с меня, ты понял? Если ты не способен с места сдвинуться, это не значит, что и я должна застрять вместе с тобой! Вот теперь я сказала тебе все, что думала!

Из спальни доносится какой-то шорох. Она выпрямляется и застывает. Виктор приглаживает волосы медленным выжидательным движением, как человек, готовящийся к схватке. Уолтер выходит из спальни, улыбаясь и покачивая головой.

Уолтер. Ну, ребята, это тигр! И как вы с ним спелись? Ты что, знал его раньше?

Виктор. Откуда? А что он говорит?

Уолтер. Он все еще норовит купить все разом! *(Смеется.)* Он говорит, что ты добавил ему пять лет жизни тем, что позвонил. *(Садится. Небольшая пауза.)* Мы, кажется, друг друга не совсем понимаем, а?

Виктор. Да, Уолтер. Я, как бы это сказать... В общем, мне не все ясно...

Уолтер. А что такое?

Виктор медлит с ответом.

Выкладывай! Нам не так уж много осталось жить!

Виктор. Хорошо. Обойдусь одним примером. Когда я звонил тебе и в понедельник, и во вторник, и опять — сегодня утром...

Уолтер. Я ведь уже объяснил.

Виктор. Я звонил тебе не от нечего делать. Но твоя больничная сестра разговаривала со мной так, словно я осатанел вам своими приставаниями. Это унизительно.

Уолтер. Мне очень неловко, ей не следовало так говорить с тобой.

Виктор. Я верю, что тебе неловко. Но я не верю, что такой тон разговора со мной появился у нее ни с того ни с сего.

Уолтер. Ты ошибаешься. С ней это вообще бывает. Я никогда не говорил при ней о тебе в таком тоне. Можешь мне поверить. Мне это ужасно неприятно. Я просто был занят по горло, вот и все.

Виктор. Ну что ж, ты спросил, я тебе объяснил.

Уолтер. И правильно сделал! *(Короткая пауза, напряжение возросло, но Уолтер рискнул улыбнуться.)* Так как же насчет этого фокуса с налогом? Он готов оценить все в двадцать пять тысяч. *(Сделав усилие над собой.)* Если бы ты согласился, я охотно, с радостью отдал бы тебе все деньги, которые сэкономлю на этом деле.

Эстер. Двенадцать тысяч?

Уолтер. Сколько бы ни было!

Пауза. Эстер смотрит на Виктора.

По-моему, тебе уже недалеко до пенсии?

Эстер. Срок уже вышел, но он все никак не решит, что ему делать дальше.

Уолтер *(смущение его все заметней)*. Тогда тем более деньги тебе будут кстати. А мне они не нужны, вот и все. По правде говоря, я уже давно собирался позвонить тебе.

Виктор. Зачем?

Уолтер *(внезапно со странным коротким смешком протягивает руку и хлопает Виктора по колену)*. А ты подозрительный!

Виктор. Я просто пробую понять что к чему.

Уолтер. Да, конечно. Ясно. А я просто считаю, что наступило время возобновить наше знакомство. Только и всего.

Виктор. Послушай, Уолтер. Я ведь несколько раз звонил тебе и раньше, до всей этой истории с мебелью — года три назад...

Уолтер. Я был болен.

Виктор. Вот оно что... Я много раз просил передать тебе, что я звонил.

Уолтер. Я был очень болен. Лежал в больнице.

Эстер. А что случилось?

Уолтер *(короткая пауза. Словно колеблясь, стоит ли это говорить).* Сильное нервное истощение.

Виктор. Я об этом понятия не имел.

Уолтер. Собственно говоря, я еще только возвращаюсь к делам. Перерыв был почти в три года. Но я начинаю думать, что мне это пошло на пользу. Мне еще никогда не жилось так хорошо.

Эстер. Ты очень изменился, я сразу заметила.

Уолтер. Мне тоже так кажется, Эстер. Иначе живу, иначе думаю. Живу в небольшой квартире; от своих богаделен я тоже отказался, и...

Виктор. От каких богаделен?

Уолтер. У меня было три дома для престарелых. На стариках зарабатывают большие деньги — это не трудно понять: дети не знают, что делать, дети в отчаянии — куда им сбыть престарелых родителей? Но с этим делом я тоже покончил. И бросил играть на бирже. Теперь половину времени я провожу в городских больницах. И представьте себе — ожил. Впервые в жизни чувствую себя человеком. Я врач, и я лечу — больше ничего. *(Пытается заговорщически улыбнуться.)* Конечно, иной раз и теперь выдоишь кого-нибудь побогаче, но только так, чтоб самому хватало на жизнь — не больше.

Он говорит так, словно только ради этой исповеди и шел сюда, и теперь ждет, что ему ответит Виктор.

Виктор. Что ж, очевидно, все это здорово...

Уолтер. Вик, всего, что мне надо сказать тебе, не переговоришь и за месяц! У меня никогда не было друзей — это для тебя не новость, а теперь они есть. Да, есть, и хорошие. Слишком многое в жизни приходит не сразу. Начинаешь жизнь, желая быть первым, а чтобы быть первым, надо быть фанатиком, это закон — и против него не попрешь. Тебе надо все больше и больше знать, а у тебя все меньше и меньше времени. И ты беспощадно выпалываешь из своей жизни все лишнее, включая людей. Но когда-нибудь все равно наступает момент, когда ты понимаешь: нет, не ты сделал все, что хотел в жизни, а жизнь сделала с тобой все, что хотела, превратив тебя — человека — в еще одно приспособление для извлечения денег из других людей. И постепенно все глупеешь. Каких только фокусов не проделывает с человеком чувство власти над ближним. Тебе кажется, что страх, который ты вселяешь в людей, заставляет их любить тебя. И ты в ответ на это сам начинаешь любить их. А потом все рассыпается и остается один страх. Однажды я обнаружил себя в собственной гостиной, пьяного, с ножом в руке и твердым намерением убить собственную жену.

Эстер. О боже!

Уолтер. Да, да, и я чуть не сделал этого. Но когда человек спятил — если, конечно, не навсегда,— в этом есть свой плюс. Ты начинаешь видеть этот ужас, не тот, когда волосы дыбом, а тот медленный, ежедневный страх, в котором разом все — и честолюбие, и осторожность, и жажда денег. И главное, что мне хотелось сказать тебе, когда я думал о встрече с тобой,— это что именно ты помог мне понять самого себя.

Виктор. Я?

Уолтер. Да. Тем, что ты сделал. Я долго не мог этого понять, Вик. Ведь если по совести, ты был способнее меня. И когда ты столько

лет продолжал тянуть свою лямку в полиции, мне казалось... Понимаешь, пока я не заболел, мне даже не приходило, не могло прийти в голову, что ты просто сделал выбор.

Виктор. Выбор? Какой?

Уолтер. Ты хотел жить настоящей жизнью. А это дорого обходится! *(Он заметил, что, наконец, затронул в Викторе какую-то струнку.)* Представь себе, я дошел до страха перед собственной работой. Под конец я не мог оперировать. Бывают случаи, когда, оставь человека в покое — и он может прожить еще год-два, а положи его на стол — и он может умереть у тебя под ножом. Практически решение зависит от тебя. И случается, что вытаскиваешь пустой номер. И на это можно идти, если твердо знаешь — ради чего. Или, наоборот,— если вообще об этом не думаешь. Так я и делал. До поры до времени. Потом у меня пошли неудачи, одна за другой, и за всеми ними стояло одно и то же — люди поступали ко мне от других специалистов с диагнозом: неоперабелен. И мне вдруг сделалась ясна цепь причин, заставлявших меня браться за это дело. Я трижды шел на риск, имея минимум шансов, и трижды терпел поражение. Но если так — спрашивается: как я могу идти на риск там, где умывают руки даже самые компетентные люди. Самый простой ответ: иду на риск, чтобы добиться невозможного, чтобы посрамить конкурентов. Ну что ж, великолепно! При одном условии: не углубляться и подавить в себе потребность узнать, что же лежит там, за этим? Но я углубился. И понял: там, глубже, лежит страх. Он лежит в самом центре моего существа и все эти тридцать лет направляет мои руки хирурга, и мой разум, и мое честолюбие.

Виктор. Страх перед чем?

Уолтер. Перед тем, что когда-нибудь со мной может стрястись *(бросает взгляд на центральное кресло)*... то же, что с ним. Однажды вечером узнать, что просто так, вдруг, ни с того ни с сего ты сбит с ног, раздавлен, унижен. Ты ведь знаешь, о чем я говорю? И не поэтому ли ты выбрал другой путь?

Виктор. Да, и поэтому. Хотя были и другие причины.

Уолтер. Вик, мне казалось, что главное — забраться на самую верхушку, а кончилось тем, что я завяз в болоте успеха и чековых книжек. Я стал неприкасаемым, я рисковал жизнью других людей, чтобы снова и снова доказывать самому себе, что обладаю сверхчеловеческой силой. Разница между тобой и мной в том, что ты никогда не утверждал себя за счет других людей. И я научился уважать это в тебе, Вик. Ты просто старался быть полезным людям.

Виктор поднял глаза, он колеблется, еще не зная, как отнестись к словам брата.

И разве не странно, что только недавно, на больничной койке, впервые с тех пор, как мы были мальчишками, я обнаружил в себе... братское чувство. Такое, каким оно когда-то было. И мне кажется, я даже знаю, как нам снова стать друзьями.

Виктор. Что ж, очень рад.

Уолтер. И я знаю, почему у тебя все так сложилось в семье — хотя в наше время это редкость. И почему твой парень в полном порядке. Вы правильно жили, вы счастливые люди, и вы сами это знаете.

Эстер. Ах, Уолтер! Я и сама не знаю — что я знаю!

Уолтер. Мне не дает покоя одна идея, пусть она покажется тебе нелепой, но прежде чем отвергать ее, очень прошу тебя — все-таки

подумай. Насколько я понял, ты еще не решил, что делать дальше. Когда ты собираешься в отставку?

Виктор. Это решится на днях. Я еще думаю.

Уолтер. Так подумай и над тем, что я хочу тебе предложить. Мы ищем людей для нового дела. Работа административная — нечто вроде бюро связи между учеными и правлением фирмы. Мне уже несколько раз приходило в голову, что такая работа как раз для тебя.

Эстер. Лучше и не придумать!

Виктор. А что я там мог бы практически делать?

Уолтер. Идея пока еще существует в общей форме, но там понадобятся люди с определенными знаниями, которые...

Виктор. У меня нет диплома.

Уолтер. Но ты же когда-то занимался аналитической химией, математикой и физикой, и этого как базы тебе должно хватить. А если тебе захочется что-то освежить, походишь на вечерние лекции. Так как же?

Виктор. Хотелось бы узнать обо всем этом поподробнее.

Эстер. Если бы он наконец мог заняться наукой, это было бы так замечательно. Ведь это единственное, чем ему по-настоящему хотелось заниматься.

Уолтер. Я знаю. Очень жаль, что из этого ничего не вышло. *(Повернувшись к Виктору.)* А устроить тебя ничего не стоит! Я председатель комиссии, я могу сделать это запросто.

Входит Соломон, все с удивлением поворачиваются к нему.

Соломон. Простите, не обращайте на меня внимания, я сожалею, что вас перебил. *(Он достает из портфеля апельсин и, уже направившись обратно в спальню, останавливается и обращается к Уолтеру.)* Об этой арфе. Если вы решите продавать мне все на круг, я, пожалуй, рискну набавить еще пятьдесят долларов. Хотя резонатор у нее треснул и ее надо позолотить заново, и, кроме того, я же ее буду продавать не кому-то с улицы, а отнесу в магазин, и там мне дадут за нее хорошо если триста семьдесят пять и ни центом больше. Вы меня понимаете? Или вы думаете, что у меня есть время сидеть и ждать на нее покупателя? Значит, все это вместе будет стоить тысяча сто пятьдесят, и никто из нас никому не будет делать одолжения.

Уолтер. Смотрите-ка, лед тронулся!

Соломон. Я честный человек! И вам не придется возиться с разными оценками и скидками. Хорошо? И можете не торопиться. Я подожду. Я к вашим услугам. *(Он быстро и озабоченно исчезает в спальне.)*

Эстер *(начиная смеяться, Виктору)*. Где ты его откопал?

Уолтер. Он просто великолепен! С него началась профессиональная этика!

Эстер заливается смехом, Уолтер вторит ей. Наконец, и Виктора начинает разбирать. Перестав смеяться, Уолтер поворачивается к Виктору.

Так как же, Вик? По рукам?

Смех затих. Только на лице Виктора еще тают остатки улыбки. Он смотрит в пустоту, словно силясь что-то решить.
Начинает казаться, что он вообще никогда не заговорит. Наконец он поворачивается к Уолтеру.

Виктор. Я никак не пойму, чего ты от меня хочешь?

Эстер. Зачем ты так! Ты к нему несправедлив!

Виктор. При чем тут справедливость? Мы говорим о достаточно важных вещах. *(Уолтеру.)* Не подумай, что я не ценю всего сказанного

тобой, Уолтер. Но наши отношения давно сложились так, а не иначе. И поэтому мне странно, что мы так вот вдруг начинаем говорить о...

Уолтер. Я сам люблю брать быка за рога, но, может, не надо сразу за оба? Наши отношения так запутаны, что для начала, может быть, стоило бы просто попробовать...

Виктор. Попробовать можно. Но не кажется ли тебе, что это будет трудновато для нас обоих??

Уолтер. Странно ты рассуждаешь, Виктор! По-моему, нелепо надеяться после стольких лет молчания выяснить все разом, за один разговор. Мне просто казалось, что если проявить хоть чуточку доброй воли, то мы... мы... А, к черту. *(Хватает пальто.)* Вытряси сколько сможешь из этого старика, мне ничего не нужно. *(Он протягивает руку Эстер, силясь улыбнуться.)* Извини, Эстер, так получилось, но я все равно рад был тебя видеть... Может быть, как-нибудь увидимся, Вик. Всего доброго! А за этими платьями я завтра пришлю. *(Он направляется к двери. В глазах у него слезы.)*

Эстер. Уолтер!

Уолтер останавливается и вопросительно смотрит на нее. Она беспомощно оглядывается на Виктора.

Уолтер. Ты обижен на меня, а я не чувствую за собой вины. И это сбивает меня с толку. Я не понимаю, в чем дело. И хочу, чтобы ты это знал.

Эстер. Дело не в обиде, Уолтер.

Виктор. Просто мне показалось немного странным твое предложение. За последние двадцать пять лет я не открыл ни одной научной книги. Как я войду после этого в исследовательскую лабораторию?

Эстер. Но Уолтер считает, что у тебя достаточная база для того, чтобы...

Виктор. Любой школьник знает сейчас химию лучше меня, Эстер. Физику тем более. Бог с тобой, Уолтер, можно подумать, что ты вчера родился.

Уолтер. Я уверен, что ты сумел бы найти себя в этом деле.

Виктор. В каком? Таскать бумажки из одного кабинета в другой?

Уолтер. Это несерьезно.

Виктор. Почему несерьезно? То, что я твой брат, рано или поздно перестанет играть роль. Я двадцать восемь лет ходил на полицейские дежурства, и это вряд ли прибавило мне данных для научной работы. Зачем ты завел этот разговор?

Уолтер. Сколько раз нужно объяснять тебе это? Я абсолютно откровенен с тобой!

Виктор. Думаю, что это не совсем так.

Уолтер. Почему? Неужели ты считаешь, что я...

Виктор. Когда человек говорит то, что ты сказал всего несколько минут назад...

Уолтер. А что я такого сказал?

Виктор. Тебе очень жаль, что «ничего не вышло из моих занятий наукой» — примерно так?

Уолтер. Да, а что в этом дурного?

Виктор. Ну, знаешь, это уж ни в какие ворота...

Уолтер. Но мне действительно жаль. И всегда было жаль.

Виктор *(указывая на центральное кресло)*. Было время, когда тут сидел один человек, сидел, уставясь в пространство. Ты еще помнишь это?

Уолтер. Помню и очень хорошо. Я посылал ему деньги каждый месяц.

Виктор. Верно. Каждый месяц. По пять долларов.
Уолтер. Я не мог посылать ему больше пяти долларов. Но при чем тут ты?
Виктор. То есть как при чем тут я?
Уолтер. Вот именно, при чем?
Виктор. А как ты думаешь, откуда брались деньги, на которые он жил?
Уолтер. Виктор, ты сам так решил, тебя никто не заставлял. Я, во всяком случае!
Виктор. Я решил!
Уолтер. У нас однажды был длинный разговор с тобой в этой самой комнате.
Виктор. Какой разговор?
Уолтер. Разговор вскоре после того, как вы с отцом перебрались сюда. И мы с тобой прекрасно поняли друг друга. Я сказал тогда, что закончу образование, пусть хоть земля треснет, и советовал тебе сделать то же самое. Больше того, я предупреждал тебя: не дай ему сломать твою жизнь! *(Обращаясь к Эстер.)* И, по-моему, на вашей свадьбе я говорил вам то же самое.
Виктор. Но кто-то же должен был позаботиться о нем!
Уолтер. Он не был болен и прекрасным образом мог работать.
Виктор. Работать? В тридцать шестом? Без денег, без профессии?
Уолтер. В крайнем случае мог жить на пособие! Кто он такой был, в конце-то концов? Король в изгнании, что ли? А что делали тогда, в тридцать шестом, остальные сто пятьдесят миллионов? Как-нибудь не пропал бы! Надеюсь, что ты хоть теперь это понял?
Виктор. Хватит с меня. Опять та же старая песня. Пошли отсюда, Эстер. *(Быстрыми шагами направляется к спальне.)*
Уолтер. Вик, погоди. *(Пытается остановить Виктора, тот отдергивает руку.)* Я вовсе не хочу унизить его. Я его тоже любил по-своему.
Эстер. Послушай, Вик, может, вам в самом деле стоит поговорить об этом?
Виктор. Не думаю. Мне совершенно все равно, что он может мне сказать. *(Снова поворачивается, чтобы идти в спальню.)*
Уолтер. Он тебя эксплуатировал!

Виктор останавливается и поворачивается к Уолтеру с искаженным злобой лицом.

Это тебе тоже все равно?
Виктор. Договоримся раз и навсегда: я не был ничьей жертвой.
Уолтер. Именно это я и пробую тебе объяснить. Я вовсе не пытаюсь смотреть на тебя сверху вниз.
Виктор. Нет, пытаешься! Ты и не подумал бы говорить мне все это, если бы у меня был достаточно толстый бумажник! Прости, но этот разговор мне не по душе. У меня не было выбора. В холодильнике — хоть шаром покати, а он сидел вон там с отвалившейся челюстью. Не я завел этот разговор. Но когда ты начинаешь твердить о свободе выбора и о том, что мне следовало заниматься наукой, приходится отвечать.
Уолтер. Понимаю. По-твоему, все было иначе. Допустим, но как — иначе? Объясни.
Виктор. Ты только недавно выздоровел. Может, не стоит растравлять себя этими разговорами?
Уолтер. Стоит. Это важно для меня!
Виктор. Не думаю. Все давно прошло и забыто.
Эстер. Я верю, что Уолтер пришел сюда от чистого сердца, а ты даже не желаешь подумать над его предложением.

Виктор. Я уже сказал, что подумаю.
Эстер. Заранее зная, что откажешься! А по-моему, гораздо лучше прямо сказать ему всю правду. Хуже, чем есть, все равно не будет.
Виктор. Какую правду? О чем ты...

Внезапно из спальни появляется Соломон.

Эстер. Боже мой, что вам еще надо?!
Соломон. Я просто хотел, чтобы вы не подумали, что я не согласен сделать вам оценку. Если вы настаиваете, я могу.
Эстер. А вы не могли бы оставить нас в покое?
Соломон *(неожиданно ткнув пальцем в Виктора)*. Что вы все к нему пристали? Он полицейский! Я — оценщик, он — доктор, а он — полицейский. Что вы думаете, кому-нибудь станет хорошо, если вы разорвете его на куски?
Эстер. Виктор, я тебя прошу: или он или мы, но кто-то должен уйти из этой комнаты!
Соломон. Не надо волноваться, Эстер, разрешите, я... *(Быстро подойдя к Уолтеру.)* Доктор, слушайте меня, я дам вам совет: вы оставьте это с налогом! Я вам скажу, что может получиться: вы получите скидку в этом году, но откуда вы знаете, что они не перерешат все дело через два-три года и вам не придется доплачивать вашу разницу? Не мне вам говорить, что на федеральное правительство никогда нельзя положиться. Я очень хорошо вижу, что вы хотите оказать им любезность *(к Эстер)*, но пройдет два-три года, пока вы узнаете, во что ему может обойтись эта любезность. Другими словами, я хочу сказать вам, дети мои, что...
Эстер. Что вы хотите сами заполучить эту мебель?
Соломон *(кричит на нее)*. Эстер, если бы я не хотел эту мебель, я бы не покупал эту мебель! Ну, что они могут здесь решить? Все это будет еще зависеть не от них, а от федерального правительства, как вы не понимаете? А раз они сами не могут все решить, так лучше пусть бросят это занятие! И, пожалуйста, послушайте меня и сделайте, как я вам говорю! Я не такой уж дурак! *(Дрожа от возбуждения, уходит в спальню.)*
Уолтер. Пожалуй, то, что он сказал, разумно. Возьми и продай ему все это на корню, Вик! Может, после этого нам удастся сесть и нормально поговорить. А то обстановка действительно не очень подходящая. Я позвоню тебе на днях?
Виктор. Конечно, звони.
Эстер. Вы оба сошли с ума! Мы отдаем мебель задаром только потому, что ни у кого не повернулся язык сказать самые простые вещи. Гляжу на вас и не верю глазам своим!
Уолтер. Не так все это просто, Эстер.
Эстер. А, какого черта! Тогда скажу я! Так вот, когда он пришел к тебе, Уолтер, попросить пятьсот долларов, которые были ему нужны, чтоб дотянуть до диплома...
Виктор. Эстер! Зачем ты...
Эстер. Затем, что это стоит между вами! И, может, Уолтер объяснит тебе, как это вышло? То есть я хочу сказать, что... Господи, да будем мы, наконец, говорить начистоту?! *(Без паузы обращаясь к Уолтеру.)* Потому что это его ошеломило, Уолтер, он никогда в этом не признается, но он шел к тебе, не допуская мысли, что ты откажешь. И когда ты отказал...
Виктор. Эстер, он же тогда только начинал...
Эстер. По твоим рассказам это выглядело иначе! Не перебивай меня! *(Уолтеру.)* У тебя уже был дом в Гринвич-вилледж, ты был уже вполне устроен, разве не так?

Виктор. При чем тут дом? Не дал — значит не мог...
Уолтер. Нет, нет... Я... я все же мог бы наскрести эти деньги. *(Он медленно опускается на стул, не снимая пальто.)* Вик, сядь на минуту.
Виктор. Не понимаю, зачем тебе понадобилось...
Уолтер. Раз уж мы начали этот разговор, лучше его не откладывать. Мы никогда не говорили об этом. А поговорить, наверное, стоит. Да, это было подло, но, признав это, я не могу поставить точку. Через три дня после того... как ты приходил, я все-таки позвонил, чтобы предложить тебе денег. Ты знал об этом?
Виктор. Куда ты звонил?
Уолтер. Сюда. Я говорил с отцом, и он мне сказал, что ты пошел служить в полицию, а я ему сказал, что он не должен был этого допускать. Я сказал, что у тебя хорошая голова и если тебе хоть немного повезет, ты можешь чего-то достичь в науке, а пойти в полицию — значит попусту растратить свои силы! Он ответил: «Виктор хочет мне помочь, как я могу помешать ему в этом?»
Виктор. Ты сказал ему, что готов дать мне деньги?
Уолтер. Виктор, ты помнишь эту беспомощность в его голосе? Как раз в то время? Когда только что умерла мама и почва ушла у него из-под ног?
Виктор. Постой, дай мне разобраться. Ты сказал ему...
Уолтер. Бывают такие разговоры — сам знаешь,— что потом, вспомнив их, никак не можешь объяснить, почему ты одно сказал, а другого не сказал. Вы с отцом были нужны друг другу гораздо больше, чем я вам, а вы мне. Это так, хотя я иногда и ругал себя за недостаток сыновних чувств. И когда он сказал, что ты хочешь ему помочь, мне стало неловко влезать в это, я понял, что не имею права становиться между вами. Навязываться.
Виктор. Тогда все ясно. Он несколько раз говорил о звонке и ни разу о деньгах.
Уолтер. Ты никогда не был безразличен мне. Я позвонил сюда, чтобы одолжить тебе эти деньги, но неужели ты сам не понимаешь, что после разговора с ним это стало невозможно?
Виктор. Я же сказал: все ясно.
Уолтер. А я прошу тебя сказать то, что ты думаешь.
Виктор. Что я думаю? Думаю, что все вышло... очень удобно для тебя. Если ты считал, что отец так много для меня значит — а это так и было,— почему ты решил, что нас разлучат с ним какие-то пятьсот долларов? Я бы продолжал его содержать. А твои деньги просто помогли бы мне закончить колледж. Так что не вижу смысла в твоем объяснении.
Уолтер. А в каком объяснении ты видишь смысл?
Виктор. Ты не дал мне денег, потому что не хотел их дать.
Уолтер. Не слишком ли просто?
Виктор. По-моему, все сводится именно к этому. Я вовсе не считаю, что ты был обязан это делать. Но когда хотят кому-то помочь, то помогают, а не хотят — не помогают... Не понимаю, зачем ты вообще завел этот разговор.
Уолтер. А тебе хоть изредка разве не хочется вытащить старые занозы?
Виктор. Хочется. Но, судя по началу, мы вряд ли эти старые занозы вытащим.
Эстер. Виктор, мне кажется, Уолтер достаточно ясно дал понять, что он хочет твоей дружбы.
Виктор. Предлагая мне работу и двенадцать тысяч долларов в придачу?
Уолтер. А что в этом плохого? Что еще я могу тебе предложить?

Виктор. А с какой стати ты вообще должен мне что-то предлагать? Что меня надо — спасать? Что, собственно говоря, случилось?

Уолтер. Просто я думал: раз есть работа, которая тебе по плечу, которая может прийтись тебе по душе, то я...

Виктор. Уолтер, у меня нет образования. О чем ты говоришь? Думаешь, взял нырнул — и двадцать восемь лет как волной смыло! В жизни платишь за каждый шаг. Я заплатил за все, и кончено! Мне платить больше нечем. И ты за свое, как видно, рассчитался сполна. Жены у тебя нет, семьи у тебя нет. Есть дом, где ты бродишь как неприкаянный. Но разве ты мог бы сейчас пойти домой и начать все сначала, на голом месте? В этом все дело! Об этом мы и говорим с тобой сейчас, здесь, на этом чердаке. О чем же еще? И уж раз зашел разговор, позволь тебе напомнить, что мужчине не говорят таких вещей при жене.

Уолтер. Каких вещей?

Виктор. Нас не нужно спасать, Уолтер! Я делал дело, которое считал нужным, и делал его честно. Ты говорил, что покончил с мышиной возней. Но, по-моему, ты с ней не покончил, ты увяз в ней. И может быть, еще глубже, чем раньше.

Эстер. Виктор, я хочу уйти.

Виктор. Подожди, прошу тебя. Он хотел высказаться — и он высказался. Теперь я отвечу. Я не могу ему не ответить.

Эстер. А какой в этом прок?

Виктор. Какой прок? Неужели ты вдруг вообще перестала хоть что-нибудь понимать? *(Он поворачивается к Уолтеру, дрожа от гнева.)* Что ты пытаешься мне доказать, Уолтер? Что все в моей жизни было зря? В этом ты хочешь меня убедить? Чего ты хочешь?

Уолтер. Я хотел быть тебе полезен. Я думал, что смогу тебе помочь. Стоит ли жить, если снова и снова повторять старые ошибки? Я решил не упустить случай хотя бы сейчас, раз упустил его раньше. И если окажется, что ты не способен разговаривать со мной по-другому и вообще не представляешь себе других отношений между нами, то этим ты накажешь только самого себя.

Виктор. Как это уже было однажды? Ты это хочешь сказать?

Уолтер. Ну что ж, да. Я хочу сказать именно это.

Виктор. Я так и предполагал. Иначе говоря, никакой проблемы нет и не было. Я ее выдумал.

Уолтер. Виктор, не мои пятьсот долларов виной тому, что ты не получил диплома! Ты мог преспокойно оставить отца и учиться дальше. Ничего бы с ним не случилось!

Виктор. А двенадцать миллионов безработных — это что, плод моего больного воображения? А то, как я по ночам заставлял себя таскать прелый салат в греческом ресторанчике на углу,— это мне приснилось? А то, как мы в поисках съедобных кусков копались в гнилых грейпфрутах?

Уолтер. Я не собираюсь отрицать...

Виктор *(прямо в лицо Уолтеру)*. Мы здесь питались отбросами, понимаешь, ты, чистоплюй!

Эстер. Но какой же смысл...

Виктор *(к Эстер)*. И ты туда же? Хочешь убедить меня, что ничего этого не было? *(Уолтеру.)* А как быть с тем, что он пережил? Человек стыдился выйти на улицу!

Эстер. Но, Виктор, его уже нет.

Виктор. Бросьте твердить мне, что его уже нет! Ведь тогда-то он был — и не где-нибудь, а здесь. А то, что тогда вдруг ушло из-под ног все, на чем мы стояли, это тоже я выдумал?

Эстер. Нет, дорогой, но теперь ведь все по-иному..

Виктор. Теперь по-иному? Взятки и вымогательство везде — сверху донизу, в школе царит черт знает какой дух, тысяча взрослых остолопов спускает в ночных клубах больше денег, чем целый квартал зарабатывает за год! Я целыми днями — на улице, у таких, как я, нет времени читать о том, как мы хорошо живем! Но мы, черт бы нас драл, та самая сила, которая еще держит этот город в узде. И когда он однажды снова сорвется с цепи, благодарите бога, если у вас останется крыша над головой! И ты говоришь мне, что я мог оставить его здесь на твои пять долларов в месяц? Извини, но это слишком крепко засело у меня в мозгах — не вытряхнешь. Когда хотят мириться, не приходят дурить людям голову. Здесь, в этом доме, на тебе лежала ответственность, но ты ушел от нее. И теперь иди. Я пришлю тебе твою долю. *(Направляется в спальню.)*

Уолтер. У него были деньги!

Виктор останавливается и поворачивается к Уолтеру, словно не расслышав.

Эстер *(пораженная)*. Как?

Уолтер молчит, он не может сразу найти слова.

Виктор. Что ты сказал?

Уолтер. У него были деньги. Остались после кризиса.

Виктор. О каких деньгах ты говоришь?

Уолтер. У него было почти четыре тысячи долларов.

Эстер. Когда?

Уолтер. Когда они тут питались отбросами.

Молчание.

Виктор. А ты откуда знаешь?

Уолтер. Он просил меня куда-нибудь их пристроить.

Виктор. Их пристроить?

Уолтер. Да, незадолго до того, как он отправил тебя ко мне. *(Помолчав.)* Ты помнишь, что я тебе тогда сказал? «Спроси у отца». Помнишь?

Виктор молчит.

Поэтому я и посылал ему столько, сколько посылал, и ни цента больше. А если бы хватило последовательности, вообще бы не посылал ничего!

Виктор садится. Долгое молчание. Ему становится стыдно, он ни на кого не смотрит.

Виктор. Значит, у него на самом деле были деньги? Лежали в банке?

Уолтер. Вик, он же в основном на них и жил до самой смерти. Ему не хватало того, что давали мы, ты сам знаешь.

Виктор. Но он несколько раз поступал на службу...

Уолтер. Которая мало что приносила. Он жил на свои деньги, можешь мне поверить. Я тогда же сказал ему, что если он даст тебе закончить колледж, я возьму на себя половину его расходов. Но он преспокойно смотрел, как ты носишься с работы на работу, чтоб прокормить его! И, глядя на это, я, черт меня побери, не хотел еще и себя приносить ему в жертву! Можешь ты это понять или нет?

Виктор, глядя на центральное кресло, вздыхает изумленно и гневно.

Тебе нет смысла задним числом сердиться на него, ты же помнишь, в какую дрожь его бросало при одной мысли, что он уже никогда ничего больше не заработает. И уже никто не мог его образумить!

Виктор. Но он же видел, что я с ним?

Уолтер. А откуда он мог знать, надолго ли это?

Виктор. Что ты хочешь этим сказать? Я же обещал ему, что я...

Уолтер. Знаю. Но он был уверен, что рано или поздно ты уйдешь.
Эстер. Я видела, он все время боялся, что Виктору это надоест.
Уолтер. Это можно назвать по-разному. Можно и так.
Эстер. Я знала это! Господи, когда же я, наконец, научусь верить тому, что вижу собственными глазами!
Уолтер. Больше того. Скажу тебе честно, Вик. Мне самому не приходило в голову, что тебя так надолго хватит... Теперь ты хоть видишь, какая это была нелепость — вся твоя преувеличенная возня с ним? Не говоря о том, чего тебе это стоило!
Эстер *(печально)*. Теперь он видит.
Уолтер. Я пришел сюда, уверенный, что мы с тобой сможем работать вместе. Я бы очень хотел попробовать.

Виктор молчит и смотрит на центральное кресло.

Виктор. Почему ты не сказал мне, что у него были деньги?
Уолтер. Я сказал, когда ты пришел занимать их у меня.
Виктор. «Спроси у отца»?
Уолтер. Да.
Виктор. Но неужели бы я пришел к тебе за деньгами, если б хоть секунду думал, что у него есть четыре тысячи долларов? Что толку в намеках, которых я все равно не мог понять?
Уолтер. Постой, постой!
Виктор. Знаешь, Уолтер, кончим! Мне не пять лет, и незачем морочить мне голову! Ты знал, что у него есть деньги, ты приходил сюда много раз, ты сидел и видел, каково мне в этом мундире! А теперь ты считаешь, что я...
Уолтер. Но ты же не мог не знать, что у него есть кое-что?
Виктор. Чего ты от меня добиваешься?
Уолтер. Я хочу сказать, что я не сидел бы здесь и не ел отбросы, если бы у меня перед носом стояло это! *(Показывает на арфу.)* Она и тогда стоила несколько сотен, если не больше. Вот он твой диплом! Но если ты собираешься продолжать со мной эту игру в прятки,— пожалуйста, я не возражаю.
Виктор. Игру в прятки?
Уолтер. Да. Твой отец без гроша, твой брат сукин сын, а ты вообще ни при чем. Я сказал «спроси у отца», потому что у тебя прямо под носом было доказательство того, что у него есть деньги. Ты знал это тогда и, уж конечно, знаешь сейчас.
Виктор. По-твоему, если у него оставалось несколько долларов, так я...
Эстер. Ты знал, что у него оставались деньги? Виктор!
Виктор. Я что, должен был припереть его к стенке? Он сказал мне, что у него ничего нет!
Эстер. Но ты-то думал иначе!
Виктор. Откуда я помню, что я тогда думал!
Эстер. Какая комедия! Ютиться в жалкой меблированной каморке, чтобы отдавать ему часть жалованья! Уже женившись, продолжать посылать ему деньги! Больше не иметь детей, жить, считая каждый цент! И все это время ты знал, что он просто цепляется за тебя? Ничего удивительного, что ты сам жил как парализованный. Ты сам не верил все эти годы ни одному своему слову!
Виктор. Не смей так говорить!
Эстер. Меня тошнит. От всей этой истории меня... *(Плачет.)*
Виктор. Но это тоже неправда.
Эстер. Лучше бы умереть — вот что правда!
Виктор *(помолчав)*. Я вам скажу, что случилось. Хотите послушать?
(Мельком взглянув на центральное кресло, поворачивается к Уол-

теру.) Я передал ему твои слова, я сказал ему: «Уолтер посоветовал спросить у тебя».

Уолтер. И что же он ответил?

Виктор. Он засмеялся, словно услышал глупую шутку. Потому что мы на самом деле ели с ним отбросы. И я так и не знал, как же я должен все это понять. Я говорю тебе правду. С тех пор не проходило недели, чтобы я снова и снова не слышал этого смеха... Я просто не знал, куда деваться. И вот однажды я вышел из дома и пошел в Брайант-парк, знаешь, за публичной библиотекой. Там сидело столько людей, что травы не было видно. Огромная ночлежка под открытым небом. На некоторых еще были начищенные туфли и приличные шляпы—обанкротившиеся бизнесмены, юристы, первоклассные инженеры. Я видел все это и раньше, но вдруг — ведь бывает так,— вдруг я это у в и д е л. Увидел, что нет пощады никому, ни в чем. Сегодня — ты глава дома, глава фирмы, а завтра — превращаешься в ничто! За один день или за одну ночь. И тогда я, кажется, понял этот его смех. Не мог же он нарочно тянуть из меня жилы, ведь он любил меня!

Эстер. Любил!

Виктор. Он любил меня, Эстер! Он просто был в ужасе от мысли, что все может кончиться этой травкой. А тогда уже перестают думать о любви или нелюбви, думают лишь о том, чтобы выжить. И мы с тобой испытали это на собственной шкуре. Существует долг, и надо его выполнять, Эстер. А иначе — о чем мы тут говорим? И даже если у него что-то оставалось, то это...

Эстер. Если!..

Виктор. Да. А, впрочем, какая разница? Главное — что он больше никому и ничему не верил, и это было самое невыносимое! *(В сторону Уолтера.)* Этот плюнул ему в лицо. Моя мать... В ту ночь, когда он сказал нам, что разорен, моя мать... она сидела вон на том диване, в вечернем платье, собиралась на какой-то званый ужин, а на нем был смокинг. И когда он заставил всех нас сесть и сказал нам, что все кончено, ее вырвало, прямо ему на руки. Тридцать пять лет, а я вижу все, как сейчас. А он сидел, и у него появилось такое выражение... Я ни разу не видел у человека такого лица. *(К Эстер.)* Можешь не объяснять, согласен, это было нехорошо — то, как меня водили за нос. Но если тебя воспитали и приучили верить в людей и ты напичкан этой благоглупостью, ты за нее и держишься. Тут уж ничего не поделаешь. Я думал, что если я останусь с ним и если он увидит, что хоть кто-то относится к нему по-прежнему... я не могу этого объяснить, но я не хотел, чтобы все это рухнуло.

Уолтер. Что-то у тебя не сходятся концы с концами. И ты сам это видишь. Разве речь шла об этом? Так-таки все вдруг взяло и рухнуло. Да разве когда нас воспитывали, нас учили верить в людей? Чушь! Нас учили добиваться успеха, вот как нас воспитывали. Иначе почему он уважал меня, а не тебя? Что рухнуло? В этом доме любовь и не ночевала. Когда мать должна была поддержать его, ее рвало. А когда он должен был поддержать тебя, он смеялся. Невыносимо было не то, что дом рухнул, а то, что никакого дома никогда и не было.

Эстер. Да разве может человек признаться себе в этом?

Уолтер. Ничего не попишешь! И дело не в том, что в этом доме отсутствовали добрые чувства. Дело в том, что здесь не было любви. Не было верности. Здесь вообще ничего не было, кроме взаимного денежного соглашения. Это и было невыносимо. А ты всю жизнь пытаешься откреститься от того, что видел собственными глазами.

Виктор. Откреститься...

Уолтер. Вик, я на собственной шкуре знаю, как это тяжело. Я сам целых тридцать лет швырнул псу под хвост, я старался, чтоб со мной не повторилась та же катастрофа. И я начал жить, только когда наконец понял, что никакой катастрофы и не было, никогда не было. Они никогда не любили друг друга — она сто раз говорила, что замужество погубило ее музыкальную карьеру. Нет, здесь ничего не рухнуло. И я больше не склонен везде и во всем видеть чье-то предательство. Моя жизнь теперь не зависит ни от кого, кроме меня. И раз так, я даже не боюсь время от времени верить другим людям. Я всегда хотел только одного — заниматься наукой, а превратился в высококвалифицированную болезнеизлечивающую деньгоделательную машину. А ты, который всегда боялся вида крови, чем ты занимаешься? Ты полицейский — это самая собачья профессия, которую можно себе представить. Мы выдумываем самих себя, Вик, выдумываем, чтобы откреститься от той правды, которую мы знаем. Ты выдумал себе жизнь-самопожертвование, жизнь-долг, но нельзя защищать то, чего никогда не было. Ты ничего и не защищал, ты просто отвергал ту правду, которую ты знал о них. И о самом себе. Вот что стоит сейчас между нами. Иллюзия, Вик. Я плюнул им в лицо, а ты взялся защищать их от меня... Нет, я просто увидел еще тогда то, что ты видишь только сейчас,— вот и вся разница. Я не враг тебе. Это тоже иллюзия, и если ты сумеешь от нее избавиться, мы сможем вместе... по-моему, ты сам это чувствуешь, а?

Виктор *(поворачивается, чтобы посмотреть Уолтеру в глаза)*. Уолтер... *(Обрывает сам себя.)* Теперь скажи мне.

Уолтер. Что тебе сказать?

Виктор. Не знаю. Скажи мне что-то такое, чего мы друг другу недосказали.

Уолтер. О чем ты?

Виктор. Я стараюсь поверить тебе. Я хочу тебе поверить... Ладно, я скажу сам... Бывают дни, когда я даже не могу вспомнить, что я имею против тебя. И это как камень. Я смотрю на себя в стекла витрин и вижу эти залысины, я хожу по улицам и ничего не могу вспомнить. Так недолго и с ума сойти, когда не можешь вспомнить, в чем же было дело. Когда даже ненавидеть уже не можешь.

Уолтер. Потому что все это абстракция, Вик, и ты сам знаешь, что это так.

Виктор. Ну, что ж, тогда давай зацепимся за что-то реальное. Все, что я услышал здесь, свелось к тому, что нам не стоило ломать из-за них копья. Я кругом ошибался, а ты... выходит, ты что-то сделал? И черт с ним, кто прав, кто виноват — меня это уже не интересует. Но если мы собираемся быть друзьями... *(Обрывает себя.)* Скажи, но тебе, тебе это хоть что-нибудь дало? Пожалуй, об этом я и пытаюсь все время спросить. Ты говоришь о том, что ты сделал. Но как тебе это удалось?

Уолтер. У меня просто не хватило тогда духу сказать тебе про его деньги — этого ты добиваешься? Да, я не решился назвать его в лицо обманщиком. А ты — при всех своих подозрениях,— ты решился? Тогда почему моя трусость — это преступление?

Виктор. Я совсем не о том. Ты даже не догадываешься, о чем я...

Уолтер. Нет, я догадываюсь, но я не из тех, кто сознательно калечит жизнь другим людям. В этом я ни за что не признаюсь, не дождешься!

Виктор. Уолтер, это моя жена: ты уйдешь, а нам с ней надо жить и смотреть друг другу в глаза! Это были наши родители, это был наш дом, а звучит все это так, словно мы были кучкой совершенно

чужих друг другу людей! Что ты делаешь? Ты берешь все, что было, выдираешь, словно это гнилые зубы, и швыряешь в плевательницу? Но ведь *(нехотя, через силу)*... ведь существую еще и я, Уолтер!

Уолтер. Ты хочешь, чтоб я сказал: да, я погубил твою жизнь? Нет, ты сам сделал этот выбор. Ты мог выбирать и выбрал то, что хотел. И я не стану называть себя чудовищем, чтобы утешить тебя!

Виктор смотрит на него, словно видит его с небывалой ясностью.

Что я могу для тебя сделать, Виктор, ради бога, что?

Виктор. Ничего ты не можешь для меня сделать, и я для тебя — тоже.

Уолтер молчит.

Господи, как странно... Словно я разговаривал с тобой все эти тридцать лет. Словно, что бы я ни делал, ты откуда-то наблюдал за мной. Я так давно пытаюсь за что-то взяться... Но мне нужен был толчок — как же я не понимал этого? Оказывается, я ждал тебя... чтоб ты пришел, и вот мы снова здесь, в этом доме, как тогда, раньше, когда для нас еще не было ничего невозможного, и чтоб вдруг опять что-то стало возможным. Мне кажется — я сам раньше никогда бы этому не поверил,— но мне кажется, что я смотрю на себя твоими глазами и целыми днями жду... день за днем жду... Чего? Не знаю... Какого-то знака, что ли, что я для тебя сделал что-то. Или хотя бы, что ты так считаешь. Но я ничего для тебя не сделал, ведь так? Получается, что я *(он смотрит на кресло)* не помог даже ему! *(Оборачивается к Эстер.)* Даже тебе.

Эстер *(в слезах)*. Ты любил его. И тебе должно быть безразлично все остальное. И не смей больше об этом думать. Ты сделал то, что хотел.

Виктор. То, что хотел,— нет. Даже ничего похожего. Я сделал то, что я сделал. Но это сделал Я. *(Уолтеру.)* Так же как ты сделал то, что сделал ТЫ. И пора на этом успокоиться и быть, наконец, в расчете. Я не могу с тобой работать, Уолтер. Я тебе не верю.

Уолтер. Всю жизнь только одна мысль — отомстить!

Виктор. Если бы ты пришел и у тебя за душой было что мне отдать, я бы заметил. Это я бы заметил! Но ты пришел просто для того, чтобы старина Виктор пожал тебе руку. И одобрил все, что ты делал. И тогда у тебя кроме уважения, карьеры и денег было бы еще одно долгожданное признание — ради него и нужен я, потому что мне ты поверишь как никому другому,— мое признание, что ты в самом деле образцовый парень! Так вот, этого ты от меня не дождешься. Не могу.

Уолтер *(к Эстер)*. На этот раз он решил пожертвовать своим будущим, чтобы отомстить мне. *(Виктору.)* Ценою собственного банкротства, но доказать, какая я вероломная сволочь! Повеситься на моей парадной двери — укором моей совести!

Эстер. Никаких жертв он не приносил! Никаких! Оставь его в покое. Пожалуйста. Замолчи.

Уолтер. Вы сдались. Оба. Подняли руки и капитулировали перед жизнью. Вот и вся ваша философия. В вас кипит зависть!

Входит Соломон. Он с тревогой переводит взгляд с одного брата на другого.

И у вас даже сейчас не хватает духу это признать! Но ваше банкротство еще не дает вам никаких моральных преимуществ! Передо мной во всяком случае! То, что у меня есть, я сам заработал — по улицам ходят люди, которых уже не было бы на свете, если б не я. Да! *(Направляясь к двери, указывает на центральное кресло.)*

Он был умнее всех нас. Он понял, чего ты хочешь, и он дал тебе это. *(Внезапно протягивает руки, сжимает ими лицо Соломона и смеется.)* Давай, старый остолоп, грабь их подчистую, они это любят! *(Отпускает руки и поворачивается к Виктору.)* Тебе никогда больше не удастся заставить меня почувствовать стыд!

Быстрыми шагами идет к двери. По дороге на полу прямо у него под ногами оказываются вечерние платья. При виде их он резко останавливается.

Виктор *(пораженный силою происшедшего взрыва)*. Я пришлю их тебе.

Уолтер внезапно наклоняется, хватает платья и бросается к Виктору с криком, тыча в него этими платьями. Виктор прижат к стене.

Уолтер!

Соломон *(приближаясь к ним)*. Доктор, доктор!

Он с трудом отстраняет их друг от друга. По лицу Уолтера вдруг пробегает униженная улыбка. Кажется, он предпочел бы сейчас провалиться сквозь землю.

Он поворачивается, едва взглянув на Виктора, доходит до двери и, расправив плечи, перешагивает через порог.

Виктор *(нерешительно делая вслед за ним шаг к двери)*. Ему, наверно, не стоило бы выходить на улицу в таком состоянии...

Соломон *(останавливая его)*. Пусть идет, что вы можете сделать?

Виктор идет к столу, берет свой револьвер и прячет его в кобуру. Соломон подходит к столу и собирает оставленные там Виктором деньги.

Ну, хорошо, идите сюда и давайте кончим это дело. Значит... Вы здесь имеете семьсот *(вкладывает деньги в руку Виктору)*... а теперь я вам даю...

Эстер. То, что я вижу, да?

Соломон вопросительно смотрит на нее.

Скажите, вы ведь верите тому, что вы видите?

Соломон *(думая, что она хочет его упрекнуть)*. Да, и что?

Эстер. Ничего, все прекрасно. Вот вы — вы верите собственным глазам и, наверно, благодаря этому еще живете и действуете. Когда я впервые поднялась по этой лестнице, мне было всего девятнадцать лет, представьте себе, если это еще можно представить. И у него был брат, самый умный, самый прекрасный молодой доктор в мире. И он сам должен был стать когда-то и кем-то. *(Она поворачивается к центральному креслу.)* И здесь сидел довольно приятный безобидный джентльмен, который всегда ждал каких-то новостей. А теперь не пройдет недели, и люди, которых мы никогда не видели и о которых мы никогда не слышали, придут сюда и разберут все это по частям и унесут прочь Почему конец всегда бывает такой нелепый? Сколько раз я думала, что ему больше всего в жизни хочется поговорить со своим братом и что если бы им это удалось... Но брат пришел и ушел. А это чувство у меня все еще осталось... Не правда ли, ужасно? Мне всегда кажется, что еще один крошечный шаг, и вдруг появится что-то не от мира сего и поднимет всех нас на небо. Когда же ты перестанешь быть такой... дурой?

Соломон. У меня была дочь, мир ее праху, она покончила с собой шестьдесят лет назад. И каждую ночь я ложусь спать, и она там сидит. И я вижу ее так ясно, как вижу вас. Но если бы случилось чудо и она бы снова стала жить, что бы я сказал ей? *(Поворачивается к Виктору, протягивает деньги.)* Значит, вы имеете семьсот, я даю вам восемьсот, девятьсот, тысячу, тысячу сто и еще пятьдесят за арфу. А теперь вы меня извините, у меня сегодня вечером много работы.

Соломон берет блокнот и карандаш и приступает к описи. Виктор складывает деньги.

Виктор *(обращаясь к Эстер)*. Мы еще можем успеть в кино, если ты не раздумала.

Эстер. Пошли!

Виктор берет костюм и начинает вынимать его из чехла.

Не стоит, зачем?

Она поворачивается к Соломону.

Он смотрит на нее.

До свидания, мистер Соломон.

Соломон *(поднимает голову)*. До свиданья, дорогая. Мне нравится ваш костюм. Он очень мил. *(Возвращается к прерванной работе.)*

Эстер. Благодарю вас. *(Выходит.)*

Виктор. Когда начнете вывозить?

Соломон. С божьей помощью, если я еще немножко поживу на свете, так завтра прямо с утра.

Виктор. Я попозже зайду за костюмом. И здесь остаются мои рапира, маска и перчатки.

Соломон. Можете за них не беспокоиться.

Виктор. Я рад был с вами познакомиться, Соломон.

Соломон. Я тоже. И хочу вас поблагодарить.

Виктор. За что?

Соломон *(взглянув на мебель)*. Э-э-э... Кто бы мог поверить, что я еще раз возьмусь за это дело?.. Идите уже. У меня еще так много работы...

Виктор *(направляясь к двери)*. Желаю вам счастливо закончить все это.

Соломон. Счастливо или не счастливо — этого, мой мальчик, вы никогда не знаете до самой последней минуты.

Виктор *(улыбается)*. Да, пожалуй. *(Последний раз оглядев комнату.)* Ну... пока.

Соломон *(вслед уходящему Виктору)*. Пока, пока.

Теперь он совершенно один. Взяв блокнот и карандаш, чтобы снова приняться за работу, он смотрит по сторонам, и множество окружающих его вещей, бросающих вызов его старости, начинает действовать на него удручающе, он обеспокоен и даже испуган.

Рука его тянется к лицу, и он в растерянности теребит щеку. Потом замечает граммофон, поднимает крышку, отводит мембрану и нажимает кнопку пуска, чтобы проверить, работает ли пружина. Опускает мембрану на пластинку. Заиграла «смеющаяся пластинка». Когда двое клоунов начинают свою болтовню, подавленность на лице Соломона уступает место удивлению. Теперь он улыбается. Он причмокивает и вспоминает. Потом он смеется и кивает в такт своим воспоминаниям. Потом хохочет и качает головой. Держится за голову и, не в силах унять смех, садится в центральное кресло. Откидывается на спинку и, развалившись в кресле, смеется до слез и беспомощно повизгивает.

Медленно опускается занавес.

Конец

Перевод с английского К. СИМОНОВА и А. СИМОНОВА

Д. ЗАТОНСКИЙ

СОВРЕМЕННОСТЬ «ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА»

Горький — это эпоха. Он — фигура воистину колоссальная. И трудно сказать, где он больше. В пьесах? В рассказах? В воспоминаниях? В романах? В статьях? Чтобы постичь Горького, мы должны обнять весь этот гигантский комплекс — комплекс творчества и политической борьбы, таланта и интеллекта, служения идее и ее формирования, человеческой простоты и мировой славы.

Это нагляднее всего прослеживается на путях магистральных — там, где новаторство Горького проявилось наиболее ярко и убедительно, там, где оно обладало наибольшей преображающей силой. Горький как певец нового человека, как открыватель нового мира, как основоположник социалистического реализма, как учитель революционного авангарда писателей Запада и Востока, Севера и Юга — таков основной пафос наших научных исследований. Горького справедливо рассматривают как непосредственного учителя и наставника социалистических писателей мира, как носителя коммунистической идеи, взятой в ее осознанном и законченном виде. Но следует пойти дальше. Ведь если искать в творчестве тех, кто учился у Горького, на кого Горький так или иначе влиял, лишь законченное и осознанное воплощение этой идеи, то круг затронутых влиянием необходимо сужается. Между тем влияние Горького было огромным, и оно затрагивало не одних лишь единомышленников; прямо или косвенно его воздействие оставляет след и в творчестве писателей, казалось бы, от него необычайно далеких.

Однако дело не только в некоей «узости круга», внутри которого, как правило, изучалось раньше мировое значение Горького. Тут, вероятно, следует сделать ударение на слове «раньше». Горький, как и всякий подлинно великий художник,— явление движущееся. И новые поколения находят в его творчестве то, что, быть может, ускользало от внимания современников. Поэтому «круг» начинает расширяться сам собою — не просто за счет усилий «более вдумчивой» критики, но и благодаря объективному расширению и углублению горьковских влияний на мировое искусство.

Мне кажется, что с точки зрения подобного расширения значительный методологический интерес представляют работы немецкого критика Ральфа Шрёдера, посвященные Горькому и Томасу Манну *.

Шрёдера — особенно во второй из этих статей — занимает вопрос о сопоставимости горьковских и манновских идейно-эстетических исканий. И он обнаруживает не только точки соприкосновения, но и следы прямого воздействия Горького. Воздействия на то, какие пути избирает Манн, когда нащупывает выход из тупика буржуазного представления о человеке и обществе.

Как известно, Томас Манн всегда высоко ценил Горького, но не всегда понимал его. Молодому Манну, например, «горьковская революция», если не по содержанию, так по значению, казалась равновеликой «революции ницшеанской». Однако на склоне лет, опираясь на весь свой писательский и гражданский опыт, Манн сказал о Горьком: «Он, вне всякого сомнения,— великое явление мировой литературы, и он первым по-

* Ralf Schröder. Die dialektische sozialgeschichtliche Auflösung der Faustproblematik in Gorkis Roman-epopöe „Klim Samgin". „Weimarer Beiträge", 1965. N 5; Maxim Gorki, Thomas Mann und die Überwindung der spätbürgerlichen Romankrise. „Weimarer Beiträge", 1967, N 2.

знакомил меня, да и всю Европу, с русской революцией. От него исходит обновление, которому уготована долгая жизнь» *.

Слова эти — не просто дань уважения, которое Манн испытывает к знаменитому собрату. «Знакомство» с русской революцией означало для него не только некое расширение мыслительных горизонтов, но и своеобразную внутреннюю переориентацию творчества. Не случайно Манн подчеркивает, что это знакомство осуществлялось прежде всего с помощью Горького. То есть шло по художественным каналам, через кровеносную систему образного мировосприятия. Тут горьковские влияния, оставаясь порой невидимыми на поверхности, подобно кислороду, освежили ткань манновской прозы.

Томас Манн, отмечает Шрёдер в другом месте, очень рано (почти сразу по завершении «Будденброков») осознал, что «мерила классического буржуазного гуманизма не могут посреди диалектики современных общественных битв, в период «переоценки всех ценностей», служить компасом для человеческих решений и действий. Этот компас не в состоянии вывести из кризисов, войн и катастроф эпохи. Традиционные формы художественной композиции не способны более объять, отразить и эстетически снять противоречия жизни» **. Поэтому, полагает Шрёдер, «параллели и расхождения, которые обнаруживаются при рассмотрении того, как творчество Горького и Томаса Манна соотносится с классическим наследием, показывают особенно ясно, почему автор «Доктора Фаустуса» оценивал созданное Горьким как литературное обновление всемирного масштаба».***

Как видим, сопоставляя Томаса Манна с Горьким, Шрёдер углубляется не только в область идейной проблематики, но и в стихию романной структуры, стихию, так сказать, собственно художественную. Это интересный подход. И стоит присмотреться к тому, как обосновывает Шрёдер художественную общность романов Горького и Манна. Он говорит, что неспособность старых романных структур объять новое время ощутили многие художники XX века. Однако для тех из них, от кого остался сокрытым позитивный смысл великого исторического переворота, такая неспособность означала если не конец романа вообще, так, по меньшей мере, его капитуляцию перед непостижимым бытием. И им вроде бы не оставалось ничего иного, как пародировать общепринятые формы, иронизировать над традициями или же сочинять некие «негативные эпопеи», в которых, по словам Теодора Адорно, «различие между реальным и воображаемым принципиально устраняется» ****. Это—модернистский вариант «преодоления» кризиса. А еще точнее — декадентская манера играть с ним в поддавки. «Негативная эпопея» типична для Пруста и особенно Джойса. Но Адорно находит ее и у Томаса Манна. Потому что, с точки зрения Адорно, «негативная эпопея» — единственный выход из тупика, в который нынче зашел роман. Между тем именно творчество Манна, и в первую очередь его «Доктор Фаустус», говорит Шрёдер, свидетельствует о наличии иного выхода. Причем выхода и не умозрительного и не традиционного. А такого, при котором принимается во внимание вся сложность, кризисность, катастрофичность окружающей действительности, но который и не становится от этого капитуляцией перед нею, перед ее «непроницаемостью» и «хаотичностью».

Тут-то, по мысли Шрёдера, и соприкасается Томас Манн с Горьким, и прежде всего Горьким — автором «Клима Самгина»:

«В образе Самгина Горький воплощает специфически модернистскую тему — противоречие между позднебуржуазной реальностью и возведенной в догму раннебуржуазной картиной мира, а также вытекающее отсюда модернистское разрушение этой картины. Потому идейно-художественный комплекс «Самгина» включает в себя в качестве существенного композиционного горизонта не только пародию на «историю молодого человека XIX века», но и «негативную эпопею». Однако обе эти плоскости снимаются третьей, более широкой, снимаются за счет объективизации модернистского разрушения традиционной картины мира, которая осмысляется как одна из исторических закономерностей перехода от капитализма к социализму, и за счет включения новой, социалистической картины мира. И эта третья композиционная плоскость определяет структуру «Самгина» как романа-эпопеи социалистического реализма. Точно так же в идейно-художественном комплексе «Доктора Фаустуса», наряду с элементами пародийного романа и «негативной эпопеи», прослеживается и третий, более широкий структурный горизонт. Через него, в отличие от модернистского романа, абсолютизирующего всеобщий распад, эпоха кризисов подается как специфическое время буржуазного заката, которое может быть снято новым общественным строем.

В реалистическом снятии противоречия между модернистским романным материалом и традиционной реалистической романной структурой и состоит всемирное литературное значение романов Горького и Томаса Манна».

Не все здесь кажется мне точным. Я не понимаю, например, почему кризисная действительность XX века — это *«модернистский* романный материал»? Модернистским в полном смысле слова может быть только способ восприятия и отображения, а не материал. Сам по себе — он нейтрален, просто факт, нечто реальное. Поэтому дело вряд ли обстояло так, как говорит Шрёдер: Горький (или Манн) взял «модернистский материал» и сплавил его с «традиционной реалистической структурой», «снял», таким образом, противоречие между ними и получил

---

* „Tägliche Rundschau", N 108(1291), 4. 8. 1949, S. 1.

**Ralf Schröder. Maxim Gorki, Thomas Mann und die Überwindung der spätbürgerlichen Romankrise „Weimarer Beiträge" N 2, 1967.

*** Там же.

**** Theodor W. Adorno. Form und Gehalt des zeitgenossischen Romans. „Akzente". 1954, Hf. 5. S. 415.

новый реалистический роман. Все, очевидно, выглядело сложнее. Ибо новый материал воздействует на форму, а та, в свою очередь, по-новому «оформляет» выражаемое. Элементы пародийной игры или «негативной эпопеи» и есть части нового «оформления». Даже если они к кому-то пришли от Джойса, это не означает, что они нечто сугубо модернистское.

■

Еще в 1932 году А. В. Луначарский обратил внимание на одну особенность, даже странность «Жизни Клима Самгина»: автор, «относясь глубоко отрицательно к своему «герою» и к большей части изображаемого, тем не менее «как бы все время старается устранить себя как морального судью...» *. Да и многие другие заметили, что писатель воспользовался услугами неприятного Клима Ивановича, чтобы получше рассмотреть окружавшую того действительность. В этом и правда заключена одна из «странностей» книги Горького, ее необычность. Исследователи нелегко привыкают к ней.

Скажем, П. Строкову — автору объемистого исследования «Эпопея М. Горького «Жизнь Клима Самгина» (1962) — важнее всего утвердить, что *не вся* действительность дана в восприятии Клима Ивановича. И становится непонятным, зачем Горькому вообще понадобился такой «свидетель» — если и вправду главным для него было вести повествование *от своего лица* и, значит, создать картину *непосредственно* объективную. Разве Самгин ему кем-то навязан, что надо изыскивать средства, как бы от этого Самгина отделаться?

Критик смотрит на горьковскую эпопею как на обычный роман. Но роман этот воистину необычен. И замечателен он прежде всего не тем, что автор сумел не *вопреки* Самгину высказать и образно воплотить желаемое, а тем, что сделал он это *благодаря* Самгину, с невольной, так сказать, помощью последнего, что он нашел такого Самгина и поставил его в самый центр романного действия.

Вопрос о том. «как это сделано», представляет не просто «технический» интерес, но имеет и значение идеологическое.

Главное движение книги — внутреннее — столоверчение теорий, лобовое столкновение идей, обходные маневры психологий, неприкаянное топтание в прихожих политических партий, и стремительные прорывы к правде, и дезертирства, и измены, и перебежки из лагеря в лагерь. Тут «интеллектуальный пикаро» Самгин как нельзя более на месте; он — идеальное соединительное звено для всей этой растрепанной, растревоженной действительности.

Однако Самгин ведь не просто *связка*. Он — и *оптический фокус* романа. И «пикарескность» Самгина еще не объясняет, зачем понадобилось не только ставить его в центр сюжета, но еще и пропускать изображаемое сквозь его сознание. Почему ни в одном из других романов Горького поза «невмешательства» не выдерживается столь последовательно? Надо думать, специфическое построение эпопеи обусловлено прежде всего замыслом и жизненным материалом, в пределах которого замысел реализуется.

А. Мясников пишет, что здесь «...на первый план выдвинута духовная история русского общества, «диалектика идей» *. То же говорят Б. Михайловский и Е. Тагер: «...русская историческая действительность дана в «Самгине» преимущественно в своих идеологических отражениях» **. Но если это так, то несомненной становится генетическая связь горьковской эпопеи с романами Достоевского.

Горький восхищался Бальзаком, многому учился у него, работая, скажем, над «Делом Артамоновых». И Горький был противником Достоевского, воевал с ним, в том числе и на страницах «Клима Самгина». Почему же Горький пошел, говоря условно, скорее за Достоевским, опосредствовавшим картину общества через борьбу человеческих самосознаний, нежели за Бальзаком, воссоздававшим его житейский и экономический облик? А потому, очевидно, что в «Самгине» Горький имел дело с тем кругом явлений, который впервые громко заявил о себе во времена Достоевского. И «у Горького,— полагает Б. Бялик,— вызывало протест не само обращение Достоевского к сфере тайного, скрытого в человеческих инстинктах, не само стремление показать трагическую раздвоенность многих своих героев, а то, *как* он все это делал» ***.

Отвечая на вопрос, почему Самгин вообще интересен, как наблюдатель, как свидетель, как субъект, стоящий среди событий, Луначарский писал: «Эпоха, взятая Горьким, тревожная эпоха, эпоха смятения, крушения большой империи, нарастания новой, грандиозной силы» ****. И смятение, о котором он говорит, проистекало из неравномерности, «неправильности» социального развития страны.

Не случайно Клим Иванович то и дело сопоставляет Россию и Европу: в Европе все — даже декадентский хаос — выглядело вроде бы нормальным; в царстве Романовых те же процессы протекали искривленно, противоестественно. «Россия — страна неблаго-по-лу-чная...— твердит Иван Дронов.— И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят».

«Мне поставлен вопрос,— говорит горьковский большевик Кутузов: — что делать интеллигенции? Ясно: оставаться служащей капиталу... Так же ясно: идти с пролета-

---

* А. В. Луначарский. Статьи о Горьком. М., 1938, стр. 151.

* А. Мясников. М. Горький. Очерк творчества. М., 1953, стр. 512.

** Б. Михайловский, Е. Тагер. Творчество М. Горького. М., 1954, стр. 213.

*** Б. Бялик. М. Горький — литературный критик. М., 1960, стр. 245.

**** А. Луначарский. Статьи о Горьком, стр. 180.

риатом... Да или нет, третье решение логика исключает, но психология допускает, и поэтому логически беззаконно существуют меньшевики, эсеры, даже какие-то народные социалисты...»

«Логически беззаконно» существует и сам Самгин, и Диомидов, и Безбедов, и Митрофанов, и Тагильский, и Марина Зотова — одним словом, вся «бесовская», «карамазовская» Россия И это не просто накипь, а нечто более глубокое и сложное — своеобразное олицетворение эпохи. «Что же можно выдумать безумнее действительности?» — спросил однажды Кутузов. Он не отмахивался от ее несообразностей. Но ему и недостаточно было их признать. Он хотел проникнуть к причинам безумия и тем самым оседлать безумие.

То же и автор, Горький,— ведь мысли Кутузова нередко собственные его мысли.

Чего не допускала логика, допускала психология... Подобраться к этой действительности — чтобы разгадать ее и дать читателю в ощущение ее жизненный ритм — лучше всего можно было изнутри ее самой.

«...Хочется мне показать, как жили, как думали, что делали русские люди с 80-х годов по 1919-й. *И каковы изнутри были эти люди* (курсив мой.— *Д. З.)*»,— писал Горький о своем романе.

Однако нужен был и некий центр, точка зрения. Пусть и чуждая автору, даже — в сложившихся обстоятельствах — необходимо ему чуждая. Ибо стоящему на ней наблюдателю надлежало пребывать в самых глубинах того неприемлемого для автора мира, который он взялся изображать.

Такая «точка зрения» и есть Клим Иванович Самгин.

У Самгина нет никакой вообще идеологии, и это его «преимущество». Не как человеческой особи, разумеется, а как оптического средоточия такого романа, каковым является горьковская хроника. Самгинское смятение, чувство страха проникают глубже, чем самгинская предвзятость. Клим Иванович кожей осязает неизлечимость хворей своего общества, хотя боится признаться в этом даже самому себе. И вслед за ним, по мосткам его «разнузданной» интуиции, читатель входит внутрь расколотого монолита российского капитализма.

Автор не верит Самгину и нас учит ему не верить (Луначарский называет это «скрытой сатирой» *). Но там, где надо передать субъективную историю блужданий и тупиков агонизирующей системы, Самгину просто-таки нет цены. Ибо он — что-то вроде ее духа, «мелкого беса».

Самгин нечто не замечает или, вернее, не различает. Но самгинское присутствие, восприятие, впечатление проявляет, очерчивает, выделяет представленный факт. Даже как-то его выясняет, хоть это и чаще всего выяснение «от противного». Выясняет в том смысле, что факт предстает не в нейтральном виде и не оторванным от других. Нет, он сразу же как бы наделен каким-то неверным, скользким, двуликим, разорванным содержанием. И это — содержание самой буржуазной российской действительности, обреченного старого мира, подошедшего к порогу революции. И каждый факт оказывается таким образом связанным с другим. И все они вместе создают атмосферу кризисного общества, то есть ту атмосферу, которую Горькому так важно было создать. Ибо простая немыслимость подобного существования свидетельствует о неизбежности крушения империи и исторической оправданности нового созидания.

Кстати, в этом пункте «негативная эпопея», о которой говорит Шрёдер, входит неотъемлемой составной частью в построение эпопеи «позитивной», эпопеи социалистического реализма.

■

Жизнь как субъективное восприятие, как сумма самых различных его видов; и из внутренних столкновений, сочетаний, перестановок слагается широкая картина действительности, реальная, непреднамеренная, но и выверенная партийным пристрастием творца, а потому стихийная и закономерная одновременно — так сделана «Жизнь Клима Самгина». Это эпопея, но с особым «центростремительным» строем. Она — и хроника, но тоже с особым строем.

Классический роман по структуре своей был, условно говоря, романом «центробежным». Бальзак или Диккенс, прежде чем по-настоящему взяться за дело, расставляли действующих лиц по местам, обрисовывали их, выясняли их взаимоотношения. Затем давался некий сюжетный толчок. И перед читателем неспешно и последовательно начинала развертываться круговая панорама жизни. Она расширялась с каждой страницей, проглатывая мили и годы, включая в свою орбиту все новые события, все новых и новых героев. То была объективная картина общественного бытия, воссоздаваемая повествователем, стоящим как бы вне потока.

Еще в 30-е годы XX века подобный роман казался почти незыблемой реалистической формой, пересматривать которую осмеливались лишь модернистские экспериментаторы. Ведь так, или почти так, писали тогда и Голсуорси, и Драйзер, и С. Льюис, и Фейхтвангер, и дю Гар, и Уэллс.

Но к середине века реалистический роман на Западе все чаще начинает выглядеть «центростремительным». Он не развертывает человеческие деяния и судьбы в пространстве и во времени, а, напротив, сгущает и уплотняет действие, укладывая его в короткий отрезок — несколько месяцев, дней, даже часов. Но отрезок этот — всегда какой-то решительный поворот в жизни центрального героя, момент, когда ему приходится принять кардинальное решение, взять на себя всю полноту ответственности и перед этим, может быть, перебрать в мыслях важнейшие события всего своего предшествующего бытия. И означенный отрезок начинает играть роль «модели» большого социального движения.

---

* А. В. Луначарский. Статьи о Горьком, стр. 151.

Средоточием такой модели, следовательно, оказывается *личность,* человек, через сознание и чувства которого проходят волны общественных свершений. Человек этот — и композиционный фокус, собирающий в себе фабульные и идейные нити романа.

...Умирает старый промышленный магнат, разбойник с большой дороги большого бизнеса. Он впервые совсем один — не только с глазу на глаз со смертью, но и с теми долгими десятилетиями душевных порывов, ошибок, подлостей, обманов, что лежат за спиной. В воспаленном мозгу роятся беспорядочные видения прошлого. Они возникают, цепляясь за слова, шорохи, вещи вне его и за причудливые ассоциации его собственной мысли. Они неожиданны, нечетки, порой даже ирреальны. И все же в них есть своя система. Умирающий хочет понять. Сквозь толстый слой пепла, оставленный годами предательства по отношению к другим и к себе, он тщится проникнуть к самому главному, к тому, откуда все начиналось...

Так построена «Смерть Артемио Круса» Карлоса Фуэнтеса. И так, или примерно так, построены десятки современных романов — будь то книги Фолкнера или Пратолини, Томаса Манна или Лану. И это симптоматично. Очевидно, неблагополучие сегодняшнего буржуазного мира — неблагополучие не столько материальное, сколько духовное — скорее поддается выражению именно средствами такого романа, затрагивающего самые глубины человеческого естества, романа, где действительность пропущена через обостренное сложностями жизни субъективное восприятие.

И к этому роману «Жизнь Клима Самгина» имеет, как мне представляется, прямое отношение. Правда, на первый взгляд это совсем не очевидно. С одной стороны — «сорок лет», широкая панорама российской жизни, рассказ от третьего лица, «от лица глубоко партийного художника». А с другой стороны — беспорядочные видения агонизирующего старика, видения, которые *реально* длятся всего несколько коротких часов. Но что значит здесь «реально»? Ведь перед читателем развертывается вся жизнь Круса, сначала офицера революционной армии, а потом — некоего мексиканского Каупервуда. Только эти «сначала» и «потом» не следуют друг за другом, а подчинены внутренней логике Крусова поиска. И все равно это — «сорок лет», многотрудная мексиканская история, так или иначе прослеженная, начиная, по меньшей мере, с 1913 года, со времени Панчо Вильи. И история эта, пусть Крус и вызывает ее духов как бы по своей воле, точно так же неподвластна ему, как неподвластна она Климу Ивановичу. Крус потому и вызывает ее духов, что не справился с нею, не подчинил ее себе. Всю жизнь ему казалось, будто он ее оседлал, покупая заводы и власть. Но история опустошила его духовно и, в конце концов, выбросила из седла, потому что у него, как и у Самгина, с нею «обратное отношение». И Крус, хоть в мыслях, пытается вернуться к тому перекрестку, где свернул не туда. И он все чаще и чаще обращается в мыслях этих к сыну, который бросил его, пересек океан, чтобы сражаться за свободу Испании, и погиб там.

Я чужд желания приводить «Жизнь Клима Самгина» и «Смерть Артемио Круса» к одному знаменателю, иначе говоря, доказывать, будто тут мы имеем дело и с единством проблематики, и с единством художественного решения. Мне в данном случае хочется другого. сделать понятным, что «Смерть Артемио Круса» (и это лишь один из многих возможных примеров) структурно совсем не так далека от «Жизни Клима Самгина», как могло бы показаться, если видеть горьковский роман лишь в свете незыблемости классической архитектоники.

Было бы ошибкой поддаться искушению и рассматривать композицию «Клима Самгина» в качестве своеобразного «промежуточного звена» между традиционным «центробежным» и новейшим «центростремительным» романом. Казалось бы, Горький *уже* сделал некую личность композиционным фокусом, но *еще* не переселил, так сказать, весь мир в ее голову. Хотя я и имею здесь в виду «переселение» условное, фуэнтесовское, а не абсолютное, беккетовское,— мне не кажется, будто Горький стоял на пути к этому. Не потому, что Горький «консервативнее». Он просто шире. В его творчестве заложены многие возможности и многие поучения потомкам. От «Жизни Клима Самгина» тянутся нити не только к «Доктору Фаустусу» и не только к «Смерти Артемио Круса», но и к многотомному циклу романов Чарльза П. Сноу, творчество которого тоже характерное явление современной литературы. Это не «центростремительная» структура — в ней все стабильно и определенно. Это именно *цикл* в почти бальзаковском смысле слова, круговая панорама жизни. Но между нею и нами стоит не только объективный автор, а и Льюис Элиот — рассказчик, «свидетель» происходящего. И хотя он лишь изредка (в «Поре надежд», например) повествует о себе, даже там, где действуют преимущественно другие (в «Деле», в «Коридорах власти»), даже там знакомишься не с миром непосредственно, а с миром, воспринятым Элиотом, им индивидуально осмысленным. И Элиоту можно верить или не верить. Что же до автора, по выражению Достоевского, «всеведущего и непогрешающего», то он здесь, как нередко и в «Климе Самгине», остается для нас наблюдателем «гипотетическим».

■

«Жизнь Клима Самгина» не вполне укладывается в общепринятые определения «эпического». Персонажи тут не столько действуют, сколько разговаривают. Их много, но далеко не все из них самостоятельны. Ибо существуют как бы лишь в той форме,

в какой осваивает их «разнузданное» сознание Клима Ивановича, и, главное, только на той сцене, где оно их осваивает — то есть не на «рабочем месте» и не в момент активного приложения сил.

И Самгин существует только на этой сцене — его университетские занятия, его юридическая практика проходят за кулисами сюжета. Это результат отчуждения самгиных. Именно так наилучшим образом могла быть поведана правда о них, об их среде и о тяжелом кризисе их общества.

Однако как бы там ни было, а непосредственному, осязаемому, материальному здесь отдано удивительно мало места. У Бальзака или Золя, например, история обогащения Тимофея Варавки должна была бы стать одним из важных мотивов. Горький же дает ее мимоходом, где-то на периферии романа, да и то в некоем отражении.

Воротясь в родной город, Клим Иванович просматривает местную газету:

«...«Техническая контора Т. С. Варавки»... «Буксирное пароходство Т. С. Варавки»... «Управление дачами «Уют» Т. С. Варавки» ...«Варавка» ... «Варавки»...

«Завоевание Плассана»,— думал Клим, усмехаясь».

Сценка эта знаменательна. Ведь Горький менее, чем кто-либо другой, способен пренебрегать материальными основами общественного бытия. Однако для него (как и для Толстого или Достоевского) это уже нечто, разведанное великими, преимущественно французскими, предшественниками. Поэтому ссылка на Золя при случае как бы способна заместить собою подробный — «эпический» — отчет о Варавкиных коммерческих победах. Однако дело, разумеется, не только в этом. Победы варавок ныне не столь «интересны», ибо не определяют более ни социальную жизнь вообще, ни даже собственную их жизнь. Все отношения капиталистического мира настолько изменились, извратились, что экономическое процветание само по себе перестало служить вполне надежным мерилом. Разного рода аномалии, отклонения от заданной орбиты приобретают там все больший и больший общественный вес. Возникает некая негативная, «вывихнутая» цивилизация. Она саморазвивается за счет сложнейших, эфемернейших скрещиваний, мутаций и отравляет самое себя ядовитыми продуктами распада. Несомненно, ее фундамент — несправедливое распределение материальных благ, но она, подобно выпущенному из бутылки джину, угрожает и своему повелителю...

«Почти все современные молодые писатели и поголовно все критики,— говорил Горький,— не могут понять, что ведь писатель-то ныне работает с материалом, который зыблется, изменяется, фантастически соединяя в себе красное с черным и белым. Соединяя не токмо фантастически, но и неразрывно» *.

* Письмо Горького к К. А. Федину от 17.IX.1925. «Литературное наследство», т. 70. Горький и советские писатели (неизданная переписка). М., 1963, стр. 497.

Горький был, наверное, одним из самых первых художников XX столетия, которые все это осознали. Именнно *осознали,* а не только почувствовали и ужаснулись, как Кафка.

Российское кризисное бытие в «Жизни Клима Самгина» противоестественно. И все же это не красочный фантастический гротеск. Многое здесь отмечено чертами удручающего прозаизма. Он живет в романе под именем «скуки» — всеподавляющей, покрывающей предметы, лица, чувства каким-то непроницаемым слоем серой пыли.

Тут Горький соприкасается с Флобером, с его намеренно банализированным художественным миром. Конечно, горьковская провинция несет на себе след типично русской, «татарской» отсталости. Флоберовский Ионвиль был чистеньким, приличным, сугубо «европейским». Но суть и там и здесь одинакова — полнейшее духовное оскудение, измельчание. Однако Горький заметил и нечто иное, уже не имевшее отношения к различиям национальным, нечто, чего Флобер не заметил, да и заметить не мог.

Митрофанов рассказывал Климу Ивановичу и Варваре о людях «с фокусом», «совершенно невозможных для общежития», «вроде как блаженных и безумных». О каком-то полотере, который, стащив что-нибудь у хозяев, ходит перед зеркалом на руках и «сам на себя в низок зеркала смотрит». И о коннозаводчике Ермакове, начавшем сооружать приют для старушек, а когда леса рухнули, достроившем здание под бордель. «Это,— продолжал Митрофанов,— не Рокамболь, а самозванство и вреднейшая чепуха. Это, знаете, самообман и заблуждение, так сказать, игра собою... Игра, господи боже мой, и такая в этом скука, что заплакать можно...» И еще сказал Митрофанов: «Думаете — просто все? Служат люди в разных должностях, кушают, посещают трактиры, цирк, театр — и только? Нет, Варвара Кирилловна, это одна оболочка, скорлупа, а внутри — скука! Обыкновенность жизни это — фальшь и — до времени, а наступит разоблачающая минута, и — пошел человек вниз головой».

Оставаясь синонимом прозаизма, «скука» приобретает в то же время дополнительное значение, даже вроде бы противопоставляется «обыкновенности». Ибо она — и неожиданная реакция на пустоту, бессмысленность жизни. Своего рода анархический бунт, по форме как будто авантюрный, а по сути такой жалкий, банальный, именно *скучный,* что «заплакать можно».

Флобер видел вокруг себя во Франции некое жутковатое равновесие: пошлое, безликое затопило страну, но еще не хлынуло через край, не обратилось в свою противоположность. Во времена Достоевского в России равновесие оказалось нарушенным (да его здесь по-настоящему никогда и не было). Все лилось через край. И абсурдная разорванность, припадочное буйство карамазовых, ставрогиных, свидригайловых стали болезненными симптомами наводнения.

Благодаря обманчивой смещенности явлений нелегко было приметить, что в болез-

ненности этой не так-то много трагизма или даже сатанинского зла, а больше — от мятежа посредственностей, больше «скуки» и «самозванства».

Конечно, Достоевский видел это. И не был бы гениальным художником, если бы не видел. А все-таки возвеличивал и упоенное собою страдание, и какое-то дерзкое зло. Горький же снял с них и манфредовскую, и мефистофельскую «красоту». Нет, он не отрицал человеческую сложность и глубину: «человек,— по его мнению,— существо физиологически реальное, психологически фантастическое» *. Он отрицал лишь «декадентскую» сложность и глубину: «Черт побери все пороки человека вместе с его добродетелями,— не этим он значителен и дорог мне, дорог он своею волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то бóльшим себя самого, вырваться из петель исторического прошлого, подскочить выше головы...» ** А «хождение вниз головой», «самозванство» — тупик, примирение, только эксцентрика отчаяния, и потому нечто банальное, плоское, прозаическое в человеке. Спору нет, такой декаданс опасен (ведь утверждал же Горький, что «русский пустырь» — штука куда более страшная, чем это чувствовал Федор Достоевский» ***), но он не обладает силой фатальной неизбывности.

Во второй половине XX века душевный «пустырь» становится типичной приметой человеческого распада на Западе — прежде «благополучно-сереньком» Западе. Он — порождение острого кризиса буржуазных отношений, результат обострения всех противоречий. Люди с «пустырем» в душе — это нынче и одуревшая «золотая молодежь» из «Сладкой жизни» Федерико Феллини, и дегенеративные убийцы, описанные Трумэном Капоте в его документальной повести «Обыкновенное убийство».

Перед писателями встают проблемы, от которых не уйти. Однако, решая их, можно стать на путь модернистский — обвинить во всем самого человека, или эпоху, или социальное бытие вообще — и можно стать на реалистический путь. Высокий пример Горького и его «Жизнь Клима Самгина» помогают в выборе последнего, ибо и комплексом своих идей, и своим строем наталкивает на мысль, высказанную в романе Кутузовым: «Культура действительно погибает, но не от механизации жизни... не от техники... погибает она от идиотической психологии буржуазии...»

Флем — самый гадкий из всех фолкнеровских сноупсов, наиболее отвратительное порождение «сноупсизма». Это — стяжатель, чуждый даже радостей стяжательства. Он — не «поэт», как Гобсек, и не «игрок», вроде Саккара. Он и не монах «ордена Золотого Тельца», не скупой рыцарь, все принесший в жертву доллару. Страсти ему просто неведомы. Он обогащается скорее под действием автоматического инстинкта, выработанного происхождением и средой.

В свободное от бизнеса время Флем сидит в своем огромном пустом доме. Сидит, не снимая шляпы и уперев ноги в безобразную нестроганую доску, зачем-то прибитую к краю дорогого камина. Сидит и «жует пустоту»: в табаке (из соображений экономии) он давно себе отказал. Флем не скучает, не томится. Ибо это и есть его жизнь. И он цепляется за нее, но лишь рефлекторно, как какая-нибудь гусеница, которая тоже не знает, к чему ей такая жизнь. Но это не мешает цепкости его «жизнелюбия». Может статься, даже усиливает ее. Ведь все те долгие годы, что его родич и злейший враг Минк провел в каторжной тюрьме, Флем боялся освобождения и мести Минка. И делал все, чтобы отсрочить этот час.

Все-таки Минк вышел на волю. И тут наступил перелом. Флем, вероятно, и сейчас мог предотвратить случившееся. В его власти было хотя бы окружить себя надежной охраной. А он бездействует. Ночью Минк является к Флему. Стреляет. Плохонький револьвер дает две осечки. Пока Минк его перезаряжает, Флем — мужчина довольно крупный и сильный — легко мог обезоружить своего тщедушного убийцу. Но он неподвижно сидит и ждет последнего выстрела...

Почему же Флем так безропотно дал себя убить? «А может, ему тоже все наскучило»,— предположил один из персонажей «Особняка» Б. К. Рэтлиф.

Нет, Флему как таковому, как некоей конкретной индивидуальности не могло «наскучить», он не в состоянии уразуметь никчемность, ненужность своего существования. Однако это понимает Фолкнер. И показывает, хотя и через голову Флема, но не без помощи последнего, показывает, что буржуазное накопительство уже исторически бессмысленно, что это все лишь «скука» и «самозванство». И нет там ничего, кроме пустоты, какой-то даже «одержимости» пустотой.

Американский литературовед Дж. Маккормик причисляет Фолкнера вообще к категории «одержимых» писателей и считает такого рода «одержимость» (obsession) типичной чертой для литературы современного Запада *. В самом деле, среди фолкнеровских сноупсов или компсонов нередко встречаются фигуры чуть ли не «демонические» — разного рода неистовые убийцы, безумные святые, принципиальные, так сказать, поджигатели и т. п. Да и у других писателей личности этого сорта довольно часты, например, какой-нибудь Куртц из «Сердца тьмы» Дж. Конрада, или Пинки Браун из «Брайтонского утеса» Г. Грина,

---

* «Литературное наследство», т. 70, стр. 483.

** Там же, стр. 482.

*** Там же, стр. 594.

* J. McCormick. Catastrophe and Imagination. London. 1957.

или капитан Николс из «Тесного угла» С. Моэма.

Однако собственно «демоничны» (то есть как-то возвеличены) подобного рода персонажи лишь у раннего Фолкнера. Скажем, гангстер Лупатый в романе «Святилище» (1931).

На Западе если уж связывают все это с какими-то русскими традициями, так обычно непосредственно с Достоевским. Однако в сноупсах — по крайней мере, в сноупсах из «Деревушки», «Города», «Особняка» — нет никакого «величия», не то что рогожинского, даже свидригайловского нет. В самой их «одержимости» Фолкнер обнаруживает «скуку» почти в горьковском смысле этого слова. И Флем — ее символ: символ серости и пустоты, символ той «идиотской психологии буржуазии», которая сама себя сжигает в анархическом бунте. Ведь и неподвижность Флема под дулом Минкова револьвера — это «бунт», ничуть не менее больной, жалкий, «самозванный», нежели бунт маленького Минка.

■

В черновых набросках финала конец Клима Ивановича изображался так:

«Мужик грозно пел:

отр/ечемся.../

. . . . . .

— Уйди! Уйди с дороги, таракан, и—эх, тар-ракан!

Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот...

. . . . . .

Мешок костей.

С/амгин/.

Грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами.

Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то, у ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает».

Прочтя это, начинаешь особенно ясно понимать, что имел в виду Горький, когда писал С. Н. Сергееву-Ценскому: «Самгин — не герой» *. То есть «не герой» не только в смысле нравственной оценки, но и в литературно-терминологическом, так сказать, значении слова — *не* характер, *не* образ человеческий, а нечто аморфное, желеобразное, внутренне полое. Иначе говоря, Самгин то (или примерно то), что ныне принято нарекать «антигероем». Это понятие, правда, обычно опасаются связывать с современным реализмом, ибо видят в нем лишь химеру модернистского художественного мышления. Между тем прототипы его реально существуют в сфере распадающейся духовной жизни капитализма. И все зависит от того, как воспринимает эту фигуру писатель, чего ищет в ней, какой идейной и композиционной властью облекает ее внутри романной структуры.

Ведь и Самгин сам по себе — ничто, личность выдуманная и себя выдумывающая. Без чужого, нечестно присвоенного мыслительного и нравственного багажа, без где-то подслушанных фраз и с кого-то скопированных жестов Клим Иванович был так же невидим, как уэллсовский Гриффин без одежды, перчаток, темных очков, без бинтов, скрывающих отсутствие лица. «Характер Самгина,— писал Луначарский,— ...бледен, граничит с бесхарактерностью... Самгин — «чертова кукла». Это одно из проявлений пустоты. Это пустота, носящая личину призрачной жизни» *.

Спору нет, Самгин зависит от окружающей действительности, он — ее продукт. Но его связь с ее ведущими тенденциями уже только, так сказать, отрицательная. Основная форма его отношений с миром — отчуждение. Почва ушла у него из-под ног, и все в нем — навыворот. Былое деградировало, усохло, новое не народилось; отсюда — пустота. «В борьбе за свободу своего «я»,— писал Горький еще в 1909 году,— личность совершенно оторвалась от коллектива и оказалась в страшной и совершенно истощившей ее силы пустоте» **. Эти слова многое могут объяснить в интеллектуальной жизни современного Запада.

Собственный дом, собственный автомобиль, щедро оплачиваемая служба — это ныне не редкость в высокоразвитых капиталистических странах, даже если речь идет о так называемых семьях среднего достатка. Казалось бы, в таких семьях есть все, что нужно для счастья. Недостает им обычно лишь самого счастья. Во всяком случае, одиночество, отчаяние, неуверенность в завтрашнем дне, тщета всех и всяческих устремлений тут ощущаются ничуть не менее остро и болезненно, нежели в конце 20-х — начале 30-х годов, когда экономика Европы и Америки переживала тягчайшую депрессию, когда тысячи семей разорялись и миллионы лишались работы.

«Овеществление» жизни жестоко мстит за себя, мстит, не различая виновных, невинных или без вины виноватых, и в обмен на предоставляемый достаток, как и всегда, требует душу. В этом смысле образ дьявола, настаивающего на кровавой подписи под купчей, не столь уж нереален, скорее метафоричен. Но и это лишь одна сторона дела. Ибо трагедия, разумеется, не в достатке, а в условиях договора с дьяволом. В периоды «благоденствия» просто виднее, что капитализм не исчерпывается противоположностью между богатством и бедностью, противоречием между ними. Капитализм — более сложная и, в конечном счете, более фатальная система обесчеловечивания человека, посреди которой духовная нищета способна играть не менее грозную роль, чем нищета материальная. На это указывает хотя бы растущая (невзирая на все «экономические чудеса» послевоенных лет) кривая самоубийств, кривая психических заболеваний, кривая преступлений и все вообще «кривые» разрушения личности, физического и

---

* М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 30. М., 1955, стр. 33.

* А. В. Луначарский. Статьи о Горьком, стр. 152 и 168.

** М. Горький. О литературе. М., 1953, стр. 53.

морального. Разрушение личности — это и есть «условие договора», нечто вроде одного из видов «прибавочной стоимости», никому, правда, не приносящей прибыли. Оттого это и «подоходный налог» с капитала, выплачиваемый в пользу хаоса...

В эпоху буржуазных кризисов — политических, экономических, духовных или, как чаще всего бывает, всеобщих — в странах, особенно тяжко им пораженных, разрушение личности виднее. Предреволюционная Россия — скопище противоречий, Россия передовая и отсталая, феодальная и капиталистическая, беременная новым и больная всеми хворями обветшалой системы — была именно такой страной. А русский писатель Горький был вдобавок еще и великим революционным художником! Так удивительно ли, что в Климе Ивановиче он воплотил и разоблачил всякое разрушение буржуазной личности — настоящее, прошлое и будущее?

Жизнь проходит сквозь душу Самгина, не оседая в ней:

«Ему казалось, что он уже перегружен опытом, но иногда он ощущал, что все впечатления, все мысли, накопленные им,— не нужны ему. В них нет ничего, что крепко прирастало бы к нему, что он мог бы назвать своим, личным домыслом, верованием. Все это жило в нем как будто против воли — и неглубоко, где-то под кожей, а глубже была пустота, ожидающая наполнения другим содержанием».

А вот отрывок из совсем иного романа — из книги австрийского писателя Роберта Музиля «Человек без свойств», книги, написанной несколько десятилетий тому назад, но за последние годы оказавшейся в самой гуще идейных споров на Западе:

«...Житель этой страны обладает по меньшей мере девятью характерами — профессиональным, национальным, государственным, классовым, географическим, половым, сознательным, бессознательным и, может быть, еще личным характером; он объединяет их в себе, но они уничтожают его, и он, по сути дела, есть не что иное, как небольшая впадина, вымытая этими многочисленными ручейками, впадина, в которую они вливаются и из которой вытекают, чтобы вместе с другими потоками заполнить новую впадину».

Не правда ли, похоже: личность, как «пустота, ожидающая наполнения» и как «впадина, вымытая... многочисленными ручейками, впадина, в которую они вливаются и из которой вытекают»? И там и здесь речь идет о разрушении характера, о его замещении некоей фальшивой ролью. Мы имеем дело с независимыми друг от друга * суждениями двух разных художников, но суждениями, касающимися феномена интернационального значения. Австро-Венгерская империя, как и империя Российская, была перекрестком противоречий, своеобразным «дендрарием», в котором оказались собранными абсолютистские, либерально-буржуазные и империалистические пороки. Но Австро-Венгрия не стояла на пороге такой революции, как Россия, что и не замедлило сказаться даже на Музиле. С одной стороны, он глубокий и вдумчивый критик буржуазного мира, с другой — «апокалипсический поэт». По крайней мере, таковым считает его западногерманский литературовед Вольфганг Роте — автор исследования «Писатель и тоталитарный мир» (1966), в котором доказывается, что на Западе нет более капитализма, а возникло некое абсурдное, всеобщее, отчужденное и террористическое новообразование — «тоталитаризм». Музиль — как и Брох, Гофмансталь, Кафка — один из его «провидцев». Оттого Музиль, большой писатель, оказавшийся в 1942 году почти в полной безвестности, становится модным.

В центре музилевского романа стоит некто Ульрих, «человек без свойств», который, как и Самгин, способен действовать, лишь аккумулируя волю других, лишь светясь отраженным светом. Однако тут же бросаются в глаза и существеннейшие отличия. Ибо Ульрих — своего рода заменитель героя. Он не то чтобы персонаж положительный, а, скорее, образ наименьшего зла. Он, так сказать, сообразуется со своей аморфностью: ставит, например, «возможное» над «действительным» и предпочитает вторжению в жизнь философские спекуляции. Он полагает, что важнее уразуметь причины порочности современного мира, чем попытаться быть в нем «хорошим человеком». Потому Ульриха «в области морали больше привлекала служба генштабиста, нежели повседневный героизм добрых деяний».

Все это, однако, не значит, будто Музиль примирялся с той абсурдной системой, которая сделала из Ульриха «человека без свойств». В первой книге своего колоссального, неоконченного романа он нарисовал широкую картину «австрийского ничтожества». И на ней проступают весьма примечательные фигуры. Например, граф Лайнсдорф — капиталист среди феодалов и феодал среди капиталистов, или миллионер Арнхайм — коммерсант среди литераторов и литератор среди коммерсантов, или генерал Штумм — штатский среди солдат и солдат среди штатских...

Такая вот, как у Лайнсдорфа, Арнхайма, Штумма, оторванность от прочной социальной основы, промежуточность общественной позиции — одно из разрушительных следствий отчуждения, вторгшегося в самую плоть буржуазной системы. И Лайнсдорф, Арнхайм, Штумм уже не личности, а маски. Непостоянство, неопределенность, туманность превратились в застывшую, завершенную, закругленную форму. И маска выдает себя за характер. Более того, фактически становится им — буржуазным харак-

---

* Музиль написал приведенные строки где-то в 1922—1923 годах, но опубликовал начало своего романа лишь в 1931 году, то есть после выхода в свет первого тома «Жизни Клима Самгина».

тером кризисной эпохи, «в равной мере,— как пишет Музиль,— способным и к людоедству, и к критике чистого разума...» Музиль атакует маску, лживую роль. Он разбивает оболочку, обнажает пустоту. Но он непоследователен. Он с подозрением и скепсисом относится не только к такому «характеру», а и к характеру вообще, ибо буржуазная ситуация, по его мнению, абсолютна. И он отдает предпочтение Ульриху, человеку *без* «характера», *без* «свойств».

«Имеется лишь один выход,— занес Музиль в свою записную книжку:— примириться с этим подлым временем (выть по-волчьи) или стать невропатом. Ульрих выбирает второе» *.

Такой выбор фатален — фатален для автора и для его романа. В последующих частях книги все подвергается сомнению, оказывается объектом статистического учета — не оценки. Материя вытекает между пальцами. Остаются одни идеи — сталкивающиеся, борющиеся между собой, взаимоперечеркивающие и взаимозаменяющие друг друга, чистые и относительные идеи.

Музиль и сам в какой-то мере заметил все это; даже понял основную причину, по которой не справился со своим замыслом.

«С сегодняшней точки зрения,— писал он в последние годы жизни,—проблема такова: способного к самозащите (воинственного) человека следует сохранить, но избежав войны. Или: человек без свойств, однако и без декаданса» **.

Ульрих для Музиля был «жертвой истории», и это извиняло Ульриха в его собственных глазах и глазах Музиля. Горький сказал о Самгине, что тот «чувствует себя «жертвой истории» ***, и это не извиняло Самгина в глазах Горького, ибо он совершенно иначе, нежели Музиль, представлял себе тенденцию исторического развития. На Западе, правда, делались попытки все это игнорировать и рассматривать Самгина как «жертву», как порождение сознания модернистского. «Первая особенность этого романа состоит в новой метафизике истории»****,—пишет западногерманский критик Юрген Рюле. Но если это не сознательная фальсификация, так очень удобная для критика слепота, позволяющая не видеть того, что видеть не хочется.

Горький обличал распад буржуазного характера, срывал маску, чтобы обнажить трусливо за нею прячущуюся пустоту, пустоту отвратительную и тлетворную. Это делалось с мировоззренческих позиций, противоположных не только модернизму, но и музилевскому релятивизму, музилевской метафизике. Самгин, объединивший в себе и интеллигентных ульрихов, и всех российских архаймов,— не наименьшее, а наибольшее зло. Ибо потенциально он способен на всякое «людоедство». В его лице «антигерой» осужден бесповоротно. Более того — отвергнут, исторически «снят». Потому что ему противопоставлены — где опосредованно, а где и прямо — *герои, характеры.* Это личности, богатые внутренне, сложные, быть может, не менее, а более, чем он, «фантастические», но *цельные* благодаря своей верности идеям нового мира, своей активности, своей великой борьбе. Даже Клим Самгин временами понимает это. «Возможно,— сказал он как-то Макарову о большевиках,— что они правы, считая себя гораздо больше людьми, чем я, ты и вообще — люди нашего типа».

■

В условиях неумолимого подавления индивида со стороны «индустриальных цивилизаций» Запада темы «человек и роль», «лицо и маска» во все большей и большей степени приковывают к себе внимание современных писателей.

Собственно, этому посвящена большая часть пьес Макса Фриша и три его основных романа — «Штиллер», «Homo Faber» и «Пусть мое имя будет Гантенбайн». В «Штиллере» — первой и, может быть, самой значительной части этой своеобразной трилогии — проблема поставлена особенно широко и остро. Герой этого романа не только противоположен фиктивному повествователю «Гантенбайна», но и — в отличие от инженера Фабера — сознательно стремится к конфликту, который тому навязывает судьба.

Анатоль Людвиг Штиллер — скульптор средней руки, обанкротившийся муж и неудачливый любовник — в один прекрасный день исчезает из родного Цюриха. В течение шести лет он блуждает по американскому континенту, постепенно растрачивая связи со своим прежним «я». Но потом Штиллер все-таки возвращается, правда, с фальшивым паспортом на имя Уайта. Это — не игра. Он не хочет быть больше Штиллером, не чувствует себя Штиллером — той фальшивой личиной, которую навязали ему несчастливые обстоятельства и вконец изолгавшееся окружение. Но его поведение кажется подозрительным и его заключают в тюрьму для выяснения вопроса, не замешан ли он в некой шпионской афере. Адвокат поручает Штиллеру написать историю своей жизни, надеясь, что тот, выдумывая «биографию» для Уайта, чем-нибудь выдаст себя.

Записки эти и составляют ткань романа.

«Я знаю,— пишет герой,— что я не пропавший без вести Штиллер. И я никогда им не был. Я клянусь в этом, даже если не знаю, кто же я такой. Может быть, я — никто».

Райнеру Марии Рильке подобная безымянность порой казалась той высшей формой существования, которой достигает человек, когда приходит к самому себе. В третьей части «Часослова» он писал, например, изображая сон бедняков, совокупность которых породит будущего «бога»:

---

* Musil, R. Der Mann ohne Eigenschaften. Hamburg, 1956, S. 1636.

** Там же, S. 1632.

*** Горьковские чтения 1949—1950, М., 1951, стр. 27.

**** Rühle, J. Literatur und Revolution. Köln — Berlin, 1960, S. 32.

И не останется тогда и шрама имени
На их телах, готовых прорасти,
Что прячутся в земле, как семена от
семени,
Откуда стебель свой поднимаешь в
вечность ты *,

Как видим, проблематика здесь подобна фришевской. Но если для Рильке «безымянность» — благо, то для Фриша она — лишь побочный продукт, может быть, даже отходы реакции. Да, вместе со своим героем он считает, что «истинная жизнь» — это *идентичность* самому себе. И об этой «истинной жизни» дьявольски трудно рассказывать («Я говорю очень неясно,— признается Штиллер своему адвокату,— если я просто не вру для отдохновения»), трудно потому, что она лишена материальной основы, осязаемых фактов. Уайт — *только* «человек» — совершенно аморфен. Ему присущи лишь порывы, настроения, ощущения — одним словом, некие гипотетические, еще не реализованные возможности. Но у него нет действительного социального бытия, даже биографии нет. И ее приходится выдумывать. Уайт как «аутсайдер в *своем* обществе» — явление для Фриша положительное. Однако он отрицателен в качестве аутсайдера «принципиального». В отчуждении героя есть и доля его индивидуальной вины.

«Они,— говорит прокурор о людях типа Штиллера,— выходят из фальшивой роли, и это, разумеется, уже кое-что, но это еще не ведет их назад в жизнь».

Даже прокурор — единственный человек, который понимает, за что борется Штиллер, отказываясь признать себя самим собой,— даже он находит, что в борьбе этой есть нечто «детское». И прокурор, хотя и по иным причинам, нежели все прочие, рекомендовал Штиллеру отшвырнуть прочь маску Уайта. Штиллер так и поступил в конце романа. Это не должно было означать конец бунта — лишь конец бунта ребяческого. Напротив, вернув себе человеческую реальность, герой получал возможность развивать и углублять этот бунт уже не в качестве особи абсолютно посторонней, а как единица социальная. Правда, он все равно проиграл — не нашел своего места в жизни. Но проиграл не потому, что отказался от Уайта, а потому, что не сумел сделать этого вполне...

По сути, Штиллер давно, чуть ли не с первых дней своего заключения, подумывал, не покончить ли с игрой в постороннего:

«Может быть, сдаться? С помощью лжи это так просто сделать, достаточно одного слова, так называемого признания, и я буду «свободен», то есть, в моем случае, приговорен к тому, чтобы играть роль, которая не имеет со мной самим ничего общего. Но, с другой стороны, как человек может доказать, что он в действительности такое? Я не могу этого. Разве я знаю, кто я такой?»

Пока он еще колеблется. Ему ведь кажется, что взять на себя ответственность за прежнего Штиллера—это тоже род бегства, бегства в роль. Перелом наступает, когда в его камере появляется старый профессор Хефели с супругой. Их сын вскоре после исчезновения Штиллера покончил с собой; но еще перед этим исчезновением он успел посоветоваться со Штиллером, и Штиллер одобрил его решение...

Фантомы прошлого обступают героя. Он еще упорствует, упрямится. Но убитым горем старикам он уже не смеет сказать прямо в лицо: я — не Штиллер! Ибо, как записывает он после их ухода, «сегодня мне опять стало ясно: то, с чем ты не справился в жизни, нельзя похоронить, и пока я пытаюсь это делать, мне не уйти от поражения».

Сказанное Штиллером касается не только истории с молодым Хефели, но и его собственного «испанского приключения». То, что он, отправившись добровольцем на мадридский фронт, не нашел в себе сил стрелять во франкистов и не оправдал доверия своих товарищей-республиканцев,— главное поражение его жизни, источник многолетних нравственных терзаний. Они, собственно, и вылепили его таким, каким он был до своего бегства в Америку. Но и там он не сумел укрыться от комплекса неполноценности, вечной неуверенности в себе, непреходящего чувства вины. Одним словом, не сумел похоронить то, «с чем не справился».

Окружению Штиллера все это непонятно. «Как так поражение в Испании?»—спрашивает его жена Юлика, когда он пытается объяснить этим все свои жизненные неудачи, даже неудачи семейные. И всем остальным «испанское приключение» Штиллера кажется эпизодом — по-своему любопытным, волнующим, но, главное, законченным, оставшимся в прошлом. И потом эпизод этот свидетельствует скорее за Штиллера, нежели против него: ведь, ненавидя абстрактных фашистов, он не смог убить живого человека, столкнувшись с ним лицом к лицу. Он гуманист — наш Штиллер!

Таким видели Штиллера его близкие. Однако не таким видел он сам себя. Штиллер никогда не был коммунистом в собственном смысле слова, а только романтическим мечтателем. И все же мечтатель этот даже через добрых пятнадцать лет не подвел черты под минувшим. Он и сейчас воспринимает свою Испанию как «предательство».

Штиллер упустил некую возможность. Ведь в Испании он мог, оставаясь «аутсайдером в своем обществе», одновременно обрести (благодаря причастности к коллективу республиканцев) некую человеческую реальность. Другими словами, ему было дано,— по крайней мере, как личности — преодолеть отчуждение. То есть разрешить проблему, и для самого Фриша неразрешимую. Недаром взятый из Кьеркегора эпиграф к роману звучит:

«Смотри, потому так трудно выбрать самого себя, что в выборе этом абсолютная изоляция идентична окончательнейшей не-

* Rilke, Sämtliche Werke. Bd. 1, S. 360.

прерывности и что благодаря ей наперед исключается любая возможность стать или, точнее, вообразить себя чем-то другим».

Однако Фриш принадлежит к тем современным и отнюдь не малочисленным писателям Запада, которые не согласны вместе с Кьеркегором оставаться внутри этого заколдованного круга. Можно даже сказать,— разумеется, лишь в смысле чисто условном, фигуральном,— что, выбирая между Музилем и Горьким, Рильке и Горьким, Фриш выбрал Горького.

Выбрал его и японец Кобо Абэ, автор «Чужого лица». В романе гротескном и страшном, в романе символическом он, может быть, еще более резко и определенно, чем Фриш, поднимает те же проблемы: конформистское общество и затерянный в нем человек.

Человек потерял лицо. Не только физически потерял, жутко обжег его во время неудачного научного эксперимента. Но потерял и в переносном смысле, стал как солдат: «Ведь именно солдат ведет совершенно анонимное существование. Хоть он и не имеет лица, это не препятствие для выполнения долга... Само государство — некая огромная маска...» И внутри него «настоящее лицо всего лишь несовершенная маска...» Поэтому герой — способный ученый — изготавливает себе совершеннейшую маску, чтобы скрыть свое уродство и найти тропинку к другим людям и, прежде всего, к жене, от которой он теперь отделен личным несчастьем, словно барьером.

Его начинание проваливается. Жена разгадала игру, разглядела под агрессивной маской ту человеконенавистническую пустоту, которую и раньше лишь прятало его живое лицо. Он никого не обманул, кроме самого себя. «То, что лежит мертвое в шкафу,— сказала жена,— не маска, а ты сам... Вначале с помощью маски ты хотел вернуть себя, но с какого-то момента ты стал смотреть на нее лишь как на шапку-невидимку, чтобы убежать от себя. И потому она стала не маской, а другим твоим настоящим лицом... Наконец ты предстал в своем истинном облике». Он хотел бежать в анонимность, уйти от всякой ответственности за свою пустоту, за разрушенность собственного человеческого характера, свалить вину на других, на общество вообще. И стал «чудовищем», рвущим какие бы то ни было социальные связи, стал именно благодаря своей пустоте. «Тебе нужна не я,— сказала жена,— тебе нужно зеркало. Любой посторонний для тебя не более чем зеркало с твоим отражением. Я не хочу возвращаться в эту пустыню зеркал».

Эти слова в романе Абэ могут показаться списанными из романа Горького: «Он жил среди людей, как между зеркал,— сказано там о Климе Самгине,— каждый человек отражал в себе его, Самгина, и в то же время хорошо показывал ему свои недостатки». И это вряд ли случайность, хотя трудно представить, что сознательно Абэ цитировал горьковский текст. Просто он имел дело с «самгинщиной» — одной из язв современного буржуазного мира.

■

Я не исчерпал и сотой доли тех аспектов, в которых «Жизнь Клима Самгина» соотносима с новейшей зарубежной прозой. Но я и не ставил себе такой непосильной задачи. Мне хотелось лишь показать, что роман этот пролагает путь, собственно, необозримое множество путей. При этом я говорю о романе лишь в аспекте его соотносимости с новейшим литературным развитием на буржуазном Западе. Однако почему это именно «Клим Самгин»? Да потому, что «Клим Самгин» — последнее, по-своему завершающее, подводящее итоги всему творчеству произведение великого Горького, Горького могучего и разностороннего. Но не только поэтому.

Несколько раз в этой статье я приближался к мысли, что сама действительность предреволюционной России соотносима с действительностью новейшего Запада. То (или почти то), что переживают Европа и Америка 50—60-х годов XX столетия, *уже* переживала Российская империя на протяжении примерно последнего полувека своего существования. Разумеется, то (или почти то) в сфере идей, сфере сознания. В каком-нибудь современном Париже, Нью-Йорке или Стокгольме можно наблюдать то же столоверчение теорий, что и некогда в самгинском Санкт-Петербурге или самгинской Москве, и главное — то же как бы на поверхность выплеснутое *духовное неблагополучие* всей господствующей системы. И художественно ее «расколоть», проникнуть к ее рычагам и пружинам можно, очевидно, нагляднее всего так, как проникал Горький в глубины раздерганной, «беззаконной» самгинской действительности. Отсюда и родственность структур «Жизни Клима Самгина» и многих современных романов. Но это ведь и сходство идеологического зрения! Пусть ему и недостает горьковской ясности. Повторить Горького — даже в малом, даже частично, кому это дано? Однако и идти за Горьким — уже очень много. Некоторые не сознают этого, а иногда и вовсе не желают, но идут. Тем более знаменательно! Очевидно, у настоящего, большого, честного искусства просто нет иной дороги.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ЦЕНА СВОБОДЫ

(По поводу романов Питера Абрахамса)

Драму Жана Ануя «Антигона» можно было бы назвать «Креон и Антигона», ибо Креон уж никак не меньше, а может быть и больше герой Истории. Он сказал «да» и стал царем, засучив рукава, он должен выполнять свой труд — править. Стоять у кормила, когда корабль уже дал течь и каждый думает только о собственном спасении. «Где тут помнить о всяких тонкостях, где тут обдумывать, что сказать — «да» или «нет», размышлять, не придется ли впоследствии платить за это слишком дорогой ценой и сможешь ли ты потом остаться человеком». Так говорит Креон Антигоне.

Герои таких романов Питера Абрахамса, как «Венок Майклу Удомо»* и «Наш остров сегодня»,— лидеры молодых государств, получивших независимость,— несут тяжелое бремя власти в наш «вышедший из своих суставов век», когда их страны прорываются за короткое время из средневековья в XX столетие. Судьба этих лидеров, судьба народов этих стран стала темой ряда романов, драм, поэм. «Венок Майклу Удомо» был едва ли не первым романом, где автор попытался воплотить проблемы, которые встанут перед молодыми государствами, те, часто трагические, противоречия, через которые будет пролегать путь этих стран.

Это противоречия народа, который в краткий исторический срок должен стать Нацией.

Это неизбежные, в представлении Абрахамса и ряда других писателей, противоречия истины и государственной целесообразности, морали и политики.

Это сопоставления проблем, возникающих для революционера в период национально-освободительной борьбы и в годы, когда на него ложится «бремя власти».

Это противоречия личности, которой суждено стать у кормила власти в годы решающего перелома.

Эти проблемы вставали уже в драматической поэме Л. С. Сенгора «Чака», они своеобразно поставлены в романе Абрахамса «Во власти ночи», в пьесах известного мартиниканского поэта Эме Сезэра «Трагедия короля Кристофа» и «Сезон в Конго». Они затронуты и в романах вест-индцев — Лэмминга «Время действий» и Джона Хирна «Чужестранец у ворот». С особой настойчивостью ставит эти проблемы Питер Абрахамс в своем широко известном «Венке Майклу Удомо» и в последнем своем романе «Наш остров сегодня».

В этих романах, драмах, поэмах проходит одна мысль: как бы ни была тяжела освободительная борьба, сколько бы жертв она ни уносила, но самые сложные и мучительные проблемы и противоречия начинаются *после* достижения политической независимости, с приходом этих лидеров к власти. «Цена свободы» — слова, взятые нами как название статьи, принадлежат Питеру Абрахамсу, они проходят лейтмотивом в его романах. И речь идет не только и не столько о погибших в ранних боях, о павших в дни переворотов, сколько о том, что начинается после них.

■

Питер Абрахамс — писатель своеобразный. Родившийся в Южно-Африканском Союзе, цветным, он испытал в ранней юности все ужасы сегрегации, видел самые крайние формы расовой нетерпимости. Позднее он многие годы провел в эмигра-

* См. журнал «Иностранная литература» № 2—4, 1965.

ции в Лондоне. С 1955 года он живет на Ямайке, где можно видеть смешение всех цветов кожи, всех рас — черной, красной, желтой и белой. Пребывание в эмиграции, особенно в Вест-Индии с ее пришлым населением, которое происходит с других континентов, но только Вест-Индию ощущает своей родиной, наложило своеобразную печать на мышление Абрахамса. Наш век, когда белому расизму так часто противопоставляют разные виды защитного расизма, когда обострены не только национальные чувства, но и националистические идеи, представляется Абрахамсу в этом смысле варварским и примитивным. О вест-индских интеллигентах он говорит как о людях новой породы, которые ощущают себя чужими (outsiders) в обществах, зараженных расизмом, как бы пленниками, попавшими в западню XX века. «Родись мы в XXI или XXII веке, у нас, наверно, было бы чувство кровной принадлежности к ним»,— говорит журналистка Марта Ли в романе «Наш остров сегодня». И таким же «человеком XXI века» предстает герой романа «Во власти ночи» (1965) африканец-интеллигент Ричард Нкози.

Оторванный от Южно-Африканской Республики уже много лет, Абрахамс воспринимает трагедию этой страны с личной остротой. ЮАР как бы концентрирует для него всю сложность и всю уродливость расовых проблем. Общество ЮАР подобно пирамиде, вершина которой — белые, средние ступени — индийцы и метисы, а внизу — черные африканцы. И расовые предрассудки в этих условиях есть не только у белых хозяев ЮАР, осуществляющих нечеловеческий принцип сегрегации. Все ступени общественной пирамиды в какой-то степени несут на себе проклятие расовых предрассудков и недоверия, печать той страшной Ночи, в которую погружена страна. Поэтому взаимоотношения африканцев и индийцев сложны, они прошли через ряд драматических эпизодов, через ряд испытаний. В 1955 году на Великом народном конгрессе ЮАС было достигнуто соглашение об объединении усилий всех подпольных организаций Сопротивления — черных африканцев, метисов, или цветных, индийцев и белых демократов. Но в последующие годы снова возникала атмосфера взаимного недоверия и разлада между индийцами и черными африканцами. Дело доходило даже до погромов индийских кварталов в провинции Наталь.

«Во власти ночи» — роман, посвященный не только зверствам белых расистов ЮАР, о чем написаны уже десятки книг. Книга Абрахамса обращена ко всему подпольному Сопротивлению ЮАР с призывом сплотить воедино организации Сопротивления, построенные по расовым признакам, преодолеть все предрассудки цвета кожи. В этом основной смысл романа. И думается, что Абрахамс достигает поставленной им перед собой цели.

На самоотверженность Ричарда Нкози, черного африканца-эмигранта, который, рискуя жизнью, передает собранные деньги индийскому Сопротивлению, индийцы отвечают столь же большой самоотверженностью, спасая Нкози. И все они знают, насколько важны их действия для сплочения народа ЮАР. Этот сюжет дает Абрахамсу возможность набросать ряд героических характеров индийцев — профессиональных революционеров-интеллигентов, молодых рабочих, профсоюзных лидеров и даже выходцев из среды индийских торговцев-богачей, один из которых становится руководителем индийского подполья. Сближение двух отрядов Сопротивления — говорит своей книгой Абрахамс — не только необходимо, оно возможно. Возможно изжить недоверие друг к другу разных расовых групп, разжигаемое властями.

Но есть и другая сторона романа. В нем сопоставлены два психологических типа: первый, по Абрахамсу, «человек из XXI века», воплощен в Нкози — художнике, видимо, по внутреннему облику близком к самому писателю. Человек утонченных чувств и мысли, чуждый всем предрассудкам расы, он в европейской эмиграции отвык от страшной жестокости нравов ЮАР и от напряженной жизни подпольщиков. Быть живым, быть человечным важнее, чем быть индийцем, черным, белым или южноафриканцем, говорит Нкози индийской девушке Ди, ставшей его возлюбленной. И само присутствие Нкози помогает людям индийского подполья изжить недоверие, изжить комплексы неполноценности, рожденные сложными расовыми отношениями ЮАР. Нкози утверждает, что их нужно и можно лечить любовью, понятиями интернационализма и человечности, которые для Абрахамса выше всего на свете. (В этом, конечно, смысл и любовной линии романа, соединяющей Нкози и Ди.)

Подполье же воспитывает людей другого типа, профессиональных революционеров, в которых героизм слит с деловитостью. Повседневная жестокая борьба неизбежно рождает в них более суровое понимание гуманизма. «Мы еще не перестали быть варварами... Мы находимся в состоянии войны»,— отвечает Ди Ричарду Нкози.

По-разному встают для Нкози, человека европейской эмиграции, и для подпольщика Найду проблемы этики. Как быть, если надо убить человека, который за деньги помог подпольщикам, но может выдать их? Для Нкози это трагическая проблема. Для Найду это обязанность, вынужденная, тяжелая, которую он должен выполнить и выполняет. И если присутствие Нкози помогает излечить расовые комплексы индийцев, то и сам Нкози меняется, побыв в атмосфере напряженной борьбы и поняв, что она предполагает более сложные критерии добра и зла. Нельзя думать, что выбор только между добром и злом — действие может быть одновременно добром и злом. Эта формулировка романа — вывод, по-видимому, сделанный самим писателем.

Проблемы морали по-своему стоят и для Ван Аса, одного из наиболее ярких персонажей романа. Перед белым, африканером, если он умен, блестящ, лишен расовых предрассудков, способен к глубокой любви, втай-

не сочувствует революционерам,— перед таким человеком жизнь в ЮАР резко ставит проблему выбора. Остаться человеком, сохранить свою любовь, жертвуя положением, властью, может быть. жизнью,— или предать свою душу и свою любовь, находясь наверху общественной пирамиды, более того, работая в управлении внутренней безопасности, истребляющем людей подполья.

Ван Ас долго пытается уклониться от решения. Но устами окровавленного Найду, умирающего на допросе, устами цветной женщины, которую любит Ван Ас, жизнь говорит ему, что уклонение от выбора уже есть выбор. И судьба Ван Аса отрицательно отвечает на вопрос — может ли жизнь быть одновременно добром и злом. Очевидно, что для такого фашистского государства, как ЮАР с его предельным обострением всех социальных и расовых отношений, иного ответа Абрахамс не предполагает.

Многообразное решение моральных проблем в этом романе перекидывает мост к тем решениям, которые Абрахамс сложно и порой противоречиво дает в книгах, посвященных людям новых независимых государств «третьего мира».

■

Между двумя романами Абрахамса «Венок Майклу Удомо» (1956) и «Наш остров сегодня» (1966) прошло десять лет. «Венок Майклу Удомо» появился в тот год, когда многие события приковывали внимание людей всего мира к Африке и для всех было ясно, что достижение независимости рядом африканских стран будет в самом близком будущем. Поэтому «Венок Майклу Удомо» нельзя назвать романом-пророчеством. Кваме Нкрума уже был премьером Золотого Берега, который через год стал независимой Ганой. Многие черты характера Удомо— его сильный резкий ум, огромная энергия и воля — напоминают Нкруму, как эпизоды пути Удомо к власти напоминают историю Золотого Берега. Но с каждым годом становилось яснее, что Удомо задуман как обобщенный образ лидера нового молодого государства, а противоречия «Пан-Африки» — как противоречия, возникающие на пути этих государств.

«Наш остров сегодня» продолжает «Венок Майклу Удомо», но не сюжетно, а варьируя его проблематику на новой основе, на опыте новых государств за несколько лет их развития.

В обоих романах конфликт носит трагический характер. И Удомо, и Джозайя — крупным планом показанные лидеры молодых государств, политики и организаторы, люди интеллекта и воли. Мы видим их в борьбе за преобразование их отсталых стран. Как и в великих трагедиях прошлого, трагический характер конфликта порожден здесь большой переломной эпохой с ее резким столкновением сил. Борьба героев, воплощающих исторический прогресс против всего, что отрицает или замедляет его, воспринимается как необходимая и в конечном счете победоносная. Но она идет через огромные трудности для народов и их лидеров. Это не трагедия Рока, а трагедия истории. Однако в этих условиях Удомо, как и Джозайя, вынужден прибегнуть к таким действиям, которые, ставя под сомнение их моральную правоту, создают их трагическую вину. Конфликт, порожденный объективной исторической ситуацией, переносится в душу героя. Возникает мотив трагического одиночества.

Вернемся к «Венку Майклу Удомо» и послушаем мнение одного из самых известных лидеров африканских государств, президента республики Сенегал и выдающегося поэта Африки Л. С. Сенгора. В 1963 году в предисловии к французскому изданию романа Сенгор писал, что видит в судьбе Удомо *«трагедию государственного деятеля, который опередил на 20 лет свое окружение»* *. Именно в этом корни политической и человеческой трагедии Удомо.

Сенгор, как и Абрахамс, говорит о том, насколько легче ранние этапы борьбы и насколько труднее, стоя у власти, *«создавать нацию»,* бороться за индустриализацию и упразднение феодально-племенной системы, преобразовывать сельское хозяйство. «Необходимы иностранные капиталы, а народ требует от вас ненавидеть чужеземца и громко кричать ему о своей ненависти. И главное, надо преобразовать умы, заимствовать у белых их логическое, политехническое мышление, а массы требуют сохранения самой застойной формы негритюда — трайбализма. Вот дилемма, стоящая перед африканскими политическими лидерами, противоречия, которые должен преодолеть, разрешив их, Майкл Удомо».

Для Сенгора «жизненная правда Африки предстает в этом романе как *узел противоречий.* Противоречий между застоем и прогрессом, прошлым и будущим, которые спорят за настоящее. И более всего между Нацией в становлении и Личностью, между *правотой Государства и правотой любви или дружбы».*

Человеческую же трагедию Удомо Сенгор видит в том, что, предавая Мхенди, Удомо жертвует «обычной моралью ради морали, которую даже колеблешься назвать этим именем. И в этом Питер Абрахамс не защищает какой-либо тезис. Он просто показывает правду, какой она существует в политической жизни».

«Именно отсюда — одиночество Удомо. Именно в выражении этого одиночества, этой усталости,— говорит Сенгор,— последняя человеческая истина: урок этого романа. Ни аплодисменты, ни почести, ни политическая слава на могут устранить этого... Эти противоречия и проблемы покажутся некоторым нерешенными (то есть в романе Абрахамса.— *Е. Г.).* Но это лишь види-

---

* Курсив всюду Л. С. Сенгора.

мость. Вопреки своей смерти и после своей смерти Майкл Удомо разрешит их. Через их преодоление в действии, по методу, выдвинутому Марксом». И Сенгор цитирует строки из романа: «Страна под руководством Удомо слишком далеко продвинулась по пути прогресса; ничто не могло остановить ее движения вперед».

«Только одна проблема не найдет своего решения. Проблема одиночества. И не может найти его, разве что в самом приятии этого одиночества, этой усталости. Это знают все руководители африканских государств, которые в тот или иной момент ощущают, что они в меньшинстве в своих собственных партиях. Ибо они — впереди своего времени. Ведь величие и одиночество — неразрывны. Это печальная истина человеческая».

Можно не согласиться с некоторыми оценками Л. С. Сенгора. Особенно с тем, что одиночество — вечный удел вождей, метафизическое одиночество человека, находящегося у власти. Одиночество Удомо порождено условиями его страны. Вырвав независимость из рук колонизаторов, он в кольце враждебных сил. Его враги — иностранные капиталисты, силы старой, феодально-племенной Африки, нищета. Странным образом, Абрахамс не видел, что иностранные монополии и силы трайбализма издавна были в тесном союзе. Что именно союз этих сил и мог нанести решающий удар по Удомо, как это случалось позднее в реальной жизни африканских государств. Предательство Удомо по отношению к революционеру и другу — повод, а не причина гибели Удомо.

Удомо действительно на много лет опередил свое окружение. И не имея массовой опоры (потому что народ еще не понимает новых задач, которые уже ставит себе и стране Удомо), он вынужден идти на компромиссы. А в данном случае компромисс превращается в преступление. Можно понять причины его поступков. Но можно ли оправдать их? Устами Мэби, да и самим названием романа, Абрахамс как бы оправдывает Удомо. Оправдывает, ужасаясь попранию норм человеческой морали. И все же подчеркивая, что даже сам цельный, чистый, обаятельный революционер Мхенди, быть может, поступил бы так же на месте Удомо, то есть находясь у власти.

Но выигрыш, приобретаемый ценой преступлений, оборачивается многочисленными проигрышами, из которых несомненно самый тяжелый — утрата доверия со стороны народа, дискредитация в глазах народа и всего мира того дела, ради которого и шли на преступление.

«Венок Майклу Удомо» — реалистический роман. Однако алгебраичность выражения придает ему особый характер. «Пан-Африка» — африканское государство вообще, Удомо — африканский лидер, проводящий модернизацию страны.

Между тем развитие африканских стран пошло различно: одних — некапиталистическим, других — буржуазным путем. Различны методы и темпы перестройки страны. Различна и степень активности народа. Многообразны связи африканских государств с социалистическими странами и странами Запада, чего не видел Абрахамс. Вот почему было бы неосмотрительно подставлять под схему Абрахамса внешне схожие, а по сути чуть ли не противоположные ситуации.

Через десять лет в романе «Наш остров сегодня» (1966) Абрахамс дает столь же алгебраическое выражение проблем власти в государстве «третьего мира».

Абрахамс подсказывает нам, что этот роман можно отнести к любому из островов Карибского моря. Действительно, прекрасный пейзаж может напомнить Ямайку, Гаити, Кубу. Но этот «остров» так же условен, как «Пан-Африка»; социальная ситуация не напоминает ни один реальный остров Карибского моря. Это еще один вариант нового государства «третьего мира», более близкий к латиноамериканскому, точнее, к карибскому.

Естественно, что сейчас Абрахамса еще более остро интересует проблема сегодняшнего дня — борьба за реальную экономическую независимость. Вот почему книга начинается смертью старого президента, стоявшего у власти первые 50 лет после получения независимости. Фиктивность ее резко подчеркнута в романе. Власть всецело была в руках старой плантаторской знати и местной буржуазии. Что могла дать народу такая независимость? В первые месяцы она пробудила в крестьянах какие-то надежды, но позднее народом овладевает полное безразличие к политике, равнодушное приятие полуголодной жизни. Забитость и невежество крестьян — итог столетий рабства, десятилетий колониального рабства и, наконец, полувека власти потомков рабовладельцев. Джозайе, возглавившему новое правительство, приходится осуществлять политику в предельно трудной обстановке. «Наш остров сегодня» — политический роман, решающий все те же вопросы: власть — народ, истина — целесообразность, мораль — политика.

Джозайя приходит к власти, поддержанный крестьянами и теми, кто составляет «нижний край элиты» — молодыми служащими-неграми, которым раньше не давали ходу. Но вскоре он остается один.

Джозайя — характер странный. Как и Удомо, это интеллектуальный герой, талантливый, точно рассчитывающий каждый тактический ход в политической игре. Но обаяние Удомо — в его бьющей жизненной силе. Джозайя предельно холоден, аскетичен. И одиночество его не только итог его политической линии, оно как бы задано в самом его характере. Джозайя честолюбец. Однако им движет не только жажда власти, но и искреннее убеждение, что он проводит политику народа и во имя народа.

В отличие от африканца Удомо у Джозайи другие враги. Ему не приходится сталкиваться со страшной консервативной силой феодально-племенной верхушки. Его враги — иностранные монополии, местные бо-

гачи, старая плантаторская знать и нищета, беспредельная нищета. Джозайя наносит жестокий удар плантаторам, национализируя землю. Он наносит суровый удар позициям иностранного капитала на острове, умело используя для этого торговцев — белую еврейскую империю Айзексов.

Айзексы — одна из художественных удач романа. Огромный род (клан), где все — отец, сыновья, дочери, зятья — включены в священное великое дело «делать деньги». Монументальная, почти форсайтовская империя, патриархальный глава рода и более современные, склонные к гибким решениям молодые. Род Айзексов имеет свое правое крыло, своих тори, и свое либеральное крыло, готовое на блок с новой властью. Поэтому в любых ситуациях клан Айзексов оказывается в выигрыше. Джозайя предлагает Айзексам сделку — финансировать его политику, взамен же они получают монопольное положение: их руками президент устраняет остальных «накопителей прибыли».

Здесь уместно одно замечание. В 1966 году Абрахамс уже не мог не видеть роли социалистических стран в экономической поддержке новых государств. Однако об этом упоминается лишь мельком, когда Джозайя предъявляет ультиматум «накопителям прибыли», угрожая обратиться к «коммунистическому миру». Быть может, Абрахамс думает, что помощь извне все равно не устранит мучительной нищеты, в которой приходится создавать новую структуру общества?

Джозайе нужна власть. Сохраняется однопартийная система, бывшая и при старом реакционном правительстве, хотя меняется ее содержание. Так называемая «свободная пресса» заменяется открыто проправительственной. Белые кадры заменяются своими, черными, в угоду крестьянам, которые со времен рабства не доверяют светлокожим.

Но мы не видим тех сил, на которые опирается новая власть. Все решения правительства принимаются только самим Джозайей. Неощутима роль его партии, которая влияла бы на эти решения и осуществляла их. Власть — это Джозайя. И практически его власть становится единоличной диктатурой. Поэтому, когда Джозайя решается на организацию политических процессов, он делает это не только, чтобы разбить плантаторскую оппозицию, но и чтобы говорить с населением «с позиции силы».

Обрушив удары на «накопителей прибыли», Джозайя сталкивается и с интеллигентами, связанными со старым режимом. Это люди прессы, судьи, бывший премьер-министр, люди субъективно честные, но которых сама резкость перемен толкает на противодействие президенту. И здесь Абрахамс устраивает поединок между двумя пониманиями свободы, справедливости, закона, истины, морали. Поединок между пониманием власти Джозайей и тем, что можно назвать концепциями либерального типа в традиционно английском духе.

Бывший премьер Фриуэйс собирает вокруг себя оппозицию из плантаторов и буржуазной интеллигенции. Обвинив их в заговоре против нового строя и устраивая показательный процесс, Джозайя требует от суда смертной казни для Фриуэйса. Не потому, что такая мера необходима,— Фриуэйс, старый, бессильный политик, не кажется президенту действительно опасным врагом. Но потому что процесс должен помочь Джозайе раз и навсегда пресечь любые попытки сопротивления. И еще: это даст ему возможность, помиловав Фриуэйса, выступить в благородной роли гуманиста. Фриуэйс — человек старой власти. И народ в эти дни на стороне президента. Но не суд. Старый, всеми уважаемый председатель верховного суда Джастис Райт * возражает президенту. Позиции силы Абрахамс противопоставляет позицию законности. Судья отнюдь не противник политики президента. Но он согласен поддерживать политику новой власти, лишь не нарушая закона. Не только *духа* закона, но и его *буквы*. Казалось бы, здесь вступают в спор истина и целесообразность. Однако сам судья вынужден признать, что конституция, на которую он опирается, выработана еще при старом, реакционном правительстве плантаторов. Может ли она тогда быть истиной для времен революции? Мы отчетливо ощущаем дистанцию, отделяющую автора от, казалось бы, столь убедительных аргументов судьи. Но, с другой стороны, действительно ли оправдана государственной необходимостью позиция Джозайи, если главное в ней — демонстрация силы, если в ней столько лицемерия и позерства? И если в «законности» судьи слишком много от буквы, от уже пережившей себя пустой формы, то не слишком ли много цинизма в позиции Джозайи? Цинизма, развращающего неопытное и невежественное население острова. Власть, разумеется, делает свое дело. И вслед за арестом Джастиса Райта другой судья вынужден выполнить приказ президента.

Подобный же конфликт возникает между Джозайей и прессой в лице англичанина — журналиста Джонсона, тридцать лет возглавлявшего единственную на острове газету, которая была в его представлении «свободной прессой»**. Свободной же он считал ее потому, что она стремилась защищать истину, оставаясь «над схваткой» и ограничиваясь рассмотрением всех возможных точек зрения на любое событие. Джозайя защищает открыто унифицированную прессу, оценивающую события исключительно в

---

* Фамилия Фриуэйс намекает на его либеральные взгляды, как имя и фамилия судьи — на почитание им справедливости и закона.

** Для последнего романа Абрахамса характерна явная ирония в адрес так называемого «свободного мира». Джозайя говорит о свободном мире, включающем Испанию, Португалию и даже ЮАР.

категориях целесообразности. Газета должна проводить точку зрения правительства. Разумеется, Джонсона смещают, заменив своим редактором, который получает указания непосредственно от Джозайи.

Очевидно, что обе стороны мало заботятся об объективной истине. Для Абрахамса это тоже очевидно; и он заставляет Джонсона признать, что его «свободная» газета десятилетиями ничего не противопоставляла реакционному режиму и была вполне удобна для него. Но и Джозайя ощущает, что его политика постепенно приводит его ко все большему одиночеству.

В романе немало художественных просчетов. Наибольший, на мой взгляд,— диспропорции книги. Кажется, что к концу автор попал в цейтнот и написал последние главы скороговоркой. А между тем именно там возникает самый сложный вопрос — как случилось, что диктатура президента, обращенная сначала против защитников старого строя, постепенно обращается против народа.

Слишком долго — по словам Абрахамса — народу внушали, что сразу после переворота он получит «райскую жизнь». Ее быть не может. Народ, издавна привыкший к тяжелому труду, не может и не хочет понять, что богатства и успехи новой нации могут быть достигнуты только в тяжком труде. Недовольство. Рождение оппозиции. Наконец — народные бунты и их вооруженное подавление. Сотни убитых. Так политика во имя народа становится политикой против народа. Опорой Джозайи все больше становится армия, служба безопасности, полиция.

Позиция Абрахамса? Думается, что писатель (и не он один) застывает перед этой трудной ситуацией, как кролик перед удавом. Либерализм — формален и жалок. Это не путь. Методы диктатуры ужасны. Писатель и за и против, вернее, ни за, ни против.

Эта позиция выражена в книге и прямо, устами журналистки Марты Ли, образ которой очень близок автору. Еще сильнее эта позиция выражена через образ ближайшего помощника президента молодого Энди Симпсона. В нем воплощены надежды, а потом трагическое разочарование передовой молодежи и всех, кто верил в политику Джозайи. Прекрасно обрамление романа. С первой страницы, еще ничего не зная о Джозайе, читатель погружается в тревожную, трагическую атмосферу готовящегося покушения на президента. На последней странице мы узнаем, кто хочет убить его. Но уже решившись, Энди не в силах сделать это. Он бессильно опускает винтовку и «рыдает, как потерянный ребенок». Что же остается? Идти вперед сквозь все мучения, сквозь угрызения совести, одиночество, страдания народа и всех честных людей? Видимо, писатель иного выхода не видит.

Думается, слабость позиции Абрахамса в том, что он остается в пределах антиномии: единоличная диктатура — либерализм. У него исчезло понятие демократии, не формальной, а истинной. Очевидно, что осуществить преобразование страны можно, только разбудив внутренние силы народа, его мысль, его творчество, его жажду идти вперед. Джозайя, в сущности, не делает ничего для этого. Мельком сказано о том, что за пять лет он построил школы и все дети учатся. Но учатся ли они мыслить и творить? А ведь в этом все дело.

Что бы ни думал сам писатель, его роман наталкивает на размышления. Он говорит о том, что ни кнут личной диктатуры, ни пряник формального либерализма не могут помочь этим народам пройти тяжкий путь перехода из одного века в другой. Его пройти можно только *вместе с народом.* Не против него. И не вместо него.

■

В романах «Венок Майклу Удомо» и «Наш остров сегодня» Абрахамс воплощает современные проблемы через современный материал. Но одновременно возникают попытки воплотить те же проблемы в образах истории, в характерах исторических деятелей. Эти драмы, трагедии, поэмы обычно несут на себе резкую печать модернизации, даже подчеркнутую их авторами.

Так, еще в 1951 году была впервые опубликована драматическая поэма Л. С. Сенгора «Чака».* Создавая свой сильно модернизированный образ Чаки ** Сенгор противопоставлял его развенчивающим трактовкам Чаки со стороны европейских историков, которые предстают в поэме как «лживый белый голос». Но основной смысл поэмы был в том, чтобы воплотить в образе Чаки внутренние противоречия народного вождя, стоящего у власти. Согласно легендам, Чака был неслыханно жесток и неумолимо истребил чуть ли не миллион тех же зулусов, которых он стремился объединить. Трудно сказать, где проходит грань между легендами и сознательным искажением истории реакционными исследователями, Чаке приписывают убийство любимой жены и даже убийство собственной матери, ибо знахари требовали от него принесения их в жертву ради достижения власти. Сенгор обнажает раздвоение души своего героя, в котором сосуществуют, но не могут слиться воедино «политик» и «певец». И слово «певец» (поэт) можно понять здесь в самом широком смысле — как моральное, духовное, гуманистическое начало в человеке. Ради осуществления своих политических замыслов Чака убивает в себе любовь, он убивает в себе певца. «Белый голос» готов объяснить жестокости Чаки простым често-

---

* На русском языке напечатана в переводе Д. Самойлова в сб. Л. С. Сенгора «Песнь ночи и солнца». М., 1965.

** Историческое значение Чаки, знаменитого вождя зулусов начала XIX века, было в том, что он объединил многочисленные племена зулусов в сильный зулусский народ, который в период правления Чаки заложил основы своей государственности. Чака создал высокую военную организацию, большое дисциплинированное войско, которое смогло впоследствии оказать сильное вооруженное сопротивление европейским колонизаторам.

любием. Нет, это не честолюбие, возражает Чака,— это необходимость выковать сильный народ. Не напоминает ли нам это готовность Удомо отречься от своей любви ради будущего своей страны? Или аскетическую холодность Джозайи? Характерно, что в поэме даже не возникает речь о возможности совместить любовь с осуществлением политических замыслов. И дело, конечно, не в суевериях эпохи Чаки. Дело в идеях и сомнениях XX века.

Поэтому только в конце поэмы, в момент смерти Чаки, когда в нем оживает память о жене и их любви, в нем «умирает политик» и снова «возрождается певец». Сенгору возражали некоторые африканские писатели, указывая, что в «поэте» соединяются певец и воин, поэт и политический деятель. Однако для Сенгора дело ведь шло не просто о передовом поэте, но о человеке, стоящем у власти. А для него это совсем не одно и то же, как мы уже видели из его предисловия к «Венку Майклу Удомо».

В «Чаке» Сенгора противоречия морали и власти предстали скорее как предчувствие судьбы новых африканских государств. В 60-х годах появились пьесы, использующие уже накопленный этими государствами опыт. Таковы две драмы талантливого мартиниканского поэта Эме Сезэра, автора известной, оказавшей сильное влияние на африканскую интеллигенцию поэмы «Дневник возвращения на родину».

Обращаясь к судьбам молодых государств и их лидеров, Сезэр в «Трагедии короля Кристофа» (1963) также использует образы истории, истории Гаити начала XIX века *. Однако сам Сезэр подчеркивал, что его трагедия обращена к современным африканцам и что в ней условно воплощены конфликты нашего времени **.

Задача «современных королей Кристофов», писал Сезэр,— это борьба против рабской психологии, сложившейся за века, ибо, освободившись от рабства, обретя независимость, народ жаждет отдыха, покоя, хорошей жизни и не может понять, зачем ему свобода, если люди опять обречены на тяжкий труд. Эту сторону своей трагедии Сезэр считает едва ли не основной. Поэтому он подчеркивает непонимание народом своего правителя, обреченного — по его словам — на «трагическое одиночество героев». Как видим, формулировки Сезэра и Сенгора здесь совпадают почти дословно. Разумеется, эта жажда отдыха и покоя — не вина, а беда народа, не подготовленного своей историей для коренных преобразований страны. А они необходимы для создания нации. Но все равно — тем хуже и для лидера, и для народа.

Кристоф — фигура военного диктатора, столь характерная и для ряда новых государств XX века. Не так важно, правильно ли воссоздал Сезэр облик исторического Кристофа... Это образ поэтический и вольный, образ жестокого тирана и одновременно поэта, страстно жаждущего прорваться в будущее, к которому совершенно не готова страна. Пьеса написана прозой. Но порой в нее врывается стих, поддерживая своей музыкой романтическую сторону Кристофа, его мечты о величии, его порыв к будущему.

Историческая ситуация Гаити тех лет дала возможность Сезэру сопоставить две возможные формы политической и государственной жизни. Если Абрахамс подчеркнул дистанцию между собой и людьми буржуазного либерализма, то Сезэр еще резче, иронически оценивает республику Петиона. Не случайно в этой трагедии так много элементов фарса, буффонады — Сезэр до конца не может принять ни одного из двух возможных путей. Но в диктаторе Кристофе — смесь злодейства и величия, если не убеждающая нас, то по крайней мере поражающая воображение поэта; либеральная же республика Петиона для него только гротескная игра марионеток. Парламент, «демократические свободы» и нарочито допускаемая оппозиция — все это для Сезэра не более чем спектакль, ширма, за которой прячется власть правителя.

В монархии Кристофа тоже немало от фарса, буффонады. Недаром многое вложено Сезэром в уста шута. Вульгарное тщеславие Кристофа, гротескная роскошь королевского дворца, сонм придворных, пресмыкающихся перед диктатором, герцоги Лимонады и графы Мармелады, которых церемониймейстер обучает манерам европейских аристократов,— все это шутовская сторона тирании. Но основное — это ее страшная сторона: по приказу Кристофа замуровывают живьем архиепископа, казнят французского посла; бессмысленная жестокость Кристофа настигает даже его собственных генералов. И больше всего диктатура Кристофа обращается против крестьян, народа, против вчерашних рабов, которые сменили своих прежних хозяев, французских плантаторов, на новых — черных феодалов. И подобно рабам древнего Египта гаитянские крестьяне втаскивают огромные каменные глыбы на горные вершины, где по приказу Кристофа должна строиться Цитадель. По его приказу заключаются браки среди крестьян. И по-прежнему крестьяне работают под кнутом надсмотрщика. «Кристоф служит свободе средствами рабства»,— замечает один из персонажей, а другой сравнивает страну с галерой, в которой все население — каторжники в трюме. Народ бесконечно устал, устали работать под кнутом

---

* Несколько слов об историческом короле Кристофе. Восстание рабов на Гаити на рубеже XVIII и XIX веков и освободительная война против иностранных армий завершились в 1804 году провозглашением независимости. Императором Гаити стал Дессалин. Но через два года он был убит и страна распалась на две части. На юге — республика, которую возглавил мулат Петион, интеллигент и республиканец; на севере — монархия, во главе которой стал генерал Анри-Кристоф, провозгласивший себя королем.

** См. его статью в журнале «La Vie Africaine», сентябрь, 1964 г.

крестьяне. Устали сражаться солдаты в непонятной им гражданской войне. Всеобщая усталость перерастает в возмущение. И когда генерал Буайе, которому предстоит возглавить вновь объединенную страну, идет в наступление против Кристофа, армия Кристофа разваливается. Его генералы ему изменяют. Власть кнута с неизбежностью приводит к утрате власти.

Тирания Кристофа в трагедии Сезэра может показаться совершенно бессмысленной, если видеть только ее отдельные проявления. Но у Кристофа есть своя историческая концепция. Есть своя цель. И как бы чудовищна ни была власть Кристофа, его Идея, его Цель для поэта полны своеобразного величия. Есть две возможности для страны, которая обрела независимость, утверждает Кристоф. Первая — смести все. Остаться свободными дикарями. Голый народ на голой земле. Это тоже возможно. Но если уже начали создавать нацию, то надо идти до конца. Забыв, что такое покой, отдых, не давая себе передышки, непрерывно подхлестывая время. Потому что в этом непрестанном и тяжком труде и формируется Нация. Мы в трясине истории — говорит Кристоф, надо выбраться из нее любой ценой. С этой точки зрения войти в современную цивилизацию невозможно, в нее можно только ворваться, хотя бы ценой жизни всего народа. Идея Кристофа — прогрессивное историческое развитие, то, что на современном языке часто называется модернизацией. Поэтому его Цитадель, крепость, совершенно бессмысленная с реальной, военной точки зрения, нужна Кристофу как *символ* величия. Нужно жить стоя, карабкаясь к облакам, взлетая в небо. Сезэр был одним из авторов концепции негритюда, и даже здесь у него звучит мотив особой роли негров в истории, негров, которым веками плевали в лицо, которые прошли через такие страдания и унижения, каких не знал ни один народ другой расы. Цель Кристофа — смыть этот плевок, восстановить достоинство.

Очевидно, что образ Кристофа в трагедии — клубок противоречий. Противоречий высокой цели — создание нации — и методов такого порабощения народа, при котором невозможно даже продвижение к ней. Сезэр видит основную трудность государства Кристофа в незрелости народа, в том, что народ не понимает и не разделяет целей правителя, и в том, что диктатор не знает иных методов убеждения, кроме кнута, чтобы объяснить народу пути к будущему. Трагедия Сезэра показывает, что на этом пути не может быть ничего, кроме крушения.

Тирания и самодурство Кристофа ведут сегодня наши ассоциации к тирании гаитянского маньяка Дювалье, к диктатурам Латинской Америки, к возникающим военным диктатурам африканских стран. Но эти фигуры — не материал для романтических символов. И поэтому нельзя не задуматься о правомерности таких исторических аналогий. Сезэр здесь все-таки не сводит концы с концами. Кристоф — фигура условная. Это литературная алгебра. Исторические аналогии хороши тем, что они заставляют читателя мыслить, размышлять над этими проблемами, сопоставлять, как они разрешаются в разных условиях. К сожалению, однако, исторические аналогии часто искушают читателя легкими сближениями различных ситуаций. Сезэр думал об африканских лидерах наших дней. Но они сталкиваются с задачей формирования наций в обстановке второй половины XX века, не имеющей ничего общего с ситуацией Кристофа. Не только возникают возможности помощи извне, но становятся реальными иные сроки созревания народов.

■

Но неужели в литературе не появляются лидеры новых государств «третьего мира», не становящиеся тиранами, диктаторами? Да, они также появляются. И тогда возникает единоборство морали и реальной политики. Но здесь уже само понятие реальной политики приобретает иной смысл — жестокого, грязного мира врагов.

Действие пьесы Сезэра «Сезон в Конго» (1966) происходит в Конго 1960 года. Ее герой — Патрис Лумумба. Если герой не идет ни на какие отступления от человечности и морали, ни на какие компромиссы для достижения своей цели — создания нации, свободной и независимой, то враждебный мир реальной политики уничтожает его.

Патрис Лумумба для Сезэра как бы дух проснувшейся Африки, ее символ, своего рода африканский Уленшпигель. Это провидец, пророк, поэт. В нем воплощение высшей человечности. В отличие от героев Абрахамса он совершенно лишен честолюбия. В отличие от них, от Чаки Сенгора, от Кристофа Сезэра, он — человек предельной цельности. В отличие от них он подлинно народен. Для рядовых людей Конго он просто Патрис и остается Патрисом, даже став премьером. Враги и друзья говорят о его магическом воздействии на людей, о его необычной популярности. Это романтический герой. И он пролетает и гаснет, «как ослепительный и ослепляющий метеор».

В полное отличие от Удомо и Джозайи он совершенно не способен к политическим компромиссам, к тонкой и рассчитанной политической игре. Его самые большие человеческие качества — прямота, доверчивость, моральная чистота. Они дают Лумумбе огромное обаяние. Но они же становятся его слабостями в атмосфере Конго, в атмосфере политических интриг, беспринципности, продажности, игры честолюбий конголезских политиков, за которыми стояли мощные силы: «Юньон Миньер», банкиры, монополии, великие державы, ООН. Гибель романтического героя предрешена заранее, и он сам предчувствует ее.

Своеобразна композиция и стилистическая ткань пьесы. Романтический облик героя поддержан стихами, песнями, призывами, предсказаниями символического бродячего певца. Но противостоит герою сухой,

реальный, жестокий мир — экономика, политика, расчет. Отчетливо видна структура этого мира. Отчетлива основная причина трагедии Конго — монополии не откажутся от огромных богатств Катанги. Очевидна роковая роль племенной розни, которую используют бельгийцы и Чомбе, ратуя за раздел Конго, в то время как для Лумумбы независимость страны неотделима от ее целостности.

Конголезские политики втянуты в этот неумолимый трезвый, хищный мир. Одни изменяют Лумумбе, ибо для людей племенной, феодальной Африки непонятны его цели и неприемлем его стремительный бросок в будущее. Другие, «друзья-враги» и честолюбцы, до поры до времени используют его популярность, а потом предают его. (Но мотивы этого предательства отнюдь не совпадают с мотивами Удомо, предающего Мхенди.) И наконец, против Лумумбы невежество народа, с каким-то наивным цинизмом поддающегося то речам Лумумбы, то деньгам и приказам его врагов. Против Лумумбы нищий, жалеющий об уходе бельгийцев. Против него — древние распри племен. Какие неравные шансы в борьбе! И может ли устоять герой, бьющийся в сетях предательства?

В этой пьесе — драма наших дней, и ее исторический фон очерчен точно и трезво. И все же трагическому конфликту морали и политики (уже не в душе героя, а на арене действия) дается и философское, а отчасти и метафизическое звучание. Оно усилено введением еще одного персонажа — Дага Хаммаршельда, который представлен в пьесе как своеобразный простодушный Пилат XX века. Тем самым отблеск евангельской притчи падает и на Лумумбу. Хаммаршельд по-своему, по-иному — второй романтический характер пьесы. У Сезэра это человек глубоко преданный идеям пацифизма, нейтрализма, невмешательства. Вначале он наивно уверен, что ООН посылает его принести мир истерзанной междоусобицами стране. И только тогда, когда Лумумба уже в руках убийц, Хаммаршельд понимает, что «невмешательство» было формой вмешательства, что его «праведность» помогла убить праведника, а пацифизм помогал войне. Он не может не видеть, что играл роль Пилата при убийстве Христа, и обещает использовать собранный им материал о предательской роли ООН в Конго. Тем самым предрешена и его последующая гибель — устранение свидетеля. И революционер и пацифист — люди морали,— оба обречены.

Итак, мораль бьется в сетях «реальной политики».

Какой вывод можно сделать из пьесы Сезэра? Что, оставшись самим собой, Лумумба остался героем? Несомненно. И грозный боевой клич конголезцев, который звучит под занавес, подчеркивает открытый конец.

«Побежденный,— писал Сезэр,— и победитель. Разбившийся о прутья клетки, но и проломивший брешь». Действительно, самый облик Лумумбы оказал глубокое и длительное влияние на сознание африканцев.

■

Подведем некоторые итоги.

Нельзя не согласиться с теми африканскими и вест-индскими писателями, которые, отвергая иллюзии легких путей для своих стран, хотят вдуматься во все противоречия открывающегося перед ними мира. Да, пути к свободе и независимости тяжки. И народам, страдающим от нищеты и безработицы, частых смен власти и гражданских войн, может порой казаться, что они ничего не получили от независимости. И их лидерам может порой казаться, что всё против них.

И все же, пытаясь наложить свою алгебраическую схему (в современном или историческом варианте) на жизнь этих стран, писатели невольно обедняют ее. В живой действительности «третьего мира» все происходит иначе, более многообразно, пестро, более гибко. Открывается много возможностей, не предусмотренных Абрахамсом или Сезэром. И прежде всего: страны, в которых происходит действие их книг, парят как бы в безвоздушном пространстве. Но можно ли сейчас размышлять о судьбах стран «третьего мира», вынимая их из общемирового контекста, из современной борьбы идей, из общемирового развития прогрессивных сил? Если бы этот воздух эпохи ощущался хотя бы за сценой! Тогда бы, наверно, перед Удомо или Джозайей встал вопрос о выборе пути, как он в действительности вставал перед руководителями Гвинеи и Мали, перед Нкрумой и Ньерере. И тогда стало бы ясно, что Джозайя, если он действительно передовой лидер (а об этом как будто говорят его удары по плантаторам и иностранному капиталу), должен был бы заботиться о том, чтобы разбудить, а не подавлять крестьян.

Одиночество лидеров поставлено здесь едва ли не в центре книг как роковая неизбежность эпохи. В какой-то мере эта мысль несет в себе зерно истины. Действительно, между уровнем интеллектуальной элиты в этих странах и крестьянских низов — дистанция огромная. И все же неизбежность этого одиночества может быть опровергнута развитием ряда африканских стран, избравших некапиталистический путь развития, где этот путь поддерживается новыми партиями, молодежью и где огромное внимание уделяется пробуждению энергии народа. Лозунг первого этапа — прогнать «белых»—конечно, доступнее крестьянину, чем далекие цели революционной национальной демократии. Но разве, строя дома, школы, мосты, крестьянин не может понять, что это нужно не только для создания не очень, может быть, ясной ему «Нации», но и для его деревни и соседней?

Говоря о «нации в становлении», эти писатели все же думают о народе как о чем-то статически застывшем. Зерно истины есть и здесь. Да, из колониальных режимов такие народы вышли мало подготовленными к созиданию совсем новых, непривычных форм жизни. Но и тут действительность оказывается более гибкой. Открываются возможности ускоренного развития не только экономики, но и сознания. Развитие демократических общественных форм, всеобщее обучение, радио, кино — разве они не могут изменять неподвижное состояние, если они направлены к тому, чтобы пробуждать, а не подавлять его? Да и сама непрестанная ломка политической жизни побуждает к размышлению, хотя бы и мучительному.

Последняя мысль Удомо, Джозайи, как и Кристофа,— идти вперед, выбираться из трясины истории. И это великолепно. Но как? Думается, что самый главный вывод, который мы можем сделать, прочитав эти книги, тот, что без глубокой, истинной демократизации всей государственной, политической, общественной жизни таких стран невозможно осуществлять коренное преобразование их структур. И если писатели правы, показывая, как велики силы противодействия, стеной стоящие на пути, то мы знаем и другое — как многообразны силы, расшатывающие эту стену.

Вот почему трагический мир, возникающий под пером Абрахамса или Сезэра, все же имеет открытый конец. Не только романтический жест Кристофа: умереть стоя. Не только его романтический призыв: карабкаться к небесам. Но реальное, трудное, без сомнения, мучительное, но неизменное продвижение вперед вместе со всем передовым человечеством.

КАРЛОС РУИС ДОДЭ

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

Письмо из Аргентины

В Аргентине много пишут и много читают, причем в Буэнос-Айресе и других университетских городах, таких как Кордова, Ла-Плата, Росарио, Тукуман, Мендоса, Санта-Фе, читают больше, чем в сельских местностях, где в домах редко встретишь книгу. Зато сюда приходят и пользуются самым широким спросом разнообразные газеты и журналы: политические, литературные, спортивные, журналы мод. Периодика, естественно, не может заменить книгу, да и задачи у нее иные, но чтение газет и журналов занимает досуг людей и отвлекает их от повседневных забот. К сожалению, нужно признать, что в районах, отдаленных от крупных населенных пунктов на пятьдесят — сто километров, начальной школе не удается подготовить детей и подростков к восприятию настоящей литературы.

Пятьдесят частных, нередко анонимных фирм процветают в стране и монополизировали не только издание, но и распространение книг. Сюда относится также выпуск учебных пособий для начальной и средней школы и для 192 университетских факультетов Аргентины. Учебные тексты издаются этими фирмами независимо от того, рекомендованы они министерством просвещения или нет. Государство не вмешивается в издательскую политику, и книги в стране чудовищно дороги. Что касается коммунистических и других прогрессивных издательств, то условия их деятельности и атмосфера политической борьбы не позволяют им уделять достаточное внимание художественной литературе, а также книгам по науке и искусству. Восемь лет тому назад правительство Фрондиси основало университетское издательство Буэнос-Айреса ЭУДЕБА, которое взяло на себя нелегкую задачу издания дешевых книг большими тиражами и за шесть лет познакомило широкие массы с 1200 названиями классической и современной литературы. В 1966 году правительство генерала Онгании фактически прикрыло это издательство, но его разогнанный редакционный совет во главе с Борисом Спиваковым (директор производства) и Орасио Х. Ачабалем (главный редактор) организовал некое анонимное предприятие, преследующее те же цели, что и ЭУДЕБА, которому удалось уже выпустить двести книг аргентинских и зарубежных авторов.

Обращаясь к проблеме художественной литературы, следует подчеркнуть одну печальную особенность в этой области, связанную с ее финансовой стороной: издания книг молодых писателей или писателей, не разделяющих официальные идеи, оплачиваются полностью или в лучшем случае частично самими авторами, которым с трудом и не всегда удается вернуть затраченные деньги. Лишь на этих условиях фирма соглашается заниматься изданием и распространением книги. Таким образом, издательская фирма ничем не рискует, так как заранее ограждает себя от каких бы то ни было убытков. Дальнейшее, то есть продажа книги, больше волнует писателя, чем издателя.

Из всего вышесказанного ясно, что, говоря языком цифр, лишь 10% литераторов получают мало-мальски значительные гонорары, остальные 90%, чья продукция составляет 600 книг в год, ничего не получают за свой труд. За двадцать пять лет автор этих строк опубликовал 13 книг (за одну из них ему была присуждена первая премия газеты «Нотисиас графикас»), заработав на этом смехотворную сумму — около 300 долларов — 300 долларов за 300 месяцев! Таким образом, литературное ремесло не может прокормить писателя. Для того чтобы со-

держать себя и свою семью, писатель должен найти какую-либо побочную работу, часто не имеющую ничего общего с литературным трудом. В течение многих лет писатели ждут, что САДЕ (Союз писателей Аргентины), насчитывающий 2000 членов, потребует от правительства закона, охраняющего писательские права, но САДЕ, обязанный выполнять функцию профсоюзной организации, практически не занимается этим важным делом.

Тиражи книг необычайно малы — от 3000 до 5000 экземпляров, а для начинающих авторов, которые должны оплачивать издание своей собственной книги, обычно 1000, а иногда даже всего 500 экземпляров. Но, повторяем, в стране много читают. А поскольку в Аргентине так называемый средний класс преобладает количественно над высшими и низшими классами, то и читательские вкусы соответственно отражают образ мыслей мелкой буржуазии, тяготеющей к формалистической и эскепистской литературе, которая не нарушает душевного спокойствия обывателя. Наши знаменитые писатели-стилисты (я не имею в виду прогрессивных литераторов) изредка ставят в своих произведениях проблемы социальной жизни страны, но большей частью они лишь слегка касаются этих вопросов, рассматривая жизнь отнюдь не с диалектической точки зрения. Поэтому их критика существующего порядка содержит немалую долю идеализма. Мелкобуржуазный читатель не может почерпнуть в этих книгах идею о необходимости изменения своего бездуховного существования, эта литература не в силах пошатнуть позицию «невмешательства» буржуа.

Городские и сельскохозяйственные рабочие Аргентины составляют пять миллионов человек. Большинство из них грамотно и имеет шестиклассное или четырехклассное (жители сельской местности) образование. В городах значительное число рабочих учится в вечерней школе, чтобы иметь больше шансов при устройстве на работу; но обычно гуманитарный курс в подобных учебных заведениях не преподается. Что же читают все эти люди?

В основном они читают крайне мало, причем мужчины предпочитают приключенческую литературу типа вестернов, а также детективные романы, сдобренные дешевой, чтобы не сказать низкопробной, эротикой. Среди женщин пользуются спросом короткие сентиментальные романы. Иллюстрированные журналы типа комиксов монополизировали сферу чтения и совершенно заглушили интерес читательской массы к подлинной литературе, своей и зарубежной. Поэтому, как ни парадоксально, книги, отражающие насущные проблемы рабочего класса, не соответствуют вкусам нескольких миллионов представителей этого класса.

На каждых пять рабочих едва ли найдется один, имеющий хотя бы самое скромное представление о творчестве Эчеверрии, Сармьенто, Барлетты, уж не говоря о Чехове и Бернарде Шоу. Невежественные и демагогические лозунги ультраправого крыла перонистов еще пятнадцать или двадцать лет назад «взяли верх» над хорошими книгами (увы, реакционерами был брошен даже такой лозунг: «Альпаргаты *— да, книги — нет»). На собственном опыте я убедился, что в Европе, тем более в СССР, многие шоферы не только не расстаются с книгой, но и имеют свое собственное суждение и о Пушкине, и о современных авторах, советских и иностранных: Шолохове, Драйзере, Хемингуэе, Амаду, Неруде и т. д. В Аргентине нет ничего подобного. Правда, здесь следует сделать исключение для «Мартина Фьерро» **, книги, которую наверняка прочло 30% населения.

Коммунисты и рабочие, связанные с деятельностью коммунистической партии, читают прогрессивную литературу, знают передовых писателей всего мира и умеют критически отнестись к произведениям реакционных литераторов. Но, к сожалению, число подобных читателей невелико — всего около ста тысяч из пяти миллионов аргентинских рабочих. Правда, остаются хорошие фильмы, которые рабочий, отвыкший от чтения, смотрит с большим вниманием и волнением, так как в них за полтора часа он может ознакомиться с кругом интересующих его проблем.

Помимо всего прочего, хорошая книга, издаваемая крайне маленькими тиражами, не может дойти до массового рабочего читателя, а вкусы мелкой буржуазии — служащих, лиц свободных профессий, торговцев, учителей,— как и рецензии в буржуазных газетах, способствуют широкому распространению «развлекательной» литературы, которая избегает острых вопросов, способных задеть правительство и власть имущих.

Я назову здесь четыре бестселлера последних лет. «О героях и могилах» Эрнесто Сабато, писателя и преподавателя физики и математики, человека огромной культуры. Его роман — печальная симфония, в которой звучат — хоть и не особенно сильно — темы национальной жизни. Роман, в сущности, составляют три новеллы. Первая — сюжетный рассказ, включающий почти неизбежную в современной литературе тему кровосмесительства. В этой части Сабато намечает характеры героев, представляет читателю ряд городских типов и довольно критически описывают средний класс и интеллигентские круги Буэнос-Айреса. Следующая часть, двести страниц — «О слепых», не имеющая прямой связи с предыдущей новеллой. Эта часть похожа по манере одновременно на Эдгара По, но без его точности и синтеза, и на Кафку, но без его глубины и объективизации абсурда. И наконец, исторический эпизод (действие которого происходит примерно сто лет назад); в этом эпизоде по воле и прихоти автора смешиваются события действительные с воображаемыми. Это произведение вы-

---

* Крестьянская обувь.

** Поэма классика аргентинской литературы Хосе Эрнандеса (1834—1886).

держало четыре или пять изданий и вышло огромным тиражом в 40 000 экземпляров.

«Бомарсо» — роман Мануэля Мухики Лайнеса, тираж которого с 1965 года достиг 30 000, нельзя назвать произведением аргентинской литературы, несмотря на то, что автор ее аргентинец и что книга увидела свет в Буэнос-Айресе. Писатель с завидной технической виртуозностью рисует события, происшедшие 300 лет тому назад в Италии; действие романа разворачивается на родине Данте Алигьери во Флоренции. Место действия и эпоха дают Мухике Лайнесу богатый материал для размышлений на тему об искусстве и счастливую возможность посвятить свой роман описанию природы и человеческих страстей. В то же время автор позволяет себе в книге некоторые смутные намеки на политическое положение в современной Аргентине. Аристократ по рождению и по призванию, Мухика Лайнес темой своего творчества избирает исключительно аристократические «изыски»: граф Бомарсо, физический урод с психикой гомосексуалиста, он же Меценат, он же Риголетто. Это книга бегства в иное пространство и время. Мануэль Мухика Лайнес написал еще ряд книг, в которых, по мнению аргентинской литературной элиты, более удачно рассказал о прошлом своей страны. Что касается идеологической стороны его творчества, то она, на мой взгляд, крайне запутанна и ошибочна.

Огромным успехом пользуются книги Хулио Кортасара. Он — автор рассказов и романист. Большую часть жизни Кортасар провел в Париже, поэтому в четырех или пяти написанных им книгах герои — соотечественники автора действуют наравне с героями-европейцами, обычно представителями творческой интеллигенции — художниками, артистами, писателями. Его рассказы и большая часть романов, кафкианских по сюжетному построению и уайльдовских по непринужденности изложения, описывают ситуации, далекие от реальных проблем страны; поэтому произведения Кортасара для аргентинцев представляют интерес несколько умозрительного характера. Кортасар — это enfant terrible *, который играет с читателем, как ему заблагорассудится, переставляя по своему усмотрению события во времени и пространстве, не заботясь о верности классической «величавой серьезности» Толстого, традициям Франса или Пайро **. Лейтмотив его творчества — изображение одиноких, замкнутых в себе «некоммуникабельных» характеров, которые он раскрывает с большой глубиной и точностью, виртуозно используя свой иронический, иногда чуть изысканный язык современного прозаика.

И, наконец, последний бестселлер, нашумевший в Буэнос-Айресе,— это книга... французского автора Виолетты Ледюк «Незаконнорожденная» (1967 г.), перевод которой принес нашим издателям большие барыши. Роман не имеет ничего общего с Аргентиной, однако пользуется большим успехом в среде снобов и особенно у женщин среднего класса, буквально пожирающих страницы этого произведения, на которых эротические отношения между дочерьми Евы — о, Лесбос! — и элементарная порнография выглядят такими же обычными вещами, как автомобиль или кино.

Можно назвать еще несколько произведений, хорошо идущих на книжном рынке, но они не относятся к области беллетристики; это «Буэнос-Айрес, повседневная жизнь и отчуждение» Хуана Хосе Себрельи, «В недрах аргентинского общества» Артуро Хауретче и «Те, кто руководят» Х. Марти де Имаса. Первые две — из области социологии, а третья — по теории государства. Авторы этих книг не приходят к правильным критическим выводам, но прогрессивны уже по тому, как они излагают и обличают отдельные факты и явления аргентинской жизни. Эти книги написаны ясным хорошим языком и читаются с удовольствием и интересом.

■

Наша проза по традиции реалистична, чиста и динамична. Она еще довольно молода, ей 150 лет и с момента своего возникновения до 1910 года дала немало прекрасных образцов — от благородного романтизма Эчеверрии через натурализм Мартелевской «Биржи» (1880 г.) к первым попыткам социальной критики у Мануэля Гальвеса (1910 г.). Последний переводился на русский язык. До сих пор ни один аргентинский писатель не достиг уровня «Мартина Фьерро»—великой национальной поэмы, написанной в 1872 году, переведенной сейчас почти на все языки мира. После первой мировой войны наша литература подверглась веяниям нового времени и попыталась идти в ногу с ними. Аргентинские писатели принимаются за изображение сложных характеров, пытаясь глубже проникнуть в психологию героя. На литературном рынке появилась новая продукция: произведения психологические, иногда мистические и метафизические, авторы которых, несмотря на незрелость, умели по-своему подойти к различным аспектам человеческих отношений и критически осветить социальную и политическую сторону национальной жизни страны, в том числе проблему города и деревни, особенно острую для Аргентины той эпохи. Старинное кастильское наречие пополнилось лексиконом людей из деревни и обитателей городских окраин, даже язык интеллигента в литературе той эпохи стал доступен широкому читателю. В это время большое распространение получил исторический роман, который привлек многих популярных авторов, таких как умерший недавно Мартинес Сувириа, по своим взглядам — реакционный католик. В ту пору процветала также «героическая», «моралистская», «старомодная» и просто декадентская проза, которая продолжает существо-

* Невыносимый ребенок *(франц.)*.
** Аргентинский писатель (1887—1927).

вать и по сей день, пробавляясь жалкими по своей пустоте и бессодержательности сочинениями. Авторы этих произведений с идеалистических, чтобы не сказать с ирреционалистских, позиций пытаются поведать читателю об идеальных мирах. Подобный вид литературы — не всегда, но довольно часто — прибегает к порнографии и, словно медленный яд, действует на душу читателя, особенно на «прекрасный пол», отвлекая людей от реальной жизни и ее требований. Эту категорию так называемой легкой, или «сверхнародной», литературы поддерживают многочисленные журналы, распространяющие короткие рассказы, иногда с иллюстрациями типа комиксов, еженедельно тиражом в 100 000 экземпляров, которые поглощаются в большом количестве читателями любого возраста, особенно молодежью, ничем не обогащая ее, так как ничего общего с реальной жизнью не имеют.

Проза социальная, для которой характерны глубокий анализ, проблемность, критический реализм, родилась в Аргентине несколько десятилетий назад, примерно в 1925 году, и сразу же порвала с мелодраматической новеллой, надуманными типажами и искусственными ситуациями. Безусловно, и до этого времени большие писатели затрагивали в своем творчестве проблемы национальной жизни, классовой борьбы и империалистической угрозы. Но все они, от Сармьенто, Агустина Альвареса, Эстанислао Себальоса и Хуана Баттисты Альберди до Рикардо Рохаса, Хосе Инхеньероса, Анибала Понсе и Альфредо Паласиоса, были скорее публицистами, социологами и политиками, чем творцами художественной литературы. Роберто Пайро, Альваро Юнке и Леонидо Барлетта примерно полвека назад стали родоначальниками социальной прозы, заложив основы новой романистики и нового театра, обращенных к реальной жизни. Им пришлось столкнуться со вкусами и привязанностями той «belle époque»*, когда в литературе не существовало сложных вопросов, а также преодолеть сопротивление некоторых своих коллег, например, Борхеса, который до сих пор пишет ради «красоты самой по себе», как он открыто и недвусмысленно заявил три года тому назад на конгрессе международного ПЕНклуба. В это время увидели свет роман Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра» — правдивое свидетельство о жизни людей деревни (хотя эту вещь и нельзя причислить к произведениям социального направления), а также несравненные сатирические рассказы Фрая Мочо о Буэнос-Айресе и его обитателях времен превращения этого города из «большой деревни» в столицу. Кроме того, в этот период родилась блистательная проза Бенито Линча, мастера формы и сюжета, появились рассказы Орасио Кироги, уже известного русскому читателю. К 1935 году Роберто Арльт создал драматургию, предвосхитившую в чем-то театр Ионеско. Гениальный писатель-самоучка Арльт мастерски воспроизвел картину жизни большого города, зло и беспощадно высмеяв нравы мелкобуржуазной городской среды.

Довольно полное представление о состоянии нашей современной новеллистики русские друзья могут получить, ознакомившись с двумя сборниками рассказов, вышедшими в Советском Союзе несколько лет тому назад. В них представлено семьдесят пять рассказов самых разнообразных направлений и жанров: реалистические, романтические, юмористические, бытовые и т. д.

Эти сборники позволяют советскому читателю судить об успехах наших молодых авторов в искусстве, великими родоначальниками которого были Мопассан и Чехов.

---

* Прекрасной эпохи *(франц.)*.

г. Буэнос-Айрес

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС

ГРЕЦИЯ: ФАШИЗМ И СУДЬБЫ ПРОГРЕССИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Эти заметки пишутся в то время, когда фашистское правительство Афин принимает первые «программные» меры в области культуры. Вплоть до начала 1968 года позиция хунты по отношению к духовным силам страны выражалась почти исключительно в полицейских актах, счет которым был открыт арестами многих известных деятелей культуры в первую же ночь переворота. За этими арестами последовали новые, последовали запреты, налагавшиеся на издательства, газеты и журналы, на писателей и на книги, на театральные постановки и на кинокартины. Но вот в начале 1968 года премьер-министр полковник Пападопулос прибыл в Салоники и выступил перед уцелевшей после чистки профессурой университета. Свое выступление он охарактеризовал как «воззвание к чести» греческой интеллигенции и провел его под девизом: «Университет должен стать церковью духовного развития греческой Нации!»

Надо сказать, что подобного рода тесты хорошо знакомы греческой интеллигенции. За три-четыре года до второй мировой войны наша литература и искусство, наша научная мысль и просвещение уже пережили то, что переживают вновь с 21 апреля 1967 года. Как и сейчас, под теми же лозунгами, пуская в ход примерно ту же фразеологию и ссылаясь на ту же опасность, велась такая же чистка в области культуры.

Однако между двумя этими периодами есть и существенная разница. Она сказывается, например, в том, что афинские полковники не проявляют особой торопливости. Генерал Метаксас установил диктатуру 4 августа 1936 года, а месяца через два он уже приступил к закладыванию идеологического фундамента для своего режима, который по известному образцу тех времен получил название Третьей эллинской цивилизации. По содержанию своему Третья эллинская цивилизация, может быть, и не отличается от того, что хотелось бы сейчас создать афинским полковникам. Но проходят месяцы, а полковники не спешат возводить над своей головой кров.

К строительству дома приступают обычно тогда, когда принимают решение прочно обосноваться. Примечательно, что как генерал, так и полковники обнаружили свой интерес к идеологическим проблемам лишь тогда, когда, по их мнению, настало время заявить, что введенный ими порядок — не временная мера. Поставив народ перед фактом диктатуры, и полковники (в 1967 году), и генерал (в 1936 году) неоднократно говорили, что их режим — не диктатура, что они не собираются удерживать этот режим долго, что только смертельная для нации опасность вынудила их временно отменить некоторые статьи конституции. Однако через два месяца после установления диктатуры генерал Метаксас сказал: «Правительство останется у власти навсегда, ибо дело, которое ему предстоит свершить, неисчерпаемо ни месяцами, ни годами. Колоссальная задача, которую мы на себя взяли и которую вы одобрили, потребует много времени».

Достойно внимания обстоятельство, что со стороны полковников мы не имеем абсолютно откровенных заявлений об их намерении остаться у власти. И по сей день они говорят о временной роли их правительства, о готовности вернуть страну на путь демократии. Генерал Метаксас, принимавший участие еще в Балканских войнах 1912—1913 годов, когда исход боя решала пехота, наступавшая с выставленными вперед штыками, проводил тактику довольно прямолинейную. Полковники действуют иначе. Примерно сто сорок подготовленных ими статей конституции призваны сказать то, о чем генерал говорил взмахом своего меча. И очень характерно, что первые попытки полковников представить свой режим уже не в функции отрицания (аресты и запреты), а в функции созидания — вносящим вклад

в область культуры и общественной мысли — совпадают во времени с завершением работы над проектом конституции. В канун рождества 1967 года редакционная коллегия официально передала правительству текст новой конституции, а уже в начале нового, 1968 года начинается идеологическая кампания.

Для того чтобы лучше разобраться в мотивах и методах ведения этой кампании, а также в проблемах, стоящих сейчас перед греческой культурой, нам кажется необходимым рассмотреть их в сопоставлении с периодом, предшествовавшим перевороту.

■

Уже задолго до фашистского переворота 1967 года, судя по многим явлениям культурной и общественной жизни, можно было констатировать, что мы оставляем позади период весьма значительный. Начало его совпадает с концом второй мировой войны и трагическим поражением сил Сопротивления. Что же касается завершения этого периода, то ведь по сути дела первый акт переворота произошел в июле 1965 года, когда король Константин, нарушая конституцию, сверг избранное народом правительство Георгиоса Папандреу. С этого момента начинается новая фаза наших злоключений. И при рассмотрении занимающих нас сейчас проблем антиконституционный акт Константина приобретает не меньшее значение, чем неприкрытая диктатура, установленная два года спустя.

Послевоенные судьбы прогрессивного движения Греции известны. На протяжении четырех-пяти лет движение, ставшее поистине всенародным, потерпело два тяжких поражения: первый раз в 1945 году при военном вторжении Англии и второй раз в 1949 году, в так называемой гражданской войне, которая на самом деле была войной с вторгшимися в Грецию американцами. Эти события, охватившие всю страну и затронувшие буквально каждую греческую семью, произошли примерно двадцать лет назад. А, следовательно, люди, достигшие теперь зрелого возраста и играющие главную роль в различных областях национальной жизни, были тогда юношами или подростками, и трудно найти среди них кого-нибудь, кто в той или иной степени не испытал на себе влияния тех потрясений. В движении Сопротивления и в гражданской войне, в рожденных этой борьбой мечтах протекала самая важная, самая критическая для формирования человеческого характера полоса их жизни; тому, чем они тогда жили, отдавались все силы души и тела, и теперь это прошлое не может быть для них просто воспоминанием, оно присутствует в их сегодняшнем «я», в их мыслях и поступках, в их политических, идеологических и моральных принципах. Национальное Сопротивление всегда оставалось тем древом, из которого вырастали самые важные явления национальной жизни. И это в первую очередь характерно для нашей культуры.

Писатели и художники, задававшие тон в литературе и искусстве Греции до переворота, принадлежат именно к этому поколению. Очень многие из них в годы оккупации принимали участие в Сопротивлении, в декабре 1944 года сражались мужественно на афинских баррикадах, а некоторое время спустя оказались в тюрьмах и концлагерях. Значительная часть того, что можно сейчас считать лучшими достижениями в поэзии, прозе, музыке, в театре и в изобразительном искусстве, создана людьми такой биографии. И дело, разумеется, не только в том, что Сопротивление с его идеями и судьбой стало биографией большого числа людей; важно, что оно прочно вошло в биографию всей нации.

Короткий период активной антифашистской борьбы 1940—1945 годов был насыщен неисчерпаемым динамизмом. Страна чувствовала себя созревшей для социального возрождения, социализм стал ее выстраданной и осознанной мечтой. И даже тогда, когда реакция победила, когда расцветшему дереву не дали принести плодов, корни его остались. Все, что происходит в духовной жизни Греции после 1945 года, связано с упорной борьбой между ушедшей в подполье национальной мечтой и теми, кто пытался ее выкорчевать, кто старался истребить пробивавшиеся молодые побеги. Мы не знаем, когда и каким образом идеалы Сопротивления претворятся в жизнь, однако несомненно, что они и впредь будут решающим фактором в нашей жизни. Таков главный итог двадцатилетия 1945—1965 гг., и нам думается, что весь этот цикл, протекавший в борьбе внутренних противоречий и в непрерывном обновлении, войдет в историю нашей литературы и нашей культуры как цикл Сопротивления.

■

Сравнение с довоенным временем приводит к выводу, что послевоенное двадцатилетие отмечено несоизмеримо большей интенсивностью идеологического поиска, который нередко принимает острый политический характер. В выборе и художественном решении тех или иных проблем главное значение приобретает идеологическая позиция автора, и тут мы могли бы добавить, что эта позиция, как правило, выражается в четко разработанной концепции. Присутствие такого рода концепции ощущается во всех видах искусств, и лучшие образцы критики минувшего двадцатилетия строят на этом тезисе всю свою систему. Не только на страницах левой печати, но и во всех наиболее серьезных публикациях, увидевших свет в журналах различных политических оттенков, неизменно подчеркивалось особое значение идеологической направленности творчества. Эта ориентация влекла за собой серьезные перемены в содержании и формах искусства. Многие традиционные в нашей литературе темы, мотивы, настроения претерпели значительные метаморфозы или же вовсе исчезли. Исчезла вычурная «красивость», оставшаяся в наследство от старой нравоописательной литературы, по-

блекли или даже канули в Лету многие мотивы любовной лирики, и уж конечно стала анахронизмом сентиментальная проза периода между первой и второй мировыми войнами: эротические и приключенческие повести с бесконечной галереей действующих лиц и сложным запутанным сюжетом.

Любовь моя, я искал тебя среди женщин,
а ты оказалась городом,—

писал один из греческих поэтов послевоенного поколения, и эти строки могли бы послужить эпиграфом к новой главе духовной истории страны, ознаменовавшейся радикальными и очень стремительными преобразованиями.

Естественно, что какие бы различия мы ни обнаружили между до- и послевоенной эпохами, изолировать их друг от друга нельзя. И литература, и все духовное творчество продолжали свое развитие, как продолжала свое течение и наша национальная жизнь, не претерпевшая коренных изменений. Подчеркивая разницу, мы не забываем, что из довоенной эпохи к нам пришла поэзия Варналиса и ряд заметных явлений социальной прозы и драматургии, и отнюдь не склонны заключить, что довоенная литература была аполитичной, тогда как в послевоенной литературе доминировали писатели и произведения, выдвигавшие на первый план вопросы политики. Такая антитеза была бы неправомерной.

И все же в литературе послевоенного двадцатилетия мы не найдем значительных писателей и значительных произведений, в круг основных интересов которых не входили бы социальные проблемы эпохи. За какую бы тему ни взялся художник — будь она традиционной или самой современной: любовь, природа, моральные, духовные и т. п. проявления личной и общественной жизни человека,— темы эти уже не могут замкнуться в своих рамках. Уделяя основное внимание той или иной теме, художник пытается выразить свое отношение к жизни вообще и выбирает ситуацию, представляющуюся ему более удобной, более соответствующей его творческой индивидуальности. Его интересы, как правило, всеобъемлющи, они охватывают обширный горизонт жизни, обращаясь к ее положительным и отрицательным сторонам, выдвигая вопрос правомерности и необходимости самого их существования, выясняя постоянный или преходящий их характер, анализируя возможность совершенствования жизни и человека: станет ли он лучше, будут ли более благоприятными материальные и моральные условия его жизни, не обречен ли он влачить и приумножать свои беды и горести? Решения, которые дают этим проблемам художники, отражают разные идеологические воззрения. Абсолютным является лишь тот факт, что **эта проблематика присутствует теперь всюду.**

■

Чтобы быть более точным, необходимо заметить, что духовная жизнь Греции послевоенного периода по сути дела начинается лишь с 1951—1952 годов. В условиях гражданской войны и сохранявшегося потом террора ее проявления были крайне редкими и бескровными.

Начало пятидесятых годов создаст некоторые предпосылки для того, чтобы после десятилетия почти непрерывной войны общественная жизнь вошла в русло более или менее мирного развития, и характернейшее явление этих лет — удивительная духовная жажда. Как грибы после дождя, возникают новые издательства, поставляющие на книжный рынок столь обильную продукцию, о какой до войны невозможно было и мечтать; оживает театр, развивается национальная кинематография, проблемам культуры посвящаются некоторые специальные периодические издания, а года через два открывается журнал «Эпитеориси технис», вокруг которого группируются прогрессивные духовные силы. Большинство писателей, пришедших в этот журнал, только что вернулось с островов ссылки или из тюрем; их возвращение послужит одним из основных факторов духовного воскрешения страны.

Однажды вечером вместе со своими товарищами в Афины возвращается и Яннис Рицос:

Добрый вечер, дорогой мой город,
добрый вечер,
мы вернулись в перекрашенных рубашках
ссыльных,
в башмаках, что в будущее много лет
шагали,
с рюкзаком, наполненным мечтами.
Только негде нам рюкзак оставить.

И в самом деле, негде было найти пристанище измученным аргонавтам, многострадальному авангарду нашей литературы, искусства и общественной мысли. Выход на свободу не был для них возвращением к мирной жизни, это был драматический переход из одного круга нашего послевоенного ада в другой, еще более трудный. Испытания, которые ждали их в городе, оказались не менее мучительными и, во всяком случае, более сложными, чем те, через которые они прошли в тюрьме и ссылке. Теперь им предстояла новая одиссея: в большом незнакомом городе они должны были отыскать свой дом. В стихах Рицоса, написанных в 1952 году,

Наш город прячется в этом городе —
за лестницами, паутиной затянувшими
небо,
за виселицами, скрывшими горизонт.
Давайте его отыщем!

выражается главная задача, которую предстояло решать нашему искусству на протяжении всего этого периода. Потянулись годы поиска и борьбы, направленных на то, чтобы, пережив трагическое поражение, сохранить связь с источниками социального оптимизма и, пробивая себе дорогу в лабиринте новой действительности, не потерять спасительной нити. Во всей нашей истории мы не знаем другого такого периода, кото-

рый ставил бы перед интеллигенцией столь сложные и важные задачи.

Трудности были связаны главным образом с тем, что буквально на каждом шагу, бесчисленные и многообразные, напоминали о себе последствия двух катастроф, пережитых прогрессивным движением. На протяжении считанных лет мы потерпели два страшных поражения, и нельзя было не задуматься: чем они объясняются — причинами, от нас не зависящими, или же причинами, которые кроются в нас самих и затрагивают политические, идеологические и этические основы движения? В атмосфере безраздельного господства одержавшего победу противника эти проблемы не сходили с повестки дня и многие прогрессивные писатели и художники были поглощены ими всецело. Разумеется, этим аспектом не исчерпывалось прогрессивное искусство и передовая общественная мысль Греции, однако именно от исследования причин поражения левого движения отталкивается все самое значительное в сфере духовного поиска за последнее двадцатилетие. И хотя в ходе поиска мы не раз становились свидетелями перекрещивания и даже сближения явлений диаметрально противоположных: оправданное пережитым чувство тревоги, стремление к плодотворному анализу сливались иногда с настроениями, не отражавшими подлинных ситуаций,— стадия самоанализа и самопознания была необходима нашей литературе и всей нашей культуре для дальнейшего движения вперед. И в этом существенную роль сыграли не только факторы внутренней национальной жизни, но и события, происходившие за пределами нашей страны.

Одной из важнейших черт культурной жизни послевоенного периода явилось стремительное расширение географических горизонтов. Глубокий и серьезный интерес к другим странам и народам, зародившийся в годы войны, стремительно развивался после ее окончания, и явления, наблюдавшиеся в связи с этим в литературе и искусстве, вызывают сравнение с прогрессирующим развитием туризма: тысячи людей со всех концов света приходят к нам сначала со страниц поэтических сборников, а потом и со страниц прозаических книг, рассказывая о пережитом, делясь надеждами и оптимизмом, принося в черные для нас дни сочувствие и поддержку и ожидая нашей поддержки в критические для них моменты.

Воспеваю я всех, кто сумел устоять.
Воспеваю и белых, и черных, и желтых,
цвет надежды, который нельзя уточнить,
цвет крови, уточненный на всех
континентах!
Глоткой, настежь разверстою, шире
проспекта,
воспеваю я братство единого мира.

— писал в 1955 году Ливадитис. И хотя почти повседневное наше общение с другими народами имеет массу самых разных истоков и каналов, в основе его чаще всего лежит действительно то, о чем говорят приведенные стихи. Тема интернациональной солидарности не могла не войти в наше искусство, она диктовалась естественной потребностью человека вступить в контакт с другими людьми, с которыми его объединяет общее восприятие многих жизненных проблем, общая борьба, общие чаяния.

Естественно, что проблемы, которые занимали в этот период международное прогрессивное движение, ставились и в Греции. Однако в Греции, где прогрессивная интеллигенция сталкивалась с особыми, вызванными национальной трагедией трудностями, решение этих проблем приобретало чрезвычайную обостренность. По сути дела проблема сводилась к следующему: смогут ли социалистические идеи в той конкретной форме, которую они приняли на греческой почве (в форме, которая выкристаллизовалась в сознании греческой интеллигенции в борьбе Сопротивления 1940—1945 годов), сохранять свою прежнюю жизнеспособность и вдохновлять духовную жизнь всей страны или же им суждено замкнуться в более узких рамках, утратив свою ведущую роль? В политическом и военном отношении греческое Сопротивление было разгромлено, лагерь противника одержал победу — свидетельствует ли эта победа о его идеологическом и моральном торжестве, означает ли она идеологическое и моральное поражение прогрессивных сил? Теперь, по прошествии более чем десятилетия, мы можем сформулировать эту проблему вполне отчетливо, но для того чтобы иметь ясное представление, в каких условиях она ставилась и решалась, нельзя забывать о чрезвычайно сложной атмосфере тех времен, складывавшейся из штрихов, отражавших жизнь тысяч и тысяч побежденных людей, определявшей реакцию тех, кто призван был делом дать ответ на эти вопросы.

И в поэзии, и в прозе отображены основные фазы этого периода треволнений, когда мешки с ветрами оказались развязанными и все, что было в нашем духовном мире— идеи, тенденции, настроения, которые до той поры оставались герметически замкнутыми в тесном кругу,— вырвалось на волю и закружилось в буйном вихре невообразимых сочетаний. Главное же, что следует выделить в этом разгоряченном многоголосии, связано с нахлынувшими в наше искусство актуальными этическими проблемами. В постановке и разработке этих проблем, особенно на первой стадии, ощущается серьезное влияние философии экзистенциализма.

Влияние французских экзистенциалистов проникло в Грецию значительно раньше, хотя и в пределах последнего двадцатилетия, и сказалось на творчестве некоторых крупных греческих прозаиков. В середине же пятидесятых годов их традиционные темы— одиночество и отчужденность человека, его сила и бессилие, степень его ответственности, абсурдность жизни — получают в нашей литературе весьма широкое распространение. Вместе с этими темами греческие литераторы заимствуют у западноевропейской прозы некоторые элементы новой стилевой техники

Следует, однако, отметить, что своеобразные условия нашей общественной жизни никак не поощряли отрешенности от на-

сущных социальных проблем, и они неизменно присутствуют даже в творчестве тех писателей, которые не были связаны с прогрессивным движением. Интересно и то обстоятельство, что из зарубежных романистов, разрабатывающих новые формы этого жанра, наибольшим предпочтением пользовались в Греции как раз те, кто видит своего героя не изолированно, а в соприкосновении и взаимодействии с социальной средой.

Тот факт, что разработка острейших этических проблем велась в Греции на фоне побежденного демократического движения, в значительной степени определял настроение и угол зрения многих прогрессивных писателей. Попытка анализа с критических позиций нередко приводила их к пессимистическим выводам; греческие события (и в первую очередь пережитое страной поражение) рассматривались как трагические, но обычные в человеческой истории ситуации, как еще несколько начертанных судьбой роковых кругов.

ИСТОРИЯ

Мать умерла,
любимая бросила,
товарищи предали,
годы промчались.
Теперь я могу спать спокойно.
Все
свершилось,

— писал в те годы Ливадитис. Разумеется, и эти, и другие созвучные им стихи запечатлевают лишь один изолированный момент истории. Такая фиксация вне фактора движущегося времени отдельных сторон действительности помогала выявить существующие проблемы, и, несмотря на свои минусы, эта тенденция выражала глубокую внутреннюю необходимость прогрессивной литературы. Принадлежавшие к ней писатели не могли не чувствовать, что обязаны развить свою тему всесторонне, дать ее во всем многообразии голосов и прислушаться к каждому голосу. Иначе они не могли идти дальше.

Есть, конечно, писатели, которые так и застыли на этом этапе, оставшись в плену своего настроения. Что же касается прогрессивной литературы в целом, то, пережив фазу тревоги и сомнений, она сумела ее преодолеть. Ведь наряду с объективными условиями, способствовавшими упрочению мотивов экзистенциализма, столь же объективно существовали силы, не желавшие мириться с отрывом от движущейся действительности. Демократическое движение потерпело поражение, но оно продолжало жить, и борьба не прекращалась. Это обстоятельство усугубляло драматическую напряженность диалога и ускоряло процесс преодоления кризиса.

Впрочем, слово «преодоление» вряд ли является здесь подходящим. Совершавшийся тогда процесс никак нельзя было бы уподобить благополучному преодолению опасности, ожидающей мореплавателей возле острова сирен, и в данной ситуации уловка Одиссея вряд ли была бы оправданной. Нам думается, что только в тех случаях, когда литераторы Сопротивления не просто «преодолевали» кризис, но старались вынести из этого испытания необходимый им опыт, можно было говорить о поддерживании живых связей с новым временем, о творческом продолжении традиций на новой жизненной стадии.

■

Для всего этого болезненного и сложного процесса 1965 год явился, как мы уже сказали, критической датой. Оставляя позади очень напряженную драматическую эпоху, мы вступали в пору, когда вместе с приливом творческих сил к человеку приходит надежда и оптимизм вновь завоевывает свои позиции. Отклик таких настроений, вызывавших аналогии с настроениями бурного 1945 года, мы находим во многих произведениях греческого искусства. Симптомы сходства с той эпохой становятся все более зримыми, и главное сходство — воскресший боевой дух. В этом смысле можно говорить о том, что к 1965 году отправная и заключительная точки периода сближаются, цикл завершается. Выдержавший многочисленные испытания, дух Сопротивления снова озаряет страну светом своих идей, древо национальных чаяний дает новые побеги. Все то, что пережили за эти годы идеология Сопротивления и люди, которые ее выражали, вызывает в нашей памяти известные слова Гегеля о диалектическом движении идей и жизни: «Таково во всемирной истории положение героев, которые, создавая своей деятельностью новый мир, приходят в противоречие со старым порядком и разрушают его: они являются нарушителями существующих законов. Поэтому они гибнут, но гибнут как отдельные лица; их наказание не уничтожает представляемого ими принципа... принцип торжествует впоследствии, хотя бы в другой форме». Множество явлений нашей национальной жизни 1963—1965 годов доказывает, что несмотря на массовое уничтожение наших героев в тюрьмах, в ссылке, у стены расстрела, принципы, которые они представляли, действительно начинают новую жизнь и торжествуют, «хотя бы в другой форме». Эти другие формы встречаются сейчас всюду. И нередко их принимают люди и социальные силы, которые в прошлом активно или пассивно выступали против них.

Существует, однако, еще одна очень серьезная сторона этого явления: возродились не только идеи, но и силы, способные воспринять эти идеи и бороться за их осуществление. Именно в эти годы на арене национальной жизни появились новые люди, молодежь, которая родилась примерно в 1945 году. Для них Сопротивление — это легенда, и они живут этой легендой, видя в ней один из высочайших моментов национальной истории, источник непобедимой моральной силы и идейной чистоты. Моло-

дежь, и в первую очередь рабочие и студенты крупных городов, взяла на себя одну из главных ролей в мощных политических демонстрациях, которые привели к победе демократии на выборах 1963 года. В поистине всенародных выступлениях, напомнивших битвы Сопротивления,— в демонстрациях протеста против убийства Ламбракиса, в марафонских походах мира, в похоронах убитого студента Петруласа и т. д.— произошла встреча двух поколений, которые впервые в новейшей истории страны были призваны сыграть решающую роль в политической жизни, отчетливо сознавая свою миссию. Молодое поколение было названо поколением Демократии; и в самом деле, первые шаги этого поколения пришлись как раз на те годы, когда главным требованием прогрессивного движения стала демократия, понимаемая как принцип политики и морали, как глубочайшее убеждение, как жизненная позиция, понимаемая совершенно так же, как более двадцати лет назад, в годы юности другого, старшего поколения, понимались идеалы Сопротивления.

Еще раз, как некогда после оккупации, все лучшие силы страны объединили свои усилия, выдвигая требование демократизации национальной жизни и радикального решения ее проблем. Дух оптимизма и борьбы задавал тон и в жизни нашей культуры; он нашел многообразное отражение в литературе, театре и кинематографии, но с особой выразительностью воплотился в песнях Микиса Теодоракиса. Передавая подлинные взлеты национального духа, эти песни воспринимались как переложенные на музыку неисчерпаемые, побеждающие всякого рода тлен, бессмертные силы народа, о которых писал Рицос в поэме «Ромиосини»:

Хлеб кончился, кончились и снаряды,
сердцем своим они пушки теперь
заряжают.
Много дней, много лет осажденные с суши
и с моря,
они гибнут от голода и под пулями гибнут,
но никто из них с жизнью еще не
расстался.
С бастионов глаза их сияют, как зарево,
как огромное алое знамя сияют,
и едва рассветет, голубиные стаи
вылетают из рук у них — тысячи добрых
посланцев —
к четырем вратам горизонта.

В свете всего вышесказанного причины переворота становятся, пожалуй, еще более очевидными. В завершении цикла, а следовательно, в возвращении народа к требованиям радикального решения национальных проблем в духе идеалов Сопротивления и Демократии, следует искать объяснение действий организаторов переворотов 1965 и 1967 годов. Все тот же старый страх реакции, которая в годы оккупации не замедлила протянуть руку сотрудничества нацистам, несколько лет спустя разожгла гражданскую войну и ввела в стране режим концлагеря. Все тот же страх перед противником и та же по сути дела психология.

■

Обостренное чувство ответственности за соблюдение этических принципов и демократических устоев общественной жизни безусловно является одним из самых важных завоеваний двадцатилетнего периода от окончания второй мировой войны до переворота. Достаточно сравнить реакцию на установление диктатуры Метаксаса в 1936 году и на фашистский переворот наших дней, чтобы увидеть, какие большие перемены произошли в сознании нашей интеллигенции, в ее взглядах на свой долг перед обществом. В 1936 году лишь небольшая группа греческой интеллигенции попыталась оказать сопротивление диктатуре и действительно, как смогла, воспротивилась ей. События же после 1936 года — горькие уроки диктатуры с ее губительными для культуры последствиями, война и Сопротивление оккупантам при массовом участии интеллигенции, послевоенные злоключения, которые, как мы попытались показать, максимально заострили этическую и идеологическую проблематику,— все эти факторы содействовали тому, чтобы во всех сферах общественной жизни произошли серьезные качественные изменения, чтобы весь наш духовный мир пробудился от социальной спячки, в которую был погружен до войны.

Когда в 1965 году король Константин, нарушая конституцию, устранил выбранное народом демократическое правительство, деятели греческой культуры решительно выступили против этого антиконституционного акта. Исключение составил лишь поэт Георгиос Новас, премьер-министр, выдвинутый дворцовым переворотом и всенародно осмеянный за то, что согласился играть эту неблаговидную роль.

■

Начиная эти заметки, мы говорили о медлительности, характеризующей тактику полковников в области культуры. Теперь мы можем сказать, что их медлительность объясняется реакцией на массовое демократическое движение интеллигенции, на стремительный рост ее самосознания, на ее ясное, гораздо более ясное, чем во времена Метаксаса, ощущение несовместимости духовной жизни нации с режимом диктатуры.

Дело, конечно, не только в том, что операция по военизации культуры ведется крайне медленными темпами. Вся тактика, все выступления хунты проникнуты сознанием, что интеллигенция сопротивляется, что она не намерена идти на компромиссы и бой здесь будет нелегким.

На протяжении 1967 года мы были свидетелями продолжения и развития полицейских мер, начало которым было положено в ночь переворота: аресты, кляп цензуры, угрозы, нагнетание страха. В августе 1967 года бригадный генерал Паттакос сделал следующее заявление корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс»: «В эти дни неизбежно применение определенной дозы страха. Она необходима, чтобы народ не натворил глупостей. Когда народ боится, он ведет себя разумно». Такова основная идея, вдохновляющая и цензуру, и полицейские гонения, и массовые увольнения в учебных и культурных учреждениях страны. Дала ли ожидаемые плоды эта политика нагнетания

страха, систематически проводившаяся в течение года?

Поэты живут вне страха.
Подобные солнцу, что прямо лучи свои
направляет,
прямо они говорят.
И правду запретную, как тюремный
сигнал,
повторяют...
Поэт —
это дух земли. Он над нею встает,
когда спускается мгла, и сверху сияет,
как кусочек молнии, на большой высоте,
в ночи.

Эти стихи Вреттакоса говорят об одной из самых больших надежд нашей национальной культуры в жестоких испытаниях, которые она сейчас переживает. И события показывают, что надежда не абстрактна. Не только среди поэтов и художников, но и в той части интеллигенции, которая находится на государственной службе, где сломить сопротивление гораздо легче, немало проявлений, свидетельствующих о том, что даже там вольнолюбивые настроения не угасли. Отсутствие крупных имен в прессе и различных культурных мероприятиях, добровольное закрытие газет и журналов в знак протеста против цензуры, отставка многих профессоров в знак протеста против увольнения их коллег — это, конечно, очень серьезные надежды, не говоря уже об открытых конфликтах, об актах непримиримой войны между интеллигенцией и диктатурой.

По сей день хунта так и не сумела привлечь на свою сторону ни одного из известных деятелей искусства, ни одну из крупных фигур нашей интеллигенции. Но даже если ей удастся соблазнить ту или иную «фирму» от литературы и искусства, это не может повлечь за собой большой опасности: в конце концов что бы ни сказал писатель, художник или профессор университета, решившийся пойти на подобный компромисс, и каким бы признанием ни пользовались бы до того времени его творчество или научная деятельность, первый же шаг на этом пути лишил бы его самого важного аргумента — морального авторитета, способного служить примером.

Между тем хунта предпринимает максимум усилий, чтобы не только сломить пассивное сопротивление интеллигенции, но и чтобы вынудить ее на акты сотрудничества. «Каждый человек духовного труда,— заявил в уже упомянутой нами речи премьер Пападопулос,— обязан покинуть лабораторию и университетскую аудиторию, он обязан вернуться в общество, стать проповедником, обратиться к социальным проблемам и искать их решения в духе государственного строя, при котором вы живете, шагая по пути истины».

Какой же этот путь истины, каковы программные заявления хунты по проблемам культуры? В этом вопросе трудности, с которыми сталкивается хунта, проявляются еще явственнее. Выдвигая идеологическую платформу своего режима, генерал Метаксас произвел на свет кое-какие теории, которые по своему антикоммунистическому содержанию следовали образцам Гитлера и Муссолини, а в качестве притягательной силы пропагандировали идеалы воинственной Спарты (противопоставляя их идеалам «художественных» Афин), завоевательную миссию походов Филиппа и Александра Македонского и религиозный фанатизм Византии. Полковники не решились еще говорить о Спарте и Александре Македонском, своих теорий они пока не выдвинули. Правда, в речах полковника Пападопулоса, который, судя по всему, взял на себя руководство идеологическим фронтом, звучат те же мотивы, которые звучали в речах Метаксаса до того, как он объявил о своей теории Третьей эллинской цивилизации: Раса, Нация, Церковь, Социальный Порядок. И все же главную инициативу в разработке новых идей и нового духа хунта пытается навязать интеллигенции. «Это не мое личное дело,— сказал Пападопулос в Салоникском университете.— Это не дело армии. Это дело Нации. А Нация — это вы. Возьмите душу Греции, вооружитесь ее духом и ведите ее вперед. Сражайтесь. Это поприще принадлежит не нам, а только вам. Оно по праву принадлежит носителям духа нации...»

О перевороте в Греции писали как об эксперименте, проведенном силами, находящимися вне страны, эксперименте, значение которого выходит далеко за ее пределы. Элемент «экспериментаторства» действительно отмечает многие действия фашистского правительства, включая его идеологическую политику. Однако независимо от того, демагогия это или экспериментаторство (скорее всего, имеет место и то и другое, и не случайно в пылу демагогии бригадный генерал Паттакос декламирует стихи Ангелоса Сикельяноса, самого крупного поэта Сопротивления), мы несомненно имеем дело с весьма своеобразным курсом, который диктуется главным образом тем, что духовное сознание нации не находится уже, как некогда во времена Метаксаса, в состоянии дремоты, оно сохраняет бдительность и способно анализировать, что именно происходит в нашей культуре.

Изо дня в день губили настоящее
и Фидию родиться не позволили,
еще в пеленках солнце истребив,
к груди отчизны приложив свиней,—

писал Вреттакос. Между 1960—1965 годами в различных областях нашей культуры не раз можно было наблюдать за первыми шагами младенца, который смог бы стать новым Фидием. Течет ли в его жилах кровь Геракла? Сможет ли он сам задушить змей, посланных к его колыбели, чтобы убить его? Именно этот вопрос и решается сейчас в нашей многострадальной культуре.

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

ИЗ НАСЛЕДИЯ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

«Я СРАЖАЛСЯ С ФАШИЗМОМ ВСЮДУ, ГДЕ МОЖНО БЫЛО РЕАЛЬНО ВОЕВАТЬ С НИМ»

Эти слова были сказаны Хемингуэем еще в 1940 г. Он уже тогда имел на них моральное право. За плечами была Испания, где он воочию убедился в том, что представляет собой фашизм, и откуда вынес глубокую убежденность в неизбежности новой схватки с фашизмом, новой, на этот раз мировой, войны. В письме К. М. Симонову, написанному в 1946 г., Хемингуэй, говоря о романе «По ком звонит колокол», вспоминал: «После испанской войны я должен был писать немедленно, потому что я знал, что следующая война надвигается быстро, и чувствовал, что времени остается мало». Этим ощущением надвигающейся новой войны с фашизмом пронизана была вся атмосфера романа «По ком звонит колокол», герой его вновь и вновь возвращался к мысли, что если фашизм не остановить на испанской земле, он будет и дальше нападать на другие страны, неся с собой смерть и уничтожение. Герой пьесы «Пятая колонна» говорил, что впереди пятьдесят лет необъявленных войн и он подписал договор на весь срок. Эти слова Хемингуэй мог отнести и к себе. И, наверное, относил.

Хемингуэй знал, что такое фашизм, и знал, что борьба с ним будет не на жизнь, а на смерть. Поэтому он так горячо приветствовал героическое сопротивление, оказанное советским народом и его армией фашистским захватчикам. В 1942 г. он сделал следующее заявление для печати: «24 года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой — Красная Армия. Каждый, кто любит свободу, находится в таком неоплатном долгу у Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить».

Вторую мировую войну Хемингуэй встретил как старый солдат, торопящийся занять свое место в строю. Всю жизнь он был человеком действия, и в войнах он привык принимать участие не как сторонний наблюдатель. Так и на этот раз он решил внести свою лепту в дело разгрома фашизма. Вступление Соединенных Штатов в войну застало его на Кубе. В этом районе крейсировали немецкие подводные лодки, выслеживавшие и торпедировавшие танкеры союзников, которые следовали с грузом нефти из Венесуэлы в американские и английские порты. У Хемингуэя созрел дерзкий план — он решил переоборудовать свою рыболовную яхту «Пилар» для охоты за подводными лодками. Тогдашний американский посол на Кубе Браден писал впоследствии: «Операция была чрезвычайно опасная, так как естественно, что при нормальных обстоятельствах яхта, приспособленная для рыбной ловли, не может состязаться с тяжело вооруженной подводной лодкой. Однако Эрнест очень умно разработал план операции и, как я полагал, мог бы выиграть сражение, если бы вступил в соприкосновение с подводной лодкой». Браден помог Хемингуэю оборудовать «Пилар» радиолокационной и звукопеленгаторной аппаратурой и вооружением, состоявшим из пулемета, базуки и глубинных бомб.

С командой из девяти человек Хемингуэй крейсировал на яхте «Пилар» в течение двух лет (1942—1943). Его план основывался на том, что немецкие подводные лодки имели обыкновение останавливать кубинские рыболовные суда и требовать продовольствия. Хемингуэй рассчитывал на такую встречу, надеясь потопить подлодку своими глубинными бомбами. При этом он отдавал себе отчет в том, что при такой встрече погибнуть может и «Пилар» со всей своей командой. Ни с одной подводной лодкой ему так и не пришлось встретиться, но передававшиеся им по радио сведения о местонахождении вражеских подлодок помогали американским военным судам атаковать и топить их.

Такова была его служба на море. За ней последовала служба в воздухе. Когда весной 1944 г. немецкие подводные лодки перестали появляться у кубинских берегов,

Хемингуэй полетел в Англию в качестве корреспондента журнала «Кольерс», чтобы писать о предстоящей высадке союзных войск во Франции. Но эта операция все откладывалась и откладывалась, а писатель не мог сидеть без дела, и он попросил прикомандировать его к английским военно-воздушным силам, которые изо дня в день сражались в воздухе с немецкими бомбардировщиками, перехватывали и сбивали немецкие летающие снаряды, летали бомбить военные объекты на территории Германии. Сохранилась его фотография в кабине английского бомбардировщика. Об этих операциях он и написал один из своих очерков в «Кольерс» — «Лондон воюет с роботами». С восхищением и нежностью, прикрывая, как всегда, свои чувства иронией, писал он о летчиках, которые несли в это тяжелое для английского народа время боевую вахту в небе.

Незадолго до дня высадки в Нормандии Хемингуэй во время затемнения попал в Лондоне в автомобильную катастрофу и получил тяжелое ранение в голову. Но в день, когда десантные суда двинулись к берегам Франции, Хемингуэй, сорвав по дороге с себя бинты, был на одном из них. Высадке в Нормандии был посвящен другой его очерк «Рейс к победе», знакомый советскому читателю по двухтомнику избранных произведений. Надо отметить, что к своим корреспондентским обязанностям Хемингуэй относился как к делу второстепенному — за одиннадцать месяцев он послал в журнал всего шесть очерков — ровно столько, чтобы редакция его не отозвала. Главным же для себя он считал посильное **участие** в военных действиях.

Так началась служба на суше. Официально Хемингуэй после высадки в Нормандии был прикомандирован к штабу 3-й американской армии, но его совершенно не устраивало существование при штабе, к тому же ему не нравился командующий этой армией генерал Паттон. Главное же заключалось в том, что Хемингуэй хотел быть в передовых частях, с теми солдатами и офицерами, которые реально, а не на бумаге сражались с гитлеровцами, хотел делить с ними опасности и радости боевой жизни. На первых порах в Нормандии он прибился к американскому истребительному дивизиону, а потом сам себя прикомандировал к 4-й пехотной дивизии под командованием генерал-майора Бартона, а точнее к ее 22-му пехотному полку, которым командовал полковник Лэнхам. Здесь он обрел прекрасных друзей и вполне достаточное количество боевых операций. «Главное,— говорил он впоследствии,— заключалось в том, что эта последняя война имела смысл, в то время как первая не имела для меня никакого смысла. К тому же у меня была очень хорошая компания. Я никогда не встречал столько замечательных людей, и впервые у меня была возможность воевать на родном языке». В уже упоминавшемся письме Хемингуэй писал: «В 4-й дивизии, в составе 22-го пехотного полка, я старался быть полезным, зная французский язык и страну, и имел возможность работать в авангардных частях маки. Хорошо было с ними, и Вам бы это понравилось... Это лето наступления из Нормандии в Германию было лучшим летом в моей жизни, несмотря на войну... Освобождение Франции, и особенно Парижа, радовало меня, как никогда и ничто в прошлом».

Благодарное человечество всегда будет помнить выдающуюся роль бойцов французского движения Сопротивления, партизан, сражавшихся в маки, французских коммунистов (не зря в годы фашистской оккупации их называли «партией повешенных») в деле борьбы за освобождение Франции. С этими отважными людьми и связал свою боевую судьбу Хемингуэй на полях сражений во Франции.

По мере продвижения 4-й дивизии от берегов Нормандии на восток джип Хемингуэя возникал в самых неожиданных местах далеко впереди наступающих войск. Он налаживал контакты с французскими партизанами, собирал оперативную информацию. Встречавшие его в эти месяцы вспоминали, что он представлял собой весьма колоритную и внушительную фигуру — крупная голова, про которую он сам, смеясь, говорил, что для нее малы шлемы американской армии, большой шрам, оставшийся на голове после лондонской аварии, великолепная борода, которую он отрастил за годы войны. Французы были уверены, что он должен быть генералом, Хемингуэй говорил, что он только капитан.

Командир 4-й дивизии генерал-майор Бартон рассказывал корреспондентам: «У меня на карте всегда вколота булавка, означающая местопребывание старины Эрни Хемингуэя». Когда дивизия вышла к Сене выше Парижа, она попала в сложное положение — на обоих флангах у нее оказались немецкие войска. В этих обстоятельствах Бартон сообщил своему штабу: «Старина Эрни Хемингуэй находится в 60 милях впереди нас, опередив всю 1-ю армию. Он шлет нам оттуда информацию. И что бы вы думали, он передает? Он сообщает, что если нужно продержаться там, то ему понадобятся танки».

Так началась знаменитая эпопея Хемингуэя в Рамбуйе — городке милях в 30 от Парижа, куда Хемингуэй ворвался 19 августа вслед за американской моторазведкой. Эту историю он частично описал в очерке «Битва за Париж» и в последовавшем за ним очерке «Как мы пришли в Париж». Моточасть тут же получила приказ о передислокации, и Рамбуйе остался незащищенным перед угрозой немецких танков. Мирному населению грозило истребление. В очерке Хемингуэй избегал писать о себе и о той роли, которую он сыграл. На самом же деле Хемингуэй организовал боевой отряд из французских партизан и неделю удерживал город.

Полковник американской военной разведки Дэвид Брюс, находившийся в Рамбуйе в эти дни, в частном письме описывал следующую картину: «Спальня Эрнеста в отеле «Гран Венер» была нервным центром всех

операций. Сидя там с засученными рукавами, он беседовал с разведчиками, доставлявшими сведения, с беженцами из Парижа, с дезертирами из немецкой армии, с местными деятелями и вообще со всеми, кто приходил к нему. Свирепого вида француз с автоматом стоял на страже у двери. А за нею Эрнест, похожий на веселого черноволосого Бахуса, вершил высокое, среднее и малое правосудие на английском, французском и ломаном немецком языках».

Во время пребывания в Рамбуйе Хемингуэй считал своей главной задачей составить четкое представление о немецкой обороне южнее Парижа. Он высылал вооруженные патрули из числа французских партизан, которые прощупывали немецкие оборонительные линии, и добровольцев в штатском на велосипедах с заданием проникнуть за линию немецкой обороны. Некоторые из них добрались на своих велосипедах до самого Парижа и вернулись к Хемингуэю со схемами немецких укреплений. В этой деятельности Хемингуэю помогал французский разведчик Мутон.

Вскоре в Рамбуйе прибыл генерал Леклерк с французской дивизией, избранной для освобождения Парижа. Хемингуэй и Мутон явились к генералу, чтобы доложить свои сведения, но Леклерк не любил американских корреспондентов и французских партизан и отказался с ними разговаривать. К счастью, его начальник штаба отнесся к сведениям Хемингуэя и Мутона гораздо внимательнее. Полковник Брюс говорил впоследствии: «Я считаю, что эта информация имела решающее значение для успешного завершения марша Леклерка на Париж».

Пока дивизия Леклерка преодолевала немецкую оборону около Версаля, Хемингуэй со своим отрядом, насчитывавшим уже 200 французских партизан, окольными дорогами проник в Париж. Сильвия Бич, известная владелица книжной лавки в Париже и близкий друг Хемингуэя по его парижским годам, рассказывала в своей книге воспоминаний, что она с подругой, как и все население окрестных улиц, прятались в домах от немецких автоматчиков, расположившихся на крышах и стрелявших по мирным жителям, когда они услышали шум машин и знакомый голос Хемингуэя, кричавшего «Сильвия, Сильвия!» Оказывается, в первую очередь Хемингуэй поспешил к своей старой приятельнице, надеясь разыскать ее и помочь. По просьбе Сильвии партизаны Хемингуэя быстро ликвидировали немецких автоматчиков и двинулись дальше к центру города. Колонна генерала Леклерка еще находилась на южном берегу Сены, а Хемингуэй со своими боевыми товарищами дрался с немцами уже у Триумфальной арки. Вечером этого дня в Париж приехали иностранные корреспонденты, сопровождавшие Леклерка. Один из них, американский фотокорреспондент Роберт Капа, оказался у отеля «Ритц» и узнал в солдате, охранявшем вход в отель, шофера Хемингуэя Пелки, упоминаемого писателем в его очерках. Пелки кратко доложил Роберту Капа, которого знал: «Папа захватил хороший отель. Много всего в погребах. Идите быстрее наверх».

После истории в Рамбуйе в армейских кругах шли споры — следует ли наградить Хемингуэя орденом за выдающуюся организацию разведки или предать суду военного трибунала за нарушение Женевской конвенции, определявшей нормы поведения военных корреспондентов. Пока что началось следствие, продолжавшееся восемь недель. В октябре Хемингуэя вызвали с линии Зигфрида, где сражалась 4-я дивизия, для дачи показаний. В конце концов следствие кончилось ничем, а Хемингуэй, вернувшись в свой 22-й полк, сказал его командиру Лэнхаму: «Когда начнется следующая война, я вытатуирую Женевскую конвенцию у себя на заднице наоборот, чтобы я мог читать ее в зеркало».

На линии Зигфрида, а потом в Гюртгенском лесу и во время контрнаступления Рундштедта 22-й пехотный полк вел тяжелые бои. Из 3200 человек полк потерял убитыми и ранеными 2600 солдат и офицеров. Хемингуэй оставался с полком до конца битвы, разделяя со своими друзьями все опасности и трудности. Один из эпизодов этих боев описан в его очерке «Война на линии Зигфрида».

Во всех этих военных очерках Хемингуэя чувствуется, с какой любовью относился он к своим боевым товарищам, хотя он, как обычно, старался не особенно выдавать свои чувства. Друзья платили ему такой же любовью. «Нет никакого сомнения,— говорил полковник Лэнхам,— что этот Эрни был самым любимым и обожаемым человеком из всех, кто имел дело с 22-м полком. Когда ветераны полка организовывали свое общество, он был одним из двух штатских, которые были избраны почетными членами». При этом надо добавить, что большинство солдат и офицеров не знали, что он писатель. Художник Джон Грот, видевший Хемингуэя во время боев на линии Зигфрида, описывал, как двое солдат спрашивали у шофера Хемингуэя: «Кто этот парень? Он мировой мужик». Шофер ответил им: «Он большой человек. Я не знаю точно, что он делает, но он по-настоящему большой человек».

Так прошел этот большой писатель и большой человек через вторую мировую войну.

В своих немногочисленных очерках он написал о том, что увидел на войне, с чем непосредственно соприкасался. Он не ставил перед собой задачи давать общий анализ военных действий и поэтому, в частности, не писал о той несоизмеримой, по сравнению с боевыми операциями союзников на Западном фронте, роли, которую играла в разгроме фашизма Советская Армия. Но он живо интересовался событиями на Восточном фронте и высоко ценил подвиг советского народа. В том же письме в Москву он писал: «Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и повидать, как вы здорово деретесь, но я не считал себя вправе быть военным

корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что я не говорю по-русски, и, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении «кочерыжек» (так мы прозвали немцев) на другой работе».

Публикуемые здесь впервые на русском языке военные очерки Хемингуэя представляют для читателей интерес не только потому, что нам интересно все, принадлежащее перу Хемингуэя, и не только потому, что они привносят новые черты в его человеческий облик, но еще и потому, что они дают некоторое представление о том жизненном материале, который был положен им в основу его романа о второй мировой войне.

О работе над этим романом он писал: «Вот уже с осени 1945-го я пишу с таким усердием и почти без перерыва, что недели, месяцы проносятся так быстро, что не успеешь оглянуться, как умрешь». Своему издателю, ныне покойному Максуэллу Перкинсу, Хемингуэй поручил отвечать всем интересующимся, о чем будет роман: «Говорите, что это будет книга о земле, море и воздухе».

Роман этот остался недописанным. Но хочется надеяться, что даже в этом незавершенном виде он станет достоянием читателей.

Б. ГРИБАНОВ

ЛОНДОН ВОЮЕТ С РОБОТАМИ

«Кольерс», 19 августа 1944

«Буря» — это большой сухопарый самолет. Это самый быстрый истребитель на свете, упрямый и выносливый, как мул. Скорость его достигает 400 миль в час, и в пике он намного опережает собственный звук. Там, где мы жили, в задачу его входило перехватывать самолеты-снаряды и взрывать их над морем или над открытой местностью, когда они с прерывистым ревом устремлялись к Лондону.

Эскадрилья летала с четырех часов утра до полуночи. Все время несколько пилотов сидели в кабинах, готовые взлететь по сигналу Вери, и несколько машин все время патрулировало в воздухе. Самое короткое время, которое я засек от вспышки сигнального пистолета, бросавшей двойную световую дугу из двери барака связи в сторону стоянки машин, и до взлета, было 57 секунд.

Хлопает пистолет — и тут же слышится сухой лай стартового заряда, нарастающий вой мотора, и большие голодные длинноногие птицы, споткнувшись и подпрыгнув, взмывают ввысь с таким воем, словно двести циркулярных пил вгрызаются в бревно красного дерева. Они взлетают по ветру, против ветра, как угодно, зацепляются за какой-то кусок неба и лезут в него, подбирая под себя свои длинные тощие ноги.

Многих и многое в жизни начинаешь любить, когда поживешь рядом, но ни одна женщина, ни одна лошадь и, уж конечно, ничто другое не вызывает такой любви, как большой самолет, и люди, которые их любят, остаются им верны, даже когда покидают их и уходят к другим. Летчик-истребитель только раз теряет девственность, и если он теряет ее с достойной машиной, значит, сердце его отдано навеки. А П-51 безусловно пленяет сердца.

«Мустанг» — грубое, хорошее название для норовистого, грубого, хриплого, сердитого самолета, который мог бы подружиться с Гарри Гребом, если бы у Греба был мотор вместо сердца. «Буря» — сентиментальное название из Шекспира. Шекспир, конечно, великий человек, но название-то дали самолету, представляющему собой помесь из Броненосца и Таллулы в их лучшие годы. А это были неплохие годы, и не один человек попался на удочку букмекера, потому что смотрел на трехлетку с такой же шеей, как у Рыжего, а на другие стати не обратил внимания. И хриплых голосов с тех пор было сколько угодно, но ни одного такого, который был бы слышен через весь Западный океан.

Так вот, поговорим об эскадрилье «Бурь». Давая им название, кто-то явно напрашивался на метеорологические неприятности. И изо дня в день, с утра до ночи они сбивают это безымянное новое оружие. Командир эскадрильи — очень привлекательный человек, рослый, немногословный, как леопард, со светло-коричневыми подглазинами и лиловым от ожогов лицом, и историю своего подвига он рассказал мне очень спокойно и правдиво, стоя возле дощатого стола в столовой летного состава.

Он знал, что говорит правду, и я это знал, и он очень точно помнил, как все было, потому что это был один из первых самолетов-снарядов, которые он расстрелял, и он очень точно описал все подробности. О себе он говорил неохотно, но хвалить самолет ему не казалось зазорным. Потом он рассказал мне о другом способе с ними расправляться. Если не удается взорвать их в воздухе, их сбивают.

— Из них поднимается такой огромный пузырь,— сказал он.

Слово было смелое, оно придало ему бодрости, и он попробовал дать еще другое определение:

— Скорее как будто вырастает этакий исполинский **цветок**.

Это было выражено так четко, что мы оба смутились, но пока я представлял себе, как расцветает этот гигантский пузырь, один американец из той же эскадрильи рассеял всякое напряжение, сказав:

— Я сегодня сшиб один на парники, стекло взлетело прямо вверх, на миллион футов. Что я скажу владельцу парников, когда мы вечером пойдем в пивную?

— В точности просто невозможно определить, куда он упадет,— сказал командир эскадрильи, сказал робко, терпеливо, но очень настойчиво, из-под лиловой маски, которую он теперь всегда будет носить вместо лица.— Они ведь летят очень быстро.

Вошел командир авиаполка, рассерженный, довольный. Он был маленького роста и здорово форсил и сквернословил. Позже я узнал, что ему 26 лет. Я как-то видел его, когда он выходил из самолета, но не знал, что он и есть командир полка. Тогда это не бросалось в глаза, да и теперь, когда он заговорил, тоже. Единственное, по чему можно было понять, что он командир полка, было то, каким тоном другие летчики говорили ему «сэр». Они говорили «сэр» и обоим командирам эскадрилий, из которых один был крепкий бельгиец, похожий на гонщика-велосипедиста, а другой — тот самый тихий, привлекательный человек, что жил с обожженным лицом. Но «сэр», обращенное к командиру полка, было чуть-чуть другое, и командир полка никак не отвечал на это обращение, даже не показывал виду, что заметил его.

Цензура в военное время — вещь необходимая. Особенно она необходима во всем, что касается авиации: пока новый тип самолета не попал в руки противника, нельзя публиковать никаких сведений относительно его скорости, размеров, летных данных и вооружения, поскольку все эти сведения важны и нужны противнику.

Самолет любят как раз за его внешний вид и летные качества, и только правдивое его описание и могло бы вдохнуть чувство в посвященную ему статью. В этой корреспонденции ничего такого нет. Я надеюсь, что противник не собьет ни одной «Бури», что «Буря» навсегда останется в секретном списке и все, что я о ней знаю и за что ее люблю, можно будет опубликовать только после войны.

Не пишу я ничего и о тактике, которая применяется при уничтожении самолетов-снарядов, и о тех разговорах, из которых вам стало бы ясно, как чувствуют себя те, кто эту тактику применяет. Потому что нельзя дать разговор и умолчать о тактике. Так что в этой корреспонденции нет почти ничего, кроме любви человека к самолету.

Написана она грубым языком, потому что и разговоры в этой воинской части звучали, как правило, грубые. Единственным исключением был тот командир эскадрильи, несколько слов которого я привел выше. В иных частях Королевского воздушного флота очень распускают языки, в других же выражаются изящно и правильно, как в фильме «Цель на сегодня». Мне нравится («нравится» — очень слабое слово для испытываемых мною чувств) как тот, так и другой стиль, и когда-нибудь, если настанет такое время, когда можно будет написать что-нибудь интересное, что цензор найдет возможным пропустить, мне хотелось бы попытаться изобразить обе эти крайности. А пока довольствуйтесь тем, что есть.

В военное время без цензуры не обойтись, и мы сами опускаем все, что, по нашему мнению, могло бы заинтересовать противника. Но когда пишешь о войне в воздухе, пытаясь все же вместить и колорит, и подробности, и эмоции, в этом есть известная аналогия с работой спортивного обозревателя.

Чем-то это напоминает прежние дни, когда ты в девять часов утра заставал Гарри Греба в постели, за завтраком из яичницы с ветчиной и жареной картошки, в день его встречи с Микки Уокером. Весил он в то утро ровно на двенадцать фунтов больше, чем те 162, которые ему полагалось весить в два часа дня. Теперь представьте себе, что вы видели, как этот лишний вес сгоняют с него массажем, обстукиванием и прочими способами, а потом тащат его на весы, ослабевшим до того, что он не в состоянии сам идти и почти не в состоянии ругаться.

Дальше предположим, что вы видели, сколько он съел, и видели, как он вышел на ринг, причем вес его был точно такой же, как когда он утром встал с постели. И предположим, вы видели, какой он дал великолепный, с жестокими крюками, джебами и свингами, гнусный, кровавый, чудесный бой,— и все это вам нужно изложить в таких словах: «По имеющимся сведениям, один из наших боксеров по фамилии Греб, чьи качества неизвестны, встретился вчера вечером с неким М. Уокером. Дальнейшие подробности будут опубликованы в свое время».

Если моя корреспонденция покажется вам несколько бредовой, вспомните, что по небу во всякое время суток летят самолеты-снаряды, которые в полете выглядят как уродливые металлические дротики с добела раскаленной пастью, покрывают 400 миль в час, несут в голове по 2200 фунтов взрывчатых веществ, шум производят как некий супермотоцикл и как раз сейчас проносятся над тем местом, где пишутся эти строки.

В Нью-Йорке один мой очень уважаемый коллега сказал мне, что не намерен возвращаться на европейский театр военных действий, потому что не сможет написать ничего, кроме повторений уже написанного. Пользуюсь случаем заверить моего уважаемого коллегу, что опасность повториться в корреспонденции — отнюдь не самая серьезная из тех, которым сейчас подвергаются его бывшие товарищи по работе.

Итак, если вы читаете внимательно — сам я, надо сказать, немного отвлекся из-за неполадок с оконными стеклами,— вы помните, что мы находимся где-то на юге Англии, где группа летчиков, летающих на «Бурях», за семь дней сбила положенное им количество самолетов-снарядов. Это оружие называют и бомба-робот, и самострел, и жужжалка, и всякими другими именами, рожденными в изобретательных умах молодчиков с Флит-стрит, но я никогда не слышал, чтобы боксеры называли Джо Луиса Тутси. Поэтому в данной корреспонденции мы будем по-прежнему называть это оружие самолетом-снарядом, а вы можете называть его любым оригинальным или ласкательным именем, но только, пожалуйста, про себя.

Накануне того дня, когда ваш референт по самолетам-снарядам приступил к изучению угла перехвата, он, или я (скорее всего я, хотя порой мне кажется, что я тут не на месте и, пожалуй, следует бросить все это дело и вернуться к писанию книг в жестких переплетах), летал на одном из сорока восьми бомбардировщиков «Митчелл» — восемь треугольников по шесть самолетов — бомбить одну из баз, с которых запускают самолеты-снаряды.

Любой новичок с легкостью определит местоположение этих баз по количеству валяющихся вокруг них старых «Митчеллов», а также по тому, что, когда к ним приближаешься, рядом с твоей машиной появляются большие черные кольца дыма. Эти черные кольца дыма называются флак, или зенитный огонь, и этот самый флак породил всем известную формулу умолчания — «два наших самолета на базу не вернулись».

Так вот, мы (вернее, командир авиаполка Линн, человек, с которым хорошо летать и который отвечает бомбардиру Кису, когда тот, зайдя на цель, докладывает в переговорную трубку «Раз... два... три... четыре» таким же ровным, обыденным голосом, каким говорит на земле) разбомбили эту базу точно, как по нотам. Я хорошо разглядел ее — огромное бетонное сооружение, которое лежало то на боку, то на брюхе (в зависимости от того, видишь ли его перед заходом на цель или после), в лесу, со всех сторон окруженном воронками от бомб. Над ним висело два облачка, отнюдь не казавшихся одинокими, как те, про которые написано в стихах «Подобно облаку, бродил я, одинок».

Те самые кольца черного дыма в большом количестве поднимались к нам, возникали все в ряд, внутри треугольника, между нами и соседним «Митчеллом» справа от нас, очень похожим на изображение «Митчелла» на рекламе фирмы. И пока рядом возникали кольца дыма, брюхо машины раскрылось, с силой оттолкнуло воздух — прямо как в кино,— и из нее косо выпали все бомбы, точно она в спешке разродилась восемью длинными металлическими котятами.

Все мы одновременно проделывали то же самое, но видна нам была только эта одна машина. Потом мы все полетели домой как можно быстрее. Вот это и есть бомбежка. В отличие от многих других случаев жизни, приятнее всего бывает после. Пожалуй, это немного напоминает пребывание в университете. Главное не то, много или мало ты выучишь. Главное — каких чудесных людей узнаешь.

Ваш референт по самолетам-снарядам никогда не учился в университете, поэтому теперь он поступил в Королевские воздушные силы, и главный предмет его учебной программы — научиться понимать англичан по радиотелефону. Лицом к лицу с англичанином я понимаю почти все, что он говорит. Я вполне прилично говорю, читаю и пишу по-канадски, немножко знаком с шотландским и знаю несколько слов по-новозеландски. Австралийский я знаю достаточно для того, чтобы перекинуться в карты, заказать выпивку и протиснуться к стойке, если бар переполнен. Разговорным южноафриканским языком владею почти так же хорошо, как языком басков. Но английский по радиотелефону остается для меня тайной.

На близком расстоянии, по переговорному устройству в бомбардировщике, я улавливаю почти все. Надавишь кнопку на ручке управления, чтобы было слышно только то, что говорится в кабине, и начинаются долгие интимные беседы, вроде: «Какой это сукин сын там разговаривает?» — и ты отвечаешь: «Не знаю. Наверно, тот же фриц, который в день вторжения все твердил: «Назад, назад, операцию отменили!» — «И как он умудрился поймать нашу волну?»

Пожимаешь плечами и снимаешь палец с кнопки. Такой разговор мне доступен, но когда настоящие англичане начинают переговариваться по-английски с самолета на самолет или с носа на хвост, я вслушиваюсь изо всех сил, точно готовлю домашний урок, да притом по чужому учебнику высшей математики, когда сам не одолел еще и планиметрии.

Я и по обыкновенному-то телефону понимаю английский еще неважно и поэтому, усвоив правила добрососедской политики, всегда отвечаю «да» и только прошу повторить, в котором часу завтра утром придет машина, чтобы везти нас на тот аэродром, откуда нам предстоит взлететь.

Этим объясняется участие вашего референта по самолетам-снарядам во многих любопытных вылазках. Он вовсе не из тех, кого вечно тянет искать опасности в небе или бросать вызов законам земного притяжения; просто он, не всегда ясно понимая, что именно ему предлагают по телефону, раз за разом оказывается вовлеченным в уничтожение этих чудовищ в их жутких логовах или в попытки перехватить их на прелестном, развивающем скорость до 400 миль в час самолете «Москит».

В настоящее время ваш референт по самолетам-снарядам прекратил какие бы то ни было телефонные разговоры, чтобы подогнать свои записи,— не то кто-нибудь, чего доброго, великодушно предложит ему что-нибудь столь захватывающее по части воздушных операций, что он не выполнит своего долга по отношению к этой великой книге. Впрочем, до того, как разговоры были прекращены, поступило два-три достаточно заманчивых предложения, и, насколько мне известно, в некоторых кругах не стесняются высказывать мнения, вроде следующих:

— Эрни — трус. Мог бы летать на черт знает какие интересные задания, а он заперся в своей комнате и знаешь что делает?

— Что?! (В голосе ужас.)

— Пишет.

— Ну и ну! Долетался, бедняга!

БИТВА ЗА ПАРИЖ

«Кольерс», 30 сентября 1944

19 августа я в сопровождении рядового Арчи Пелки из Кантона, штат Нью-Йорк, заехал на КП пехотного полка дивизии, расположенный в лесу близ Ментенона, чтобы получить информацию об участке фронта, который удерживал этот полк. Начальник разведки и начальник оперативного отдела показали мне, где стоят их батальоны, и сообщили, что самый передовой отряд боевого охранения находится в пункте сразу за Эперноном, на дороге в Рамбуйе (23 мили к юго-западу от Парижа), где расположены летняя резиденция и охотничий домик президента Франции. Мне сказали также, что под Рамбуйе идут тяжелые бои. Я хорошо знал местность и дороги в районе Эпернона, Рамбуйе, Траппа и Версаля, потому что много лет путешествовал по этой части Франции пешком, на велосипеде и в машине. Лучше всего знакомишься с какой-нибудь местностью, путешествуя на велосипеде, потому что в гору пыхтишь, а под гору можно ехать на свободном ходу.

Вот так и запоминаешь весь рельеф, а из машины успеваешь заметить только какую-нибудь высокую гору и подробности ускользают — не то что на велосипеде. В боевом охранении полка мы застали нескольких французов, только что прикативших на велосипедах из Рамбуйе. Кроме меня, никто из наших военных не говорил по-французски, и они рассказали мне, что последние немцы ушли из Рамбуйе в три часа ночи, но дороги, ведущие в город, заминированы.

С этими сведениями я двинулся было обратно в штаб полка, но, проехав немного, сообразил, что лучше вернуться и забрать французов с собой, чтобы их самих допросили и получили более полные данные. Когда я снова прибыл в сторожевое охранение, там оказались две машины, полные французских партизан, по большей части голых до пояса. Они были вооружены пистолетами и двумя автоматами «Стэн», которые им сбросили с парашютом. Они только что прибыли из Рамбуйе, и их рассказ об отходе немцев совпадал с тем, что сообщили другие французы.

Мы с рядовым Пелки доставили их в штаб полка — наш джип шел впереди, а их две машины следом,— и там я перевел соответствующему начальству их рассказ о положении в городе и о состоянии дорог.

Потом мы вернулись в боевое охранение, чтобы дождаться отряда разминирования и разведотряда, которые должны были туда прибыть. Мы ждали довольно долго, и французские партизаны стали терять терпение. Выходило, что нужно ехать до первого минного поля и поставить там охрану, чтобы на мины не нарвались какие-нибудь американские машины, которые могли там оказаться.

Мы продвигались в сторону Рамбуйе, когда к нам присоединился офицер противотанковой роты пехотного полка лейтенант Ирвинг Кригер из Ист-Оренджа, штат Нью-Джерси. Лейтенант Кригер был низенький, коренастый, донельзя грубый и очень веселый. Я сразу заметил, что партизанам он понравился, а стоило им увидеть, как он находит и извлекает мины, они прониклись к нему полным доверием. Когда работаешь с иррегулярными частями, единственная дисциплина — это дисциплина личного примера. Пока они в тебя верят, они будут драться. Перестав верить в тебя или в необходимость порученного им дела, они тотчас исчезают.

Военным корреспондентам запрещено командовать войсками, и этих партизан я просто доставил в штаб пехотного полка, чтобы они там рассказали, что знают. Как бы то ни было, этот день начался замечательно, а потом, приближаясь к Рамбуйе по ровной, черной, обсаженной большими платанами дороге, вдоль которой слева тянулась стена парка, мы увидели впереди завал.

Во-первых, слева лежал разбитый джип. Затем две германские танкетки — они их используют как противотанковые торпеды. Одна расположилась на дороге и смотрела прямо нам навстречу, когда мы ехали под гору к завалу из срубленных деревьев. Другая стояла справа от обочины. В каждой было по двести фунтов тринитротолуола, а подключенные к ним провода уходили на заднюю сторону завала. Если бы на доро-

ге появилась колонна танков, одну из этих самоходок можно было выпустить прямо ей в лоб. Если бы машины свернули правее, а ничего другого им бы не оставалось, поскольку слева тянулась стена, вторую танкетку можно было пустить им во фланг. Они сидели на дороге, как две мерзкие жабы. Перед самым завалом валялся еще один разбитый джип и большой грузовик, тоже разбитый.

Лейтенант Кригер нырнул в минное заграждение, поставленное вокруг двух больших, брошенных поперек дороги деревьев, как мальчишка, которому не терпится найти свое имя на пакетах с подарками, сложенных под рождественской елкой. Под его руководством рядовой Пелки и партизаны стали складывать мины на стенку у обочины. От французов мы узнали, что в этом месте немцы расстреляли американский разведывательный патруль. Броневик, который шел впереди, они пропустили к Рамбуйе, а грузовик и оба джипа обстреляли из противотанковых ружей и пулеметов и убили семь человек. А потом достали из грузовика американские мины и заминировали дорогу.

Французы похоронили американцев в поле, близ дороги, где они попали в засаду, и пока мы убирали мины, пришли несколько французских женщин, положили на могилы цветы и помолились о погибших. Разведотряд так и не появился, но прибыли люди лейтенанта Кригера, и он наладил радиосвязь с полком.

Я отправился в город с патрулем французских партизан, и мы узнали, на какое расстояние отошли немцы и какова их численность. Эти сведения я сообщил лейтенанту Кригеру, и поскольку между нами и немцами не было никакого заслона, а у немцев, как мы выяснили, сейчас же за городом имелось не меньше десяти танков, было решено восстановить минное заграждение на случай, если немцы вздумают вернуться, и оставить возле него охрану. К счастью, в эту минуту подошла разведывательная рота под командованием лейтенанта Питерсона из Кливленда, штат Огайо, и одной заботой у нас стало меньше.

Вечером наши французские партизаны выставили патрули на главных дорогах, ведущих из Рамбуйе, чтобы оградить разведроту лейтенанта Питерсона, расположившуюся в центре города. Ночью лил дождь, и к утру французы промокли и устали. Накануне днем они облачились в комплекты полевой формы, оставшиеся в грузовике, в котором тех американцев перебили из засады.

Когда мы входили в город в первый раз, все они, кроме двух, были голые до пояса, и население при виде их не выказало никакого восторга. Во второй раз они все уже были в форме, и нам досталась изрядная доля приветствий. Когда мы проходили по улицам в третий раз, все были в касках, и нас встречали оглушительными криками, душили в объятиях и поили шампанским, и мы устроили свой штаб в отеле «Гран Венер», где имелся превосходный винный погреб.

На второй день утром я вернулся на КП пехотного полка, чтобы доложить о положении в Рамбуйе и о том, какие силы немцев действуют между Рамбуйе и Версалем. Люди из французской жандармерии и партизаны в жандармских мундирах то и дело заглядывали в Версаль, и чуть ли не каждый час поступали сведения от французских групп Сопротивления. У нас были точные данные о передвижении немецких танков, огневых позициях, зенитных батареях, о численности и расположении немецких войск.

Сведения эти все время уточнялись и дополнялись. Командир пехотного полка попросил меня проехать в штаб дивизии, и там я доложил обстановку в Рамбуйе и его окрестностях, и для отрядов французского Сопротивления было получено кое-какое оружие из запасов трофейного имущества в Шартре.

Когда я вернулся в Рамбуйе, оказалось, что лейтенант Питерсон немного продвинул свою роту по дороге к Версалю и что в поддержку ему прибыл еще один разведотряд с танками. Приятно было видеть в городе войска и знать, что между нами и немцами не пустое пространство,— ведь нам теперь было известно, что среди пятнадцати немецких танков, действующих в районе севернее Рамбуйе, есть три «тигра».

Во второй половине дня в город наехало много народу. Здесь собрались офицеры разведки, английской и американской, вернувшиеся с заданий или отбывающие на задания, несколько корреспондентов, полковник из Нью-Йорка — старше его американских офицеров не было — и капитан-лейтенант Лестер Армор из резерва военно-морских сил США, и вдруг оба бронетанковых разведотряда получили приказ, гласящий, что все задания отменяются, и с указанием пункта, куда им надлежит отойти.

С их уходом между городом и немцами не осталось никаких войсковых частей. Мы теперь точно знали и численность немцев, и их тактику. Они гоняли свои танки в районе между Траппом и Ноф-ле-Вье, блокируя дорогу в Версаль из Гудона. Время от времени они то тут, то там высылали танки по боковым дорогам на главное шоссе между Рамбуйе и Версалем, а район к востоку от Шеврез и Сен-Реми-ле-Шеврез патрулировали их легкие танки и мотоциклисты.

К ночи, когда американские разведотряды отошли, оборону Рамбуйе составляли только смешанные патрули из регулярных войск и партизан, вооруженные противотанковыми гранатами и стрелковым оружием. Всю ночь лил дождь, и часть этой ночи, между двумя и шестью часами, была, кажется, самой тоскливой в моей жизни. Не знаю, поймете ли вы, что это значит — только что впереди у вас были свои части,

а потом их отвели, и у вас на руках остался город, большой, красивый город, совершенно не пострадавший и полный хороших людей. В книжке, которую роздали корреспондентам в виде руководства во всех тонкостях военного дела, не было ничего, применимого к такой ситуации; поэтому было решено по возможности прикрыть город, а если немцы, обнаружив отход американских частей, пожелают установить с нами соприкосновение, в этом желании им не отказывать. В таком духе мы и действовали.

В последующие дни немецкие танки бродили впереди нас по всем дорогам. Они брали заложников в деревнях. Хватали людей из отрядов Сопротивления и расстреливали их. Совались куда хотели. Но все это время по пятам за ними следовали французские партизаны на велосипедах, доставлявшие точные данные об их передвижениях.

Человек не должен был появляться в каком-то месте больше одного раза, если только у него не было законного предлога для езды туда и обратно. Иначе немцы заподозрили бы его и пристрелили. Людей, знавших, как нас мало, по возвращении с задания держали под арестом, чтобы лишить их возможности вернуться на захваченную немцами территорию, где их могли схватить и заставить отвечать на вопросы.

Из одной германской танковой части, расположенной впереди нас, дезертировал совсем юный поляк. Свой мундир и автомат он закопал в землю и пробрался к нам в нижнем белье и в брюках, которые нашел в каком-то разбомбленном доме. Он принес полезные сведения, и мы отправили его работать в кухне отеля.

Секретная служба у нас была отнюдь не на должной высоте, поскольку все, кто носил оружие, были заняты в патрулях, но я помню, как шокирован был полковник, когда повар, явившись в столовую, служившую командным пунктом, попросил разрешения послать пленного одного в пекарню за хлебом. Полковник был вынужден отклонить эту просьбу. Позже пленный как-то попросил меня послать его под конвоем откопать мундир и автомат, чтобы он мог сражаться. Эту его просьбу тоже пришлось скрепя сердце отклонить.

В этот период войны без правил немецкий танк подобрался однажды на расстояние в три мили от города и убил очень симпатичного полисмена, стоявшего в дозоре, и одного из наших местных партизан. Все, кто видел это, нырнули в канаву и стали стрелять по танку, а он, установив соприкосновение, удалился. Немцы в то время проявляли прискорбную склонность воевать строго по уставу. Если бы они послали устав к черту, они могли бы войти в город и распивать превосходные вина в отеле «Гран Венер» и даже вытащить из кухни своего поляка и либо расстрелять его, либо опять нарядить в мундир.

Странно протекала в те дни жизнь в отеле «Гран Венер». Один старик, которого я видел за неделю до того при взятии Шартра и подвез на своем джипе до Эперно-на, потом явился ко мне и заявил, что, по его мнению, в лесу близ Рамбуйе можно собрать много интересных сведений. Я сказал ему, что я корреспондент и что это не мое собачье дело. И вот теперь я встречаю его на какой-то дороге в шести милях к северу от города, и он выкладывает мне полные данные относительно минного поля и противотанковой батареи на шоссе сейчас же за Траппом. Послали проверить его сведения, они подтвердились. После этого пришлось взять старика под стражу, потому что он хотел опять отправиться за информацией, а он слишком много знал о нашем положении, нельзя было рисковать, что его сцапают немцы. И он оказался под арестом вместе с юным поляком.

Всем этим должна была заниматься контрразведка. Но у нас таковой не было, как не было и отдела связи с местным населением. Помню, полковник как-то сказал: «Эх, Эрни, если бы у нас было хоть немножко Си-Ай-Си, хоть самый паршивый отдел связи с населением! Передоверьте все это французам». Все приходилось передоверять французам. Обычно, хоть и не всегда, все без промедления передоверялось обратно нам.

В эти дни партизаны величали меня «капитан». Для человека сорока пяти лет это очень низкий чин, поэтому при посторонних они обычно называли меня «полковник». Но мой низкий чин немного огорчал их и тревожил, и как-то один из них, который до этого целый год занимался тем, что перетаскивал мины и взрывал германские грузовики с боеприпасами и штабные машины, доверительно спросил меня:

— Мой капитан, как случилось, что вы, в вашем возрасте, после несомненно долгих лет службы и при явных ранениях (это я в Лондоне налетел на ни в чем не повинную цистерну с водой) до сих пор всего лишь капитан?

— Молодой человек,— отвечал я ему,— я не мог получить более высокого чина, потому что не обучен грамоте.

В конце концов прибыла другая американская разведчасть и расположилась на дороге в Версаль. Таким образом город оказался прикрыт, и мы могли посвятить все свое время засылке патрулей на территорию немцев и сбору подробных сведений об их обороне, с тем чтобы, когда начнется наступление на Париж, части, осуществляющие это наступление, могли опираться на точные данные.

О самых ярких из запомнившихся мне моментов (если не считать того, что много раз я пережил сильный испуг) сейчас еще нельзя писать. Мне бы, например, очень хотелось рассказать о том, как проводил время полковник и днем и ночью. Но публиковать это рано.

Вот как выглядел в то время так называемый фронт. Спускаешься по шоссе к деревне с заправочной станцией и кафе. Деревня маленькая, напротив кафе — церковный шпиль. С этого места виден длинный подъем шоссе позади и длинный кусок шоссе впереди. Два человека стоят на дороге с биноклями. Один просматривает дорогу в северном направлении, другой — в южном.

Это необходимо, потому что немцы есть и впереди нас, и в тылу. Две девушки идут по дороге к городу, занятому немцами. Девушки хорошенькие, в туфлях на красных каблуках. Подходит партизан и говорит:

— Эти спали с немцами, когда те стояли здесь. Теперь идут к немецким позициям, могут чего-нибудь наболтать.

— Задержать их,— говорит кто-то.

Тут раздается крик:

— Машина! Машина!

— Их или наша?

— Ихняя!

Все, у кого есть винтовки или автоматы, прячутся за кафе и заправочной станцией, а несколько осторожных граждан удирают в поле. Приближается крошечный немецкий джип и с дороги напротив заправочной станции открывает огонь из 20-миллиметровой пушки. Все по нему стреляют, и он разворачивается и уходит, откуда пришел. Вслед ему стреляют осторожные граждане — убедившись, что джип уходит, они очень расхрабрились. Всего потерь: два энтузиаста, которые со стаканами в руках упали на пол в кафе и слегка порезались.

Обеих девиц, которые, как выясняется, не только питали симпатии к немцам, но и говорят по-немецки, вытаскивают из канавы и запирают на замок, чтобы потом отослать в тыл. Одна из них уверяет, что только ходила с немцами купаться.

— Голая? — спрашивает партизан.

— Нет, мосье,— отвечает она.— Они всегда держались очень прилично.

В сумочках у них находят много адресов, записанных по-немецки, и других предметов, не вызывающих к ним любви местного населения, и их отсылают обратно в Рамбуйе. Никаких истерик, их не бьют, не пытаются остричь им волосы. Немцы еще слишком близко.

В двух милях отсюда, левее, немецкий танк входит в деревню, и танкисты узнают трех партизан, которые несколько раз попадались им на глаза, когда следили за их передвижениями.

Одного из этих партизан я как-то спросил, видел ли он танк своими глазами, и он ответил: «Капитан, я до него дотронулся». Немцы пристреливают партизан и трупы их оставляют у дороги. Через час эту новость сообщает нам другой партизан, прибывший из этой деревни. Люди качают головами, и теперь немцев, которых все время вылавливают в лесах — это остатки частей, успевших спастись из Шартра,— будет труднее отправлять живыми в тыл для допроса.

Появляется какой-то старик и говорит, что его жена держит под дулом револьвера пятерых немцев. Револьвер ему дали вчера вечером, когда он рассказал, что немцы заходят из лесу в его дом просить еды. Это — не те организованные немцы, что воюют впереди нас, а остатки разгромленных частей, прячущиеся в лесу. Некоторые из них пытаются найти свою армию и воевать дальше. Другие мечтают сдаться в плен, если додумаются, как это сделать и притом не быть убитыми.

Посылаем машину за пятью немцами, которых держит на мушке старуха.

— Убить их можно? — спрашивает боец из патруля.

— Только если они эсэсовцы,— отвечает один из партизан.

— Давайте их сюда, допросим и переправим в штаб дивизии,— говорю я, и машина отъезжает.

Тот юный поляк — лицом он похож на Джеки Купера в детстве — протирает стаканы в столовой отеля, а старик курит трубку и размышляет, когда его выпустят отсюда и он снова пойдет на задание.

— Мой капитан,— говорит старик,— почему мне не разрешают делать нужное дело, вместо того чтобы отдыхать здесь, в саду отеля, когда на карту поставлен Париж?

— Вы слишком много знаете,— отвечаю я,— нельзя рисковать, что вы попадете к немцам.

— Мы с полячком могли бы выполнить полезное задание, а если он попробует сбежать, я его убью.

— Он не может идти на полезное задание,— говорю я.— Его можно только включить в какую-нибудь часть.

— Он говорит, что вернется в мундире и доставит любые нужные сведения.

— Хватит рассказывать сказки,— говорю я старику.— А стеречь полячка здесь некому, значит, вы за него отвечаете.

Тут доставили множество всякой информации, которую нужно было проанализировать, оценить и отпечатать на машинке, и мне пришлось уехать в Сен-Реми-ле-Шеврез. Поступило сообщение, что к Рамбуйе подходит французская Вторая бронетанковая дивизия генерала Леклерка, следующая на Париж и нам нужно было подготовить для нее все данные о расположении немцев.

КАК МЫ ПРИШЛИ В ПАРИЖ

«Кольерс», 7 октября 1944

Нет слов, чтобы описать чувства, которые я испытал, когда к юго-востоку от Парижа появилась бронетанковая колонна генерала Леклерка. Я только что вернулся из района, где действовал наш патруль, где я пережил минуты смертельного страха и где нас перецеловали все подонки городка, вообразившего, что, случайно оказавшись там, мы его освободили, когда мне сказали, что сам генерал находится на подступах к Рамбуйе и желает нас видеть. Вместе с одним из крупных командиров Сопротивления и с полковником Б., который к тому времени был известен всему Рамбуйе как доблестный офицер и важная персона и который, как нам казалось, командовал в городе с незапамятных времен, мы не без торжественности приблизились к генералу. Его приветствие — абсолютно непечатное — будет звучать у меня в ушах, пока я жив.

— Катитесь отсюда, такие-растакие,— вот что произнес доблестный генерал тихо, почти шепотом, после чего полковник Б., король Сопротивления и ваш референт по бронетанковым операциям удалились.

Позже начальник разведки дивизии пригласил нас на обед, и уже на следующий день они действовали, опираясь на данные, которые собрал для них полковник Б. Но для вашего корреспондента описанная встреча была кульминационной точкой наступления на Париж.

Военный опыт убедил меня в том, что грубый генерал — это генерал, который нервничает. В то время я не сделал такого вывода, а поспешил снова уехать в патруль, где мог надежно держать собственные нервы в джипе, а мои друзья могли попытаться выяснить, какого рода сопротивление мы встретим на следующий день между Туссю-ле-Ноблем и Ле-Крист-де-Сакле.

Выяснив, каково будет это сопротивление, мы возвратились в отель «Гран Венер» в Рамбуйе и провели беспокойную ночь. Я уже точно не помню, что породило это беспокойство,— возможно, то, что в доме было слишком много народу, включая одно время даже двух военных полицейских. А может, оно объяснялось тем, что мы ушли слишком далеко вперед от своих запасов витамина B1 и под действием алкоголя расшатались нервы даже у самых стойких партизан, которые освободили слишком много городов в слишком короткий срок. Так или иначе, я был неспокоен, и едва ли будет преувеличением сказать, что те, кого мы с полковником Б. к тому времени привыкли называть «наши люди», тоже были неспокойны.

Начальник партизан, фактически командовавший «нашими людьми», говорил:

— Мы хотим в Париж. К чему эти чертовы проволочки?

— Никаких проволочек, начальник,— отвечал я.— Все это — часть грандиозной операции. Имейте терпение. Завтра мы войдем в Париж.

— Надеюсь,— сказал начальник партизан.— Меня там уже давно жена дожидается. Я, черт возьми, желаю войти в Париж и повидаться с женой и не понимаю, зачем это мы должны ждать, пока подойдут какие-то части.

— Потерпите,— сказал я ему.

В ту знаменательную ночь мы спали. Пусть ночь знаменательная, но завтра, конечно же, будет еще более знаменательный день. Я уже предвкушал назавтра настоящий хороший бой, но меня ждало разочарование: среди ночи в отель явился партизан, разбудил меня и сообщил, что все немцы, какие в состоянии двигаться, уходят из Парижа. Боев назавтра было не миновать, судя по заслону, который оставила германская армия. Но ничего серьезного мы не ждали, поскольку немецкие расположения были нам известны и мы могли либо атаковать их, либо обойти, и я заверил своих партизан, что если они наберутся терпения, то при вступлении в Париж регулярные части будут впереди нас, а не позади, что, конечно, предпочтительнее.

Однако они не оценили этого преимущества. Правда, один из подпольных командиров был со мной согласен и заявил, что простая вежливость требует пропустить войска вперед, а к тому времени, как мы достигли Туссю-ле-Нобля, где произошел короткий, но ожесточенный бой, был получен приказ, запрещающий как партизанам, так и корреспондентам двигаться вперед, пока не пройдет вся колонна.

В тот день, когда мы наступали на Париж, шел сильный дождь, и через час после выхода из Рамбуйе все промокли до нитки. Мы двигались через Шеврез и Сен-Реми-ле-Шеврез, где до того разъезжали наши патрули и где нас хорошо знали местные жители, у которых мы собирали сведения и с которыми распили не один стакан арманьяка, чтобы заглушить недовольство наших партизан, уже тогда бредивших Парижем. В те дни я убедился, что единственный способ прекратить спор — это выставить бутылку все равно чего, было бы крепко.

Пройдя через Сен-Реми-ле-Шеврез, где нас восторженно приветствовал местный мясник, участвовавший в предыдущих операциях и с тех пор бывший немного не в себе, мы допустили небольшую ошибку — оказались раньше главной колонны в деревне Курсель. Там нам сообщили, что впереди нас нет ни одной машины, и, к великому возмущению наших людей, которые желали идти, как им казалось, кратчайшим путем в Париж, мы возвратились в Сен-Реми-ле-Шеврез на соединение с бронетанковой ко-

лонной, следовавшей на Шатофор. Местного мясника наше возвращение сильно встревожило. Но когда мы объяснили ему ситуацию, он опять стал восторженно нас приветствовать, и мы, наскоро выпив по маленькой, решительно двинулись к Туссю-ле-Ноблю, где, как я знал, колонне предстояло сражаться.

Я знал, что здесь немцы окажут сопротивление — и прямо впереди, и справа от нас, у Ле-Крист-де-Сакле. У них был подготовлен ряд оборонительных огневых точек между Шатофором и Туссю-ле-Ноблем, а также дальше, за развилкой дорог. За аэродромом, ближе к Бюку, стояли их 88-миллиметровые орудия, державшие под обстрелом весь этот участок дороги. По мере приближения к Траппу, где действовали танки, беспокойство мое нарастало.

Французские бронечасти действовали превосходно. Не доходя Туссю-ле-Нобля, где, как мы знали, немцы с пулеметами прятались в копнах пшеницы, танки развернулись и прикрыли нас с обоих флангов, и нам было видно, как они катят вперед по сжатому пшеничному полю, точно на маневрах. Немцев никто не видел до тех пор, пока они, уже после прохода танков, не стали выходить из своих укрытий с поднятыми руками. Вот как надо использовать бронесилы, тактика которых вызывает столько споров. И зрелище это было великолепное.

И против тех самых танков и четырех 88-миллиметровых орудий, которые были у немцев за аэродромом, французы тоже хорошо себя показали. Их артиллерия находилась позади, на другом поле, и когда германские орудия — четыре из них подвезли только ночью и оставили без всякого укрытия — стали обстреливать колонну, на них обрушилась французская механизированная артиллерия. В грохоте германских снарядов, 20-миллиметровок и пулеметного огня не слышно было собственного голоса, но командир партизан, тот, что обрабатывал данные о расположении немцев, крикнул мне по-французски прямо в ухо: «Соприкосновение прекрасное. В точности там, где мы указали. Прекрасно!»

На мой вкус, это было даже слишком прекрасно — я вообще не любитель соприкосновения,— к тому же, когда у самой дороги разорвался 88-миллиметровый снаряд, меня сбило с ног. Соприкосновение — дело очень шумное. Поскольку наша колонна здесь задержалась, наиболее энергичные из партизан стали помогать ремонтировать дорогу, которую бронемашины размесили в кашу, и это отвлекло их внимание от окружающего концерта. Они засыпали ямы кирпичом и черепицей от разрушенного дома, передавали по цепи куски бетона и обломки стен. Дождь лил не переставая, и к тому времени, когда соприкосновение кончилось, в колонне было двое убитых и пять раненых, один танк сгорел, а из семи вражеских танков мы вывели из строя два и подавили все их 88-миллиметровые пушки.

— C'est un bel accrochage! — ликовал командир партизан.

Это значит приблизительно «здорово мы с ними схлестнулись» или «знатно мы их прижали», а технически употребляется в тех случаях, когда две машины сцепятся бамперами.

Я крикнул:

— Здорово, здорово!

Услышав это, молоденький французский лейтенант, который, судя по его виду, не успел принять участия в особенно многих accrochages, но мог иметь их на счету и сотни, сказал мне:

— А вы, черт возьми, кто такой и что вы тут делаете в нашей колонне?

— Я военный корреспондент, мосье,— ответил я.

Лейтенант заорал:

— Не пропускать никаких военных корреспондентов, пока не пройдет колонна. А главное — не пропускать вот этого!

— Есть, мой лейтенант,— сказал военный полицейский.— Я за ним послежу.

— И этот партизанский сброд задержите,— приказал лейтенант.— Ни одного из них не пропускать, пока не пройдет вся колонна.

— Мой лейтенант,— сказал я,— весь сброд будет убран с глаз долой, как только закончится этот небольшой accrochage и колонна двинется дальше.

— Какой еще небольшой accrochage? — вопросил он, и в голосе его мне определенно послышалась неприязнь.

Тут, поскольку обогнать колонну нам все равно бы не разрешили, я избрал тактику ускользания и зашлепал по мокрой дороге в какой-то трактир. Там сидело множество партизан, они орали песни и развлекались с прелестной молодой испанкой из Бильбао, которую я в последний раз видел на знаменитом пропускном пункте возле города Коньер. Это тот город, который мы брали у немцев всякий раз, как из него уходил один из их танков, а стоило нам отойти с дороги, как они брали его обратно. Испанка эта с пятнадцати лет следовала за войсками и предшествовала войскам, и ни она, ни партизаны не обращали на accrochage ни малейшего внимания.

Один партизанский командир по имени К. предложил: «Выпейте этого превосходного белого вина». Я как следует потянул из бутылки, а в ней оказался невероятно крепкий ликер, отдающий апельсинами и называемый «Гран Марнье».

Мимо окна пронесли носилки с раненым.

— Вон, глядите,— сказал один партизан,— воинские части все время допускают потери. Почему нам не разрешают пройти вперед как разумным людям?

— Ладно, ладно,— сказал другой партизан в американской полевой форме и с нарукавной повязкой французских сил Сопротивления.— А тех товарищей, что были убиты вчера на дороге, ты забыл?

Еще кто-то сказал:

— Все равно сегодня войдем в Париж.

— Давайте немного вернемся и попытаем счастья через Ле-Крист-де-Сакле,— сказал я.— Здесь понаехало много начальства, нас не пропустят вперед ни на шаг, пока не пройдет колонна. И дороги разворочены. Легковые машины мы бы еще могли протолкнуть, но грузовик завязнет, тогда что делать?

— Можно пробраться по одной из боковых дорог,— сказал командир партизан К.— Что это за новая мода — плестись в хвосте колонны?

— По-моему, лучше вернуться в Шатофор,— сказал я.— Так получится намного быстрее.

На перекрестке у Шатофора мы встретились с полковником Б. и командиром А., которые отделились от нас еще до того, как мы попали в accrochage, и рассказали им, какое замечательное получилось соприкосновение. В поле все еще стреляла артиллерия, и наши два доблестных офицера успели позавтракать на какой-то ферме. Французские солдаты из колонны жгли ящики от снарядов, использованных артиллерией, и мы сняли мокрую одежду и посушили ее у костров. Подходили немецкие пленные, и офицер из колонны попросил нас послать партизан туда, где только что сдалась в плен группа немцев, прятавшихся в копнах пшеницы. Партизаны доставили их шикарно, по-военному, живыми и невредимыми.

— Но ведь это идиотство, мой капитан,— сказал старший из конвоя.— Теперь кому-то придется их кормить.

Пленные сказали, что работали в Париже в разных учреждениях, а сюда их привезли только вчера, в час ночи.

— И вы верите в эту чепуху? — спросил старший из партизан.

— Это возможно. Вчера днем их здесь не было,— отвечал я.

— Претит мне эта армейская канитель,— сказал старший из партизан. Ему был сорок один год, у него было худое, острое лицо с ясными голубыми глазами и редкая, но очень хорошая улыбка.— Эти немцы замучили и расстреляли одиннадцать человек из нашего отряда. Меня они били и пинали ногами и расстреляли бы, если бы знали, кто я. А теперь нам предлагается охранять их бережно и уважительно.

— Они не ваши пленные,— объяснил я.— Их захватила армия.

Дождь превратился в легкий подвижный туман, потом небо расчистилось. Немцев отправили в Рамбуйе на большом немецком грузовике, который партизанскому начальнику хотелось — и не без оснований — на время убрать из отряда. Сообщив военному полицейскому на перекрестке, где грузовик может нас снова найти, мы поехали за колонной дальше.

Мы нагнали танки на одной из боковых дорог, идущих параллельно магистрали Версаль — Париж, и вместе с ними спустились в лесистую долину, а потом выехали в зеленые поля, среди которых высился старинный замок. Здесь танки снова развернулись, как овчарки, охватывающие с боков отару овец. Пока мы возвращались посмотреть, свободна ли дорога через Ле-Крист-де-Сакле, они уже побывали в деле, и мы проехали мимо сожженного танка и трех немецких трупов. Один из немцев попал под гусеницы и расплющился так, что ни у кого не могло остаться сомнений в мощи бронесил при надлежащем их использовании.

На шоссе Версаль — Виллакубле колонна проследовала мимо разбитого аэродрома Виллакубле к развилке на Порт-Кламар. Здесь колонна задержалась, и какой-то француз, подбежав к нам, сообщил, что на дороге, ведущей в лес, появился небольшой германский танк. Я стал просматривать дорогу в бинокль, но ничего не увидел. Тем временем германская машина, которая оказалась не танком, а джипом, защищенным легкой броней, на котором были установлены пулемет и 20-миллиметровая пушка, развернулась в лесу и на полной скорости помчалась в нашу сторону, стреляя по развилке.

Все стали по ней палить, но она снова развернулась и умчалась в лес. Арчи Пелки, мой шофер, выстрелил по ней два раза, но не был уверен, что попал. Двое людей были ранены, их отнесли под прикрытие углового дома для оказания первой помощи. Теперь, когда снова началась стрельба, партизаны воспрянули духом.

— Работы еще хватит. Еще будет работка,— сказал партизан с острым лицом и голубыми глазами.— Хорошо хоть, немножко этой сволочи здесь осталось.

— Вы как думаете, придется нам еще воевать? — спросил меня партизан К.

— Без сомнения,— ответил я.— Их и в самом Париже еще достаточно.

Для меня лично военной задачей в это время было попасть в Париж живым. Достаточно мы подставляли головы под пули. Париж вот-вот будет взят. Теперь во время уличных боев я искал укрытия — как можно более надежного — и чтобы знать, что кто-то прикрывает меня с лестницы, если я стою в дверях фермы или в подъезде квартирного дома.

Колонна теперь наступала так, что любо-дорого было смотреть. Вот впереди завал из срубленных деревьев. Танки обходят их или раскидывают, как слоны, разбирающие бревна. А не то вгрызаются в баррикаду из старых автомобилей и мчатся

дальше, волоча за собой какую-нибудь развалюху, зацепившуюся за гусеницы. Танки, столь уязвимые и робкие в тесных, пересеченных изгородями районах, где с ними легко расправляются и противотанковые пушки, и базуки, и всякий, кто их не боится, здесь крушили все вокруг, как стадо пьяных слонов в туземной деревне.

Впереди нас, слева, горел немецкий склад боеприпасов, разноцветные зенитные снаряды рвались в несмолкаемом стуке и хлопанье 20-миллиметровых. Когда жар еще увеличился, стали рваться самые крупные снаряды, создавая впечатление бомбардировки. Я потерял из виду Арчи Пелки, но потом оказалось, что он двинулся к горящему складу, вообразив, что там идет бой.

— Там никого нет, Папа,— сказал он.— Просто горят какие-то боеприпасы.

— Никуда один не ходи,— сказал я.— Прикажешь тебя искать? А если бы нужно было трогаться?

— Хорошо, Папа. Виноват, Папа. Понятно, Папа. Только я, мистер Хемингуэй, пошел туда с frère, с моим братом, потому что он сказал, что там идет бой.

— О черт,— сказал я.— Вконец испортили тебя партизаны.

Мы на большой скорости проехали по дороге, где рвался склад боеприпасов, и Арчи, у которого ярко-рыжие волосы, шесть лет службы в армии, четыре французских слова в запасе, выбитый передний зуб и frère из партизанского отряда, весело смеялся тому, как громко взлетало к небу все это имущество.

— Ох, и хлопает, Папа! — кричал он. Его веснушчатое лицо сияло от радости.— А Париж, говорят, город что надо. Вы там бывали?

— Бывал.

Теперь мы ехали под гору, и я знал это место и знал, что мы увидим за следующим поворотом.

— Мне frère кое-что о нем порассказал, пока колонна стояла,— сказал Арчи,— только я не совсем понял. Одно понял ясно, город — во! И что-то он еще толковал насчет того, что едет в Панам. Ведь к Панаме Париж не имеет отношения?

— Нет, Арчи,— сказал я,— французы называют его Paname, когда очень его любят.

— Понятно,— сказал Арчи.— Compris. Все равно как девушку можно назвать не по имени, а еще как-нибудь. Верно?

— Верно.

— А я-то все думаю, что это frère мне толкует. Это выходит вроде, как они меня зовут Джим. Меня в части все называют Джим, а имя-то мое Арчи.

— Может быть, они тебя любят,— сказал я.

— Они хорошие ребята,— сказал Арчи.— В такой хорошей части я еще никогда не служил. Дисциплины никакой. Это точно. Пьют без передыху. Это точно. Но ребята боевые. Убьют не убьют — им наплевать. Compris?

— Да,— сказал я. Больше я в ту минуту ничего не мог сказать: в горле у меня запершило, и пришлось протереть очки, потому что впереди нас, внизу, жемчужно-серый и как всегда прекрасный раскинулся город, который я люблю больше всех городов в мире.

ВОЙНА НА ЛИНИИ ЗИГФРИДА

«Кольерс», 18 ноября 1944

Многие будут вам рассказывать, как они первыми оказались в Германии и первыми прорвали линию Зигфрида,— и многие ошибутся. Эту корреспонденцию цензура не станет задерживать, пока там разбираются со всеми претензиями. Мы ни на что не претендуем. Никаких претензий, понятно? Абсолютно никаких. Пусть себе решают, а тогда посмотрим, кто пришел туда первым. Я имею в виду — какие части, а не какие именно люди.

Линию Зигфрида прорвала пехота. Прорвала в холодное дождливое утро, когда даже вороны не летали, не говоря уже о самолетах. За два дня до этого, в последний солнечный день, закончился наш парад бронетанковых войск. Парад был замечательный, от Парижа до Ле-Като, с жестоким сражением у Ландреси, которое мало кто видел и в котором почти никто не уцелел. Потом форсировали проходы в Арденнском лесу, где местность напоминает иллюстрации к сказкам Гримма, только гораздо сказочнее и мрачнее.

Потом в холмистой, лесистой местности парад продолжался. Временами мы на полчаса отставали от отступающих мотомехчастей противника. Временами почти догоняли их. Временами обгоняли, и тогда слышно было, как позади бьют наши 50-миллиметровки и 105-миллиметровые самоходные пушки, и смешанный огонь противника сливался в оглушительный грохот, и поступало сообщение: «Вражеские танки и бронетранспортеры в тылу колонны. Передайте дальше».

А потом, внезапно, парад кончился, лес остался позади, мы стояли на высокой горе, и все холмы и леса, видные впереди, были Германией. Снизу, со дна глубокой долины, послышался знакомый глухой грохот — взорвали мост,— и было видно чер-

ное облако дыма и взлетевших в воздух обломков, а чуть дальше — два вражеских бронетранспортера удирали вверх по белой дороге, ведущей в немецкие горы.

Впереди них снаряды нашей артиллерии вздымали желто-белые облака дыма и дорожной пыли. Один из транспортеров забуксовал, став поперек дороги. Второй, на повороте дороги, два раза дернулся, как раненое животное, и замер. Еще один снаряд поднял фонтан дыма и пыли рядом с поврежденной машиной, и, когда дым рассеялся, на дороге стали видны трупы. Это был конец парада, и мы спустились по лесной дороге к речке и переехали ее вброд по плоским камням и поднялись на другой берег, в Германию.

В тот вечер мы миновали брошенные старомодные доты, которые многие себе на горе приняли за линию Зигфрида, и проехали еще хороший кусок в гору. На следующий день миновали вторую линию бетонированных дотов, охранявших развилки дорог и подступы к главному Западному валу, и в тот же вечер достигли высшей точки возвышенности перед Западным валом, с тем чтобы утром начать атаку.

Погода испортилась. Шел дождь, дул ледяной ветер, и впереди нас высилась темная поросшая лесом гряда Шнее Эйфель, где жил дракон, а позади на ближайшем холме стояла немецкая трибуна, с которой командование наблюдало за маневрами, долженствовавшими доказать, что прорыв Западного вала неосуществим. Мы готовились атаковать его в том самом пункте, который немцы выбрали, чтобы в показном бою подтвердить его неприступность.

Все нижеследующее рассказано словами капитана Хоуорда Блаззарда из Аризоны. Его рассказ даст вам некоторое представление о том, как шли бои.

«С вечера мы ввели в город третью роту. Противника там, в сущности, не было. Шесть фрицев, мы их застрелили. **(Речь идет о городке, или, вернее, деревушке, из которой утром началось наступление — в гору, под обстрелом по ровному сжатому полю пшеницы, уставленному копнами, на штурм главных укреплений Западного вала, скрытых в густом еловом лесу на горе по ту сторону поля).**

Полковник из Вашингтона, округ Колумбия, вызвал всех трех батальонных командиров, начальника разведки и начальника оперотдела штаба и изложил план завтрашнего прорыва. В пункте, где мы будем прорываться **(заметьте стиль — не «попытаемся прорваться», а «будем прорываться»)**, нам полагалось иметь одну танковую роту и одну роту самоходных противотанковых пушек, но дали нам всего один танковый взвод (пять танков). Самоходок должны были дать двенадцать, а дали девять. Вы помните, как тогда было, и горючего не хватало, и все прочее.

Теперь дело представлялось так **(на войне то, как оно представляется и как бывает на самом деле,— очень разные вещи, такие же разные, как то, какой представляется жизнь и какая она есть на самом деле).** Третья рота, вступившая в город накануне, наступает на правом фланге и сковывает противника огнем.

Вторая рота выступает рано, еще до 6 утра, она передвигается на танках и самоходках. Пока она подходила, мы ввели самоходки в город и наконец в 12.30 получили свой танковый взвод. Пять штук. Не больше и не меньше.

Первая рота так отстала, что никак не могла подоспеть. Вы помните, что творилось в тот день. **(Много, много чего творилось.)** Поэтому полковник снял одну роту из первого батальона и подкинул ее нам, чтобы у нас было для атаки три роты.

Это было примерно в час дня. Мы с полковником пошли по левой развилине, чтобы слева смотреть, как начнется атака. Началась она отлично. Вторая рота погрузилась на танки и самоходки, они продвинулись под самый гребень и развернулись веером. Все как полагается. И только они достигли гребня, третья рота, на правом фланге, открыла огонь из пулеметов и 60-миллиметровых минометов, чтобы отвлечь внимание от второй.

Танки и самоходки полезли дальше вверх, и тут их встретили огнем зенитки **(немецкие зенитные орудия, стреляющие почти так же быстро, как пулеметы, использовались для стрельбы прямой наводкой по наступающим наземным войскам).** Мы знали, что у них там есть и 88-миллиметровые, но те пока молчали. Когда стали стрелять пулеметы и зенитки, наши солдаты соскочили с танков, все как полагается, и пошли дальше, и шли хорошо, пока не оказались на большом голом поле, за которым начинался лес.

И вот тут-то заговорили 88-миллиметровые — это уж вдобавок к зениткам. Одна самоходка наскочила на мину — слева, помните, у той узкой дороги, перед тем как ей войти в лес,— и танки попятились. Один танк и одна самоходка вышли из строя, и все дали задний ход. Знаете, как это бывает, когда они начинают пятиться.

Солдаты стали возвращаться назад через поле, таща нескольких раненых, нескольких охромевших. Знаете, как они выглядят, когда возвращаются. Потом стали возвращаться танки, и самоходки, и люди прямо толпами. Не могли они удержаться на этом голом поле, и те, что не были ранены, стали звать санитаров для раненых, а вы знаете, как это всех выводит из равновесия.

Мы с полковником сидели возле дома и видели весь бой и как хорошо он начался. Мы уж думали, что они прошли. А потом началась эта петрушка. И вдруг несутся пешком четыре танкиста и орут как оглашенные, что все пропало.

Тут я обратился к полковнику — я служил в третьем батальоне давно — и говорю:

— Сэр, разрешите мне пойти туда, я бы дал этим мерзавцам под зад и захватил цель.

А он говорит:

— Вы — начальник разведки штаба, оставайтесь на месте.

Прищемил мне, значит, хвост. Очень это было досадно.

Посидели мы там еще минут десять-пятнадцать, а раненые все шли, а мы все сидели, и я уж стал подумывать, что мы этот бой проиграем. А потом полковник сказал:

— Пошли. Надо их завести. Не допущу, чтобы это дерьмо сорвало атаку.

И мы двинулись в гору и встречали кучки людей — вы знаете, как они сбиваются в кучки, и можете себе представить, какой вид был у полковника, когда он шагал в гору со своим револьвером сорок пятого калибра. Там наверху, где начинается спуск, есть такой узенький карниз. Под прикрытием этого карниза собрались все танки и самоходки, и вторая рота растянулась там вроде как стрелковой цепью, и все они были как мертвые, и атака выдохлась.

Полковник поднялся в гору, стал над карнизом, где они все залегли, и говорит:

— А ну-ка, ударим по этим фрицам. Ну-ка, перебьем эту сволочь. Ну-ка, перевалим на ту сторону и выполним задачу.

Он поднял свою пушку, пальнул раза три в сторону, откуда фрицы вели огонь, и говорит:

— Доберемся до этих треклятых фрицев! Вперед! Чтобы ни одного человека здесь не осталось!

Они тряслись от страха, но он все уговаривал их и убеждал, и скоро сначала несколько человек, а потом и почти все зашевелились. А уж когда они зашевелились, тут полковник, и я, и Смит **(сержант Джеймс Дж. Смит из Туллахомы, штат Теннесси)** пошли вперед, и атака возобновилась, и мы вошли в лес. В лесу было скверно, но шли они теперь хорошо.

Когда мы вошли в лес **(лес этот саженый, еловый, очень густой, снаряды расщепляли и ломали деревья, и обломки пролетали в полумраке леса, как копья, а люди теперь кричали и перекликались, чтобы не поддаться жути лесных потемок, и стреляли, и убивали немцев, и шли все вперед)**,— танкам там было не пробраться, и они вышли на опушку. Они стали было стрелять в лес, но скоро пришлось это прекратить, потому что вторая рота продвинулась лесом далеко вперед.

Мы с полковником Смитом продолжали идти впереди и нашли между деревьями проход, куда можно было ввести самоходку. Продвигались мы теперь хорошим темпом и вдруг увидели рядом с собой блиндаж, и оттуда в нас стали стрелять. Мы решили, что там сидят какие-нибудь фрицы. **(Блиндаж этот был полностью замаскирован — обложен дерном и засажен елями. Это был подземный форт, вроде тех, что строили на линии Мажино, с автоматической вентиляцией, взрывоустойчивыми дверями, койками на глубине пятнадцати футов и запасными выходами на тот случай, чтобы, если противник минует блиндаж, атаковать его с тыла; а находилось в нем пятьдесят эсэсовцев с заданием пропустить наступающие части, а потом ударить им в спину.)**

Нас там всего и было что полковник, я, Смит и Роже, молодой француз, который с нами не расставался с самого Сен-Пуа. Фамилии его я так и не узнал, но это был замечательный француз. Другого такого бойца я не запомню. Так вот, фрицы стали стрелять в нас из блиндажа. Тогда мы пошли вперед, решили их оттуда выгнать.

С нашей стороны у них была амбразура, но ее не было видно, очень густо все кругом было засажено. У меня была всего одна граната, я ведь не думал, что придется заниматься таким делом. Подошли мы к блиндажу ярдов на десять, а амбразуры все не видно. Холмик в лесу — и все.

Стреляли они как-то беспорядочно. Полковник и Смит шли в обход правее. Роже шагал прямо на амбразуру. Огня не было видно.

Я крикнул Роже, чтобы ложился, и тут они в него попали. Тогда только я увидел эту проклятую дыру и швырнул в нее гранату, но края у нее скошенные, сами знаете, и граната ударилась о край и выскочила обратно. Смит схватил француза за ноги и стал оттаскивать его в сторону — он был еще жив. Слева в щели сидел немец, тут он встал, и Смит застрелил его из своего карабина. Как быстро все это произошло — судите по тому, что в эту секунду граната взорвалась, и мы все пригнулись.

Потом нас стали сильно обстреливать с поля — того, которое мы перешли, прежде чем вступить в лес,— и Смит сказал:

— Полковник, вы бы спустились в эту щель, немцы подходят.

Они стреляли из копен пшеницы, что были ближе всего к опушке, и из кустарника, который языком выдавался в поле. Стреляли оттуда, где должен бы быть наш тыл.

Полковник уложил одного фрица из револьвера. Смит — двоих из карабина. Я стоял по другую сторону блиндажа и застрелил того, который был позади нас на дороге, шагах в пятнадцати. Мне пришлось выстрелить три раза, прежде чем он остановился, да и то я его не убил — когда наконец подошла самоходка, он лежал посреди дороги и, увидев самоходку, вроде бы попробовал отползти, но самоходка прошла по нему и расплющила его в блин.

Остальные немцы пустились наутек через поле, с ними особых хлопот не было. Стрельба на дальнюю дистанцию. Троих мы, я знаю, убили и нескольких ранили, только они ушли.

Ручных гранат у нас больше не было, а те сволочи все сидели в блиндаже, сколько мы им ни орали, чтобы выходили. Тогда мы с полковником остались ждать, а Смит пошел влево, нашел самоходку и привел ее — ту самую, что переехала фрица, в которого я три раза стрелял из своего маленького немецкого револьвера.

На разговоры немцы по-прежнему не отвечали, и тогда мы подвели самоходку впритык к стальной двери, которую к тому времени отыскали, и наша пушечка ударила по ней раз шесть и выбила-таки ее к черту, и уж тут им сразу захотелось выйти. Слышали бы вы, как они вопили и стонали, и стонали и вопили: «Kamerad!».

Самоходка глядела дулом прямо в дверь, и они стали выходить, и такого вы в жизни не видели. Каждый был ранен в шести-семи местах обломками бетона и стали. Всего их вылезло восемнадцать, а изнутри неслись жалостные крики и стоны, одному обе ноги отрезало стальной дверью. Я спустился туда посмотреть, что там делается, и вытащил чемодан, в котором было несколько кварт виски, три ящика сигар и револьвер для полковника.

Один из пленных, унтер-офицер, был еще ничего, то есть не так чтобы совсем ничего, но ходить мог. Остальные только лежали и стонали.

Унтер-офицер показал нам, где находится следующий блиндаж. Теперь мы уже знали, как они выглядят,— могли и сами обнаружить по тому, как над ними возвышалась почва. Так что забрали мы свою самоходку, и прошли по дороге еще ярдов семьдесят пять до второго блиндажа — вы знаете которого,— и приказали этому типу крикнуть им, чтобы сдавались. Поглядели бы вы на этого немца! Он был из вермахта, из регулярной армии, и все повторял: «Битте. СС». Он хотел сказать, что там засели те, самые поганые, и они убьют его, если он велит им сдаваться. Все-таки он крикнул им, чтобы выходили, но они не вышли. Даже не ответили. Тогда мы подвели самоходку к задней двери, в точности как в тот раз, и заорали: «Выходи!» — а они не выходят. Тогда мы саданули по двери раз десять, и тут уж они вышли — сколько их осталось. Вид у них был жалкий. Все до одного изранены — смотреть страшно.

Все до одного были эсэсовцы. Один за другим они падали на колени посреди дороги — думали, что их тут же расстреляют. Но нам пришлось их разочаровать. Вышло их человек двенадцать. Остальных разорвало в клочья или изранило насмерть. По всему блиндажу валялись руки, ноги, головы.

Пленных у нас набралось много, а стеречь их было некому — только полковник, да я, да Смит, да самоходка, и мы просто сидели и ждали, пока что-нибудь прояснится. Через некоторое время появился санитар и осмотрел того молодого француза, Роже. Он так и пролежал там все время, а когда к нему подошли, чтобы перевязать, сказал:

— Mon colonel, je suis content. Я счастлив, что умираю на германской земле.

К нему пришпилили карточку с надписью «Свободная Франция», но я сказал: «К черту», — и переписал на карточке: «Третья рота».

Как вспомню этого француза, так опять руки чешутся убивать немцев...»

Можно бы рассказывать еще и еще. Но, пожалуй, на сегодня хватит — больше вам не выдержать. Я мог бы рассказать вам, как действовала первая рота, как действовали два других батальона. Мог бы рассказать, если б вы могли это выдержать, как было у третьего блиндажа, и у четвертого, и еще у четырнадцати. Все они были взяты.

Если это вас интересует, расспросите кого-нибудь, кто там был. Если захотите и я еще не забуду, я с удовольствием расскажу вам когда-нибудь, каково было в этих лесах в последующие десять дней: о контратаках и о германской артиллерии. Это очень, очень интересно, если только запомнить как следует. Вероятно, в этой истории есть даже эпический элемент. Когда-нибудь вы безусловно увидите ее на экране.

Надо полагать, она вполне годится для экранизации, потому что я помню, как полковник сказал мне:

— Эрни, у меня то и дело появлялось такое чувство, будто я снимаюсь в фильме категории Б, и я все говорил себе: «Вот сейчас мой выход».

Единственное, что, вероятно, будет нелегко изобразить в фильме, это эсэсовцев — как они с почерневшими от взрыва лицами стоят на коленях, захлебываясь кровью и держась за живот, или из последних сил отползают с дороги, чтобы не попасть под танк, хотя в кино это, возможно, получится еще более реалистично. Но за такую ситуацию несут вину инженеры — когда они проектировали эту взрывоустойчивую дверь, им в голову не пришло, что к ней снаружи подойдет 105-миллиметровая самоходка и станет стрелять в нее в упор.

При составлении спецификации это не было предусмотрено. И порой, когда я наблюдаю такие печальные картины и вижу, как идут насмарку такие тщательные приготовления, мне начинает казаться, что лучше было бы для Германии, если бы она вообще не начинала этой войны.

Перевод с английского М. Лорие.

ВОПРОС ЖИЗНИ

В фильме «Мне было девятнадцать», созданном Конрадом Вольфом и Вольфгангом Кольхаазе, есть один, казалось бы проходной, эпизод. Однако именно об этом эпизоде напоминает Герман Кант в своей статье, напечатанной двухнедельником «Форум», издаваемом в ГДР.

Герой фильма, Грегор Хеккер, лейтенант Советской Армии, немец, которого русские друзья называют Гришей, 1 Мая 1945 года на дороге, ведущей в глубь его родины, встречает унтер-офицера гитлеровской армии, лежащего в кузове брошенного грузовика. Унтер-офицер слышит, но не видит Грегора, у которого просит закурить: он в результате ранения ослеп. Между ним и Грегором происходит следующий разговор:

— Табачок-то не немецкий? Но хорош. Французский мне не по вкусу, слишком крепок. Откуда этот? Македонский?

— С Кавказа.

— Я там тоже был, два месяца...— Он делает затяжку и со вздохом говорит:— Да, много мы повидали, камрад.

Человек этот никогда ничего больше не увидит. Для него уже настал час расплаты за участие в захватнической войне, принесшей неизбежное горе людям разных стран. А он все еще не понял — и, может быть, так и не поймет — соотношение причины и следствия. Потому что нравственная, а одновременно и политическая слепота постигла его раньше, чем физическая.

Статья Канта, посвященная фильму, называется «Добро пожаловать, трудный вопрос!». Это вопрос о том, в чем опасность нравственной и политической слепоты обывателя, которого легко сбить с пути, ввести в заблуждение, повести куда угодно, как это было во времена фашизма. Герман Кант считает, что и теперь эта опасность не миновала.

«Люди очень долго не понимали, что с ними, собственно, случилось, а в Западной Германии они этого не понимают и сегодня,— пишет он.— Случилось, что сгорел их дом, случилось, что их мальчик не вернулся, случилось, что им пришлось побывать в плену. Но почему все это случилось и какой из этого следует извлечь урок, многие до сих пор представляют себе смутно».

Конечно, в ГДР совершенно иные социально-исторические условия, чем в ФРГ. В этих новых условиях обывателю легче прозреть. Но процесс прозрения сложен и длителен. Кант, вновь обращаясь к фильму, вспоминает и другого унтер-офицера, на этот раз названного по имени: его зовут Вилли Ломмер. Он принадлежит к числу тех, кто в самом конце войны сдается в плен русским. И когда эсэсовцы, готовые убивать до последней минуты, открывают огонь, Вилли Ломмер, подняв винтовку, только что им брошенную, отстреливается вместе с русскими. Казалось бы, прозрение свершилось, он обратил оружие против истинного врага. Однако заслугу создателей фильма Кант видит в том, что они не придают этому поступку Вилли Ломмера слишком большого значения. Ведь он стреляет в эсэсовцев потому, что не хочет в канун мирного времени погибнуть от их пули. Конечно, что-то изменилось в его сознании, но это еще не окончательный поворот от старого к новому.

«Из него может что-то выйти,— говорит Герман Кант о Вилли Ломмере,— но ему еще далеко до того, чтобы стать человеком, освобождающим самого себя».

Кант предостерегает от самоуспокоенности, которая может привести к пагубным последствиям. И в самом деле, проблему обывателя не так-то легко разрешить даже в ГДР, стране, в которой, как говорит Кант, происходит «нормальное, преемственное (имеется в виду преемственность антифашистских традиций.— *Л. С.*), мирное, миролюбивое развитие». А рядом с ГДР существует ФРГ, где в государственном масштабе утверждается преемственность реваншистских устремлений. Для тех, кто после войны бежал с Востока на Запад, оставляя на Востоке землю, заводы, магазины, ставшие народной собственностью, реваншизм — надежда на восстановление разрушенного порядка. Об этом, по словам Канта, нельзя забывать.

То, что известный писатель, автор нашумевшего романа «Актовый зал» * публикует на страницах «Форума»,— не рецензия на фильм Это размышления о судьбах родины и ее молодого поколения, толчком к которым послужил фильм.

«Как можно от молодого человека, которому всего лишь девятнадцать, требовать, чтобы он понимал настоящее, если мы не даем ему возможности понять прошлое других людей, а тем самым его прошлое, ознакомиться с той почвой, на которой он вырос?»— спрашивает Кант.

Он утверждает необходимость такой литературы, в которой во имя будущего правдиво отображено прошлое.

Почему, собственно, Герман Кант счел нужным повторить то, о чем говорилось не раз? Ведь литература ГДР начиналась с произведений, отвечающих этому требованию. Вспомним «Мертвые остаются молодыми» Анны Зегерс, «Родные и знакомые» Вилли Бределя, «Каждый умирает в одиночку» Ганса Фаллады. Но дело в том, что в некоторых книгах, издаваемых в ГДР в настоящее время, Кант уловил встревожившую его тенденцию к облегченному решению трудного вопроса.

«Антифашистское Сопротивление, осуществлявшееся лучшими людьми нашей нации, прежде всего коммунистами, продолжило традицию революционной истории. Оно было самоотверженным, и хотя не смогло положить конец преступлениям фашистов, его, по справедливости, следует считать доказательством непрерывной преемственности нашего революционного движения Герои Сопротивления сделали все, чтобы спасти доброе имя нации, но им не удалось поднять народное большинство на борьбу против фашизма,— пишет Кант.— В последнее время в художественных произведениях проявилась тенденция преувеличивать силу антифашистского Сопротивления, что я считаю недопустимым. Зритель (а также и читатель.— *Л. С.*) должен себя спросить, как же все это тянулось столь долго — пока не пробил двенадцатый час фашизма и даже после того,— если так много антифашистов оказывали такое сильное сопротивление горстке фашистских заправил? Фальшивые представления о событиях не способствуют воспитанию активизирующего сознания и умаляют достижения, которых мы, под руководством партии рабочего класса, добились за минувшие двадцать лет».

Кант считает, что тех, кому сегодня девятнадцать, нужно воспитывать правдой. Им надо знать, как могло случиться то, что во второй четверти двадцатого века было позором Германии. Вспоминая врезавшийся в его память кадр того же фильма — немец, освобожденный советскими войсками из фашистского застенка, произносит одно лишь слово: «Товарищи!», больше он ничего не в силах сказать...— Кант домысливает увиденное и услышанное. Тут, объясняет он, и счастье вновь произнести вслух это слово, которое двенадцать лет было таким же запретным, как свобода, и боль от того, что он как представитель своей нации едва ли имеет право обращаться к русским с этим словом; да и прежде, чем немец назовет немца товарищем, надо будет «внести ясность» в очень многое из того, что было.

Кант — за обретение ясности, и это означает, что он против обывательского равнодушия к правде, обывательского нежелания и неумения мыслить.

«Я думаю, фильм помогает установить, что одна из величайших опасностей — это посредственность мыслей, напряжения которой хватает лишь на решение обыденных проблем»,— пишет Кант.

Посредственность мысли — в этом и заключается характерная особенность обывателя,— безобидная лишь на первый взгляд. Она была опасной в прошлом, может стать опасной и в будущем. Как показало прошлое, она способствовала тому, что

«для народа, в своей основе такого же, как остальные, стало привычным не только созерцание ужасного, но и содействие ужасному».

Вот почему Герман Кант первейшим долгом литературы и искусства считает приобщение читателей и зрителей к такому мышлению, для которого неприемлемо обывательское приспособление к злу.

---

* См. «Иностранную литературу» №№ 1, 2, 3, 1968.

Для того чтобы литература и искусство смогли выполнить эту задачу, они, по мнению Канта, должны обладать свойствами, которых им иной раз недостает.

«Тот вид искусства, который, так сказать, проносится через наши мозги в виде плакатов, ни к чему не приводит,— объясняет Кант,— нам требуются такие художественные произведения, как, например, этот фильм, который каждого из нас заставляет преодолевать трудности, а именно — брать на себя труд мыслить».

Как сообщает «Форум», этот фильм в ГДР за месяц посмотрели четверть миллиона зрителей. Письма молодых рабочих, служащих, учащихся, опубликованные «Форумом», доказывают, что молодежь стремится самостоятельно мыслить. Она радуется, если искусство помогает ей в этом.

Восемнадцатилетний железнодорожник пишет:

«На эту тему уже делались фильмы. Причина, по которой они не были так восприняты, заключалась в том, что зрителям, как на блюдечке, подносился готовый ответ на поставленный вопрос. Этот же фильм дискуссионен, он оставляет за зрителем право на ответ и решение».

Тридцатидвухлетний инженер пишет:

«Фильм заставляет мыслить, он ставит вопрос: на что ты бы решился на месте героя? Нет стандартных рецептов, решение — дело каждого».

Учащийся, чей возраст не указан, пишет:

«Я лично охотнее отождествляю себя с героем, который решения вырабатывает сам, а не берет то, что дают».

Девятнадцатилетняя студентка пишет, что у нее в ушах звучит крик ненависти к фашистам, вырвавшийся у Грегора Хеккера, когда он потерял друга, Сашу Цыганюка.

«В Западной Германии люди опять такие аполитичные, они позволяют обманывать себя, верят в ложь,— добавляет она,— а мы недостаточно этому противодействуем».

«Форум» печатает и другие письма, в которых, например, утверждается, что Грегор не может быть героем постольку, поскольку не является образцом: ему не всегда все ясно. Очевидно, молодые авторы подобных писем, которым нередко преподносили под видом искусства шаблонно-нравоучительные поделки, исходят из ложной идеи, что художественное произведение должно давать готовые образцы для механического подражания и окончательные решения всех жизненных проблем. Разумеется, правы не они, а те, которые отстаивают самостоятельность мысли.

Итак, талантливый писатель и рядовые зрители независимо друг от друга делают один и тот же вывод: сегодня, когда американская военщина по-фашистски орудует во Вьетнаме, когда фашизм не только собирает силы, как в ФРГ, но идет в наступление, как в Греции,— об этом, кстати сказать, напоминает в своем письме девятнадцатилетняя студентка, да и не она одна — молодые люди, от которых зависит, что будет завтра, не имеют права быть обывателями. Но тут декларациями не обойдешься. «Трудный вопрос» остается актуальным даже и в странах, пошедших по социалистическому пути. Нет ничего удивительного в том, что Герман Кант в разговоре о фильме Конрада Вольфа и Вольфганга Кольхаазе назвал его «важнейшим вопросом всей нашей культурной политики». В конце концов — это вопрос жизни.

Л. СИМОНЯН

ПО СТРАНИЦАМ «ЧЕРНОГО ОРФЕЯ»

Литературный альманах «Блэк Орфеус» («Черный Орфей») существует уже десять лет. Его родина — Западная Африка, Нигерия, и, как видно по названию, журнал этот — «африканец». В его жилах течет, однако, и европейская кровь, и она временами весьма ощутимо дает себя знать.

«Черный Орфей» заметно отличается от других африканских литературных и общественно-политических журналов — ганского «Очиаме», нигерийского «Ибадана», восточноафриканского «Транзишн» и других. Это — ведущий литературный альманах, вокруг которого группируются лучшие творческие силы Африки, да и издается он регулярно — а в Нигерии и других странах, где литература делает только первые шаги, это дело весьма сложное. Выделяется «Черный Орфей» и своим оформлением: из номера в номер главный оформитель, австрийская художница Сусанна Венгер, помещает на обложке причудливые рисунки, основанные на символике африканских религий, но в современной интерпретации. Африканская мифология и религия — излюбленные мотивы

творчества этой своеобразной художницы, которая так глубоко проникла в тайны религии народа йоруба, что даже удостоилась одного из главных титулов, присуждаемых жрецами почитателям Обатала, верховного бога йоруба.

«Орфей» — альманах литературный, но он часто помещает репродукции работ африканских художников, и произведения эти, надо сказать, поражают воображение. Нельзя не заметить, что в подборе репродукций, как и в оформлении журнала, его издатели последовательно проводят определенную линию: среди произведений современных африканских живописцев и скульпторов они отбирают то, что, по их мнению, выражает непреходящие ценности негро-африканской культуры и «специфику мировосприятия» чернокожего человека. Дать этим произведениям верную оценку может, очевидно, только тот, кто знаком с религией и мифологией африканских народов и традициями изобразительного искусства Африки, но, перелистывая журнал, даже неискушенный читатель может заметить отчетливую тенденцию в подборке иллюстраций и репродукций: мрачноватый колорит, трагизм жестов и поз, многозначная символика. Таковы, например, рисунки Оланийи «Печальная горилла в лондонском зоопарке», серия Д. Нвоко «Адам и Ева» и др.

«Черный Орфей» публикует произведения прозаиков и поэтов стран Африки южнее Сахары, Вест-Индии, негритянских писателей США. Журнал выходит на английском языке, произведения на других языках публикуются в переводе, и надо отметить, что переводы, как правило, отличаются и точностью, и высоким профессиональным мастерством.

Журнал помещает рассказы, стихи, отрывки из романов (опубликованных или готовящихся к изданию), произведения устного народного творчества, критические статьи по вопросам литературы и изобразительного искусства, рецензии.

Наилучшим образом в журнале представлены страны Западной Африки и, конечно, Нигерия. Среди нигерийских литераторов наиболее видное место занимают поэты литературного клуба «Мбари»: Д. Кларк, Кристофер Окигбо, В. Шойинка и Гэбриел Окара, известные у нас по переводам в «Иностранной литературе».

Произведения писателей из ЮАР появляются на страницах «Черного Орфея» довольно часто; почти все они затрагивают одну тему — взаимоотношения черного и белого населения ЮАР. Тема апартеида была и остается главной для писателей этой части Африки, и произведения Э. Мпашлеле, А. Меймана, Б. Модисана и Алекса Ла Гумы, чьи рассказы публиковались в «Черном Орфее», не являются исключением. Однако отчасти потому, что в ЮАР есть свои литературные журналы, отчасти потому, что по своей идейной направленности эти произведения не дают подходящего материала для развития взглядов одного из руководителей журнала, У. Бейера, в «Черном Орфее» южноафриканцы не занимают ведущего положения.

Из стран Африки южнее Сахары слабее всего представлены литературы восточного побережья, пока еще не получившие достаточного развития.

Журнал уделяет много места фольклору, а также знакомит с писателями, чье творчество можно считать своеобразным продолжением и развитием устной повествовательной традиции, например, с очень популярным в Нигерии Фагунвой, писавшим на языке йоруба, с его последователем А. Тутуолой, автором пяти фантастических повестей. Фольклор до сих пор существует в Африке на равных правах с письменной литературой — это «литература» миллионов во всех частях континента. Впрочем, есть еще одна причина, по которой устному творчеству отводится в журнале почетное место: в спорах о негритюде теоретические вопросы развития африканского фольклора имеют принципиальное значение, а концепция негритюда была близка некоторым редакторам журнала.

Выпуском первых номеров альманаха его издатели как бы развернули знамя негритюда, хотя первыми редакторами и инициаторами создания журнала были Янгейнц Ян и Улли Бейер — два западногерманских литературоведа, переводчика и критика. (С номера 7 Ян покинул пост редактора, и его место на протяжении ряда лет занимали африканские литераторы; сейчас редакторов двое — Бейер и нигериец Абиола Иреле, а в редакционную коллегию входят такие известные в Африке писатели, как Чинуа Ачебе, Джон Кларк, Алекс Ла Гума, и другие).

По первым номерам журнала можно было увидеть, что его основатели стремились сделать его своего рода заповедником экзотических цветов современной африканской и негро-американской литературы. Стремление отстоять концепцию негритюда рождало иной раз парадоксы: так, в № 6 У. Бейер (европеец) гневно обрушивался на роман Т. Алуко (нигерийца) за то, что Алуко... неуважительно относится к африканским религиям и даже употребляет слова из «лексикона империалистов»! (Одно из таких слов—идолы.) Но современная Африка полна парадоксов. В какой-то мере ранняя позиция «Черного Орфея» — тоже парадокс: издатели европейцы берут курс на негритюд, который утверждает духовное превосходство африканца, вообще чернокожего человека, над европейцем и называет африканца творцом и художником, а европейца — жалким рационалистом! Но, привлеченные поисками корней африканского искусства, непреходящих африканских духовных ценностей, некоторые литераторы Африки уходили от актуальных проблем сегодняшнего дня, и это импонировало издателям. Этим же объясняется известное пристрастие журнала к модернизму, особенно в поэзии, к многозначной символике гви-

нейского романиста К. Лэя, к сложным образам нигерийских и негро-американских поэтов. Вот начало напечатанного в журнале (№8) стихотворения американца К. Майджера «Славное возвращение»:

«круг боевых судов везущих тяжелый смех проходит под мостом и каждый имеет приказ и вот мост поднят но смеющиеся были несуществующими представителями человеческой расы» и т п.

Здесь даже архитектоника стиха говорит об эстетских установках поэта. Нет ни рифмы, ни ритма, ни границ между фразами.

Как же определял негритюд и, значит, свою раннюю позицию «Черный Орфей»? Негритюд — это

«некое качество, характеризующее образ мышления и поведения негров... Оно обозначает новое сознание негра, его вновь обретенную уверенность и его специфический взгляд на жизнь, отличающий его от ненегров»,— говорилось в одном из первых номеров журнала.

Конечно, нельзя не видеть в позиции «Черного Орфея» своеобразного стремления возродить духовные ценности африканских народов, как нельзя не заметить во всех толкованиях концепции негритюда — а их немало — общей идеи: протеста против подавления африканской культуры колонизаторами. Но негативная сторона негритюда — уклон в своего рода «черный расизм» — оказалась сильнее позитивного начала и по логике вещей вступила в противоречие с главными тенденциями духовного развития африканских народов. Неудивительно, что «новое сознание негра», о котором журнал писал в 1958 г., проявилось в ближайшие же годы совсем не в форме «специфического взгляда на жизнь», отличающего негра от всех других народов. И примеры тому — на страницах самого же «Черного Орфея».

...На Лондонский аэропорт прибывает самолет. Среди встречающих — африканец, проживший в Англии 17 лет. Он ждет свою невесту, которую еще ни разу не видел,— ее, в согласии с обычаем, выбрали родственники. По ошибке он принимает за свою невесту жену одного африканского дипломата — и попадает в полицейский участок. Но герой рассказа, сконфуженный, все-таки упрямо повторяет: «Африканцы все равно должны придерживаться древних обычаев и являть всему миру удивительную африканскую сущность!»

По ироническому тону автора этого рассказа, сьерра-леонского писателя Барт-Уильямса можно заключить, что вряд ли он согласен попадать в глупое положение, отстаивая идеи «африканской личности», или «негритюда». Не менее ясна и позиция нигерийского поэта Ф. Имукхеде, опубликовавшего в № 10 ироническое стихотворение «Негритюд». А непримиримость к негритюду одного из членов редколлегии «Черного Орфея», известного нигерийского поэта и драматурга Воле Шойинки, давно известна в кругах африканских литераторов. «Если ты — тигр, тебе незачем всем твердить, что ты тигр»,— таков смысл его иронического афоризма о негритюде («тигритюде»).

Негритюд, как стало отчетливо видно сейчас, не стал идеей, способной сыграть конструктивную роль в строительстве культуры молодых африканских государств. В новых условиях журналу остается только свертывать знамя негритюда — что он и делает, хотя отголоски идей негритюда порой еще слышны в некоторых статьях. Но сейчас уже можно сказать, что в «Черном Орфее» наметилась иная тенденция, отражающая подлинное положение вещей в новых литературах.

В № 14 помещена статья Р. Джулая «Африканская литература и африканская личность», в которой автор с принципиально иных позиций говорит о факторах, формирующих сознание африканца.

«Трущобы Кейптауна с их обитателями ничем не отличаются от трущоб в любом промышленном городе мира»,— пишет Р. Джулай.

Здесь, пожалуй, впервые в этом журнале намечается идея социальной обусловленности поведения человека в обществе и, следовательно, характера творчества африканского писателя.

Эта идея еще более отчетливо проявляется в двух рецензиях на сборники блюзов и духовных гимнов американских негров, подготовленные Я. Яном. Примечателен и довольно резкий тон, в котором В. Фойзер говорит о концептуальных ошибках составителя антологии. Ян, подчеркивает рецензент, стремится затушевать мятежный заряд некоторых негритянских спиричуэлс и блюзов, объяснить их направленность и содержание некоей непостижимой жизненной силой «магара», концепция которой впервые сформулирована Яном в его книге «Мунту».

«У Яна нет понимания **исторической перспективы и конкретно-исторической обстановки,** и это вызывает у читателя чувство разочарования». (Подчеркнуто мной — *В. В.*)

А ведь еще несколько лет назад «Черный Орфей» можно было назвать журналом Яна!

Что же должно занять место туманных и надуманных идей, выдвигаемых Яном?

«...Реальное положение реальных людей, живущих в **реальных** общественно-исторических условиях и несущих в себе реальную искру протеста». (Подчеркнуто автором рецензии.)

Таким образом, в позиции автора рецензии заметно не только стремление развенчать идеи негритюда, но и подсказать писателям верный, перспективный путь развития литератур Африки.

Новая ориентация журнала проявилась и в большой статье южноафриканского писателя Нкози, посвященной творчеству романистов ЮАР. Нкози затрагивает одну из важнейших проблем развития африканских литератур — проблему взаимного влияния литератур разных районов мира. Нет ни малейшего намека на то, что автор ратует за сохранение «первозданной чистоты» африканской традиции. Напротив, он утверждает, что молодые литературы должны воспринимать опыт развитых литератур мира. Недостаток многих произведений южноафриканской литературы заключается, по мнению автора, в том, что

«негритянские писатели Южной Африки пишут так, как если бы Достоевский, Кафка или Джойс вообще никогда не существовали».

Среди выдающихся европейских художников XX века, творчество которых должно быть критически освоено африканскими литературами, мы назвали бы не только — и не в первую очередь — имена Кафки и Джойса. Но отрадно то, что в современной Африке многие литераторы уже давно идут путем, на который сейчас начал выходить «Черный Орфей», смело обращаются к опыту других литератур мира. Один из таких писателей — нигерийский прозаик Ч. Ачебе, который все более привлекает внимание журнала.

«Ачебе справедливо называют летописцем, ибо в конечном счете он пишет не просто о разрушении традиционного африканского общества, но о его трансформации...— утверждает «Черный Орфей».— В конечном счете его романы воссоздают специфические условия становления новой Африки».

В сочетании с талантом подобная позиция писателя приносит желанные плоды, приводит к созданию подлинно реалистической литературы, в которой отражается сегодняшний день Африки. Одно из таких произведений — последний роман Ачебе «Человек из народа», рецензия на который помещена в одном из последних номеров «Черного Орфея».

...В 1964 г. Янгейнц Ян издал на немецком языке антологию афро-американской литературы, названную «Черный Орфей» («Шварцер Орфеус») — и вот в 1966 его африканский «тезка» признает словами одного из своих сотрудников, что «Шварцер Орфеус» может оказаться лебединой песней «великой традиции», то есть негритюда.

Сейчас уже нет основания считать, что гибель «великой традиции» станет лебединой песней такого журнала, как «Черный Орфей».

«Черный Орфей» самим фактом своего появления знаменовал все возрастающий интерес африканских читателей к художественной литературе. Сейчас можно сказать, что в Африке уже сложились новые вполне самостоятельные литературы — нигерийская, сенегальская и другие; имена некоторых африканских писателей — Ч. Ачебе, М. Бети, Ф. Ойоно стали хорошо известны во всем мире. В новых условиях, уже очень отличающихся от тех, в которых создавался «Черный Орфей», его роль изменилась, возросла. Он — арена литературных споров, источник знакомства с новыми писателями, место пробы сил. В журнале стали появляться имена писателей из Северной (ненегроидной) Африки, чего раньше почти не было, чаще упоминаются писатели и критики из стран Восточной Африки.

По мере возмужания африканских литератур все настоятельнее становится задача формирования африканской литературной критики. Все большая потребность в квалифицированной критике, возрастающая роль литературоведения находит отражение и в «Черном Орфее». Журнал давно уже регулярно помещает рецензии на произведения африканских и вест-индских писателей, опубликовал ряд больших статей о творчестве ведущих африканских поэтов К. Окигбо, Д. Брутуса и других, о романах Ч. Ачебе, пьесах В. Шойинки, о писателях Южной Африки, о традиционной поэзии народов хауса, оджебе и другие.

Изменяющаяся действительность Африки, в первую очередь Нигерии, где издается журнал, заставляет изменяться и «Черный Орфей», несет на его страницы новые имена, новые идеи, а всему журналу в целом — новую ориентацию. Думается, от этого выиграет и сам журнал, и вся нигерийская литература.

ВЛ. ВАВИЛОВ

НАШИ ГОСТИ

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК РОС

Это была сказка. В ней, как в любой сказке, добро торжествовало над злом. Но далеко не сразу, а после долгой, упорной, отчаянной борьбы. Добро воплощал в себе Крабат, юноша из народа, всегда, при всех обстоятельствах сохранявший свое человеческое лицо. Зло олицетворял собой Черный мельник, который остерегался глядеть в воду, потому что в воде отражалась его волчья морда.

Юрий Брезан, побывавший у нас в гостях, когда его сказка «Черная мельница» еще не была опубликована журналом «Зинн унд форм», издаваемым в ГДР, с увлечением говорил о ней. Вскоре после его отъезда мы прочитали эту сказку, которая заинтересовывает и детей и взрослых. Взрослым она дает в руки «нить Ариадны», которая когда-то помогла Тезею выбраться из лабиринта. Античную легенду об Ариадне и ее нити Юрий Брезан недавно вспомнил в «Ответах на вопросы», напечатанных журналом «Нейе дейче литератур».

«Этот ваш вопрос — какой смысл, вообще говоря, имеет литература в наши дни?— снова и снова атакует сознание большинства писателей, вызывая панику,— от усталости, от растерянности, от осознанной или неосознанной, но так или иначе ложной уверенности в том, будто писательская работа бессмысленна»,— пишет Брезан.

«Некоторое время назад,— продолжает он,— я познакомился с одним известным, проживающим в Лондоне писателем, которому хотелось узнать, в чем я вижу смысл моей работы, и который в ответ на мой встречный вопрос сказал: «Я не ищу смысла и не нуждаюсь в смысле, который существовал бы вне меня. Я не нуждаюсь в публике, то, что я пишу,— не диалог, а монолог».

Я тогда еще придерживался мнения, что писатель должен быть учителем и воспитателем, пророком и наставником, что он своего рода создатель новой библии и в то же время архитектор, носящий в своем кармане единственно возможный проект, а еще лучше — рабочий чертеж «Дома человеческого счастья».

С той встречи прошли годы, я написал несколько книг и с каждой книгой спускался с учительской кафедры ступенькой ниже.

Брезан объясняет, что он больше не претендует на роль ментора, а хочет быть «ухом, глазами и языком самой жизни».

Но это не означает, будто для Брезана отражение жизни не включает в себя ее познание. Наоборот, Брезан убежден, что познание жизни писателем способствует познанию жизни читателем. Но это длительный непрерывный процесс, результатом которого вовсе не являются готовые, раз и навсегда данные истины.

Брезан понимает, что человек должен не только познавать жизнь, но и изменять ее; в этом и заключается «его путь ко все более и более человеческому существованию».

«Вот почему писатель должен найти «нить Ариадны», вести читателя с помощью этой нити, сделать для него очевидным, что человек не отдан, беспомощный и потерянный, во власть непознанных и непознаваемых сил и что многое определяется им самим, его умением мыслить и действовать».

Да, современный мир — это сложнейший лабиринт, в котором очень трудно найти верный путь. И хотя, как говорит Брезан, наш земной шар как будто сморщился до маленького шарика — такое впечатление создается благодаря телевидению, мгновен-

но преодолезающему огромные расстояния,— многое не легко увидеть и тем более предусмотреть...

В общем, мир не становится проще, он становится сложнее. И писатель призван, хотя задача стоящая перед ним, чрезвычайно трудна, помочь людям найти точку опоры в этом смятенном мире.

Юрий Брезан попытался это сделать в своей сказке. И он показал, что точка опоры — сам человек, но не всякий, а такой, как Крабат, который, по словам Брезана, во времена Древнего Рима был бы Спартаком, а во времена гитлеровской диктатуры — антифашистом-подпольщиком.

— Я убежден,— пояснил Юрий Брезан,— что Крабат существует во все времена, потому что борьба преемственна, борьба непрерывна.

Борьба за что? Борьба против чего? Брезан рассказал, как он читал свою сказку в кругу рядовых партийных работников. Потом началось обсуждение, и одна женщина сказала, что речь идет о борьбе добра со злом. Тотчас же поднялся мужчина и заявил, что его поражает, как можно говорить такую чепуху: добро и зло — понятия туманные, а совершенно ясно, что тут речь идет о борьбе пролетариата против империализма.

Кто же прав в этом споре? В известном смысле, оба правы. Не следует забывать, что в «Черной мельнице» все фантастично, на то это и сказка. Есть в ней и превращение людей в животных, животных в людей, есть в ней и сундук за семью замками, где хранятся семь книг мудрости, которым завладел Черный мельник, есть в ней и многое другое. Но за фантастичным скрывается реальное: борьба угнетенных против угнетателей. И читатель имеет возможность ассоциировать фантазию с историей, с тем или иным конкретным историческим моментом.

Сам Брезан, как он сообщил нам, ассоциирует свою сказку с историей лужицких сербов, к которым он принадлежит. Это славянское племя издавно жило в окружении немцев. У него были и остались свой язык, своя культура, свои обычаи, своя одежда. В том, что лужичанам удалось — в условиях многовекового угнетения — сохранить свою самобытность, Брезан видит нечто не менее фантастическое, чем победа неимущего Крабата над всевластным Черным мельником. Об этом и написана его сказка.

Еще раньше он написал трилогию о Феликсе Хануше, юноше, принадлежащем к тому же национальному меньшинству. Это современный роман, в котором отображена судьба лужицкосербской интеллигенции в годы фашизма. Часть ее фашисты хотели подкупить, весь остальной народ, в соответствии с расовой теорией, уничтожить. Феликс Хануш оказался неподкупным.

— Чего только не придумывали бесноватые расисты!..— вспоминает Брезан.— Однажды издали указ, запрещающий на кладбищах делать надгробные надписи на каком-либо языке, кроме немецкого. А кладбище было наполовину немецкое, наполовину лужицкое. И тогда лужичане стали накрывать гробы черной материей, на одной стороне которой «Спи с миром» было написано по-немецки, а на другой — по-лужицки. Бургомистр смотрел на это сквозь пальцы. А в 1944 году его арестовали за недосмотр.

После разгрома фашизма все изменилось. И эту коренную перемену в судьбе лужичан, происшедшую в ГДР, Юрий Брезан именует «подлинным чудом» — в отличие от так называемого «экономического чуда» Западной Германии.

— Помню, в 1945 году я записал в своем дневнике: «Не знаю, зачем мне тут оставаться, ведь немцы останутся немцами»,— рассказывает Брезан. Он тогда не верил, что в Германии возможно равноправие национального меньшинства с национальным большинством. А теперь, в Германской Демократической Республике, равноправие вошло в быт обоих народов, стало само собой разумеющимся. Это, как говорит Брезан, означает, что в ГДР «немцы стали иными». Потому что утвердился новый общественный порядок, несовместимый с расизмом.

— Раньше мы были людьми без родины. Теперь у нас есть родина,— говорит Брезан.

Он рассказывает, что его 10-летний сын ходит в лужицкую школу, где обучение ведется на родном языке, но шесть часов в неделю учат немецкий язык.

— Теперь мы — свободная нация, живем на равных правах с немцами,— повторил Брезан.— У нас сейчас гораздо больше врачей, чем было раньше и врачей и священников, вместе взятых. У нас свои учителя, свои кораблестроители, свои ученые, в том числе и физики-атомники. Перед нами открыт путь к науке и к культуре.

Сам Брезан пишет на двух языках, лужицком и немецком. Все, что он написал по-немецки, издано и на лужицком языке. Не все, что он написал по-лужицки, издано на немецком языке. Так, например, свои стихи, ставшие песнями, он не счел нужным переводить с лужицкого на немецкий, потому что они отличаются ярко выраженным национальным своеобразием. У лужичан, как сообщает Брезан, есть собственное издательство, выпускающее около тридцати названий в год.

Освобождение лужичан, о котором с гордостью и радостью говорит Брезан, началось в 1945 году, когда советские войска разгромили немецкий фашизм.

— Целые деревни со знаменами выходили навстречу освободителям, встречали их как родных,— вспоминает писатель.

— Со времени великого восстания лужичан в 1010 году у нас не было героической истории,— добавляет он.— Но, по существу, большая история нашего народа складывалась из тысяч маленьких историй, размером в жизнь каждого лужичанина. Лучшие черты героев этих историй я и хотел воплотить в образе Крабата, имеющем обобщающее значение.

Брезан собирается написать роман, героем которого будет все тот же Крабат, но в разные времена и в разных обличиях. Он может быть Спартаком или нашим современником, но всегда и везде он — борец за свободу своего народа.

— Я не стану соблюдать историческую последовательность,— объясняет Брезан,— это будут самостоятельные истории, вполне реалистичные. А чередование их зависит от того, какой вопрос возникает в предыдущей и какой ответ дается в последующей. Это будет как слоеный пирог. Но главные герои — одни и те же, Крабат и Маркус, двое друзей, мать Маркуса, усыновившая Крабата.

Я ничего не боялся так, как боюсь этой книги,— признается Брезан,— но я попробую ее написать. Тут работы лет на пять. Книга должна быть — не по форме, а по содержанию — философской.

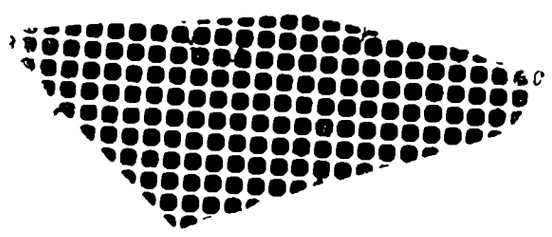
Как мы знаем, переход от времен чисто сказочных к временам условно историческим, в частности, к средневековью, осуществлен и в сказке Брезана. Черный мельник, исчадие ада, становится там безраздельно властвующим маркграфом, а Крабат, мечтающий о рае для обездоленных, превращается в молодого князя, восстающего против деспотизма. В сказке несомненно имеется и философский смысл. Но роман, по всей вероятности, будет шире и глубже.

Брезан сообщил также, что им написана пьеса, которую поставит Дрезденский театр. Он затрудняется сказать, будет ли пьеса иметь успех. Во всяком случае, она, по его словам, не из разряда «крестильных», то есть не из таких, где герой, голову которого окропили святой водой нового мировоззрения, тут же становится другим человеком.

В «Вопросах и ответах» Брезан говорит, что признает только то искусство, которое «помогает человеку расти».

Судя по его сказке, а также по замыслу романа, он стремится утверждать героическое начало в человеке. Но еще раз повторяет: «Нет таких героев, которые в карманах своих брюк носят рай для всех». И это означает, что романтическое и реалистическое в его творчестве неразрывно связаны.

Л. АЛЕКСАНДРОВА



ДАВИД КЮН И ЕГО СВОДНЫЕ БРАТЬЯ

Генри Егер. Бунт обреченных. Перевод с немецкого Ю. Неподаева и А. Чернецкого. Предисловие Ю. Федосюка. Москва, «Прогресс», 1967. 399 стр.

Западногерманский писатель Генри Егер озаглавил свой, лучший, по мнению литературной критики, роман с той прямотой и резкостью, которые привычнее для литературы публицистической, где в самое название нередко выносится жесткая и бестрепетная общая мысль автора. «Бунт обреченных»! Я бы охотно озаглавил так и статью о романе Генри Егера, если бы это не было слишком просто.

Это не мелочь, не случайное, мимоходное наблюдение Уже здесь, в названии, выражена определенность общественной позиции Егера, социальная направленность его гнева. Уже в названии заключен суд над обществом и вместе с тем тут же таится опасность схематизации бесконечно сложного и противоречивого современного мира.

Но перед нами роман — стремительно развивающийся, увлекательный, страстный, мы проглатываем его чуть ли не в один присест и можем судить о нем во всей его полноте. События этого романа, как немногих других, могут быть выражены в нескольких строках уголовной хроники. Вот как это могло бы выглядеть:

После долгих месяцев безрезультатных поисков полиции удалось напасть на след и арестовать убийц банковского кассира Якоба Неймана укравших миллион марок. Ими оказались: Давид Кюн, недавно возвратившийся в ФРГ после нескольких лет службы в Иностранном легионе во Вьетнаме и Алжире, и его сводные братья — Алекс Кюн, владелец бензозаправочной станции, и младший из братьев, Пауль Кюн, незадолго до раскрытия преступления разбившийся насмерть при автомобильной катастрофе. Их отец, Генрих Кюн, пытаясь ввести в заблуждение следствие и спасти от наказания сыновей, признался в убийстве кассира и ограблении банка, после чего повесился в тюремной камере. Вскоре действительные грабители и убийцы предстанут перед судом...

Формально за пределами такого сообщения остается немного: женщины Давида и женщины Алекса, высказанные и тайные терзания Пауля, служба Генриха Кюна в одной из общественных уборных города, его простодушные, запоздалые планы женитьбы, спортивные треволнения семейства Кюнов и кое-что другое, мимо чего следователь, добившись признания преступников, пройдет без особого интереса. И Марта, загадочная до поры до времени подруга Давида, и дочь богатого фабриканта Рия Яблонская, которая так долго сопутствует Алексу в его блистательных спортивных успехах — и они недолго отвлекут внимание следователя. А прошлое Давида, его палачество во Вьетнаме и Северной Африке, будет всеми силами замято в ходе следствия. Стоит ли публично напоминать о столь неблаговидной роли иных сынов Федеративной Республики в сегодняшнем мире!

Для нас же, читателей, все, что лежит за пределами уголовной хроники, все, что только подготавливает ее и сопутствует ей, все это как раз и представляет наибольший интерес и самую суть дела. Ограбление банка и непредвиденное, но вполне профессиональное убийство главного кассира — это только рывком сработавшая пружина действия, а интерес книги — в сложной картине жизни, в обостренном чувстве историзма, в характерах героев. Здесь исследование нравов, судьбы молодых в мире коррупции и всеобщей продажности слиты с криминальным событием: оно не носит самодовлеющего характера и не служит приманкой для вящей занимательности. Единственный выстрел Давида Кюна, стоивший жизни кассиру, как мгновенная фотовспышка, пролившая мертвенный свет на мир, в самом устройстве которого гнездится преступление, в утробе которого оно ворочается и рвется из него на-

ружу, мир, который живет преступлением и ополчается против него только тогда, когда преступление угрожает ему самому.

Вот почему так важна фигура Давида Кюна, блудного сына, возвращающегося на родину. Генри Егер написал своего героя натуральным немцем из ФРГ, с головой, седеющей от пережитого. Однако же сила этой фигуры, ее важность для сегодняшней литературы — в некой «глобальности» судьбы Давида, в трагической распространенности для буржуазного западного мира подобного рода судеб. Мне трудно согласиться с утверждением автора предисловия к русскому изданию романа, что «...Давид — не конченый человек, а заблудший, не палач, а жертва». Конечно, «лучшие качества его богатой натуры» при других обстоятельствах, быть может, и развернулись бы по-другому, но, чтобы увидеть это, нам пришлось бы долго раскручивать ленту времени вспять. Генри Егер делает это в коротких, курсивом набранных вступлениях к каждой главе — в них мы конспективно прослеживаем жизнь Давида от самых ее истоков: его детство, нужду, тиранию учителя Эрба. С известной долей точности мы могли бы определить и время, когда жизнь Давида пошла под уклон.

Все это так, но правда и то, что перед нами совершенно сложившийся человек, зашедший в своих «заблуждениях» так безнадежно далеко, что, право же, он ближе к палачам, чем к жертвам. Конечно, в преступлении отдельного человека всегда есть и преступление общества: даже Яго и Ричард III были некогда безвинными младенцами, сучившими ножками в своих колыбелях! Но и жизнь и литература имеют дело с реальностями: годы легионерства Давида Кюна превратили его в жестокого палача, хладнокровного убийцу детей и женщин Вьетнама, в человека безнравственного, способного глумиться и над женщиной, которую он некогда любил. На руках Давида уже несмываемая кровь: ведь и вдали от родины в джунглях Вьетнама, в песках под Ораном и Алжиром он был не только заложником века, но и отчаянным головорезом, бессердечным убийцей и мародером.

Именно то обстоятельство, что недавнее темное прошлое Давида неотделимо от самых драматических «болевых точек» планеты, что он был ландскнехтом империализма там, где народ поднимался на борьбу за свободу и независимость, делает исключительно важным нравственный урок, преподанный нам всей его судьбой. Что и говорить, вернувшись на родину, он хотел бы забыться, зажить другой жизнью, более того, он, оказывается, способен проникнуться ненавистью к преступникам большего, чем сам он, масштаба, ненавистью к истинным творцам преступлений, к Беллингу — убийце тысяч и тысяч евреев, к тем, кто толкнул его в легион и кто продолжает формировать легионы и сегодня. Но ненависть эта отчасти уже рабья: Давид сломлен навсегда и навсегда не способен к труду, мертв для общественных страстей и коллективных форм их выражения.

Я помню многие обличительные слова Давида Кюна, в том числе и те, которые, увы, звучали бы более убедительно в устах критика, анализирующего этот образ, чем в его собственных. «Меня вооружили, выдрессировали и приказали — убивай! Ради политических интересов, *которые, как известно, неотделимы от экономических!*» (Курсив мой.— *А. Б.*) Я намеренно выделил те слова Давида, которые он, как живой человек, попросту не мог сказать, точнее, не мог бы сказать в этой форме.

В некотором тяготении Генри Егера к прямым и обнаженным логическим мотивировкам заключена, на мой взгляд, слабость этой талантливой книги. Порой автора искушает слишком прямой разговор с читателем. Он словно не доверяет нашей способности прийти к самостоятельным выводам и торопится дать публицистический комментарий к поступкам и отношениям героев. В иных случаях это ощутимо вредит действию, схематизирует его.

Но такого в романе немного. Основу его составляют герои во плоти и крови, сложные драматические конфликты времени. «Что сделал я в жизни? — мечется в отчаянии Давид.— Возил в машине свинью по имени Беллинг, служил в Иностранном легионе, чинил автомашины. И все ради куска хлеба, ради того, чтобы жить...» «Эка беда,— успокаивает он свою совесть, намереваясь стать добычливым спекулянтом оружием в объятом войной Алжире.— быть маленькой свиньей, когда на свете столько высокопоставленных свиней!» Он ненавидит все это скотство, «густое, грязное месиво из власти, политики, права, бесправья...», но ненавидит, как человек отторгнутый, обойденный более сильными и изворотливыми, ненавидит, как пьянчуга, выброшенный за порог трактира и сквозь застекленную дверь наблюдающий за тем, как веселятся другие.

Да, не взволнованным сердцем, не с горестным сочувствием, а только памятью и

нашей способностью к рассуждениям приходим мы к мысли, что и Давид Кюн мог бы стать другим человеком, обратить свой ум и решимость на другие дела. Но что бы там ни было прежде, он уже весь, без остатка перелился в другое содержание, он спекся, расплавился в смердящем пламени легионерства, стал человеком, отмеченным не только зримыми, физическими шрамами, но и тленом души. Его яростные эскапады в адрес сильных мира сего и скрывшихся от возмездия нацистских преступников, его обличения объективно справедливы — но и они уже не откроют ему дверей в другой мир, в общество людей, которые могли бы стать товарищами по борьбе.

Сегодня, когда мир империализма пытается превратить в легионеров уже не сотни и тысячи, а сотни тысяч и миллионы молодых людей, воспитать из них нерассуждающих наемных убийц, распалить в них так называемый «агрессивный импульс»,— сегодня трагический опыт Давида Кюна приобретает особый вес и значение. Генри Егер показал нам не только этот оригинальный и еще мало исследованный западной литературой образ, написав его крупными мазками, с живыми, не стирающимися из памяти чертами действительного характера.

Генри Егер с незаурядным мастерством психолога написал и Пауля Кюна, мелкого банковского служащего, младшего сына Генриха Кюна, да и самого папашу Кюна — быть может, самую трагическую личность из всех, кто населяет роман. За его плечами — десятилетия нужды, жизненной борьбы, несбывшихся надежд, любви и потерь, жизнь неприметная, но честная и добрая. Он был в числе тех, кого в трудную пору обманула демагогия Гитлера, кого нацисты гнали убивать и умирать, но и во всем этом ужасе, в кровавом месиве эпохи он стремился сохранить образ и подобие человека. Он не бунтарь, он скорее из растерявшихся маленьких людей первых романов Фаллады, но измени хоть чуточку обстоятельства его жизни — и он мог бы оказаться рядом с героем романа «Каждый умирает в одиночку», вместе с ним подставив шею гильотине. Да, он умер иначе, умер в уголовной тюрьме, сунув в петлю худую шею, но его подтолкнула к смерти любовь к сыновьям, желание сохранить им жизнь. И не просто сохранить, а сделать ее отныне вечным, пожизненным наказанием сыновьям. «Пусть живут на свободе,— думает он перед смертью.— И это станет их наказанием — жить на свободе!»

Генрих Кюн потрясен разверзшейся перед ним бездной — гибелью Пауля и преступлением двух живых сыновей. И он в душе ополчается против властителей буржуазного мира. Он обвиняет других — «сильных мира сего: полководцев, главарей, государственных мужей, налоговых инспекторов, надсмотрщиков за рабами и палачей, которых он называет пособниками смерти. Он читал в газетах о проклятом палаче евреев, убийце молодежи... Разве не убил он тысячи? А двое его сыновей — всего лишь одного... Ведь это же по полчеловека на каждого...»

Он не знает, что жизнь кассира Якоба Неймана можно бы в больном воображении разделить и на троих: ведь в деле был и младший, Пауль, и его душе не попасть в рай! Смерть Пауля за рулем — в сущности, тоже самоубийство. Добрый, славный Пауль — вот кто поистине и жертва, и заблудшая душа. Он не выдерживает двойной жизни, которая ведь сломала и железную преступную волю Давида. Для сегодняшней западной молодежи образ Пауля, вероятно, наиболее важен и поучителен. Таких, как он, брошенных обществом на произвол судьбы, лишенных жизненной цели и идеалов, много, слишком много, они составляют значительную часть молодежи. «Ведь ничего особенного не происходит,— с тоскливым удивлением говорит Пауль.— В моей жизни вообще ничего интересного не бывает». Быть может, он и был рожден, чтобы повторить путь и жизнь отца, Генриха Кюна, в чем-то улучшив ее, если позволят история и обстоятельства. рожден, чтобы любить жену, детей и никогда никого не убивать. Такой подвиг, в полной мере, не по плечу Алексу: уж очень непомерно его честолюбие, его поклонение деньгам и силе.

А Пауль мог бы! Но не таков мир, в котором он живет, чтобы помочь ему обрести ясность. Это мир тупых приобретателей Яблонских, д-ра Беллинга, увернувшегося от наказания за массовые расстрелы в годы войны, тот самый мир палачей и пособников смерти, о котором в последние часы жизни горестно размышлял Генрих Кюн.

Генри Егер с сарказмом и гневным неприятием написал этот мир. А короткие ретроспекции — небольшие вступления к главам, напоминающие нам и о прошлой жизни старшего поколения Кюнов, и о тягчайших десятилетиях жизни гитлеровской и послевоенной Германии,— ретроспекции эти сообщают всей картине дополнительную историческую глубину и неотменимую достоверность.

АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ

БЕСПОКОЙНЫЕ РИТМЫ СУДАНА

Поэты Судана. Перевод с арабского. Переводы: И. Волгина, М. Курганцева, В. Сикорского, М. Тарасовой. Составитель Г. Лебедев. Москва, «Прогресс», 1967. 93 стр.

Минуло более ста шестидесяти лет с тех пор, как петербургский альманах «Полярная звезда» опубликовал восточные повести «Бедуин» и «Витязь буланого коня», переведенные с арабского молодым ученым и начинающим литератором Осипом Сенковским, который впоследствии стал известен под именем Барона Брамбеуса. Эти повести, высоко оцененные в свое время А. С. Пушкиным, положили начало непосредственному знакомству русских читателей с сокровищницей арабской литературы, которая прежде была известна в России лишь по редким и весьма далеким от

подлинника переводам с французского. Свои восточные повести О. Сенковский написал вскоре после возвращения из путешествия по странам Востока, во время которого он побывал в Турции, Сирии, Египте и в таких отдаленных странах, как Нубия и Верхняя Эфиопия (то есть, по-нынешнему, Судан). Есть все основания предположить, что в основу сюжета некоторых произведений Сенковского на восточные темы, например знаменитого «Антара», отчасти легли народные арабские сказания, слышанные им в Судане.

Много воды утекло с тех пор, как Барон Брамбеус познакомил русских читателей с поэтическим устным творчеством суданского народа. Теперь в Судане, как и в других арабских странах, существует самобытная национальная литература, а суданская поэзия завоевала мировую известность. Начало знакомству нашего читателя с современной суданской прозой было положено в позапрошлом году, когда вышли «Рассказы писателей Судана» (Перевод с арабского. Составление Н. Занд. Москва, «Художественная литература», 1966.) Теперь он может приоткрыть окно и в мир современной суданской поэзии, которая представляет собой одно из наиболее значительных явлений арабской литературы.

Главное достоинство суданской поэзии сегодня, на наш взгляд, в ее самобытности, в неподчинении устоявшимся канонам и нормам. Поэтому нам представляется спорной точка зрения французского ориенталиста Гастона Виэта, который в книге «Введение в арабскую литературу» утверждает, что современные суданские поэты «за неимением слишком выдающихся предшественников идут по стопам ливанских собратьев в области формы, не пренебрегая также реализмом египетских новеллистов». Это можно сказать лишь о некоторых суданских поэтах, потому что наиболее крупные из них, в частности аль-Фейтури, прокладывают собственный путь в поэзии (хотя и не гнушаясь при этом перенимать отчасти опыт более искушенных ливанцев и египтян).

Сборник «Поэты Судана» открывается стихотворениями Мухаммеда аль-Фейтури — того самого поэта, книга которого «Песни Африки», вышедшая в 1955 году, ознаменовала, по общему признанию, рождение новой суданской поэзии. В его страстных, горячих стихах — боль и гнев Черного материка, долго томившегося в оковах и наконец поднявшегося на борьбу с поработителями. Голос поэта суров и беспощаден. Его постоянно преследуют кошмарные видения прошлого. Только временами, как он говорит в стихотворении «Голос Африки», «рассеивается отчаянье и проступает надежда сквозь молчанье во мгле».

Интересно творчество Тадж ас-Сирра Хасана и нубийца Джили Абд ар-Рахмана, на формирование таланта которых оказало влияние долгое пребывание в Египте, а затем в Советском Союзе. Советскому народу и великой Октябрьской революции Тадж ас-Сирр посвятил стихотворение «Привет Октябрю»:

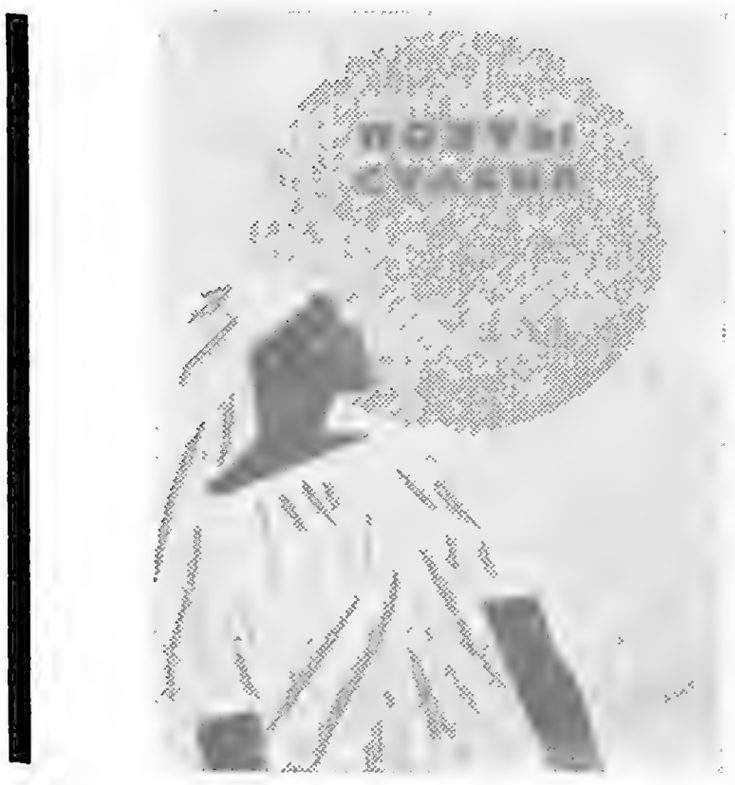
Я не был рожден у великой Невы,
я родом с зеленого Нила,
но солнце Российской земли
тернистый наш путь озарило.

Для поэзии Тадж ас-Сирра и Джили характерны глубокий интернационализм, чувство братской солидарности со всеми народами Земли. Стихи Тадж ас-Сирра переносят нас от бастующих рабочих суданского города Атбары к партизанам Алжира, из шахт Южной Африки на берега Невы, потом в лачугу суданского землепашца. Столь же широка «география» стихов Джили. Тадж ас-Сирру и в особенности Джили принадлежат и прекрасные лирические стихотворения («Древний город», «Луна» и «Лачуга» Тадж ас-Сирра, «Четыре письма любимой» и многие другие стихи Джили).

Творчество четвертого поэта Салаха Ахмада Ибрахима, который известен и как талантливый прозаик (два его рассказа помещены в сборнике «Рассказы писателей Судана»), в основном питается темами современной суданской и африканской действительности. Подборка его стихов открывается сильной и трагической поэмой «Фуззи-Вуззи», название которой навеяно одноименной поэмой Р. Киплинга. С. А. Ибрахим как бы вступает в спор с Киплингом. Его герой Ушик из племени хадендоа — не экзотический киплинговский дикарь фуззи-вуззи (так прозвали это племя английские колонизаторы). Это — обыкновенный человек, несчастный отец, горячо переживающий смерть сына-грузчика, погибшего в порту, и позор дочери, торгующей своим телом в большом городе Кадарифе:

И яблоки, спелые яблоки,
голосом кротким, невинным,
как будто игрушки на ярмарке,
она предлагает мужчинам.
...Каждому, кто придет.

Беспокойные, грозные ритмы Орфея Черной Африки аль-Фейтури мало напоминают точную манеру письма Тадж ас-Сирра, а мягкий лирический почерк Джили очень далек от сурового трагизма строк Салаха



Ибрахима. Однако этих столь непохожих поэтов объединяет любовь к идущей к свету Африке, к простым людям земли и ненависть ко всякому угнетению.

На наш взгляд, удачно переведены стихи Салаха Ибрахима. И. Волгин передал их суровый, несколько грубоватый реализм. Стихи же поэта-бунтаря аль-Фейтури в переводе М. Курганцева звучат несколько слабее, чем в оригинале, приглаженнее. Неплохо переведены Тадж ас-Сирр Хасан М. Тарасовой и Джили Абд ар-Рахман В. Сикорским. Единственное, что вызывает досаду после прочтения этой интересной и со вкусом изданной книжки — это примечания к стихам. Так, на странице 26 в примечании к стихотворению Тадж ас-Сирра «Атбара» ошибочно указывается, что «Атбара — промышленный город на юге Судана». На самом деле этот город расположен в северной части Судана. «Фуззи-Вуззи» — это не «название, данное Киплингом племени хаданду» (точнее, хадендоа — одно из племен народности беджа на востоке Судана), а заглавие поэмы Киплинга, в котором он лишь использовал презрительное наименование, данное этому племени английскими завоевателями. Слово «дабаю» (правильнее «дабайуа») — это не «приветствие на диалекте», а общераспространенное слово на языке народа беджа, то-бедауйе, нечто вроде нашего «как поживаешь?». Подобные огрехи не украшают, конечно, издания.

В сборнике «Поэты Судана» представлено творчество только четырех современных суданских поэтов, принадлежащих к так называемому «новому реалистическому направлению». Это, конечно, очень мало для настоящего знакомства с современной суданской поэзией, где кроме поэтов-реалистов существуют поэты-романтики и поэты, пишущие в традиционном жанре арабской классической касыды. Среди них такие известные в арабском мире поэты, как Мухаммед Ахмад Махджуб и Мухи эд-Дин Сабир. Да и хороших поэтов-реалистов в Судане больше.

Хочется надеяться, что в скором будущем наши издательства выпустят более полный сборник суданской поэзии, которая этого безусловно заслуживает.

Л. СТЕПАНОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ГИМН, НАПИСАННЫЙ КРОВЬЮ

Luandino Viera. Luuanda. Belo Horizonte, Eros, 1965.

Ярко-красного цвета буквы составляют слово «Луанда». Как будто свежая кровь стекает по глянцевой бумаге обложки... Так выглядит эта книга. Много прошло времени, пока она попала к нам. Трагическая история ее вызывает глубокое уважение к создателю книги и к тем людям, благодаря которым она смогла появиться на свет.

Зная о жестоком нраве португальской цензуры, друзья писателя решили выпустить его книгу одновременно в двух местах. Одно издание должно было появиться в самой Луанде, в главном городе Анголы, а второе — в небольшом бразильском городе Белу-Оризонте. Рисунки для обложки обеих книг были сделаны самим автором. И на той и на другой — жалкий домишко, обычное жилище бедняков в пригородах Луанды, и на той и на другой — кровоточащая надпись. Только одним отличалась обложка книги, вышедшей в Луанде: ее фоном была призрачная серо-голубая фотография — панорама далекого города, панорама самой Луанды.

В июле 1965 года газеты всего мира опубликовали сообщение о том, что Португальское общество писателей присудило Луандину Виейре (Матеушу Виейре ди Граса) Большую премию за лучшую книгу рассказов, вышедшую в 1964 году. Казалось бы, что тут особенного? Однако политическая полиция разгромила помещение, занимаемое Португальским обществом писателей, и арестовала многих ее членов. Общество было ликвидировано, книга запрещена, весь тираж ее, кроме нескольких экземпляров, успевших просочиться за границу, уничтожен. И вот тут, к ярости португальских властей, вышло бразильское издание книги. Оно совершенно идентично первому, ангольскому изданию. Но здесь книге предпослано коротенькое сообщение от издателей: «Когда бразильское издание «Луанды» было уже в печати, мы узнали, что это сочинение увенчано Большой премией Португальского общества писателей в Лиссабоне. Приветствуя это решение Португальского общества писателей, шлем дружеские поздравления Луандину Виейре».

Таким образом, друзья писателя попытались еще раз привлечь внимание мировой общественности к этой книге, подчеркнуть ее значительность и выразить свои чувства по отношению к автору.

А сам Луандину Виейра в это время под безжалостным солнцем тропиков, на земле, растрескавшейся от зноя, от зари до зари ворочал тяжелые валуны вместе с другими узниками концентрационного лагеря, известного под издевательским названием «Добрая земля». (Именно здесь провели долгие годы многие португальские коммунисты, прославленные непоколебимым мужеством. Именно на этих камнях в 1960 году оставил кровавые следы ангольский политический деятель и поэт Агостинью Нету.) Ему не вручили премию, наделавшую в мире столько шума, да он и не знал тогда ни о том, что его книга вышла, ни о том, что она награждена.

За что же попал еще в 1961 году двадцатипятилетний Луандину Виейра в это страшное место? За то, что он, пор-

тугалец по происхождению, родившийся на африканской земле Анголы, посвятил жизнь и творчество африканской родине. За то, что в стихах, рассказах, рисунках, беспощадных статьях, публиковавшихся в ангольском журнале «Культура», выступал против колониализма, в защиту африканского народа.

Певец родной Луанды Матеуш Виейра ди Граса взял себе псевдоним «Луандину», что значит «родившийся в Луанде». Уже первый его маленький сборник рассказов «Город и детство» был посвящен юным жертвам расизма, детям и подросткам из муссеков Луанды... Второй цикл рассказов, публиковавшихся в журнале «Культура» с 1957 по 1960 год, объединенных названием «Молодые жизни», тоже посвящен жителям родного города — студентам, детям, молодым рабочим и девушкам. Повесть «Путь Домингуша Шавиера»*, законченная в 1961 году, перед самым арестом, была тайком вынесена друзьями писателя и впервые опубликована под псевдонимом Мунделе диа Кванза, что означает Белый человек с берегов Кванзы. В ней рассказывалось об африканских патриотах, об их делах, об их жизни накануне событий февраля 1961 года. Это опять был гимн родному городу Луанде, непокоренному, свободолюбивому, готовому к борьбе. И, наконец, этот сборник рассказов — опять Луанда, прославленная автором и прославившая автора.

По содержанию сборник не таит в себе такого яростного революционного заряда, как повесть «Путь Домингуша» или рассказы из цикла «Молодые жизни». Но он ценен правдивым отражением повседневной жизни Луанды в последнее время, уже после февральского восстания, потопленного в крови, из которого родилась национальная, освободительная война ангольского народа против португальских колонизаторов.

Неторопливо, спокойно ведет автор повествование, любовно описывая родной пейзаж, людей, их внешность, их характеры, их разговоры. Главное действующее лицо всех трех рассказов — Голод. В рассказе «Бабушка Шиши и ее внук Зека Сантуш» и в «Истории о воре и о попугае» он присутствует на каждой странице, на каждой он назван по имени. В третьем рассказе «История про курицу и про яйцо» он ни разу не назван. Читатель только ощущает его постоянное присутствие на этих убогих улочках, только слышит его властный голос, диктующий поступки разнохарактерным персонажам рассказа. Все они голодны, и поэтому каждый по-своему стремится завладеть яйцом, которое снесла на чужом дворе маленькая пестрая курица Кабири.

На страшном фоне тюрем Луанды, тюрем, переполненных ни в чем не повинными людьми, такими же обездоленными, как Зека Сантуш, как несчастный хромой Гарриду — главные персонажи двух первых рассказов,— проходят действующие лица, такие разные и такие одинаковые в своей нищете.

Пересказать содержание, сюжет рассказов — это значит еще ничего не сказать. Дело совсем не в том, что Зека Сантуш, влюбленный в Дельфину, невольно оскорбил ее, дело не в том, что хромой Гарриду похищает у своей неуступчивой возлюбленной говорящего попугая. Дело в том, что в каждой строчке бьется пульс трепетной жизни, которую душат, которую оскорбляют, которую пытаются истребить.

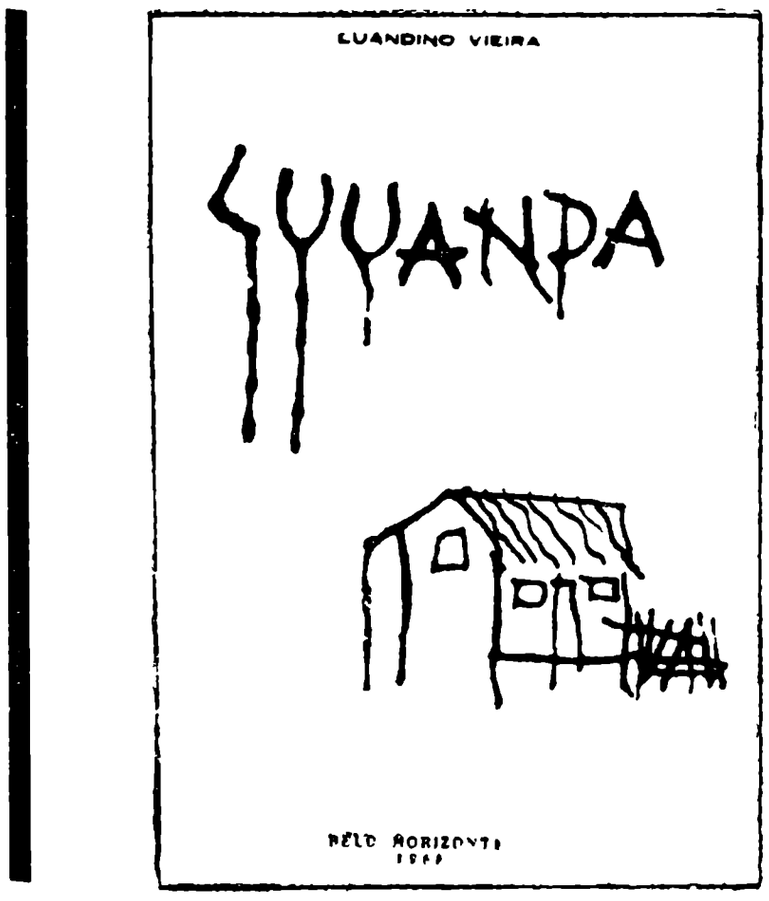
Эта книга — последнее произведение, дошедшее до нас, о жизни африканского населения Луанды сразу после кровавых событий 4 февраля. Уже расставлены в муссеках вышки с прожекторами, чтобы полиции видно было все, что творится на кривых улочках... Уже днем и ночью патрулируют между убогими домишками полицейские джипы... Уже людям запрещено собираться в количестве большем, чем два человека... Не может устроиться на работу тот, кто родился в Катете, потому что этот район был центром крестьянского восстания... Тюрьмы переполнены так называемыми «террористами», а в действительности — борцами за свободу... И многие, многие другие подробности говорят нам не о страхе народа перед угнетателями, а о страхе угнетателей перед народом. Потому что по-прежнему неистребима в сердцах людей любовь к родному городу, потому что по-прежнему неистребимы народный юмор и народная мудрость, потому что народ победить нельзя!

Если бы не было книг, подобных «Луанде», как узнали бы мы о том, что такое Ангола, что такое Луанда?

Слава тем, кто, не страшась тюрем и смерти, несет правду в мир. Это они закладывают основы для интернационального братского взаимопонимания, это они воздвигают фундамент здания национальной народной литературы.

Л. НЕКРАСОВА

* Повесть была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 9, 1963 г.



ТРОПИНКА ИЗ ТОПИ

James Jones. Go to a Widow-Maker. London, Fontana Books, 1967.

Судьбы писателей складываются по-разному. Одни начинают неприметно: им нужны твердая вера в себя и годы терпения, чтобы когда-нибудь добраться, наконец, до вершин известности и славы. Они движутся вперед не быстрым, но уверенным шагом; каждая новая их книга чем-то лучше предыдущей и укрепляет репутацию автора; и однажды наступает день, который приносит писателю желанные плоды признания.

Другие приходят в литературу так, как врывается на стадион победитель многодневной велогонки,— приходят триумфаторами, напористо и броско, под бодрые звуки маршей и восторженный рокот трибун. Им словно бы удается проскочить все этапы гонки и очутиться сразу во главе колонны, устремившейся к финишу. Слава как будто сама спешит им навстречу; содержание их первых книг представляется настолько новым и значительным, что им легко прощают погрешности почерка и даже отсутствие подлинной художественной культуры.

А дальше? Дебют таких писателей настолько ошеломителен, что от них ждут чего-то необыкновенного; их следующую книгу раскупают так, точно в ней заключено новое откровение,— и, за редким исключением, обманываются. Как велогонщик после финиша, писатель по инерции может еще проехать несколько кругов, но скорость неумолимо гаснет, взбудораженность зрителей проходит, и уже иной триумфатор привлекает к себе всеобщее внимание.

Нечто в этом роде приключилось и с Джеймсом Джонсом, которого называли самым талантливым из поколения американских писателей, начинавших вскоре после войны. Когда в 1951 году дотоле никому не ведомый Джонс опубликовал антивоенный роман «Отсюда — в вечность» — книгу страшной правды и пронзительной боли за искалеченных казармой людей,— с его именем стали связывать самые большие надежды. Казалось, наконец-то найден ответ на давно занимавший критику вопрос — кто придет на смену Фолкнеру и Хемингуэю? Но год шел за годом, и на глазах читателя в который раз разворачивалась знакомая история. Подобно множеству других, Джонс не обладал необходимой культурой, чтобы воспротивиться сугубо утилитарному подходу к искусству и устоять под натиском армии всяческого рода дельцов от литературы. Американские писатели говорили о войне как о великом потрясении, как о трагедии и испытании, как о чудовищной несправедливости и жестоком фарсе; так это было и в первой книге Джонса. Но Джонс доказал и обратное: о ней можно писать и издавать миллионными тиражами банальные истории с героями, в которых нет решительно ни одной живо подмеченной черты, с сюжетами, более уместными в жанре удалого вестерна, главное же, с длиннейшими и подробнейшими экскурсами в область «клубнички».

Когда в 1962 году вслед за Хемингуэем умер Фолкнер, Джонс был автором четырех книг, по которым можно было наглядно убедиться, как писатель способен последовательно мельчать до тех пор, пока очередное его сочинение не явится лишь пародией на самого себя.

Такова предыстория нового романа Джеймса Джонса «Ступай туда, где делают вдов». Она кое-что говорит об уделе художника, пошедшего, по словам американского романиста Сола Беллоу, на поводу «образованных бездарностей, ратующих за такие разновидности литературы и искусства, которые соответствовали бы их собственному представлению о творчестве». Она сообщает совсем особое, горькое, глубоко личное звучание страницам последнего произведения Джонса.

Эта книга — одновременно и исповедь, и несентиментальный суд над собой. В ней все — прочувствованное «на разрыв аорты» и проанализированное с бесстрастностью специалиста-медика, ищущего причины заболевания. В ней много эпизодов, потрясающих жестокой откровенностью: Джонс подсчитывает понесенную им убыль, не страшась правды. Ее больно читать, и можно представить, как больно было Джонсу написать ее; но эта боль целительна. Утратив правый путь и очутившись посреди жизни в сумрачном лесу, другие часто не искали из него выхода; они боялись сказать самим себе правду. Джонс не убоялся. В этом его мужество. В этом истинное значение его книги.

Ибо, если не высветить ее светом запечатленной в ней нелегкой писательской судьбы, книга может показаться в лучшем случае комичной, а в худшем — просто банальной. Мало ли писалось романов о всяческого масштаба «звездах» и их богатой приключениями интимной жизни в краткие дни отдыха где-нибудь на фешенебельных Бермудах, или на Антильских островах, где современные «смуглые принцы», прибывшие с Бродвея, охотятся за острыми ощущениями в открытых ночь напролет казино, или, как у Джонса, на Ямайке? Мало ли историй о роковых страстях с густопсовым натурализмом «любовных» сцен и популярной идейкой о том, что любовь есть непременно и ненависть, облачалось в завлекательную мягкую обложку и преподносилось на рынке «массового искусства» как последнее слово американского романа?

А все это есть в книге Джонса: и погоня за приключениями ради них самих, и доходящая до смертельной ненависти любовь, и скомканный, суетный быт «звезд» и их полупрофессиональных подруг, и ямайские пальмы, и нью-йоркские ночные дебоши, и нескончаемое (да и может ли быть ему иной конец, кроме смерти?) бегство от себя куда угодно — в пьяный ли разгул, или в

воспоминания о чистом, таком далеком детстве, или хоть в пучину морскую, где опасность зрима, а не гнетуще непонятна, туда, «где делают вдов». Но удивительное дело: мотивы, кочующие из одного бестселлера в другой, у Джонса звучат органично и воспринимаются как должное, потому что самая банальность действия и заурядность героев у него намеренны: за ними всюду и везде злая, порой страшная ирония самоотрицания, расчета со своим прошлым. Чем больше отдается джонсовский герой существованию бессодержательному и извращенному, тем с большей убедительностью звучит у Джонса мысль вечная и высокая: художник всегда в ответе перед своим талантом, в ответе за каждый акт пренебрежения искусством, творчеством.

Итак, его героя зовут Рон (полностью — Декамерон) Грант, ему тридцать шесть лет, и на Бродвее он слывет лучшим современным драматургом, исключая, быть может, Теннесси Уильямса. Он начинал, как многие в то время: был на войне, ушел на нее зеленым юнцом, а вернулся взрослым человеком и понял, что должен рассказать о том, что видел. В его первой пьесе изображался отсек затонувшей подводной лодки и пять моряков, последние часы их жизни, краткий срок для подведения итогов, минуты, более значительные, чем годы, оставшиеся там, до войны. Он хотел быть честным в своем искусстве, писал, чтобы сказать правду. Его услышали. Он прославился, звезда его взошла стремительно и разгорелась ярко.

Но что же дальше? Война была окончена, наступили дни мира, более тягостные и душные, чем самые трудные дни войны. Отравленный воздух маккартистских гонений и чисток проник и в обыденную жизнь, и в творчество, и в самые души людей. Можно было быстро завоевать репутацию «ведущего» — куда труднее было сохранить простую честность. О многом приходилось молчать, о многом другом — говорить не так, как хотелось. Незаметно для самого Гранта его замыслы стали получать совсем не то, как он поначалу думал, воплощение.

Он написал о трагической любви солдата и девушки из армейского борделя в Пирл-Харборе, думал, что это правда об изуродованных людях и их ущербных — не по собственной их воле — чувствах, но оказалось, что из-под его пера вышла лишь банальная история с героями, которые отделены один от другого стеной отчуждения и говорят друг мимо друга. Он сочинил пьесу о мучительной, противоестественной связи двух совершенно чужих людей, пытался выразить в ней чувство бесконечного одиночества человека в равнодушном макрокосме общества — получилась заурядная мелодрама, исторгавшая фонтаны слез у обывателей, но оставившая неудовлетворенным его самого. Всякий раз его вещи объявляли лучшими пьесами сезона, они приносили ему огромные деньги, за ними гонялись антрепренеры, но в глубине души Грант чувствовал, что он неудержимо катится вниз.

Понимал ли он, что с ним происходит? Среди его поколения было немало таких, кто продал себя, не лукавя и не оправдываясь; для них искусство было бизнесом, таким же, как производство расчесок или сочинение рекламных проспектов. Но случай с Грантом был сложнее. Неведомо для себя он заболел старинной болезнью — самоцензурой приспособления к духовному климату своей страны, ее вкусам и требованиям; он перестал быть свободным; дошло до того, что его пьесы словно бы кто-то писал за него самого.

Он долго не хотел искать тропинку из трясины, его засосавшей. Когда ему говорили об ответственности писателя, он разделывался с этой идеей посредством краткого ругательства. У него была своя философия защиты: «Я художник, я пишу пьесы. Я хочу понять, как работают хитрые пружинки человеческой психики. Пусть другие займутся спасением мира». Но за «хитрыми пружинками» в пьесах Гранта не было ничего, даже вымученной им в свое оправдание мысли о том, что искусство должно указать насильственно унифицированным, вовлеченным в безликое «массовое общество» людям последнее прибежище их индивидуальности: любовь, преодоление стандартизации в близости с другим человеком. В ней были только избитые тезисы о присущей человеку жестокости, проиллюстрированные соответствующими картинами предельно откровенного содержания. И, чувствуя свою несостоятельность, Грант молил указать ему действительную жизнь, жаждал реальности, как путник в пустыне — воды.

На Ямайке, куда, спасаясь от настойчивых укоров совести, он отправился, чтобы прикоснуться к полной опасностей и романтики жизни подводного охотника, его ждало последнее разочарование. Он встретил человека, который, казалось, отвечал его идеалу; в профессиональном ныряльщике Бонэме были мужество, стойкость, свобода от всех оков убийственного быта, жажда приключений; но оказалось, что романтик уживается в нем с дельцом. Грант встретил женщину, к которой впервые за многие годы испытал настоящее чувство, но выяснилось, что нельзя утверждать со сцены аморализм, не отравившись самому его ядом, и ниточка оборвалась.

Он долго, настойчиво обдумывал очередную свою пьесу. Она должна была воплотить узнанную Грантом реальность, и что же? Ее замысел принял черты явно болезненные — пьеса о том, что в сексуальном отношении человек никогда не может преодолеть чувства ущербности по сравнению с собственным отцом; поэтому жизнь всех людей есть беспомощная попытка доказать свою взрослость, это лишь игра во взрослую жизнь, как бы она ни называлась: верой, политикой, бизнесом, творчеством... И пьеса эта, если у Гранта, пережившего полную катастрофу, достанет сил ее написать, конеч-

но, будет иметь успех, большую прессу, аншлаги.

Потребитель у «массового искусства» несравненно более широкий, чем у искусства настоящего. Это могли бы подтвердить многие галантливые американские писатели, проделавшие сходный с Грантом путь, — от Джона Дос Пассоса до Эдварда Олби. Это мог бы подтвердить и сам Джонс, долгие годы шедший той же дорогой, расточивая щедро отпущенные ему силы и увязая в топи эрзацкультуры все больше. И выбираться из нее ему будет нелегко, ведь последний его роман — только самое начало этого пути, только тропинка, которая может показаться и слишком извилистой, и ненадежной, и зыбкой.

А. ЗВЕРЕВ

НИЩЕТА И ВЕЛИЧИЕ СТАРОЙ МАРИОТТЫ

Simone et André Schwarz-Bart. Un plat de porc aux bananes vertes. Roman. Paris, Aux éditions du Seuil, 1967.

И вот человек земли,
И душа его как бы обнажена.

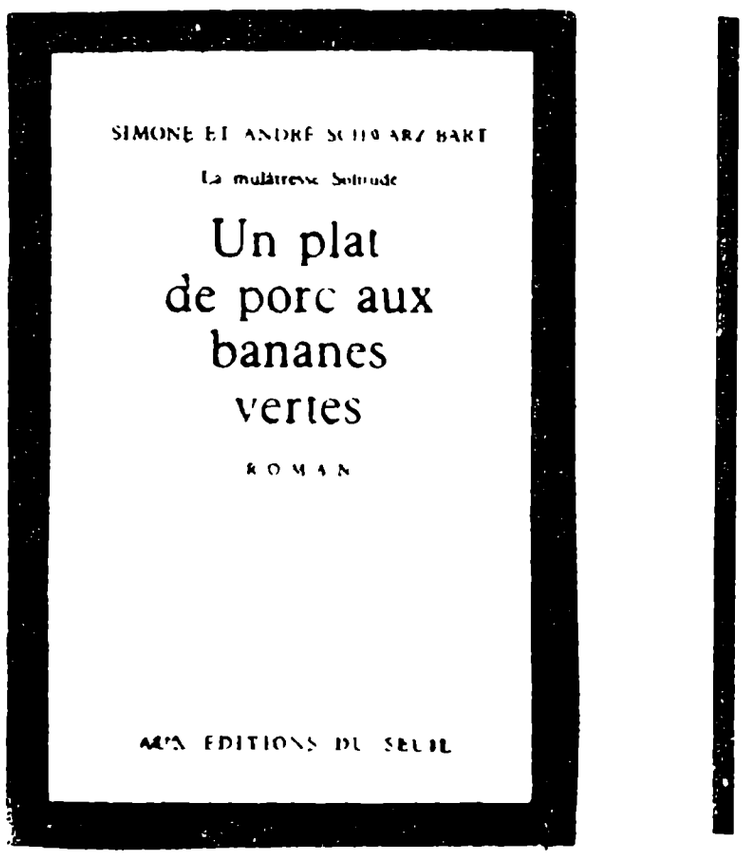
Эти строки антильского поэта Эме Сезэра, взятые эпиграфом к роману Симоны и Андре Шварцбарт «Рагу из свинины с зелеными бананами», выражают замысел авторов: в изображении одной человеческой судьбы, негритянки с острова Мартиника, дать многое из того, что волнует людей в разных точках планеты.

В парижском приюте для престарелых, в одиночестве и нищете, угасает старая цветная женщина с Антильских островов. Повествование ведется от ее лица. Это своего рода дневник; в семи тетрадях, соответствующих семи дням существования Мариотты в «дыре» (так называют приют для престарелых его обитатели), яркие видения прошлого — детства на родной Мартинике — перекрещиваются с гнетущими приютскими впечатлениями. Построение романа, избранное Симоной и Андре Шварцбарт, оказывается очень емким. Оно позволяет естественно раскрыть нерасторжимую связь внутреннего мира героини с судьбой современной западной цивилизации.

Желание писать возникает у Мариотты после воспоминания о самом сильном впечатлении детства — похорон бабушки Ман Луизы. Десятилетняя Мариотта пробралась ночью на ее могилу для того, чтобы с ненавистью на нее плюнуть. Мысленно возвращаясь в прошлое, старая Мариотта неотступно просит бабушку простить ее. Святотатственный плевок маленькой негритянки был протестом против рабской покорности, которую бабушка старалась внушить детям и внукам. «Если твое место негритянки у порога,— внушала она внучке,— то не входи в комнату... иначе сапог белого раздавит тебя, как земляного червя!..» У Ман Луизы на груди клеймо от каленого железа, выжженное хозяином. Но еще страшнее ее предсмертный бред: она не узнает дочери, и чудится ей, что это бывшая ее госпожа. Распластавшись на земле, она целует ноги воображаемой госпожи, лижет их, молит не продавать детей.

Так воспоминания детства ведут Мариотту в глубь истории ее народа. Ей известна и другая сторона этой истории. Еще девочкой она узнала о замечательной женщине-мулатке Солитюд — героине восстания рабов на Гваделупе в 1802 году. О поразительных подвигах Солитюд в борьбе за свободу негров маленькой Мариотте рассказывал негр-бунтарь Реймонек, который, может быть, был ее отцом. Реймонек сидел в тюрьме за то, что насмерть зарубил старшего мастера на заводе, где он работал. «Белые могут гильотинировать меня,— говорит Реймонек,— но пока голова у меня на плечах... она не склонится перед ними». Реймонек один из тех, кто хранит древнюю африканскую культуру. Он умеет выстукивать на большом африканском барабане «таинственную музыку, которая течет в жилах людей, в ветвях деревьев и в извилистых очертаниях рек». Мариотта училась у Реймонека с сарказмом отметать унизительные расистские предрассудки. Он говорил, например: «Белый презирает октавона, который презирает квартерона, который презирает мулата, который презирает капра, который презирает замбо, который презирает негра, который презирает негритянку, которая презирает индийца, который презирает индианку, а она... бьет свою собаку; а я, Рей Реймон Реймонек, смотрю на вас на всех и смеюсь про себя; и если вы спросите меня, кто мой брат по крови, я скажу вам: собака!»

В приюте для престарелых Мариотта страдает от того, что почти никто не может преодолеть особого отношения к ней, как к негритянке. Обитатели «дыры», большей частью невежественные и темные люди, приписывают ей умение колдовать, побаиваются ее, рассказывают о ней небылицы. А те, кто испытывает к ней симпатию, боят-



ся открыто проявлять дружеские чувства. Но предрассудки обитателей приюта, жестокость некоторых из них не заслоняют от старой Мариотты трагизма их собственного положения.

По сравнению с унылой и безнадежной нищетой приюта бедная антильская деревушка, в которой выросла Мариотта, видится ей полной очарования и свежести. В стране ее детства тоже царили бедность и голод, но там было много солнца, бодрости духа, шумного веселья, вспыхивающего порой тогда, когда еще не высохли слезы. Очарование жителей антильской деревни — в их природной доброте, в присущем им поэтическом даре создавать сказки, песни, легенды. Мариотта помнит, как вся деревня помогала Ман Луизе, когда она уходила из жизни. Чувствуя приближение смерти, бабушка просила накормить ее на прощание душистым рагу из свинины с зелеными бананами. И было у нее еще одно желание — отойти к предкам в новой ночной рубашке. Она была в отчаянии, зная, что в доме и денег для этого нет, и продать нечего. Тогда каждый из жителей деревни принес Ман Луизе овощей и фруктов для продажи. Рубашка была куплена, для рагу был зарезан единственный поросенок, и Ман Луиза умерла успокоенная. В предновогодний вечер Мариотта уходит из приюта и в мороз и вьюгу пробирается к антильскому ресторанчику, где раньше бывала как почетная гостья. Полузамерзшая стоит она на улице, смотрит на освещенные окна и представляет себе, как бы она вошла туда и как приветливо была бы принята хозяйкой-соотечественницей, как ей подали бы рагу из свинины с зелеными бананами. В приют ее доставляет уже машина «скорой помощи», подобравшая старую негритянку в снегу, ослабевшую от холода и голода. В забытьи ей кажется, что перед ней желанное рагу из свинины с зелеными бананами. На этом заканчивается жизнь Мариотты.

Поместив свою героиню — антильскую негритянку, через всю жизнь пронесшую любовь к своему народу и ненависть к расизму и угнетению,— в приют для престарелых, авторы романа показывают изнанку западной цивилизации. Мариотта приходит к пониманию того, что кошмарный мир приюта вовсе не противоречит обычной, нормальной жизни, что в нем обнажена истинная суть этой цивилизации насилия и унижения человека человеком. Эту мысль Андре Шварцбарт развивает в интервью «Фигаро литтерер». Мариотта видит, что нищета белых так же ужасна, как нищета черных, что расовая дискриминация, которой подвергаются евреи, арабы, индийцы, так же ужасна, как расовая дискриминация черных. Разоблачение звериной сущности расизма в этом сопоставлении становится глубже и превращается в разоблачение язв современной западной цивилизации. Но идейный смысл романа этим не исчерпывается.

В глубоком отвращении к мерзостям приютской жизни, которое высказывает Мариотта, в ее грустной и мягкой иронии по отношению к самой себе и к товарищам по приюту раскрывается ее высокое человеческое достоинство. В умении Мариотты ценить малейшие проявления доброты, самоотверженности у окружающих ее несчастных одиноких людей, в чуткой проницательности по отношению к ним проявляется высокий жизнеутверждающий смысл романа — вера в человека, в возможность братского единения людей. Для Мариотты истоки веры — в мятежной силе духа Солитюд, героини антильской истории.

Роман «Рагу из свинины с зелеными бананами» — первый роман цикла под общим названием «Мулатка Солитюд». Один из последующих романов должен называться «Солитюд из Гваделупы» и будет посвящен истории борьбы антильских негров за свободу. Все романы, так же как и первый, будут написаны Андре Шварцбартом совместно с женой Симоной. Симона Шварцбарт родилась и выросла на Гваделупе в семье сельской учительницы. Работа над романом «Рагу из свинины с зелеными бананами» — в соавторстве с мужем — ее первый опыт, в который она внесла свое знание антильского фольклора и быта.

Цикл «Мулатка Солитюд» будет завершен романом «Воспоминания о XX веке». Андре Шварцбарт предполагает, что напишет его один. В нем он намерен возвратиться к теме концлагеря. Главным героем романа-эпилога должен стать Морис Леви, брат Эрни Леви, погибшего в газовой камере, героя первого романа Шварцбарта «Последний из справедливых», за который он получил Гонкуровскую премию в 1959 году. Пути Мариотты и Мориса Леви пересекаются. Образ Мариотты пройдет через многие романы цикла. О первом романе «Рагу из свинины с зелеными бананами», где она — главная героиня, Андре Шварцбарт говорит в своем интервью «Леттр Франсез»:

«Я писал его для того, чтобы попытаться сбросить пелену с глаз людей, преодолеть тенденции, широко распространенные даже среди людей с левыми взглядами, бессознательные расистские тенденции, которые должны пасть сами собой. Истину открываешь только в тот момент, когда постигаешь красоту и человеческую ценность других людей».

О. ТИМОФЕЕВА

Е. ЗАВАДСКАЯ

ДНИ РАЗРУШЕНИЯ

Разумеется, политические грани китайской «культурной революции» — самые острые, они, естественно, больше всего освещаются в печати. В этой статье пойдет речь несколько о другом, хотя и неразрывно связанном с указанными гранями. Думается, что уже прошло достаточно времени (даже если считать формально, этому движению в «культуре» Китая скоро два года, но нижняя дата, как мы убедимся, может быть значительно отодвинута) и можно попытаться не только фиксировать случившееся, но и вскрыть характер складывающейся «новой» культуры.

Наши рассуждения покоятся на пятнадцатилетнем изучении китайской национальной живописи, эти размышления заострило длительное пребывание в 1966 году в «колыбели культурной революции» — в Пекинском университете. Буквально под моим окном и буквально день и ночь в течение нескольких месяцев бушевала «культурная революция» в ее образцово-показательной форме. Пекинский университет — зачин и всекитайская школа хунвэйбинства. И еще один, пожалуй, важнейший источник наших рассуждений — восхищение подлинным искусством Китая, тревога и страх за его судьбу.

В нынешнем искусстве Китая нарушены внутренние законы изобразительного творчества, искажено сложное соотношение изображения и слова — события жизни не осмысляются, не отображаются опосредствованно в художественном образе, а иллюстрируются — газетное слово непосредственно переводится в изображение. Отсюда — описательный натурализм и патетический экспрессионизм, определяющие стиль китайского искусства последних лет.

Искусство намека и проблема доверия к зрителю

Высоким образцам китайской национальной живописи и народному искусству (например, лубку, вырезкам из бумаги) была свойственна та мера условности, та грань «сходства и несходства» (по выражению крупнейшего китайского мастера первой половины нашего века Ци Бай-ши), которая определялась уважением и доверием к воспринимающему произведение искусства. Именно на принципе сотворчества зрителя была основана высокая культура намека и недосказанности китайской монохромной живописи, где черная тушь под кистью мастера давала возможность увидеть всю красочность мира, и белое полотно бумаги в точном соотношении с изображением (как в мелодическом рисунке чередуются звук и пауза) содержало не меньший художественный смысл, чем цветовое пятно. В этих традициях народности искусства с его лаконизмом языка (цвета и формы), декоративностью и значительностью подтекста работала большая группа мастеров. Дело не только в том, что в ходе «культурной революции» выяснилось, что пейзажная живопись вроде бы хунвэйбинам ни к чему, а в том, что и другие, «нужные», так сказать, жанры живут вне указанных выше традиций. Особенно очевидно это в искусстве портрета. Портрет, несомненно, ведущий жанр в китайском искусстве наших дней и прежде всего портрет «кормчего» этой «культурной революции». Портретами залеплено все — от торжественного зала заседаний до ящика золотаря. И ни в одном из них нет ни тени недосказанности, ни грана художественной образности. Каж-

дый портрет несет прагматическую нагрузку — символизировать абстрактную просветленную мудрость, лучистую доброту и лучезарную радость. Выражение снисходительного величия и набор атрибутов «великого вождя» определяют характер этих портретов. Активность воспринимающего сведена к нулю — человеку все сказано, все договорено,— личной интерпретации не остается места. Чаще всего нынче приводятся в печати слова Мао Цзэ-дуна из выступления в 1942 году в Яньани: «Сейчас нет необходимости, чтобы «наводить узор на парчу» и исходить из метода мышления художников-профессионалов». Искусство играет сугубо прагматическую роль.

Инерция идей

С конца 50-х годов в искусстве и искусствознании Китая можно еще было говорить о существовании двух тенденций. Поначалу как будто поощрялся интерес к национальной культуре — дали жить традиционным формам искусства: переводились на современный язык старинные трактаты по теории искусства, издавались альбомы старых мастеров, в крупных городах открылись Академии национальной живописи, стал выходить журнал «Национальная живопись». Даже еще в конце 1965 года журнал «Мэйшу» помещал статьи (правда, чаще некрологи) о знаменитых мастерах традиционной живописи и разрешал рассуждать на своих страницах «Чем хороши картины Линь Фэн-мяня» — художника, искавшего пути единения западной и восточной живописи. Но эта линия таила в себе опасность: оригинальность творчества, индивидуальность мысли и высокое мастерство, которые по сути дела низводили на нет другую тенденцию. Вторая линия была неизмеримо сильней, содержала в себе большие возможности для реализации «культурной революции». Цай Жо-хун писал с возмущением: «До сих пор еще существует недопустимая «свобода творчества», художники выбирают темы по собственному усмотрению». К 1966 году эта линия окончательно утвердилась. Она включала в себя несколько компонентов: принцип безымянного и безликого коллективного творчества; утверждение, что художник и труженик сельского хозяйства и промышленности не отличаются по характеру труда, их надо постоянно менять местами; профессионализм, мастерство — недостаток, мешающий всенародному творчеству, всеобщему восприятию искусства; политическая, сиюминутная актуальность — единственный критерий подлинности произведения искусства. Чрезвычайно важное обстоятельство состоит в том, что глашатаями такого рода взглядов были теоретики, ныне бичуемые хунвэйбинами, и среди них первый — Чжоу Ян. «Гуанминжибао» (17.VI.1967) бичует Чжоу Яна за то, что он в 60-е годы поддерживал мастеров традиционной живописи — да ведь так было велено, вот он и поддерживал, а в 1952—1953 гг. было велено писать маслом, да по принципам европейской светотени и линейной перспективы — тогда, ох, как доставалось от того же Чжоу Яна тем, кто пытался писать пейзажи, сохраняя традиционную «воздушную перспективу».

Главные удары «культурной революции» оказались направленными, в сущности, против тех, кто готовил ее. В нескольких статьях конца 1965—начала 1966 годов явственно звучали ноты будущей абсурдности «культурной революции». Так, в статьях Чэнь Иня, Цай Жо-хуна о проблемах взаимосвязи профессиональных и самодеятельных мастеров недостатки во многих коллективных работах объяснялись тем, что порой профессиональные мастера наставляют самоучек, а не наоборот, тогда как именно последняя комбинация дает колоссальный эффект в создании нового искусства. Не приходится после этого удивляться, когда и революционная самодеятельность свысока третирует старых революционеров-профессионалов. Любопытно отметить, что те художники прошлого, традиции которых сейчас прокляты (Ши Тао, Чжу Да — крупнейшие мастера XVII века), внешне в своей программе имели одно общее с нынешней официальной линией: они тоже презирали художников-профессионалов, но только с других позиций. Они считали, что узкие специалисты — художники из придворной Академии живописи — подчиняют свои свободные замыслы прихотям капризного монарха, а Ши Тао и Чжу Да мечтали, подобно нашему Пушкину:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественной природы красотам,
И пред созданьями трудов и вдохновенья.
Трепеща радостно в восторгах умиленья —
Вот счастье, вот — права.

Иллюзия причастности

Стирание грани между искусством и ремеслом, мастерством и самодеятельностью создает иллюзию причастности каждого к строительству культуры, что, несомненно, рождает ажиотаж активности, за которым незаметно исчезает объект этой деятельности, уничтожается сама культура. «Простой» человек с низким культурным уровнем провозглашен не потенциальным, а сегодняшним судьей искусства — в этом и неуважение к народу, который словно и не может подняться выше, и неуважение к своей высокой национальной культуре, которая требует образованности и подлинного вкуса. При таком ширпотребе искусства разрушается и народное традиционное чувство цвета и формы, угадывание символа, прочтение образа. Изображение, бытующее сейчас в форме портретов, карикатур или зарисовок «революционной» добродетели — ходульный героизм Ван Цзе или примитивная воинственность гравюр, посвященных американскому империализму, столь абстрактны при своей внешней достоверности, что не рождают никакого живого

восприятия, не содержат поля ассоциаций, кроме прямой линии связи с последней передовой из газеты или последним выступлением руководителей.

Из всех художников традиционных жанров работают лишь каллиграфы. Каллиграфией разукрашены улицы и дворы — пестрыми листами дацзыбао, строгими прямоугольниками цитат из «катехизиса» «кормчего» — для последних специально возведены кирпичные стены.

В старинной эстетике китайской каллиграфии был выработан важнейший этический критерий, основанный на единстве этической и художественной природы этого искусства. «Злодея выдает штрих» — были убеждены старые мастера, шлифуя прежде всего свое «я», а потом уже технику письма. Эпиграфика Востока, культура ее восприятия, воспитанная тысячелетиями, ее глубокий этический смысл выступили в Китае нынче в чудовищной форме узаконенной каллиграфии доноса.

Массовый субъективизм

Плоско трактуемый критерий народности искусства как широкой доступности приводит к крайнему субъективизму в оценке художественных произведений. Никаких научных, объективных критериев — лишь спонтанное «нравится — не нравится», апробированное участием зрителя в промышленном или сельскохозяйственном производстве. Судьба живописного свитка или гравюры, как радостно сообщили Хэбэйские руководители в порядке обмена опытом, конечно, решается традиционным гаданием на бобах. «За» — боб летит в корзину, «против» — она пустует. «Знаменитые мастера,— ликующе замечает автор статьи,— смущенно пожимали плечами, когда не обнаруживали бобов, высоко оценивающих их произведения». Здесь важно заметить, что бобы, разумеется, не отражают настоящего народного вкуса — старая культура лубка и вырезок, вышивок и набивных тканей помогла бы увидеть стоящее, но официальные оценки давно предопределены, люди сурово «научены», что **должно** нравиться, ибо отступление от должного карается как крамола.

Язык критических статей об искусстве резок, даже груб, но расплывчат — категории столь широки, определения столь размыты, что практически любой может оказаться в «черной банде» — как называют неугодных «культурной революции» художников прошлого и наших дней. Имена не называются. Вчера к «черной банде» отнесен, согласно доносу в дацзыбао, твой сотоварищ, а завтра окажешься ты — по дацзыбао твоего приятеля, которому ты обмолвился, сказав доброе слово о Ци Бай-ши, например. Признаки друзей и врагов весьма подвижны и неопределенны, что рождает верноподданнический инстинкт самосохранения, стремление быть бóльшим роялистом, чем сам король.

Как создавался шедевр

Многофигурная скульптурная композиция «Двор по сбору арендной платы» в усадьбе помещика Лю Вэнь-цая, согласно официальной оценке,— произведение «эпохальное». Оно стало методологическим и художественным эталоном в новом искусстве. Копия была выставлена в Музее изобразительных искусств (Мэйшугуань), а потом в музее Гугун. Десятки тысяч солдат и хунвэйбинов прошли курс эстетического воспитания, осматривая эту скульптуру. Неоднократно водили и меня мои профессора изучать этот шедевр. Самым острым было первое впечатление, мне показалось, что я вовсе не в Китае, а в Англии, в музее восковых фигур мадам Тюссо. Испытанный ужас иллюзии достоверности мгновенно воскрес во мне. Сто одиннадцать фигур в человеческий рост, не поставленных на подставку, выполненных из глины с достоверностью муляжа — с инкрустированными, поблескивающими глазами,— обступили меня. Должно быть, на людей менее искушенных они производят еще большее впечатление — бьют по нервам изображением ужасов. Такой эффект лежит вне сферы подлинного искусства.

Что же нужно, чтобы создавать такого сорта произведения? Литература по искусству, да и центральные газеты были полны рассуждениями по этому поводу. Вот они. «Создается отряд, подобный армейскому» — соавторство необходимо,— «ибо уровень сознания у художников довольно ограниченный и не может стоять так же высоко, как у партийных руководителей». Утро «боевой группы», по свидетельству печати, начиналось чтением маоцзэдуновского цитатника, что должно было обеспечить эффективность в труде. Существуют два показателя для оценки деятельности сычуаньских скульпторов: политическая актуальность и рентабельность — низкая себестоимость. Скульптуры лепились как можно быстрее, каждая фигура (величиной с человека) — не дороже 4—5 юаней. Печать отметила два самых больших достоинства скульптурной группы. Она доказывает известный тезис руководителей — «политика ведет за собой мастерство» и в ней «не чувствуется даже запаха интеллигентности» («Мэйшу», 4, 1965)...

Самокритика, или самосожжение

Еще при движении «Пусть расцветают все цветы» форма самокритического дацзыбао стала определять характер поведения художественной интеллигенции. Как правило, такое дацзыбао рассматривалось другими как недостаточно самокритичное. Стремление предупредить поток критических дацзыбао в свой адрес собственным саморазоблачением, вернее, клеветой на себя, с тех пор стало правилом хорошего тона. Вершина такого интеллектуального самосожжения — несомненно, истерика Го Мо-жо. Ощущение замкнувшегося вокруг

человека круга, определяющего формы его бытия и мысли, вызывает воспоминание об одном понедельнике в августе 1966 года, когда в течение двенадцати часов, согласно приказам дацзыбао, люди должны были сами осознать в себе и уничтожить следы феодальной культуры в облике своем, в быту и интерьере и, разумеется, в своих мыслях и образе жизни. Одно дело (конечно, и это ужасно) — когда врываются в дом к ученому школьники или его студенты и берут на себя ответственность решать, вписывается ли этот человек со своей библиотекой китайской и европейской классики, с аквариумом рыб и кустом хризантем в облик «культурной революции»,— это на совести хунвэйбинов; другое же дело—совершить все своими руками. Угораздило меня в этот день (поначалу и не ведая об этом приказе) отправиться по периметру старого Пекина — вдоль городских стен.

Обрезанные косы девушки, валяющиеся у остановки автобуса,— следы работы фанатичного или рабски покорного приверженца новой эстетики; велосипедист с остриженной наполовину головой — другая же часть оставлена для осмеяния и позора — на ней волосы длиннее нормы на три сантиметра; на улицах всюду меня сопровождал звук ударов о камень — любит китайский народ украсить свой дом лепным орнаментом, небольшой скульптурой феникса, нередко у домов стоят каменные скульптуры так называемых «шицзы» — фантастических стражей, похожих на собаку,— все это разбить и изуродовать за полсуток не просто. Улицы стали кладбищем скульптуры — я шла и собирала, как грибы в осеннем лесу, головы, руки, завитки каменного узора. На мои восклицания, обращенные к творящим такое, старый интеллигент, с трудом отбивающий голову каменному изваянию, и молодая бойкая работница с младенцем на руках, которая делала это с кажущейся легкостью, молча указывали на каллиграфию приказа, расклеенного по всему городу. На следующий день я поехала в прекрасный парк Ихэюань, раскинувшийся неподалеку от университета. Росписи знаменитой «чанлан» — деревянной галереи, протянувшейся вдоль огромного озера,— были загрунтованы. Традиционная форма пропаганды высоких образцов классической литературы — путем устного пересказа, книжек-картинок или в последовательной, глава за главой росписи таких галерей — приобщала людей к большой культуре. Стремление к знанию и верность в любви несмотря на все преграды, чинимые феодальной условностью, бесстрашие и прямодушие героев романов «Речные заводи» или «Сон в красном тереме», запечатленные с доходчивостью и вместе с тем с условной образностью народного искусства, были покрыты грязной пеленой уничтожения. Срамословие человека в дацзыбао, ритуальные представления судов над неугодными «культурной революции» людьми, условность позы подсудимого — опущенные вдоль тела руки, втянутая в плечи голова, доска на груди с указанием ранга и характера отступления от генеральной линии, возгласы ведущего и затем подхваченная всеми «здравица великому кормчему» — таков канон «культурной революции». Каноны ораторского искусства «культурной революции», имитирующие искренность и энтузиазм, поражают своей экзальтацией. В середине ночи меня разбудил надрывный вопль женщины; казалось, человек или обличает кого-то, или исповедуется в своих грехах,— вслушавшись, я узнала привычный, штампованный, повторяющийся с небольшими изменениями изо дня в день текст передовицы «Жэньминьжибао».

«Понедельники и вторники кровью окрасим в праздники»

Празднично убранные отряды хунвэйбинов или кандидатов в посвящение нескончаемым потоком прибывали в Пекинский университет учиться опыту ведения «культурной революции» или участвовать в ней.

Парадоксом «культурной революции» является сочетание праздничности и жестокости. У ворот в Пекинский университет — непрекращающийся оглушительный гром барабанов и литавр, бумажные цветы, лозунги, флаги и портреты, портреты, портреты. Бросалось в глаза, что те, кому сейчас по расписанию не предписано радоваться и праздновать,— не присоединялись к колонне, а утомленно и безучастно проходили мимо. Резким контрастом этому «покорному энтузиазму толпы», по точному определению П. Я. Чаадаева, встает воспоминание о ясном дне подлинно народного праздника начала весны — «чуньцзе». На площадях собираются люди в воскресный день пускать змеев. Змеев пускают все — и почтенные старцы и, конечно, ребята. В голубом, чистом небе высоко парит орел, легкое движение умелой руки — и птица грозно пикирует на пару трепещущих пташек, которые следуют велению своего хозяина и спасаются от преследователей. Тяжело и важно, с размеренной постепенностью забирается все выше и выше трехметровый дракон, а темная точка в небе оказывается рыбой-телескопом с удивленными глазами. Один из таких змеев запускали и мои дети, но уже в московском дворе.

Верю, что «Начало весны», а не день разрушений останется тем праздником, который всегда с тобой, Китай.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В театре города Мальмё (Швеция) поставлена пьеса М. Горького «На дне»; режиссер — Юзеф Халфен.

Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адиб», в нынешнем сезоне Национальный театр в Дамаске показывает зрителям две советские пьесы: «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского и «Дракон» Е. Шварца. Обе пьесы перевел на арабский язык литератор из г. Алеппо Имад Хатим Кроме этих пьес И. Хатим перевел также пьесу В. Маяковского «Клоп» Сейчас он работает над переводом книги «Легенды и мифы Древней Греции» советского ученого Н. А. Куна.

В стамбульском издательстве «Гюн» вышли романы Ф. Гладкова «Цемент» и Ч. Айтматова «Материнское поле».

Впервые в Турции издательством «Джем» выпущены главы из романа М. Шолохова «Они сражались за родину».

Белградское издательство «Младо поколенье» выпустило серию книг под общим названием «Красный Октябрь». В нее вошли пять книг: сборник рассказов «Ленин — друг молодых», «Югославы под знаменем Октября» В. Зеленина, сборник стихов девяноста советских поэтов «Поэзия Великого Октября», «Чапаев» Д. Фурманова и «Донские рассказы» М. Шолохова.

Там же начала издаваться библиотечка «Любовь и поэзия». В первый четырехтомник этой серии вошли стихи В. Маяковского в переводе Б. Чосича.

„Тихий Дон» М. Шолохова инсценирован Белградским народным театром; постановка А. Йовановича.

Сараевское издательство «Светлост» выпустило антологию русской и советской поэзии, в которую вошли сто двадцать пять стихотворений тридцати авторов. Переводчик и составитель сборника М. Пешич.

Артист Кармело Бене подготовил в частном театре в Риме большую полуторачасовую программу с чтением под музыку стихов и отрывков из поэм В. Маяковского Музыкальное сопровождение специально написано композитором Витторио Джельметти. Этот необычный спектакль пользуется большим успехом у зрителей. «Не впервые итальянские артисты обращаются к творчеству великого советского поэта,— писал корреспондент газеты «Унита».— Но на этот раз перед нами предстал новый Маяковский, будто живой, воспевающий победу Октября, страстно верящий в жизнь, в прекрасное будущее своего народа».

Венецианская драматическая труппа «Ка Фоскари» поставила пьесу М. Булгакова «Дни Турбиных». Перевод выполнен одним из членов этого театрального коллектива — Д. Ситраном.

В токийском книжном издательстве «Асахи» вышла книга Н. Федоренко «Японские записи».

На Кубе издана повесть А. Федорова «Последняя зима», отрывки из мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», а также книги для детей: А. Чумаченко «Человек с Луны» и М. Ильина «Как автомобиль учился ходить».

„Книга, вышедшая из-под пера летчика Александра Покрышкина, не может не привлечь внимания,— пишет рецензент газеты «Народна култура» о книге «Небо войны», вышедшей в болгарском государственном Военном издательстве в переводе М. Златанова.— Она ценна умением автора рассказать об авиации, о самолетах, о двигателях, о воздушных боях.. В ней проявилась скромность летчика, сбившего десятки вражеских самолетов, для которого победа в бою — всего лишь обычный эпизод, а катапультирование из горящей кабины — будничная необходимость»

Третьим изданием вышла повесть Е. Ильиной «Четвертая высота» в софийском издательстве «Народна младеж». Там же издан и третий том «Повести о жизни» К. Паустовского.

В издательстве «Даблдей-энкор» в Нью-Йорке вышел сборник произведений Ю. Олеши под названием «Зависть» и другие произведения». Перевод выполнен Эндрю Р. Мэкэндрю.

Варшавский Государственный издательский институт (ПИВ) выпустил четвертым изданием роман А. Фадеева «Разгром» в переводе Б. Пяха и Е. Путрамента.

Повесть «Трава забвенья» В. Катаева напечатана в журнале «Зинн унд форм» (ГДР).

Отрывок из повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары» опубликован в газете «Берлинер цейтунг».

„Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева вышел в издательстве «Культур унд фортшритт».

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» вышел в западногерманском издательстве «Лухтерханд». Роман печатался также в отрывках в газете «Франкфуртер альгемейне».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПИСАТЕЛЮ УГРОЖАЮТ

Выдающийся австралийский писатель Фрэнк Харди закончил работу над новым романом «Несчастные австралийцы», посвященным жизни и борьбе современных аборигенов Австралии.

Автор разоблачает носителей идеи «белой Австралии», которые ныне выступают также в роли «освободителей» народов Азии. Герои романа-репортажа, от имени которых ведется рассказ,— реальные люди, представители маленького подневольного народа, вытесненного из жизни страны жестокостью законов «белых».

Роман еще не вышел, а силы, явно или скрыто насаждающие на континенте расизм, уже ополчились против писателя. Крупнейшая английская скотоводческая компания, хозяйничающая на севере Австралии и широко использующая там труд аборигенов, предупредила Фрэнка Харди, что в случае опубликования его книги она предъявит писателю иск на сумму в миллион долларов. Судебной расправой автору романа «Несчастные австралийцы» угрожают и власти, ведающие делами аборигенов.

В беседе с корреспондентом ТАСС Фрэнк Харди заявил, что никакие угрозы, никакой шантаж не заставит его отказаться от борьбы с расизмом. «В свое время,— сказал писатель, — эти же силы обрушились на меня за роман «Власть без славы». Сегодня они, пытаясь скрыть от мировой общественности, и в особенности от народов Азии, расистские беззакония, творимые ими внутри страны, стремятся вновь припугнуть меня, а заодно и всех тех, кто выступает за предоставление аборигенам человеческих условий жизни. Однако времена всесилия расистов канули в вечность. Им не удастся остановить закономерный ход истории и стремление народов к свободе и независимости. И если они затеют против меня суд, он обернется против расизма, против зла и насилия».

«СТИХИ ТИХИЕ И ГРОМКИЕ»

Недавно в Мельбурне увидела свет новая книга Джеффри Даттона — «Стихи тихие и громкие». Сборник открывают восемь стихотворений под общим названием «Путешествие по России». Они написаны Даттоном под впечатлением поездки в Советский Союз. Джуда Уотен в еженедельнике «Трибюн» пишет, что этот поэтический цикл проникнут симпатией к советской стране.

Даттон горячо любит свою родину, продолжает Уотен. И поэтому он не может оставаться равнодушным к тому, что происходит в Австралии. «Даттон клеймит власть имущих и высмеивает тех австралийских поэтов, которых часто громко восхваляют, но которые отгородились от окружающего мира в своих удобных кабинетах»,— пишет Уотен. «Это особенно важно в наше время,— подчеркивает он,— как противодействие тому духовному и культурному падению, которое явилось результатом усиливающейся зависимости Австралии от Америки и вытекающей отсюда американизации всей нашей культуры».

АНГЛИЯ

ЖУЛИКИ В МАНТИЯХ УЧЕНЫХ

Герои нового романа Дж. Б. Пристли «За городом»— профессор Салтана и доктор Тьюби. Жулики в мантиях ученых, они объявляют о создании новой науки — «имэджистики» (от «имэдж» — «образ»). Суть ее сводится к тому, что на «научную» основу ставится организация «паблисити» — создается «Институт социальной имэджистики». В его

задачу входит умелая реклама достоинств политических деятелей (и затушевывание их очевидных недостатков) в период разного рода политических кампаний.

Салтана и Тьюби находят и покровителя, вернее, покровительницу в лице американской миллионерши Эльфриды Дрейк, которая с готовностью финансирует это предприятие.

Оба проходимца, не имевшие ни малейшего представления о социологии, как о науке, «разъяснили» миллионерше Дрейк, что изобретенная ими «имэджистика» — «это отрасль социологии, занимающаяся отбором, синтезом и последующим рекламированием тех социальных образов, которые представляются подходящими и полезными для общества...»

По отзывам рецензентов, Пристли нарисовал сатирическую картину быта и нравов некоторых кругов в университетской среде Англии. Рецензент еженедельника «Санди таймс» писал, что Пристли — «внимательный наблюдатель, отлично разбирающийся в недостатках нашего общества». Что же до художественной ценности романа «За городом», то о них рецензент писал: «Силе и отточенности этого нового произведения могут позавидовать многие современники Пристли, которые вдвое моложе его...»

Роман «За городом» — первая часть задуманной Пристли дилогии.

Сцена из спектакля «Мышеловка» в лондонском театре «Амбассадор».

(Журнал «Шпигель»)

ВОСЕМЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ, ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПОДРЯД...

На сцене лондонского театра «Амбассадор», как сообщает печать, с 25 ноября 1952 года по сей день, без перерыва, идет пьеса Агаты Кристи «Мышеловка».

«Для театра в Англии,— пишет обозреватель западногерманского журнала «Шпигель», — это рекорд долголетия постановки. Писательница предполагала, что пьеса не продержится более полутора лет, а театральный импрессарио смотрел на вещи еще более пессимистически: шесть месяцев... Однако, не считая Англии, пьеса поставлена в тридцати шести странах. В лондонском «Амбассадоре» ее посмотрели уже около двух с половиной миллионов зрителей. В ролях восьми действующих лиц играли сто четыре актера. За пятнадцать лет на сцене четырежды меняли истертый подошвами актеров ковер и трижды — просиженный диван. Костюмерша театра, уже выучившая текст пьесы наизусть, из года в год укорачивала платья актрисам и суживала брюки актерам, следуя велениям моды. Даже автору пришлось вносить кое-какие поправки в текст пьесы в связи с изменившимися условиями жизни: так, если герои пьесы платили в 1952 г. хозяйке пансиона «Манксуэлл мейнор», где происходит действие, семь фунтов стерлингов в неделю, то сейчас они платят двенадцать...»

БОЛГАРИЯ

ВЫСТАВКА В СОФИИ

В течение нескольких месяцев в столице Болгарии была открыта выставка изобразительного искусства. Подобные выставки-смотры произведений болгарских художников, графиков и скульпторов проводятся в Софии ежегодно, однако нынешняя выставка существенно отличалась от предшествовавших. Она была посвящена 50-летию Великого Октября, что и определяло тематику большинства экспонировавшихся работ.

В выставке участвовало 310 мастеров изобразительного искусства разных поколений, представивших на суд жюри и посетителей около 450 произведений.

По сообщениям печати, выставку посетило 45 тысяч человек. Перед ее закрытием в выставочных залах было проведено трехдневное обсуждение экспонировавшихся произведений. В заключение было объявлено решение руководства Союза болгарских художников о премировании лучших произведений. Первую премию в области живописи получили картины «За свободу» Дечко Узунова и Светлина Русева, «Уход с фронта в 1918 г.» Найдена Петкова, «1917 год» Кирилла Симеонова и «Портрет Александра Стаменова» Илии Петрова.

Первой премии за произведения графики были удостоены Христо Нейков («Октябрь»), Тодор Панайотов («Владайцы»), Юлия Минчев («Конструкция»).

Критики высоко оценили гравюры «Свобода придет» Костадинки Миладиновой и «Революция» Ивана Иванова.

Первую премию за скульптурные произведения получил Секул Крумов за работу «Ленин».

«Выставка в целом убеждает, что идейно-эстетические взгляды большинства наших художников стали более зрелыми,— писал известный болгарский критик Максимилиан Киров,— а изображение революционной действительности и вызванных ею перемен — более масштабным. Обращает на себя внимание также особенность подхода художников к избранной теме. Когда мы рассматриваем произведения, которые воссоздают революционные события, связанные с Октябрем и непосредственным отражением его у нас, то не испытываем того особого чувства «ретроспективности», которое обычно вызывает историческая картина. То же жизнелюбие, решимость и целеустремленность, которые исходят от образов сегодняшних тружеников, мирных строителей нового общества, написаны на лицах и кронштадтских матросов, и бородатых голодных болгарских солдат, повернувших штыки против трона Кобурга и тех, кто его поддерживал, и героев трагического и славного сентября 1923 года, и партизан периода Сопротивления. История и современность слились воедино».

Болгарская критика выразила единодушное мнение, что выставка отразила важный этап в развитии болгарского искусства.

ВЕНГРИЯ

ЛУКАЧ О ГРЕЦИИ

Делегация греческих политических эмигрантов, проживающих в Венгрии, встретилась с известным венгерским историком литературы и философом — марксистом Дьердем Лукачем.

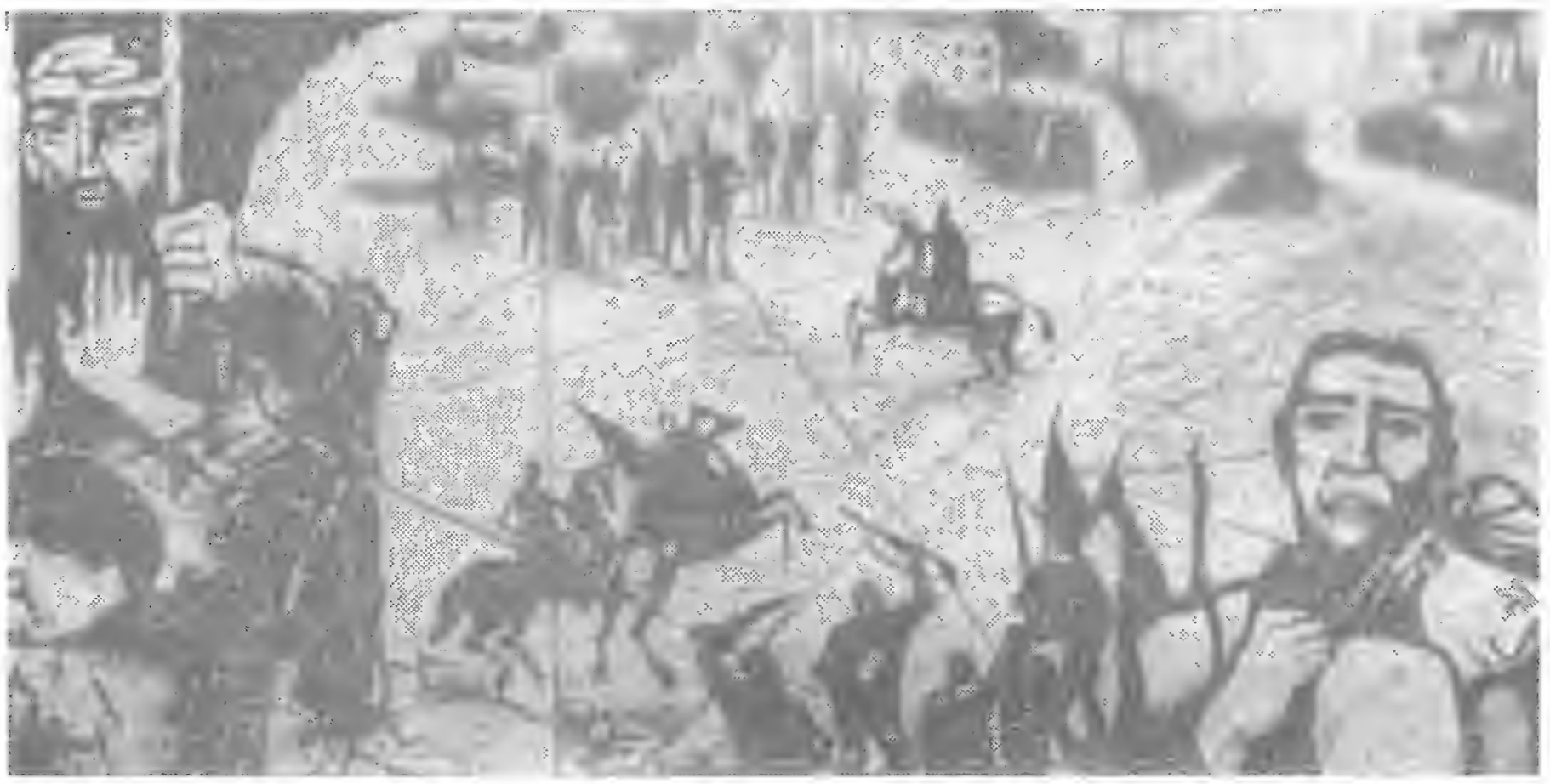
В беседе с греческими патриотами Дьердь Лукач подчеркнул, что куцая амнистия и обещания конституции и восстановления парламента, призванные придать пристойный облик нынешнему греческому режиму, отнюдь не меняют его сущности: «И при сайгонском режиме сохраняется конституция и парламент, и в Испании диктатура позаботилась украсить свой фасад».

Коснувшись репрессий, которые военная хунта под лозунгом борьбы против коммунизма обрушила на демократов, придерживающихся самых различных политических и философских воззрений, Лукач отметил, что, как показывает исторический опыт, в этой эскалации террора есть своя закономерность: «Нель-

---

«Свобода придет» — гравюра Костадинки Миладиновой.

(Газета «Народна култура»)



зя проводить политику преследований по отношению к коммунистам, не преследуя все прогрессивные силы. Если бы, например, во Франции начали преследовать коммунистов, то надо было бы ожидать, что репрессии обрушатся и на Сартра. То же самое можно сказать применительно к Англии по поводу Рассела. Поэтому я совершенно согласен с теми, кто считает, что и в Греции диктатура не может — и не хочет — ограничиться преследованием коммунистов. А политике массовых репрессий необходимо противопоставить единство демократических сил».

В этом направлении, сказал Лукач, и должна действовать греческая интеллигенция — «с сознанием ответственности не только перед своим собственным угнетенным народом, но и перед всеми народами, ибо американская попытка установить диктатуру в Греции создает опасность для всей Европы». С другой стороны, необходимо ширить международное движение солидарности с греческими патриотами, и тут не меньшая ответственность ложится на деятелей культуры всего мира, и в особенности, подчеркнул Лукач, Западной Европы, «так как известно, что, когда протестуем мы, граждане социалистических стран, реакция представляет дело так, будто мы «действуем по указке Москвы».

Военная хунта, пришедшая к власти в Греции, пустила в ход пропагандистский тезис о возрождении традиций «греческой христианской культуры». В этой связи Дьердь Лукач остановился на подлинном культурно-историческом значении греческой античности. И естествознание, и философия, и искусство нашего времени, сказал он, берут в ней свои истоки. «Греция была колыбелью основных художественных форм всей европейской литературы. И то же самое мы можем сказать в известном смысле относительно изобразительного искусства, ибо без греческой скульптуры была бы немыслима современная скульптура».

Но осваивать и продолжать великие традиции греческой культуры, подчеркнул Лукач, значит прежде всего идти в ногу со временем. «Чем больше страна развивается по пути прогресса, тем больше и более творчески она пользуется ценностями культурного наследия. Если это положение применить к Греции, мы можем сказать, что современные греки тем более верны духу античного наследия, чем большее участие принимают они в развитии новой европейской и мировой культуры, а это возможно только на основе социального прогресса общества. Но такой режим, как греческая военная диктатура, не может способствовать ни социальному прогрессу, ни культурному развитию, напротив, он их тормозит».

Плакат «Мир Вьетнаму» Ласло Шоши и Эвы Кемени.
(Еженедельник «Элет эш иродалом»)

ВЕНГЕРСКИЙ ПЛАКАТ

Искусство политического плаката имеет в Венгрии давнюю традицию. Перед первой мировой войной в этом жанре работал Михаил Биро, активно поддерживавший борьбу венгерской социалистической партии, а в дни Венгерской советской республики — целая плеяда выдающихся графиков: Роберт Берени, Берталан Пор, Бела Уитц, Марчел Вертеш и другие.

Заглохшее при хортистском режиме искусство плаката возродилось в социалистической Венгрии и достигло ныне нового расцвета. В этом немалая заслуга содружества двух талантливых венгерских художников — Ласло Шоша и Эвы Кемени.

Не только политическая актуальность, но и новаторское решение темы, своеобразие художествен-

ной манеры. необычайная выразительность — отличительные качества их плакатов, посвящены ли они 50-летию Советского государства, клеймят ли американскую агрессию во Вьетнаме, обличают ли расовую дискриминацию в Соединенных Штатах.

На воспроизводимом нами снимке — плакат Ласло Шоша и Эвы Кемени «Мир Вьетнаму», на котором изображены вьетнамские беженцы, покидающие родное селение.

«ГОРЬКИЙ И ВЕНГРЫ»

В Венгрии в связи с юбилеем А. М. Горького в печати продолжают публиковаться многочисленные материалы о великом пролетарском писателе. Одна из наиболее обстоятельных статей об отношениях между Горьким и венгерскими писателями, о влиянии горьковских произведений, об интересе Горького к венгерской литературе принадлежит критику и литературоведу Беле Ленделу; она носит название «Горький и венгры» и опубликована в газете «Непсабадшаг».

Уже в начале нынешнего века, отмечается в статье, поэт-революционер Эндре Ади приветствовал Горького как «самого значительного писателя современности». Произведения Горького еще перед первой мировой войной играли большую роль в борьбе прогрессивно настроенных слоев венгерского общества. На пороге Октябрьской революции выдающийся венгерский критик, публицист, один из видных деятелей коммунистической партии Йожеф Реваи, говоря о задачах революционной литературы, ставил имена Петефи и Горького рядом. «А весной 1919 года, когда была провозглашена Венгерская советская республика,— пишет Лендел,— Алексей Максимович Горький отправляет приветствие венгерскому рабочему классу. В своем ответе замечательный венгерский поэт Дюла Юхас благодарит «великого поэта революционной России».

В статье говорится, что Алексей Максимович вместе с другими деятелями культуры выражал свой протест против белого террора в Венгрии, а в 1930 году выступил с требованием освобождения из тюрьмы видного поэта, прозаика, переводчика, редактора журнала коммунистической партии «100%» Аладара Тамаша.

Лендел рассказывает о том, как в журнале «Нюгат» в 1926 году был опубликован роман «Дело Артамоновых», а позже — многие статьи Горького о новом человеке и о новой литературе.

Реакция не могла ослабить влияние произведений Горького, и такая статья писателя, как «С кем вы, «мастера культуры»?», по словам Лендела, «имела неизмеримое идейное и политическое воздействие». Книги Горького использовались коммунистической партией в агитационной работе, среди них первое место принадлежало роману «Мать».

Несмотря на беспощадную цензуру, заглушить голос Горького было невозможно. В журнале «Товабб» была опубликована «Песня о Буревестнике». Ее восприняли как протест против фашизма, как требование революционного преобразования общества.

«После освобождения от фашистских захватчиков произведения Горького изданы в Венгрии в более чем ста тысячах экземпляров, его пьесы постоянно идут на сценах наших театров, а в 1960 году началось самое полное и наиболее красиво оформленное издание произведений Горького. Горький живет среди нас»,— пишет в заключение Лендел.

ГДР

«КАК ЖИТЬ?»

Еженедельник «Зоннтаг» под общим заголовком «Как жить?» публикует интервью с деятелями культуры ГДР. В одном из последних номеров еженедельника помещены интервью с писательницами Бригиттой Рейман и Кристой Вольф, а также отрывки из их новых, еще неопубликованных произведений. (Роман К. Вольф «Расколотое небо» опубликован в «Иностранной литературе» № 1, 1964 ; см. также статью Л. Симонян «Люди и книги» в том же номере журнала).

Отвечая на вопросы корреспондента «Зоннтаг», Бригитта Рейман рассказала, что над первым своим романом «Франциска Линкерханд» она работала три года. Ее герои — новые люди, живущие и работающие в новом, социалистическом обществе.

Корреспондент «Зоннтаг» отметил, что тематика романа Рейман близка тематике ее повести «Прибытие в будни», написанной несколько лет назад.

— Надеюсь, что в романе мне удалось полнее разработать современную тему,— сказала писательница.— Я стремилась создать ощущение стремительного развития нашей социалистической страны.

— Что вы считаете главной темой вашего романа?

— Я бы сказала, что главное в моем романе — то, как растет человек в нашем обществе...— ответила Бригитта Рейман.

«Размышления о Кристе Т.» — так называется новая повесть Кристы Вольф. Писательница посвятила свое произведение рано ушедшей из жизни женщине, которую она знала и которая ей дорога.

— Я стремлюсь в своей повести сказать о том, что человек не обретает покоя, пока не находит себя,— сказала писательница корреспонденту «Зоннтаг».— Недаром эпиграфом к повести взята цитата из Бехера: «Как это происходит, что человек находит самого себя?» Бехер говорил о «глубоком беспокойстве человеческой души». Именно об этом я хотела рассказать, когда начала работу над своей книгой. Моя героиня, которая мне так близка, должна была стать писательницей — в этом было ее призвание. Но объективные и субъективные причины не дали этому осуществиться. Вопрос, почему этого не произошло, запоздалый, но не праздный. Изображая жиз-

ненные конфликты Кристы Т., я стремилась рассказать о жизни молодежи 50-х годов — поколения, к которому принадлежу я сама.

Существует ложная теория, сказала далее Криста Вольф, будто социалистическая литература не уделяет внимания чувствам и характеру отдельного человека. Эта теория зиждется на непонимании самой природы социалистической действительности. Человек живет свободно в социалистическом обществе, но он воспринимает это общество как свое, он с полным правом считает построение новой жизни делом своих рук. Он стремится сделать мир, в котором он живет, лучше, радостней, уютней.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

«ИСПАНИЯ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

В Западном Берлине состоялась организованная по инициативе социалистических молодежных организаций международная конференция писателей и ученых, посвященная Вьетнаму.

Конференция приняла декларацию, в которой говорится: «Вьетнам — это Испания нашего поколения. Мы не можем молчать или соблюдать нейтралитет.

Мы приветствуем инициативу молодежных организаций, созвавших на эту встречу людей из разных стран. Мы осуждаем американскую интервенцию во Вьетнаме, мы выступаем против уничтожения вьетнамского народа, против квислинговского правительства в Сайгоне, мы выступаем за право вьетнамского народа самому определять свое будущее».

Декларацию подписали: Ингеборг Бахман, Ганс Магнус Энценсбергер, Ганс Вернер Рихтер, Петер Вейс, Гунилла Вейс, Жан-Поль Сартр, Морис Надо, Джакомо Фельтринелли, профессор Герберт Маркузе, профессор Эрнст Блох, профессор Гельмут Гольвицер и другие.

Декларация заканчивается призывом к писателям и ученым всех стран поставить под ней свои подписи.

ФРГ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В МЮНХЕНЕ

Комитет по делам культуры города Мюнхена принял решение установить мемориальную доску с изображением В. И. Ленина на доме № 14 по Зигфридштрассе в городском районе Швабинг. В этом доме Ленин жил с 18 мая 1901 года по 12 апреля 1902 года.

В надписи на доске сказано, что Ленин — «теоретик исторического материализма и вождь Октябрьской революции 1917 года в России».

Автор мемориальной доски — скульптор Карл Оппенридер.

«ДНЕВНИК ЕВРОПЫ»

В мюнхенском издательстве «Курт Деш-ферлаг» вышла книга Роберта Хердтера «Дневник Европы — места и времена». «Автор приглашает читателя,— пишет рецензент гамбургского еженедельника «Ди андере цейтунг»,— как бы совершить паломничество к историческим местам Европы от Акрополя и Ватерлоо до Сталинграда, мысленно перенестись в разные эпохи и заново пережить события, повлиявшие на ход истории европейского континента за последние две тысячи лет».

В качестве комментариев к историческим событиям в книге использованы высказывания Плутарха, Геродота, Байрона, Гейне и других. «Эти высказывания весьма субъективны,—пишет рецензент,—читатель не найдет в них строго документального изложения событий, но зато почувствует атмосферу соответствующей эпохи...» Три величайшие битвы последних полутора веков — Ватерлоо, Верден и Сталинград — даны в описаниях Александра Дюма (отрывок из мемуаров), Арнольда Цвейга (отрывок из романа «Воспитание под Верденом») и Константина Симонова (отрывок из повести «Дни и ночи»).

В театре города Дюссельдорфа недавно состоялась премьера пьесы А. П. Чехова «Три сестры». В главных ролях - Николь Хеестерс (Маша) и Вольфганг Арпс (Александр Вершинин).

(Еженедельник «Ди андере цейтунг»)

ГОЛЛАНДИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ ЙОРИС ИВЕНС

Как уже сообщалось, на экраны вышел новый фильм известного режиссера, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Йориса Ивенса о Вьетнаме «Семнадцатая параллель». На пресс-конференции, посвященной фильму, Йорис Ивенс рассказал:

— В 1965 г. я снял во Вьетнаме короткометражный фильм. Кинематографисты Ханоя просили меня приехать еще раз, чтобы они могли воспользоваться моим опытом документалиста. За два года, что я не был в стране, война стала еще более жестокой, разрушительной. В Ханое, откуда студия документальных фильмов в основном эвакуирована, было трудно организовать учебу. Тогда я подумал, что вьетнамские друзья смогут многому научиться в ходе работы над фильмом. Вопрос был лишь в том, каким должен быть фильм. Что в этой войне еще не раскрыто, что еще

не показано? И я решил сделать эпический фильм, показать основные особенности народной войны, которая, быть может, способна повлиять на ход истории. Наша съемочная группа — в нее входила француженка Марселин Лоридан, чьи превосходные очерки печатались в еженедельнике «Юманите диманш», (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 3, 1968), и несколько вьетнамских кинематографистов — отправилась в самые «жаркие» места. Это была 17-я параллель, район Винь-Линь, через который проходит «линия огня». Задача была — с максимальной точностью отразить удивительную способность к сопротивлению страны, которая посрамила самую мощную военную машину нашего столетия при помощи такого «секретного оружия», как народная война. Если Америка продолжит эскалацию войны и даже разрушит Ханой, она все равно не добьется победы. Отсюда этого не понять, но я видел эту войну собственными глазами; уверенность в победе написана на лицах вьетнамцев, она живет в их сердцах, об этом свидетельствуют их слова, поступки, мудрость, мужество.

...Мой фильм «Небо и земля» устарел. Теперь мало показать широкой публике высокий боевой дух и героизм народа. Поэтому в новом фильме мы не только подчеркиваем, что люди живут под бомбами, но и показываем, *как* они живут под бомбами и *кто* они, *каковы* эти люди. Вот, к примеру, хотя бы одна женщина: у нее ребенок, а муж на фронте; она — начальник местной милиции и один из руководителей кооператива. По ней можно судить о том, как живет народ, чем объяснить его единство и боевой дух. Повседневная жизнь очень тяжела: материальный ущерб огромен. Нет ни одного уцелевшего города, разрушены многие деревни. Американцы утверждают, что не бомбят деревни и мирное население. Это ложь! Я был в маленькой деревушке, далеко от коммуникаций и стратегических пунктов,— ее бомбили. Если американские летчики видят группу работающих на рисовом поле людей, они их обстреливают. Этот факт могут подтвердить многие журналисты и даже сами американцы. Я это утверждаю, так как испытал это на себе. Бомбы рвались неподалеку от нас, наш оператор был ранен...

На 17-й параллели живут под землей На поверхность выходят и работают только в перерывах между бомбежками. А ясли, школы, кино, разъездной театр, управление кооперативов, госпитали, типография — все под землей, на глубине трех-четырех метров. Спят всегда под землей. И я сам спал два месяца на глубине пяти метров. Там сыро, мало кислорода, но зато человеческие жертвы минимальны. Я снял десять тысяч метров пленки и провел множество интервью не с руководителями и официальными лицами, а с простыми людьми.

Йорис Ивенс на съемках своего нового фильма о Вьетнаме.

(Еженедельник «Леттр франсез»)

ИРЛАНДИЯ

«ПОДЛИННЫЙ ПРАЗДНИК ИСКУССТВА»

На сцене дублинского театра «Гэйети» состоялся спектакль-концерт с участием солистов балетных трупп Государственного академического Большого театра Союза ССР и Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова.

«Это был подлинный праздник искусства»,— писал автор рецензии, опубликованной в газете «Айриш таймс». По его словам, приезд в столицу Ирландии советских артистов балета из двух крупнейших театральных коллективов дал возможность ирландским зрителям впервые за многие годы увидеть настоящий балет. С особой похвалой рецензент отозвался о некоторых танцорах: «С уверенностью и блеском признанного мастера танцует Раиса Стручкова, а Людмила Богомолова — это пленительная балерина с мастерской техникой и огромным обаянием».

Рецензент высказал сожаление, что ирландцам «не представляется случай полюбоваться в Дублине полным балетным спектаклем в постановке балетной труппы Большого театра или театра имени Кирова, так как здесь нет достаточно обширной сцены, которая могла бы вместить хотя бы самую небольшую по масштабам постановку этих театров. «В то же время,— отметил он,— мы должны быть благодарны судьбе за то, что она дала нам возможность насладиться хотя бы фрагментами. Это — всего лишь образцы балетного искусства, но образцы, продемонстрированные первоклассны-

ми, любящими свое искусство, великолепно подготовленными танцорами».

ИСПАНИЯ

«ПОСЛЕДНИЕ ЗНАМЕНА»

Недавно в Мадриде вышел в свет роман испанского писателя Анхеля Мария де Леры «Последние знамена», получивший самую высокую в Испании литературную премию «Планета». За какие-нибудь три месяца уже разошлись 80 000 экземпляров этой книги.

«Последние знамена» — первый роман республиканца, опубликованный в Испании, конечно, не без цензурных купюр. «Проблема гражданской войны подспудно тлеет в Испании, и она все еще не разрешена гармонически,— сказал де Лера представителям печати. — Чтобы положить этому конец, надо дать возможность высказаться обеим сторонам. Вот почему я захотел выступить свидетелем как представитель стороны, потерпевшей поражение».

Действие романа, во многом автобиографического, начинается в июле 1936 года в небольшом южном городке близ Гибралтара, захваченном войсками Франко после ожесточенного боя, и заканчивается в марте 1939 года в момент поражения республиканцев.

Бывший майор и политический комиссар в республиканской армии Анхель Мария де Лера был после окончания войны приговорен к смертной казни, замененной впоследствии 30-летним тюремным заключением, но в декабре 1947 года освобожден из тюрьмы, где он провел более восьми лет.

Де Лера начал писать короткие рассказы еще в тюрьме, но после освобождения он смог устроиться на работу лишь в качестве чернорабочего, а позже 14 лет проработал на одном из мадридских ликеро-водочных заводов. Первый роман де Леры «Забытые», опубликованный в 1955 г., был написан им от руки на оборотной стороне старых заводских накладных, и писатель хранит их как напоминание о тех днях, когда он не мог позволить себе купить бумаги.

ИТАЛИЯ

ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА

Серджио Эндриго за всю свою жизнь не говорил так много, как в первые дни после его триумфа на Международном фестивале песни в Сан-Ремо. Интервью, выступления по телевидению, диспуты, сегодня — в Турине, завтра — в Катании... Но в молодом артисте нет ничего от звезды эстрады, от упоенного славой кумира толпы. Спокойно и просто держится он перед наведенными на него объективами фотоаппаратов и телевизионных камер, спокойно и просто, без апломба и аффектации, отвечает на вопросы журналистов. А вопросы ему задают подчас самые неожиданные и непростые, как об этом можно судить, например, по интервью, опубликованному в газете «Унита».

— Серджио, что ты думаешь о свободе?

— Человек свободен, когда он находит в себе и в тех, кто близок ему, силу отрешиться от известных канонов известного типа общества — такого, как наше, — канонов, не имеющих ничего общего с прогрессом и социальной справедливостью. В наши дни мир расколот на два лагеря. Мы, к сожалению, находимся по сю сторону разделяющей их черты. Быть свободным — значит также сознавать, что мы находимся по сю сторону и что мы должны переступить эту черту. «Цивилизация потребления» не для меня. Деньги все грязнят, все извращают. Система, построенная на чистогане, это адский механизм, который нужно разбить. Но чтобы сделать это, необходимо всегда иметь в виду справедливую цель и сохранять непоколебимую решимость. Ведь те, кто стоят за наше нынешнее общество, очень решительны, а часто и жестоки.

— А кто для тебя «мертв», пуст, никчемен?

— «Мертв» тот, кто держится в стороне от схватки, кто тешит себя кажущимся благополучием, которое часто зиждется на эксплуатации других... Для некоторых людей события в мире ничего не значат — обтекают их, как вода промасленную бумагу. Это «мертвые» люди. И очень опасные.

— Ты был в Сан-Ремо, а во Вьетнаме в это время шла великая битва за свободу...

— Мне трудно говорить о Вьетнаме,— перебивает журналиста Серджио Эндриго. — Напрашиваются крепкие слова, а ругаться не в моих привычках. Весь мир знает, на чьей стороне правда. Американцы ведут необъявленную варварскую войну. Не признавать этого — значит кривить душой. Я вместе с прогрессивными людьми всего мира, в том числе и с прогрессивными людьми Америки, на стороне вьетнамских патриотов.

— Если следовать твоей концепции свободы, вьетнамский народ уже свободен?

— Духовно — да. А в материальном смысле скоро станет свободным. Я не вижу, как могут США идти дальше по тому же пути. Если они не пойдут на переговоры, они потерпят военное поражение.

— Какие еще народы, на твой взгляд, находятся сейчас на переднем крае борьбы за свободу?

— Некоторые народы Латинской Америки, народы арабского мира.

Серджио Эндриго

(Газета «Унита»)

— Как рождаются твои песни?

— Трудно сказать. Здесь все имеет какое-то значение — вдохновение, пережитое, окружающий меня мир... Трудно сказать.

— Тебе нравится петь перед публикой?

— Это мое ремесло. Своими песнями я хочу что-то сказать людям и радуюсь, когда они меня понимают. А если этого не происходит, значит, я в чем-то оплошал.

— Ты счастлив?

— Я чувствую себя свободным.

— Значит, сознательным участником борьбы?

— Я хотел бы быть им в гораздо большей мере.

«ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

«Самым молодым» — так назван сборник рассказов известного итальянского писателя Данило Дольчи, выпущенный издательством «Фельтринелли». Сам автор определил свою новую книгу как «размышления о судьбе итальянского юга». Сборник как бы завершает цикл произведений писателя, посвященных жизни простых людей бедных южных районов: «Бандиты из Партинико», «Расследование в Палермо», «Расточительство», «Беспроигрышная игра» и другие.

Действие большинства новых рассказов Дольчи происходит в Сицилии — области, где в наибольшей степени сохранились пережитки средневековья и где помещики терроризируют крестьян и все население с помощью мафии.

Однако герои Дольчи не просто жертвы террора и эксплуатации, они ищут выход и нередко вступают на путь борьбы. Таков, например, молодой парень Джино из рассказа «Приключения Джино» (этот рассказ критика относит к числу лучших). Рано лишившись родителей, он едва не попадает в компанию воров, тесно связанную с мафией. И только встреча с коммунистами раскрывает ему глаза на истинное положение вещей.

Сборник «Самым молодым» был с энтузиазмом встречен читателями. Критика характеризует эту книгу как новый пример социальной активности писателя. Рецензент еженедельника «Эспрессо» называет сборник новых рассказов Дольчи «обращением писателя к молодому поколению итальянцев».

ПОРТРЕТ ПАЗОЛИНИ

Известный кинокритик Фернальдо Ди Джамматтео показал на состоявшемся в Монте-Карло VIII Международном фестивале телевидения телефильм, посвященный жизни и творчеству итальянского писателя и кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини. Фильм был снят по заказу швейцарского телевидения и уже демонстрировался в Швейцарии. Печать высоко оценивает эту попытку создания творческого портрета одного из самых сложных и противоречивых художников нашего времени. Ди Джамматтео чередует глубокий критический анализ литературного и кинематографического творчества Пазолини с рассказом о событиях его жизни, о его общественной и публицистической деятельности, с показом отрывков из его фильмов. В телефильм также включены фрагменты из стихов Пазолини, некоторые его интервью, наиболее характерные высказывания. По существу, телефильм Ди Джамматтео —первая попытка широкого анализа творчества Пазолини — романиста, поэта и кинорежиссера.

ОАР

ЦЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Доктор Луис Авад—один из крупнейших современных арабских критиков и историков литературы — недавно выпустил книгу под названием «Литературно-критические исследования», в которой собраны его статьи и рецензии, публиковавшиеся в периодической прессе и посвященные различным аспектам арабской культуры и литературы. В одном из своих последних номеров журнал «Аль-Адиб» посвятил этой новой книге Авада рецензию, написанную египетским критиком Ала эд-Дином Вахидом.

Как пишет рецензент, книга Авада состоит из четырех частей: «О литературе и обществе», «О поэзии», «О драматургии»», «О прозе». В первой части помещены статьи Авада о выдающихся арабских мыслителях и писателях, оказавших большое влияние на формирование современной египетской культуры — Ибн-Хальдуне, Ахмаде Лютфи ас-Сейиде, аль-Аккаде, Саляме Мусе и Шафике Гирбале,— и некоторые другие работы. Вторая часть содержит исследования о творчестве египетских поэтов Салаха Абд ас-Сабура, Бишра Фариса, Хусейна Афифа и ливанского классика Джебрана.

В третьей части дан анализ новых пьес Тауфика аль-Хакима, Лутфи аль-Холи, Саад эд-Дина Вахбе. Наконец, последняя часть книги посвящена анализу произведений современных египетских прозаиков — Нагиба Махфуза, Яхьи Хакки, Юсефа Идриса и Мустафы Махмуда.

В своей книге Луис Авад подчеркивает важность изучения наследия прошлого, особое внимание уделяет фольклору и отстаивает идею тесной связи литературы с жизнью общества.

ПОЛЬША

ПОЗИЦИЯ ПИСАТЕЛЯ

Под таким заголовком газета «Трибуна люду» опубликовала статью писательницы Барбары Навроцкой, которой она откликается на недавние общественно-политические события в Польше. Суть этих событий со всей ясностью и определенностью была изложена в речи Первого секретаря ЦК ПОРП тов. Владислава Гомулки.

«Я не ошибусь, если скажу, что нашей стране снова довелось пережить испыта-

ние,— пишет Навроцкая.— И я не сомневаюсь, что сегодня, как и всегда, подавляющее большинство наших писателей выстоит в этом испытании».

Никогда не лишне, а в дни испытаний даже очень важно, вспомнить некоторые исторические факты, замечает Барбара Навроцкая. Народной Польше скоро исполнится 25 лет — за это время культурное наследие минувших столетий стало подлинным достоянием народа, несравнимо расширился круг читателей, возникли тесные контакты между писателями и народом. А ведь именно об этом, продолжает Навроцкая, в свое время мечтали выдающиеся писатели далекого и недавнего прошлого: Рей и Кохановский, Мицкевич и Сенкевич, Жеромский и Прус, Ожешко и Налковская, Тувим и Гоявичинская.

«Огромное большинство писателей в нашей стране сознают роль и важность своей профессии,— пишет далее Навроцкая.— ...Человек, который сегодня у нас берет в руки перо, возлагает на себя ответственность за судьбы общества и родины. Он возлагает на себя эту ответственность потому, что таково веление истории, потому, что этого требует народ. А если писатель уклонится от этого, жизнь сразу же призовет его к ответу.

Партийный писатель принимает на себя обязательство бороться с политическим противником, отстаивать свою точку зрения, в любой ситуации защищать общественные устои нашего государства, возникшие как результат революции».

Барбара Навроцкая, выражая мнение большинства польских писателей, решительно отмежевывается от той небольшой группы польских литераторов, которые стоят на чуждых позициях. Автор статьи пишет: «Мы сознаем возросшую ответственность писателя, и это должно стать достоянием общественного мнения, чтобы люди не смешивали большинство писателей, которые служат Польше, не оглядываясь на личные интересы и почести, оказываемые им за границей, с немногими отщепенцами, которые, избавившись благодаря нашему строю от материальных забот, превыше всего ставят свою известность за рубежом».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОРЬКОГО В ПОЛЬШЕ

Польский читатель познакомился с произведениями Максима Горького в начале нынешнего века. В 1903 и в 1905 гг. вышли в переводе на польский язык «Рассказы Максима Горького» и «Фома Гордеев» — в книжных изданиях. А еще до этого переводы рассказов Горького появлялись в польских журналах. В рабочей печати были опубликованы «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике», которые воспринимались трудящимися массами как призыв к революционным выступлениям.

Роман «Мать» впервые на польском языке был издан в 1929 году в переводе Марцелия Тарновского. С тех пор он переиздавался одиннадцать раз. В довоенной Польше вышли: «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» и др. К юбилею Горького в нынешнем году «Мои университеты» появились в переводе на польский язык уже в восьмой раз; осуществляется выпуск четырехтомника избранных произведений и шестнадцатитомного издания, включающего романы, пьесы, рассказы писателя. Общий тираж произведений Максима Горького в народной Польше превысил 2300 тысяч экземпляров.

С горьковскими пьесами польские зрители познакомились также в начале нынешнего века. Краковский «Театр мейски» показал «Мещан», затем они были поставлены в Познани и других городах. В 1903 г. известный польский актер и режиссер Александр Зельверович перевел пьесу «На дне». Одна за другой еще до первой мировой войны следовали премьеры пьес «На дне», «Дачники», «Дети солнца», «Васса Железнова», «Варвары».

В театрах народной Польши состоялось около 60 премьер пьес Горького. В числе наиболее популярных —«Мещане», «Васса Железнова» «Егор Булычов», «На дне», «Враги». В честь Горьковского юбилея театры страны ставят пьесы великого русского писателя.

СЕНЕГАЛ

ЗАДАЧИ АФРИКАНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Директор службы кинематографии Сенегала Поль Виейра устроил в Дакаре пресс-конференцию, на которой поделился планами сенегальских кинематографистов и рассказал о путях дальнейшего развития африканского кино. «Сейчас назрела настоятельная необходимость создания в Африке нового, самостоятельного, оригинального киноискусства,— заявил Поль Виейра.— Для этого ныне существуют значительные возможности. И если создание полнометражных фильмов пока еще не под силу многим африканским государствам в отдельности, то с этой задачей прекрасно могут справиться межгосударственные объединения кинематографистов, которые начинают создаваться на африканском континенте».

Виейра напомнил, что в кинофильмах различных стран довольно часто показывали Африку, но в видовых лентах или как фон в низкопробных фильмах о приключениях разного рода авантюристов. Задача кинематографистов африканских стран состоит в том, чтобы показать в кино исторические процессы, происходящие ныне в Африке.

Молодое африканское киноискусство сейчас сталкивается со многими трудностями, продолжал Виейра. Помимо чисто технических и финансовых затруднений существует и жестокая конкуренция западноевропейских и американских киностудий. Фильмы их производства наводняют Африку,

Труппа артистов сенегальского балета совершает турне по столицам многих государств со спектаклем «Африканские феерии», который повсеместно пользуется огромным успехом. На снимке, заимствованном нами из итальянского еженедельника «Эспрессо», — одна из сцен «Африканских феерий».

мешая развитию национального, самобытного африканского кинематографа. Кроме того, западное кино служит дурным примером для некоторых африканских кинематографистов, которые занялись производством боевиков по типу голливудских, отметил Виейра. Однако африканское кино постепенно преодолевает эти трудности. Появляются молодые, способные кадры кинематографистов, создаются интересные фильмы. Начал регулярно выходить киножурнал «Африканская дейтвительность», в создании которого принимают участие деятели кино многих стран Африки.

США

АРТУР МИЛЛЕР И ЕГО КРИТИКИ

На сцене «Мороско-тиэтр» на Бродвее идет новая пьеса Артура Миллера «Цена»*. Критики по-разному оценивают эту пьесу. Так, например, театральные обозреватели еженедельника «Тайм» писали о ней следующее: «Эта пьеса—музейная вещь, датированная тридцатыми годами. Миллер остановился в своем интеллектуальном развитии именно в это время...» «...Артур Миллер снова читает нам свои любимые проповеди на тему о виновности и ответственности людей, чье сознание формируется обществом...» «...Миллер всегда имел склонность использовать театр как кафедру проповедника...»

Театральный обозреватель газеты «Интернэшнл геральд трибюн» писал, что «Цена» — «одна из наиболее захватывающих и интересных пьес Миллера». Правда, он тоже не обошелся без ядовитых замечаний по адресу драматурга.

Критик газеты «Крисчен сайенс монитор» вторит обозревателям из «Тайм»: «Миллер, как всегда, обрушивается на человеческую алчность и хищность...» Миллера упрекают и в «ибсенианстве», а также критикуют пьесу за «несовременность».

В Соединенных Штатах, внешняя и внутренняя политика которых приводит к жестоким кровопролитиям, вряд ли можно считать несовременной проблему вины и ответственности.

А потому Артур Миллер ответил своим критикам через газету «Нью-Йорк таймс» следующее: «Когда критики наталкиваются на что-либо сложное, они неизбежно упрощают все и в результате вам могут пришить ярлык «ибсенианства», что очень глупо,— заявил драматург.— Ибсен устарел лишь в том смысле, что те социальные концепции, против которых он восставал, не являются актуальными для нас. Главное же у Ибсена то, что у него всегда в центре внимания человек, индивидуальность, а это никогда не может устареть. Меня всегда интересуют в человеке задатки добра и зла, двуличия и жестокости, равно как и героизма, и готовности на любую жертву».

О своей новой пьесе Миллер сказал: «Тематически я считаю эту пьесу дальнейшим развитием «Смерти коммивояжера»... Все четыре действующих лица как бы ищут смысл жизни и каждый из них в той или иной степени обладает чувством ответственности. А чувство ответственности — единственное, что можно проти-

* Публикуется в этом номере журнала.

вопоставить тотальному убийству и насилию».

Как известно, Миллер в 1965 г. в знак протеста против агрессии США во Вьетнаме отказался явиться в Белый Дом на торжественный вечер по приглашению президента Джонсона. Некоторые тогда говорили, что не видят связи между его отказом явиться в Белый Дом и его позицией в отношении войны во Вьетнаме.

В нынешнем интервью Миллер объяснил: «Я видел эту связь вот в чем. В тот день, когда я должен был посетить Белый Дом, возможно, у какого-то человека во Вьетнаме погибла семья от бомбы, сброшенной нами, американцами. И вот я стоял бы тогда перед президентом, поздравляя его с подписанием билля о развитии искусства, а десятью годами позже я мог бы встретить того самого вьетнамца. И я спросил бы его: «Ну, как у вас, все обошлось во время войны?» А он бы мне ответил: «Такого-то числа одна из ваших бомб оборвала жизнь всех моих близких. А что вы делали в тот самый день?»

...У меня нет ощущения, что я сделал все, что мог,— сказал далее писатель.— Есть многое, что я хотел бы еще сделать. Театр обладает огромными возможностями пробуждать чувства и мысли людей. Мне кажется, что в этой области я сделал процентов десять того, что следовало бы...»

ПОМПЕЯ XX ВЕКА

«То, что рассказал на 594 страницах доктор Роберт Джей Лифтон, еще раз напоминает нам о том, какая ужасная судьба может постигнуть крупный город, если он подвергнется атомной бомбардировке».

Так пишет рецензент американского журнала «Сатердей ревью» о выпущенной в США издательством «Рэндом хауз» книге «Умирающие и живые: уцелевшие жертвы Хиросимы». Автор ее специально посетил Хиросиму и провел там тщательное медико-биологическое и социологическое исследование оставшихся в живых 90 000 жертв одного из самых трагических событий минувшей войны.

Помимо исторических документов и собственных выводов Роберт Лифтон включил в книгу интервью с десятками людей, переживших «современную Помпею». Все они, по его словам, лишились не только своих родных и всего своего имущества, но и нормального мировосприятия. «Уцелевших жителей Хиросимы и Нагасаки день и ночь преследует страх, что их скрытые болезни прогрессируют с непостижимой быстротой»,— пишет автор.

И хотя, как замечает рецензент «Сатердей ревью», больше уже не публикуются официальные отчеты о том, сколько японцев ежегодно умирает от «радиоактивности» (не публикуются, чтобы «не деморализовывать» общественность), ни для кого не секрет, что в обоих городах имеются специальные палаты — в больницах Красного Креста и в Медицинской школе при Хиросимском университете,— в которых медленно и мучительно умирают люди «от лейкемии и других форм рака».

Книга Роберта Лифтона не только строго фактографична, но и остро публицистична. Он еще раз напомнил о том, к каким страшным и необратимым последствиям может привести безответственное жонглирование ядерным оружием.

ТУНИС

«ПРЕЗАНС ДЮ МАГРЕБ»

Как сообщает тунисский еженедельник «Жён Африк», в Сент-Уэне (Франция) начал выходить журнал «Презанс дю Магреб», освещающий вопросы литературы, искусства и науки в странах Магриба. «Презанс дю Магреб» — временное название, указывающее, однако, что журнал намерен играть для стран Магриба такую же роль, как «Презанс Африкен» — для стран Черной Африки. В его «нулевом», предваряющем регулярное издание номере, редакция обращается к читателям с просьбой вносить предложения относительно постоянного названия журнала.

«Мы работаем и боремся,

Две одноактные пьесы известного нигерийского писателя Воле Шойинки — «Испытания брата Джеро» и «Крепкая порода» — поставлены негритянской труппой «Гринвич мьюз тиэтр» в Нью-Йорке под руководством режиссера Синтии Редгрейв. На снимке: сцена из спектакля «Испытания брата Джеро». Роли исполняют: Синтия Редгрейв и Афолаби Аджан.

(Еженедельник «Уоркер»)

— говорится в редакционной статье, — ради лучшего знания произведений и людей прошлого, настоящего и будущего от самых маститых до самых молодых, как известных, так и безвестных.

Не связанный в финансовом отношении с какой бы то ни было группой, журнал хочет быть революционным, независимым, требовательным и в то же время открытым для всех деятелей культуры, приемлющих дискуссию, свободную мысль и совместную деятельность».

Номер открывается материалами, посвященными памяти Фатьмы Амруш, кабильской народной поэтессы, являвшей собой «звено в цепи аэдов, которую продолжает Жан Амруш и Маргарет Таос», и марокканского художника Ахмеда Шеркауи, «создателя феерического царства красок и знаков, которыми он на свой лад изображал стихии».

В журнале выступают Мохаммед Хейр уд-Дин (Марокко), Катеб Ясин (Алжир) и Альбер Мемми (Тунис). Поэзия представлена стихами Теуфика Фареса (Марокко), Мулуда Маммери и Асии Джебар (Алжир).

В хорошо документированной статье Виргилио де Лемос (Мозамбик) пытается определить пути развития современной африканской литературы на португальском языке.

ТУРЦИЯ

ЮБИЛЕЙ ТЕВФИКА ФИКРЕТА

Столетие со дня рождения основоположника демократической поэзии Турции, великого поэта и гуманиста Тевфика Фикрета было торжественно отмечено по всей стране. На специальных заседаниях в Стамбульском университете и лицее Галатасарей, где долгие годы преподавал поэт, были прочитаны доклады о его жизни и творчестве, о значении его общественной деятельности. Рабочая партия Турции организовала в Измире, Анкаре и Стамбуле народные чествования поэта, «бесстрашно сражавшегося, — как говорится в заявлении партии, — с тиранией и несправедливостью, за равенство и свободу».

Литературные журналы посвятили юбилею специальные номера. Обозреватель стамбульского журнала «Еди тепе» особо отметил заслуги современного поэта А. Кадира в пропаганде творчества Т. Фикрета. Дело в том, что за пятьдесят лет, прошедших со дня смерти Т. Фикрета, турецкий литературный язык претерпел такие изменения, что нынешние читатели не могли бы читать его стихи без словаря. А. Кадир взял на себя труд перевести многие стихотворения Т. Фикрета на современный литературный язык и дал возможность молодым читателям заново открыть для себя величие его поэзии. «Тевфик Фикрет, — пишет обозреватель «Еди тепе», — великий поэт, который в критические дни турецкой истории с огромным мастерством выразил беды своей родины. Это образец человека несгибаемого мужества и честности, для которого любовь к человечеству и любовь к родине неотделимы. Это пример интеллигента, который бесстрашно шел по пути справедливости. И потому мы можем гордиться, что Т. Фикрет рожден нашим народом».

Обозреватель особо отмечает то уважение к памяти и творчеству Т. Фикрета, которое проявила литературная общественность Советского Союза, выпустив к столетию со дня рождения поэта первый на русском языке сборник его избранных стихов «Белый парус», и подчеркивает высокую оценку его поэзии, данную в предисловии к книге.

ГРАБЕЖ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Турецкая печать бьет тревогу: все чаще достоянием гласности становятся факты нелегального вывоза из страны памятников старины. Наряду с туристами, археологами и учеными сокровища древности привлекают и спекулянтов, наживающихся на черном рынке. Там можно (порой по дешевке!) за доллары, фунты, марки купить глиняные сосуды, изделия из керамики и бронзы, украшенные драгоценными камнями, монеты, наконец, скульптурные изображения древних богов, сработанные искусными мастерами 3—4 тысячи лет назад.

Корреспондент газеты «Акшам» сообщает о последних фактах нелегальной продажи и вывоза из Турции национальных исторических ценностей. В этих «операциях» часто замешаны видные западные дипломаты. Так, консул ФРГ в Измире приобрел за 100 тысяч турецких лир скульптуру древнегреческого бога изобилия, обнаруженную во время раскопок города Афродисии. Он вывез это сокровище из Турции, воспользовавшись своей дипломатической неприкосновенностью.

Лица, занимающиеся в Турции контрабандной продажей античных ценностей, очень быстро становятся миллионерами, продолжает корреспондент. Так, некто Айдын Дикмен, скупив по дешевке у крестьян произведения античной культуры, продал их американцам за 3 миллиона лир. Эти произведения были вывезены в США и ныне находятся в музее г. Кливленда.

Тревогу журналиста из редакции «Акшам» разделяют многие турецкие граждане. В этой связи следует напомнить, что мировая печать сообщала и продолжает сообщать об аналогичных фактах грабежа национальных ценностей в других странах. Памятники старины, составляющие национальную гордость народов Латинской Америки, Африки, Азии, контрабандно скупаются и вывозятся в США, Англию, ФРГ.

ФРАНЦИЯ

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ «ПРЕЗАНС АФРИКЕН»

Исполнилось двадцать лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Презанс африкен», который про-

пагандирует африканскую и негритянскую культуру. Тунисский журнал «Жён Африк» опубликовал статью, посвященную этому юбилею.

В статье названы имена тех, кто начинал свой путь в литературе и в общественно-политической жизни на страницах «Презанс Африкен». Среди них — Леопольд Седар Сенгор, Жак Рабеманануара, Шейх Анта Диоп, Бернар Дадье, Суру Миган Апити, Эме Сезэр и многие другие. Первый номер журнала, ставший ныне библиографической редкостью, вышел в 1947 году. Появление этого номера свидетельствовало, пишет «Жён Африк», о сплочении деятелей культуры, «способных привить Африке сознание того, что у нее есть свое назначение и своя роль в том мире, где слово «деколонизация» еще не прозвучало». С 1950 по 1954 г. вышло несколько номеров, посвященных отдельным проблемам: африканскому искусству, Гаити, студентам, труду в Африке.

Одновременно было создано издательство «Презанс Африкен», призванное популяризировать творчество африканских писателей и публиковать работы, посвященные проблемам Африки. В этом издательстве увидели свет философские и исторические работы многих африканских авторов.

Вместе с Африканским обществом культуры «Презанс Африкен» способствовал созыву в 1956 и 1959 гг. конгрессов африканских писателей и деятелей культуры, многочисленных коллоквиумов по проблемам африканской литературы в Африке и Европе.

Теперь, после провозглашения независимости многих африканских государств журнал видит одну из своих важнейших задач в пропаганде африканского единства. Свидетельство тому — недавно прошедшие фестиваль негро-африканского искусства и конгресс африканистов.

Авторы журнала «Презанс Африкен» вынуждены писать на английском и французском языках, тогда как их самым горячим желанием является реабилитация африканских языков, отмечает автор статьи в «Жён Африк». «Наступит день и, возможно, скоро, когда каждый из африканских языков обретет свое достоинство и силу, — пишет он в заключение. — Сегодня же не будет преувеличением сказать, что «Презанс Африкен» и через заимствованные языки способствует обогащению всемирной цивилизации целым миром мыслей, чувств, ценностей, которых ей недоставало».

ПИКАССО 1966—1967

82 новые работы Пикассо, выполненные в 1966—1967 гг., экспонируются на открывшейся недавно выставке в галерее Луиз Леири в Париже.

Интерес этой выставки не в новизне сюжетов. На рисунках снова, как во многих предшествующих работах Пикассо, — художники перед своими моделями, музыканты, расположившиеся на траве, наездники, мушкетеры. «Но каждый рисунок, — пишет Пьер Дэкс в еженедельнике «Леттр франсез»,— говорит нам, что неисчерпаем не только любой из этих образов, но и любой из этих жестов, любой из этих взглядов, созерцательных, сосредоточенных, мечтательных, взглядов, через совокупность которых художник в конечном счете, быть может, схватывает свой собственный вопрошающий взгляд, обращенный на него самого и на то, что он изображает».

«Нельзя смотреть на эту сюиту, — продолжает Дэкс, — не думая о том, что люди, которые мнят оправдать абстрактное искусство тем, что фигуративное искусство якобы исчерпало свои возможности, лишь выдают примитивность и банальность своего понимания фигуративности. Примерно так относились леттристы к словам. По выражению Полана, со словами лучше ладить. Что до Пикассо, то он учит нас, что для художника лучше ладить с живописью».

ЯПОНИЯ

НОВЫЙ РОМАН КОБО АБЭ

В конце прошлого года издательство Синтёся выпустило новый роман Кобо Абэ «Сожженная карта», который с интересом встречен критикой. В сюжете романа явственно ощутимы элементы детективного жанра.

...Неожиданно исчез человек. Жена его нанимает частного детектива, чтобы выяснить причину этого таинственного исчезновения. Известно, что человека не убили, что он не покончил жизнь самоубийством. Следовательно, остается выяснить вопрос: почему человек решил исчезнуть, и, ответив на него, возможно установить, где он. Детектив решает шаг за шагом проследить жизнь этого человека в последние годы или, точнее, как бы прожить его жизнь. И вот, когда детектив доходит до крайней черты, за которой следы человека теряются, он делает парадоксальный, на первый взгляд, вывод: человеку не оставалось ничего другого, как исчезнуть. Если в среду японских обывателей попадает человек, хоть на йоту отличающийся от тех, кто его окружает, у него один выход — любыми средствами вырваться из этой жизни и попытаться начать новую, пусть под маской, под чужим именем...

В журнале «Тюокорон» появилась статья о романе Кобо Абэ, написанная кинорежиссером Сусуму Хани. «Меня потрясла картина современного города, нарисованная Абэ, — пишет Хани...— С одной стороны, это огромная деревня, с другой — нигде человек, окруженный множеством людей, не чувствует себя таким одиноким...

Многие места в романе по-настоящему взволновали меня. Это роман о человеческих отношениях, о человеческих судьбах, переплетающихся, блуждающих, порой исчезающих, как следы в пустыне».

Авторы этого номера

Стихами уругвайских поэтов разных поколений открывается этот номер. Впервые в русском переводе здесь представлены:

АЛЬБЕРТО МЕДИСА — ALBERTO MEDISA (род. в 1942 г.).

Молодой поэт, часто выступающий со своими произведениями на страницах уругвайской периодической печати.

РУБЕН ЯКОВСКИ — RUBÉN YACOVSKI (род. в 1930 г.).

Опубликовал сборники стихов: «Простые» («Los sencillos», 1954), «Светотень» («Claroscuro», 1956), «Нулевая улица и другие поэмы» («La calle cero y otros poemas», 1960).

УГО ХИОРДАНО — HUGO GIORDANO (род. в 1940 г.).

Автор поэтического сборника «Сказал я «Хватит!» («He dicho: ¡Bast!», 1965) и многих публикаций в периодической печати.

ИДА ВИТАЛЕ — IDA VITALE (род. в 1924 г.).

Поэтесса и литературный критик, автор книг «Свет этой памяти» («La luz de esta memoria», 1949), «Слово дано» («Palabra dada», 1953), «Каждый в своей ночи» («Cada uno en su noche», 1960) и др.

Ее эссе и статьи по проблемам литературоведения составили несколько сборников.

МАТИЛЬДЕ БИАНЧИ — MATILDE BIANCHI (род. в 1928 г.).

Новеллистка и поэтесса. Среди ее произведений наиболее известны: новелла «Смерть Густаво Давилы» («La muerte de Gustavo Dávila», 1948), сборник стихов «Полуденный зной» («Cenit bárbaro», 1954), повесть «По движению и против движения» («Marcha y contramarcha», 1964).

НЕЛЬСОН МАРРА — NELSON MARRA (род. в 1942 г.).

Преподает литературу. Печатался в различных журналах. Выпустил книгу стихотворений «Черные дворы» («Los patios negros», 1964).

САУЛ ИБАРГОЭН ИСЛАС — SAÚL IBARGOEN ISLAS (род. в 1930 г.).

Стихи поэта составили несколько сборников. В последние годы вышли «Место на земле» («Un lugar en la tierra», 1960), «Город» («Ciudad», 1961), «Граница» («Límite», 1962), «Без возврата» («Sin regreso», 1962), «Об этом мире» («De este mundo», 1963).

■

ДЖОВАННИ ПИРЕЛЛИ — GIOVANNI PIRELLI (род. в 1918 г.).

Итальянский писатель. Изучив документы периода Сопротивления, опубликовал (вместе с Пьеро Мальвецци) «Письма приговоренных к смерти участников итальянского Сопротивления» («Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana», 1952), а затем «Письма приговоренных к смерти участников европейского Сопротивления» («Lettere di condannati a morte della Resistenza europea», 1954).

Одновременно вышел его первый рассказ «Иной элемент» («Altro elemento») и книжка для детей «Джованнино и Пульчероза», переведенная в 1954 году на русский и другие языки народов СССР. «Иностранная литература» в 1959 г. (№ 5) напечатала его повесть «Энтузиаст».

Совместно с Вито Пандольфи написал пьесу «Европа перед рассветом» («Europa prima dell'alba», 1955).

Публикуемый в этом номере в журнальном варианте роман Дж. Пирелли «По поводу одной машины» («A proposito di una machina») вышел в 1965 году.

■

ПИТЕР АБРАХАМС — PETER ABRAHAMS (род. в 1919 г.).

В нашей стране хорошо известно имя этого южноафриканского писателя. Его роман «Тропою грома», переведенный на русский язык в 1955 году, завоевал большую популярность у советских читателей, был экранизирован и несколько раз переиздавался. В 1965 году в нашем журнале был напечатан роман «Венок Майклу Удомо» (№№ 2—4).

Перу П. Абрахамса принадлежат также романы «Шахтер» («Mine Boy», 1945), «Завоевание» («Wild Conquest», 1950), автобиографическая повесть о детстве и юности «Расскажи о свободе» («Tell Freedom», 1954), «Наш остров сегодня» («This Island Now», 1966). В этой книжке журнала читатель познакомится еще с одним романом писателя «Во власти ночи» («The Night of Their Own», 1965).

О творчестве П. Абрахамса см. в этом номере статью Е. Гальпериной «Цена свободы».

■

ЭЛЬЖБЕТА ЗЕХЕНТЕР — ELZBIETA ZECHENTER (род. в 1935 г.).

Молодая польская поэтесса, автор сборника стихов «Эпитафия божьей коровке» («Epitafium dla biedronki», 1962), откуда и взяты публикуемые в этом номере стихи.

ИМРЕ ДОБОЗИ — DOBOZY IMRE (род. в 1917 г.).

Венгерский писатель, драматург, публицист, генеральный секретарь Союза венгерских писателей.

За роман-хронику «Новое Туркеве» («Uj Turkeve», 1952) и роман «Облако и солнцепек» («Felhö és napsütés», 1953) удостоен премии имени Атиллы Йожефа. За пьесу «Буря» («Szélvihar», 1958) и публицистическую деятельность И. Добози в 1959 г. был награжден премией имени Кошута. В последние годы он написал романы «Вчера и сегодня» («Tegnap és ma», 1960), «Горный склон» («Hegyoldal», 1961), драму «Завтра продолжим» («Holnap folytatjuk», 1962).

В советской периодической печати неоднократно публиковались рассказы И. Добози; в «Иностранной литературе» в 1961 году были напечатаны его новеллы «Ливень» и «Авария» (№ 1).

И. Добози был гостем нашей редакции. О беседе с ним рассказано в № 10 за 1965 год.

В этом номере публикуется новая повесть писателя «Вторник, среда, четверг» («Kedd, szerda, csütörtök»), вошедшая в одноименный сборник его повестей и рассказов, изданный в 1967 году.

■

АРТУР МИЛЛЕР — ARTHUR MILLER (род. в 1915 г.).

Видный американский драматург, один из признанных мастеров театра. Пьеса «Все мои сыновья», принесшая А. Миллеру первый успех и сделавшая известным его имя, появилась в 1947 году, была переведена на русский язык и широко шла на советской сцене. Затем вышли «Смерть коммивояжера», «Сейлемские ведьмы», которые также хорошо знает советский зритель, и др.

«Иностранная литература» познакомила советских читателей с его пьесами «Вид с моста» (№ 6, 1957) и «Случай в Виши» (№ 7, 1965).

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей новую пьесу А. Миллера «Цена» («The Price», 1968).

■

КАРЛОС РУИС ДОДЭ — CARLOS RUIZ DAUDET (род. в 1901 г.).

Аргентинский писатель, автор нескольких книг рассказов, романов «Провинция» («Provincia»), «520-й километр» («Kilómetro 520»), «Вождь» («El caudillo») и др.

Перу писателя принадлежит также несколько литературно-критических исследований, в том числе «Ибсен и Чехов» («Ibsen y Chejov»).

Публикуемая статья «Читатель и книга» получена редакцией в рукописи.

■

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС — MITSOS ALEXANDROPULOS (род. в 1924 г.)

Греческий писатель, участник национального Сопротивления в годы второй мировой войны. На русский язык переведены его романы «Ночи и рассветы», «Горы», сборники рассказов «Парфенон освещается» и «Суд»; в нашем журнале напечатаны рассказ «К звездам» (№ 5, 1964) и очерк «Суд над убийцами Ламбракиса» (№ 9, 1967).

Статья «Греция: фашизм и судьбы прогрессивной культуры» получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 33-51-47

А 00796. Сдано в производство 5/IV-68 г. Подписано к печати 17/V-68 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 33,56. Зак. 1130.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394